РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

АННА ЗЕГЕРС

СЕДЬМОЙ КРЕСТ

●

РАССКАЗЫ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1975

Вступительная статья и составление
Т. Мотылевой

И (Нем)
З-47

Иллюстрации
П. Пинкисевича

З $\frac{70304\text{-}219}{028\,(01)\text{-}75}$ подписное

© Издательство «Художественная литература», 1975 г.

РОМАН И РАССКАЗЫ АННЫ ЗЕГЕРС

За полвека творческой деятельности Анна Зегерс написала восемь романов, много рассказов и повестей. Их действие происходит в различных местах — не только в ее родной Германии, но подчас и в странах очень от нее отдаленных — в Китае, США, Бразилии. В произведениях Зегерс встает громадное разнообразие типов, событий, человеческих судеб. И все-таки можно с полным правом сказать, что в них главенствует одна основная тема — борьба народов за свою свободу и счастье, в конечном счете за социализм. И можно без натяжки сказать, что там, при всей многоликости персонажей, живет, в разных обличьях, один главный герой — трудящийся человек XX столетия, который стремится найти свое место в социальных битвах эпохи. Лишь тогда, когда он это место находит, он обретает свое человеческое достоинство, полноту и смысл бытия.

«Седьмой крест» давно признан лучшим романом Зегерс. Он переведен на многие языки. Роман этот, законченный автором в 1939 году, был первоначально опубликован в 1942 году на языке оригинала в Мексике; главы из него печатались в 1941 году в советском журнале «Октябрь»; в годы второй мировой войны роман получил большую известность и в США, и в странах Латиноамериканского континента. История семи заключенных, которые бежали из гитлеровского концлагеря Вестгофен и из которых только один сумел спастись, волновала читателей разных стран задолго до того, как книга смогла увидеть свет в послевоенной Германии. В «Седьмом кресте» наиболее отчетливо сказалось замечательное умение Анны Зегерс показывать людей в нерасторжимом единстве личного и общественного, ставить острые политические вопросы времени, обращаясь к частной, будничной жизни широких слоев народа.

Спаянность нравственной и политической проблематики — характерное свойство Зегерс как художника. Свойство это давно отмечено критикой,

о нем верно говорит один из старейших немецких революционных литераторов Виланд Герцфельде в своей статье о «Седьмом кресте»: «Не только тогда, когда речь идет о жизни и смерти, о неволе или свободе, но и в решении самых незначительных вопросов участнику классовых боев нужен компас: социалистическая совесть. И Анна Зегерс никогда не устает следить за этим компасом, отмечать, объяснять его малейшие колебания с трезвостью и страстью подлинного исследователя» [1]. И, добавим, подлинного борца.

Романы, повести, рассказы, написанные Зегерс в разные периоды, взаимосвязаны не только в силу единства главной темы. В них есть устойчивые, разработанные в разных аспектах мотивы или ситуации, в которых отражается идейная, нравственная природа ее творчества. Писательница любит ставить своих героев перед трудными испытаниями. В разных ее произведениях встают люди рядовые, малоприметные, люди, казалось бы, каких много: будучи поставлены в исключительно сложное положение, они нсожиданно, но вполне естественно проявляют готовность к героическому деянию, идут на крайний риск или на смерть,— и Анна Зегерс рассказывает об этом без малейшей патетики, спокойно и просто. Характерен в этом смысле ее ранний рассказ «Шоферские права» (1932); в предельно лаконичной форме, на двух страницах, описан там подвиг шанхайского пролетария, который — мгновенно приняв нужное решение — уничтожает оккупантов и гибнет сам.

В романе «Седьмой крест» коммунист Георг Гейслер в течение семи дней, ежеминутно рискуя жизнью, спасается от преследующих его гестаповцев и обнаруживает подлинно героические свойства — смелость, находчивость, упорство, выдержку. Более того: на многих людей, с которыми он встречается за эти семь дней, он действует как своего рода катализатор гражданского мужества, встряхивает, вовлекает в борьбу равнодушных и пассивных. А между тем он и не обрисован, и не задуман писательницей как личность исключительная. Сама Анна Зегерс еще в 1943 году говорила в беседе с корреспондентом прогрессивного американского журнала «Нью Массес»: «Гейслер, каким я его вижу и каким я хотела его показать,— обыкновенный человек». Она вводит в повествование предысторию Георга, освещает его в разных ракурсах, через воспоминания и суждения разных людей. И читатель видит: перед нами не сверхчеловек и не подвижник, а рядовой немецкий рабочий, подготовленный к суровым испытаниям и своим нелегким жизненным опытом, и теми идеями, которые давно уже стали основой его существа.

---

[1] Wieland Herzfelde. Liebe zu Deutschland. Anna Seghers und das Siebte Kreuz. In: In unserer Sprache. Anthologie. Bd. II. Berlin, 1962, S. 172.

Революционер, спасающийся от преследователей,— с этой ситуацией мы встречаемся в разных романах Зегерс. Встречаемся и в ее романе «Спутники» (1932), где действуют коммунисты-подпольщики пяти стран — Венгрии, Италии, Польши, Болгарии, Китая; и в повести «Оцененная голова» (1934), которая завершается трагической гибелью молодого антифашиста незадолго до гитлеровского переворота; и, наконец, в романе «Транзит», где встают горестные судьбы немецких эмигрантов во Франции, правительство которой капитулировало перед немецко-фашистскими захватчиками. Этот «мотив бегства» (по выражению того же В. Герцфельде) в творчестве Зегерс имеет существенный моральный смысл. Передовой человек, которому приходится в ходе борьбы спасаться от грозящей ему опасности, как бы держит экзамен на стойкость, и те, с кем он соприкасается во время бегства, тоже проходят своего рода экзамен, могут по-разному повести себя — помочь преследуемому или, напротив, отвернуться или даже предать. В «Седьмом кресте» напряженность сюжета в значительной мере основана на том, что читатель все время «сопереживает» Георгу, сочувствует ему — и в то же время не может быть безразличен к исходу моральных проверок, перед которыми поставлены другие персонажи романа. Как поступит врач, у которого подозрительный незнакомец с пораненной рукой попросил помощи? Какое решение примет священник, когда узнает, что в соборе найдена арестантская одежда? Что скажет гестаповцам бывшая жена Георга, обиженная и брошенная им?

С первых же строк, как только появляется перед читателем сам Георг Гейслер и передается поток его мыслей, упомянуто имя Валлау. Это он организовал побег семи заключенных. Эрнст Валлау, несгибаемый, испытанный во многих боях коммунист, присутствует лишь на немногих страницах романа: в трагически сильной сцене допроса, а потом и еще в одном коротком и очень жестоком эпизоде, который завершается смертью пойманного беглеца. Однако место, занимаемое им в романе, очень значительно. Георг то и дело вспоминает Валлау, руководствуется в своих поступках примером старшего товарища, его советами. Так возникает характерная для всего творчества Зегерс ситуация: учитель — ученик.

В первой повести Анны Зегерс, принесшей ей большую литературную известность, «Восстание рыбаков» (1928), юноша Андреас, жаждущий вольной и осмысленной жизни, тянется к профессиональному бунтарю Гуллю, видит в нем образец для себя. В романе «Спутники» один из центральных персонажей, молодой польский рабочий Янек, проходит тюремные «университеты» под руководством опытного подпольщика Солоненко, а много лет спустя, снова попав в тюрьму, берется быть покровителем и наставником юного товарища по заключению. В романах Анны Зегерс «Решение» (1959) и «Доверие» (1968), где показано трудное, осложняемое острыми конфликтами и все же победоносное становление социалистического строя в ГДР, один из самых привлекательных персонажей — старый учитель Вальд-

щтейн, человек, родственный Валлау по своему духовному складу, воспитатель нескольких поколений немецких антифашистов.

Ситуация учитель — ученик возникает у Анны Зегерс еще в раннем рассказе «Хижина из рифленой жести», который был опубликован в 1928 году в антологии молодой немецкой прозы и напечатан повторно лишь совсем недавно. Здесь действие происходит в США, в каторжной тюрьме где-то на юге страны. Профессиональный революционер Л. учит, поднимает к передовому сознанию своего напарника, малограмотного метиса Бреколи (а вместе с тем и сам, благодаря общению с Бреколи, учится лучше понимать и чувствовать жизнь самых обездоленных). Когда в руки арестантов случайно попадает обрывок газеты, Л. взволнован: он давно не читал газет. И тут в авторском тексте — примечательные строки: «В этих буквах была сила,— тот, кто к ней прикоснулся, уже владел ею. Всякий, кто прочел это, вступил в сообщество тех, кто когда-либо прочел то же самое» [1]. Уже в этом раннем рассказе ясно обнаруживается тот особый оттенок смысла, который вкладывает Анна Зегерс в излюбленное ею слово — Kraft — сила. Не о физической, материальной силе идет здесь речь, а о силе нравственной, духовной, сплачивающей людей, воодушевляющей угнетенных и слабых. Именно такую силу учитель, владеющий передовой мыслью, в состоянии передать ученику. В «Спутниках» дважды — в середине и финале — возникает эпизод, которому автор явно придает символический смысл. Солоненко ободряющим, отеческим жестом кладет руку на голову Янека; многие годы спустя повзрослевший Янек повторяет этот жест, кладет руку на голову юноши-новичка. И дважды повторяется фраза: «Теперь эта сила была и в нем...»

Мотив «силы» — в том особом понимании, какое вкладывает в это слово Анна Зегерс — проходит через весь роман «Седьмой крест». Заключенные концлагеря Вестгофен размышляют об их товарище, который сумел спастись: «Невелика победа, конечно, ведь мы были по-прежнему бессильны, по-прежнему в арестантских куртках! И все-таки победа — она дала каждому почувствовать, как давно мы ее уже не чувствовали, свою силу, ту силу, которую мы слишком долго недооценивали, словно это одна из самых обыкновенных сил на земле, измеряемых числом и мерой, тогда как это единственная сила, способная вдруг вырасти безмерно и бесконечно». И комендант лагеря, эсэсовский изувер Фаренберг, вынужден в конце концов признать свое поражение: он «понял, что гоняется не за отдельным человеком, лицо которого он знает, силы которого имеют предел, а за силой безликой и неиссякаемой».

У Шиллера — одного из любимых Анной Зегерс немецких классиков — есть в драме «Вильгельм Телль» примечательный обмен репликами (между

---

[1] Anna Seghers. Die Wellblech-Hütte. In: 24 neue deutsche Erzähler. Frühwerke der neuen Sachlichkeit. Herausgegeben von Hermann Kesten. München, 1973, S. 158.

крестьянином Штауффахером и Теллем): «Сплотившись, даже слабые могучи».— «Тот, кто силен, всего сильней один». В «Седьмом кресте» знаменитый ответ Телля диалектически переосмыслен. Сильный, при определенных условиях, может быть силен и один. Но только если он, даже в моменты одиночества, ощущает связь с теми, кто ему близок, кто с ним заодно. К такому выводу и приходит Георг Гейслер в одну из тех трудных минут, когда он ведет нескончаемый внутренний диалог с Валлау. «Спокойствие, Георг! У тебя много друзей. Сейчас они разбросаны по свету, но это ничего. У тебя куча друзей — мертвых и живых».

В мировой литературе немного произведений, где тема солидарности угнетенных была бы разработана так достоверно, конкретно, убедительно, как в «Седьмом кресте». В спасении Георга участвуют — осознанно или не до конца осознанно — десятки людей. Под конец романа разворачивается своего рода цепная реакция солидарности: Пауль Редер обращается к Фидлеру, Фидлер — к Кressу, потом к Рейнгардту... И в конце цепи — моряк с решительным лицом, «готовый на любой риск»: он вывезет недавнего узника из гитлеровского ада.

Само собой понятно, что «Седьмой крест» — это не просто история семи беглецов или одного беглеца. Тут ставятся вопросы большого исторического масштаба — о степени прочности фашистской диктатуры, о резервах антифашистского сопротивления, в конечном счете — о судьбе Германии.

Сразу же после гитлеровского переворота — отчасти и до него — в прогрессивной немецкой литературе стала интенсивно развиваться антифашистская, антигитлеровская тематика. Подтвердились тревожные предостережения, которые высказывали в своих книгах, написанных задолго до 1933 года, крупнейшие мастера немецкого критического реализма — Генрих и Томас Манны, Арнольд Цвейг, Лион Фейхтвангер: германская империалистическая реакция приняла уродливые, зловещие очертания, возродила в стране Шиллера и Гете средневековое варварство и зверство. Писатели, покинувшие страну, постарались рассказать миру правду о злодеяниях фашизма. В середине 30-х годов появился ряд книг, авторы которых в форме публицистического эссе («Ненависть» Г. Манна), в форме художественного повествования («Семья Опперман» Л. Фейхтвангера) или документальной прозы («Болотные солдаты» В. Лангхоффа) воссоздавали по свежим следам картины гитлеровских преступлений. Заслуженно широкую известность получил роман Вилли Бределя «Испытание»: писатель-коммунист, вырвавшийся из концлагеря, показал в резком и отчетливом противопоставлении два полюса германской действительности: фашистских палачей и героев антигитлеровского подполья.

Анна Зегерс подошла к острым проблемам германской жизни по-иному, по-своему. Книги, написанные ею в эмиграции,— не только свидетельства, но и исследования; в них представлены не только оба полюса немецкого общества, но и то, что между ними. Писательница старалась выяснить: почему немалая часть народа Германии пошла за Гитлером? Как удалось

нацистам парализовать волю трудящихся к сопротивлению, запугать одних, обмануть других? Именно эти вопросы ставятся в двух книгах, которые она выпустила еще до второй мировой войны,— в повести «Оцененная голова» (1934), где действие происходит в деревне, и романе «Спасение» (1935), где персонажи — обитатели шахтерского поселка. С безжалостной трезвостью Зегерс исследовала — какими способами, благодаря каким социальным, историческим, психологическим факторам нацисты сумели создать себе массовую базу — не только в среде кулаков или лавочников, но и в среде трудящихся города и села.

С такой же трезвостью обрисован коллективный, многоликий образ немецкого народа и в «Седьмом кресте». Писательница никогда не обольщалась — и не обольщала своих читателей — иллюзорными надеждами, легкими решениями. Среди сотни с лишним персонажей «Седьмого креста» есть и отъявленные нацисты, и обыватели, безразличные ко всему, есть и те, кто приспособились к фашистской диктатуре, притерпелись к ней. Зараза гитлеризма проникла в самую гущу трудящегося населения страны,— об этом говорит и страшная судьба Валлау, которого предал бывший товарищ.

Сюжет романа «Седьмой крест» построен необычайно искусно: при всей его разветвленности, многоплановости, он отличается большой силой концентрации. Действие почти все время сосредоточено вокруг Георга. В ходе своих скитаний он встречает множество разных людей — и ставит каждого из них перед необходимостью выбора, решения. Посредством тончайшей психологической рентгеноскопии романистка проникает в затаенные мысли то одного, то другого из своих персонажей. Так складывается синтетическая картина настроений немцев из различных общественных слоев в условиях гитлеровского господства. И если среди этих немцев, запуганных или завороженных нацизмом, находится все же немало людей, готовых помочь беглецу-антифашисту, то это значит,— говорила Анна Зегерс своим романом,— что есть в гитлеровском рейхе и силы, способные при благоприятных исторических условиях принять участие в демократическом обновлении страны.

«Седьмой крест», роман-исследование — звено в той серии книг о судьбах Германии, которую Зегерс открыла повестью «Оцененная голова» и завершила, совсем недавно, романом «Доверие». Взятые вместе, эти книги образуют своего рода летопись, без изучения которой не обойдется ни один серьезный историк Германии XX века. Анна Зегерс, мастер человековедения, рисуя множество разнообразнейших характеров и судеб, помогает понять суть сложных социальных процессов, дает увидеть, что творилось в сокровенных глубинах души народа в трудные, драматические периоды его истории.

В «Седьмом кресте» Анна Зегерс не только летописец и аналитик, но и поэт своей страны. Действие происходит на той прирейнской земле, откуда родом она сама,— в городе Майнце и примыкающих к нему местностях.

Точность, верность колорита и деталей, с какою писательница сумела, находясь вдали от Германии, воскресить природу и быт Рейнской области, по сей день вызывают восхищение и у тех земляков Анны Зегерс, которые во многом далеки от нее по взглядам. Западногерманский писатель старшего поколения, Карл Цукмайер, писал недавно о «Седьмом кресте»:

«Там живет наш старый город, его улицы, Майнцский собор — все это втянуто в водоворот роковых событий, но обрело вечность силою слова. Рейнская долина, холмистая земля между Вормсом и Майнцем, раскрывается там как средоточие важных событий европейской и мировой истории. Там, в ночном разговоре женщин, поднимается над тупостью и равнодушием тревожное предчувствие и беспомощное сострадание. Там, на склоне Таунуса, стоит пастух, словно написанный кистью Дюрера» [1].

Еще несколько лет назад Анна Зегерс, когда ее попросили дать несколько страниц о своем родном городе для сборника «Атлас, составленный немецкими авторами» (книги, в которой приняли участие писатели ГДР и ФРГ), отозвалась на эту просьбу кратким очерком «Два памятника». «У меня на родине, в Майнце на Рейне, было два памятника, о которых я никогда не могла забыть, ни в радости, ни в тревоге, ни на пароходах, ни в чужих городах. Один из них — собор... Этот собор, возвышающийся над Рейнской долиной, остался бы в моей памяти во всей своей мощи и величии, даже если бы я его никогда больше не увидела» [2]. Другой памятник, о котором говорится в очерке,— это плоский камень, установленный на одной из улиц Майнца в память неизвестной женщины, убитой осколком бомбы в дни первой мировой войны — в момент, когда женщина шла за молоком для своего ребенка.

Очень характерна для склада мышления Анны Зегерс эта склонность сопрягать, связывать воедино величественное и малое, исторически монументальное и будничное, домашнее. В «Седьмом кресте» Майнцский собор, приютивший Георга на одну из его тревожных ночей,— почти что живое действующее лицо, он обрисован с проникновенной любовью, как «воплощение разума зодчих и неисчерпаемой силы народа». Красочный прирейнский пейзаж, который связывается в сознании автора с минувшими веками национальной истории, народно-сказочные мотивы, которые пробиваются то здесь, то там,— все это повышает масштабность повествования, придает ему своеобразный поэтический колорит. А вместе с тем тут же, на многих страницах не менее наглядно, любовно запечатлены самые повседневные дела и заботы рядовых немцев — рабочих, крестьян, ремесленников, домохозяек. Из всего этого складывается многоцветный, зримый образ Германии — страны, о которой писательница-изгнанница думала неотступно, с болью и

---

[1] Carl Zuckmayer. Grüßwort. In: Anna Seghers aus Mainz. Mainz am Rhein, 1973, S. 12.

[2] Anna Seghers. Zwei Denkmäler. In: Atlas, zusammengestellt von deutschen Autoren. Dtv, München, 1968, S. 173—174.

горечью, но вместе с тем и с глубокой привязанностью и затаенной надеждой.

Обратим внимание на финал «Седьмого креста». Это, в сущности, счастливый финал, но в нем, как это часто бывает в концовках романов Зегерс, нерасторжимо слиты радость и грусть. Георг уходит навстречу своей боевой судьбе (намеки, рассеянные в разных местах романа, позволяют судить, что он и на чужбине будет продолжать антифашистскую деятельность, быть может, поедет сражаться в Испанию). Недавний пленник Вестгофена, загнанный, затравленный, вырвался наконец на волю, но расставание с родиной дается ему нелегко. Под стать этому смутному настроению — серое небо, дождь. Такой же упрямый осенний дождь льет и в тот вечер, когда в вестгофенском бараке бывшие товарищи Георга по заключению смотрят, как сгорают в печке дрова: арестанты думают — им хочется думать,— что дрова наколоты из того самого креста, утыканного гвоздями, который был приготовлен для Георга Гейслера, седьмого из беглецов, но так и остался незанятым. Крест — древний христианский символ страдания, но здесь этот символ переосмыслен,— крест становится в то же время и воплощением непобедимой силы человеческого духа. Революционного духа [1].

Рассказы Анны Зегерс по тематике и манере тесно примыкают к ее романам, иногда — как бы дополняют романы, договаривают то, что не было досказано там. А в романах Зегерс, с другой стороны, иные эпизоды или главы могут читаться, как отдельный законченный рассказ.

Таков эпизод из романа «Путь через февраль» (1934) — «Установка пулемета в квартире фрау Кампчик»: в нем есть свой самостоятельный сюжет, и он не раз печатался отдельно.

Роман «Путь через февраль» был написан Анной Зегерс по свежим следам февральских событий 1934 года в Австрии. В те дни передовые австрийские рабочие сделали героическую попытку преградить дорогу фашизму. Республиканский Шуцбунд — вопреки воле реформистских руководителей социал-демократической партии — выступил с оружием в руках против реакционной политики правительства Дольфуса; австрийские коммунисты, вместе с рядовыми социал-демократами шуцбундовцами, участвовали в февральских боях.

Весной 1934 года Анна Зегерс побывала в Австрии, опрашивала участников и свидетелей недавних событий, обошла рабочие районы Вены, где немало домов было изуродовано пулями и снарядами. В романе «Путь через февраль» — как и в написанном позднее «Седьмом кресте» — большое число персонажей из разных общественных слоев; будучи взяты вместе, они дают

[1] Более подробный разбор романа «Седьмой крест» см. в кн.: Т. Мотылева. Роман Анны Зегерс «Седьмой крест». М., «Художественная литература», 1970.

обобщенный образ страны, народа в момент исторического перелома. В отличие от «Седьмого креста», там нет главного героя, картина событий до некоторой степени мозаична, разбросана. Однако и здесь писательнице удалось через глубинные психологические «просвечивания» передать отражение общественных конфликтов в душе и сознании рядовых тружеников.

Одна из них — фрау Кампчик. Немногими штрихами обрисована очень живая, достоверная фигура женщины из венского предместья. С четырнадцати лет она зарабатывала на хлеб тяжким трудом, прислуживала в кафе, перемыла за годы молодости сотни тысяч чашек, и теперь, став женой квалифицированного рабочего, гордится своим семейным уютом, собственным чайным сервизом, квартиркой, где все начищено до блеска. Анна Зегерс и здесь — как на многих лучших страницах своих произведений — стремится проследить скрытую динамику душевного перелома: в напряженные минуты боев домовитая фрау испытывает прилив неведомых ей ранее чувств классового гнета, классовой солидарности — и заботливо кормит бойцов-шуцбундовцев, нарушивших порядок и покой ее дома.

После окончания второй мировой войны Анна Зегерс вернулась к действующим лицам романа «Седьмой крест» и написала два больших рассказа, которые являются как бы эпилогом к роману. В характерах и судьбах частных лиц прослеживаются перипетии и закономерности национальной истории.

В рассказе «Саботажники» (1946) снова появляются те честные и смелые люди, которые в свое время помогли Георгу Гейслеру спастись,— Франц Марнет, Герман Шульце, инженер Кресс. В дни войны гитлеровской Германии против Советского Союза они пытаются организовать саботаж на военном заводе. Им не удается вовлечь в свои действия мало-мальски значительную группу рабочих. Однако Герман Шульце, арестованный гестаповцами уже после Сталинградской битвы, чувствует моральное удовлетворение, когда узнает, что гранаты, прошедшие через его руки, не взорвались на поле боя: значит, он жил недаром, умрет недаром. А Франц Марнет, долго числившийся в списках убитых на советско-германском фронте, после окончания войны подает о себе весть жене: читатель вправе предположить, что он добровольно сдался в плен советским войскам.

Еще раньше, в 1945 году, был написан рассказ «Конец». Здесь досказана история фашиста Циллиха — того, кто был одним из самых яростных истязателей в концлагере Вестгофен.

Циллих впервые появился еще в повести «Оцененная голова», написанной вскоре после гитлеровского переворота, в период, когда многие немецкие антифашисты терзались вопросом: кто они, эти люди из низов народа, которые пошли за Гитлером? В этой повести Циллих — один из тех неимущих крестьян, которые поддались на удочку нацистской демагогии. Этот деревенский бедолага и неудачник, прошедший первоначальную школу жестокости еще на фронтах первой мировой войны, легко дает себя убедить, что во всех несчастьях Германии — а главное, в его собственных несча-

стьях — виноваты «евреи и красные». Такие типы при гитлеровской диктатуре легко делали карьеру в эсэсовских отрядах.

В рассказе «Конец» мотив «бегства», знакомый нам по ряду произведений Анны Зегерс, возникает в совершенно новой вариации: в роли беглеца на этот раз — Циллих, который столько лет преследовал и травил антифашистов. Читатель, знакомый с романом «Седьмой крест», естественно воспринимает Циллиха в контрастном сопоставлении с Георгом Гейслером. Герою «Седьмого креста» угрожала реальная, смертельная опасность; если он сумеет спастись, то потому, что был одушевлен великой идеей, придававшей ему силы, верил, что сумеет найти друзей, единомышленников, которые ему помогут,— и действительно нашел их. Иное дело Циллих. Опознанный после войны в деревне одним из бывших заключенных Вестгофена, инженером Вольпертом, Циллих, собственно говоря, не подвергается опасности. Американские оккупационные власти, несмотря на настойчивые заявления Вольперта, не разыскивают бывшего вестгофенского надзирателя — как не разыскивали многих ему подобных. Но Циллих мечется по стране, одержимый диким страхом: ему не во что верить, у него нет и не может быть друзей — он чувствует себя окруженным глухой неприязнью людей всюду, где бы он ни появлялся.

Картина скитаний Циллиха дана как бы замедленной съемкой; Анна Зегерс высвечивает самые темные уголки его злодейской души лучом психологического анализа, внимательного и безжалостного. В нем кипят темные страсти: озлобление против былых хозяев Третьего рейха, которые оторвали его, Циллиха, от земли и плуга, а потом бросили на произвол судьбы, сожаление о тех невозвратно ушедших временах, когда можно было мучить по своему произволу беззащитных заключенных,— а главное, звериный страх, все более нарастающий, становящийся невыносимым, доводящий до самоубийства.

Самая тяжкая кара постигает Циллиха уже посмертно. И здесь снова Анна Зегерс создает своего рода контрастную параллель к образам прежних своих произведений. Не раз в ее романах и рассказах возникали эпизодические фигуры детей революционеров, антифашистов,— тех, кому суждено продолжить дело отцов. И после Циллиха остается сын, подросток; он откровенно радуется известию о смерти отца, воспринимает эту смерть как избавление. Финал рассказа «Конец» заключает в себе поучительное обобщение: разрыв преемственности с поколением отцов для юного Циллиха, как и для многих его сверстников,— начало новой жизни, свободной от позорного наследия прошлого.

Каждый человек несет долю ответственности за судьбы своего народа, своей страны: эта мысль отозвалась во многих произведениях Зегерс, написанных за годы эмиграции,— и в «Седьмом кресте», и в законченном уже после краха фашизма большом романе «Мертвые остаются молодыми» (1948), и в рассказах, и в статьях.

Рассказ «Прогулка мертвых девушек» (1943) — одно из наиболее вы-

дающихся художественных произведений Зегерс. В нем сказалась и сила ее чуткой гражданской совести, и ее своеобразие как мастера прозы. Рассказ оригинально задуман: он весь строится на незаметных переходах от повествования к воспоминанию, от настоящего к прошлому; действие происходит одновременно в Мексике (где писательница провела последние шесть лет своего изгнания), в Германии вильгельмовской и гитлеровской. Пересечение временны́х планов, взаимопроникновение мира воображаемого и действительного — все это знакомо нам по многим образцам современной западной прозы. Однако сорок с лишним лет назад, когда Анна Зегерс работала над своим рассказом, такие приемы были не столь обычными,— она пошла на смелый эксперимент. Именно такая непривычная форма изложения дает Анне Зегерс возможность, вспоминая давнюю школьную экскурсию, в то же время сопоставить облик и поведение одних и тех же людей в пору их юности и в пору зрелости. Жестокая историческая действительность разлучила, раскидала в разные стороны былых подруг,— Лени, антифашистка, погибла в концлагере, Марианна вышла замуж за видного нацистского чиновника, Нора стала деятельницей гитлеровской женской организации, Герда покончила с собой от стыда, когда ее муж, боясь потерять службу, вывесил из своего окна в праздничный день флаг со свастикой...

«Прогулка мертвых девушек» — единственная вещь Анны Зегерс, где присутствует в прямой форме ее авторское «я», имеются ясно различимые автобиографические мотивы. Тут есть и реальные мексиканские впечатления писательницы, и живые детали ее юности, проведенной на берегах Рейна; она и на самом деле перенесла в Мексике тяжелую болезнь, о которой упоминается в начале рассказа: ее сшиб грузовик на улице, и она долго не могла прийти в сознание. Отчасти именно этой недавно перенесенной тяжелой травмой, тем душевным состоянием, которое бывает у человека выздоравливающего, мотивирована и острота восприятия, и необычайно интенсивная работа памяти, стирающая грани между настоящим и далеким прошлым. Однако «Прогулка мертвых девушек» — не столько рассказ-воспоминание, сколько рассказ-размышление. Анна Зегерс попутно замечает, что «судьбы мальчиков и девочек, взятых вместе, составляют судьбу родины, народа»... Именно поэтому она — давая волю не только памяти, но и творческому воображению — домысливает жизненные пути давно потерянных из виду товарок и товарищей детства; сопряжение, сопоставление разных времен дает ей повод выдвинуть моральную тему ответственности. Ни у кого из юных персонажей «Прогулки мертвых девушек» будущий путь не был роковым образом предначертан с самого начала, у каждого или каждой из них, в определенный момент, была возможность выбора, самостоятельного решения. Рассказ этот, открывающийся экзотическим мексиканским пейзажем, затем переносящийся в идиллически-провинциальный мирок старого бюргерского Майнца,— повествование с причудливым сюжетом, основанным на вольном обращении с пространством и временем,— это, по сути дела, по своему содержанию произведение остро политическое. Здесь ставится во-

прос о возможностях сопротивления фашизму — возможностях, заложенных в каждом человеке: в этом смысле «Прогулка» непосредственно перекликается с «Седьмым крестом». Анна Зегерс не морализирует и не ставит точки над «и», но ее рассказ, проникнутый нравственным беспокойством, пробуждает такое же беспокойство и в читателе.

Годы, проведенные в Мексике, оставили глубокий след в художническом сознании Анны Зегерс. Ее привлекала в этой стране и щедрая, своеобразная природа, и драматический ход национальной истории, и народное искусство, в особенности — великолепные создания фресковой живописи. Впечатления Мексики отразились, уже после возвращения писательницы на родину, в ряде ее произведений — повестях, рассказах, очерках, в эпизодах романов о современности («Решение» и «Доверие»). В Мексике развертывается и действие рассказа «Крисанта» (1950).

Простодушная, невежественная девушка из мексиканской деревни, которая во всех своих тяжких бедствиях сохраняет добродушие, стойкость, бодрость духа, обрисована с неподдельной человеческой симпатией. Современный немецкий исследователь верно говорит о Крисанте: «Анна Зегерс наделяет эту женщину — один из лучших своих женских образов — смутным ощущением, что она есть часть общенародного целого и что она может выдержать все разочарования и превратности жизни именно потому, что она неотделима от этого целого. Этот мотив защищенности воплощен в виде красочного символа. Далекое полуосознанное воспоминание сопровождает Крисанту во всех ее трудностях, и оно всегда связано с синим цветом» [1]. Этот цвет — традиционная окраска народной керамики и женских «ребосо», головных платков,— напоминает Крисанте об ее давно умершей матери, с этим цветом связано для нее представление об устойчивости, прочности основ народного бытия. (В таком же смысле приобретает он значение национального, народного символа и в более поздней повести Зегерс «Настоящий синий цвет».)

О трудных женских судьбах говорит Анна Зегерс и в некоторых рассказах своего цикла «Сила слабых» (1965). Здесь снова оживает мотив «силы» в том смысле, в каком мы его видели в «Седьмом кресте»: речь идет о рядовых, неярких, казалось бы, людях, которые при определенных условиях проявляют незаурядную смелость и мужество.

Рассказ «Агата Швейгерт», открывающий сборник «Сила слабых»,— история целой человеческой жизни, от детства и до старости. Перед нами обыкновенная немецкая женщина, провинциальная лавочница, каких много. Весь смысл ее жизни сводился к заботам о сыне: прокормить ребенка, рано лишившегося отца, вырастить его, обучить, вывести в люди. Логикою материнской любви Агата Швейгерт втягивается в дела и заботы сына, ставшего активным антифашистом, и после гибели сына остается своим, необходимым человеком в кругу его единомышленников.

---

[1] Kurt Batt. Anna Seghers. Leipzig, 1973, S. 174.

В творчестве Анны Зегерс последних лет все более явственно обнаруживается склонность к произведениям легендарно-сказочного характера (таковы и некоторые рассказы в цикле «Сила слабых»). В 1973 году вышел новый цикл ее рассказов под общим названием «Странные встречи».

По поводу этой новой книги Анна Зегерс сказала корреспонденту газеты «Нойес Дойчланд» (в интервью, напечатанном 22.IX 1973 г.): «Поставим вопрос: Что такое действительность? Не только то, что можно потрогать руками и попробовать на вкус,— и фантазия и мечты относятся к области реальности. Наша нынешняя, подлинная, осязаемая нами жизнь когда-то для кого-то была предметом догадок. Люди сухие и даже недобрые считали, что она — всего лишь мир мечтаний. А я думаю, что мечты могут быть неотъемлемой частью действительности. Если найти верный подход к ним, они расширяют литературу, социалистическую литературу. Они раскрывают человека как изобретателя,— а таков он есть по своей природе,— и учат его уважать то, что изобрели другие люди».

В каждом из трех рассказов, составляющих цикл «Странные встречи», будничная реальность сплавлена с фантастикой. В их сюжетах есть элемент недосказанности и загадочности: это побуждает читателей к размышлениям. Сталкивая знакомое с незнакомым, рассказывая о «странном» и невероятном в такой же спокойной и трезвой манере, в какой она говорит о вещах самых обычных, Анна Зегерс заставляет нас задуматься над насущными вопросами бытия. Смысл жизни человека и его долг, этические нормы, которыми надлежит руководствоваться человеку, а вместе с тем и долг художника, место искусства в жизни людей — такова философская проблематика новой книги Зегерс.

Первый из трех рассказов переносит нас в эпоху реформации, контрреформации, религиозных войн. Земля — точнее, немецкая земля — тех давних времен увидена глазами «неземных пришельцев», прилетевших на нашу планету с некоей далекой звезды. Они многое знают, многое умеют, эти пришельцы. Они обладают могучей техникой, позволяющей им летать по межзвездным пространствам и передавать сигналы на сверхдальние расстояния. Казалось бы — очень обычный, даже, можно сказать, избитый мотив современной фантастической литературы, не более того. Но «странная встреча» неземных существ с жителями Земли дана Анной Зегерс в своеобразном, совсем не избитом ракурсе. Первый из пришельцев — на Земле ему дали имя Михаил — сразу же поражен увиденным. На его далекой звезде деревья дают сочные плоды, но не имеют ни ветвей, ни листьев. А на Земле Михаила захлестывают волны густой ароматной зелени — кустарники, цветы, травы... Жители Земли на первых порах кажутся ему жалкими существами, которые живут в бедности и неведомо почему истребляют друг друга в религиозных распрях, бессмысленных военных столкновениях. Однако в созданиях человеческих рук — скульптуре, вышивке, резьбе — Михаил открывает ту красоту, о которой жители его дальней звезды не имеют и понятия.

Отблеск этой красоты — и в женщинах планеты Земля: и Михаил, и прилетевший вслед за ним Мельхиор не могут противостоять их обаянию. И тут возникает в новой вариации стародавний мифологический мотив: союз «неземного» с земной женщиной. От Мельхиора и Катрин ведут свое начало поколения тружеников и умельцев, одержимых смутной тревогой, тоской о далеких мирах. В этой тревоге, по очевидной мысли автора, есть и нечто продуктивное — то, что толкает на творчество, на поиски. В финале рассказа, вместе с оттенком грусти, чувствуется и гордость за жителей Земли, вера в их большие возможности, далеко еще не исчерпанные, не раскрывшиеся до конца.

Второй рассказ, «Явка», возвращает нас к тем типам, ситуациям и мотивам, которые хорошо нам знакомы по основным романам Анны Зегерс и ее рассказам на темы германской жизни. Нелегкий быт рабочих семей в догитлеровской, а затем и в гитлеровской Германии; зарождение антифашистского подполья, связанные с ним опасности, явки, провалы,— тут на немногих страницах столько лиц и событий, что их хватило бы на целый роман. В сущности это — конспект большого повествования, в котором отражена история страны почти за два десятилетия. О многом здесь сказано бегло, пунктиром. Анна Зегерс тут не стремится дать широкую картину жизни — ей важно поставить моральную проблему, исследовать душевное состояние человека, поставленного волею обстоятельств перед трудным испытанием.

Очень кратко рассказано о дружбе Эрвина и Клауса, об их участии в коммунистическом юношеском движении, об их попытках продолжать борьбу — и после того, как многих былых товарищей уже разбросало в разные стороны, кого в эмиграцию, кого в концлагери и тюрьмы. Рассказ доходит до момента, когда оба друга должны встретиться в условленный час в Наумбургском соборе, чтобы выполнить задание подпольной организации. И тут темп повествования резко меняется. Наглядно, детально воспроизводится здесь та внутренняя борьба, которая происходит в Эрвине в ответственные минуты. Мгновения малодушия, из-за которых назначенная встреча не состоялась, оказываются роковыми для Эрвина: за ними тянутся годы прозябания, без цели в жизни, без уважения к себе... Темп рассказа снова замедляется: встреча Эрвина и Клауса наконец происходит — уже после краха фашизма. Оказывается, Клаус вовсе не в обиде на Эрвина,— в тот давний день встречи их обоих подстерегали гестаповцы, и если Эрвин пришел бы на явку, им обоим было бы трудно ускользнуть.

Но состоялась ли эта новая, послевоенная встреча — или она только пригрезилась Эрвину? Мы этого так и не узнаем. Письмо, которое Эрвин пишет Клаусу, возвращается за ненахождением адресата. Так или иначе, беседа с былым товарищем — пусть даже воображаемая, нереальная — поможет Эрвину выпрямиться и найти себе место в новой Германии.

Анна Зегерс здесь в непривычной для нее форме — сплетая действительное и воображаемое, «странное» — возвращается к тем общественным, моральным проблемам, которые ставились и в ее романах «Решение» и «Доверие», и в ее повести «Человек и его имя». В послевоенной Германии многие, даже неплохие от природы люди имели основание критически, взыскательно пересмотреть свое прошлое. Нравственная тема вины и личной ответственности за судьбу нации занимает, как мы уже убедились, очень важное место в творчестве Зегерс, как и во всей большой литературе Германской Демократической Республики.

У Анны Зегерс — в частности, и в новом ее рассказе — трактовка этой темы диалектически тонкая. Высокая моральная бескомпромиссность (образец которой мы видели в рассказе «Конец») сочетается у нее с долей мудрого снисхождения к тем, кто когда-то заколебался или ошибся. Писательница наказывает своего Эрвина строгим судом его собственной совести. Встреча с Клаусом — реальная или воображаемая — знаменует поворот в душе Эрвина и его судьбе. Добрые слова, которые он услышал — или хотел, мечтал услышать — от Клауса, не приводят его к самоуспокоенности, а, напротив, активизируют беспокойную работу совести и требовательность к себе. И в конечном счете помогут нравственному очищению человека, однажды трагически оступившегося.

В цикле «Странные встречи» особое место занимает рассказ «Встреча в пути»: здесь творческое воображение Зегерс вплотную соприкасается с научным, историко-литературным анализом: действие происходит в Праге начала 20-х годов нашего века, здесь встречаются и разговаривают писатели разных стран и эпох — Гофман, Гоголь, Кафка. Они обсуждают свою литературную работу как собратья по перу. Парадоксальный замысел этого рассказа по-своему очень органичен для Анны Зегерс, для ее творческих теоретических поисков. Устами всех трех своих героев писательница отстаивает ту истину, которая была ею высказана в интервью корреспонденту «Нойес Дойчланд»: мечты людей, их фантазии тоже относятся к сфере действительности и имеют право на воплощение в искусстве слова.

Анна Зегерс убеждена, что и Франц Кафка, о котором было на Западе столько литературных споров, внес свой вклад в художественное освоение реального мира. Однако устами Гофмана она критикует то болезненное, безысходное, что было присуще мировосприятию Кафки и его творчеству. «Так как вы не видите выхода для себя, вы не видите его и для других. А нужно искать выход, как ищут брешь в стене. Как заключенный ищет щель, чтобы передать известие от одного человека другому. Надо видеть, где загорается огонек»...[1]

---

[1] Anna Seghers. Sonderbare Begegnungen. Berlin und Weimar, 1973, S. 142.

Здесь высказана мысль, очень важная для всей писательской деятельности Анны Зегерс. Все ее лучшие романы и рассказы отмечены мужественной трезвостью — в них возникают остродраматические или даже трагические ситуации, в них говорится без утайки о темных и мрачных сторонах действительности. Однако Анна Зегерс всею силою своего таланта противостоит тем литературным и философским писаниям, которые трактуют жизнь как жестокий абсурд. Она верит в людей, в поступательное движение истории, в неистребимость передовых, революционных идей нашего времени. Она видит, где загорается огонек.

Т. МОТЫЛЕВА

Немецким антифашистам — мертвым и живым — посвящается эта книга.

Анна Зегерс

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Георг Гейслер — совершивший побег из концлагеря Вестгофен.
Валлау, Бейтлер, Пельцер, Беллони, Фюльграбе, Альдингер — бежавшие вместе с ним.
Фаренберг — комендант концлагеря Вестгофен.
Бунзен — лейтенант в Вестгофене.
Циллих — шарфюрер в Вестгофене.
Фишер, Оверкамп — следователи.
Эрнст — пастух.
Франц Марнет — бывший друг Георга, рабочий химического завода в Гехсте.
Лени — бывшая подружка Георга.
Элли — жена Георга.
Меттенгеймер — отец Элли.
Герман — друг Франца, рабочий гризгеймских железнодорожных мастерских.
Эльза — его жена.
Фриц Гельвиг — ученик-садовод.
Д-р Левенштейн — врач, еврей.
Фрау Марелли — театральная портниха.
Лизель Редер, Пауль Редер — друзья юности Георга.
Катарина Грабер — тетка Редера, владелица гаража.
Фидлер — товарищ Редера по работе.
Грета — его жена.
Д-р Кресс.
Фрау Кресс.
Рейнгардт — друг Фидлера.
Официантка.
Голландский шкипер, готовый на любой риск.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Может быть, никогда еще в нашей стране не были срублены такие необычайные деревья, как эти семь платанов, стоявших перед бараком номер три. Вершины их были спилены раньше, по причинам, о которых станет известно потом. На высоте плеча к стволам были прибиты поперечные доски, и платаны казались издали семью крестами.

Новый комендант лагеря — его звали Зоммерфельд — тут же приказал все это переколоть на дрова. Этот Зоммерфельд был такой же зверь, но только в другом роде, чем его предшественник Фаренберг, нацистский ветеран, «завоеватель Зелигенштадта», отец которого и сейчас держит там, на рыночной площади, контору по прокладке труб. Новый комендант лагеря был до войны «африканцем», офицером колониальных войск, а после войны он вместе со своим прежним начальником, майором Леттов-Форбеком, ходил в атаку на красный Гамбург. Все это мы узнали гораздо позднее. Если прежний комендант был самодур, подверженный непредвиденным и бешеным приступам жестокости, то новый оказался сугубо трезвым человеком, у него можно было всегда все предвидеть заранее; и если Фаренберг был способен внезапно прикончить нас всех, то Зоммерфельд мог построить нас шеренгами и, аккуратно отсчитав, прикончить каждого четвертого. Этого мы тогда тоже еще не знали. Да если бы и знали! Разве это могло сравниться с тем чувством, которое охватило нас, когда все шесть деревьев были срублены, а потом и седьмое. Невелика победа, конечно, ведь мы были по-прежнему бессильны, по-прежнему в арестантских куртках! И все-таки победа — она дала каждому почувствовать, как давно мы ее уже не чувствовали, свою силу, ту силу, которую мы слишком долго недооценивали, словно это одна из самых обыкновенных сил на земле, измеряемых числом и мерой,

тогда как это единственная сила, способная вдруг вырасти безмерно и бесконечно.

И в бараках наших впервые затопили в тот вечер. Погода как раз переменилась. Сейчас я уже не убежден, что несколько поленьев, которые нам выдали для нашей чугунной печурки, были именно из тех дров. Но тогда мы были уверены в этом.

Мы столпились вокруг печурки, чтобы посушить свое тряпье, и непривычный вид живого пламени заставил сильнее биться наши сердца. Караульный штурмовик стоял, повернувшись к нам спиной; он невольно загляделся в забранное решеткой окно. Нежная серая пряжа измороси, легкая, как туман, вдруг превратилась в проливной дождь, и резкие порывы ветра то и дело хлестали стену нашего барака. Что ж, в конце концов даже штурмовик, даже самый прожженный штурмовик может увидеть только раз в году, как наступает осень.

Поленья трещали. Вспыхнули два голубых язычка пламени — это загорелся уголь. Нам полагалось всего пять лопат угля, они могли только чуть-чуть согреть на несколько минут холодный барак, даже не просушив наше тряпье. Но мы пока об этом не думали. Мы думали только о дереве, сгоравшем перед нами. Ганс, покосившись на караульного, сказал беззвучно, одними губами:

— Трещит.

Эрвин сказал:

— Седьмой.

На всех лицах показалась слабая, странная улыбка, соединявшая в себе несоединимое — надежду и насмешку, бессилие и мужество. Мы затаили дыхание. Дождь барабанил то по дощатым стенам, то по жестяной крыше. Младший из нас, Эрих, бросил нам один короткий взгляд, но в нем была сосредоточена та сокровеннейшая сила, которая жила и в каждом из нас. И взгляд спрашивал: «Где-то он теперь?»

I

В начале октября Франц Марнет несколькими минутами раньше, чем обычно, выехал на велосипеде со двора своих родственников, принадлежавшего к общине Шмидтгейм в предгорье Таунуса. Франц был коренастый, среднего роста человек, лет под тридцать, лицо у него было спокойное, на людях — почти сонное. Однако сейчас, когда он катил по дороге, круто спускавшейся между пашнями к шоссе — его любимая часть пути,— черты Франца выражали искреннюю и простодушную жизнерадостность.

Может быть, впоследствии покажется непонятным, как это Франц, в его положении, способен был испытывать удовольствие.

Но он его испытывал: он даже шутливо охнул, когда велосипед подскочил на двух ухабах.

Стадо овец, со вчерашнего дня удобрявшее соседнее поле Мангольдов, завтра перейдет на широкую, засаженную яблонями лужайку родственников Франца. Поэтому они спешили закончить сбор яблок сегодня. Тридцать пять суковатых яблонь, врезавших в светло-голубую высь свои мощные извилистые ветви, были усыпаны золотым парменом. Яблоки были так румяны и зрелы, что сейчас, в первом утреннем свете, они сияли, точно бесчисленные маленькие солнца.

Однако Франц не жалел о том, что пропустит сбор яблок. Достаточно он вместе с крестьянами за гроши ковырял землю. Правда, и за это надо благодарить судьбу после стольких лет безработицы, а уж у дяди, спокойного, очень порядочного человека, конечно, жилось в тысячу раз лучше, чем в трудовом лагере. С первого сентября Франц наконец поступил на завод. Он был рад этому по многим причинам, были рады и родственники, так как теперь Франц проживет у них зиму платным постояльцем.

Когда Франц проезжал мимо соседнего сада Мангольдов, те с лестницами, шестами и корзинами как раз возились под громадной грушей. Софи, старшая дочь, крепкая девушка, кругленькая, но легкая, с очень стройными запястьями и тонкими щиколотками, первая полезла на лестницу и при этом что-то крикнула Францу. Он, правда, не расслышал что́, однако быстро обернулся и засмеялся. Его с необычайной силой охватило ощущение, что он здесь свой. Люди малокровных чувств и дел едва ли поймут его. Для них быть своим — значит принадлежать к определенной семье или общине или любить и быть любимым. Для Франца же это значило просто быть связанным вот с этим клочком земли, со здешними жителями, с утренней сменой, ехавшей в Гехст, и прежде всего принадлежать к числу живых.

Когда он миновал двор Мангольдов, перед ним открылись покатые склоны полей и внизу — туман. Немного дальше, ниже дороги, пастух открывал загон. Стадо вышло и тотчас прильнуло к откосу, бесшумно и плотно, точно облако, которое то распадается на меньшие облачка, то снова сгущается и разбухает. Пастух — он был из Шмидтгейма — тоже что-то крикнул Францу Марнету. Франц улыбнулся. Этот Эрнст, пастух с огненно-красным шарфом на шее, был предерзким парнем, ничего пастушеского! В холодные осенние ночи сердобольные крестьянские девушки бегали к нему, в его будку на колесах. За спиной пастуха земля уходит вниз плавными широкими волнами. Пусть Рейна отсюда еще не видно, до него целый час езды поездом, но и широкие, мягко очерченные склоны, покрытые пашнями и фруктовыми садами, а ниже

виноградниками, и фабричный дым, запах которого доносится даже сюда, и поворот дорог и рельсов на юго-запад, и поблескивающие, мерцающие пятна в тумане, и даже пастух Эрнст в красном шарфе — вон он стоит, одной рукой подбоченясь, одну ногу выставив вперед, точно он командует целой армией, а не пасет обыкновенное стадо овец,— все это говорит о том, что до Рейна уже недалеко.

Это страна, о которой недаром сказано, что здесь снаряды последней войны выворачивают из земли снаряды предпоследней. Эти холмы — не горы. Ребенок может в воскресенье утром отправиться пить кофе со сдобными булками к родственникам за холмы и к вечернему звону уже быть дома. И все-таки эта цепь холмов была долгое время краем света, за ней начинались дичь и глушь, неведомая страна. Вдоль этих холмов римляне возвели свой вал. Столько поколений истекло кровью с тех пор, как они сожгли здесь на холмах алтари кельтов, столько было дано сражений, что они могли считать доступную часть земли наконец огороженной и расчищенной под пашни. Но не орел и не крест вошли в герб этого города внизу, а солнечное колесо кельтов, то солнце, от которого зреют яблоки Марнетов. Здесь стояли лагерем легионы, а с ними и все боги мира: городские боги и крестьянские, иудейский бог и христианский бог, Астарта и Изида, Митра и Орфей. Отсюда, где сейчас Эрнст из Шмидтгейма стоит возле своих овец, выставив одну ногу вперед, одной рукой подбоченясь, и кончик его шарфа торчит, словно на этих холмах всегда дует ветер,— отсюда начинались дебри. В долине позади него, в затуманенном свете солнца, словно в котле, кипели народы. Север и юг, восток и запад вливались сюда и смешивались, но ничьею не стала страна, и от всех что-то осталось в ней. Точно мыльные пузыри, возникали царства, возникали — и почти сейчас же лопались. Они не оставляли после себя ни защитных валов, ни триумфальных арок, ни военных дорог, только сломанные золотые украшения со щиколоток своих женщин. Там, где шоссе вливается в автостраду, собиралось войско франков, искавшее переправы через Майн. Здесь, между дворами Мангольдов и Марнетов, проезжал в горы монах, в дичь и в глушь,— ведь никто еще не решался переступить эту заповедную границу,— тщедушный человек верхом на ослике, защищенный панцирем веры, опоясанный мечом спасения; он нес людям Евангелие и искусство прививать яблони.

Эрнст, пастух, оборачивается к велосипедисту. В шарфе ему становится жарко, он срывает его, и шарф горит на жнивье, точно знамя. Эрнст делает этот жест словно на глазах у тысяч зрителей. Но только его собачка Нелли смотрит на него. Он снова становится в ту же неподражаемо насмешливую и надменную позу, но

теперь — спиной к дороге, лицом к равнине, где Майн вливается в Рейн. На слиянии лежит Майнц. Этот город поставлял архиепископов Священной Римской империи. И вся равнина между Майнцем и Вормсом бывала во время избрания императора усеяна палатками. Каждый год на этой земле происходило нечто новое, и каждый год то же самое: от мягкого, затуманенного света солнца и от человеческих трудов и забот созревали яблоки и виноград. Вино было нужно всем и на все: епископам и князьям, чтобы избирать императора; монахам и рыцарям, чтобы основывать ордена; крестоносцам, чтобы сжигать евреев — по четыреста человек сразу на площади в Майнце, которая и посейчас называется площадью Огня; духовным и светским курфюрстам, когда Священная империя распалась и на праздниках знати стало так весело, как никогда; якобинцам — чтобы плясать вокруг деревьев свободы.

Двадцать лет спустя на майнцском понтонном мосту стоял в карауле старый солдат. И когда они проходили мимо, эти последние остатки великой армии, оборванные и угрюмые, ему вспомнилось, как он стоял здесь на часах, а они вступали сюда с трехцветными знаменами и правами человека, и он громко заплакал. И этот караульный пост был снят. Стало тише даже здесь, в этой стране. И сюда дотянулись годы тридцать третий и сорок восьмой — двумя тонкими, горькими струйками крови. Затем снова была империя, которую теперь называют Второй. Бисмарк приказал расставить пограничные столбы не вокруг этой земли, а поперек, чтобы отхватить кусок для пруссаков. Ведь жители хоть и не были в прямом смысле бунтовщиками, все же казались слишком равнодушными, как те, кто немало перевидал и еще увидит.

Неужели это бой под Верденом слышали школьники, когда за Цальбахом прикладывали ухо к земле, или это только непрерывно дрожала земля под колесами поездов и шагами марширующих армий? Многие из этих парнишек позднее предстали перед судом, одни — за то, что братались с солдатами оккупационной армии, другие — за то, что подкладывали им под рельсы бикфордов шнур. А на здании суда развевались флаги межсоюзнической комиссии.

Не прошло и десяти лет с тех пор, как эти флаги были спущены и вместо них подняты черно-красно-золотые, которые еще сохраняла тогда «империя». Даже дети помнили, как Сто сорок четвертый пехотный полк опять проходил через мост под звуки военного оркестра. А какой вечером был фейерверк! Эрнсту отсюда было видно. Город на том берегу был полон огней и шума. Тысячи маленьких свастик отражались в воде крендельками. Повсюду кружили бесовские огоньки. Но когда на другое утро река за железнодорожным мостом уходила от города, ее тихая сизая голубизна была все та же. Сколько боевых знамен она уже унесла,

сколько флагов! Эрнст свистнул собачке, и она тащит в зубах его шарф.

Теперь мы на месте. То, что происходит теперь, происходит с нами.

II

Там, где проселочная дорога выходит на Висбаденское шоссе, стоит ларек с сельтерской. Родственники Франца Марнета каждое воскресенье бранят себя за то, что своевременно не арендовали этот ларек, построенный на бойком месте и сделавшийся для владельцев просто золотым дном.

Франц рано выехал из дому, он охотнее всего ездил один и терпеть не мог путаться в густом рое велосипедистов, спешивших каждое утро из деревень Таунуса на гехстские химические заводы. Поэтому он был раздосадован, увидев, что один его знакомый, Антон Грейнер из Буцбаха, ждет его возле ларька с сельтерской.

Тотчас выражение искренней и простой радости исчезло с его лица. Оно стало скучным и простоватым. Этот же Франц Марнет, который был способен не задумываясь пожертвовать жизнью, мог раздражаться от того, что никогда Антон Грейнер не проедет мимо ларька, не купив чего-нибудь; у Антона была славная, преданная девчонка в Гехсте, и он потом совал ей то плитку шоколада, то пакетик леденцов. Грейнер стоял боком, чтобы иметь перед глазами проселочную дорогу. Что это с ним сегодня, подумал Франц, у которого с годами появилась особая чуткость к выражению человеческих лиц. Он сразу увидел, что Грейнер неспроста ждет его с таким нетерпением. Грейнер вскочил на велосипед и покатил рядом с Францем. Они спешили вперед, чтобы не попасть в толпу велосипедистов, становившуюся тем гуще, чем ниже спускалась дорога.

Грейнер сказал:

— Слушай-ка, Марнет. А ведь нынче утром что-то стряслось...

— Где? Что? — спросил Франц. Всякий раз, когда можно было ожидать, что он удивится, его лицо принимало выражение сонливого равнодушия.

— Марнет,— повторил Грейнер,— наверняка нынче утром что-то стряслось...

— Да что?

— Почем я знаю,— сказал Грейнер,— а только стряслось наверняка.

Франц сказал:

— Ах, все ты сочиняешь. Ну что могло стрястись в такую рань?

— Не знаю. Но раз я тебе говорю, можешь не сомневаться. Какая-то чертова история. Вроде как тридцатого июня.

— Да сочиняешь ты все...

Франц уставился перед собой. Как густ был еще туман внизу! Быстро бежала им навстречу равнина со своими фабриками и дорогами. Вокруг них стояли трезвон и брань. Вдруг толпу велосипедистов рассекли эсэсовцы на мотоциклах, Генрих и Фридрих Мессеры из Буцбаха, двоюродные братья Грейнера: они работали в той же смене.

— Как это они тебя не прихватили? — спросил Франц, словно его совершенно не интересовали дальнейшие сообщения Грейнера.

— Им нельзя, у них служба. Так, по-твоему, я сочиняю...

— Да с чего ты взял?

— С потолка взял. Так вот. Моей матери пришлось сегодня из-за этого наследства ехать во Франкфурт, к юристу. Она и занесла молоко Кобишам, потому что ей не поспеть к сдаче. А молодой Кобиш ездил вчера в Майнц закупать вино для трактира. Они там выпили и застряли на ночь, он только сегодня рано утром собрался домой, и около Густавсбурга его не пропустили.

— Ах, Антон!

— Что — ах?..

— Да ведь около Густавсбурга дорога давно закрыта.

— Слушай, Франц, а Кобиш ведь не полоумный. Он говорит, что там усиленный контроль и часовые по обоим концам моста, а какой туман! Думаю, еще нарвусь, говорит Кобиш, сделают мне исследование крови да найдут, что я выпил,— и прощай мои шоферские права. Лучше уж засяду я в «Золотом ягненке» в Вайзенау и опрокину еще кружечку-другую.

Марнет рассмеялся.

— Да, смейся. Ты думаешь, его пропустили обратно в Вайзенау? Ничего подобного, там мост был совсем закрыт. Говорю тебе, в воздухе что-то есть.

Спуск кончился. Справа и слева тянулась обнаженная равнина, где только местами была не убрана репа. Что тут могло быть в воздухе? Ничего, кроме золотых солнечных пылинок, которые над домами Гехста тускнели и превращались в пепел. Но Франц вдруг почувствовал: да, Антон Грейнер прав, в воздухе что-то есть.

Звоня, прокладывали они себе дорогу по узким людным улицам. Девушки взвизгивали и бранились. На перекрестках и у фабричных ворот горели карбидовые фонари. Сегодня, может быть из-за тумана, их зажгли в первый раз на пробу. В их жестком белом свете все лица казались гипсовыми. Франц толкнул какую-то девушку, она огрызнулась и повернула к нему голову. На левый, словно стянутый, изувеченный глаз она спустила прядку

волос, видно, очень наспех — эта прядка, точно флажок, скорее подчеркивала, чем прикрывала шрам. Ее здоровый, очень темный глаз остановился на лице Марнета и на миг как бы приковался к нему. Ему почудилось, будто этот взгляд сразу проник к нему в душу, до тех глубин, которые Франц таил даже от самого себя. И гудки пожарных на берегу Майна, и неистово-белый свет карбидовых фонарей, и брань людей, притиснутых к стене грузовиком,— разве он к этому еще не привык? Или сегодня все это иное, чем обычно? Он силился поймать хоть какое-нибудь слово, взгляд, которые могли бы ему что-то объяснить. Сойдя с велосипеда, он повел его. В толпе он давно потерял обоих — и Грейнера и девушку.

Грейнер еще раз пробился к нему. «Возле Оппенгейма...» — торопливо бросил Грейнер через плечо; при этом он так перегнулся к Францу, что чуть не свалился с велосипеда. Ворота, в которые каждому из них предстояло войти, находились очень далеко друг от друга. Миновав первый контроль, они расставались на долгие часы.

Франц напряженно вслушивался и вглядывался, но ни в раздевалке, ни во дворе, ни па лестнице не мог обнаружить даже следа, даже легчайшего признака иного волнения, чем то, какое наблюдалось каждый день между вторым и третьим гудком сирены; разве только чуть пошумнее были беспорядок и галдеж — как всегда, впрочем, по понедельникам. Да и сам Франц — пусть он жадно отыскивал хоть ничтожный признак тревоги в словах, которые слышал, и в глазах, в которые смотрел,— сам Франц ругался совершенно так же, как и остальные, так же расспрашивал насчет миновавшего воскресенья, так же острил, так же сердито одергивал на себе спецодежду, переодеваясь. И следи за ним кто-нибудь с той же настойчивостью, с какой он следил за всеми, наблюдатель был бы совершенно так же разочарован. Франца даже ненависть кольнула ко всем этим людям,— ведь они просто не замечают, что в воздухе что-то есть, или не желают замечать. Да уж есть ли? Новости Грейнера почти всегда какой-нибудь вздор. А может быть, Мессер, двоюродный брат Грейнера, поручил ему прощупать Франца? В таком случае что он мог заметить? И что Грейнер, собственно, рассказал? Вздор, сущий вздор! Что Кобиш при закупке вина тут же нализался.

Последний сигнал сирены прервал его размышления. Франц поступил па завод совсем недавно и до сих пор испытывал перед началом работы какую-то тревогу, почти страх. Начавшееся шуршанье приводных ремней пропизало его дрожью до корней волос. Но вот они зажужжали ровно и звонко. Первый, второй, пятидесятый нажим на рычаг уже давно позади. Рубашка Франца вымокла от пота. Он облегченно вздохнул. Между мыслями снова на-

чала возникать некоторая связь, хотя она то и дело рвалась, так как он всегда старался работать безупречно. Ни при каких условиях не мог бы Франц работать иначе, работай он хоть на самого дьявола.

Их было здесь наверху двадцать пять человек. Несмотря на то что Франц настойчиво продолжал искать хоть каких-нибудь признаков волнения, ему и сегодня было бы досадно, окажись хоть одна из его пластинок негодной, и не только из-за брака — хотя это могло ему повредить,— но ради самих пластинок. Они должны быть без изъяна и сегодня. При этом он размышлял: Антон упомянул Оппенгейм. Маленький городок между Майнцем и Вормсом. Что может там произойти особенного?

Фриц Мессер, двоюродный брат Антона Грейнера, старший мастер, на минуту остановился возле Франца, затем подошел к его соседу. Когда Фриц ставил свой мотоцикл под навес и вешал в шкаф свой мундир, он становился просто штамповщиком, как и все другие штамповщики. И сейчас он ничем не выделялся, кроме особой, уловимой, может быть, только для Франца интонации в голосе, с какой он крикнул: «Вейганд!» Вейганд был пожилой, волосатый, коренастый человек, по прозванию «Кочанчик». Хорошо, что его голосок, высокий и звонкий, слился с жужжанием приводного ремня, когда он, собирая пылеобразный отвал, проговорил, почти не открывая рта:

— Ты слышал? В Вестгофенском концлагере...

Франц, вглядевшись, увидел в ясных, почти прозрачных глазах Кочанчика те крошечные светлые точечки, которых так мучительно искал: словно где-то глубоко внутри человека горит яркое пламя, и только затаенные искорки брызжут из глаз. «Наконец-то»,— подумал Франц. А Кочанчик уже стоял возле следующего.

Франц бережно вставил металлическую полосу, нажал рычаг, еще, еще и еще. Наконец, наконец, наконец-то. Если бы он мог сейчас же все бросить и побежать к своему другу Герману! Его мысль снова перескочила на другое. Что-то в этой новости по-особому затронуло его. Что-то в ней по-особому его взбудоражило, вцепилось в него и грызло, хотя он еще не знал, как и почему. Значит, бунт в лагере, говорил он себе, может быть, большой побег... Вдруг он понял, что именно во всем этом так затрагивает его. Георг!.. Какой вздор, решил он тут же. Почему непременно Георг? Георга может там уже и не быть. Или, что тоже вполне вероятно, он умер. Но к его собственному голосу как бы примешивался голос Георга, далекий и насмешливый: нет, Франц, если в Вестгофене что-то произошло,— значит, я еще жив.

В последние годы Франц и в самом деле поверил, что может вспоминать о Георге совершенно так же, как о других заключен-

ных. Как о любом из тех тысяч, о которых вспоминаешь с яростью и скорбью. Он и в самом деле поверил, что их с Георгом давно уже связывают только крепкие узы общего дела, юность, проведенная под звездами тех же надежд, а не былые, мучительно врезавшиеся в тело узы, которые оба они старались когда-то разорвать. Старая история давно позабыта, решительно внушал он себе. Ведь Георг стал другим, так же как и он, Франц, стал другим... Он скользнул взглядом по лицу соседа: или Кочанчик и тому сказал? Разве можно было после этого так спокойно штамповать, продолжая аккуратно вкладывать полосу за полосой? Если там действительно что-нибудь случилось, решил Франц, Георг наверняка замешан. Потом на него опять нашли сомнения: нет, ничего не случилось, Кочанчик просто сбрехнул.

Когда Франц во время обеденного перерыва зашел в столовую и заказал себе светлого пива (суп он ел только вечером, у родных, а сюда приносил с собой хлеб, колбасу и сало — после долгой безработицы он копил на костюм и, если хватит, на куртку с застежкой «молнией», хотя еще неизвестно, сколько времени ему будет дано носить этот костюм), около стойки кто-то сказал:

— А Кочанчик-то арестован.

Другой добавил:

— За вчерашнее. Выпил лишнее и такое натворил...

— Ну, не из-за этого же; верно, еще что-нибудь...

Еще что-нибудь? Франц уплатил за пиво и прислонился к стойке. Так как все вдруг заговорили вполголоса, до него доносилось только какое-то тихое чириканье: «Кочанчик... Кочанчик...»

— Да, вот и влип,— сказал Францу его сосед Феликс, друг Мессера. Он пристально посмотрел на Франца. На его правильном, почти красивом лице было насмешливое выражение, ярко-синие глаза казались слишком холодными для молодого лица.

— Из-за чего влип? — спросил Франц.

Феликс вздернул плечи и поднял брови,— он, видимо, сдерживал смех. Если бы сейчас отправиться к Герману, опять подумал Франц. Но поговорить с Германом раньше вечера не удастся. Вдруг он заметил Антона Грейнера, пробиравшегося к стойке. Верно, Антону удалось под каким-нибудь предлогом получить пропуск, обычно он никогда не бывал ни в этом корпусе, ни даже в этой столовой. И почему он вечно ждет меня, думал Франц, почему ему хочется рассказывать свои басни именно мне?

Антон схватил его за локоть, но тотчас отпустил, точно боялся этим привлечь внимание. Он отодвинулся к Феликсу и выпил свое пиво, затем опять повернулся к Францу. А все-таки у него честные глаза, подумал Франц. Он недалекий человек, но искренний. И его тянет ко мне, как меня тянет к Герману... Антон схва-

тил Франца под руку и начал рассказывать; его голос тонул в шуме и шаркапье уходивших из столовой рабочих, так как обеденный перерыв кончился.

— Там, на Рейне, несколько человек бежало из Вестгофена, что-то вроде штрафной команды! Мой двоюродный брат ведь сейчас же узнает о таких вещах. И говорят, большинство уже сцапали. Вот и все.

III

Сколько он ни обдумывал побег, один и с Валлау, сколько ни взвешивал каждую мелочь и ни пытался представить себе бурное течение своей новой жизни, в первые минуты после побега он был только животным, вырвавшимся на свободу, которая для него — жизнь, а к западне еще прилипли шерсть и кровь.

С той минуты, как побег был обнаружен, вой сирен разносился по окрестностям на многие километры и будил деревушки, окутанные густым осенним туманом. Этот туман глушил все, даже лучи мощных прожекторов, которые обычно прокалывают наичернейшую ночь. Сейчас, почти в шесть утра, они задыхались в рыхлой мгле, едва окрашивая ее в желтоватый цвет.

Георг пригнулся еще ниже, хотя трясина под ним оседала. Засосать успеет, пока выберешься отсюда! Жесткий кустарник топорщился и выскальзывал у него из рук, которые побелели, осклизли и застыли. Ему чудилось, что он погружается все быстрее и глубже,— собственно говоря, его должно было уже затянуть. Хотя он бежал, спасаясь от верной смерти,— и он, и остальные шестеро были бы, без сомнения, в ближайшие дни убиты,— смерть в трясине казалась ему простой и нестрашной. Словно эта смерть — другая, чем та, от которой он бежал, смерть среди диких зарослей, на воле, не от рук человеческих.

На высоте двух метров над ним, на дамбе между ивами, бегали часовые с собаками. И собаки и часовые точно взбесились от воя сирен и плотного влажного тумана. Волосы Георга встали дыбом, он весь ощетинился — кто-то выругался совсем рядом, он узнал голос Мансфельда. Значит, уже оправился от удара, ведь Валлау здорово хватил его лопатой по голове. Георг выпустил из рук кустарник и сполз еще глубже. Он наконец ощутил под ногами тот выступ, который мог здесь служить опорой. Он это предусмотрел еще тогда, когда имел силы вместе с Валлау все заранее высчитать.

Вдруг началось что-то новое. Лишь через несколько мгновений он понял, что не началось, а, наоборот, кончилось — вой сирены. Новой была тишина, в которой особенно громко раздавались то

отрывистые свистки, то приказания, доносившиеся из лагеря и из наружного барака. Часовые над ним пробежали за собаками к дальнему концу дамбы. Другие бежали от наружного барака, выстрел, еще, плеск, и хриплый лай собак заглушает другой, тонкий лай, который против собачьего совершенно бессилен, да и не собачий это, но и не человеческий голос, и, вероятно, в человеке, которого они сейчас тащат, не осталось уже ничего похожего на человеческое существо. Это Альберт, подумал Георг. Действительность может обладать такой подавляющей силой, что она кажется сном, хотя какие уж тут сны! Значит, поймали, подумал Георг, как думают во сне. Значит, поймали. Неужели нас теперь осталось только шестеро?

Туман был все еще очень плотен, хоть ножом режь. Вдали за шоссе вспыхнули два огонька, а кажется — у самых камышей. Эти отдельные острые точки легче прокалывали туман, чем широкие лучи прожекторов. Один за другим загорались огни в крестьянских домах, деревни просыпались. Вскоре круг из огоньков сомкнулся. Таких вещей не бывает, думал Георг, мне просто пригрезилось. Ему неудержимо захотелось покончить со всем этим, бросить все. Ведь достаточно только присесть, затем бульканье — и конец... Прежде всего успокойся, сказал ему Валлау. Валлау, верно, тоже сидит где-нибудь поблизости, в ивняке. Стоило Валлау кому-нибудь сказать: прежде всего успокойся,— и человек сейчас же успокаивался.

Георг ухватился за кустарник. Он медленно пополз вбок. Он был, вероятно, не больше чем метрах в шести от последнего куста, как вдруг, в минуту необычайного прояснения мыслей, его потряс такой приступ страха, что он так и остался висеть на откосе, плашмя, животом к земле; и так же внезапно, как появился, страх исчез.

Беглец дополз до куста. Сирена вторично завыла. Ее, наверно, слышно было далеко по ту сторону Рейна. Георг уткнулся лицом в землю. Спокойствие, спокойствие, сказал ему Валлау из-за плеча. Георг перевел дыхание, повернул голову. Все огни погасли. Туман стал тонким и прозрачным, как легкая золотая ткань. По шоссе ракетами пронеслись фары трех мотоциклов. Завывание сирены, казалось, набухает, хотя оно на самом деле только равномерно усиливалось и ослабевало, неистово вливаясь в мозг людям далеко отсюда. Георг снова уткнулся лицом в землю,— по дамбе над ним преследователи бежали обратно. Он только покосился уголком глаза. Прожекторам уже нечего было выхватывать, они совсем померкли в утренних сумерках. Только бы не сразу поднялся туман. Вдруг трое стали спускаться по откосу меньше чем в десяти шагах от Георга. Георг опять узнал голос Мансфельда.

Ибста он узнал по ругательствам, не по голосу, который от ярости стал тонким — бабий визг. Третий голос, так ужасающе близко,— да они мне сейчас на голову наступят, подумал Георг,— был голос Мейснера, он каждую ночь раздавался в бараках, вызывая то одного, то другого заключенного. Две ночи назад он вызвал в последний раз его, Георга. И сейчас Мейснер после каждого слова чем-то рассекал воздух. Георг чувствовал даже легкий ветерок. Вот сюда... Прямо вниз... Скоро, что ли?

Второй приступ страха — точно рука, сдавившая сердце. Только бы не быть сейчас человеком, пустить корни, стать стволом ивы среди ив, обрасти корой и ветвями. Мейснер спустился вниз и заревел как бык. Вдруг он смолк. Он увидел меня, решил Георг и почувствовал внезапное спокойствие, страха уже ни следа. Это конец! Прощайте все.

Мейснер спустился еще ниже, к остальным. Они лазали по болоту между дамбой и дорогой. В данную минуту Георг был спасен, потому что находился гораздо ближе, чем они могли предполагать. Если бы он тогда побежал, они теперь уже нашли бы его в болоте. Как странно, что он, обезумевший и затравленный, все-таки с железным упорством держался собственного плана! Эти собственные планы, выношенные бессонными ночами! Какую власть они имеют над человеком в те мгновения, когда все планы рушатся и напрашивается мысль, что кто-то другой создавал за тебя планы. Но и этот другой — ты сам.

Сирена снова смолкла. Георг пополз вбок и одной ногой поскользнулся. Где-то рядом заметался болотный стриж, и Георг от испуга выпустил кустарник. Стриж нырнул в камыш, раздался сухой, резкий шорох. Георг прислушался. Они, конечно, тоже все прислушиваются. Если бы не быть человеком! А если уж быть, так зачем непременно Георгом? Камыш снова распрямился, никого не видно, да ничего, собственно, и не произошло, только птица заметалась на болоте. Все же Георг не в силах был пошевельнуться — колени исцарапаны, плечи онемели. Вдруг он увидел в кустах маленькое бледное остроносое лицо Валлау... из-за каждого куста на него смотрело лицо Валлау.

Затем это прошло. Он стал почти спокоен. Он холодно подумал: Валлау, Фюльграбе и я пробьемся. Мы трое самые крепкие. Бейтлера уже схватили. Беллони, может быть, тоже проскочит. Альдингер слишком стар. Пельцер слишком мямля. Когда Георг наконец перевернулся на спину, он увидел, что уже наступил день. Туман поднимался. Золотистый прохладный осенний свет лежал над землей, которую можно было бы назвать мирной. На расстоянии метров двадцати Георг увидел два больших плоских камня с белыми краями. До войны дамба служила дорогой на

отдаленный хутор, давно уже снесенный или сгоревший. В те годы болото, должно быть, начали осушать; потом его снова затопило вместе с тропинками, которые вели от дамбы к дороге. Вероятно, тогда и были втащены сюда с берега Рейна эти камни. Между камнями кое-где осталась твердая земля, а над ней смыкался камыш. Образовался как бы туннель, по которому можно было проползти на животе.

Эти несколько метров до первого, серого с белыми краями, камня были самой опасной частью пути, почти без прикрытия. Георг крепко вцепился в кустарник, отпустил сначала одну руку, затем другую. Ветви распрямились; с легким шорохом поднялась какая-то птица,— может быть, та самая.

И вот он уже у второго камня; кажется, будто его перенесли сюда в одно мгновенье чьи-то крылья. Если бы он только не так продрог!

IV

Что вся эта немыслимая чертовщина — только дурной сон, от которого он сейчас проснется, нет, только воспоминание о дурном сне,— это чувство Фаренберг испытывал еще долго после того, как ему доложили о случившемся. Правда, Фаренберг как будто с полным хладнокровием принял все меры, каких требовало подобное происшествие. Нет, не Фаренберг, ведь даже самый страшный сон не требует никаких мероприятий: их придумал за начальника кто-то другой, это должный ответ на событие, которого и быть-то не могло.

Когда секунду спустя после его приказа завыла сирена, он осторожно перешагнул через длинный шнур от лампы — препятствие из дурного сна — и подошел к окну. Почему воет сирена? Там, за окном, нет ничего — вид, вполне отвечающий событию, которого и быть не могло.

Даже и мысли не мелькнуло у него, что это ничто все-таки нечто, а именно — густой туман.

Фаренберг пришел в себя от того, что Бунзен зацепился за один из шнуров, тянувшихся через канцелярию в спальню начальника. Фаренберг вдруг зарычал,— разумеется, не на Бунзена, а на Циллиха, который только что рапортовал ему о происшествии. Но Фаренберг зарычал не потому, что до него наконец дошел смысл рапорта — единовременный побег семи заключенных,— а чтобы избавиться от давящего кошмара. Бунзен, на редкость красивый человек, метр восемьдесят пять сантиметров ростом, еще раз обернувшись, сказал: «Прошу извинения», и нагнулся, чтобы снова вставить штепсель. У Фаренберга было особое пристрастие

к электропроводкам и телефонным установкам. В этих двух комнатах имелось множество проводов и штепселей и вечно производились какие-то починки. Случайно на истекшей неделе был освобожден заключенный Дитрих из Фульды, электротехник по профессии; освобождение последовало как раз после того, как он закончил новую проводку, оказавшуюся затем довольно неудобной. Бунзен подождал, пока Фаренберг нарычится, и только в глазах его искрилась недвусмысленная насмешка. Затем он вышел. Фаренберг и Циллих остались одни...

На крыльце Бунзен закурил папиросу, он затянулся всего один раз и отшвырнул ее. С вечера он был отпущен и сейчас имел в запасе еще полчаса — будущий тесть привез его на своей машине из Висбадена.

Между канцелярией коменданта, прочным кирпичным зданием, и бараком номер три, вдоль которого росло несколько платанов, находилось нечто вроде площадки, которую начальники между собой называли «площадкой для танцев». Здесь, под открытым небом, сирена особенно назойливо сверлила мозг. Чертов туман, подумал Бунзен.

Отряд построился.

— Брауневель! Прикрепите карту вон к тому дереву. Так. Подойти! Слушать! — Бунзен воткнул острие циркуля в красную точку на карте «Лагерь Вестгофен» и описал вокруг нее три круга.— Сейчас шесть поль пять. Побег произошел в пять сорок пять. До шести двадцати ни один человек, даже при исключительной быстроте, не может уйти дальше этой вот точки. Значит, они должны находиться примерно где-нибудь тут, между вот этим и этим кругом. Брауневель! Закрыть дорогу между деревнями Боценбах и Оберрейхенбах. Мейлинг! Закрыть дорогу между Унтеррейхенбахом и Кальгеймом. Никого не пропускать! Держать связь друг с другом и со мной. Прочесать все окрестности мы сейчас не можем. Подкрепление придет только через пятнадцать минут. Вилли! Этот внешний круг касается в этой точке правого берега Рейна. Занять дорогу между перевозом и Либахерау. Запять переправу! В Либахерау поставить часовых.

Туман все еще так густ, что циферблат его часов светится. Он слышит клаксоны эсэсовских мотоциклов, они выехали из лагеря. Сейчас Рейхенбахское шоссе уже занято. Он подходит к карте. Сейчас в Либахерау уже стоят часовые. Все, что только можно было сделать в первые минуты, сделано. А Фаренберг уже, наверно, сообщил в главное управление. Да, не повезло старику, размышлял Бунзен. Завоеватель Зелигенштадта! Не желал бы я быть сейчас в его шкуре! Зато в своей шкуре Бунзен чувствовал себя превосходно, точно по мерке сшил ее портной — господь бог!

И потом, как ему опять повезло! Побег произошел в его отсутствие, а он является назад чуть свет — и как раз вовремя, чтобы принять участие в поисках. Повернувшись к комендантскому бараку, Бунзен прислушивается сквозь вой сирен, продолжает ли старик бушевать или успокоился после второго приступа ярости.

Циллих остался наедине с начальником. Он внимательно наблюдает за ним, в то же время стараясь связаться по прямому проводу с главным управлением. За такую дерьмовую работу этого проклятого Дитриха из Фульды следовало бы завтра же опять посадить! Только даром теряешь время с этими чертовыми штепселями. Драгоценные секунды, в течение которых семь точек уходят все дальше и быстрее в бесконечность, где их уже не настигнешь. В конце концов главное управление ответило, и он передал донесение о побеге, так что Фаренбергу за десять минут пришлось прослушать его два раза. Хотя черты его и сохраняли выражение неподкупной суровости, которое давно было в них запечатлено, невзирая на слишком куцый нос и подбородок,— его нижняя челюсть отвалилась. Бог, о котором он вспомнил в эту минуту, не мог допустить, чтобы донесение оказалось правдой и чтобы из его лагеря одновременно бежали семь заключенных. Фаренберг уставился на Циллиха, и тот ответил ему унылым и мрачным взглядом, полным раскаяния, скорби и сознания своей вины. Фаренберг был первым человеком на свете, отнесшимся к нему с полным доверием. Циллих нисколько не удивлялся тому, что случилось: ведь когда человек идет в гору, непременно что-нибудь да станет поперек дороги. Разве не попала в него в ноябре 1918 года эта подлая пуля? Разве не была продана с молотка его усадьба всего за месяц до издания нового закона? Разве та стерва не узнала его и не засадила в тюрьму шесть месяцев спустя после поножовщины? Два года Фаренберг дарил его своим доверием и поручал то, что они называли между собой «пропускать через сепаратор», то есть подбор штрафной команды, в которую входили заключенные, подлежавшие особенно суровому режиму, а также назначение соответствующей охраны.

Вдруг зазвонил будильник, который Фаренберг, по старой привычке, ставил на стул возле походной кровати. Шесть пятнадцать. Сейчас Фаренберг встал бы, а Бунзен доложился бы о возвращении из отпуска. Начался бы обыкновенный день — обыкновенный день Фаренберга, начальника лагеря Вестгофен.

Фаренберг вздрогнул. Он подобрал челюсть. Несколько быстрых движений — и он был одет. Он провел мокрой щеткой по волосам, вычистил зубы. Затем подошел сзади к Циллиху, опустил глаза на его бычью шею и сказал:

— Ну, мы их живо вернем.

Циллих ответил:

— Так точно, господин начальник!

Затем он внес несколько предложений — в общем, все то, что гестапо осуществило позднее, когда о Циллихе уже и думать забыли. Его предложения обычно свидетельствовали о трезвом уме и сметливости.

Вдруг Циллих замолчал, оба они прислушались. Откуда-то издалека донесся пронзительный и тонкий, пока необъяснимый звук, но его не могли заглушить ни рев сирены, ни слова команды, ни начавшееся снова шарканье ног на «площадке для танцев». Циллих и Фаренберг посмотрели друг на друга. «Окно!» — сказал Фаренберг. Циллих распахнул окно, в комнату хлынул туман и этот странный звук. Фаренберг вслушался и сейчас же вышел. Циллих последовал за ним. Бунзен как раз собирался распустить эсэсовцев, когда началась сумятица. На «площадку для танцев» волокли Бейтлера, первого из пойманных беглецов.

Последнюю часть пути, мимо еще не успевших разойтись эсэсовцев, Бейтлер проехал по земле. Не на коленях, а боком, вероятно от пинка, который перевернул его лицом вверх. Когда он подкатился под ноги Бунзену, тот наконец понял, что было странного в этом лице. Оно смеялось. Этого человека, лежавшего перед ним в окровавленных лохмотьях — кровь текла у него из ушей,— сводило судорогой беззвучного смеха, так что обнажились крупные влажные зубы.

Бунзен перевел взгляд с этого лица на лицо Фаренберга. Фаренберг смотрел вниз на Бейтлера. Его губы тоже растянулись, зубы оскалились: секунду казалось, что они улыбаются друг другу. Бунзен знал своего начальника и знал, что теперь последует. Его юношеские черты изменились, как они менялись всегда в такие минуты: ноздри расширились, уголки рта задергались, все лицо, которое природа одарила сходством с Зигфридом или с архангелом в светлой броне, чудовищно исказилось.

Однако ничего не произошло.

В ворота лагеря вошли следователи Оверкамп и Фишер. Они остановились возле группы Бунзен — Фаренберг — Циллих, сразу поняли, в чем дело, что-то торопливо друг другу сказали. Затем Оверкамп, ни к кому в отдельности не обращаясь, проговорил совсем тихо, но голосом, сдавленным от ярости и от усилий сдержать ее:

— Так это называется у вас — водворить обратно? Поздравляю. Теперь вам остается одно — поскорее вызвать врачей-специалистов, чтобы они этому субъекту как-нибудь подштопали почки, кишки и уши, а то мы и допросить-то его не сможем! Умники! Умники! Поздравляю!

V

Туман поднялся уже так высоко, что лежал над деревьями и домами, словно пушистое небо. И солнце, мглистое, точно лампа в кисейном чехле, висело над ухабистой деревенской улицей Вестгофена.

Только бы туман еще подержался, думали одни, не то солнце засушит виноградники перед самым сбором винограда. Только бы туман поскорее рассеялся, думали другие, ведь винограду еще чуть-чуть дозреть осталось.

Однако такие заботы в самом Вестгофене были у немногих. Жители этой деревни были не виноградарями, а огуречниками. В стороне от шоссе на Либахерау стоял уксусный завод Франка. За широкой канавой до самой заводской дороги тянулись огуречные поля. «Виноградный уксус и горчица, Маттиас Франк и сыновья». Валлау советовал Георгу запомнить эту вывеску. Когда он выберется из камыша, ему придется проползти десять метров без прикрытия, а затем по канаве, по ее левому рукаву, который тянется вдоль поля.

Раздвинув камыш, он высунул голову: туман уже поднялся так высоко, что открылась группа деревьев за уксусным заводом; солнце было у Георга за спиной, и эта группа деревьев запылала, словно вспыхнув собственным огнем. Сколько времени он уже ползет? Его одежда осклизла, как и земля вокруг. Останься он здесь лежать, никто его не найдет. Никакого шуму вокруг него не поднимется, только карканье да шелест крыльев. Потерпеть еще две-три недельки, и то, что от него останется, просто покроет кора мерзлого снега. Видишь, Валлау, до чего легко сорвать твой премудрый план! Ведь Валлау и не подозревал, каким свинцовым окажется это тело, которое приходится волочить по открытому месту, как будто волочишь за собой всю трясину. Со стороны Либахерау донесся свист. Ответный свист раздался так угрожающе близко, что Георг припал к земле. Ползи вперед, советовал ему Валлау, который пережил и войну, и рурские бои, и бои в Средней Германии, и вообще все, что только можно пережить на свете. Ползи вперед, Георг, и не вздумай вообразить, что тебя обнаружили. Многие только оттого и попадаются, что вдруг вообразят, будто их обнаружили, и тут же наделают каких-нибудь глупостей.

Из-за края канавы Георг выглянул между увядшими кустами на дорогу. Часовой стоял так близко, там, где дорога через огуречное поле выходила на шоссе, так ошеломляюще близко, что Георг даже не испугался, но почувствовал ярость. Так осязаемо близко стоял тот на фоне кирпичной стены, что не наброситься на

него, а, наоборот, спрятаться — было мучительно. Часовой медленно зашагал по дороге, мимо завода, в сторону Либахерау, а сзади, из коричнево-серой дали, ему сверлили спину две пылающие точки чьих-то глаз. Часовой непременно должен обернуться, ведь сердце Георга стучит, точно мельничное колесо,— а на самом деле оно, в смертельном страхе, билось тише птичьего крыла. Георг пополз дальше по канаве, почти до того места дороги, где только что стоял часовой. Валлау еще говорил, что канава здесь уходит под дорогу, но тянется ли она дальше и куда, этого и Валлау не знал. На этом кончилось и его предвидение. Только сейчас Георг почувствовал себя совершенно покинутым. Спокойствие! Одно это слово еще оставалось в нем; одно это звучание, этот голос друга, как амулет. Канава, решил он, наверно, проходит под заводом и служит стоком. Надо дождаться, пока часовой повернет. Часовой остановился на краю канавы, засвистал. С Либахерау донесся ответный свисток. Теперь Георг мог высчитать расстояние между свистками, и вообще он теперь только и делал, что высчитывал. Каждая точка его сознания была мобилизована, каждый мускул напряжен, каждая секунда заполнена, вся его жизнь была необычайно уплотнена, он задыхался в ней, ему было тесно. Но когда он затем втиснулся в зловонный липкий сток, он вдруг почувствовал дурноту. Разве можно ползти по такой канаве? В ней можно только задохнуться; и его охватило бешенство, ведь он все-таки не крыса, и это не место для кончины. Но непроглядная тьма поредела, он увидел смутный трепет водной ряби. К счастью, территория завода была невелика, метров сорок. Когда он вылез по ту сторону стены, оказалось, что поле слегка поднимается в гору, к шоссе, и его пересекает ведущая вверх тропинка. В углу, между стеной и тропинкой, была куча отбросов. Георг не мог идти дальше. Он присел, и его стошнило.

В поле появился старик; на перекинутой через плечо веревке он нес два ведра, надеясь раздобыть у заводского сторожа корм для кроликов. В Вестгофене его прозвали «Грибком». Уже шесть раз задерживали сегодня старика во время его короткого путешествия, и каждый раз он называл себя: Готлиб Гейдрих из Вестгофена, по прозванию «Грибок». Значит, опять что-нибудь стряслось в лагере, решил Грибок, под вой сирен медленно пересекая поле со своими ведрами. Как прошлым летом, когда один из этих бедняг хотел удрать, а они его подстрелили. Еще сирена не довыла, как его уже прикончили. Никогда здесь такого безобразия не было! И надо же им было прямо под носом у крестьян лагерь устроить! Правда, теперь хоть заработать можно в этих местах, а то раньше едва перебивались, каждый кусок приходилось тащить на рынок. Верно ли, что земля, которую эти бедняги осушают,

будет потом сдана в аренду крестьянам?.. Пожалуй, и не мудрено, что те бегут отсюда. А цена за аренду, говорят, будет ниже, чем в Либахе.

Так размышлял Грибок и еще раз обернулся, дивясь, зачем этот невероятно загаженный человек сидит у проселочной дороги на куче отбросов. Когда он увидел, что незнакомца рвет, он успокоился: все-таки объяснение.

А Георг даже не видел старика, он пошел дальше. Он предполагал свернуть на Эрленбах, далеко в сторону от Рейна, но не отважился перейте шоссе. Он изменил свой план, если можно назвать планом внезапное внушенье минуты. Съежившись, опустив голову, он зашагал через поле — вот его окликнут, выстрелят. Он пнул носком рыхлую землю — сейчас, сейчас, дорогая. Сначала они окликнут меня, решил Георг, потом щелкнет выстрел. Его колени подогнулись, неудержимо потянуло броситься наземь. Но тут ему пришло в голову: они прострелят мне только ноги и возьмут живьем. Он закрыл глаза. Вместе с утренним свежим ветром он почувствовал прилив такой беспредельной скорби, которая человеку просто не по силам. Он заковылял дальше и вдруг остановился. У его ног на проселке лежала узенькая зеленая ленточка. Он уставился на нее, словно она сейчас только упала с неба на пашню. Потом поднял.

И вот, как будто она выросла из земли, перед ним очутилась девочка. На ней был фартук с рукавами, волосы расчесаны на пробор. Они уставились друг на друга. Затем девочка опустила глаза на его руку. Он слегка дернул девочку за косу и отдал ей ленту.

Тогда девочка побежала к старухе, к бабушке, которая тоже вдруг оказалась на дороге.

— Теперь будешь заплетать косу бечевкой, так и знай,— сказала старуха и засмеялась. Георгу она сказала: — Хоть каждый день давай ей новую ленту.

— А вы отрежьте ей косы,— посоветовал он.

— Вот, придумал еще! — Старуха принялась разглядывать его.

Но тут Грибок, добравшийся тем временем до уксусного завода, крикнул у них за спиной:

— Эй! Корзиночка!

Так звали старуху все обитатели Вестгофена, потому что она вечно таскала с собой всякий хлам, нужный и ненужный,— пластырь, нитки, конфеты от кашля. Подняв иссохшую руку, она стала махать Грибку, с которым в молодости танцевала и за которого чуть не вышла замуж, и вокруг ее беззубого рта и на сморщенных щечках появилось то жуткое оживление, с каким веселятся глубокие старики, у которых уже косточки стучат.

А Грибок, видя, что этот невероятно испачканный неведомый человек — он, может быть, все-таки имеет отношение к уксусному заводу — уходит со старухой и девочкой, вдруг окончательно успокоился относительно чего-то, что его неизвестно почему тревожило. Георг же, идя позади старухи и девочки, чувствовал себя так, точно он хоть на несколько минут принят в число живых. Оказалось, что проселочная дорога ведет не только в деревню, как думал Георг, она разветвлялась на две: одна шла в деревню, другая — к шоссе. Старуха сунула ленту в карман, к прочей дряни, и потянула за косу девочку, которая едва удерживала слезы.

— Слышали, какое тут было представление — уи... уи... Вот дудели! Теперь-то тихо. Сцапали его. Несладко ему теперь. Уи-и, уи-и.— Корзиночка то подвывала, то хихикала. На перекрестке она остановилась.— Поднялся туман-то! Гляди-ка!

Георг посмотрел вокруг. В самом деле, туман поднялся, бледно-голубое осеннее небо сияло, чистое и ясное.

— Уи-и, уи-и! — пропищала старуха, так как два — нет, уже три самолета, сверкнув, ринулись вниз и принялись описывать над самой землей, над крышами Вестгофена, над болотом и над полями широкие круги.

Стараясь держаться как можно ближе к старухе и к ее внучке, Георг шагал в сторону шоссе.

Никого не встретив, они прошли метров десять. Старуха смолкла. Казалось, она все забыла — Георга и девочку, солнце и самолеты — и погрузилась в раздумье о тех днях, когда Георга еще и на свете не было. А Георг старался идти совсем рядом с ней, охотнее всего он ухватился бы за ее юбку. Это же не на самом деле; ему только снится, что он идет со старухой, держась за ее юбку, а она не замечает. Сейчас он проснется и услышит, как в бараке орет Логербер...

Справа началась длинная стена, утыканная поверху битым стеклом. Они прошли несколько шагов вдоль стены, очень близко друг к другу, Георг — позади. Вдруг, без гудка, вынырнул мотоцикл. Если бы старуха сейчас обернулась, ей пришлось бы поверить в то, что Георг провалился сквозь землю. Мотоцикл пронесся мимо.

— Уи-и, уи-и! — заныла старуха, снова семеня по дороге. Георг исчез не только с ее пути, но и из ее памяти.

А Георг лежал по ту сторону стены, его руки были в крови от стекол, левую руку, около большого пальца, он распорол, изорвана была и одежда, так что видно было тело.

Соскочат они сейчас с мотоцикла, чтобы схватить его, или нет? Из низкого красного кирпичного здания с множеством окон

доносились голоса, высокие и низкие, целый хор задорных мальчишеских голосов. Какое слово хотели они запечатлеть в его мозгу, какую фразу — в этот его смертный час? С противоположной стороны появился еще мотоцикл и пронесся мимо — в лагерь Вестгофен. Но Георг не испытал облегчения и только сейчас почувствовал, как болит рука; он, кажется, готов был откусить себе руку у кисти.

Вдоль боковой стены красного здания — это было сельскохозяйственное училище — тянулась оранжерея. Главный вход в здание и крыльцо находились с этой стороны, против оранжереи. Между фасадом училища и оградой стоял сарай, заслонявший от Георга всю остальную часть усадьбы. Георг переполз в сарай. Внутри было тихо и темно. Вскоре его глаза различили толстые связки лыка, висевшие на стене, разную утварь, корзины и одежду. Так как теперь все зависело уже не от его сообразительности, а лишь от того, что люди называют удачей, он стал спокоен и холоден. Оторвал какой-то лоскут. Перевязал левую руку, придерживая лоскут зубами. Не спеша принялся выбирать и, наконец, остановился на плотной коричневой куртке из вельвета с застежкой «молнией». Он напялил ее поверх своего пропитанного кровью и потом рванья. Подобрал себе обувь по ноге. Тут же нашлись и рабочие брюки. Башмаки были совсем новые. А вот выйти отсюда ему не удастся. Он выглянул в щель. Люди в окнах, люди в оранжерее. Кто-то сошел с крыльца, направился к оранжерее, остановился перед дверью лицом к сараю. Парня позвали из окна, и он возвратился в здание училища. Наступила тишина. Солнце отражалось в стеклах и в отшлифованных плоскостях какой-то машинной части, которая лежала, полузапакованная, возле крыльца.

Георг вдруг ринулся к двери и выдернул ключ. Он засмеялся, сел на пол спиной к двери и стал рассматривать свои башмаки. Две, три минуты продолжалось это состояние — последнее отступление в самого себя, когда все в мире потеряно и человеку на все наплевать. Если они сейчас войдут, ударить мотыгой или граблями? Что заставило его опомниться, он и сам не знал, во всяком случае, это не пришло извне,— может быть, боль в руке, может быть, какие-то отзвуки голоса Валлау в его ушах. Он снова вставил ключ и выглянул в дверную щель. Опять перелезть через стену и вернуться на шоссе он не мог. Между утыканной битым стеклом степой и небом тянулся коричневый контур холма с виноградником; воздух был так прозрачен, что можно было пересчитать верхушки виноградных лоз в последнем ряду, выступавшие над бледно-коричневой каймой. И когда Георг тупо созерцал этот верхний ряд лоз, кто-то вдруг дал ему совет, кто-то, кого он не знал,— ибо Георг уже не помнил, сам ли Валлау в Руре, или кули

в Шанхае, или шуцбундовец в Вене тем спасся от опасности, что взял и понес на плече какой-то предмет, который отвлек от него внимание,— ведь такая ноша указывает на определенную цель пути и узаконивает несущего. И вот, когда Георг сидел в сарае, он, этот незримый советчик, напомнил ему о том, что кто-то находившийся в подобном же положении этим способом спасся — не то из дома в Вене, не то с хутора в Рурской области, не то из оцепленной улочки в Шанхае. И хотя Георг не знал — было ли у советчика знакомое лицо Валлау, или желтое, или бронзовое, совет он понял: возьми машинную часть, что лежит у двери. Ведь выйти все равно нужно. Может быть, не удастся, но другой возможности нет. Правда, твое положение особенно отчаянное, но ведь и мое тогда...

Потому ли, что его просто не заметили или приняли за рабочего машиностроительного завода или за того, чью куртку он надел, но ему удалось благополучно пройти между оранжереей и крыльцом и выйти за ворота на дорогу перед обращенным к полям фасадом училища. Боль в левой руке была так сильна, что минутами заглушала даже страх. Георг шагал по дороге, тянувшейся параллельно шоссе вдоль нескольких домов. Они все смотрели на поля, а верхними окнами, может быть, даже на Рейн. Самолеты все еще гудели, небо, голубея, вышло из тумана; должно быть, скоро полдень. Язык у Георга пересох, грубая, заскорузлая, облепленная грязью одежда под курткой жгла тело, нестерпимо мучила жажда. На левом его плече покачивалась машинная часть, на которой болтался ярлычок фирмы. Он как раз собирался поставить свою ношу на землю и перевести дух, когда его остановили.

Это был один из двух патрулирующих мотоциклистов, должно быть заметивший его с шоссе в просвете между двумя домами: силуэт ничуть не подозрительного, идущего полями человека, с ношей на плече, на фоне тихого полуденного неба. Мотоциклист остановил его, как останавливал каждого. И сейчас же кивком отпустил, как только Георг показал на ярлычок фирмы. Быть может, Георг спокойно дошел бы до Оппенгейма или еще дальше — по крайней мере, его незримый советчик, который помог ему выбраться из сарая, рекомендовал сделать именно так. Он почти слышал тихий, но настойчивый голос, твердивший: иди вперед, иди вперед! Но окрик патруля отнял у него мужество, и он вдруг потащил свою машинную часть от шоссе в глубь полей, к Рейну, в сторону деревни Бухенау. Чем сильнее билось от страха его сердце, тем тише становился голос, предостерегавший его от полевой дороги, пока не был наконец совершенно заглушен его неистовым сердцебиением и полуденным звоном колокола в Бухенау — звонкий горький звон, похоронный звон! Стеклянное небо опрокинуто

над деревней Бухенау, в которую он входит. Он и сам уже чует: здесь ловушка. Он минует двух часовых, которые пялятся на него. Он спиной ощущает их взгляды. Едва он вступает на деревенскую улицу, как позади кто-то свистит, тонко-тонко, и этот свист пронизывает все его существо.

Вся деревня внезапно охвачена волнением. Свистки с одного конца в другой. Команда: «Все по домам!» Широкие ворота скрипят. Георг поставил свою ношу на землю, скользнул в ближайший двор и спрятался за штабелями дров. Деревню оцепили. Это случилось вскоре после полудня.

Франц только что вошел в столовую. Он только что узнал об аресте Кочанчика, и вот Антон хватает его за руку и начинает выкладывать все, что ему известно.

А в эту минуту Эрнст, пастух, постучал в кухонное окно Мангольдов. Софи отперла и засмеялась. Она была кругленькая, но сильная и гибкая. Пусть Софи подогреет ему картофельный суп. Его термос испорчен. А почему не войти и не пообедать со всеми, сказала Софи. Нелли может посторожить.

Его Нелли, сказал Эрнст, это не собака, это просто ангелок. Но у него, слава богу, есть совесть, и деньги ему тоже недаром платят.

— Софи,— сказал Эрнст,— принеси-ка ты мне картофельный суп горячим в поле, и не гляди ты так на меня, Софи. Когда ты так на меня поглядываешь своими золотистыми глазками, меня насквозь пробирает.

Он пошел через поле к своей будке на колесах. Он выбрал местечко на солнышке, расстелил несколько газет, поверх них пальто. Присел и стал ждать. Довольный, смотрел он, как приближается Софи. Она такая кругленькая, такая сочная, как яблочко, и на тоненьких, тоненьких черенках.

Софи принесла ему суп и картофельные оладьи с грушей. Они вместе учились в шмидтгеймской школе.

Девушка села рядом с ним.

— Чудно,— сказала она.

— Что?

— Да что как раз ты — пастух.

— Они мне на днях то же самое сказали, там, внизу,— заметил Эрнст. Он показал на Гехст.— «Вы же сильный молодой человек, вас природа предназначила кой для чего получше.— С невероятной быстротой Эрнст менял лицо и голос — то это был Мейер из бюро труда, то Герстль из рабочего фронта, то Краус, бургомистр Шмидтгейма, то сам он, Эрнст, но сам он — реже всего.—

Почему вы не уступите свое место пожилому соплеменнику?» И тут я сказал им,— продолжал Эрнст, поспешно проглотив несколько ложек супу,— тут я сказал: «В моей семье ремесло пастуха передается из рода в род еще со времен Вилигиса».

— Какого Вили?..— спросила Софи.

— Это они у меня тоже спрашивали,— сказал Эрнст, уплетая оладьи с грушей.— Вы все в школе, наверно, прозевали эту премудрость. Потом они спросили меня, почему я не женат, когда другие, хотя им зарабатывать свой хлеб гораздо тяжелее, давно женаты и детишки у них есть.

— И что ты ответил? — спросила Софи чуть охрипшим голосом.

— Ах,— отозвался Эрнст с невинным видом,— я сказал, что дело уже на мази.

— Как так? — спросила Софи с беспокойством.

— Да так, я, мол, уже помолвлен,— сказал Эрнст, опустив глаза, причем от его внимания не ускользнуло, что Софи как-то вдруг побледнела и увяла.— Да, помолвлен с Марихен Виленц из Боценбаха.

— А-а,— сказала Софи, опустив голову и разглаживая на коленях юбку.— Она ведь еще школьница, твоя Марихен Виленц из Боценбаха.

— Не беда,— сказал Эрнст,— я подожду, пока моя невеста подрастет, тут целая история, я тебе как-нибудь расскажу...

Софи теребила травинку. Она сорвала ее и прикусила зубами. Потом сказала насмешливо и с грустью:

— Кто влюблен, кто помолвлен, кто женится...

И Эрнст, который нарочно дразнил ее и от которого ничто не ускользнуло — ни ее волнение, ни дрожь ее рук, составил вылизанные тарелки и сказал:

— Спасибо, Софи. Если ты делаешь все так же здорово, как печешь оладьи, ты для мужчины просто клад. Взгляни-ка на меня еще разок, пожалуйста, взгляни. Ну, взгляни же. Когда ты на меня поглядываешь своими милыми глазками, я эту Марихен могу забыть на веки вечные.

Он смотрел вслед Софи, которая шла к дому, брякая тарелками. Затем крикнул:

— Нелли!

Собачка ринулась к нему на грудь и, опершись лапками на Эрнстовы колени, посмотрела на него — черный комочек беззаветной преданности. Эрнст прижался лицом к мордочке собаки, в приступе нежности погладил ее голову:

— Знаешь ты, Нелли, кого я люблю больше всех? Знаешь, кто мне милей всех на свете? Это Нелли.

Экопом сельскохозяйственного училища позвонил на обед не в полдень, а с опозданием на пятнадцать минут. Один из подростков, Фриц Гельвиг, ученик-садовод, сначала побежал в сарай, чтобы вынуть из кошелька в своей вельветовой куртке двадцать пфеннигов. Он был должен товарищу за два билета лотереи зимней помощи. Круглый год при училище были курсы, их посещали главным образом сыновья и дочери окрестных крестьян. При училище был также опытный участок: его обслуживали не только курсанты, там имели постоянную работу несколько садоводов и учеников.

Ученик Фриц Гельвиг, белокурый, рослый, смышленый паренек с живыми глазами, обшарил весь сарай в поисках куртки: сначала он был удивлен, затем раздосадован, затем разозлился. Эту куртку он купил всего лишь на прошлой неделе, после сговора. Он бы не мог приобрести ее, если бы не полученная им маленькая премия. Он позвал товарищей, уже сидевших за столом. Светлый обеденный зал с выскобленными добела деревянными столами был украшен цветами и свежей зеленью, обвивавшей портреты Гитлера, Даррэ и ландшафты на стенах. Сначала Гельвиг решил, что над ним подшутили товарищи,— они дразнили его, уверяя, что он купил куртку на рост, и завидовали, что у него такая девушка. Молодые парнишки со свежими открытыми лицами — мальчишеские лица, но уже с примесью чего-то взрослого, как и лицо Гельвига,— заверили его, что куртки не трогали, и помогли искать. Скоро, однако, поднялся крик: «Что это за пятна? А у меня выдрали подкладку! Тут был кто-то! Твою куртку украли».

Гельвиг чуть не расплакался. Пришел наконец и дежурный по столовой посмотреть, что еще тут вытворяют эти озорники. Фриц, бледный от гнева, сказал, что у него украли куртку. Позвали инспектора и экономa. Двери сарая широко распахнулись. Тогда все увидали пятна на висящей одежде и разорванную подкладку чьей-то старой куртки, всю забрызганную кровью.

Ах, если бы у его куртки была только выдрана подкладка! В лице у Гельвига уже не осталось ничего взрослого. От гнева и обиды оно сделалось совсем ребячьим. «Если я найду его, я его убью!» — заявил он. Его нисколько не утешило то, что Мюллер хватился своих башмаков. Ну, Мюллер купит себе новые, он единственный сын, его родители — богатые крестьяне, а Гельвигу теперь предстоит опять копить и копить.

— Успокойся же наконец, Гельвиг,— сказал директор; он обедал у себя дома, и эконом срочно вызвал его.— Успокойся и опиши свою куртку как можно точнее. Этот вот господин — из уголовного розыска, и он сможет тебе вернуть ее, только если ты опишешь куртку со всеми подробностями.

— А что было в карманах? — ласково спросил незнакомый низенький человечек, когда Гельвиг кончил свое описание, причем, выговорив «и внутренние застежки «молнии», он чуть не всхлипнул.

Гельвиг задумался.

— Кошелек,— сказал он,— в нем марка двадцать... носовой платок... ножик.

Агент еще раз прочел ему его показания и дал подписать.

— А где я могу получить обратно свою куртку?

— Тебя известят,— сказал директор.

Все это было плохим утешением для Гельвига; правда, его горе немного облегчалось тем, что вор, укравший куртку, оказался все-таки не обычным вором. Едва эконом кончил осмотр сарая, ему сразу же стала ясна вся связь между событиями. И он только спросил директора, не позвонить ли куда следует.

Когда Гельвиг вышел — сейчас же после него пришлось Мюллеру подробно описывать свои башмаки,— весь участок между училищем и стеной был оцеплен. Уже нашли место, где Георг, прыгая через стену, помял ветви фруктовых деревьев, а у стены и у сарая уже стояли часовые. Позади них толпились учителя, садоводы, ученики. Обеденный перерыв пришлось продлить; бобовый суп со свининой в больших чанах покрылся пленкой сала.

В нескольких шагах от часовых пожилой садовник Гюльтчер, видимо совершенно равнодушный к всеобщему волнению, выравнивал дорожку. Они были из одной деревни. И Гельвиг, чье бледное лицо стало багровым — он с торопливой готовностью и обстоятельностью отвечал на все вопросы,— Гельвиг остановился возле Гюльтчера, может быть, именно потому, что старик его ни о чем не спросил.

— Говорят, я все-таки получу обратно свою куртку,— сказал Гельвиг.

— Вот как? — отозвался садовник.

— Мне пришлось описать ее во всех подробностях.

— И ты, что же, описал ее? — спросил Гюльтчер, не отводя глаз от своей работы.

— Конечно, я же обязан был,— сказал Гельвиг.

Эконом позвонил во второй раз. Обед продолжался. В столовой все началось сначала. Сюда уже дошел слух о том, что в Либахе и Бухенау членам гитлерюгенда разрешили участвовать в поисках. Гельвига опять расспрашивали. Но он почему-то стал молчалив. Видимо, он боролся с новым, более сокровенным приступом горя. Тут он вдруг вспомнил, что в куртке был и членский билет бухенауского гимнастического общества. Заявить ли об этом дополнительно?

На что вору билет? Он может просто сжечь его на спичке. Но где же беглец возьмет спичку? Он может просто разорвать его и бросить где-нибудь в уборной. Но разве беглец может войти, куда ему захочется? Ну, просто затопчет клочки в землю, вот и все, решил Гельвиг и почему-то успокоился. После обеда он еще раз прошел мимо садовника. Обычно он обращал на этого человека — своего односельчанина — не больше внимания, чем все подростки обращают на стариков, которые всегда тут и только иногда умирают. Он и сейчас, без всякого повода, остановился позади Гюльтчера, который сажал лук. Гельвиг был на хорошем счету в гитлерюгенде и среди учеников-садоводов, и все шло у него до сих пор как по маслу — это был прямодушный, сильный и ловкий подросток. В том, что людям, которые сидят в лагере Вестгофен, там и надлежит сидеть, как умалишенным в сумасшедшем доме, в этом он был искренне убежден.

— Послушай-ка, Гюльтчер,— начал он.

— Ну?

— У меня еще членский билет лежал в куртке.

— Да, и что же?

— Уж не знаю, заявить об этом дополнительно или не стоит?

— Так ведь ты уже обо всем заявил, говоришь, обязан был? — заметил садовник. Впервые поднял он глаза на Гельвига и сказал: — И чего ты волнуешься, получишь обратно свою куртку.

— Ты думаешь?

— Уверен. Они обязательно поймают его, вероятно, сегодня же. Сколько она стоила-то?

— Восемнадцать марок.

— Стало быть, вещь хорошая,— сказал Гюльтчер, словно желая снова растравить горе мальчика,— ноская вещь. Будешь надевать, когда пойдешь гулять со своей девушкой. А тот,— он показал неопределенным движением куда-то вдаль,— того уже давно не будет на свете.

Гельвиг нахмурился.

— Ну и что из этого? — сказал он вдруг грубо и вызывающе.

— Да ничего,— отвечал садовник.— Решительно ничего.

«Почему он сейчас так странно посмотрел на меня?» — подумал Гельвиг.

VI

Во дворе, где Георг спрятался за дровами, были вдоль и поперек протянуты веревки для белья. Из дома вышли с бельевой корзиной две женщины, молодая и старая. Старуха была прямая и

костлявая; молодая шла согнувшись, и лицо у нее было усталое. «Почему мы не остались вместе, Валлау? — подумал Георг. Какой-то новый, неистовый шум донесся с края деревни.— Достаточно бы одного твоего взгляда...»

Женщины пощупали белье. Старуха сказала:

— Еще совсем сырое. Подожди гладить.

— Нет, уже можно,— возразила молодая, принялась снимать белье и укладывать в корзину.

— Ну как же, посмотри, сырое,— настаивала старшая.

— Нет, гладить можно.

— Сырое!

— Каждый делает по-своему, ты любишь гладить сухое, я люблю гладить сырое.

Судорожно, с какой-то отчаянной поспешностью срывали они белье с веревок.

А там, в деревне, продолжалась тревога.

— Нет, ты послушай! — воскликнула молодая.

— Да, да...— вздохнула старшая.

Молодая крикнула, и голос ее был так звонок, что казалось, он вот-вот сорвется:

— Слышишь, слышишь?

Старуха ответила:

— Я еще, кажется, не глухая. Подвинь-ка сюда корзину.

В эту минуту из дома во двор вышел штурмовик. Молодая сказала:

— Откуда это ты взялся во всем параде? Не с виноградника же?

Мужчина крикнул:

— Да что вы, бабы, спятили, что ли? Нашли время с бельем возиться! Просто стыдно! В деревне спрятался один из этих, вестгофенских! Мы тут все обыщем.

Молодая воскликнула:

— Вечно что-нибудь. Вчера — праздник жатвы, а позавчера — Сто сорок четвертый полк, а нынче — беглецов ловить, а завтра — проедет гаулейтер... А репа? А виноградник? А стирка?

— Заткнись,— сказал мужчина, топнув ногой.— Почему ворота не заперты, я вас спрашиваю? — Стуча сапогами, он пробежал через двор. Только одна половина ворот была растворена. Чтобы закрыть ворота, надо было распахнуть и вторую и затем захлопнуть их одновременно. Старуха помогала ему.

«Валлау, Валлау»,— думал Георг.

— Анна,— сказала старуха,— задвинь-ка засов.— И добавила: — В прошлом году об эту пору у меня еще хватало сил.

Молодая пробормотала:

— А я-то на что?

Едва засов был задвинут, как к шуму в деревне примешался особый, новый шум: по улице гулко затопало множество сапог и в только что запертые ворота забарабанили кулаки. Анна отодвинула засов, и во двор ворвалась кучка подростков из гитлерюгенда, крича:

— Впустите нас, тревога, мы ищем!.. Один тут в деревне спрятался. Ну, живо! Впустите нас!

— Стой, стой, стой,— сказала молодая женщина.— Вы здесь не у себя. А ты, Фриц, иди-ка на кухню. Суп готов.

— А ну, мать, пусти их. Ты обязана. Я сам им все покажу.

— Где это? У кого? — крикнула молодая. Старуха с неожиданной силой схватила ее за локоть. Мальчишки с Фрицем во главе один за другим перемахнули через бельевую корзину, и их свистки уже доносились из кухни, из конюшни, из комнат. Дзинь — вот и разбилось что-то.

— Анна,— сказала старшая,— не расстраивайся ты так. Посмотри на меня. Есть на свете вещи, которые можно изменить. И есть такие, которых не изменишь. А тогда терпеть надо. Слышишь, Анна? Я знаю, тебе достался в мужья самый никчемный из моих сыновей, Альбрехт. Его первая жена была с ним одного поля ягода. Вечно здесь свинушник был. А ты завела настоящее крестьянское хозяйство. Да и Альбрехт стал другим. Прежде он, бывало, ходил на поденную в виноградники, когда вздумается, а остальное время лодырничал, а теперь тоже кое-чему научился. И детей от его первой жены, от этой скверной бабы, узнать нельзя, будто ты их во второй раз родила. Вот только терпенья у тебя нету. А перетерпеть надо. Придет время, и все это кончится.

Невестка отвечала несколько спокойнее, в ее голосе звучала только скорбь о своей жизни; несмотря на все ее усилия, она заслужила только уважение, в счастье ей было отказано.

— Знаю,— сказала она,— но тогда пришло это.— Она показала на дом, полный наглых пересвистов, и на ворота, за которыми продолжался шум.— Вот что стало мне поперек дороги, мать. И дети — я душу свою положила, чтобы выправить их, а они опять стали нахальными грубиянами, какими были, когда мы поженились с Альбрехтом. И он опять стал такой же — не человек, а скотина. Ах!

Ногой она впихнула обратно торчавшее из штабеля полено. Прислушалась. Затем зажала уши и продолжала причитать:

— И зачем ему понадобилось прятаться непременно в Бухенау! Этого еще не хватало. Бандит! Как бешеный пес, врывается в нашу деревню. Если уж видит, что некуда податься, зачем не спрятался в болоте — мало, что ли, там ивняка, где можно спрятаться?

— Берись за ту ручку,— сказала старуха.— Белье — хоть выжимай. После обеда-то не поспела бы?

— Каждый по-своему, как мать учила. Я глажу сырым.

В эту минуту за воротами раздался такой рев, на какой человеческие голоса не способны. Но и не звериный. Точно какие-то неведомые существа, о которых никто даже не подозревал, что они есть на земле, вдруг осмелели и вылезли на свет. Глаза Георга при этом реве загорелись, зубы оскалились. Но одновременно в душе прозвучал тихо, чисто и ясно несокрушимый, незаглушаемый голос, и Георг почувствовал, что готов сейчас же умереть так, как он не всегда и жил, но как всегда хотел бы жить: смело и уверенно.

Обе женщины поставили корзину наземь. Коричневая сеть морщин, крупная и редкая у более молодой, топкая и частая у старшей, легла на их побледневшие, словно изнутри освещенные лица. Выбежав из дома, мальчишки промчались через двор на улицу.

Снаружи опять забарабанили в ворота. Старуха опомнилась, ухватилась за тяжелый засов и, может быть последний раз в жизни, собралась с силами и отодвинула его. Целая толпа, состоящая из подростков, старух, крестьян и штурмовиков, ворвалась во двор, толкаясь и крича наперебой:

— Матушка! Матушка! Фрау Альвин! Матушка! Анна! Фрау Альвин! Мы поймали его! Глянь, глянь, вот тут рядом, у Вурмсов, он сидел в собачьей будке! А Макс с Карлом были в поле. Еще очки на нем были, на мерзавце! Да теперь они ему больше не понадобятся! Его отвезут на Альгейеровой машине. Да вот тут, рядом с нами, у Вурмсов! Жаль, что не у нас! Глянь-ка, матушка! Глянь!

Молодая женщина тоже пришла в себя и направилась к воротам; у нее было лицо человека, которого неудержимо тянет взглянуть именно на то, на что ему запрещено смотреть. Она привстала на цыпочки, бросила один-единственный взгляд поверх людей, толпившихся на улице вокруг Альгейеровой машины. Затем отвернулась, перекрестилась и побежала в дом. Свекровь последовала за ней, ее голова тряслась, точно она вдруг стала дряхлой-предряхлой старухой. Про бельевую корзину забыли. Во дворе вдруг стало тихо и пусто.

В очках, подумал Георг. Значит, Пельцер. Как он попал сюда?

Час спустя Фриц наткнулся на запакованную машинную часть, лежавшую с наружной стороны ограды. Его мать, бабушка и несколько соседей, дивясь, столпились вокруг нее. Они узнали по ярлыку, что эта машинная часть из Оппенгейма и предназна-

частся для сельскохозяйственного училища. Пришлось одному из Альгейеров снова завести машину — автомобилем до училища было всего несколько минут езды,— а зрители засыпали его расспросами: что рассказал его брат, который опять ушел в поле, насчет того, как он доставил беглеца в лагерь?

— Здорово ему наклали? — спросил Фриц, блестя глазами и переступая с ноги на ногу.

— Наклали? — откликнулся Альгейер.— Тебе бы разок наклась. Я просто диву дался, как прилично они с ним обошлись.

Пельцеру даже помогли сойти с машины. Он так напряженно ожидал побоев и пинков, что когда его осторожно, под мышки, вытащили из автомобиля, он как-то весь обмяк. Без очков он не мог понять по выражению лиц, каковы причины столь осторожного обращения. Какая мгла разлилась вокруг! Им, этим человеком, для которого все было теперь потеряно, овладела беспредельная усталость. Его отвели не в барак начальника, а в комнату, где обосновался Оверкамп.

— Садитесь, Пельцер,— сказал следователь Фишер вполне миролюбиво. Глаза и голос у Фишера были такие, как полагается иметь людям, чья профессия состоит в том, чтобы извлекать что-то из других: тайны, признания.

Оверкамп сидел в сторонке, ссутулившись, и курил. Видимо, он решил предоставить Пельцера своему коллеге.

— Небольшая прогулка, а? — сказал Фишер. Он рассматривал Пельцера, который слегка покачивался всем корпусом. Затем углубился в бумаги.— Пельцер Евгений, рождения тысяча восемьсот девяносто восьмого года, Ганау. Верно?

— Да,— сказал Пельцер тихо, это было первое слово, произнесенное им с минуты побега.

— Как это вы, Пельцер, пустились на такие штуки, как это именно вы дали уговорить себя такому типу, как Гейслер? Смотрите, Пельцер, прошло ровно шесть часов пятьдесят пять минут с тех пор, как Фюльграбе ударил лопатой часового. Скажите на милость, давно вы все это затеяли? — Пельцер молчал.— Неужели вы сразу же не поняли, что это пропащее дело? Неужели вы не попытались отговорить остальных?

Пельцер ответил почти шепотом, так как каждый слог был для него точно укол:

— Я ничего не знал.

— Бросьте, бросьте,— сказал Фишер, все еще сдерживаясь.— Фюльграбе подает знак, вы бежите. Почему же вы побежали?

— Все побежали!

— Вот именно. И вы хотите меня уверить, что не были посвящены? Ну, знаете, Пельцер!

— Нет, не был.

— Пельцер, Пельцер! — сказал Фишер.

У Пельцера было такое чувство, какое бывает у смертельно уставшего человека, когда назойливо звонит будильник, а он старается его не слышать.

Фишер продолжал:

— Когда Фюльграбе ударил первого часового, второй часовой стоял около вас, и вы в ту же секунду, как было условлено, набросились на второго.

— Нет! — крикнул Пельцер.

— Что вы имеете в виду?

— Я не набросился.

— Да, прошу прощения, Пельцер. Второй часовой стоял возле вас, и тогда Гейслер и этот... как его... Валлау, как было условлено, набросились на второго часового, стоявшего возле вас.

— Нет,— повторил Пельцер.

— То есть что нет?

— Не было условлено.

— Что условлено?

— Чтобы он встал около меня. Он подошел оттого... оттого...— Пельцер силился вспомнить, но сейчас это было все равно что поднять свинцовый груз.

— Да вы прислонитесь поудобнее,— сказал Фишер.— Итак, никакого сговора не было. Ни во что не посвящены! Просто убежали! Как только Фюльграбе взмахнул лопатой, а Валлау и Гейслер напали на второго часового, который по чистой случайности стоял рядом с вами. Так?

— Да,— нерешительно выговорил Пельцер.

— Оверкамп! — громко крикнул Фишер.

Оверкамп встал, словно он был подчиненный Фишера, а не наоборот. Пельцер вздрогнул. Он и не заметил, что в комнате находится кто-то третий. Он даже прислушался, когда Фишер сказал:

— Вызовем сюда Георга Гейслера на очную ставку.

Оверкамп взял телефонную трубку.

— Так...— сказал он в трубку. Затем обратился к Фишеру: — Гейслер еще не совсем годен для допроса.

Фишер заметил:

— Совсем не годен или еще не годен? Что это значит — не совсем?

Оверкамп подошел к Пельцеру. Он сказал суше, чем Фишер, но все же не грубо:

— А ну-ка, Пельцер, возьмите себя в руки. Гейслер нам только что описал все это совсем иначе. Пожалуйста, возьмите себя в руки, Пельцер. Призовите на помощь всю свою память и последние остатки рассудка.

VII

А Георг лежал под серо-голубым небом в поле, метров за сто от шоссе на Оппенгейм. Только бы теперь не застрять. К вечеру быть в городе. Город — ведь это как пещера с закоулками, с извилистыми ходами. Первоначальный план Георга был такой: добраться к ночи во Франкфурт и — прямо к Лени. Главное — очутиться у Лени, остальное сравнительно просто. Проехать полтора часа поездом, рискуя ежеминутно жизнью,— с этим он как-нибудь справится. Разве до сих пор все не шло гладко! Удивительно гладко! Прямо по плану! Беда только в том, что он почти на три часа опоздал. Правда, небо еще голубое, но туман с реки уже заволакивает поля. Скоро автомашинам на шоссе придется, несмотря на предвечернее солнце, зажечь фары.

Сильнее всякого страха, сильнее голода и жажды и этой проклятой пульсирующей боли в руке — кровь уже давно просочилась сквозь тряпку — было желание остаться лежать здесь. Ведь скоро ночь. Ведь и сейчас уже тебя укрывает туман, за этой мглой над твоей головой и сейчас уже солнце бледней. Нынче ночью тебя здесь не будут искать, и ты отдохнешь.

А что посоветовал бы Валлау? Валлау наверняка сказал бы: если хочешь умереть, оставайся. Если нет — вырви лоскут из куртки. Сделай новую перевязку. Иди в город. Все остальное — чепуха.

Он повернулся и лег на живот. Слезы выступили у него на глазах, когда он отдирал от раны присохшую тряпку. Ему еще раз стало дурно, когда он увидел свой большой палец, эту онемевшую, сине-черную култышку. Затянув зубами новый узел, он перекатился на спину. Завтра необходимо найти кого-нибудь, кто бы привел в порядок его руку. Он почему-то вдруг возложил все надежды на этот завтрашний день, словно время само несет человека к осуществлению его надежд.

Чем гуще становился над полями туман, тем ярче синели васильки. Георг заметил их только сейчас. Если он к ночи не доберется до Франкфурта, может быть, удастся хотя бы послать Лени весточку. И на это истратить марку, которую он нашел в куртке? С минуты побега он почти не вспоминал о Лени, самое большее — как вспоминают о придорожных вехах, о каком-нибудь приметном сером камне. Сколько сил растратил он попусту на все эти мечтания, сколько часов драгоценного сна! На тоску об этой де-

кушке, которую счастье поставило на его пути ровно за двадцать один день до его ареста. А вот представить ее себе я уже не могу, подумал он. Валлау — да, и остальных — тоже. Валлау он видел отчетливее всех, а остальных — неясно, но только потому, что они терялись в зыбком тумане. Вот и еще день кончается, один из часовых идет рядом с Георгом и говорит: «Ну, Гейслер, долго мы еще с тобой протянем?» И посматривает на Георга как-то хитровато. Георг молчит. Сознание, что он погиб, сплетается с первой смутной мыслью о побеге.

По шоссе уже скользят огни. Георг переполз канаву. И вдруг как толчок в мозгу: вам меня не поймать! Этот же толчок подбросил его на грузовик пивоваренного завода. У него в глазах потемнело от боли, так как, взбираясь, он ухватился за борт больной рукой. Грузовик въехал — как ему показалось, тут же, а на самом деле только через четверть часа — в какой-то двор на улочке Оппенгейма. Шофер только сейчас заметил, что везет пассажира. Он проворчал:

— Ну, скоро, что ли! — Может быть, в прыжке Георга и в его первых спотыкающихся шагах что-то ему показалось страшным; он еще раз повернул голову: — Подвезти тебя в Майнц?

— Хорошо бы.

— Постой-ка,— сказал шофер.

Георг засунул больную руку за борт куртки. До сих пор он видел шофера только сзади. Он и сейчас не мог разглядеть его лица, так как шофер писал, приложив к стене накладную. Затем парень вошел в ворота.

Георг ждал. Против ворот улица слегка поднималась в гору. Здесь еще не было тумана, казалось, потухает летний день,— так мягко отсвечивал на мостовой закат. Напротив была бакалейная лавка, за ней прачечная, затем мясная. Двери лавок хлопали, звякали колокольчиками. Прошли две женщины с покупками, мальчик жевал сосиску. Эту силу и блеск повседневной жизни — как презирал он их раньше! Вот если б войти туда, вместо того чтобы ждать здесь, быть приказчиком в мясной, рассыльным в бакалейной, гостем в одном из этих домов! Сидя в Вестгофене, он представлял себе улицу совсем иной. Тогда ему казалось, что на каждом лице, в каждом камне мостовой отражается позор, что скорбь должна приглушать каждый шаг, каждое слово, даже игры детей. А на этой улице все было мирно, люди казались довольными.

— Ганнес! Фридрих! — крикнула старуха из окна над прачечной двум штурмовикам, разгуливавшим со своими невестами.— Идите наверх, я вам кофе сварю.

Может быть, Мейснер и Дитерлинг тоже так разгуливают со своими невестами, когда им дают увольнительную.

— Ладно! — отозвались обе пары, пошептавшись. И когда они, топая, вбежали в домик и старуха закрыла окно, улыбаясь довольной улыбкой оттого, что к ней идут молодые, веселые гости — может быть, родственники,— Георгом овладела такая печаль, какой он, кажется, еще никогда за всю свою жизнь не испытывал. Он заплакал бы, если бы не внутренний голос, который в самых горестных снах утешает нас тем, что сейчас все это уже не имеет значения. А все-таки имеет, решил Георг. Шофер вернулся — здоровенный малый, черные птичьи глазки на мясистом лице.

— Лезь,— сказал он коротко.

Шофер принялся ругать туман.

— А зачем тебе в Майнц? — спросил он вдруг.

— В больницу хочу.

— В какую?

— В мою прежнюю.

— Ты, видно, любишь хлороформ нюхать,— сказал шофер.— А меня ни за какие деньги в больницу не заманишь. В феврале, когда была гололедица...— Они чуть не наехали на два автомобиля, которые остановились впереди. Шофер затормозил, выругался. Эсэсовцы пропустили передние машины и подошли к грузовику пивоваренного завода. Шофер протянул вниз свои бумаги.

— А вы?

Все в целом обошлось не так уж плохо, мелькнуло в голове Георга, я сделал только две ошибки. К сожалению, всего заранее не предусмотришь. В нем сейчас происходило то же, что и при самом первом его аресте, когда дом был внезапно оцеплен: мгновенная расстановка по местам всех чувств и мыслей, мгновенное выбрасывание за борт всякого хлама, прощание со всем и вся и вот...

На нем была коричневая вельветовая куртка, в этом не могло быть никакого сомнения. Часовой сравнил приметы. Просто удивительно, сколько вельветовых курток попадается за три часа по дороге между Вормсом и Майнцем, сказал следователь Фишер, когда Бергер перед тем доставил к нему еще одного такого курточника. Видимо, этот костюм пользуется большой популярностью среди местного населения. Все остальные приметы были заимствованы из документов от декабря тридцать четвертого года, когда Георг был заключен в Вестгофен. Кроме куртки, ни одна из примет не подходит, решил часовой. Этот мог бы быть его отцом; ведь, судя по фото, беглец был сверстником часовому, крепкий малый с гладкой дерзкой мордой, а у этого рожа плоская, скучная, нос толстый, губы вывороченные. Он махнул рукой: «Хайль Гитлер!»

Молча ехали они несколько минут со скоростью восьмидесяти километров в час. Вдруг шофер опять затормозил посреди пустой, безлюдной дороги. «А ну, слезай,— приказал он. Георг хотел возразить.— Слезай»,— повторил шофер угрожающе, и его толстое лицо скривилось, так как Георг все еще медлил. Шофер сделал движение, словно намереваясь вышвырнуть Георга из машины. Георг соскочил, он снова зашиб больную руку и тихонько вскрикнул от боли. Пошатываясь, побрел он дальше, а фары грузовика мелькнули мимо и тотчас исчезли, проглоченные туманом, опустившимся за последние несколько минут на дорогу. Мимо Георга то и дело проносились автомашины, но он уже не решался остановить одну из них. Он не знал, сколько часов надо еще идти, сколько часов он уже идет. По пути из Оппенгейма в Майнц Георг вошел в маленькую деревушку с ярко освещенными окнами. Но он побоялся спросить, как называется эта деревушка. Временами он чувствовал на себе взгляд проходившего по улице или смотревшего из окна крестьянина, и взгляд этот казался ему таким упорным, что он проводил рукой по лицу, словно желая стереть его. Какие же это он украл башмаки, что они уносили его все дальше и дальше, тогда как в нем самом уже давно угасли и воля и желание идти дальше? Вдруг он услышал довольно близко впереди какое-то перезванивание. Рельсы кончались у маленькой площади, показавшейся ему деревенской площадью. И вот он стоит в толпе людей на конечной остановке трамвая. Заплатил тридцать пфеннигов и разменял свою марку. В вагоне было сначала довольно свободно, но на третьей остановке, возле какой-то фабрики, пассажиры набились битком. Георг сидел, не поднимая глаз. Он ни на кого не смотрел, радуясь только этой тесноте и теплу, присутствию всех этих людей: сейчас он был спокоен, он чувствовал себя чуть ли не в безопасности. Но когда отдельный пассажир толкал его или всматривался в него, он сразу холодел.

Георг сошел на Августинерштрассе и зашагал вдоль трамвайной линии к центру города. Он вдруг очнулся. Если бы не рука, он чувствовал бы себя легко. Это сделала улица, толпа и вообще город, который никого не оставляет в полном одиночестве, или так, по крайней мере, кажется. Ведь, наверно, одна из этих тысяч дверей гостеприимно открылась бы перед ним, только бы найти ее! В булочной он купил две булочки. Болтовня старух и молодых женщин вокруг о ценах на хлеб и его качестве, о детях и мужьях, которые его съедят,— неужели она все эти годы так и не прекращалась? «А что же ты воображаешь, Георг?» — сказал он себе. Да, она никогда не прекращалась и никогда не прекратится. Он поел на ходу, стряхнул крошки, приставшие к куртке Гельвига. Заглянул в ворота дома, где во дворе была колонка, и, увидев, что

какие-то мальчики пьют из кружки, висящей на цепочке, тоже вошел и напился. Затем двинулся дальше и дошел до очень большой просторной площади,— несмотря на фонари и людей, она казалась мглистой и пустой. Он охотно присел бы на скамейку, но не решался. Вдруг начали звонить колокола где-то так близко и громко, что загудела стена, к которой Георг прислонился в изнеможении. Туман на площади поредел, и он решил, что, наверно, Рейн недалеко. Девочка, которую он спросил, задорно бросила ему в ответ: «А вы что, или топиться собрались?» Тут только он заметил, что это вовсе не девочка, а худая женщина, дерзкая и жадная. Она ждала, не попросит ли он проводить его вниз, к Рейну. Но эта встреча побудила его сделать как раз обратное. Мысли, все время мучившие Георга, наконец подсказали ему вывод: ни в каком случае не переходить на тот берег по одному из больших мостов, провести ночь здесь, в городе. Именно сейчас мосты охраняются вдвое строже. Надо остаться на левом берегу. Пусть это труднее, но разумнее. Подождать другого случая и перебраться где-нибудь гораздо ниже. Не идти в свой город напрямик. Сделать глубокий обход. Рассеянно посмотрел он вслед удалявшейся женщине. Или она своей торопливой, неровной походкой действительно напоминает его девушку, или ему просто каждая девушка ее напоминает? На крошечную долю секунды перед ним вспыхнуло лицо Лени — правда, в ту минуту, когда она собиралась уходить и, совершенно так же как эта, еще раз пожала плечами. Звон смолк. И внезапная тишина на площади, и то, что дрожь в стене, к которой он прислонился, прекратилась и стена точно заново окаменела,— все это еще раз дало ему почувствовать, каким громким и мощным был звон. Он отошел от стены и посмотрел вверх, на шпили. У него голова закружилась, прежде чем он отыскал самый высокий, ибо над обеими приземистыми башнями третья возносилась в вечернее осеннее небо так свободно, смело и легко, что ему стало больно. Вдруг его осенила мысль, что в таком большом соборе найдется, где посидеть. Он поискал вход. Просто дверь, не портал. Как ни удивительно, но он вошел. Он буквально свалился на ближайший конец ближайшей скамьи. Здесь, решил он, я смогу отдохнуть. Он только теперь посмотрел вокруг. Таким крошечным он не казался себе даже под необъятным сводом неба. Когда он увидел трех-четырех женщин, таких же крошечных, как он сам, он понял, как велико расстояние между ним и ближайшей колонной; он не видел стен этого храма, а только все новые пространства, и не мог надивиться этому; а самым удивительным было то, что он на миг забыл о себе.

Вошел, твердо ступая на всю ногу, кистер — ведь место было для него привычное, а то, что он делал, было его профессией —

и сразу же положил конец изумлению Георга. Топая, ходил он между колоннами, возвещая громко и почти сердито: «Сейчас запирать будем.— Женщинам, которые никак не могли оторваться от своих молитв, он сказал скорее наставительно, чем утешая их: — Господь бог и завтра никуда не денется». Георг испуганно вскочил. Женщины медленно прошли мимо кистера в ближайшую дверь. Георг вернулся к той двери, в которую вошел. Однако она была уже заперта, и он заторопился, чтобы вслед за женщинами пройти через середину собора, но тут у него блеснула мысль. Он вдруг замедлил шаги и присел за большой купелью, а кистер запер и другую дверь.

Эрнст-пастух уже загнал овец. Он свистит своей собачке. Здесь, наверху, вечер еще не наступил. Над холмами и деревьями небо еще только желтоватое, как те холсты, которые женщины слишком долго хранят в сундуках. Внизу туман лежит такой густой и ровной пеленой, что кажется, будто равнина со своими большими и малыми роями огоньков поднялась и деревушка Шмидтгейм лежит не на склоне холма, а на краю равнины. Из тумана доносится вой гехстских гудков, грохот вагонов. Смена кончилась. В городах и селах женщины собирают ужинать. Уже позванивают внизу на шоссе велосипеды рабочих, едущих домой. Эрнст поднимается на холм и останавливается у придорожной канавы. Он выставил ногу. Он скрестил руки на груди. Он смотрит туда, где около трактира Траубе начинается подъем: на его губах появляется насмешливая и высокомерная улыбка,— должно быть, по адресу господа бога и сотворенного им мира. Каждый вечер ему доставляет удовольствие сознание, что люди там внизу вынуждены слезать с велосипедов и вести их в гору.

Через десять минут мимо него прошли первые рабочие — потные, серые, уставшие.

— Эй, Ганнес!

— Эй, Эрнст!

— Хайль Гитлер!

— Катись со своим хайлем!

— Эй, Пауль!

— Эй, Франц!

— Некогда, Эрнст,— отозвался Франц.

Он тащил велосипед через ухабы, на которых утром так весело подскакивал. Эрнст обернулся и посмотрел ему вслед. «Что это с парнем?» — подумал Эрнст. Наверно, опять из-за девчонки. Ему вдруг стало ясно, что он недолюбливает Франца. И на что такому девушка! Если кому нужна, так мне. Он постучал в кухонное окно Мангольдов.

Вернувшись домой, Франц сейчас же прошел в кухню.

— Добрый вечер!

— Добрый вечер, Франц,— пробурчала тетка.

Суп уже был разлит по тарелкам — картофельный суп с сардельками. По две сардельки каждому мужчине, по одной женщинам, по половинке ребятам. Мужчины — старик Марнет, старший сын Марнетов, зять, Франц. Женщины — фрау Марнет, Августа. Дети — Гэнсхен и Густавхен. Дети пили молоко, взрослые — пиво; кроме хлеба, подали колбасу, так как супа было в обрез. Фрау Марнет еще во время войны научилась почти полностью обходиться в хозяйстве своими средствами. Она доила скотину, колола свиней, искусно лавируя среди всевозможных предписаний и запретов.

Тарелки и стаканы, платья и лица, картинки на стенах и слова на устах — все говорило о том, что Марнеты ни бедны, ни богаты, что они ни городские и ни деревенские, ни богомольные, ни безбожники.

— А что Малышу тут же не дали отпуска, это правильно, пусть знает, что упрямой головой стену не прошибешь,— сказала фрау Марнет о своем младшем сыне, стоявшем в Майнце со Сто сорок четвертым полком.— Это ему на пользу.

Все сидевшие за столом, кроме Франца, согласились, что да, Малыша следует хорошенько помуштровать, и вообще слава богу, что всех этих озорников наконец к рукам прибрали.

— Сегодня же понедельник? — сказала фрау Марнет Францу, когда тот, едва проглотив тарелку супу, снова встал. Они надеялись, что Франц подсобит им втащить в дом корзины с яблоками.

Она еще продолжала ворчать, когда он уже скрылся. Конечно, особенно бранить его не приходится, он от работы не бегает и всегда готов помочь, вот только эта вечная игра в шахматы с Германом в Брейльзгейме. «Была бы у него хорошая девушка,— сказала Августа,— он бы не таскался туда».

Франц сел на свой велосипед и покатил в противоположном направлении — полевой дорогой в Брейльзгейм, который был раньше деревней, а теперь, благодаря новому поселку, слился с Гризгеймом. После своей второй женитьбы Герман жил в поселке, на что он имел право как железнодорожный рабочий. И вообще, когда весной этого года Герман женился вторым браком на Эльзе Марнет, молоденькой кузине Марнетов, он вдруг получил право на великое множество вещей, кучу всяких привилегий, право на какие-то там ссуды и тому подобное. Его жена была из шлоссборнских, из «дальних» Марнетов, что определяло и их положение на Таунусе, и их место среди огромной, разбросанной по многим де-

ревням семьи Марнетов. Герман говорил, обсуждая с приятелем все связанные с браком преимущества:

— Да, наша тетя Марнет из «ближних» Марнетов собирается подарить нам серебряную сухарницу, она ведь крестная мать Эльзы. Каждый год в день рождения Эльза получает от них по серебряной ложечке.

— Конечное дело, если бы целый год да по куску сала от «ближних» Марнетов, это небось пришлось бы твоей Эльзе больше по вкусу,— говорили ему друзья.

— Ну, к празднику ведь принято что-то дарить! — отвечал Герман.— Зато ей приходится навещать их и подсоблять во время жатвы, и когда большая стирка, и когда убой, ведь она член семьи.

Но сама Эльза очень рада была и сухарнице, и всем новым вещам. Круглое личико, восемнадцатилетнее, зеленые глазенки. Правильно ли он поступил, не раз спрашивал себя Герман, что взял в жены такое дитя — и только оттого, что она была милая и ласковая, а он уже столько лет жил вдовцом и последние три года был так невыносимо одинок.

Эльза распевала в кухне. Голос у нее был и не очень сильный и не очень звучный, но, так как она пела от чистого сердца, голос лился, точно ручеек, то печально, то весело, смотря по тому, что у нее было на душе.

Герман хмурился от смутного чувства вины. Они с Францем разложили шахматную доску, сели друг против друга и рассеянно сделали по три хода, с которых обычно начинали партию. Затем Франц начал рассказывать. Он весь день так ждал этой минуты, что когда она наконец наступила и он мог все выложить, его рассказ был несколько сбивчив. Герман иногда вставлял короткие реплики. Да, и до него дошли какие-то слухи. Во всяком случае, надо быть наготове. Может быть, это не только болтовня, вдруг кто-нибудь появится, нужна будет помощь. Герман утаил даже от Франца то, что слышал сам: будто прежний секретарь районной организации Валлау, отличный товарищ, которого он знал раньше, бежал из лагеря Вестгофен. Он слышал даже, будто фрау Валлау принимала какое-то участие в организации побега — обстоятельство, сильно его встревожившее. Ведь если это правда, то никто об этом не должен был бы знать. А насчет Георга, о котором расспрашивает Франц, нет, он ничего не слышал.

— Тут надо очень подумать,— сказал он.— Удавшийся побег — это уже кое-что.

VIII

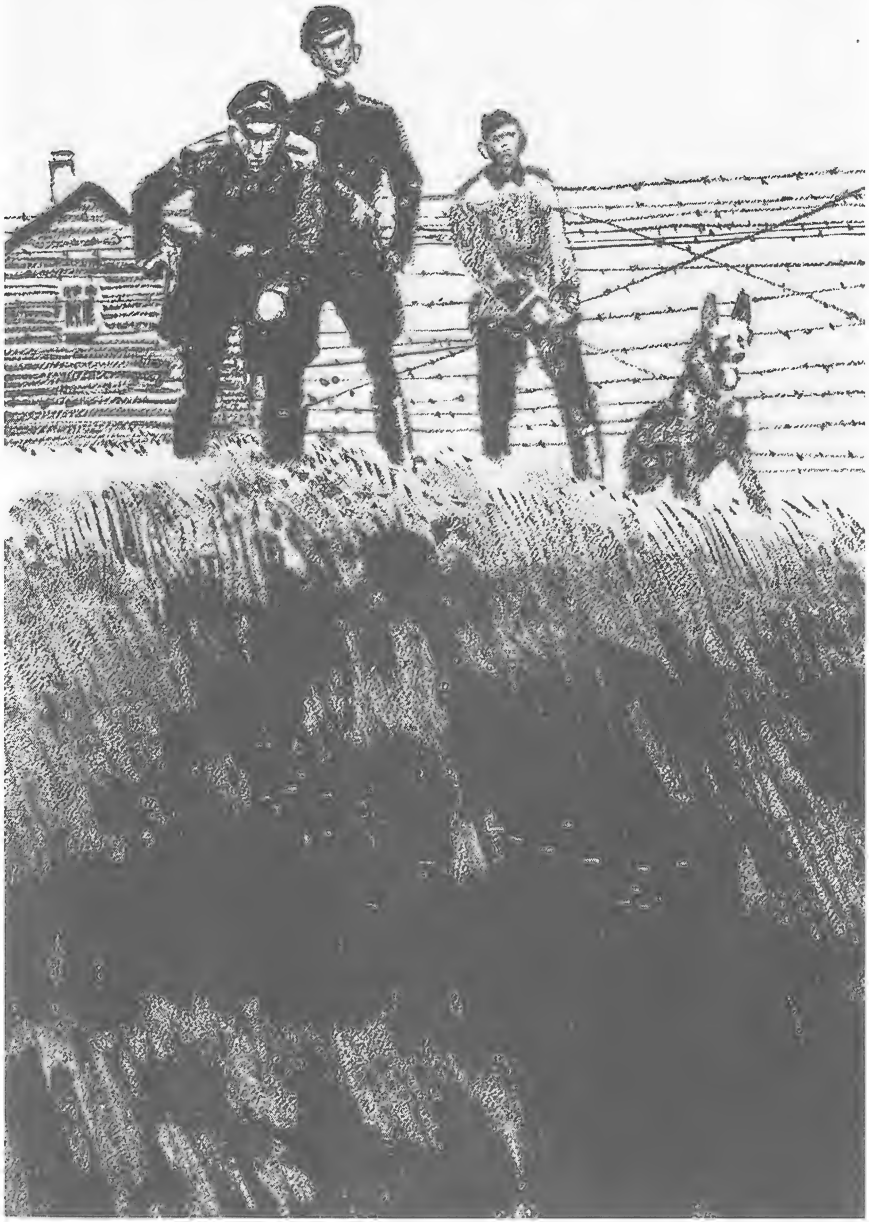
Должно быть, не один только Франц в эту осеннюю ночь лежал без сна, размышляя: а что, если и мой среди них? Не он один мучился мыслью, что среди бежавших из лагеря может быть и тот, о ком он так неотступно думал. Франц перевертывался с боку на бок в каморке, которую себе выговорил с тех пор, как начал платить родным за стол и квартиру. Вчера вечером наспех прибили к стене еще несколько полок — уж очень велик был урожай яблок.

Франц опять встал и высунулся в окошко — от запаха яблок у него кружилась голова. К счастью, во вторник все это увезут на рынок. И хотя ему уже не хотелось, он все-таки потянулся еще за яблоком, торопливо съел его, а огрызок выбросил в сад. Стеклянный шар, сиявший днем над астрами и анютиными глазками красивым голубым светом, теперь отливал серебром, словно сама луна скатилась сюда с неба. Так как сад тянулся вверх по холму, то небо начиналось прямо за оградой,— сверкающее звездами, в мирном соседстве с землей.

Франц вздохнул. Он снова лег. Почему из всех именно Георг должен быть тут замешан, спрашивал себя Франц в сотый раз. И еще он думал: Георг, а может, кто другой... Но тот, о ком он думал, был другом его юности. А был ли он действительно твоим другом? Конечно, был. Мой лучший, единственный друг, твердо решил Франц. Эта мысль его глубоко потрясла.

Когда он познакомился с Георгом? Да, в двадцать седьмом, в лагере рабочего спортивного общества Фихте. Ах, нет, гораздо раньше. Он встретился с ним на футбольной площадке в Эшенгейме, вскоре после того, как оба они окончили школу. Он, Франц, настолько плохо играл в футбол, что никто не стремился заполучить его к себе в команду. Поэтому-то он и насмехался над такими парнями, как Георг, которые ничего, кроме футбола, знать не хотели. «У тебя, Георг, вместо головы на плечах футбольный мяч»,— заявил он однажды. Глаза Георга сузились и стали злыми. И конечно, не случайно Георг на следующий же день послал ему мяч прямо в живот. Скоро Франц перестал ходить на футбольную площадку,— это было не то поле деятельности, где он мог проявить себя, хотя его все вновь и вновь туда тянуло. Ему даже и потом частенько снилось, что он вратарь эшенгеймской команды.

Четыре года спустя он снова встретился с Георгом на лекциях, которые уже сам читал в лагере Фихте. Георг рассказал ему, что в лагерь его привлекли недорогие уроки джиу-джитсу, а курс он решил будто бы прослушать просто от скуки, и что он даже не подозревал, что лектор Франц — это тот же незадачливый



Франц с футбольной площадки, вдруг вынырнувший здесь в роли лектора. И глаза Георга снова сузились, в них вспыхнули искорки ненависти, словно он хотел отомстить за что-то: за какое-то поношение или позор. Он, видимо, решил сорвать Францу его курс. Но когда его выходки встретили общее неодобрение и весь класс им воспротивился, он сам после второго же раза бросил ходить. А Франц не переставал издали наблюдать за ним. Красивое смуглое лицо Георга часто становилось надменным; и держался он как-то чересчур прямо, словно хотел подчеркнуть этим свое снисходительное презрение ко всем, кто был не так силен и красив, как он. И только во время гребли или борьбы, когда он забывался, его лицо становилось добрым и оживленным, как будто ему наконец-то удалось уйти от самого себя. Франц, побуждаемый ему самому не понятным любопытством, отыскал анкету Георга: учился на автомеханика, с окончания школы — безработный.

Следующей зимой Франц столкнулся с Георгом на ежегодной январской демонстрации. Тот снова улыбался своей застывшей, почти презрительной улыбкой. Только во время пения лицо его смягчилось. Они встретились после демонстрации возле трамвайной остановки. У Георга на скользком городском снегу отскочила подметка. И тут у Франца мелькнула мысль, что Георг такой человек, который и босиком прошел бы с демонстрацией весь путь. Он спросил Георга, какой он носит номер обуви. Георг ответил: «Сын моей матери сам себе башмак починит». Франц спросил, не хочет ли он посмотреть кое-какие фотоснимки из лагеря Фихте. Там есть, мол, и он, Георг. И конечно, Георгу очень захотелось увидеть снимки, особенно те, на которых он участвует в состязании по плаванию и по джиу-джитсу.

— При случае я, разумеется, взглянул бы,— сказал он.

— А какие у тебя планы на сегодняшний вечер? — спросил Франц.

— Какие у меня могут быть планы? — отозвался Георг. Оба без видимой причины смутились. Всю дорогу до Старого города они молчали. Теперь Франц охотно бы придумал предлог, чтобы отделаться от Георга. И для чего он зазвал к себе этого парня! Он ведь хотел почитать. Франц зашел в магазин, купил колбасы, сыру и апельсинов. Георг ждал перед витриной, его лицо было почти мрачно, без обычной улыбки. Франц, совершенно не понимавший, почему он мрачен, наблюдал за Георгом в окно магазина.

Франц жил в то время на Гиршгассе, под одной из уютных горбатых шиферных крыш. Комната была маленькая, с косым потолком и дверью на лестницу.

— Ты здесь совсем один живешь? — спросил Георг.

Франц рассмеялся.

— Семейством я еще пока не обзавелся.

— Значит, ты живешь совсем-совсем один? — продолжал Георг.— Ну, тогда понятно!

Его лицо окончательно омрачилось. А Франц догадался, что Георг, видимо, ютится в тесноте, в большой семье. Это «ну, тогда понятно» означало: «Вот как ты живешь. Не удивительно, что ты такой умный».

— Может быть, хочешь ко мне переехать? — спросил Франц. Георг удивленно уставился на него. На его лице не было и следа улыбки, никакого высокомерия, словно его застигли врасплох и он не успел вооружиться своим обычным выражением.

— Я? Сюда?

— Ну конечно.

— Ты это серьезно? — вполголоса спросил Георг.

— Я всегда говорю серьезно,— отозвался Франц.

На самом деле вопрос о переезде он задал отнюдь не серьезно, эти слова как-то нечаянно вырвались у него. Серьезность, даже мучительную серьезность он приобрел только потом. Георг побледнел. Франц только сейчас понял, что эти случайные слова имеют для Георга безмерное значение, может быть, это поворотная точка его жизни. Он схватил Георга за локоть.

— Значит, решено.

Георг высвободил локоть.

Он сейчас же от меня отвернулся, вспоминал Франц, он подошел к окну и совершенно заслонил мое маленькое оконце. Был вечер, зима. Я зажег свет. Георг сел верхом на стул. Его темные густые волосы прямыми прядями спадали с макушки на лоб. Он чистил себе и мне апельсины.

Я взял кувшин, продолжал вспоминать Франц, чтобы принести воды из коридора. Я остановился в дверях, а он посмотрел на меня. Его серые глаза были совсем спокойны, и эти чудны́е злые точки в них, которых я в ранней юности так боялся, исчезли. Он сказал: «Я, знаешь, как-нибудь всю нашу комнату покрашу. Вон из того ящика я сделаю тебе полку для книг, а из этого хорошего ящика с запором — шкафчик. Как новый будет! Вот увидишь!»

Вскоре после этого Франц и сам потерял работу. Они вносили свои пособия по безработице и случайные заработки в общую кассу. Какая это была зима, вспоминал Франц, ни с чем не сравнишь ее из того, что им пережито раньше или позднее! Маленькая комнатка с косым потолком, уже выкрашенная в желтый цвет. На крышах снеговые шапки. Вероятно, они тогда с Георгом здорово голодали.

И как всех, кто действительно размышляет о голоде и действительно борется с ним, собственный голод меньше всего зани-

мал их. Они работали и учились, вместе ходили на демонстрации и на собрания; когда район нуждался в таких людях, как эти двое, их всегда привлекали вместе. А когда они бывали одни, то от того, что Георг спрашивал, а Франц отвечал, возникал «наш общий мир», который сам собой молодеет, чем дольше живешь в нем, и ширится, чем больше от него берешь.

По крайней мере, таким все это казалось Францу. А Георг постепенно становился молчаливее и реже задавал вопросы. Я, наверно, чем-нибудь обидел его тогда, думал Франц. И зачем я так принуждал его читать? Я этим, наверно, изводил его. Ведь Георг заявлял мне тогда откровенно, что всего ему все равно не осилить, это не для него; и он стал все чаще ночевать у своего старого товарища по футболу, Пауля, который смеялся, с чего это Георг вдруг стал таким ученым и вечно ораторствует. Не раз, когда Франц уходил из дому, Георг, не желая оставаться один, ночевал у родных. Время от времени он брал к себе младшего брата, крошечного тощего бесенка с веселыми глазками. Это уже тогда с ним началось, размышлял Франц. Он был, сам того не сознавая, разочарован. Вероятно, он ждал, что если поселится у меня и будет всегда со мной... Комната скоро надоела ему, а я так и остался совсем другим, чем он. Я, верно, давал ему чувствовать расстояние между нами, а на самом деле никакого расстояния не было, я мерил неверной меркой.

К концу зимы Георгом овладело какое-то беспокойство. Он редко бывал дома. То и дело менял своих девушек, и по каким-то малопонятным причинам. Так, самую красивую девушку из лагеря Фихте он вдруг бросил ради глуповатой хромуши, модистки от Тица. Он ухаживал за молоденькой женой булочника, пока муж не устроил ему скандал. Затем вдруг стал проводить все воскресенья с худенькой партийкой в очках. «Она знает еще больше тебя, Франц»,— заметил он как-то.

Однажды Георг сказал ему:

— Ты не настоящий друг, Франц. О самом себе ты никогда ничего не расскажешь. Я всех моих девушек показываю тебе и все тебе говорю. Наверно, ты припрятал что-нибудь очень замечательное, настоящее.

Франц возразил:

— Ты просто не представляешь себе, что можно иногда жить без этого.

С Элли Меттенгеймер, вспоминал Франц, я познакомился в двадцать восьмом году, двадцатого марта, в семь часов вечера, как раз перед закрытием почты. Мы стояли рядом у окошечка. У нее были коралловые сережки. Второй раз я встретился с ней в парке, и она сняла серьги и положила в сумочку — по моей просьбе, я

сказал ей, что только негритянки вдевают в уши и в нос побрякушки. Она засмеялась. Да, по правде говоря, напрасно она сняла кораллы, они очень шли к ее темным волосам.

От Георга он скрыл новое знакомство. Как-то вечером Георг случайно встретил его с Элли на улице. Георг сказал потом:

— Понятно! — И всякий раз, когда Франц возвращался в воскресенье вечером домой, Георг спрашивал с лукавой улыбкой: — Ну как? — В глазах его вспыхивало теперь гораздо больше колючих точек.

— Она не такая,— хмурясь, отвечал Франц.

Как-то раз Элли отказалась встретиться с ним. Он тогда обвинял во всем ее отца, обойщика Меттенгеймера, человека весьма строгих правил. В следующий понедельник он поймал Элли около ее конторы. Но она пробежала мимо, крикнув, что очень спешит, и вскочила в трамвай. Всю неделю он чувствовал, что Георг неотступно наблюдает за ним. Теперь ему хотелось вышвырнуть его вон. В субботу Георг особенно тщательно оделся. Когда он уходил, Франц раскладывал на подоконнике книги, чтобы за воскресенье подготовиться к лекциям.

— Желаю веселиться! — крикнул ему Георг.

В воскресенье вечером Георг вернулся, загоревший и радостный. Он сказал Францу, сидевшему перед подоконником с таким видом, словно он не вставал со вчерашнего дня:

— И этому не мешает поучиться.

Несколько дней спустя Франц неожиданно столкнулся на улице с Элли. Его сердце забилось. Ее лицо пылало горячим румянцем. Она сказала:

— Франц, милый, уж лучше я сама тебе скажу. Мы с Георгом... не сердись на меня. Тут ничего не поделаешь, знаешь, против этого трудно бороться.

— Ладно,— бросил он и убежал. Долгие часы бродил он по улицам среди полного мрака, в котором горели только две красные искры — коралловые сережки.

Когда Франц поднялся в свою комнату, Георг сидел на кровати. Франц сейчас же принялся укладывать вещи. Георг внимательно следил за ним. Его взгляд даже принудил Франца обернуться, хотя у того было только одно желание — никогда в жизни больше не видеть Георга. Георг чуть-чуть улыбался. Франца охватило мучительное желание ударить его прямо по лицу, лучше всего — по глазам. Следующая секунда была, вероятно, в их совместной жизни первой, когда они вполне поняли друг друга. Франц чувствовал, что все желания, до сих пор руководившие его поступками, угасли, все — кроме одного. А Георг, может быть впервые, желал вполне серьезно освободиться от всей этой бестолочи и идти

к одной-единственной цели, лежащей далеко от его запутанной, беспорядочной жизни.

— Из-за меня, Франц, тебе незачем съезжать,— сказал он спокойно.— Если тебе противно жить со мной — теперь ты можешь признаться, что тебе всегда было немножко противно,— я уйду. Элли и я — мы решили пожениться.

Франц хотел не говорить с ним, но тут у него вырвалось против воли:

— Ты и Элли?

— А почему бы и нет? — сказал Георг.— Она ведь не такая, как другие девушки. Это навсегда. Ее отец обещает мне работу достать.

Отец Элли, обойный мастер,— ему этот зять с первого же взгляда пришелся не по нутру,— настаивал на том, чтобы справить свадьбу поскорее, раз уж необходимо. Он нанял комнату для молодых, так как, по его выражению, не хотел, чтобы у него на глазах губили его любимую дочь.

Закинув руки за голову и вытянувшись на узкой кровати в своей каморке, Франц вспоминал все слова, которые тогда были сказаны, всю игру выражений на лице Георга. Много лет избегал он этих воспоминаний. А если все-таки что-нибудь всплывало в памяти, он вздрагивал, словно от укола. Теперь он дал всему этому неспешно пройти перед своим внутренним взором. И он находил в себе только изумление: оказывается, уже не больно, думал он, оказывается, мне все равно. Сколько ужасного должно было произойти за это время, раз это уже не причиняет боли!

Франц увидел Георга три недели спустя. Тот сидел на скамейке на Бокенгеймском бульваре с невероятно толстой женщиной. Он обнимал ее за плечи, обхватить талию он не мог. Не успел у Элли родиться ребенок, как она уже переехала обратно к родителям. Но отец — Франц узнал об этом от соседей — вдруг начал настаивать, чтобы дочь вернулась к мужу: раз уж ты вышла за него и у тебя от него ребенок, изволь как-нибудь ладить с ним. Тем временем Георг снова лишился работы, оттого что вечно агитировал, как выражался его тесть. Элли опять поступила в контору. Незадолго до своего отъезда из этого города Франц узнал, что Элли все-таки вернулась к родителям, и на этот раз — окончательно.

Есть такая детская игра — на пестрый рисунок попеременно накладываются разноцветные стекла, и, смотря по цвету, выступают разные рисунки. В те времена Франц смотрел через такое стекло, которое показывало ему поступки Георга только в одном определенном свете. А через другие стекла он не смотрел. Вскоре он совсем потерял из виду своего бывшего друга. И город опро-

тивел Францу, он решил уехать. Вот как тяжело пережил Франц эту историю, которая закончилась бы просто дракой, коснись дело других. У таких людей, как Франц, ничто не проходит легко. Он решил повидаться с матерью, он не был у нее уже много лет. Она жила у замужней дочери в Северной Германии. Францу удалось там зацепиться. Перемена оказалась удачной — его жизнь с тех пор обогатилась и стала шире. Временами он даже забывал о причине, из-за которой приехал сюда; он сжился с новым местом, с новыми товарищами. Что же касается внешней стороны его жизни, то он был просто одним из многочисленных безработных, перекочевавших из одного города в другой. Его можно было бы сравнить со студентом, переменившим университет. Может быть, он был бы даже счастлив, если бы ему удалось убедить себя, что он действительно любит спокойную, милую девушку, с которой некоторое время был близок.

После смерти матери он в конце тридцать третьего года вернулся в окрестности того города, где некогда жил. Две причины побудили его вернуться: на новом месте он стал слишком известен, пора было уезжать, здесь же он был нужен, так как знал людей и местные условия, а его самого уже забыли. И вот он поселился у дяди Марнета. Старые знакомые, с которыми он случайно встречался, говорили себе: а ведь раньше этот парень не так рассуждал. Или: еще один, который перекрасился. Однажды Франц встретился с единственным человеком из всех окружающих, который знал о нем все,— с рабочим железнодорожных мастерских Германом. Герман сообщил ему совершенно спокойно, даже чуть спокойнее, чем говорил обычно, что в прошлую ночь произошел провал, и весьма неприятный. Во-первых, у арестованного были в руках все нити; во-вторых, он был назначен на эту работу совсем недавно и только ввиду ареста своего предшественника. И Герман спокойно и сдержанно, но совершенно недвусмысленно высказал предположение, что арестованный может проболтаться — от слабости или по неопытности. Хотя это неверие может быть и необоснованно, все же его долг поступить так, как подсказывает осторожность: то есть перестроить все связи и предупредить людей, о которых арестованный был информирован. Герман вдруг смолк, затем отрывисто спросил: может быть, Франц знал этого человека, ведь он раньше жил здесь, некий Георг Гейслер.

Франц постарался не показать своего волнения, однако ему не удалось скрыть от Германа, как его потрясло это имя, услышанное им снова спустя столько времени. Франц попытался вкратце и объективно обрисовать образ Георга, хотя, вероятно, не мог бы этого сделать даже в самые спокойные минуты. Склонившись над шахматной доской, они обсудили все необходимые меры.

Франц думал: все эти меры оказались излишними. Нам не надо было ни перестраивать связей, ни предупреждать товарищей. И сердце у меня щемило зря.

Спустя месяц Герман свел его с одним бывшим заключенным, отпущенным из Вестгофена. Этот человек рассказал о Георге: «Они на нем хотели показать нам, как можно парня, сильного и крепкого, как дуб, положить — раз, два, три — на обе лопатки. А вышло наоборот. Они только показали, что таких людей ничем не сломишь. Но они продолжают терзать его. Они решили его извести. У него такое лицо, такая улыбка — ну, они просто на стену лезут, и потом глаза — в них колючие, насмешливые искорки. Сейчас его красивое лицо разбито в лепешку, и весь он будто высох».

Франц встал с койки и как можно дальше высунул голову из оконца. Стояла полная тишина. Впервые Франц не чувствовал в этой тишине никакой умиротворенности: мир не был тихим — он молчал. Франц невольно спрятал руки от лунного света, который способен, как никакой свет в мире, разливаться по любой поверхности и проникать в каждую щель. Как же он не предугадал, что Георг окажется таким? Разве это можно было знать заранее? Наша честь, наша слава, наша безопаспость вдруг очутилась у него в руках. Все прежнее — его романы, его проделки,— все было вздор, не главное. Но ведь невозможно было знать этого заранее. Будь я на его месте, кто знает, выдержал ли бы я, хотя именно я его и вовлек.

Франц вдруг почувствовал, что он устал. Он снова лег. А может быть, Георг вовсе и не участвовал в побеге? Да и он слишком ослабел для такого предприятия. Но кто бы ни бежал, Герман совершенно прав: непоймапный беглец — это все же кое-что, это будоражит. Это вызывает сомнение в их всемогуществе. Это — брешь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Когда кистер, уходя, запер дверь и последний отзвук раскололся о дальние своды, Георг понял, что ему дана отсрочка, дана такая нежданная передышка, что он почти готов был принять ее за спасение. С самого бегства, вернее с ареста, впервые испытал он согревающее чувство безопасности. Но как ни остро было это чувство, оно было мимолетно. А ведь в этом сарае, сказал он себе, адски холодно.

Сумрак настолько сгустился, что краски витражей померкли. Он достиг той силы, когда стены отступают, своды поднимаются и

колонны бесконечной вереницей вырастают ввысь, в неизвестное, которое, быть может,— ничто, быть может,— беспредельность. Вдруг Георг почувствовал, что за ним наблюдают. Он силился побороть это ощущение, сковывавшее ему тело и душу. Он высунул голову. На него в упор смотрели глаза человека с посохом и в митре; человек прислонился к своей могильной плите в пяти метрах от Георга, у ближайшей колонны. Сумерки затушевывали пышность одежд, словно струившихся с него, но не черты лица, грубого и гневного. Его глаза преследовали Георга, когда тот проползал мимо.

Сумерки не проникали сюда снаружи, как обычно вечером. Казалось, во мгле собор растворяется, камни теряют свою твердь. И виноградные лозы на колоннах, и бесовские рожи, и, вон там, проколотая копьем обнаженная нога — все становилось вымыслом и дымкой, все каменное превращалось в мглу и только он сам, Георг, окаменел от страха. Он закрыл глаза, несколько раз вздохнул — все прошло или сумерки стали еще немного гуще, и это успокаивало. Он поискал, где бы спрятаться. Он перебегал от одной колонны к другой, пригибаясь к полу, словно за ним все еще следили. Прислонясь к колонне, против которой Георг теперь присел, равнодушно глядел поверх беглеца полный, упитанный человек. На губах — наглая усмешка власти, в каждой руке по короне, которыми он непрерывно коронует двух карликов, двух антикоролей междуцарствия. Вдруг Георг одним прыжком перескочил к соседней колонне, словно просвет между колоннами сторожили чьи-то глаза. Он поднял голову и увидел человека в таких широких одеждах, что Георг мог бы в них завернуться. И вздрогнул. Над ним склонилось человеческое лицо, полное скорби и заботы. Чего еще хочешь ты, сын мой? Смирись, ты еще только начал, а силы твои уже иссякли. Твое сердце стучит, и кровь в больной руке стучит. Георг наконец нашел подходящее местечко — нишу в стене. Под взглядом шести архиепископов — канцлеров Священной империи — он прополз между скамьями, отставив руку, как пес прищемленную лапу. Затем сел. Он принялся растирать одеревеневшие суставы больной руки, которая совсем онемела.

Его уже лихорадило. Не смеет рука подвести его, пока он не доберется до Лени. У Лени он сделает перевязку, помоется, поест, отоспится, полечится. Он испугался. Ведь он так желал, чтобы эта ночь длилась бесконечно, а нужно, чтобы она пронеслась как можно скорее. Если бы хоть на миг представить себе Лени! Заклинание, иногда удававшееся, иногда нет, смотря по месту и времени. И на этот раз удалось: худенькая, девятнадцатилетняя девушка, стройные, очень длинные ноги, смугло-бледное лицо, голубые глаза, казавшиеся в тени густых ресниц почти черными.

Вот из чего он ткал свои сны. В свете воспоминаний, в нараставшей разлуке из девушки, показавшейся ему на первый взгляд почти некрасивой и немного смешной — у нее были длинные руки и ноги, придававшие ее походке какую-то неловкую стремительность,— она постепенно превратилась в сказочное существо, которое не часто встретишь и в легендах. После каждого дня, удлинявшего разлуку, после каждой новой грезы ее образ становился все окрыленнее, все нежнее и воздушнее; даже и сейчас, привалившись к ледяной стене, он, чтобы не заснуть, осыпал ее словами любви. Она должна была приподняться в постели и вслушиваться в темноту.

Сколько клятв давал он ей, какие неправдоподобные приключения переживал с ней в мечтах после того единственного раза, когда они по-настоящему были вместе. Ему пришлось на другой же день уехать из города. В его ушах без конца звучали ее уверения, полные безысходного отчаяния: «Я буду ждать тебя здесь, пока ты вернешься. Если тебе придется бежать, я не расстанусь с тобой».

Со своего места Георг еще мог разобрать фигуру на угловой колонне. Издали лицо выступало даже яснее, несмотря на мрак; страдальчески изогнутые губы, казалось, произносили последний, полный отчаяния призыв: примиренье — вместо страха смерти, милосердие — вместо справедливости.

Маленькая квартирка в Нидерраде, где Лени жила с пожилой сестрой — сестра уходила на работу,— показалась Георгу удобным местом на случай побега. Эти соображения не выходили у него из головы и тогда, когда он переступил порог ее комнатки, хотя обо всем прочем он забыл — свои прежние увлечения, целые куски своей жизни; и даже когда стены комнаты сомкнулись, словно непроницаемый колючий кустарник, в его сознании не угасла мысль о том, что здесь, в случае чего, хорошо можно спрятаться. Однажды в Вестгофене его вызвали: кто-то пришел к нему на свидание, и он было в страхе решил, что они напали на след Лени. Но этой женщины, стоявшей перед ним, он сначала просто не узнал. Они могли бы с таким же успехом привести к нему любую крестьянку из соседней деревни — такой чужой показалась ему Элли, которую они приволокли сюда...

Вероятно, он задремал — и вдруг проснулся в ужасе. Весь собор гремел. Яркий луч света пролетел через все это исполинское пространство и лег на его вытянутую ногу. Что делать? Бежать? Успеет он? Куда? Все двери, кроме одной, были заперты, а из нее-то и падал свет. Может быть, он еще успеет проскользнуть в боковую часовню! Он нечаянно оперся на раненую руку, вскрик-

нул от боли и рухнул на пол. Он уже не решался переползти полосу света, так как раздался голос кистера:

— Вот неряхи эти бабы, каждый день что-нибудь!

Слова загудели, словно трубный глас в день Страшного суда. Старуха, мать кистера, крикнула:

— Да вон она, твоя сумка!

Тут вступил другой голос — кистеровой жены, подхваченный стенами и колоннами,— прямо какой-то вопль торжества:

— Я же отлично знаю, что во время уборки поставила ее между скамьями.

Обе женщины удалились. Казалось, шаркают ногами великанши. Дверь опять заперли. Осталось только эхо, оно разбилось на множество отзвуков, еще раз прогудело, словно не желая утихнуть, и наконец постепенно замерло по отдаленнейшим углам, все еще вздрагивая, когда Георг уже перестал дрожать.

Он снова прислонился к стене. Веки его отяжелели. Стало совершенно темно. Так слабо было мерцание единственной лампады, где-то словно парившей в темноте, что она уже не освещала сводов, а только подчеркивала всю непроницаемость окружающего мрака. И Георг, который перед тем больше всего жаждал темноты, теперь задыхался.

Разденься, посоветовал ему Валлау, и ты скорее отдохнешь. Он подчинился, как всегда подчинялся Валлау, и с удивлением почувствовал, что ему стало легче.

Валлау доставили в лагерь спустя два месяца после него. «Значит, ты и есть Георг?» Из пяти слов, которыми его приветствовал этот немолодой рабочий, Георг впервые узнал, как высоко его ценят люди. Кто-то из выпущенных на свободу заключенных рассказал о нем, и, в то время как в Вестгофене его пытали смертными муками, по городам и селам его родины шла молва о нем и создавался его образ — нерушимый памятник. Даже сейчас, сидя у этой ледяной стены, Георг думал: если бы я мог встретиться с Валлау только в Вестгофене, я бы опять согласился пройти через все... В первый и, может быть, в последний раз в его молодую жизнь вошла настоящая дружба, когда дело не в том, чтобы командовать или подчиняться, взять верх или раствориться в другом, а в том, чтобы показать, чего ты на самом деле стоишь, и чтобы тебя именно за это полюбили.

Темнота уже не казалась такой непроницаемой. Белая стена чуть мерцала, как только что выпавший снег. Он ощущал всем телом, что выделяется на ней темным пятном. Может быть, все-таки перейти на другое место? Когда отпирают перед обедней? До утра остались еще неисчислимые минуты безопасности. Перед ним столько же этих минут, сколько, например, перед кистером

недель. Потому что в конце концов ведь и кистеру не гарантирована вечная безопасность.

Вдали, возле главного алтаря, отчетливо выделялась одна колонна, свет выхватывал ее из мрака. И казалось, эта единственная светлая колонна одна поддерживает весь свод. Но какое все было холодное! Ледяной мир! Словно его никогда не касалась человеческая рука, человеческая мысль. Точно он, Георг, в глетчере. Здоровой рукой он растер ноги и все суставы. Да в этом убежище замерзнуть можно!

«Три сальто. Это самое большее, на что способно человеческое тело». Так объяснял ему акробат Беллони, его товарищ по заключению. Беллони — в жизни просто Антон Мейер — был арестован и увезен прямо с трапеции. В его вещах нашли несколько писем из Франции от Союза артистов. Как часто его будили среди ночи, чтобы он показывал свои фокусы. Угрюмый, молчаливый парень, хороший товарищ, но очень чужой. «Нет, на свете осталось, вероятно, всего только три артиста, которые способны на это. Конечно, тому или другому акробату может случайно удаться, но постоянно, изо дня в день — нет». Он по собственному почину подошел к Валлау и заявил, что при любых условиях готов рискнуть на побег. Все равно им отсюда не выйти. Он надеялся на ловкость своего тела и на готовность друзей оказать ему помощь. Он дал Георгу адрес, где на всякий случай обещал оставить денег и платье. Наверно, хороший малый, но слишком чужой, никак не разберешь его. Георг решил этого адреса не использовать. Он решил в четверг утром отправить Лени во Франкфурт, к старым друзьям. Если бы у Пельцера, при его ясном уме, были сухожилия и мышцы Беллони, он наверняка выкарабкался бы. А вот Альдингера, пожалуй, уже изловили. Он в отцы годится всем этим мерзавцам, которые теперь, может быть, вырывают у него волосы и плюют в его старое крестьянское лицо — оно даже и тогда не потеряло выражения собственного достоинства, когда старик был, видимо, уже не в себе. На него донес бургомистр соседней деревни: какая-то старая семейная вражда.

Фюльграбе был из всех семерых единственный, кого Георг знал еще до лагеря. Не раз, сидя за кассой в своем магазине, выкладывал он марку на подписной лист, с которым приходил к нему Георг, и теперь даже в самые тяжелые минуты он не мог забыть своего раздражения: его-де втянули, уговорили, а он не умеет отказывать.

Альберта Бейтлера, очевидно, уже нет в живых. Долгие недели терпел он и унижался, уверяя, что его вина ничтожна — какие-то валютные махинации, но под конец стал точно бешеный, и его перевели в штрафную команду к Циллиху. Сколько же зверь-

ских ударов пришлось вынести Альберту, если даже из его отупевшего сердца была высечена эта искра протеста!

Я еще замерзну здесь, подумал Георг. Меня найдут. Потом детям будут показывать место у стены — вот здесь когда-то был найден беглец, замерзший осенней ночью в те дикие времена. Который может быть теперь час? Верно, скоро полночь. Среди уже непроницаемой, окончательной темноты он продолжал думать: помнит ли еще обо мне кто-нибудь из прежних? Мать? Она вечно бранилась. На больных ногах ковыляла она взад и вперед по переулку, низенькая, толстая, с очень крупной, слегка колыхавшейся грудью. Ее я никогда больше не увижу, даже если останусь в живых. Из всего ее облика ему запали в душу только глаза, молодые, карие, но потемневшие от укоризны и беспомощные. Даже теперь он покраснел от стыда: как мог он тогда перед Элли — она была три месяца его женой,— как мог он стыдиться матери, оттого что у нее такая грудь и такое нелепое праздничное платье!

Он вспомнил о своем школьном товарище Пауле Редере. Десять лет играли они в камешки на одном и том же дворе и следующие десять лет — в футбол. Потом Георг потерял его из виду, так как сам сделался другим человеком, а маленький Редер остался прежним. Теперь он представлял себе его круглое, усыпанное веснушками личико, как милый сердцу, но навеки запретный родимый край. Вспомнил он и о Франце. Франц хорошо относился ко мне, сколько он сил на меня ухлопал! Спасибо, Франц. Потом мы рассорились. Только вот из-за чего? Интересно, что с ним сталось? Выдержанный, крепкий и верный человек.

У Георга перехватило дыхание. Из бокового придела на пол упало косое отражение витража — может быть, он был освещен лампой, зажженной в доме по ту сторону соборной площади, или фарами проходившей машины — громадный, горящий всеми красками ковер, внезапно развернувшийся в темноте; из ночи в ночь, зря и ни для кого бросали его на плиты пустого собора: ведь такие гости, как Георг, бывали здесь раз в тысячелетие.

И этот свет, зажженный, может быть, для того, чтобы успокоить больного ребенка или проводить в путь отъезжающего друга, оживлял, пока он горел, все скрытые здесь во мраке картины человеческой жизни. Да это, верно, те двое, думал Георг, которых изгнали из рая. А это, наверно, головы коров, они заглядывают в ясли, где лежит дитя, для которого нигде не нашлось места. А это тайная вечеря, когда он уже знал, что его предали; а это солдат, проколовший его копьем, когда он уже висел на кресте... Георг давно забыл многие из этих картин. Иных он никогда и не видел, дома у него этим уже не интересовались. Но все, что смягчает одиночество, может утешить человека. Не только то, что вы-

страдано другими сейчас, одновременно с тобой, может поддержать тебя, но и то, что было выстрадано давно.

Свет на улице погас. Мрак стал еще чернее. Георг вспомнил о своих братьях, особенно о младшем — он сам растил его с той нежностью, с какой растят скорее котенка, не дитя. Вспомнил и о собственном сыне, которого видел только один раз. Затем не вспоминал уже ни о чем определенном. Образы рождались перед ним и таяли — то смутные, то слишком яркие. Вместе с иными вставали куски улицы, школьный двор, спортивная площадка, с другими — река или роща, облако. Картины наплывали как бы сами собой, чтобы он мог ухватиться за то, что ему было дорого. Затем все стало уже настолько смутным, что он не мог представить себе ни лица матери, ни чьего-нибудь лица вообще. Ему резало глаза, словно он все это видел в действительности. Далеко, далеко от него, где уже никакого собора быть не могло, вспыхнуло что-то пестрое. Проехала машина. Свет фар скользнул по окнам, на пол упало отражение, а когда свет заскользил дальше по стене, снова наступил мрак.

Георг прислушался. Мотор продолжал стучать. Георг услышал взрыв визга и хохота, голоса женщин и мужчин, очевидно слишком тесно набившихся в машину. Они проехали. Окна быстро закидали цветными отблесками промежутки между колоннами, отблески вспыхивали и гасли все дальше и дальше от Георга. Голова его опустилась на грудь. Георг заснул. Он упал на больную руку и проснулся от боли. Глухая ночь была уже позади. Кусок стены перед ним посветлел. В порядке, обратном вчерашнему, темнота начала испаряться, колонны и стены заструились, словно собор был построен из песка. Тронутые едва брезжущим утренним светом, проступили на окнах картины, но не в сияющих, а в тусклых, смутных тонах. Колонны перестали струиться, и все начало отвердевать. Гигантский свод храма отвердевал в тех массивах, которые были возведены при Гогенштауфенах,— воплощение разума зодчих и неисчерпаемой силы народа. Отвердел и свод ниши, куда забился Георг и которая уже во времена Гогенштауфенов считалась почетной. Отвердели колонны и все рожи и головы животных на капителях; вновь отвердели епископы на могильных плитах перед колоннами в гордом бодрствовании смерти, и отвердели короли, коронованием которых епископы так безмерно гордились.

Мне давно пора, решил Георг. Он выполз из ниши. Зубами и здоровой рукой затянул узелок со сброшенным тряпьем. Засунул узелок между одной из могильных плит и колонной. Все его тело напряглось, глаза заблестели: он ждал той минуты, когда кистер отопрет двери.

II

А тем временем пастух Эрнст приветствовал свою Нелли ласковым баском, который собачка так хорошо знала, что от радости по ней пробежала дрожь.

— Нелли,— сказал пастух Эрнст.— А она все-таки не пришла, Софи-то, вот дурочка! Она не знает, Нелли, где искать свое счастье. Но мы все-таки потом заснули, верно? Мы не мучились!

У Мангольдов еще было тихо, но в хлеву у Марнетов уже кто-то гремел ведрами. Эрнст взял полотенце и клеенчатую сумку, в которой держал бритвенные и умывальные принадлежности, и направился к Марнетовой колонке. Вздрагивая от холода и удовольствия, он растер шею и грудь и вычистил зубы. Затем повесил карманное зеркальце на забор и начал бриться.

— У тебя найдется для меня немножко теплой водицы? — спросил он Августу, увидев в зеркальце, что она подходит, неся ведра с молоком.

— Да, зайди,— сказала Августа.

— Ишь какая ты стала добрая после замужества, Августа, а раньше была ерш ершом.

— А ты чуть свет уже успел выпить?

— Даже кофе не пил,— отозвался Эрнст.— Мой термос лопнул к чертям.

Там, далеко внизу, на берегу Майна, в густом тумане, люди просыпались, ворча и зевая, и зажигали лампы. Из ворот крайнего дома в Либахе вышла повязанная платочком девушка лет пятнадцати — шестнадцати. Платочек был так бел, что ее тонкие брови выделялись под ним особенно отчетливо. Спокойная, уверенная, что ее друг вот-вот появится, как обычно, на тропинке, ведущей вдоль стены, девушка даже не смотрела в ту сторону, а прямо перед собой. И действительно, из-за ограды показался Гельвиг, тот самый Фриц Гельвиг, ученик сельскохозяйственного училища, и вошел в ворота. Молча, почти без улыбки, девушка подняла руки; они обнялись и поцеловались; а из кухонного окна две женщины — бабушка девушки и пожилая кузина — смотрели на них, не сочувствуя и не порицая, как смотрят на то, что происходит ежедневно. Несмотря на юность, эта пара считалась женихом и невестой. Когда они поцеловались, Гельвиг зажал лицо девушки между ладонями. Они играли в игру — кто первый засмеется, но обоим не хотелось смеяться, они только смотрели друг на друга — глаза в глаза. Как почти все в деревне, они находились в дальнем родстве, и у них были одинаковые карие глаза, но более светлого и прозрачного оттенка, чем обычно в этой местности. Они глядели друг на друга не мигая, глубоким и правдивым, как гово-

рится, невинным взором. И говорится верно, ибо можно ли определить лучше то, что было в их глазах? Еще никакая вина не омрачала этой ясности, никакая догадка, что сердце человека под гнетом жизни идет порой на многое, а человек утверждает потом, будто он не понимал, в чем дело,— но отчего же сердце его тогда так яростно и больно колотилось? Нет, никакое горе не омрачало этого ясного взора, кроме того, что до свадьбы еще далеко. Так они смотрели до тех пор, пока друг друга не потеряли. Веки девушки слегка дрогнули.

— Фриц,— сказала она,— а ведь ты теперь получишь обратно свою куртку.

— Надеюсь,— сказал юноша.

— Боюсь, ее совсем испортили,— сказала девушка.— Знаешь, этот Альвиг, который сгреб его, он ведь прямо зверь.

Накануне по деревням только и было разговору что о беглеце, пойманном во дворе у Альвигов... Когда больше трех лет назад был основан лагерь Вестгофен, когда построили бараки и стены, протянули колючую проволоку и расставили часовых, когда затем прибыла первая колонна, встреченная хохотом и пинками,— в этом и тогда уже принимали участие Альвиги и им подобные,— когда ночью крестьяне услышали крики и вой и даже выстрелы, всем стало не по себе. Люди осеняли себя крестом: избави бог от такого соседства! Те, кому приходилось идти на работу в обход полем или лесом, видели иной раз и заключенных под охраной, на наружных работах. И многие шептали про себя: «Эх, бедняги!» А потом стали призадумываться: чего они там роются?

Как-то раз в Либахе молодой лодочник даже вздумал открыто проклинать лагерь — тогда еще бывали такие случаи. Его, конечно, сейчас же забрали и посадили на несколько недель: пусть увидит своими глазами, что там внутри. Вышел он оттуда сам не свой и не отвечал на вопросы. Он нашел себе работу на барже, а спустя некоторое время уехал в Голландию и, как рассказывали его родные, остался там навсегда — история, которой вся деревня потом дивилась.

Однажды через Либах провели два десятка заключенных. Их еще до лагеря так обработали, что людям глядеть на них было жутко. И одна женщина в деревне при всех заплакала. В тот же вечер молодой бургомистр деревни вызвал к себе эту женщину, которая доводилась ему теткой, и заявил ей, что она своим хныканьем не только себе, но и своим сыновьям, а его двоюродным братьям — причем один был его шурином — навредила до конца жизни. Да и вообще деревенская молодежь, парни и девушки, не ленились объяснять родителям, зачем и для кого здесь лагерь,— молодежь, которая всегда считает себя умнее старших, с той раз-

ницей, что в прежние времена молодежь влекло к себе хорошее, а теперь влекло дурное. Так как с лагерем пришлось примириться и к тому же начали поступать многочисленные заказы на овощи и огурцы, то вскоре завязалось и деловое общение, неизбежное при большом скоплении людей, которых надо содержать.

Но когда вчера чуть свет завыли сирены, когда на всех дорогах словно из земли выросли часовые и распространился слух о побеге, когда затем около полудня в ближайшей деревне действительно был пойман один из беглецов,— лагерь, к которому все давно привыкли, будто заново возник перед ними. Будто заново были возведены стены, протянута колючая проволока — но зачем же непременно тут, у нас? А эта группа заключенных, которых от ближайшей станции на днях прогнали через деревню,— зачем? Женщина, которую три года назад предостерегал племянник-бургомистр, опять плакала вчера при всех. Разве непременно нужно было наступать каблуком на пальцы беглецу, когда он ухватился за борт грузовика? Ведь они все равно его заполучили. Все Альвиги отроду были звери, только теперь они верховодят. А тот, бедняга,— на нем лица не было, рядом с ним все деревенские казались такими румяными, здоровущими!

Гельвиг все это слышал. С тех пор как он научился думать, лагерь был уже здесь и всегда было готовое объяснение — зачем он здесь. И Гельвиг ничего другого, кроме таких объяснений, не знал. Ведь лагерь построили, когда он был еще малышом. И вот теперь, когда он уже юноша, он как бы увидел его заново.

Уж конечно, там не одни негодяи да сумасшедшие, говорили люди. Тот лодочник, который тогда побывал в лагере, разве он плохой? Кроткая мать Гельвига сказала: конечно, нет! Сын посмотрел на нее. Сердце его почему-то сжалось. И зачем только у него сегодня свободный вечер! Лучше бы вокруг него были привычные товарищи, шум, военные игры, марши. Он вырос среди неистового рева труб и фанфар, криков «хайль!» и топота марширующих отрядов. И вдруг сегодня все это как будто на миг прервалось, музыка и барабаны, и стали слышны те легкие, тихие звуки, которые обычно неуловимы. Отчего старик садовник сегодня так посмотрел на него? Ведь другие хвалили же Гельвига. Благодаря его подробному, точному описанию куртки, говорили они, беглец и был пойман.

Гельвиг поднялся тропинкой на пригорок. Он увидел среди грядок с репой старшего Альвига и окликнул его. Альвиг, уже красный и потный от работы, подошел к тропинке. Ну и денек у него выдался сегодня, подумал Гельвиг, словно Альвиг нуждался в защите. Альвиг описал ему все, как описывают охоту. А ведь он только что был просто крестьянином, который раньше других вы-

ходит на свое поле. Сейчас, во время рассказа, это был уже штурмфюрер, человек, который при соответствующих обстоятельствах может стать Циллихом. Ведь и Циллих был когда-то таким же вот Альвигом, крестьянином из деревни Вертгейм на берегу Майна. И он вставал до зари, и он работал до кровавого пота, но тщетно — его крошечная усадебка была продана с молотка. Гельвиг даже знал Циллиха в лицо, тот иной раз приходил сюда из Вестгофена, когда бывал свободен, усаживался в трактире и толковал о деревенских делах. Слушая описание охоты, Гельвиг опустил глаза.

— Куртка? — сказал в заключение Альвиг.— Почем я знаю! Нет, это был, верно, другой беглец; твоего тебе придется уж самому ловить. Во всяком случае, на моем молодчике такой куртки не было.

Гельвиг пожал плечами; почувствовав скорее облегчение, чем разочарование, он зашагал к училищу, фасад которого желтел над полями.

III

В этот вторник обойный мастер Альфонс Меттенгеймер, шестидесяти двух лет, бессменно состоящий уже тридцать лет на службе у франкфуртской фирмы Гейльбаха «Отделка и убранство квартир», получил с утра вызов в гестапо.

Когда на человека сваливается что-нибудь непривычное и непонятное, он ищет в этом непонятном той точки, которая как-то соприкасалась бы с его обычной жизнью. Итак, первой мыслью Меттенгеймера было предупредить фирму, что сегодня он не выйдет на работу. Он вызвал к телефону директора Зимзена и попросил, чтобы ему сегодня дали свободный день. Желание главного мастера оказалось очень некстати: необходимо было на этой же неделе приготовить дом Гергардта на Микельштрассе — новый съемщик Бранд желал вытравить все, напоминающее о евреях, и фирма Гейльбах охотно шла навстречу этому желанию.

— Что случилось? — спросил Зимзен.

— Я сейчас не могу рассказать вам,— ответил Меттенгеймер.

— Вы хоть после завтрака-то приедете?

— Не ручаюсь.

Он зашагал по шумным улицам, среди людей, которые все спешили на работу. И ему стало чудиться, что он какой-то отверженный среди них, хотя до сих пор был самым обыкновенным человеком, таким, как все, и мог бы любого из них заменить, ведь он прожил обыкновеннейшую жизнь и состарился, пройдя через все ее повседневные радости и горести.

Каждый человек, перед которым стоит возможность несчастья, спешит обратиться к внутренней опоре, скрытой в его душе. Эта непоколебимая опора для одного — его идея, для другого — его вера, для третьего — его любовь к семье. А у иных ничего нет. У них нет непоколебимой опоры, внешняя жизнь со всеми своими ужасами может на них обрушиться и задавить.

Удостоверившись наспех, что «бог» еще тут — хотя обойщик думал о нем редко, предоставляя ходить в церковь жене,— Меттенгеймер опустился на скамью возле остановки, где садился последние дни в трамвай, чтобы попасть на работу в западную часть города.

Его левая рука начала дрожать, однако это был только отзвук волнения, наконец вылившегося наружу. Первое потрясение уже прошло. Сейчас он не думал о жене и детях, он думал только о самом себе. О самом себе, запертом в этом хрупком теле, которое, бог знает почему, можно было мучить.

Он подождал, пока левая рука перестала дрожать. Затем поднялся, чтобы идти дальше пешком. Ведь времени у него хватит. В повестке значилось: в девять тридцать. Однако он предпочитал прийти раньше и дожидаться уже на месте — знак того, что, по-своему, он был не лишен мужества.

Итак, по Цейльштрассе он дошел до главной улицы. Теперь он размышлял о вызове спокойно. В конце концов это может быть связано только с Георгом, бывшим мужем его средней дочери Элли, но ведь тот человек сидит крепко, уже несколько лет. Ничего нового не могло случиться с тех пор, как Меттенгеймера, бывшего тестя Гейслера, допрашивали в конце тридцать третьего года. А тогда было установлено с полной очевидностью, что он, обойщик, был решительно против Гейслера и совершенно того же мнения насчет зятя, как и те, кто его допрашивал. Они тогда советовали ему уговорить Элли развестись. Правда, уговаривать ее он не стал. Но это не имеет никакого отношения к разводу, размышлял Меттенгеймер. Здесь что-то совсем другое.

Он сел на ближайшую скамью. Вот дом, восьмой номер, я тоже когда-то его отделывал. Как они спорили — муж и жена, цветы или полоски, голубой или зеленый цвет выбрать для гостиной. Я им порекомендовал желтый. Как я раньше оклеивал вам комнаты, люди, так и впредь буду оклеивать. Я — обойщик.

Но все-таки они могли вызвать его только в связи с Георгом. Меттенгеймер не принадлежал к числу тех отцов, которые бок о бок со священником воюют за религию, и его младшая дочь, правда только до пасхи, еще пробудет в школе. Трудно было представить себе тупоносенькую Лизбет в роли борца за веру. Он так прямо и заявил священнику, когда тот стал нащупывать почву.

Пусть девочка спокойненько делает все, что от нее требует школа, пусть ходит туда, куда ходят другие девочки. Он не позволит ей бегать на какие-то там запрещенные сборища, надо вести себя как все. Разве что уж в самые большие праздники. Он твердо надеялся, что они с женой, невзирая на все эти штуки, которым учат теперь девчонок, сделают из Лизбет настоящего человека. Он надеялся, что даже из сына своей дочери Элли, ребенка, который растет без отца, он сделает честного человека.

— Ваш внук Альфонс, сын вашей второй дочери Элизабет, которую в семье зовут Элли, с декабря тридцать третьего до марта тридцать четвертого проживал в вашей квартире, а с марта тридцать четвертого и до сих пор проводит у вас дневные часы. Верно?

— Совершенно верно, господин следователь,— сказал Меттенгеймер. А сам подумал: и что ему дался этот ребенок? Не могли же они меня вызвать из-за него? Откуда они все это узнали?

Молодому человеку, сидевшему в кресле под портретом Гитлера, не могло быть и тридцати лет. Казалось, в комнате две климатические зоны и разделяющий их градус широты проходит через письменный стол: Меттенгеймер обливался потом и тяжело дышал, а молодой человек, сидевший против него, имел вполне свежий вид, и воздух, окружавший его, наверно, был прохладен.

— У вас пятеро внуков. Почему вы воспитываете именно этого мальчика?

— Моя дочь целый день в конторе.

«И чего только ему от меня надо? — спрашивал себя Меттенгеймер.— Этот молокосос не запугает меня. Комната как комната, и молодой человек как молодой человек...» Он вытер лицо. Молодой человек внимательно наблюдал за ним молодыми серыми глазами. Обойщик продолжал сжимать в руке перемятый носовой платок.

— Существуют же детские приюты. Ваша дочь зарабатывает. С первого апреля этого года она зарабатывает сто двадцать пять марок в месяц. Значит, она в состоянии содержать ребенка.

Меттенгеймер переложил платок в другую руку.

— Почему вы помогаете именно этой дочери, которая вполне может прокормить себя?

— Она одна,— сказал Меттенгеймер.— Ее муж...

Молодой человек быстро взглянул на него. Затем сказал:

— Садитесь, господин Меттенгеймер.

Меттенгеймер сел. Он вдруг почувствовал, что еще секунда — и он упал бы. Платок он сунул в карман пиджака.

— Муж вашей дочери Элли был в январе тридцать четвертого года заключен в Вестгофен.

— Господин следователь! — крикнул Меттенгеймер. Он привскочил на стуле. Затем опустился обратно на сиденье и спокойно заявил: — Я знать не хотел этого человека. Я навсегда запретил ему переступать порог моего дома. В последнее время моя дочь не жила с ним.

— Весной тридцать второго года ваша дочь вернулась к вам. В июне — июле того же года ваша дочь опять сошлась с мужем. Затем снова переехала к вам. Ваша дочь не разведена?

— Нет.

— Почему?

— Господин следователь,— сказал Меттенгеймер, тщетно ища платок в кармане брюк.— Хоть она и против нашей воли вышла за этого человека...

— Однако вы, как отец, были против развода.

Нет, эта комната все-таки не обыкновенная комната. И самое страшное в ней, что она тихая и светлая, что она испещрена нежными тенями листвы, обыкновенная комната, выходящая в сад. Самое страшное то, что этот молодой человек, обыкновеннейший молодой человек, с серыми глазами и аккуратным пробором,— что он все-таки всеведущ и всемогущ.

— Вы католик?

— Да.

— Вы поэтому были против развода?

— Нет, но брак...

— Для вас святыня? Да? Для вас брак с негодяем — святыня?

— Ведь никогда не знаешь, вдруг человек и перестанет быть негодяем,— возразил Меттенгеймер вполголоса.

Молодой человек некоторое время рассматривал его, затем сказал:

— Вы положили платок в левый карман пиджака.

Вдруг он стукнул кулаком по столу.

— Как же вы так воспитали вашу дочь, что она могла выбрать такого мерзавца? — загремел он.

— Господин следователь, я воспитал пятерых детей. Все они делают мне честь. Муж моей старшей дочери — штурмбаннфюрер. Мой старший сын...

— Я спрашиваю вас не о других детях. Я спрашиваю сейчас только о вашей дочери Элизабет. Вы допустили, чтобы ваша дочь вышла за этого Гейслера. Не дальше как в конце прошлого года вы сами сопровождали дочь в Вестгофен.

В это мгновение Меттенгеймер почувствовал, что у него про запас, на самый крайний случай, все-таки есть его нерушимая опора. Он ответил совершенно спокойно:

— Это тяжелый путь для молодой женщины.

Он думал: а молодой человек — сверстник моего младшего сына. Как смеет он говорить таким тоном? Плохие у него были родители, плохие учителя. Рука обойщика, лежавшая на левом колене, опять начала дрожать. Однако он спокойно добавил:

— Это был мой долг как отца.

На миг стало тихо. Хмурясь, смотрел Меттенгеймер па свою руку, которая продолжала дрожать.

— Ну, для выполнения этого долга вам в дальнейшем едва ли представится случай, господин Меттенгеймер.

Меттенгеймер вскочил и крикнул:

— Разве он умер?

Если допрос был построен на этом, то следователь должен был испытать разочарование. В тоне обойщика прозвучало совершенно явное облегчение. Действительно, смерть этого парня сразу все разрешила бы. Она освободила бы обойщика от тягостных обязанностей, которые он на себя возложил в исключительные и решающие минуты жизни, и от хитрых и мучительных попыток все-таки от них уклониться.

— Отчего же вы полагаете, что он умер, господин Меттенгеймер?

Меттенгеймер сказал, заикаясь:

— Вы спросили... я ничего не полагаю.

Следователь вскочил. Он перегнулся через стол. Его тон вдруг стал вкрадчивым.

— Нет, но почему, господин Меттенгеймер, допускаете вы мысль, что ваш зять умер?

Обойщик сжал вздрагивающую левую руку правой. Он ответил:

— Я ничего не допускаю.— Его спокойствие исчезло. Другие голоса зазвучали в нем, и он понял, что никогда ему не отделаться от того молодчика, от Георга. Ему вспомнилось, что ведь таких молодых упрямцев — если правда то, что рассказывают,— нестерпимо мучают, и его смерть должна была быть невообразимо тяжелой. И в сравнении с этими голосами сухой, отрывистый голос следователя показался ему принадлежащим самому обыкновенному молодому человеку, разыгрывающему из себя важную персону.

— Но ведь были же у вас какие-то основания предположить, что Георг Гейслер умер? — Следователь вдруг зарычал: — И нечего нам тут голову морочить, господин Меттенгеймер!

Обойщик вздрогнул. Затем, стиснув зубы, молча посмотрел на следователя.

— Ваш зять был вполне здоровый молодой человек, ничем

особенным не болевший. Значит, ваше утверждение должно же на чем-нибудь основываться.

— Да я ничего и не утверждал.— Обойщик снова успокоился. Он даже выпустил свою левую руку. А что, если он сейчас правой рукой ударит этого молодого человека по лицу, что тогда? Тот его, конечно, пристрелит на месте. А лицо у молодого человека будет багровое с беловатым пятном там, куда опустилась твоя рука. В первый раз со времен молодости в его старой, усталой голове родилось желание сделать в своей жизни этакий отчаянный крутой поворот, просто немыслимый на нашей земле. Он подумал: не будь у меня семьи... Он подавил улыбку, поймав языком ус. Следователь удивленно уставился на него.

— А теперь слушайте внимательно, господин Меттенгеймер. Ввиду ваших показаний, которыми вы подтвердили наши собственные наблюдения, а в некоторых важных пунктах даже дополнили, мы хотели бы предостеречь вас. Мы хотели бы предостеречь вас в ваших собственных интересах, господин Меттенгеймер, в интересах всей вашей семьи, главой которой вы являетесь. Воздержитесь от всякого шага и всякого слова, которые имели бы какое-нибудь отношение к бывшему мужу вашей дочери Элизабет, Георгу Гейслеру. А если у вас возникнет какое-нибудь сомнение или понадобится совет, то обращайтесь не к вашей жене, и не к членам вашей семьи, и не к священнику, но обратитесь в наше главное управление, комната восемнадцать. Понимаете вы меня, господин Меттенгеймер?

— Конечно, господин следователь,— сказал Меттенгеймер.

Он не понял ни слова. От чего предостерегали его? Что он подтвердил? Какие у него могли возникнуть сомнения? Молодое лицо, которое ему только что хотелось ударить, вдруг стало каменным — непроницаемое олицетворение власти.

— Можете идти, господин Меттенгеймер. Вы ведь живете Ганзаштрассе, одиннадцать? Служите у Гейльбаха? Хайль Гитлер!

Мгновение спустя обойщик уже был на улице. Город был залит теплым, прозрачным светом осеннего солнца, придававшим толпе ту праздничную веселость, которая обычно чувствуется только весной, и эта толпа увлекла его. «Чего они от меня хотели? — думал он.— Для чего, собственно, они меня вызывали? Может быть, все-таки из-за ребенка Элли? Они ведь могут лишить меня... как это называется... да, права попечительства». Ему вдруг стало легче. Он говорил себе, что все это не важно: просто какой-то чиновник по какому-то официальному делу о чем-то спрашивал его. Как можно из-за подобных пустяков так расстраиваться? У него нет ни малейшей охоты копаться в этом. Ему захотелось поскорее услышать знакомый запах клейстера, залезть в свой ра-

бочий халат, погрузиться в обыкновенную жизнь так глубоко, чтобы никто его там не нашел. Тут показался двадцать девятый номер. Обойщик оттолкнул ожидавших и вскочил в трамвай. Но его, в свою очередь, протолкнул вперед какой-то человек, вскочивший следом за ним. Это был кругленький господинчик в новой фетровой шляпе; казалось, она положена на его макушку, а не надета. Господинчик — немногим моложе его самого. Они наперебой пыхтели и отдувались.

— В нашем возрасте,— сказал Меттенгеймер,— это, пожалуй, рискованно.

Другой ответил сердито:

— Вот именно.

Когда Меттенгеймер пришел к себе на работу, Зимзен встретил его словами:

— Если бы только я знал, Меттенгеймер, что вы так скоро придете. А я думал, у вас пожар или жена в Майне утонула.

— Надо было уладить кое-какие формальности,— сказал Меттенгеймер.— Который час?

— Половина одиннадцатого.

Меттенгеймер натянул свой халат. Он с места в карьер начал разносить рабочих:

— Опять наклеили сначала бордюр! На что это похоже? Ведь не выделяется. У вас одна забота — не выпачкать обоев! Ну, так будьте осторожнее, вот и все. А это содрать надо, все зря! — Он пробормотал: — Счастье, что я еще поспел! — Он прыгал по лестницам, словно белка.

IV

Георгу повезло. Едва собор отперли, как он превратился в раннего богомольца. Среди толпы женщин он был просто один из немногих мужчин. Кистер узнал его. Ишь, еще один одумался, решил он удовлетворенно. Поздновато, правда, долго уж не протянет. Георгу не сразу удалось подняться. Он с трудом дотащился до двери и вышел. Ну, он и двух дней не проживет, подумал кистер. На улице свалится. У Георга лицо было серое, точно он был смертельно болен.

Если бы не рука! И вечно какая-нибудь ничтожная нелепость губит все! Где, когда это случилось с рукой? Да, на утыканной битым стеклом стене, сутки назад... Люди, выходившие из собора, втолкнули его в коротенькую улочку. По ее сторонам тянулись низенькие дома, лавки уже были освещены. Улочка вела на площадь, казавшуюся в тумане бесконечной. На рынке открывались палатки. Еще в дверях собора соблазнительно запахло

крепким кофе и сдобой, так как рядом была кондитерская. И взгляды всех выходивших от обедни невольно потянулись к витрине, где были выставлены пироги с яблоками и булки.

Когда сырой, свежий воздух ударил Георгу в лицо, силы окончательно изменили ему. Ноги у него подкосились, он сел на мостовую. Из собора вышли две старые барышни, две незамужние сестры. Одна решительно сунула ему монетку в пять пфеннигов, другая рассердилась: «Ты же знаешь, это запрещено». Младшая закусила губу. Вот уже пятьдесят лет, как ее бранят.

Георг не мог не улыбнуться. Как он любил жизнь! Все в ней любил он: и сладкие комочки на сдобной булке, и даже мякину, которую во время войны прибавляли в хлеб. Города и реки, всю страну и всех людей — Элли, свою жену, и Лотту, и Лени, и Катринхен, и свою мать, и своего братишку. Лозунги, которые поднимают людей на борьбу; песенки под аккомпанемент гитары; отрывки из книг, которые читал ему Франц и в которых были выражены большие мысли, изменившие всю его жизнь; любил даже болтовню старух. Как хороша жизнь в целом, только отдельные части плохи. Он и сейчас любит это целое. Георг кое-как поднялся и, прислонившись к стене, изголодавшийся и несчастный, стал смотреть туда, где был рынок. Жизнь там уже начиналась в тумане, под фонарями, и вдруг что-то горячее пронзило сердце Георга, словно он был любим взаимно, несмотря на все, всеми и всем, хотя, быть может, и в последний раз,— любим мучительной, беспомощной любовью. Он прошел несколько шагов, отделявших его от кондитерской. Пятьдесят пфеннигов надо оставить про запас как неприкосновенный фонд. Он выложил несколько монет на прилавок. Продавщица высыпала ему на кусок бумаги полную тарелку раскрошившихся сухарей и сожженных краешков. Ее недоумевающий взгляд относился к его куртке, слишком добротной для такого завтрака.

Этот взгляд заставил Георга опомниться. Он набил рот крошками уже на улице. Медленно жуя, тащился он по краю площади. Фонари уже горели, хотя стали ненужны. Сквозь мглу осеннего утра был виден ряд домов на той стороне. Георг брел все дальше по лабиринту узких улиц, намотанных, словно пряжа, вокруг рынка, куда он в конце концов снова и вышел. И тут Георг увидел вывеску: «Д-р Герберт Левенштейн». Вот кто мне поможет, решил он.

Он поднялся по лестнице. Первая обыкновенная лестница за много месяцев. Когда ступеньки заскрипели, Георг испугался, точно он был вор. Здесь тоже пахнет кофе. За дверями квартир начинается обычный день с зевками, одеванием детей, скрежетом кофейных мельниц.

Когда он вошел, в приемной вдруг стало тихо. Все взглянули

на него. Здесь было две группы пациентов: на диване у окна — женщина, ребенок и молодой человек в плаще. За столом — старик крестьянин, пожилой горожанин с мальчиком и теперь еще Георг.

Крестьянин продолжал:

— Я нынче пятый раз тут, вылечить он меня тоже не вылечил, а полегчать мне полегчало. Только бы дотянуть, пока наш Мартин из армии воротится да женится.— В тягучих, однообразных интонациях его голоса нетрудно было уловить ту боль, которую ему, видимо, причиняло произнесение каждого слова. Но он терпел ее ради удовольствия рассказать о себе. Он добавил: — А вы?

— Я не из-за себя пришел,— ответил сухо пожилой пациент,— а ради этого мальчугана. Единственный ребенок моей единственной сестры. Отец ребенка запретил ей идти с ним к Левенштейну. Я и взялся привести его сюда.

Старик сказал, придерживая руками живот, в котором, видимо, и сидела боль:

— Нет, что ли, других врачей?

Пожилой равнодушно сказал:

— Вы ведь тоже сюда пришли?

— Я? Так я уже у всех перебывал — у доктора Шмидта, у доктора Вегензейля, у доктора Рейзингера, у доктора Гартлауба.

Он вдруг повернулся к Георгу:

— А у вас что?

— Да вот рука.

— Этот же не лечит рук, он только по внутренним.

— У меня и внутри что-то повреждено.

— Автомобильная авария?

Дверь приемной открылась. Старик, изнемогая от приступа боли, навалился на стол и на плечо Георга. Не только страх — непреодолимая ребячья тоска овладела Георгом в этой приемной; такое же чувство он испытывал, когда был совсем маленьким, не старше этого бледноватого мальчугана. Как и тогда, он теребил бахрому на ручке кресла.

У входной двери звякнул звонок, Георг вздрогнул. Но это был просто еще один пациент — темноволосая девочка-подросток; она прошла мимо стола.

Наконец он очутился лицом к лицу с врачом. Имя, адрес, профессия? Георг что-то ответил. Стены уже закачались вокруг него, и он почувствовал, что скользит в бездну из стекла, белизны и никеля, в безукоризненно чистую бездну. Когда он скользил, он еще уловил голос врача, информировавший его о том, что Георг имеет дело с евреем. Запах, царивший в приемной, напомнил ему эпилог всех допросов, когда тебя смазывают йодом и накладывают повязки.

— Присядьте,— сказал врач.

Уже увидя Георга в дверях, он отметил, что пациент производит исключительно неблагоприятное впечатление. Сколько раз он это видел: ни зияющих ран, ни опухолей, только легчайшая, нежнейшая тень под глазами — у этого она уже стала черноватой и густой. Интересно, чем он болен?

Врач успел привыкнуть к тому, что пациенты прибегают к нему чуть свет, чтобы соседи не видели,— в последнюю минуту, как бегали раньше к знахарке.

Он начал разматывать тряпку, служившую повязкой.

— Несчастный случай?

— Да.

Несмотря на чувство долга, которое неотвратимо рождал в нем вид всякой раны и всякой болезни, так как он был врачом в подлинном смысле этого слова, Левенштейн при каждом взгляде на этого человека испытывал все большее смущение. Ну что это за перевязка? Кусок подкладки. Он очень медленно размотал ее. И что это вообще за человек? Стар он? Молод? Смятение врача росло, что-то сжимало ему горло, словно он еще никогда не стоял так близко к смерти за все девятнадцать лет, что лечит больных.

Он посмотрел на руку, лежавшую перед ним без повязки. Конечно, она запущена, но не настолько, чтобы оправдать эти зловещие признаки на лбу и под глазами. Чем же он так измучен? Он пришел из-за руки. Но, наверно, он болен еще какой-нибудь, ему самому не ведомой болезнью. Необходимо удалить осколки стекла. Придется сделать укол, иначе он не выдержит. Пациент утверждает, что он автомобильный слесарь.

— Через две недели,— сказал врач,— вы опять сможете работать.— Пациент не ответил. Вынесет ли он укол? Однако сердце этого неизвестного человека хоть и не в полном порядке, но не так уж плохо. Так в чем же дело? И отчего он, врач, не старается выяснить болезнь этого человека?

Почему пациент сейчас же после катастрофы не побежал в ближайшую больницу? Вся эта грязь набилась в рану, по крайней мере, сутки назад. Врачу хотелось расспросить Георга хотя бы для того, чтобы отвлечь его внимание от руки, над которой он сейчас наклонился с пинцетом. Но взгляд пациента словно сковал ему язык, врач остановился на полуслове. Левенштейн еще раз внимательно осмотрел руку, затем окинул быстрым взглядом лицо, куртку, всего человека в целом. Тот слегка скривил губы и посмотрел на врача искоса, но решительно.

Врач медленно отвернулся и сам почувствовал, как побелели даже его губы. Когда он увидел себя в зеркале над умывальником, оказалось, что и на его лицо уже легли черноватые тени. Он

прикрыл глаза. Он мылил руки и мыл их под краном с бесконечной медлительностью. У меня жена и дети. Почему этот человек явился именно ко мне? Теперь придется дрожать при всяком звонке, и без того каждый день мучаешься. Георг взглянул на белый халат врача и подумал: но ведь не вы один.

Врач держал руки под струей, и брызги разлетались во все стороны. Нет больше сил терпеть все эти измывательства, говорил он себе. А тут еще такой человек является! Трудно представить, какие страдания приходится выносить.

А Георг думал, сдвинув брови, пока вода била ключом: но ведь не вам одним.

Врач наконец завернул кран и вытер руки чистым полотенцем. На этот раз он чувствовал запах хлороформа, как обычно его чувствовали только его пациенты. И почему этот человек пришел ко мне? Именно ко мне? Ну, почему?

Он снова отвернул кран. Стал вторично мыть руки. Это тебя совершенно не касается. К тебе в приемную пришла просто рука, больная рука. Висит ли она из рукава проходимца или из-под крыла архангела — это тебе должно быть все равно. Он снова закрыл кран и вытер руки. Затем приготовил шприц. Когда он засучивал рукав больного, он заметил, что на том нет рубашки. Это не мое дело, твердил он про себя, рука — вот мое дело.

Георг сунул перевязанную руку за борт куртки и сказал:

— Большое спасибо!

Врач хотел спросить его насчет денег, но пациент поблагодарил таким тоном, словно само собой разумелось, что его лечили даром. Хотя он, выходя, пошатнулся, врачу теперь уже казалось, что главное — это все-таки рука.

Когда Георг спускался по лестнице, перед ним на последней ступеньке появился дворник, маленький человечек в одном жилете:

— Вы с третьего?

Не раздумывая, что лучше, правда или ложь, Георг быстро ответил:

— С четвертого.

— Ах, так,— сказал человечек,— а я думал, от Левенштейна.

Выйдя на улицу, Георг увидел через два дома на чьем-то крыльце старика крестьянина из приемной. Тот тупо уставился в ту сторону, где был рынок. Туман поднялся. Осенний свет лежал на зонтах, стоявших, точно грибы, над лотками. На столах были разложены соблазнительные плоды и овощи, напоминая своей пестротой немудрящие клумбы. Казалось, крестьяне притащили с собой на рынок целые участки своих полей и огородов. Но куда же делся собор? Все эти трех- и четырехэтажные

дома, зонты, лошади, грузовики и женщины совершенно заслонили собор.

Лишь когда Георг закинул голову, он наконец увидел островерхую башню собора — золотой вихор, за который можно поднять кверху весь город. Сделав еще несколько шагов и миновав крестьянина, тупо смотревшего ему вслед, он увидел высоко над крышами святого Мартина, сидящего на коне. Георг протиснулся в самую гущу толпы. Груды яблок, винограда, цветной капусты плясали у него перед глазами. Приступ голода был так силен, что он готов был зарыться головой в эти груды и впиться в них зубами. Затем ему стало противно. Им овладело состояние, наиболее для него опасное. Голова кружилась, он слишком ослабел, чтобы соображать, и, спотыкаясь, машинально брел среди лавок. Наконец он остановился в рыбном ряду. Прислонившись к столбу для афиш, он смотрел, как продавец чистит и потрошит гигантского карпа. Продавец завернул его в газету и протянул какой-то молодой женщине. Вытащил черпалкой из чана несколько рыбок, быстро сделал на каждой надрез и швырнул полную горсть на весы. Георга мутило, но он не мог отвести глаз.

Крестьянин из приемной врача тупо смотрел вслед Георгу до тех пор, пока тот не скрылся из виду. Некоторое время старик еще наблюдал людей, сновавших туда и сюда в лучах осеннего солнца. Вся картина рынка была словно затемнена для него нестерпимой болью. От боли он раскачивался верхней частью тела взад и вперед. И за это негодяй вытянул у меня десять марок, ни на пфенниг меньше, чем Рейзингер! С Рейзингером не поторгуешься. А к еврею Левенштейну я пошлю сына объясняться. Он с трудом приподнялся, опираясь на палку, и потащился через площадь к закусочной. Из окна он снова увидел Георга. Тот стоял, прислонившись к столбу, свежая повязка белела на руке. Старик смотрел на него до тех пор, пока Георг не обернулся. Он почувствовал какое-то беспокойство. Правда, со своего места он не мог разобрать через окно, что делается в закусочной, но все-таки заставил себя встать и направился мимо рыбных лавок к Рейну.

Тем временем Франц уже отштамповал сотни пластинок. Вместо арестованного Кочанчика пыль собирал совсем молодой паренек. Рабочие встретили его с недоумением, все привыкли к Кочанчику. Однако новый оказался таким веселым, задорным мальчишкой, что тотчас же получил и прозвище: «Орешек!» И теперь кричали — не Кочанчик, Кочанчик, а Орешек, Орешек!

Вчера вечером и сегодня утром в раздевалке рабочие были меньше взволнованы арестом Кочанчика, чем внезапным, им еще

не вполне понятным повышением нормы для алюминиевых пластинок. Они только днем уразумели, что к чему. Кто-то показал, какую деталь в машине заменили для того, чтобы нажимать рычаг не три, а четыре раза в минуту. Главное, пластинки теперь после каждого удара сами переворачиваются, а раньше их приходилось переворачивать вручную. Кто-то сказал, что в конце концов самое важное — это повышение заработной платы, на что другой рабочий, более пожилой, возразил, что вчера к вечеру он измотался, как никогда, а еще один заметил, что в понедельник вечером всегда бываешь измотан.

Подобные разговоры, их причина и тон, в каком они велись, в другое время дали бы Францу богатый материал для размышлений: о первоначальном факте, порождающем целый ряд других фактов, причем каждый важнее первоначального, о раскрытии человеческой природы, ее истинной сущности. Однако на этот раз Франц был разочарован, прямо-таки расстроен тем, что известие, занимавшее его день и ночь, почти не впитывалось затвердевшей землей обыденной жизни.

Если бы я мог просто пойти к Элли и спросить ее, думал Франц. Интересно, живет ли она опять у родителей? Нет, пойти слишком рискованно. Вот если бы я с ней где-нибудь случайно встретился...

Он решил осторожно разузнать на ее улице, вернулась ли Элли в семью. А может быть, она давно уехала из города? Значит, его все еще тянет к ней? Все еще ноет рана, которая была ему нанесена тогда по глупости или из озорства? Видно, удар был меткий, на всю жизнь.

Все это вздор, думал Франц. Элли, наверно, растолстела и подурнела. Увидел бы я ее еще раз, так, может быть, поблагодарил бы Георга, что он тогда отбил ее у меня. Да и вообще, какое дело мне теперь до нее?

Он решил после смены съездить на велосипеде во Франкфурт. Он собирался купить кое-что в магазине на Ганзагассе; можно будет справиться и относительно семьи Меттенгеймеров... Орешек подошел к нему, подлез под самый локоть. Франц дернул рукой и испортил пластинку; от испуга он испортил вторую, недостаточно четкой оказалась и третья. Франц побагровел, он готов был наброситься на мальчугана. Тот состроил ему рожу — круглое лицо Орешка в резком свете было мучнисто-бледным, а вокруг дерзко блестевших глаз лежали темные кольца усталости.

Франц вдруг услышал и увидел весь цех таким, каким он слышал и видел его пять недель тому назад, в первые минуты своего поступления: жужжание ремней — оно врезалось человеку в мозг наперекор всем мыслям и, однако, не заглушало легкого

шелеста металлической ленты конвейера; лица, которые в немигающем свете казались совершенно пустыми и только кривились каждые три секунды, когда рука нажимала рычаг. Только тогда они кривятся, подумал Франц. Он забыл, что сам чуть не набросился на Орешка лишь оттого, что испортил пластинку.

Недалеко от той фабрики, где работал Франц, может быть в получасе езды на велосипеде, на оживленной улице вблизи Франкфуртского вокзала, собралась толпа. Люди вытягивали шеи. Среди массива домов, где находился большой отель «Савой», шла охота на вора. Не было ничего удивительного, что в этой охоте участвовал не только большой наряд полиции, но и эсэсовцы. По слухам, этому вору не раз уже удавалось ускользнуть, а теперь его только что застигли в одной из комнат гостиницы, где он стянул несколько колец и жемчужное ожерелье.

— Прямо кино,— говорили люди.— Не хватает только Греты Гарбо.

Люди улыбались, удивленные и заинтересованные. Какая-то девушка вскрикнула. Там, на краю крыши, она что-то заметила, или ей показалось, что заметила. Все гуще становилась толпа зрителей, все напряженнее внимание. С минуты на минуту люди ожидали увидеть необыкновенное явление, нечто среднее между призраком и птицей. А тут еще приехали пожарные, с лестницами и сетями. Вместе с тем поднялась суета во дворе гостиницы. Из подвала выскочил какой-то молодой человек и начал было, энергично работая локтями, проталкиваться сквозь толпу. Но в зрителях, взвинченных долгим ожиданием и всеми этими разговорами о дерзком воре, проснулся охотничий инстинкт. Они обступили парня, избили его, а затем поволокли на пост к ближайшему полицейскому, который установил, что это вовсе не вор, а просто официант, спешивший на поезд.

А тот, за кем они гнались, Беллони, уже сидел на крыше гостиницы «Савой», за трубой; Беллони — в обыкновенной жизни Антон Мейер, но где она теперь, его обыкновенная жизнь? Беллони, акробат, тот самый, который до конца оставался чужим и Георгу, и его товарищам, хотя был, вероятно, вполне порядочным малым; впрочем, ему самому было ясно, что он так и остался Георгу чужим. Чтобы родилось доверие друг к другу, они недостаточно долго пробыли вместе. Со своего места за трубой Беллони не мог видеть ближайшие улицы, полные людей, жадно следивших за охотой на него и горевших желанием тоже поохотиться. Поверх низкой железной решетки, окаймлявшей крышу, он видел только самый дальний край равнины; на западе он видел

сияющее небо, полное тихой бледной голубизны, и в нем — ни облака, ни птицы. И если внизу толпа ждала, то ждал и он на этой крыше, с тем мужественным спокойствием, которым он в цирке так пленял зрителей, причем они сами хорошенько не знали, что именно в этих несложных фокусах их так пленяет. Беллони казалось — он давным-давно ждет здесь наверху, так давно, что если бы на его след напали, то уже вспугнули бы его отсюда.

Три часа назад его чуть не арестовали в квартире матери одного из его товарищей — циркачей. Этот акробат когда-то работал в их труппе, но после несчастного случая выбыл. Однако полиция, среди прочих мероприятий, составила и списки участников всех трупп, в которых Беллони когда-либо работал. Проследить эти связи было не труднее, чем оцепить несколько городских кварталов. Застигнутый полицией, Беллони выскочил в окно, пробежал несколько улиц и достиг района Франкфуртского вокзала; два раза он едва ускользнул от полиции и наконец вошел через вращающуюся дверь в отель. Он был в новом костюме, раздобытом накануне, и вел себя так спокойно и уверенно, что его даже пропустили в вестибюль. У Беллони было немного денег, и у него еще раз возникла слабая надежда, что, может быть, удастся уехать поездом. Все это произошло меньше чем полчаса назад. Теперь у него никакой надежды не было. Но даже на этом последнем отрезке пути, на пути без надежды, он будет бороться за свою свободу. Для этого надо спуститься на крышу соседнего дома. Осторожно и неторопливо соскользнул он по скату крыши до маленькой, вделанной в стену трубы у самой решетки. Он все еще считал, что его не обнаружили. Но когда он взглянул из-под решетки вниз, он увидел черную толпу, оцепившую квартал. Тогда он понял, что попался, хуже чем попался. Ведь эти люди, думал он, для того и столпились в переулках, чтобы сделать бегство невозможным. Теперь перед Беллони лежал весь город, противоположный берег Майна, заводы и склоны Таунуса. В сложном узоре улиц и переулков толпа, собравшаяся внизу, казалась маленьким колечком, черневшим вокруг массива домов. Бесконечное синеющее пространство словно вызывало его на такое мастерство, которое было даже ему недоступно. Спуститься? Сделать эту попытку? Или просто ждать? Бессмысленно и то и другое — жест страха, так же как и жест мужества. Он вытянул ноги и уперся ступнями в решетку.

Беллони был обнаружен уже тогда, когда сидел позади второй трубы. «В ноги»,— сказал один из двух парней, прятавшихся за вывеской на краю крыши соседнего дома. Второй, преодолев легкую дурноту, а может быть, волнение, сделал, как ему приказал первый, прицелился и выстрелил. Потом оба, уже смело и лов-

ко, взобрались на крышу отеля позади Беллони, так как, несмотря на боль, беглец не только не выпустил из рук решетки, но вцепился в нее еще крепче. Затем его кровавый след протянулся между трубами и наискось — к краю крыши. До низкой решетки он скатился, еще раз собрал все силы и перебросил свое тело через решетку раньше, чем они успели его настигнуть.

Он упал во двор гостиницы, и зрителям пришлось разойтись, так и не испытав того, чего они жаждали. Но в предположениях праздношатающихся, в возбужденных рассказах женщин он еще парил долгие часы над крышами, полупризрак, полуптица. Когда Беллони около полудня скончался в больнице — он умер не сразу,— нашлись люди, все еще спорившие на его счет.

— Вам нужно только констатировать смерть,— сказал более молодой врач пожилому.— Какое вам дело до ног? Ведь не от них же он умер.

Преодолев легкую дурноту, старший выполнил то, что приказал ему младший.

V

Итак, половина одиннадцатого. Жена кистера, командовавшая целой толпой уборщиц, наводила порядок согласно твердому плану, установленному в домоводстве Майнцского собора. По этому плану в течение года собор должен был весь подвергнуться уборке. Уборщицы ведали только определенными участками: это были плиты, стены, лестницы, скамьи. И лишь жене и матери кистера дозволено было, орудуя мягкими щетками и сложной системой пылесосов, наводить чистоту на святыни храма. Поэтому узелок за могильной плитой одного из архиепископов нашла именно жена кистера. Лучше бы уж Георг засунул его под скамейку.

— Полюбуйся-ка на это,— сказала жена кистеру Дорнбергеру, выходившему из ризницы.

Кистер поглядел на сомнительный сверток, сделал свои выводы, но оставил их при себе и прикрикнул на жену:

— Ступай, ступай!

Затем прошел с узелком через двор в епархиальный музей.

— Отец Зейц,— сказал он,— полюбуйтесь-ка.

Отец Зейц, также шестидесятилетний старик, развернул узелок на стекле витрины, под которым, на бархате, лежала коллекция крестильных крестов, перенумерованных и датированных. Вывалился какой-то загаженный лоскут. Отец Зейц поднял голову. Они посмотрели друг другу в глаза.

— А почему, собственно, вы мне принесли это грязное тряпье, милейший Дорнбергер?

— Моя жена,— медленно начал кистер, чтобы дать отцу Зейцу время подумать,— только что нашла его за епископом Зигфридом фон Эппенштейн.

Отец Зейц изумленно взглянул на него.

— Скажите, пожалуйста, Дорнбергер,— заметил он,— что мы — бюро по розыску пропавших вещей или епархиальный музей?

Кистер подошел к нему очень близко и сказал вполголоса:

— Может быть, все-таки отнести это в полицию?

— В полицию? — переспросил отец Зейц с искренним удивлением.— Разве вы тащите в полицию каждую теплую перчатку, которую найдете под скамейкой?

— Сегодня утром рассказывали...— пробормотал кистер.

— Рассказывали, рассказывали... Мало вам еще рассказывали. Или вы хотите, чтобы завтра рассказывали, будто у нас в соборе люди переодеваются? Фу, какая вонь! А ведь, пожалуй, Дорнбергер, тут еще заразишься чем-нибудь. Я на вашем месте сжег бы все это. Но мне не хотелось бы жечь в моей плите, противно очень. Знаете что, засуну-ка я это вот сюда.

Железную печурку топили с первого октября. Дорнбергер сунул в нее узелок и ушел. Завоняло паленными тряпками. Отец Зейц приоткрыл окно. Шутливое выражение исчезло с его лица, оно стало серьезным, даже мрачным. Опять что-то стряслось, и оно могло так же легко улетучиться в окно, как и сгуститься в страшную вонь, от которой в конце концов еще задохнешься.

В то время как пропитанные потом лохмотья Георга превращались в узкий флажок дыма, который, по мнению отца Зейца, улетучивался слишком медленно и распространял слишком сильную вонь, сам Георг уже был на берегу Рейна и, следуя течению, шагал по усыпанной песком пешеходной дорожке, тянувшейся вдоль шоссе. Давно, еще мальчиком, он бывал здесь иногда на прогулках. В деревнях и городках к западу от Майнца можно было найти сотни возможностей перебраться через реку на лодке или на пароме. Когда он раздумывал об этом раньше, особенно по ночам, все это казалось ему пустым мечтаньем, напрасной надеждой, ведь переправа зависит от тысячи случайностей. Однако теперь, когда он, лицом к лицу с опасностью, лавировал между бесчисленными случайностями, дело уже не казалось ему таким безнадежным. Река с буксирными пароходами, опускавшими трубы, чтобы пройти под мостами, тот берег с каймой светлого песка и рядом низеньких домов над ней, склоны Таунуса вдали — все это предстало перед Георгом с той необычайной четкостью, какую имеет ландшафт в районе боевых действий во время большой

опасности, когда все очертания становятся до того выпуклыми и резкими, что, кажется, начинают дрожать. На рынке он еще боялся, что у него не хватит сил дотащиться до реки. А сейчас, решив поскорее выбраться из города и прошагать по берегу не меньше трех часов, он почувствовал, что его слабость начала проходить и земля, по которой он ступает, становится тверже. Кто меня видел? Кто может описать меня? Но, попав в круг этих мыслей, он все равно что погиб. Страх возникает тогда, когда одно представление внезапно вытесняет все остальные. И вот на тихой дороге, где никто не следовал за ним, страх внезапно обрушился на него. Новый приступ, как озноб в перемежающейся лихорадке; правда, она возвращалась все реже. Он облокотился на перила. На несколько секунд небо и вода перед ним потемнели. Затем все прошло само собой, или же все ему только показалось, и в награду за то, что все прошло, Георг увидел мир не затемненным и не чересчур четким, но в его обыкновенном, ежедневном блеске: тихие воды и чайки, чьи крики не нарушали тишины, но придавали ей особую полноту. Ведь уже осень, подумал Георг, чайки прилетели.

Рядом кто-то тоже облокотился на перила. Георг внимательно посмотрел на соседа: лодочник в темно-синей фуфайке. Если кто-нибудь встанет здесь, облокотясь на перила, он не долго простоит в одиночестве, сейчас же один за другим подойдут люди — лодочники, слоняющиеся без дела, рыболовы, у которых почему-то не клюет, старики. Ибо струящаяся вода, чайки, грузчики и пароходы — все движется для них, неподвижно созерцающих реку. Возле лодочника оказалось уже пять-шесть человек.

— А что стоит твоя куртка? — спросил лодочник.

— Двадцать марок,— отозвался Георг.

Он хотел уйти, но вопрос дал новый толчок его мыслям.

По дороге приближался еще один лодочник, толстый, почти лысый.

— Алло! Эй ты! — сыпались возгласы на его лысину.

Он поднял глаза, засмеялся и схватил лодочника, стоявшего наверху, за ноги, а тот уперся в землю. Раз-два — и толстяк, невзирая на толщину, подтянулся кверху, просунув крупную лысую голову между ногами верхнего. Снова раздалось:

— Как живешь — хлеб жуешь?

— Понемножку,— сказал новоприбывший, по выговору — голландец.

Со стороны города приближался крошечный человечек с удочками и ведерком, с каким дети играют в песке.

— А вон и Щуренок,— сказал толстяк. Он рассмеялся, так как Щуренок со своими удочками и детским ведерком казался

ему такой же неотъемлемой принадлежностью этой пристани, как колесо в городском гербе.

— Хайль Гитлер! — крикнул Щуренок.

— Хайль Щуренок! — крикнул голландец.

— Вот мы тебя и поймали,— сказал парень, у которого ударом кулака нос был свернут на сторону, хотя казалось, что он вот-вот станет на место.— Ты покупаешь своих рыб на рынке.

Голландца он спросил:

— А что повенького на белом свете?

— На белом свете всегда бывает что-нибудь новенькое,— ответил голландец,— да ведь и у вас тут кое-какие делишки стряслись.

— Ну... У нас все идет как по расписанию,— сказал парень со свернутым носом,— как по маслу. Нам теперь, говоря по правде, и фюрера-то никакого не нужно.— Все растерянно уставились на него.— Ведь у нас уже есть один такой, что весь свет нам завидует.— Все засмеялись, кроме говорившего. Он зажал ноздрю большим пальцем.

— Восемнадцать марок, идет? — сказал лодочник Георгу.

— Я сказал — двадцать,— отвечал Георг. Он опустил глаза, боясь, как бы его не выдал их блеск.

Лодочник ощупывал материю.

— Прочная? — спросил он.

— Очень,— сказал Георг.— Но только не слишком теплая. Вот такая шерстяная лучше греет.

— Невеста мне каждый год такие вяжет.

— Значит, любит,— сказал Георг.

— Хочешь меняться?

Георг прищурился, как бы соображая.

— Примерь, хочешь?

— Идем в уборную,— сказал Георг. Он предоставил смеющимся смеяться: они не должны знать, что на нем нет рубашки.

Когда обмен состоялся, Георг скорее побежал, чем пошел, следуя течению Рейна. Важно выпрямившись, лодочник вышел в новой куртке из уборной и направился к стоявшим у перил; одной рукой он подбоченился, другую поднял для приветствия, и его широкое лицо ясно выражало уверенность в том, что он еще раз кого-то ловко надул.

Остаться в ней все равно было бы опасно, думал Георг; но и менять — тоже опасно.

Ну, как вышло, так и вышло.

Вдруг кто-то рядом окликнул его:

— Эй! — С ведерком и удочками за ним шел, подпрыгивая, Щуренок, легконогий, словно мальчонка.— Куда вы направляетесь? — спросил он.

Георг показал прямо вперед:

— Все прямо по берегу Рейна.

— А разве вы не здешний?

— Нет,— сказал Георг.— Я здесь лежал в больнице. Я иду к родным.

Щуренок сказал:

— Если мое общество не обременит вас... Уж очень я человек компанейский.

Георг промолчал. Он еще раз искоса взглянул на Щуренка. Ему с детства приходилось бороться против какого-то странного и тревожного чувства, охватывавшего его, если у человека не все оказывалось в порядке — какой-нибудь вывих в мыслях или в душе или физический недостаток. Только Валлау окончательно излечил его от этого чувства: «Вот тебе живой пример, Георг, как человек может до этого дойти». И мысли опять привели его к Валлау. Неукротимая тоска овладела им. Всей моей теперешней жизнью обязан я ему, думал Георг, даже если бы мне сегодня пришлось умереть!

Щуренок же продолжал болтать:

— А вы уже были здесь на днях, видели этот большой праздник? Все-таки очень чудно. А вы были здесь во время оккупации? Как они тогда скакали по улицам на своих серых конях, эти марокканцы! А какие плащи у них красные! Французы — те совсем другое пятно на картине города, эдакий голубовато-сизый туманец. Чего вы так бежите, разрешите спросить, вы хотите еще сегодня попасть в Голландию?

— Разве это дорога в Голландию?

— Сначала вы попадете в Момбах, где едят одну спаржу. Ваши родственники там живут?

— Дальше вниз.

— В Буденгейме? В Гейдесгейме? Они крестьяне?

— Отчасти.

— Отчасти...— повторил Щуренок.

«Отделаться мне от него? — размышлял Георг.— Но как, черт побери? Нет, всегда лучше вдвоем-втроем... Тогда тебя скорее примут за здешнего». Они миновали разводной мостик над плотовой пристанью.

— Господи, как в обществе время-то бежит,— констатировал Щуренок, словно кто-то обязал его торопить время.

Георг посмотрел вдаль, за Рейн. Там, на острове, совсем неподалеку, стояли в ряд три низеньких белых домика, они прижались к воде. Что-то в этих домиках, из которых средний напоминал мельницу, показалось ему знакомым и манящим — словно там жил кто-то, кто был ему мил. Вытянувшись над островом, перекинулся

к дальнему берегу железнодорожный мост. Они миновали его начало, где стоял часовой.

— Красивый мост,— похвалил Щуренок. Георг последовал за Щуренком, который сошел с дороги и зашагал по луговине. Один раз тот остановился и понюхал воздух.— Орешник! — Щуренок нагнулся и собрал несколько орехов в свое ведерко. Георг искал торопливо и судорожно давил орехи каблуком. Щуренок засмеялся: — Да вы, видно, обожаете орехи!

Георг постарался овладеть собой. Он был весь в поту и очень утомлен. Не может же в конце концов этот проклятый Щуренок вечно бежать рядом с ним. Должен же он начать удить где-нибудь.

— Там видно будет,— сказал тот, когда Георг наконец осторожно спросил его.

Начался ивняк, напомнивший Георгу Вестгофен. Тревога Георга все росла.

— Вот! — сказал Щуренок.

Георг остолбенел. Они стояли на косе. Перед ними направо и налево бежал Рейн, «дальше» идти было некуда.

Когда Щуренок увидел изумленное лицо Георга, он рассмеялся.

— А вот я вас и надул, а вот я вас и провел! Зачем так торопились!

Он положил на землю удочки и ведерко и потирал себе ляжки.

— А у меня, по крайней мере, компания была!

Он не подозревал, что секунду назад был на волосок от смерти. Георг отвернулся и здоровой рукой прикрыл лицо. Сделав над собой невероятное усилие, он спокойно сказал:

— Что ж, до свиданья.

— Хайль Гитлер! — отвечал Щуренок.

Но в этот миг ветки ивняка раздвинулись, из них вышел полицейский с усиками и прядью на лбу и весело сказал:

— Хайль Гитлер, Щуренок! Ну, покажи-ка мне свое разрешение на рыбную ловлю.

Щуренок сказал:

— Так я ведь не ужу.

— А твои удочки?

— Так они всегда со мной, как у солдата ружье!

— А ведерко?

— Вы загляните-ка в него. Три орешка.

— Щуренок, Щуренок! — вздохнул полицейский.— Ну, а вы? У вас есть документы?

— Это мой друг,— сказал Щуренок.

— Тем более,— сказал полицейский или собирался сказать, так как Георг, сделав как бы случайно несколько шагов к ивняку, вдруг пошел быстрее, а затем побежал, раздвигая ветки.— Держи! — заорал полицейский, отнюдь не добродушно и шутливо, а уже совсем по-полицейски.— Держи! Держи!

И оба они пустились бежать за ним, полицейский и Щурепок. Георг пропустил их мимо. Как отвратительно все это отдавало Вестгофеном — и поблескивающие лужи, и ивняк, и свистки, и бешеное биение сердца, которое сейчас его выдаст. На той стороне реки, совсем близко, была купальня: балки, омываемые водой, и между ними плот.

— Вот он! — крикнул Щуренок.

Теперь раздались свистки на берегу, не хватало только сирены. Хуже всего эта проклятая слабость — колени словно из ваты — и ощущение нереальности всего происходящего, оттого что все это не может случиться с человеком наяву, это как в страшном сне, когда, несмотря ни на что, бежишь и бежишь. Он упал плашмя — на рельсы, как только потом заметил. Оказывается, он попал на территорию фабрики. Из-за стены доносилось однообразное жужжание ремней, но уже не было ни свистков, ни криков.

— Конец,— сказал он, сам не зная, что разумеет под этим — конец ли его силам или его слабости. Без единой мысли ждал он некоторое время какой-нибудь помощи извне, или какого-то пробуждения, или чуда. Но чуда не произошло, и помощь извне тоже не пришла. Он встал и пошел дальше. Он выбрался на широкую улицу с двумя рядами рельсов; улица была пустынна, по сторонам ее тянулись не ряды домов, а отдельные фабричные здания. Решив, что берег теперь охраняется, он снова углубился в город. Сколько часов потеряно! Как она ждет, думал он, пока наконец не сообразил, что ведь это глупость. Лени никак не может ждать, она ничего не знает. Никто не поможет, никто не ждет. Неужели действительно нет никого, кто бы ждал, кто бы помог? Его рука болела — он опять упал на нее; аккуратная, чистая повязка вся в грязи.

На маленькой площади, куда краем выходил главный рынок, закрывались палатки. Перед трактиром остановилась вереница грузовиков. Георг вошел, разменял монету в пятьдесят пфеннигов и, сев за столик, спросил стакан пива. Его сердце делало такие скачки, словно внутри было страшно много места. Но при каждом скачке оно пребольно ушибалось. Долго я этого не выдержу, подумал он. Часы — может быть, дни — нет.

Человек, сидевший за соседним столиком, пристально посмотрел на него. Он будто уже встречался сегодня с этим субъ-

ектом? Опять, опять мечись туда и сюда, как бешеная собака, ничто тебе не поможет. Ну же, Георг!

И в трактире и перед ним было довольно много народу, присяжие и торговцы с рынка. Он внимательно рассматривал их. Вон молодой человек помогает пожилой женщине при погрузке. Когда тот подошел к груде корзин, Георг направился к нему.

— Послушайте! Как фамилия этой женщины, там наверху, в кузове?

— Этой лохматой? Фрау Биндер.

— Значит, она самая,— сказал Георг,— я должен ей кое-что передать.

Он постоял возле корзин, пока был запущен мотор. Затем подошел к грузовику. Подняв голову, он спросил женщину:

— Вы ведь фрау Биндер?

— А что такое? Что такое? — спросила женщина недоверчиво и удивленно.

Георг устремил на нее решительный взгляд.

— Пустите-ка меня на минутку наверх,— сказал он,— я дорогой расскажу вам, мне туда же! — Машина отъехала. Георг крепко вцепился в борт. Очень медленно, со всякими отступлениями, начал он плести что-то насчет больницы, насчет каких-то дальних родственников.

Тем временем человек, сидевший за соседним столиком, вышел к парню, с которым Георг разговаривал.

— О чем он вас только что спрашивал?

— Действительно ли эта женщина фрау Биндер,— ответил парень удивленно.

VI

Когда обойщик Меттенгеймер работал недалеко от дома, он обычно уходил обедать к себе. Но сегодня он зашел в трактир, заказал свиную грудинку и пиво. Мальчишку-ученика он угостил гороховым супом. Потом заказал пива и для него и принялся расспрашивать его тем уверенным тоном, каким говорят с подростками мужчины, сами вырастившие нескольких сыновей. Кто-то вошел, сел и спросил себе маленькую кружку светлого. Меттенгеймер тут же узнал вошедшего по новой фетровой шляпе, они утром вместе ехали на двадцать девятом. Его сердце на миг тревожно сжалось — он сам не знал почему. Перестав болтать с учеником и торопливо проглотив последние куски, мастер поспешил вернуться на работу, чтобы нагнать все, что, по его мнению, было упущено из-за утреннего опоздания. Жене он еще ничего не сказал о вызове. Теперь он решил не говорить совсем. Ему вообще

хотелось забыть, как можно скорее забыть об этом допросе, об этом дурацком вызове. Он все равно не в силах догадаться, что тут кроется. Да, вероятно, ничего и нет. Просто они время от времени выхватывают людей. Вероятно, в этом городе, где людей полным-полно, есть и еще такие «выхваченные», как он. Только друг другу они об этом не говорят. Стоя на стремянке, Меттенгеймер бранился, оттого что бордюр наложен неправильно. Он уже собрался слезть с лестницы, чтобы навести порядок и в нижнем этаже, как вдруг у него закружилась голова, и он присел на ступеньку. Смех штукатуров, дразнивших ученика, звонкий голос парнишки, который тоже не оставался в долгу, разносились в пустом гулком доме гораздо громче, чем могли бы звучать голоса бывших и будущих его обитателей, ибо их заглушают вещи, все эти ковры и кресла. Обойщик покачивался на своей стремянке. В пролете парадной лестницы чей-то голос прокричал:

— Шабаш!

Обойщик крикнул в ответ:

— Пока только я объявляю шабаш!

На остановке двадцать девятого он снова встретился с человеком в фетровой шляпе, который рано утром вместе с ним ехал и потом пил пиво в той же пивной. Вероятно, тоже работает где-нибудь поблизости, решил Меттенгеймер, когда тот сел вслед за ним на двадцать девятый.

Меттенгеймер кивнул ему. Вдруг он вспомнил, что сегодня опять забыл у швейцара сверток с шерстью для жены. Она и так вчера вечером отругала его за это. И вот он снова сошел и вернулся, торопясь, чтобы поспеть на следующий трамвай. Он чувствовал себя очень усталым и с удовольствием думал об ужине и вообще о доме. Внезапно его сердце вздрогнуло от мучительной, леденящей тревоги: человек в новой фетровой шляпе, с которым он расстался в предыдущем вагоне, каким-то образом очутился на передней площадке этого. Обойщик пересел на другое место, он глазам своим не верил. Но он не ошибся. Он сразу же узнал эту шляпу, этот выбритый затылок, эти короткие ручки. Меттенгеймеру не хотелось пересаживаться на другой номер и он решил было доехать до центра и затем пройти пешком. Но теперь он передумал и, доехав до Цейльштрассе, все-таки пересел на семнадцатый. Он облегченно вздохнул, так как наконец был один. Но едва он очутился на площадке семнадцатого номера, как услышал за собой торопливые шаги и затем отрывистое сопенье только что вскочившего человека. Незнакомец в фетровой шляпе скользнул по нему взглядом, совершенно равнодушным и вместе с тем очень внимательным. Затем повернулся к обойщику спиной — ведь Меттенгеймер при выходе все равно должен был прой-

ти мимо него. И Меттенгеймер понял, что этот человек сойдет следом за ним и что ускользнуть от него невозможно. Его сердце заколотилось в отчаянном страхе. Сорочка, давно высохшая, снова вымокла от пота. «Что ему от меня нужно? — думал Меттенгеймер.— Что я мог совершить? Что я могу совершить?» Он не удержался от искушения и еще раз обернулся. Среди множества шляп, мелькавших в вечерней толпе, уже не по сезону летних и еще не по сезону фетровых, он увидел и ту, которую искал,— се владелец шествовал не спеша, словно знал, что у Меттенгеймера теперь пропала охота к неожиданным трамвайным пересадкам. Обойщик перешел улицу. У двери своего дома он еще раз быстро обернулся в приливе внезапной храбрости, которая таится в сердце людей, готовых в иных случаях постоять за себя. Лицо преследователя вынырнуло у него за плечом, тупое, дряблое лицо, с гнилыми зубами. Платье его было довольно поношено, кроме шляпы. Может быть, и шляпа была не новая, а только не такая потертая. В этом человеке не было, в сущности, ничего страшного. Для Меттенгеймера самое страшное заключалось в необъяснимом противоречии между упорством преследователя и полным его равнодушием.

Войдя в дом, Меттенгеймер положил пакет на ступени лестницы, чтобы запереть на ключ дверь, которую днем придерживал крючок, вделанный в стену.

— Зачем ты, собственно, запираешь, отец? — спросила его дочь Элли, в это время спускавшаяся по лестнице.

— Да сквозит,— ответил Меттенгеймер.

— А тебе-то что наверху в квартире? — сказала Элли.— Ведь в восемь все равно запрут.— Обойщик уставился на нее. Он ощущал всем своим существом, что на той стороне узкой улицы торчит этот человек и наблюдает за ним и его дочерью.

Она была втайне его любимицей. Может быть, об этом знал человек, сторживший там, напротив? Какое скрытое движение чувств хотел он подстеречь? Какой явный проступок? Кажется, есть такая сказка, где отец обещает отдать черту первое, что выйдет к нему навстречу из его дома. Обойщик до сих пор скрывал от всей семьи, даже от самого себя, что эта дочь ему милее всех. Почему — он и сейчас не знал. Может быть, по двум совершенно различным причинам. Она была красива и вечно причиняла ему горе. Он радовался, когда его навещали дети. Но когда появлялась Элли, его сердце вздрагивало в том самом месте, где оно сильнее всего чувствовало радость и боль. Какие роскошные дома отделывал он в своем воображении для этой дочери и через какие анфилады комнат пробегала она, уж во всяком случае с не меньшей грацией, чем эти надменные и капризные дамочки, когда

мужья показывают им их будущие апартаменты. Элли коснулась его локтя. В рамке густых кудряшек ее лицо казалось наивным, как у ребенка, и на нем было выражение нежности и грусти. Ей вспомнился тот день, когда отец на скамье вестгофенского трактира, прижав к себе ее голову, сурово уговаривал ее выплакаться. Никогда потом не вспоминали они об этом дне. Но, наверно, оба думали о нем, когда встречались.

— Пожалуй, я сейчас захвачу с собой шерсть,— сказала Элли,— и сразу же начну.

Обойщик чувствовал, как человек на той стороне улицы сверлит взглядом пакетик; ему самому стало казаться, будто у дочери в сумке что-то запретное, хотя он отлично знал, что там ничего нет, кроме нескольких мотков цветной шерсти. Лицо Элли снова повеселело. Ее глаза, золотисто-карие, в тон каштановым волосам, освещали все лицо теплым блеском. «Или этот прохвост, Георг, слепой был? — думал отец.— Как он мог ее бросить?» Веселость Элли терзала ему сердце. Он попытался заслонить дочь, чтобы ничей взгляд ее не коснулся. Если ему поставили западню, подумал он опять, так ведь его дитя невинно. Однако Элли была рослая и стройная, а он — маленький и сутулый. Он не мог заслонить ее. С тревогой бросил он взгляд на улицу, когда она вышла, легкая и прямая, помахивая хозяйственной сумкой. Затем облегченно вздохнул — преследователь как раз повернулся спиной и рассматривал витрину парфюмерного магазина. Элли пробежала мимо незамеченная. Но от внимания обойщика ускользнуло, что из трактира рядом с парфюмерным магазином тут же выскочил вертлявый молодой человек с усиками и на ходу слегка толкнул локтем господина в фетровой шляпе. Их взгляды встретились в зеркале витрины. Точно рыболовы, уставившиеся на одно и то же место, в охоте за теми же рыбами, оба видели в зеркальном стекле противоположную сторону улицы, подъезд дома, где жил обойщик, и его самого. Ты хочешь, чтобы я погубил свою семью, думал Меттенгеймер, но это тебе не удастся. И, вдруг успокоившись, он стал подниматься по лестнице. Фетровая шляпа отступила в дверь трактира, из которого вышел усатый. Ее владелец сел к окну. А молодой человек с усиками слегка приседающим шагом легко догнал Элли, причем отметил, что ноги и бедра этой молодой особы значительно скрасят ему скучную задачу.

Войдя в столовую, Меттенгеймер натолкнулся на ребенка Элли, строившего что-то на полу. Элли оставила мальчика на ночь. Почему это? Жена только пожала плечами. По ее глазам было видно: на душе у нее много такого, что ей хотелось бы из-

лить, но муж не стал ее ни о чем расспрашивать. В другой вечер ребенок доставил бы ему только удовольствие, но теперь он пробурчал:

— Почему, спрашивается, раз у пее есть своя комната?

Малыш ухватился за его указательный палец и рассмеялся. А Меттенгеймеру было не до смеха. Он отстранил ребенка. Ему вспомнилось от слова до слова все, что было сказано на допросе. И ему уже не казалось, что он видел сон. На сердце лежала свинцовая тяжесть. Он подошел к окну. В парфюмерном магазине были опущены ставни. Но Меттенгеймера теперь нельзя было обмануть. Он знал, что одна из этих смутных теней в окне трактира напротив не спускает глаз с его дома. Жена позвала его ужинать. За столом она сказала то, что повторяла каждый день:

— Скажи, пожалуйста, когда ты наконец у нас-то побелишь?

Тем временем Франц, возвращаясь после работы, сошел с велосипеда, не доезжая Ганзагассе. В нерешительности шагал он, ведя велосипед, размышляя о том, спросить ему в каком-нибудь магазине о Меттенгеймере или нет. Но тут случилось именно то, чего он ждал, а может быть, и боялся: он случайно встретил Элли. Франц стиснул ручку руля. Элли, занятая своими мыслями, не заметила его. Ничуть она не изменилась! В ее неторопливых движениях всегда была какая-то мягкая грусть — и тогда еще, когда для этого не было никаких оснований. И те же серьги были на ней. Франц обрадовался. Они очень нравились ему среди ее густых каштановых волос. Если бы Франц умел находить слова для своих чувств, он, вероятно, сказал бы, что сегодняшняя Элли гораздо ближе к своей сущности, чем та, которая жила в его воспоминаниях. Ему было больно, что она прошла мимо, хотя она просто не видела его, да и не должна была видеть. Как и тогда, во время их первой встречи на почте, ему сильнее всего на свете захотелось обнять ее и поцеловать в губы. «Почему не должно мне принадлежать то, что мне предназначено?» — думал он. Франц забыл о себе, о том, что он некрасив, что у него обыкновенное лицо, без живости и выразительности, что он беден и неловок.

На этот раз он дал Элли пройти мимо — дал пройти и молодому человеку с усиками, не подозревая, что тот имеет к Элли какое-то отношение.

Он повернул велосипед и ехал за ней следом, пока она не вошла в тот дом, где с ребенком снимала комнату.

Он сверху донизу оглядел дом, поглотивший Элли. Затем посмотрел вокруг. Наискосок он увидел кондитерскую. Он вошел и сел.

В кондитерской был только один посетитель, кроме него,— тот самый вертлявый молодой человек с усиками. Молодой человек сидел у окна и посматривал на улицу. Франц и теперь не обратил на него внимания. Настолько здравого смысла у него еще осталось, чтобы просто не ворваться следом за Элли к ней в дом. Ведь день еще не кончился. Элли могла снова выйти. Во всяком случае, он решил сидеть здесь и ждать.

Тем временем Элли наверху в своей комнате переоделась, причесалась — словом, сделала все, что, по ее мнению, следовало сделать, если гость, которого она ждала сегодня вечером, придет и останется ужинать, а может быть,— Элли допускала и это,— останется ночевать. Повязав фартук поверх чистого платья, Элли пошла в кухню к хозяйке, побила и посолила два шницеля и положила на сковородку сало и лук, чтобы сунуть ее на огонь, как только раздастся звонок.

Хозяйка смотрела на нее, улыбаясь,— это была добродушная женщина лет пятидесяти, которая охотно баловала детей и вообще сочувствовала всякому полнокровному проявлению жизни.

— Вы совершенно правы, фрау Гейслер— сказала она,— молодость бывает только раз.

— В чем права? — спросила Элли. Ее лицо вдруг изменилось.

— Да что вы решили поужинать с кем-то другим, а не с вашими родными.

Элли чуть не сказала: «Я гораздо охотнее поужинала бы одна»,— но предпочла промолчать. Она не могла скрыть от себя, с каким нетерпением ждет, чтобы хлопнула дверь подъезда и на лестнице раздались твердые шаги. Да, конечно, она ждет, но, может быть, втайне надеется и на какую-нибудь помеху. Сделаю-ка я еще пудинг, решила она. Элли поставила на плиту молоко, всыпала в него порошок и стала размешивать. Придет — хорошо, вдруг решила она, не придет — тоже хорошо.

Она ждала, верно, но что это было за жалкое ожидание в сравнении с тем, как она умела ждать когда-то...

Неделя за неделей, ночь за ночью ждала она шагов Георга, тогда она еще дерзала отстаивать свою молодую жизнь, не мирилась с пустотою ночей. Теперь она чувствовала, что то ожидание отнюдь не было ни смешным, ни бессмысленным, им можно было гордиться, это было нечто более высокое и достойное, чем ее теперешняя жизнь со дня на день, в которой уже нет страстного ожидания. Теперь я как все, печально думала она, нет для меня ничего особенно важного. И не проведет она этой ночи в ожидании, если ее друг не придет. Она зевнет и ляжет спать.

Когда Георг впервые сказал ей, что его ждать нечего, она ему не поверила. Она, правда, перебралась опять к родным, по

только переменила место ожидания. Если бы сила ожидания способна была вызвать того, кого ждешь, Георг бы к ней тогда вернулся. Но в ожидании нет никакой магической силы, оно не властно над другим человеком, оно живет только в ожидающем и именно поэтому требует мужества. Ожидание ничего не принесло Элли, лишь иногда тихая безмолвная грусть придавала ее хорошенькому личику неожиданную прелесть. То же самое думала и хозяйка, смотревшая, как Элли готовит ужин.

— Пока вы съедите шницели,— сказала она ласково,— ваш пудинг успеет остыть.

Когда Георг в последний раз сказал ей, что его ждать нечего,— не грубо, но твердо и решительно,— что ее ожидание тяготит его, когда Георг спокойно и рассудительно объяснил ей, что брак не святыня и что даже будущий ребенок — это не такое уж препятствие, которое не обойдешь, Элли наконец отказалась от комнаты, за которую все время тайком платила.

Но она продолжала ждать — она ждала и в ту ночь, когда родился ребенок. Разве есть ночь, более подходящая для возвращения? Обойщик рыскал по городу несколько дней, и, наконец, ему удалось притащить к дочери этого ужасного человека, ее бывшего мужа. Он горько потом пожалел об этом, увидев, в каком состоянии дочь после встречи. И хотя он отговаривал Элли сначала от брака, а затем от развода, он вскоре понял, что все равно больше нельзя так ждать. И вот в конце второго года он сделал попытку начать официальные розыски зятя. Но даже родители не знали, куда запропастился их сын... Этим вторым годом был тысяча девятьсот тридцать второй год, и он уже подходил к концу. Элли едва удалось укачать ребенка, который в новогоднюю ночь тридцать третьего года проснулся от шума хлопушек и тостов. Георга так и не нашли. Оттого ли, что они боялись искать слишком усердно, или Элли была поглощена ребенком, но вся эта история понемногу стала забываться. Элли хорошо помнит то утро, когда окончательно перестала ждать. Перед рассветом ее разбудил автомобильный гудок, и она услышала шаги на улице, может быть, шаги Георга, но шаги прошли мимо подъезда. Шаги постепенно стихли, стихло и ожидание Элли. С последним звуком оно угасло окончательно. Она так и не пришла ни к какому выводу, ни к какому решению. Права оказалась ее мать и все пожилые люди: время все залечивает, и даже раскаленное железо остывает. Она тогда очень скоро уснула. Следующий день был воскресенье, и она проспала до полудня. К обеду вышла другая Элли, румяная и здоровая.

В начале тридцать четвертого года Элли вызвали в гестапо: ее муж арестован и отправлен в Вестгофен. Теперь, сказала она

отцу, он наконец нашелся, теперь можно хлопотать о разводе. Отец удивленно посмотрел на нее, как смотрят на прекрасную, драгоценную вещь, в которой вдруг оказался изъян.

— Теперь?..— повторил он только.

— А почему бы и нет?

— Да ведь это было бы там для него ударом...

— Для меня тоже многое было ударом,— сказала Элли.

— Но ведь он все-таки муж тебе.

— Это кончено раз и навсегда,— сказала Элли.

— Зачем вам сидеть в кухне? — заметила хозяйка.— Когда позвонят, я положу шницель на сковородку.

Элли ушла к себе. В ногах ее кровати стояла детская кроватка, сегодня она пустовала. Собственно говоря, пора бы ее гостю уже быть здесь, но Элли не собиралась предаваться бесплодному ожиданию. Она развернула пакет, пощупала шерсть и начала вязать.

С человеком, которого она сейчас ждала, правда, не бог весть как ждала, с неким Генрихом Кюблером, она познакомилась случайно. Ведь случай, если только ему не перечить и дать волю, отнюдь не слеп, как утверждают иные, напротив, он хитер и изобретателен. Нужно лишь всецело ему довериться, не вмешиваться и не подталкивать его, иначе получается нечто весьма неудачное, а винят его. Зато, если спокойно на него положиться и слушаться его до конца, он приведет прямо к цели решительно и быстро.

Сослуживица уговорила Элли пойти потанцевать. Сначала Элли жалела, что согласилась. Позади нее кельнер уронил стакан. Она обернулась; одновременно обернулся и Кюблер, проходивший в это время через зал. Это был рослый брюнет с крупными зубами — легкое сходство его с Георгом в походке и улыбке вызвало на лице Элли особое выражение, и она сразу похорошела. Кюблер заметил ее, остановился, подошел. Они танцевали до утра. Вблизи он, правда, утратил всякое сходство с Георгом, но он оказался порядочным юношей. Он несколько раз водил ее танцевать, а по воскресеньям — на Таунус. Они целовались и были очень довольны.

Элли, между прочим, рассказала ему о своем первом муже.

— Мне не повезло,— вот как она теперь отзывалась о своем прошлом. Генрих убеждал ее окончательно развязаться с Георгом. Она решила все сделать сама.

Однажды ей прислали разрешение на свидание в лагере Вестгофен. Она побежала к отцу. Давно уже не советовалась она с ним.

«Поезжай непременно,— сказал обойщик,— я провожу тебя». Элли вовсе не хлопотала о свидании, наоборот, разрешение пришло очень некстати. Этим разрешением преследовались особые цели.

Так как ни побои, ни пинки, ни голод, ни карцер не оказали на заключенного никакого действия, то возникла мысль привести к нему жену. Жена и ребенок — это на большинство людей все же производит впечатление.

Итак, Элли и ее отец взяли однодневный отпуск. От семьи они скрыли свою невеселую поездку. По пути Элли думала о том, как хорошо было бы теперь лежать с Генрихом на лужайке, а Меттенгеймер мечтал о своих обоях. Когда они, сойдя с поезда, пошли рядом по дороге и уже миновали несколько деревень, населенных виноградарями, Элли вдруг, словно став опять маленькой девочкой, схватила отца за руку. Рука была сухая и вялая. У обоих сжималось сердце.

Когда они поравнялись с первыми домами Вестгофена, люди стали смотреть им вслед с тем смутным состраданием, с каким обычно смотрят на идущих в больницу или на кладбище. Как мучительно было видеть в деревнях всю эту деловитую суету, эту радостную возбужденность... Отчего мы не они? Почему я не качу эту бочку к бондарю, почему я не вон та женщина, которая чистит сито на подоконнике? Почему я не могу помочь людям поливать двор, перед тем как они поставят давильные чаны? А вместо всего этого приходится идти мимо, своим особым путем, в нестерпимой тоске. Какой-то парень с еще по-летнему обритым затылком, скорее лодочник, чем крестьянин, подошел к ним и сказал серьезно и спокойно: «Вам верхом обойти придется, через поле». Старуха, может быть мать парня, выглянула в окно и кивнула. «Утешить, что ли, меня хочет? — подумала Элли.— А мне до Георга теперь никакого дела нет». Они поднялись по меже. Прошли вдоль стены, утыканной битым стеклом. Слева показался небольшой заводик «Маттиас Франк и сыновья». Им уже были видны ворота лагеря и часовые. Ворота выходили на дорогу как раз в углу, образуемом стенами так называемого внутреннего лагеря. Хотя Рейн и находился где-то близко, позади лагеря, но он не был виден. На коричневой туманной низине местами поблескивала мертвая стоячая вода.

Меттенгеймер решил подождать Элли в садике при трактире. Элли пришлось идти дальше одной, и ей стало страшно. Но она твердила себе, что теперь ей до Георга никакого дела нет. Уж он не растрогает ее ни своей печальной судьбой, ни родным лицом, ни взглядом, ни улыбкой.

Георг уже давно сидел в Вестгофене. Позади были десятки допросов, терзаний, пыток, их хватило бы на целое поколение, над которым пронеслась война или другое бедствие. И эти пытки будут продолжаться завтра, может быть, даже через минуту. Георг тогда уже знал, что только смерть освободит его. Он знал, какая страшная сила набросилась на его молодую жизнь, знал и свою силу. Теперь он узнал себя.

В первую минуту Элли показалось, что в комнату ввели другого человека. Она поднесла руки к ушам — привычное движение, которым она проверяла, целы ли ее серьги. Затем она уронила руки. Пораженная, смотрела она в упор на этого чужого человека, стоявшего между двумя штурмовиками. Георг был высокого роста, а этот такой же маленький, как и ее отец, и ноги у него в коленях согнуты. Наконец она все-таки узнала его по улыбке. Да, это его прежняя особенная улыбка, ласковая и презрительная улыбка, точно так же он улыбался Элли при первой их встрече. Но сейчас ему предстояло решить нечто совсем другое, сейчас он думал вовсе не о том, как отбить молодую девицу у горячо любимого друга. Одна только мысль гвоздила его истерзанный мозг: для чего привели сюда эту женщину? Чего они хотят достигнуть этим? Он боялся, что из-за своей усталости, из-за своих телесных страданий упустит что-то очень важное, не заметит какой-то западни.

Он уставился на Элли. Она показалась ему не менее странным существом, чем он ей: фетровая шляпка, кокетливо приподнятая сбоку, волосы колечками, сережки. Он продолжал рассматривать ее. Затем попытался вспомнить: какое же она имела отношение к нему? Довольно отдаленное. Пять или шесть пар глаз жадно следили за каждым движением в его лице, изуродованном побоями. Надо же что-нибудь сказать этому человеку, думала Элли, и она сказала:

— Ребенок здоров.

Он насторожился. Его взгляд стал острым. Что она имела в виду? Наверняка что-то вполне определенное. Может быть, она принесла ему весть? Он боялся, что слишком ослабел и не отгадает. Он сказал вопросительно:

— Вот как?

Она узнала бы его и по этому взгляду. Этот взгляд был прикован к ее полуоткрытым губам так же горячо и неотступно, как в первый раз. Что за весть сообщат они сейчас, чтобы еще раз наполнить его жизнь энергией и силой?

После долгой мучительной паузы — Элли, видимо, подыскивала слова — она сказала:

— Скоро он уже пойдет в детский сад.

— Да,— сказал Георг. Какая мука напрягать бессильный мозг, соображать быстро и метко! На что намекает она, говоря о детском саде?

Вероятно, это связано с перестройкой работы, о которой Гагенауер рассказывал четыре месяца назад, когда был доставлен сюда после ареста партийного руководства последнего состава. Улыбка Георга стала шире.

— Хочешь взглянуть на его фотокарточку? — спросила Элли.

Она пошарила в сумочке, на которую устремились не только глаза Георга, но и охраны. Она протянула ему маленькую, наклеенную на картон карточку: ребенок с погремушкой. Георг наклонился над снимком и от напряжения наморщил лоб, силясь разглядеть что-то важное. Он поднял глаза, посмотрел на Элли, опять посмотрел на карточку. Затем пожал плечами. Он снова взглянул на Элли, но так мрачно, словно она посмеялась над ним.

Надзиратель крикнул:

— Свиданье кончено.

Оба вздрогнули.

Георг торопливо спросил:

— Как моя мать?

— Здорова,— отозвалась Элли. Эту женщину, которая была ей всегда чужда, чуть ли не противна, она не видела уже полтора года.

Георг крикнул:

— А младший брат? — Он точно вдруг проснулся, все его тело дергалось. Не менее жутким казалось Элли и то, что с каждой минутой он все больше становился прежним. Георг крикнул: — А как поживает...— Но его подхватили слева и справа, подтолкнули и вывели.

Элли потом уже не помнила, как вернулась к отцу. У нее осталось только смутное воспоминание о том, что он прижал к себе ее голову, и что тут же стояли хозяин и хозяйка и еще какие-то две женщины, и что ей было все равно. Одна женщина легонько похлопала ее по плечу, а другая пригладила ее волосы. Наконец хозяйка подняла с полу ее шляпу и сдула с нее пыль. Никто не произнес ни слова. Слишком близко была эта стена. Немым было горе, и таким же немым было утешение.

Очутившись дома, Элли села и написала Генриху письмо. Она просит его не заходить за ней в контору и вообще забыть о ней.

Генрих все-таки поймал ее около конторы. Принялся расспрашивать: может быть, Георг опять произвел на нее впечатление? Может быть, она опять полюбила его? Может быть, ей жаль его? Она думает снова сойтись с ним, когда он выйдет? Элли слушала

с удивлением все эти туманные и нелепые догадки о том, что только она одна знала доподлинно. Она спокойно возразила: нет, любить Георга она больше не может. Нет, никогда она не вернется к нему, даже если его освободят, этому конец навсегда. Но с тех пор, как она увидела Георга, ей вдруг перестали доставлять удовольствие встречи с Генрихом, ей просто не хочется, вот и все.

Генрих встал на ее пути, как несколько лет назад стоял Франц, когда Георг отнял у него Элли. Но Генрих не был особенно серьезным юношей, он не верил, что все это так серьезно. Какой смысл в подобном решении? Да если бы она еще продолжала любить Георга! Но просто так? Разве Георгу будет легче от того, что она останется одна? Он и не узнает о ее постоянстве и наверняка не поверит, если она когда-нибудь при случае расскажет ему об этом. Зачем же осложнять себе жизнь?

Все это тоже произошло почти год назад. А сегодня вечером она пригласила Генриха к себе, для него были приготовлены шницели, замешан пудинг. Для него она принарядилась. Как все это вдруг началось опять, раздумывала Элли, почему я опять о нем вспомнила?.. И не понадобилось ни кончать с чем-то, ни принимать какое-то трудное решение. Ничего особенного не случилось, просто год прошел. Скучно каждый вечер сидеть в одиночестве. Едва ли она для этого создана. Ведь она самая заурядная женщина. Генрих был прав. Зачем это все, и притом ради человека, который для нее почти чужой? Прошел год, и померкло даже это страшное, изувеченное побоями лицо. Мать оказалась права, как и все старики: время все залечивает, и даже раскаленное железо остывает. В глубине души Элли все же таила легкую надежду, что Генриха задержит какая-нибудь случайность, хотя не понимала, что́ от этого изменится, раз она сама его пригласила.

А внизу, в кондитерской, Франц из окна смотрел на улицу. Вспыхнули фонари. Хоть день и был теплый, сейчас все говорило о том, что лето давно прошло. Маленькая кондитерская была скудно освещена. Хозяйка гремела посудой у стойки. Уж скорей бы эти два упрямых посетителя ушли. Вдруг Франц вцепился руками в край столика. Он глазам своим не верил: там, между фонарями, к подъезду Элли подходил Георг, он нес цветы. Все чувства Франца закружились в бешеном вихре. Все было в этом вихре: испуг и радость, ярость и страх, счастье и ревность. Но когда человек подошел поближе, все исчезло. Франц успокоился и выругал себя. Этот парень только издали слегка напоминал Георга, да и то — если в мыслях был Георг.

Тем временем хозяйка кондитерской избавилась от одного из посетителей. Молодой человек бросил на стол деньги и выскочил на улицу. Франц заказал еще кофе и еще одну сдобную булочку.

Когда у входной двери раздался звонок, лицо Элли все-таки просияло. Минуту спустя Генрих был уже в ее комнате. В руках он держал гвоздики. Он растерянно смотрел на молодую женщину, сидевшую на кровати; она, видимо, не очень-то поджидала его: мотки цветной шерсти, лежавшие на ее коленях, мешали ей встать. Элли подняла голову, схватила сумку и, смущенная, начала, нарочно медля, запихивать туда свое вязанье. Затем встала и взяла у Генриха гвоздики. Из кухни уже доносился запах жареного мяса. Это все добрейшая фрау Мерклер. Элли невольно улыбнулась. Но лицо Генриха было так серьезно, что она перестала улыбаться. Она отвернулась от его настойчивого взгляда. Он схватил ее за плечи и стал сжимать их все решительнее; тогда она опять подняла голову и взглянула на него. Забыв обо всем, Элли решила — все-таки счастье, что он пришел!

В эту минуту на лестнице и в передней раздались шаги и голоса. Может быть, кто-нибудь действительно крикнул или это только мелькнуло в сознании: «Гестапо!» Руки Генриха соскользнули с ее плеч, его лицо окаменело, окаменело и лицо Элли, словно оно никогда раньше не улыбалось и никогда уже не будет улыбаться.

Хотя Франц соображал не слишком быстро, все же он без труда связал между собой те события, которые в ближайшие несколько минут разыгрались перед окном кондитерской.

На тихой улочке началась какая-то суета, правда не настолько заметная, чтобы привлечь внимание прохожих. За углом остановился чей-то большой темно-синий автомобиль. Одновременно к двери дома, где жила Элли, подъехало такси. Следом появилось и второе такси, оно не обогнало первое, а, затормозив, остановилось позади.

Из первого выскочили трое молодых людей. После короткого пребывания в доме они снова вышли, сели в машину и посадили еще кого-то, кого они привели с собой. Франц не мог бы поклясться, что четвертый — юноша, только что принятый им за Георга, так как его спутники из предусмотрительности, а может быть, и случайно, заслонили его, когда он проходил от подъезда к дверце автомобиля. Но Франц заметил, что юноша идет не просто и спокойно, а рядом со своими подтянутыми и ловкими спутниками производит впечатление пьяного или больного. Когда первое такси отъехало — мотор так и не выключали,— к двери Элли медленно подошло второе. Из него выскочили двое, вбежали в дом, и, когда они вернулись, между ними шла женщина.

Кое-кто из редких прохожих приостановился. Кое-кто, вероятно, выглянул из ближайших окон. Однако освещенный фона-

рями кусочек мостовой перед подъездом был все так же нетронут и опрятен, на нем не произошло никакой катастрофы, его не забрызгало кровью. Если у людей и возникли какие-либо подозрения — они унесли их с собой в недра своих семейств.

Франц ждал каждую минуту, что и его арестуют. Но он благополучно выбрался на велосипеде из города.

Значит, Георг тоже бежал, говорил себе Франц, они следят за его родными, за его бывшей женой, наверно, и за его матерью. Они подозревают, что он в городе. Может быть, он действительно скрывается здесь? Как же он предполагает выбраться?

Несмотря на рассказы бывшего заключенного, Франц не мог бы представить себе теперешнего Георга, того, которого видела Элли. Зато образ прежнего Георга встал перед ним внезапно и отчетливо. Он увидел его перед собой с такой ясностью, что чуть не вскрикнул. Так в старину, в подобные же эпохи мракобесия, люди вскрикивали, когда им вдруг, в толкотне улицы или среди шумного празднества, казалось, что они видят перед собой того единственного, которого им рисовали запретные воспоминания, подсказанные их совестью. Франц увидел юношеское лицо Георга, его взгляд, вызывающий и печальный, его густые темные красивые волосы. Он видел склоненную над столом голову Георга, голову на плечах, голову-вещь, голову-приз. Франц так помчался по дороге, словно ему самому угрожала опасность. В глубоком смятении — к счастью, его тяжеловатые, малоподвижные черты не могли отразить всю силу этого смятения — ехал Франц к Герману. Однако и тут ему не удалось излить переполненное сердце: Герман еще не возвращался домой с работы. «Наверно, собрание»,— сказала Эльза, глядя на расстроенного Франца круглыми глазами, любопытными и невинными.

Чувствуя, что Франца почему-то надо утешить, она предложила ему леденцов из коробки. Герман часто покупал ей сласти — при первом подношении его ужасно тронуло ее личико, просиявшее от такого пустяка. Франц, тоже относившийся к ней словно к ребенку, погладил ее по голове, но сейчас же пожалел об этом, так как она испугалась и покраснела. «Значит, нет его»,— сказал Франц почти с отчаяньем; он был настолько поглощен своими мыслями, что из его груди вырвался стон.

Она смотрела ему вслед, когда он повел свой велосипед в гору, и, как обычно бывает с детьми, глубоко опечалилась его печалью, хотя и не знала, в чем она.

Марнеты немного подождали Франца, затем сели ужинать без него. Эрнст, пастух, тоже занял свое место за столом. И вот Эрнст встает, чтобы отнести Нелли косточку. Как только он выхо-

дит из жаркой, чадной кухни на свежий воздух, его лицо меняется, и он вздыхает всей грудью. Сегодня туман не так густ. Далеко вокруг видны огни множества городков и деревень, семафоров и фабрик, химических заводов в Гехсте, Опеля в Рюссельсгейме. Одной рукой подбоченясь, в другой держа кость, Эрнст спокойно окидывает взором горизонт. Лицо его становится довольным и надменным, словно он лишь сегодня вступил сюда во главе своих легионов как посланец глубокой древности, словно он окидывает взором покоренную страну, ее реки и миллионы огней. Он застывает на месте, подобно завоевателю, созерцающему завоеванное. А разве он и впрямь не вступил сюда во главе своих легионов как посланец глубокой древности, не покорил страну, ее дичь и глушь, ее реки?

Эрнст слышит в поле какое-то позвякивание. Это велосипед, Франц ведет его в гору. На лице пастуха — оно только что было ясным и почти величественным — уже ведет свою оживленную и лукавую игру любопытство. Почему это Франц возвращается так поздно и почему именно с этой стороны? «Твою жратву слопали»,— заявляет Эрнст. Но острые дерзкие глаза уже подметили, что Франц не слишком-то хорошо настроен. Ему ничуть не жаль Франца, ему просто любопытно, и на его лице появляется выражение, как бы говорящее: эх, Франц, какой же ты маленький и какой же маленькой должна быть та муха, которая тебя укусила.

А Франц, хотя они не обменялись и словом, чувствует, что ему противны и этот парень, и его холодная насмешливость, которую он обычно находил такой забавной. Францу противно его равнодушие, ему уже заранее противно равнодушие людей, среди которых он сейчас очутится и будет есть свой суп, и равнодушие звезд, которые сейчас над ним восходят.

VII

Георга все больше укрывали вечерние сумерки, до того туманные и тихие, что, казалось, в них невозможно было его найти. При каждом новом шаге он говорил себе, что следующий будет последним. Однако новый шаг оказывался лишь предпоследним. За Момбахом ему пришлось сойти с грузовика. Мостов здесь уже не было, но возле каждой деревни был перевоз. Георг миновал их один за другим. Подходящая минута, чтобы переправиться на тот берег, еще не настала. Когда все силы человека устремлены в одну точку, все предостергает его — и инстинкт и разум.

Как и накануне вечером, он утратил чувство времени. На Рейне в сгущающемся тумане завывали пароходные сирены. По

дороге, бежавшей вдоль берега, пропосились огни; но все реже и реже. Надвинулся заросший деревьями остров, и воды стало не видно. За камышами блестели огни хутора, однако они не внушали Георгу ни страха, ни доверия, они казались болотными огнями, до того безлюдной была местность. Может быть, остров, заслонявший вид на реку, еще тянулся, может быть, уже кончился. Может быть, огни горели на каком-нибудь судне или на том берегу, может быть, и берег был от него заслонен не лесистым островом, а туманом. Человеку нетрудно погибнуть здесь и от истощения. Побыть бы сейчас с Валлау, хоть две минуты, в любом аду...

Если Валлау удастся добраться до некоего прирейнского города, то есть надежда, что оттуда его переправят за границу. В этом городе сидят люди и ждут его, они уже подготовили следующий этап его бегства.

Когда Валлау арестовали вторично, его жена поняла, что больше никогда его не увидит. А когда ее просьбы о свидании были грубо, даже с угрозами отклонены — она сама приезжала хлопотать в Вестгофен из Мангейма, где теперь жила,— фрау Валлау твердо решила спасти мужа, какой бы то ни было ценой. Это решение она начала проводить в жизнь с той одержимостью, с какой женщины берутся за невыполнимый план: они прежде всего теряют ту способность трезвого суждения или часть этой способности, с помощью которой человек проверяет возможность чего-нибудь на деле. Они ее знать не хотят. Жена Валлау построила свой план не на опыте других, не на том, что ей говорили окружающие; ее воодушевляли рассказы об удавшихся легендарных побегах, например Беймлера из Дахау, Зегера из Ораниенбурга. Ведь и в легендах есть какой-то опыт, какие-то указания. Она знала также, что ее муж со всей твердостью человека, одаренного особой ясностью сознания, пламенно жаждет жить, жить еще, что он поймет малейший намек. Ее нежелание обдумать вопрос в целом, разобрать, что возможно и что невозможно, не помешало ей во многих частностях действовать рассудительно. При установлении связей и при передаче вестей она пользовалась своими двумя мальчиками, особенно старшим, который еще раньше прошел подготовку у отца, а теперь был матерью посвящен в ее тайный план и горел желанием помочь: темноглазый, упрямый подросток в форме гитлерюгенда, скорее обожженный, чем озаренный пламенем, которое было для его сердца, пожалуй, слишком жарким.

И вот, вечером второго дня, фрау Валлау узнала, что самый побег из лагеря удался. Но она не могла знать, когда ее муж доберется до огородов под Вормсом, где в сторожке его ждали платье и деньги; может быть, он уже побывал там этой ночью. Сторожка принадлежала некой семье Бахман. Муж был трамвайным кон-

дуктором. Обе женщины тридцать лет назад вместе ходили в школу, еще их отцы были друзьями, а потом и их мужья. Обеим женщинам одновременно пришлось нести все тяготы обычной жизни, а за последние три года — и тяготы необычной. Правда, Бахман был арестован всего раз, в начале тридцать третьего года, и просидел недолго. С тех пор он работал спокойно и его не трогали.

Своего мужа, кондуктора, и поджидала сейчас фрау Бахман, между тем как фрау Валлау ждала своего мужа. Фрау Бахман сильно тревожилась — это было видно по мелкой, судорожной, прерывистой дрожи ее рук; ведь ему нужно всего десять минут, чтобы дойти от парка до их городской квартиры. Может быть, ему пришлось заменить кого-нибудь на работе, тогда он вернется не раньше одиннадцати. Фрау Бахман начала укладывать детей и немного успокоилась.

Ничего не может случиться, повторяла она себе в сотый раз, ничего не может выйти наружу. А если даже что-нибудь и откроется, нас решительно ни в чем нельзя обвинить. Деньги и платье он мог просто украсть. Мы живем в городе, никто из нас не был на огороде уже больше месяца. Если бы только взглянуть, там ли еще вещи. Тяжело все это. И как только фрау Валлау выдерживает!

Она, фрау Бахман, тогда сказала жене Валлау:

— Знаешь, Гильда, я просто не узнаю наших мужчин, их точно подменили.

А Гильда ответила:

— Моего Валлау не подменили, он остался в точности таким же.

Тогда фрау Бахман сказала:

— Когда по-настоящему заглянешь смерти в глаза...

Но фрау Валлау прервала ее:

— Глупости! А как же мы? А я? Когда я рожала старшего, я чуть на тот свет не отправилась. А через год родила второго.

Фрау Бахман заметила:

— Там, в гестапо, все знают про человека!

И фрау Валлау возразила:

— Да брехня это! Они знают только то, что им говорят.

Когда фрау Бахман осталась одна в тихой комнате, ее руки снова начали вздрагивать. Она взялась за шитье. Это успокоило ее. Никто нас ни в чем обвинить не может. Скажем — просто кража.

И вот на лестнице раздались шаги мужа. Наконец-то!.. Она встала и принялась собирать ему ужинать. Войдя в кухню, он не промолвил ни слова. Она не успела еще обернуться к нему, как не только сердцем, но всем существом ощутила, что с его приходом температура в комнате упала на несколько градусов.

— Что с тобой? — спросила она, увидев его лицо. Муж ничего не ответил. Она поставила перед ним полную тарелку. Пар от супа поднялся ему в лицо.— Отто,— спросила она,— ты что, заболел? — На это он тоже ничего не ответил.

Фрау Бахман охватил нестерпимый страх. Это не имеет отношения к сторожке, ведь он здесь, думала она, просто эта история его угнетает. Уж скорее бы все кончилось.

— Ты разве не хочешь есть?

Муж ничего не ответил.

— Не надо все время думать об одном,— сказала жена.— Если все время думать, можно с ума сойти.

Из полузакрытых глаз мужа на нее глянула безнадежная мука. Но фрау Бахман уже снова взялась за шитье. А когда она подняла голову, глаза мужа были закрыты.

— Да что с тобой? — спросила она.— Что с тобой?

— Ничего,— ответил муж.

Но как он сказал это! Словно жена спросила его: «Неужели у тебя ничего не осталось на свете?» — и он ответил ей правду — ничего.

— Отто,— сказала она, продолжая шить,— а может быть, все-таки что-то есть?

Но муж возразил беззвучным, спокойным голосом:

— Нет, нет, ничего.— И когда она, быстро подняв взор от шитья, взглянула ему в лицо, прямо в глаза, она поняла, что действительно — ничего. Все, что он когда-то имел,— погибло.

Жена почувствовала ледяной озноб. Она съежилась и села боком, словно вовсе это не муж ее сидел за столом, а... Она шила и шила; она ни о чем не думала, ни о чем не спрашивала, ведь ответ мог разрушить всю ее жизнь.

И какую жизнь! Конечно, самую обыкновенную жизнь с обыкновенной борьбой за хлеб и детские чулки. Но и пылкую, смелую жизнь, полную горячего интереса ко всему, достойному интереса, а если прибавить к этому то, что обе они — и жена Бахмана, и жена Валлау — слыхали от своих отцов, когда были еще девочками с косичками и жили на одной улице... Не было ничего, что не встречало бы отклика в их четырех стенах — бои за десяти-, девяти- и восьмичасовой рабочий день; речи, которые прочитывались даже женщинами, пока они штопали поистине адские дыры на чулках; речи — от Бебеля до Либкнехта, от Либкнехта до Димитрова. Еще ваши деды, с гордостью рассказывали матери детям, сидели по тюрьмам за то, что участвовали в стачках и демонстрациях. Правда, в те времена за это еще не пытали и не убивали. Какой чистой была ее жизнь! И вот из-за одного-единственного вопроса, из-за одной мысли все идет насмарку, все погибло! Но от этой мысли

никуда не уйдешь. Что с ее мужем? Фрау Бахман — простая женщина, она привязана к мужу; они когда-то были влюблены друг в друга, они прожили вместе долгие годы. Она, конечно, не такая, как фрау Валлау, та еще многому училась. Но этот мужчина у стола — вовсе не ее муж. Это непрошеный гость, чужой и страшный.

Откуда он пришел? Где он был так поздно? Он расстроен. Изменился он уже давно. С тех пор, как его вдруг освободили, изменился он. Она так радовалась и ликовала, а у него лицо было опустошенное и усталое. Разве ты хочешь, чтобы и с ним было то же, что с Валлау? Она чуть не крикнула: нет, нет! Но голос, гораздо более старый, чем она, и вместе с тем гораздо более юный, уже ответил: «Да, так было бы лучше». Я не могу выдержать выражения его лица, думала жена. И, точно услышав, муж встал, и подошел к окну, и остановился спиной к комнате, хотя ставни были закрыты.

Георг, наверно, проковылял уже мимо нескольких таких сараев, как тот, перед которым он наконец остановился. Внутри ничего не было, только груды ненужных ивовых корзин, пахнувших плесенью.

Теперь спать, решил Георг, больше ничего. Спать и не просыпаться. Заползая в угол, он толкнул нагроможденные друг на друга корзины, и они разъехались. Страх снова привел его в себя. Туман исчез. Лунный свет, тихий, как снег, падал через пустую дверную раму на вытоптанный земляной пол. Были отчетливо видны старые следы и свежие следы Георга.

Затем Георг действительно заснул. Может быть, он проспал всего две-три минуты. Ему приснилось, что он пришел к Лени. Он запустил пальцы в волосы Лени, они были густые и скрипучие. Он зарылся в них лицом и вдыхал их запах, чувствуя, что наконец-то все это не сон, а подлинная явь. Он обмотал ее волосы вокруг кисти, чтобы она не могла уйти от него. Он что-то толкнул ногой: зазвенели осколки. От ужаса он проснулся. Действительно, думал он, поражепный, так как наяву ни разу не вспоминал об этом, я тогда действительно что-то опрокинул — лампу. Немного хриплым был ее смех и ее голос, настойчиво уверявший его, как уверяют пьяные: «Это же к счастью, Георг, это принесет нам счастье».

В голове у него было ощущение такой острой, сосредоточенной боли, что он невольно ощупал голову, нет ли крови. О сне и думать нечего. А я был уверен, что в это время буду уже у нее... Как он ни напрягал свой мозг, он ничего не мог сообразить. Эта пустота в голове просто приводила его в отчаяние.

Вдали что-то мелькнуло — человек или животное; постепенно приближаясь и не становясь громче, шелестели короткие, легкие

шаги. Георг быстро нагромоздил перед собой мешки, корзины. Бежать поздно. Кто-то заслонил вход: в сарае стало темно. Тень женщины, он разглядел подол юбки. Она тихо шепнула:

— Георг?

Георг чуть не вскрикнул. Крик застрял у него в горле.

— Георг,— снова повторила девушка, слегка разочарованно. Затем она села на пол перед дверью.

Георг видел ее полуботинки и толстые чулки и — между раздвинутых колен — юбку из грубой материи, на которой лежали ее руки. Его сердце стучало так громко, что ему казалось — вот она вскочит от этого стука. Но она прислушивалась к чему-то другому. Раздались уверенные шаги. Тогда она весело воскликнула:

— Георг!

Она сдвинула колени и одернула юбку. Георг увидел и ее лицо. Оно показалось ему необыкновенно прекрасным. Но какое лицо не будет прекрасным в этом свете и в ожидании любви?

Другой Георг вошел наклонившись и сейчас же сел с ней рядом.

— Ну, видишь, вот и ты,— сказал он и добавил, довольный: — А вот и я.

Она спокойно обняла его. Она прижалась лицом к его лицу, не целуя, может быть, даже без желания поцеловать. Они заговорили о чем-то так тихо, что Георг не мог их понять. Наконец другой Георг рассмеялся... Затем стало опять так тихо, что Георгу было слышно, как другой Георг водит рукой по ее волосам и по ее платью. При этом он говорил:

— Моя любимая.— Он сказал также: — Ты для меня все.

Девушка сказала:

— Это же неправда.

Он крепко стал целовать ее. Корзины посыпались в разные стороны, кроме тех, которые Георг нагромоздил перед собой.

Девушка продолжала слегка изменившимся, более звонким голосом:

— Если бы ты знал, как я люблю тебя!

— Правда? — сказал другой Георг.

— Да, больше всего на свете. Пусти! — вдруг вскрикнула она. Другой Георг засмеялся. Девушка сказала сердито: — Нет, Георг, теперь уходи.

— Я сейчас уйду,— сказал другой Георг,— ты скоро совсем от меня избавишься.

— Как так? — спросила девушка.

— В следующем месяце я должен призываться.

— Ах, господи!

— Почему? Это не плохо. Наконец кончится вся эта маршировка каждый вечер, ни одной тебе минутки нет свободной.

— В армии-то тебя и будут муштровать.

— Ну, там другое дело. Там чувствуешь, что ты настоящий солдат, а это все игра в солдатики. Эльгер то же говорит. Слушай, скажи-ка, прошлой зимой ты не ходила с Эльгером в Гейдесгейм на танцы?

— А почему бы и нет? — ответила девушка.— Я же тебя еще не знала. И с ним было не так, как у нас теперь.

Другой Георг рассмеялся.

— Не так? — сказал он. Он обнял ее, и девушка уже ничего не говорила.

Много позднее она сказала грустно, словно ее милый затерялся среди бури и мрака:

— Георг!

— Да,— весело отозвался он.

Они снова сели так, как сидели раньше, девушка — подняв колени, держа в своих руках руку парня. Они смотрели вдаль через открытую дверь и, видимо, чувствовали полное созвучие друг с другом, с полями и с этой тихой ночью.

— Вон туда, помнишь, мы ходили с тобой гулять,— сказал другой Георг.— Ну, мне пора домой...

Девушка сказала:

— Я буду бояться, если ты уйдешь.

— Меня еще не посылают на войну,— ответил он,— покамест только в армию.

— Я не про то,— сказала девушка.— Если ты сейчас уйдешь от меня.

Другой Георг засмеялся:

— Ты дурочка. Я могу завтра опять прийти. Пожалуйста, не вздумай реветь.— Он стал целовать ее глаза и лицо.— Вот видишь, теперь ты опять улыбаешься,— сказал он.

— У меня и смех и слезы — все вместе,— отозвалась она.

Когда другой Георг уходил через поле, а молодая женщина провожала взглядом его фигуру, озаренную бледным светом луны, уже не серебристым, но белесым, настоящий Георг увидел, что лицо у нее отнюдь не красивое, а круглое и плоское. Жалея девушку, он очень опасался, что другой Георг завтра уже не придет. Он-то, Георг, он пришел бы. И в ее лице тоже оставалось выражение страха. Она прищурилась, словно ища вдали какую-то незыблемую точку. Затем вздохнула и поднялась. Георг слегка пошевельнулся. На площадке перед дверью остался только бледный луч лунного света, да и тот мгновенно растаял, так как занималась заря.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Генрих Кюблер был в ту же ночь доставлен в Вестгофен для очной ставки. Сначала он словно оцепенел и молча дал увести себя из квартиры Элли. Но по пути им вдруг овладело бешенство, и он начал вырываться, как всякий нормальный человек, подвергшийся нападению разбойников.

Он тотчас же был укрощен зверскими побоями и, почти лишившись сознания, закованный в ручные кандалы, отупевший, неспособный подыскать хоть какое-нибудь объяснение для случившегося с ним, перекатывался во время езды, словно мешок, по коленям своих стражей. Когда его привезли в лагерь и штурмовики увидели, насколько арестованный избит, они решили, что приказ следователя — не прикасаться к арестованным до допроса — на этого человека, конечно, уже не распространяется, ибо относится только к тем, кого доставляют невредимыми. На миг воцарилась глубокая тишина, затем вдруг откуда-то поползло особое, глухое жужжание — точно от роя насекомых,— которое всегда предшествует этому, затем прозвенел одинокий человеческий вопль, послышались возня и топот, затем, быть может, снова настала тишина. А почему «быть может»? Потому что никто никогда еще не присутствовал при этом, никто еще не описывал этого без неумолчного, неистового грома собственного сердца.

Избитого до неузнаваемости и потерявшего сознание Генриха Кюблера унесли. Фаренбергу доложили: доставлен четвертый беглец — Георг Гейслер.

С тех пор как два дня назад на коменданта Фаренберга обрушилась беда, он спал не больше, чем любой из беглецов. И его волосы начали седеть. И его лицо осунулось. Когда он думал о том, что́ для него поставлено на карту, когда представлял себе, что́ для него потеряно, он корчился, стонал и метался в сетях электрических и телефонных проводов, безнадежно перепутавшихся и уже совершенно бесполезных.

Между окнами висел портрет его фюрера, который, как возомнил Фаренберг, даровал ему высшую власть. Почти, если не совсем безграничную. Господствовать над людьми, над их душой и телом, распоряжаться жизнью и смертью — это ли не всемогущество! Властвовать над зрелыми, сильными мужчинами, которым приказываешь стоять перед тобой, и ты можешь сломить их сразу или постепенно и видеть, как эти люди, только что смелые и независимые, бледнеют и заикаются от смертельного страха! Иных приканчивали совсем, иных делали предателями, иных отпускали,

но согбенными, с подорванной волей. В большинстве случаев наслаждение властью бывало полным, но что-то портило удовольствие при иных допросах,— например, при допросах этого Георга Гейслера; наслаждение бывало отравлено чем-то неопределенным, ускользающим, гибким, как ящерица, чем-то неосязаемым, неуязвимым, неуничтожимым. В частности, при всех допросах Гейслера оставался еще этот взгляд, эта улыбочка, какой-то особый свет на роже, как по ней ни лупи. С ясностью, иногда присущей видениям сумасшедших, видел Фаренберг во время рапорта, как эту улыбочку на лице Георга Гейслера наконец медленно гасят и засыпают навек несколькими лопатами земли.

Вошел Циллих.

— Господин комендант! — Он задыхался, настолько велика была его растерянность.

— Что такое?

— Не настоящего взяли.

Он оцепенел, так как Фаренберг вдруг пошел на него. Правда, Циллих не шевельнулся бы, даже если бы Фаренберг его ударил. До сих пор Фаренберг, неизвестно почему, еще ни разу не упрекнул его за происшедшее. Но и без упреков смутное ощущение вины и тоскливой безнадежности наполняло по самое горло тугое, мощное тело Циллиха. Он задыхался.

— Этот тип, которого они захватили вчера вечером во Франкфурте, на квартире у жены Гейслера,— не наш Гейслер. Произошла ошибка.

— Ошибка? — повторил Фаренберг.

— Да, ошибка, ошибка!..— повторил и Циллих, словно в этом слове было что-то утешительное.— Просто какой-то прохвост, с которым развлекалась эта баба. Я рассмотрел его. Я бы узнал своего сынка, хоть бы ему своротили морду на всю жизнь.

— Ошибка...— повторил Фаренберг. Он словно что-то обдумывал. Циллих, недвижный, наблюдал за ним из-под тяжелых век. Вдруг у Фаренберга начался приступ ярости. Он заревел: — И что это здесь, черт вас всех раздери, за освещение? Носом вас, что ли, тыкать надо? Неужели нет никого, кто бы мог переменить лампу тут, наверху? Монтера, что ли, у нас нет? А на дворе что делается? Который час? Что это за туман? Господи, каждое утро одно и то же!

— Осень, господин комендант.

— Осень? А эти мерзкие деревья? Немедленно обкорнать. Спилить, к чертям, макушки, живо, живо!

Спустя пять минут в комендантском бараке и перед ним закипело какое-то подобие работы. Несколько заключенных, под надзором штурмовиков, спиливали вершины платанов, росших вдоль барака номер три. Заключенный, по профессии электротехник,

тоже под надзором, переставлял выключатели. До Фаренберга доносился треск обрубаемых веток и визг пилы, а тем временем монтер, лежа на животе, возился со шнурами. Случайно подняв глаза, он перехватил взгляд Фаренберга. «Такого взгляда,— рассказывал он два года спустя,— я в жизни своей не видывал. Думал, этот мерзавец сейчас прямо на мне плясать начнет и мне позвоночник сломает. Но он только легонько дал мне под зад и сказал: «Живо, живо, чтоб тебя...» Затем мои лампы включили, они действовали отлично, и сразу же выключили. Стало светлее, у платанов-то ведь были спилены верхушки, да и, кроме того, наступил день».

Тем временем Генрих Кюблер, все еще не приходивший в сознание, был передан заботам лагерного врача. Следователи Фишер и Оверкамп были уверены, что Циллих сказал правду, этот человек — не Георг Гейслер, однако нашлись и такие, которые после осмотра Генриха, изувеченного до неузнаваемости, с сомнением пожимали плечами. Оверкамп не переставал тихонько посвистывать — скорее шипенье, чем свист,— он прибегал к нему тогда, когда ругательств уже не хватало. Зажав телефонную трубку между плечом и ухом, Фишер ждал, пока Оверкамп отшипит. Оверкамп не испытывал потребности в ярком свете. В их кабинете все еще царила ночь, ставни были закрыты, горела обыкновенная настольная лампа. Переносная лампа, ослепительно яркая, применялась только при некоторых допросах. Фишер едва сдерживался, чтобы не запустить этой лампой в лицо начальнику, лишь бы тот наконец перестал шипеть. Но тут позвонили из Вормса, и шипение прекратилось само собой.

— Поймали Валлау! — вскрикнул Фишер. Оверкамп потянулся к телефонной трубке, схватил ее, стал что-то быстро записывать.— Да, всех четверых,— сказал он. Затем добавил: — Квартиру опечатать.— Затем: — Доставить сюда.— Он прочел Фишеру то, что записал: «Когда два дня назад в указанных городах были проверены соответствующие списки, то, помимо родственников Валлау, с ним оказался связан еще ряд лиц. Все эти лица были вчера еще раз допрошены. Подозрение вызвал некий Бахман, кондуктор; в тридцать третьем году пробыл два месяца в лагере, отпущен на свободу для слежки за своими единомышленниками...» В результате этой слежки мы, помните, в прошлом году напали на след конспиративного адреса Арльсберга — с тех пор Бахман политической деятельностью не занимался. «При первом и втором допросе — все отрицал. Но вчера на него нажали, и он наконец поддался. Выяснилось, что жена Валлау приготовила у него в летней сторожке под Вормсом одежду, но какую и для какой цели, ему якобы неизвестно. Отпущен домой для дальнейшей слежки и оставлен под надзором. Валлау задержан в двадцать три часа двенадцать

минут в этой сторожке. До сих пор отказывается давать показания. Бахман из своего дома не выходил, в шесть на работу не явился: возникает подозрение относительно самоубийства, сведений от семьи еще не поступало». Все!

Оверкамп дал Фишеру сообщение для печати и радио: как раз поспеет к утренней передаче. Оверкамп держался той точки зрения, что немедленное оглашение всего материала, с целью привлечь публику к поимке беглецов и возбудить против них негодование нации, было бы целесообразным лишь в том случае, если бы речь шла о двух — ну, самое большее, трех беглецах; такой побег еще допустим. При этих условиях, может быть, и можно было бы надеяться на помощь населения. Но оповещение о побеге стольких людей едва ли будет способствовать их поимке, ибо семь, шесть, даже пять беглецов — это недопустимо много, это дает не только основания для предположений, что их еще больше, но и для всевозможных догадок, сомнений, слухов. Теперь все эти аргументы отпадали, так как с поимкой Валлау допустимое число было достигнуто.

— Ты слышал сейчас передачу, Фриц? — были первые слова девушки, едва друг ее показался в воротах. Под особым солнцем, на особой траве бе́лила она, вероятно, платочек, которым повязывала голову.

— Что слышал? — спросил он.

— Да только что... по радио,— сказала девушка.

— Ну, радио! — сказал Фриц.— У меня по утрам дела хоть завались: Пауля с отцом в виноградник проводи, мать молоко сдавать проводи, сам вместо нее в хлев отправляйся. И все до половины восьмого. Ну ее к черту, эту дребезжалку.

— Да, но сегодня,— сказала девушка,— насчет Вестгофена передавали. Насчет троих беглецов. Это они убили того штурмовика Дитерлинга лопатой, а потом в Вормсе кого-то ограбили и разбежались в разные стороны.

Мальчик сказал спокойно:

— Так. Чудно. Вчера вечером в трактире и Ломейер из лагеря, и Матес рассказывали, что этому, которого хватили по голове лопатой, повезло, всего только веко оцарапало, просто пластырем залепили. Так трое, говоришь?

— Жалко,— прервала его девушка,— что они как раз твоего до сих пор не поймали.

— Ах, от моей куртки он уже давно отделался,— сказал Фриц.— Нет, мой не так глуп, уж он, наверно, не ходит все в одном и том же. Мой, конечно, догадался, что его внешность описали по радио. Может быть, он куртку уже загнал, висит теперь где-

нибудь в чужом шкафу или в мастерской на вешалке. А то, может быть, в Рейн зашвырнул, карманы камнями набил и зашвырнул.

Девушка удивленно посмотрела на него.

— Сначала мне ее здорово жалко было, а теперь прошло,— добавил он.

Только сейчас приблизился он к ней. Чтобы наверстать упущенное, схватил ее за плечи, легонько встряхнул, легонько поцеловал. На миг прижал ее к себе, перед тем как уйти. А сам думал: мой ведь знает, что ему живым не выскочить, если его сцапают. При этом из всех беглецов Гельвиг имел в виду только одного — того, с которым был чем-то связан. Сегодня он видел во сне, будто идет мимо Альгейерова сада. А за забором, среди плодовых деревьев, торчит пугало — старая черная шляпа, две палки наперекрест, и на них его вельветовая куртка. Этот сон, при свете дня казавшийся смешным, ночью смертельно напугал его. Вспомнив о нем, он вдруг разжал руки. От головного платка девушки исходил легкий, свежий запах, так обычно пахнет только что отбеленная ткань. Гельвиг услышал его впервые, точно в его мир вошло нечто новое, что ясно подчеркнуло для него все грубое и все нежное.

Когда он, придя десять минут спустя в школу, наткнулся на садовника, тот начал опять:

— Ну что, ничего нового?

— Насчет чего?

— Да насчет куртки. Теперь о ней уже по радио рассказывают.

— Насчет куртки? — спросил Фриц Гельвиг испуганно, так как о куртке его девушка ничего не сказала.

— Когда его видели последний раз, на нем была куртка,— продолжал садовник.— Теперь она, верно, уже никуда не годится, небось пропотела под мышками.

— Ах, оставь меня, пожалуйста, в покое,— огрызнулся Фриц.

Когда Франц вошел в кухню Марнетов, чтобы наспех выпить кофе, перед тем как укатить на велосипеде, он увидел, что у кухонного очага сидит пастух Эрнст и намазывает себе на хлеб варенье.

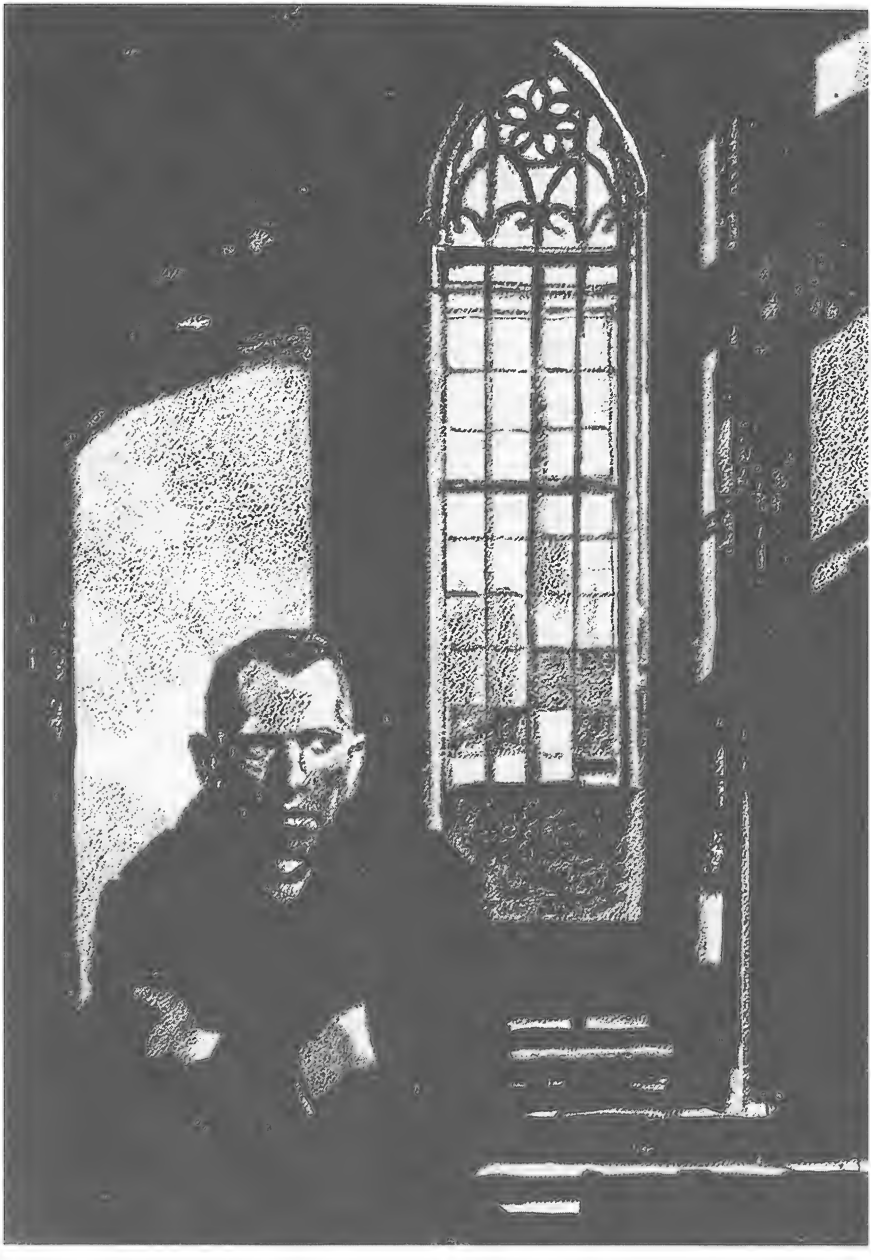
— Слышал, Франц? — спросил пастух.

— Что?

— Да про того, из наших мест, который тоже участвовал...

— Кто? В чем участвовал?

— Ну, если ты не слушаешь радио,— сказал Эрнст,— как же ты можешь быть в курсе событий? — Он обернулся к семье, сидев-



шей вокруг большого кухонного стола за вторым завтраком,— позади было уже несколько часов работы. Семья сортировала яблоки — завтра во Франкфурте на крытом рынке их будут ждать оптовики.— А что вы сделаете, если этот тип вдруг очутится у вас в сарае?

— Запру сарай,— сказал зять,— поеду на велосипеде к телефонной будке и позвоню в полицию...

— Зачем тебе полиция,— сказал шурин,— нас тут хватит, чтобы связать его и доставить в Гехст. Верно, Эрнст?

Пастух так густо намазывал на хлеб варенье, что это было скорее варенье с хлебом, чем хлеб с вареньем.

— Да ведь меня завтра здесь уже не будет,— сказал он.— Я буду уже у Мессеров.

— Он может засесть в сарае и у Мессеров,— сказал зять.

Стоя в дверях, Франц все это слушал, затаив дыхание.

— Да, конечно,— сказал Эрнст,— он везде может сидеть, в любом дупле, в любом старом улье. Но там, куда я загляну, его наверняка не будет.

— Почему?

— Потому что я лучше туда совсем не загляну,— сказал Эрнст,— не желаю: эти дела не для меня.

Молчание. Все посматривают на Эрнста, большой выеденный посередке бутерброд торчит у него изо рта.

— Ты можешь себе это позволить, Эрнст,— сказала фрау Марнет,— оттого что у тебя нет своего хозяйства и вообще ничего своего нет. Если этого беднягу завтра все-таки сцапают и он скажет, где просидел прошлую ночь, за это, пожалуй, и в тюрьму угодишь.

— В тюрьму? — прокудахтал старик Марнет, тощий, высохший мужичишка, хотя жену его, при той же жизни и на тех же харчах, разнесло горой.— В лагерь попадешь и никогда уж оттуда не выберешься. А что будет со всем твоим добром? Этак всю семью погубишь.

— Меня это не касается,— сказал Эрнст. Своим необычайно длинным, гибким языком он тщательно облизывал губы, и дети с удивлением смотрели на него.— Что у меня есть? В Оберурселе у матери кое-какая мебель осталась да моя сберегательная книжка. Семьи у меня пока еще нет, только овцы. В этом отношении я — как фюрер: ни жены, ни семьи. У меня только моя Нелли. Но у фюрера тоже была раньше его экономка. Я читал, он сам был на ее похоронах.

Вдруг Августа заявила:

— Одно только могу тебе сказать, Эрнст: Мангольдовой Софи я на твой счет мозги прочистила. Как ты можешь ей врать, будто ты обручился с Марихен из Боценбаха? Ты же в позапрошлое воскресенье сделал предложение Элле.

Эрнст ответил:

— Это предложение не имеет решительно никакого касательства до моих чувств к Марихен.

— Прямо многоженство какое-то,— фыркнула Августа.

— Ничуть не многоженство,— возразил Эрнст,— просто у меня такой характер.

— У него это от отца,— заявила фрау Марнет.— Когда его отца убили на войне, все его девчонки ревели вместе с Эрнстовой матерью.

— Так ведь и вы небось тоже ревели, фрау Марнет? — спросил Эрнст, подмигнув.

Фрау Марнет покосилась на своего сухонького мужичишку и ответила:

— Ну, одну-две слезинки, может, и я пролила.

Франц слушал, охваченный волнением, словно ожидал, что мысли и слова людей в Марнетовой кухне сами собой задержатся на том событии, о котором так жаждало услышать его сердце. Однако — ничего подобного: их слова и мысли весело разбежались по всевозможным направлениям. Франц вытащил свой велосипед из сарая. На этот раз он не заметил, как спустился в Гехст. И велосипедные звонки вокруг него, и уличный шум просто не доходили до его слуха.

— Ты его разве не знал? — спросил один в раздевалке.— Ты ведь раньше жил здесь!

— Почему именно его? — отозвался Франц.— Нет, эта фамилия мне ничего не говорит.

— А ты посмотри хорошенько,— сказал другой, сунув ему под нос газету. Франц опустил взгляд на лица трех беглецов. Если встреча с Георгом была для него подобна удару — ведь это как-никак была встреча, и Георг с объявления о бежавших был все-таки наполовину Георгом его воспоминаний,— то оба незнакомых лица справа и слева от Георга также поразили Франца и пристыдили за то, что он думает только об одном.

— Нет,— заметил он.— Фото мне ничего не говорит. Господи, мало ли людей видишь!

Газетный листок переходил из рук в руки.

— Нет, не знаю,— раздавались голоса.

— Господи боже, трое сразу, а может, и больше.

— Почему же они удрали?

— Дурацкий вопрос.

— Как? Лопатой пристукнули.

— Шансов никаких.

— Отчего? Ведь они же на воле.

— А надолго ли?

— Не хотел бы я быть в их шкуре.

— Смотри, этот совсем старый.

— А этот мне кажется знакомым.

— Им, верно, все равно была бы крышка, терять нечего.

Чей-то голос, спокойный, может быть несколько сдавленный — говоривший, верно, присел перед шкафчиком или зашнуровывал башмак,— спросил:

— А будет война, что тогда с лагерями сделают?

Холодом веет от этих слов на людей, торопливо и судорожно переодевающихся, чтобы приступить к работе. И тот же голос, тем же тоном продолжает:

— Чего тогда потребует внутренняя безопасность?

Кто же это сказал? Лица не видно, человек как раз нагнулся. А голос знакомый. Что же, собственно, он сказал? Ничего запретного. Наступает короткое молчание, и когда раздается второй гудок, нет ни одного, кто бы не вздрогнул.

В то время как они спешили через двор, Франц услышал за своей спиной вопрос:

— А что, и Альберт тоже еще сидит?

И чей-то ответ:

— Кажется, да.

Биндер, старик крестьянин, ездивший к Левенштейну, только что хотел прикрикнуть на жену, чтобы она выключила радио. С той минуты, как он вернулся из Майнца, он катался по своему клеенчатому дивану, терзаемый еще более свирепыми болями,— так он, по крайней мере, уверял. Вдруг он прислушался, разинув рот. Происходившая в нем схватка между жизнью и смертью была забыта. Он заорал на жену, чтобы та помогла ему скорее надеть сюртук и башмаки. Велел заправить автомобиль сына. Хотел ли он отомстить врачу, который оказался бессильным перед его болезнью, или пациенту, который вчера, перевязав руку, спокойно ушел своей дорогой, тогда как ведь он — это сейчас сообщили по радио — был тоже обречен на смерть? А может быть, старик просто надеялся как-то отстоять свое место среди живых?

II

Тем временем Георг, опасаясь, как бы его не открыли, поспешил выползти из сарая. Он был настолько измучен, что каждый шаг, который он делал, казался ему бессмысленным. Но взлет

нового дня убедительнее всех ужасов почи, и он увлекает с собой каждого, кто до тех пор колебался. По ногам хлестала мокрая зелень. Поднялся ветер, такой легкий, что только чуть развеял туман. Георг, хотя и не видел ничего из-за тумана, все же чуял новый день, который плыл над ним и надо всем. Вскоре мелкие ягоды проросшей спаржи ярко зардели в лучах низкого солнца. Георг решил сначала, что пылавшее пятно за мглистым берегом и есть солнце, но, подойдя ближе, увидел, что это просто костер, горевший на косе. Туман таял медленно, но неудержимо. Георг увидел на косе несколько низких зданий, лишенную деревьев, окруженную стаей лодок отмель и открытую воду. Перед ним, посреди поля, возле дороги, которая вела от шоссе к берегу, стоял дом — вероятно, из него-то ночью и вышла влюбленная парочка. Вдруг с берега донесся такой взрыв барабанной дроби, что у него застучали зубы. Прятаться было поздно, и он, выпрямившись, ко всему готовый, зашагал дальше. Но кругом царило спокойствие. В доме ничто не шелохнулось, только с отмели доносились мальчишеские голоса, которые лишь потому, что они не были голосами взрослых мужчин, показались ему прекрасными и ангельски чистыми. Затем послышался плеск весел, приближавшийся к берегу; костер на косе погас.

Если уж ты не можешь избежать встречи с людьми, учил его Валлау, тем смелее иди к ним, в самую гущу.

Этими людьми, от встречи с которыми уже невозможно было уклониться, оказались два десятка мальчуганов. С воинственными кликами, словно индейцы, врывающиеся на охотничью территорию враждебного племени, выпрыгнули они из лодок и принялись выгружать на берег рюкзаки, кухонную посуду, баки, палатки и флаги. Скоро они угомонились, и их живой клубок быстро распался на две группы. Как заметил Георг, это произошло по отрывистому приказу одного из мальчуганов, суховатого светлого блондина, который уже решительным, хотя еще совсем ребячьим голосом давал необычайно благоразумные указания: два мальчика надели на палку кастрюли и ведра и пошли к низенькому дому, за ними следовало четверо с более тяжелым грузом и два барабанщика, а впереди шел седьмой, с флажком. Георг сел на песок и принялся смотреть на них с таким чувством, как будто не сам он просто вырос и расстался со своим детством, а оно было только что у него похищено. «Вольно!» — приказал худощавый мальчуган остальным, после того как они построились и он произвел перекличку. Только сейчас юный командир заметил Георга. Часть мальчиков принялась собирать плоские камешки; уже было слышно, как они считают их подскоки над водой. Другие, в нескольких шагах от Георга, уселись на траве вокруг кудлатого смуглого маль-

чугана, который что-то строгал. Георг, прислушиваясь к замечаниям и советам мальчиков, с которыми они обращались к кудлатому, чуть не забыл о собственном положении. Некоторые мальчики небрежно вытянулись на траве и заговорили между собой с теми интонациями, с какими говорят дети, когда чувствуют, что за ними наблюдает взрослый, чем-то их привлекающий.

Смуглый мальчуган вскочил, пробежал мимо Георга, размахнулся с сосредоточенным видом и подбросил деревяшку, которую перед тем строгал, высоко в воздух. Деревяшка упала на землю, как падает все, что подвержено закону тяготения, но это, казалось, чрезвычайно огорчило мальчика. Он поднял свое произведение, посмотрел на него нахмурившись, затем снова уселся и продолжал строгать. Любопытство его товарищей сменилось насмешкой.

Георг же сказал, улыбаясь, так как все это видел:

— Ты хочешь сделать бумеранг?

Мальчик в упор посмотрел на него решительным и спокойным взором, который Георгу очень понравился.

— Я не могу тебе помочь, у меня рука болит,— продолжал Георг,— но я, может быть, могу тебе объяснить...

Его лицо потемнело. Разве не такие же вот мальчики вчера выследили Пельцера в Бухенау? Неужели и этот, с таким ясным, спокойным взглядом, барабанил в ворота? Мальчуган опустил глаза. Остальные теперь теснее сгрудились вокруг Георга, чем вокруг кудлатого. Не успел Георг опомниться, как оказался в плотном кольце ребят. Ему не пришлось даже, как крысолову, играть на флейте. Безошибочное чутье подсказало детям, что в этом человеке есть что-то особенное, что у него было какое-то приключение или несчастье или что вообще у него необычайная судьба. Конечно, все это они ощущали очень смутно. Они только как можно ближе придвигались к Георгу и, болтая, посматривали на его забинтованную руку.

В это время перед Оверкампом уже лежало донесение о том, что если не сам Георг Гейслер, то его последняя телесная оболочка — коричневая вельветовая куртка с застежкой «молнией» — наконец попала в руки правосудия. Лодочник, выменявший куртку накануне вечером, отправился к торговцу старым платьем, чтобы продать ее и пропить вырученные деньги. Его невеста то и дело вязала ему фуфайки, и обмен был для него неожиданной поживой. Однако торговец старым платьем, уже не раз обвинявшийся в скупке подозрительных вещей и получивший строжайшее предостережение, тут же дал знать полиции. Сначала лодочник огорчился, что приходится такую шикарную штуку отдавать полиции, но успокоился, когда его обещали вознаградить за убытки.

Обелить себя ему было нетрудно, ведь у него имелся чуть не десяток свидетелей обмена. Свидетели показали, что обменявшийся направился еще с кем-то в сторону Петерсау. При допросе тут же выплыло и имя этого спутника — Щуренок.

Щуренка разыскать было нетрудно. Оверкамп тут же отдал необходимые распоряжения, вытекавшие из показаний лодочника. Он чуял, что в этом безнадежном деле появилось что-то новое. Среди поступивших донесений особенно выделялось показание некоего Биндера из Вайзенау. Последний сообщил, что он вчера утром на приеме у врача Левенштейна заметил подозрительного человека — его приметы совпадают с указанными в объявлении о побеге,— и в то же утро он еще раз повстречал этого человека со свежей повязкой на руке, когда тот направлялся к Рейну. Всех этих людей немедленно вызвали. На основе их показаний удалось установить весь путь Гейслера до вчерашнего полдня, а это позволяло догадываться и о дальнейшем.

Все мальчуганы постепенно перебрались поближе к Георгу, так что кудлатый, строгавший бумеранг, оказался теперь в стороне. Вдруг все повернули головы: от острова плыла еще одна лодка. Из нее вышли человек с рюкзаком и рослый мальчик — в правильных чертах его продолговатого красивого лица было что-то смелое и уже не мальчишеское.

— Дай сюда,— сейчас же обратился этот мальчик к кудлатому, сделал шаг вперед, размахнулся и особым, ловким движением запустил бумеранг так, что тот завертелся волчком.

Тем временем из крестьянского дома вернулась вторая группа мальчиков. Учитель сухо похвалил мальчика, который распорядился всем так быстро и аккуратно. Затем они снова построились для переклички. Наконец тронулись в путь. Поднялся и Георг.

— Славные у вас мальчики,— сказал Георг.

— Хайль Гитлер! — сказал учитель. У него было загорелое, моложавое лицо, которое, однако, вследствие постоянных усилий учителя не выглядеть таким юным, казалось несколько неподвижным.— Да, класс хороший.— И, хотя Георг больше ничего не сказал, добавил: — Основа была хорошая. Я сделал все, что было в моих силах. К счастью, я остался с ними, когда их на пасху перевели.— Видимо, тот факт, что ему оставили его прежних учеников, имел немаловажное значение для этого человека. Георгу не приходилось даже делать над собой особых усилий, чтобы спокойно беседовать с ним. Прошлая ночь оказалась вдруг далеко позади. Так неудержимо течет обыкновенная жизнь, что ее поток уносит с собой каждого, кто только в него вступит.

— А что, далеко еще до перевоза?

— И двадцати минут не будет,— сказал учитель,— мы ведь все туда идем.

Вот кто должен прихватить меня на тот берег, решил Георг. И они прихватят меня.

— Марш! Марш! — сказал учитель мальчуганам.

Он потому не замечал притягательной силы незнакомца, что уже сам ей подчинился. Рослый мальчик, приехавший с ним в лодке, все еще шел рядом. Учитель положил ему руку на плечо. Но Георг, если бы ему разрешили из всех мальчиков выбрать себе спутника, выбрал бы отнюдь не красивого подростка, шагавшего рядом с учителем, и не благоразумного, суховатого, а кудлатенького, с бумерангом. Ясный взгляд этого мальчугана частенько останавливался на Георге, словно мальчик видел больше других.

— Вы ночевали под открытым небом?

— Да,— сказал учитель,— у нас тут на берегу есть пристанище. Но ради тренировки мы ночевали под открытым небом. И пищу готовили вчера вечером и сегодня утром на костре. Вчера, при помощи карт, мы уяснили себе, как можно было бы в наши дни занять вон тот холм. А затем отступали все дальше в глубь истории... понимаете, как его атаковало бы войско рыцарей, как римляне...

— Да с вами опять учиться захочется,— сказал Георг,— вы прекрасный учитель.

— Любимое дело и делаешь хорошо,— последовал ответ.

Они шли по берегу и уже миновали выступ длинной косы. Рядом с ними свободно текла река. Теперь было видно, что коса, все заслонявшая своими кустарниками и группами деревьев, это на самом деле только узенький треугольничек среди бесчисленных береговых выступов и заливов. Георг подумал: если я переберусь на ту сторону, я сегодня же могу быть у Лени.

— Вы были на войне? — спросил учитель. Георг понял, что этот человек, который, вероятно, одних лет с ним, считает его гораздо старше.

— Нет,— сказал он.

— Жаль, а то что-нибудь рассказали бы моим мальчикам. Я пользуюсь каждой возможностью.

— Ну, я разочаровал бы вас — я плохой рассказчик.

— Все равно как мой отец,— сказал учитель,— он никогда ничего не рассказывал о войне.

— Нужно надеяться, что ваши мальчики уцелеют.

— Надеюсь, что уцелеют,— сказал учитель, сделав ударение на последнем слове.— Но не в том смысле, что они избегнут этого испытания.

У Георга забилось сердце — он увидел перед собой столбы и ступени пристани. И все же потребность и привычка воздействовать на сознание людей была в нем настолько сильна, что он ответил:

— Вы всего себя вкладываете в работу, это тоже своего рода испытание.

— Я не о том сейчас говорю,— сказал учитель. Его слова предназначались и для мальчика, который шел, выпрямившись, рядом.— Я имею в виду решающее испытание, борьбу не на жизнь, а на смерть. Через это надо пройти. Но почему мы заговорили на такую тему?..

Он еще раз оглядел своего неведомого спутника. Будь дорога подлиннее, он бы охотно поделился своими мыслями с этим человеком. Сколько признаний слышит в пути тот, кто сам молчит!

— Вот мы и пришли. Скажите, вам не трудно будет прихватить с собой несколько мальчиков?

— Нет, конечно, не трудно,— сказал Георг, которому от волнения сдавило горло.

— Мой коллега обещал взять их к себе. А мы с остальными еще побродим по берегу, я дождусь лодки.

Может быть, маленький Бумеранг поедет со мной, подумал Георг. Но когда мальчики в третий раз выстроились и их пересчитали, маленький Бумеранг попал, к сожалению, в группу учителя.

А Щуренка уже допрашивали в Вестгофене. Оказалось, он прекрасно умеет описывать — точно и остроумно. Такие бездельники обычно очень наблюдательны. Действовать им не приходится, и наблюдения так и лежат у них в голове неприкосновенным фондом. Очутившись перед следователем, Щуренок обстоятельно рассказал, как его вчерашний спутник смертельно испугался, когда они дошли до Петерсау. «Перевязка у него была совсем свеженькая,— разглагольствовал Щуренок,— марля как снег, просто реклама для стирального мыла «Перзиль». И по крайней мере, пяти зубов у этого парня не хватало, да, вероятно, так, трех вверху и двух внизу, потому что дыра наверху была пошире. А с одной стороны,— Щуренок сунул себе в рот собственный указательный палец,— был вот такой разрыв или, как это сказать, ну, точно кто-то хотел дотянуть ему пасть до левого уха».

Наконец Щуренка отпустили. Оставалось только опознать куртку. Тогда по всем железнодорожным станциям и мостам, по всем полицейским участкам и пунктам, по всем пристаням и гостиницам — словом, по всей стране можно будет передать по радио новые приметы беглеца.

— Фриц, Фриц,— раздавалось по всему училищу,— твоя куртка нашлась! — Когда Фриц это услышал, у него все в глазах завертелось. Он выбежал из школы и заглянул в оранжерею. Садовник Гюльтчер собирал семена с созревших бегоний, чтобы тут же их рассортировать.

— Моя куртка нашлась.

Не оборачиваясь, садовник сказал:

— Что же, значит, они его вот-вот поймают. Радуйся.

— Чему это? Невесть с кого, пропотевшая, изгаженная, задрызганная куртка!

— А ты погляди на нее хорошенько, может, вовсе и не твоя.

— Идет! — закричали мальчики, окружавшие Георга. В тихом воздухе уже было слышно пыхтение мотора. След от лодки, плывшей поперек реки, немного более светлый, чем остальная вода, тянулся за лодкой почти до самого берега. В лучах утреннего солнца вспыхивал то шарф на шее у лодочника, то птица на лету, то белая стена на берегу, то шпиль далекой колокольни между холмами, словно именно эти предметы заслуживали того, чтобы их запечатлеть в памяти глубоко и навеки. Они спустились по нескольким каменным ступенькам к причалу, но слишком рано, так как моторная лодка еще не подошла; они стояли у самой воды, и каждый чувствовал, будто его существо раздваивается, и та часть, которая стремится все дальше и дальше — вечно бы ей течь и никогда не останавливаться,— отделяется от той, которая хотела бы вечно оставаться недвижимой и неизменной; и первая уходит с великой рекой, а вторая прижимается к берегам, цепляясь за деревни, за набережные и виноградники.

Мальчики притихли. Ведь там, где тишине дают расти, она проникает глубже, чем звуки труб и барабанов.

Георг видел часового возле пристани на том берегу. Всегда ли он там стоит? Не его ли он поджидает? Мальчуганы окружили Георга, увлекли вниз по ступеням, сгрудились вокруг, тесня к лодке. Но у Георга было только одно на уме — часовой.

Раздвиньтесь, мальчики! Пропустите меня, я прыгну за борт! Неплохой конец на случай, если дело сорвется. Он поднял глаза. Далеко позади он увидел Таунус, где раньше бывал частенько, был однажды и во время сбора яблок с кем-то — с кем же это? Ах да, с Францем! А ведь и сейчас должны быть яблоки. Да. Видишь, уже осень. Есть ли на свете что-нибудь прекраснее? И небо уже не туманное, а безоблачное, серо-голубое.

Вдруг мальчуганы прервали свою болтовню и принялись тоже глядеть туда, куда этот человек смотрел таким странным взглядом,

но решительно ничего не увидели: может быть, птичка уже улетела. Жена лодочника начала собирать деньги за переезд. Вот и середину реки проехали. Часовой смотрел не отрываясь на приближающуюся лодку. Георг, не сводя глаз с часового, опустил руку в воду. Тогда и мальчики тоже опустили руки. Ах, все это наваждение! Но если они сейчас тебя схватят, водворят обратно и будут пытать, ты пожалеешь о том, что все можно было кончить так просто.

От сельскохозяйственного училища до Вестгофена автомобилем нет и пяти минут. Гельвиг, думая о Вестгофене, представлял себе всякие ужасы. Но он увидел только чистенькие на вид бараки, большую, тщательно подметенную площадку, несколько платанов с обрубленными вершинами, тихое осеннее солнце.

— Вы Фриц Гельвиг? Хайль Гитлер! Ваша куртка нашлась. Вот она.

Гельвиг покосился на стол. Там лежала она, его куртка, коричневая, новенькая, вовсе не изгаженная и окровавленная, какой она представлялась его воображению. Только на краю одного из рукавов темнело какое-то пятно. Он вопросительно посмотрел на следователя. Тот, улыбаясь, кивнул ему. Гельвиг подошел к столу, пощупал рукав. Затем опустил руку.

— Ну, ведь это же ваша куртка. А?.. Надевайте-ка,— сказал следователь, улыбаясь, видя, что Гельвиг все еще колеблется.— Ну, что же? — сказал он громче.— Или, может быть, это не она?

Гельвиг опустил глаза и еле слышно произнес:

— Нет.

— Нет? — переспросил Фишер. Гельвиг решительно покачал головой. Все были растеряны.— А ты хорошенько рассмотри ее,— сказал Фишер,— как же это не твоя куртка? Ты разве находишь какую-нибудь разницу?

Гельвиг, сначала опустив глаза и заикаясь, а затем все смелее и обстоятельнее, принялся объяснять, почему это вовсе не его куртка: у его куртки была застежка «молния» на кармане, а у этой пуговица. А вот в этом месте у него была дырочка от карандаша, а здесь подкладка цела. Потом у этой одна вешалка с названием фирмы, а ему мать пришила две вешалки из материи под мышками — вешалки из тесьмы постоянно обрываются. Чем больше он говорил, тем больше припоминал различий, и чем тщательнее он их описывал, тем легче у него становилось на душе. В конце концов его грубо прервали и отослали прочь.

Когда он вернулся в школу, то заявил:

— И вовсе это не моя оказалась.

И все удивлялись и подшучивали над ним.

Тем временем Георг давно уже вылез из лодки и, окруженный своими мальчуганами, прошел мимо часового. Попрощавшись со всеми, он зашагал дальше по асфальтированному шоссе, которое ведет из Эльтвиля в Висбаден.

Оверкамп был в ярости, он свистел и шипел на все лады, пока у Фишера, сидевшего возле стола, не задрожали руки. Этот малый с восторгом схватил бы свою куртку, из-за пропажи которой так хныкал. Еще счастье, что честным оказался и не взял куртки. А раз куртка оказалась не той, которая была украдена, то и лицо, менявшее куртку, было не тем, кого они ищут. И врача Левенштейна, видимо, забрали зря. Даже если человек, которому он вчера наложил повязку, и был лицом, менявшим куртку.

Оверкамп свистел бы еще долгие часы, если бы не произошло что-то, отчего вдруг переполошился весь лагерь. Кто-то вбежал:

— Валлау ведут.

Позднее один из заключенных так описывал это утро: «Весть о том, что Валлау поймали, произвела на нас всех примерно такое же впечатление, как падение Барселоны, или въезд Франко в Мадрид, или вообще такое событие, когда кажется, что сила врага непоколебима. Побег семерых имел для остальных заключенных роковые последствия. Однако ни лишение пищи и одеял, ни усиленная работа, ни бесконечные допросы с побоями и угрозами — ничто не могло нас сломить, мы переносили все это спокойно, даже подчас с насмешкой, и это еще сильнее бесило мучителей. Большинство из нас настолько живо ощущало этих беглецов как часть нас самих, что нам чудилось, будто это мы выслали их вперед на разведку. И хотя никто ничего не знал о плане побега, каждому казалось, что это он совершил что-то замечательное. Многим среди нас враг представлялся всемогущим. Даже очень сильный человек может иной раз сплоховать, ничего при этом в глазах людей не теряя, ведь и очень сильный — только человек, и его ошибки это лишь подтверждают. Но тот, кто объявляет себя всемогущим, ни разу не смеет ошибиться; или он действительно всемогущ, или просто ничто. И если удается нанести хотя бы небольшой урон всемогуществу врага — значит, все может удаться.

И вот это чувство сменилось испугом и даже отчаянием, когда беглецов стали приводить одного за другим, захватывая их сравнительно быстро — с такой легкостью, которая нам казалась просто издевательством. В первые двое суток мы все спрашивали себя: неужели поймают и Валлау? Мы его едва знали. Когда его привели в лагерь, он пробыл среди нас всего несколько часов, и его тут же увели на допрос. Два-три раза мы видели Валлау после

допросов: он шел, слегка пошатываясь, прижав одну руку к животу, а другой незаметно делал нам знаки, словно желая сказать, что все это, дескать, ничего не значит и чтобы мы не падали духом. И вот теперь, когда и Валлау оказался опять в их руках и был возвращен в лагерь, некоторые из нас заплакали, как дети. Теперь и мы все погибли, думали мы. Теперь они и Валлау убьют, как всех поубивали. В первые же месяцы после прихода Гитлера к власти сотни наших руководителей были убиты во всех концах страны. Часть казнили открыто, часть замучили в лагерях. Целое поколение было истреблено. Вот о чем мы думали в то страшное утро, и впервые мы высказывали эти мысли вслух, впервые заговорили о том, что при таком поголовном истреблении и уничтожении у нас уже не будет смены. Самая чудовищная судьба, почти беспримерная в истории, но однажды уже постигшая наш народ, грозила стать нашей судьбой: ничья земля разделит два поколения, и через нее опыт прошлого уже не сможет перейти в будущее. Когда один сражается и падает, а другой подхватывает знамя и тоже сражается и падает, и знамя подхватывает третий и тоже падает,— это естественно, ибо ничто не дается без жертв. Ну, а если уже некому подхватить знамя? Просто потому, что уже никого не осталось, кто понимал бы его значение? Из земли вырывают все лучшее, что на ней произрастало, а детям внушают, что это плевелы. И все эти парни и девушки в городах и селах, пройдя через гитлерюгенд, трудовую повинность и армию, уподобятся детям из сказки, которых выкормили звери, а они потом растерзали собственную мать...»

III

В это утро Меттенгеймер с обычной пунктуальностью вышел на работу. Он твердо решил, что бы там ни случилось, думать только о работе. Ни вчерашний допрос, ни его дочь Элли, ни тень в шляпе, и сегодня следовавшая за ним по пятам, не должны хоть сколько-нибудь мешать ему заниматься его честным ремеслом. И под гнетом внезапной угрозы, когда он чувствовал, что за ним шпионят из всех углов и вот-вот оторвут от его обоев, это его ремесло предстало перед ним в каком-то новом, сияющем свете, оно было ниспослано ему в горестный мир тем существом, которое дарует человеку его профессию.

Поглощенный одним желанием — быть сегодня особенно точным после вчерашнего прогула, он в это утро ничего не успел ни прочесть, ни услышать, не заметил он и тех взглядов, которыми при его появлении обменялись штукатуры. Работа велась в молчании, и он прерывал его, только чтобы отдать какое-нибудь распо-

ряжение, и все они сегодня помогали ему так усердно, как никогда, хотя он этого совершенно не замечал. Правда, в упрямом усердии старика люди усматривали отнюдь не следствие его возвышенных размышлений об их общем ремесле, а естественное выражение оскорбленного достоинства со стороны человека, чью семью постигло такое несчастье. Его помощник Шульц, который ему как раз подсоблял, вдруг заметил, покосившись на хмурое, сморщенное личико обойщика:

— Это со всяким может случиться, Меттенгеймер.

— Что может случиться? — спросил Меттенгеймер.

И задушевно, но немного напыщенно, как говорят обычно люди, когда для своего сочувствия они еще не подыскали настоящих слов, а пользуются первыми попавшимися, Шульц добавил:

— В наше время это может случиться во всякой немецкой семье.

— Что может случиться во всякой немецкой семье? — спросил Меттенгеймер.

Тут Шульц решил, что это уже слишком, и рассердился. Десятка полтора рабочих были заняты внутренней отделкой здания. По крайней мере, половина из них вот уже много лет являлась основными кадрами фирмы, и Шульц принадлежал к их числу. В таких коллективах жизнь каждого перестает в конце концов быть тайной. Все отлично знали, что у Меттенгеймера несколько хорошеньких дочек и что самая красивая вышла замуж против воли отца и неудачно. Трудненько было в те времена работать со стариком Меттенгеймером. Что незадачливый зятек кончил лагерем, тоже было известно. А сегодня утром и радио и газеты напомнили о многом, и, видимо, все это подтверждалось, так как обойщик был необычайно угрюм. Уж перед ним-то, Шульцем, Меттенгеймеру, кажется, нечего притворяться. Шульцу и в голову не приходило, что Меттенгеймер знает меньше, чем кто-либо.

В обеденный перерыв несколько рабочих спустились к дворничихе, чтобы подогреть себе пищу. Все они настойчиво приглашали Меттенгеймера закусить с ними вместе. Меттенгеймер не обратил внимания на их тон и принял приглашение, так как второпях забыл дома бутерброды, а идти в ресторан не хотелось. Сюда, в эту нишу на парадной лестнице, которую себе избрал для обеда дружный кружок молодых и старых штукатуров, сюда, наверх, тень не придет, здесь он в безопасности. Рабочие, как обычно, дразнили младшего ученика и гоняли мальчугана то к дворничихе за солью, то в столовую за пивом.

— Дайте же парнишке поесть,— вступился за него Меттенгеймер.

В числе рабочих было немало таких, которые считали, что

государство — это что-то вроде фирмы Гейльбах. Им было все безразлично, лишь бы их честный труд был оценен, лишь бы они получали за него приличную, по их мнению, плату. Недовольство этих людей проходило мимо того основного факта, что они, как и прежде, вынуждены за убогое вознаграждение оклеивать роскошные особняки богачей; их больше раздражали явления побочные, второстепенные, например — религиозные преследования, которым они подвергались. Другое дело Шульц, пытавшийся успокоить Меттенгеймера; он с самого начала был против гитлеровского государства и чем дальше, тем больше. И Шульца держались те рабочие, которые чувствовали, что он в душе не изменился. Впрочем, выражение «не изменился» здесь едва ли подходит, ведь самое главное в том, проявляет ли человек свои заветные чувства и мысли вовне, в действии или замыкается в себе. Среди рабочих имелся и оголтелый пацист Штимберт — все считали его шпиком и осведомителем. Но это тяготило его сотоварищей по работе гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Они просто были при нем осторожны, избегали его, даже и те, кто, по сути дела, в большей или меньшей степени разделял его взгляды. Рабочие относились к Штимберту так, как всякий коллектив, начиная со школьников первого класса, вообще относится к неисправимому ябеднику или психопату.

Тем не менее все эти рабочие, поедавшие свой завтрак в уголке лестницы, наверно, набросились бы на Штимберта и здорово его измолотили, если бы они увидели, с каким выражением на тупом нездоровом лице он наблюдает за Меттенгеймером. Но они смотрели только на Меттенгеймера, они даже забывали есть и пить. Меттенгеймер, взявший случайно валявшуюся газету, впился в одно определенное место. Он побледнел. Все догадались, что он только сейчас узнал о случившемся. Все затаили дыхание. Медленно поднял Меттенгеймер голову; из-за газетного листа показалось его расстроенное, убитое лицо. В глазах было такое выражение, словно он очутился в преисподней. Его окружала теспая семья — штукатуры, обойщики. Даже крошка-ученик оказался тут, он наконец взялся было за еду, но сейчас же бросил. Из-за его головы нагло улыбался Штимберт. Но на лицах остальных лежало выражение печали и почтительности. Меттенгеймер перевел дыхание. Он не в преисподней, нет, он все еще человек среди людей.

В тот же обеденный перерыв Франц в столовой подслушал разговор.

— Я собираюсь сегодня вечером во Франкфурт, в кино «Олимпия»,— сказал один.

— А что там идет?

— «Королева Христина».

— Моя девочка мне милей вашей Греты,— сказал третий.

Первый заметил:

— Это совершенно разные вещи: самому лизаться или на других любоваться!

— Как это вам еще удовольствие доставляет,— сказал третий,— для меня лучший отдых дома.

Франц слушал, с виду сонный, но сердце его судорожно билось. Опять — так, по крайней мере, чудилось ему — все безнадежно заглохло. А ведь сегодня утром была одна такая минутка, как прорыв... Он внезапно вздрогнул. Этот разговор об «Олимпии» навел его на мысль, подсказал ему некий выход, которого он тщетно искал целое утро. Если он хочет увидеть Элли, ему не миновать квартиры ее родителей. Пойти самому? Но вход, конечно, стерегут шпики. А письма, конечно, вскрывают. Поеду-ка я после смены, решил он, куплю два билета, может быть, мне и удастся то, что я задумал. А если не удастся, так никому от этого хуже не будет.

Георг продолжал шагать по Висбаденскому шоссе. Он наметил себе цель — ближайший виадук. От этой цели, конечно, ничего особенного ждать не приходится, но все равно какую-нибудь цель надо же ставить себе каждые десять минут. Мимо него мелькало довольно много автомашин: грузовики с товарами, военные автомобили, разобранный самолет, частные машины из Бонна, Кельна, Висбадена, машина «опель», последняя модель, которой он еще не видел. Какую же ему остановить? Вот эту? Или ни одной? И он шагал дальше, глотая пыль. Появилась иностранная машина, у руля — единственный пассажир, еще довольно молодой человек. Георг поднял руку. Владелец машины тотчас затормозил. За несколько секунд перед этим он уже заметил идущего по шоссе Георга. Под влиянием скуки и одиночества — ведь они кому угодно способны внушить интерес к случайному путнику — иностранцу представилось, что он даже ждал от Георга этого жеста. Он отодвинул наваленные на сиденье пледы, плащи, чемоданы.

— Куда? — спросил он.

Они обменялись коротким, пристальным взглядом. Иностранец был рослый, худой, бледноватый, и волосы у него были бесцветные. Его спокойные голубые глаза с бесцветными ресницами ничего не выражали — ни грусти, ни веселья.

Георг сказал:

— Мне в Гехст.— Выговорив это, он испугался.

— О-о,— отозвался иностранец,— а я в Висбаден, но это ничего, это ничего. Вам холодно? — Он снова остановил машину. Он набросил на плечи Георга один из своих клетчатых пледов, и Георг плотно в него завернулся. Они улыбнулись друг другу. Иностранец снова запустил мотор. Георг перевел взор с лица иностранца на его руки, сжимавшие руль. Эти бескостные, бесцветные руки были выразительнее лица. На левой поблескивали два перстня; Георг сначала решил, что один из них — обручальный, но благодаря случайному движению увидел, что он только перевернут и в него вделан плоский желтоватый камень. Георга мучило, зачем он так пристально рассматривает все эти детали, но он просто не мог оторвать взгляда от кольца.

— Верхом дальше,— сказал иностранец,— но красивее.

— Что?

— Там, наверху, лес, внизу — ближе, зато пыль.

— Верхом, верхом,— сказал Георг.

Они свернули и начали почти незаметно подниматься между пашнями. Скоро Георг с волнением увидел, что вершины гор приближаются. Запахло лесом.

— День будет ясный,— сказал иностранец.— Как по-немецки эти деревья? Нет, вот там в лесу. Вся листва красная.

Георг сказал:

— Буки.

— Буки — это хорошо. Буки. Вы знаете монастырь Эбербах, Рюдесгейм, Бинген, Лорелей? Очень красиво...

— Нам тут больше нравится,— ответил Георг.

— А, да! Понимаю. Хотите выпить? — Он снова остановил машину, порылся в вещах, извлек бутылку, откупорил. Георг хлебнул и весь сморщился. Иностранец рассмеялся. У него были такие крупные, белые зубы, что если бы они так не выступали из десен, их можно было бы принять за искусственные.

В течение десяти минут путешественники брали довольно крутой подъем. Георг закрыл глаза, таким опьяняющим был запах леса. Наверху машина свернула с опушки на просеку, иностранец обернулся, начались ахи и охи, он призывал Георга полюбоваться видом. Георг повернул голову, но глаз не открыл. Смотреть туда, на все эти воды, поля и леса, у него сейчас не хватало сил. Они проехали часть просеки и опять повернули. Утренний свет падал в буковый лес золотыми хлопьями. Время от времени хлопья света шелестели, был листопад. Георг старался овладеть собой. Слезы навертывались ему на глаза. Он очень ослабел. Они ехали краем леса. Иностранец сказал:

— Ваша страна очень интересная.

— Да, страна,— сказал Георг.

— Что? Много леса. Дороги хорошие. Народ тоже. Очень чисто, очень порядок.

Георг молчал. Время от времени иностранец поглядывал на него, по обычаю иностранцев отождествляя отдельного человека с его народом. А Георг уже не смотрел на иностранца, только на его руки; эти сильные, но бесцветные руки будили в нем смутную враждебность.

Лес остался позади, они ехали между сжатыми полями, затем между виноградниками. Глубокая тишина и кажущееся безлюдье создавали впечатление, будто кругом дичь и глушь, несмотря на то что каждый клочок земли был обработан. Иностранец искоса посмотрел на Георга; он перехва́тил пристальный взгляд Георга, устремленный на его руки. Георг вздрогнул. Тогда этот чертов иностранец остановил машину, но только затем, чтобы перевернуть кольцо камнем кверху. Он показал его Георгу.

— Вам очень нравится?

— Да,— нерешительно согласился Георг.

— Возьмите себе, если нравится,— сказал иностранец спокойно, с улыбкой, которая казалась неживой.

Георг очень твердо заявил:

— Нет! — И когда тот не сразу отвел руку, резко повторил, точно кто-нибудь принуждал его: — Нет! Нет! — Заложить бы можно, пронеслось у него в голове, ни один черт не знает этого кольца. Но было поздно.

Его сердце стучало все громче. Вот уже несколько минут, как они свернули с опушки над долиной и ехали среди лесной тишины, и в его голове шевелилась мысль, зачаток мысли, которой он сам еще не мог уловить. Но его сердце стучало и стучало, словно оно было прозорливей ума.

— Какое солнце,— сказал незнакомец.

Они ехали со скоростью всего лишь пятидесяти миль. Если сделать это, подумал Георг, то чем? Кто бы ни был этот тип, он же не картонный. И руки у него тоже не картонные. Он будет защищаться. Медленно-медленно Георг опустил плечи. Его пальцы уже касались ручки, лежавшей рядом с его правой ногой. Вот этим по голове и вон его из машины! Тут он долго пролежит. Такая уж, значит, его судьба, что меня встретил. Такое теперь время. Жизнь за жизнь. Пока его найдут, я давным-давно перемахну через границу в этой шикарной коляске. Он выпрямился, оттолкнул ручку правой ногой.

— Как называется здесь вино? — спросил незнакомец.

— Гохгеймер,— хрипло ответил Георг.

Не волнуйся же так отчаянно, уговаривал Георг свое сердце, как Эрнст-пастух свою собачку. Ведь я ничего этого не сделаю.

Перестань, успокойся; хорошо, если уж ты непременно хочешь, я сейчас же сойду.

Там, где дорога выходила из виноградников на шоссе, стоял столб: до Гехста — два километра.

Хотя Генрих Кюблер все еще не годился для допроса, однако, после того как его перевязали и кое-как посадили, его можно было хоть опознать. Все свидетели, которых ради этого задержали, проходили мимо него и таращили глаза. Он, в свою очередь, тоже таращился на них, хотя не признал бы их, даже будучи в полном сознании: крестьянин Биндер, врач Левенштейн, лодочник, Щуренок, Грибок — все эти люди, которые при нормальном развитии событий никогда бы не встали на его жизненном пути.

Грибок лукаво сказал:

— Может, он, а может, и не он.

То же сказал и Щуренок, хотя отлично знал, что это не Георг. Но незаинтересованным свидетелям всегда жалко, если в событиях нет достаточного драматизма. Биндер заявил почти мрачно:

— Не он, только похож на него.

Показание Левенштейна оказалось решающим:

— У него же рука здоровая.

Действительно, рука — это была единственная часть тела, которая осталась у Кюблера неповрежденной.

Затем все свидетели, кроме Левенштейна, были отправлены за государственный счет туда, откуда их взяли. Грибок сошел тут же, после уксусного завода. Биндер, через затуманенный болью мир, поехал домой в Вайзенау, все на тот же клеенчатый диван, где ему с той же неизбежностью, что и перед отъездом, предстояло умереть. Щуренок и лодочник слезли у перевоза под Майнцем, где накануне состоялся обмен.

Вскоре после этого было отдано распоряжение отпустить Элли на свободу, оставив ее и ее квартиру под надзором. Может быть, настоящий Гейслер все-таки сделает попытку установить с ней связь. Кюблера, в том состоянии, в каком он сейчас находился, нельзя было отпустить.

В камере на Элли нашло оцепенение. Вечером, когда наконец можно было вытянуться на деревянных нарах, оцепенение прошло и она попыталась осознать то, что с ней случилось. Генрих, она знала это,— порядочный малый, сын почтенных родителей, он никогда ее не обманывал. Уж не натворил ли он чего-нибудь, вроде Георга? Верно, ему случалось ворчать насчет налогов и обедов из одного блюда, насчет всех этих «добровольных» сборов и побо-

ров, но он ворчал ничуть не больше, чем ворчат и ругаются все. Может быть, он слушал у кого-нибудь запрещенную передачу из-за границы, может, взял у кого-нибудь почитать запрещенную книгу?.. Только нет, Генрих не увлекался ни радио, ни книгами. Он всегда говорил, что человек должен быть особенно осторожен, когда он занимает какое-то положение в обществе,— он, конечно, намекал на меховую мастерскую отца, в которой и он имел долю.

Уйдя несколько лет назад от Элли, Георг оставил ей не только ребенка, до сих пор, впрочем, благополучно подраставшего, не только кое-какие воспоминания, из которых иные еще были мучительны, а другие уже померкли, но и некоторое смутное представление о том, что составляло для него тогда все на свете.

Вопреки большинству людей, проводящих первую ночь в тюрьме, Элли заснула скоро. Она была измучена, как дитя, на долю которого выпало больше, чем оно в силах вынести. И на другой день ее сердце тоскливо сжалось, только когда она подумала об отце. Она еще никак не могла прийти в себя, все было слишком непонятно, она не то чего-то ждала, не то силилась вспомнить. Нет, она ничуть не боится; и ребенку у ее отца будет хорошо. В этих соображениях таилась — хотя и бессознательная — готовность к чему угодно. Когда ее, уже под вечер, вывели из камеры, она была полна той решимости и надежды, которая является, быть может, только скрытой безнадежностью.

Из прежних показаний ее отца, а теперь и хозяйки постепенно выяснились все обстоятельства дела. Приказ об ее освобождении был уже дан, так как на свободе она, в случае если бы беглец все же искал с ней встречи, окажется гораздо полезнее и, уж конечно, не станет покрывать человека, от которого рада отделаться, чтобы заменить его другим. Элли отвечала на все вопросы о своем прошлом, о знакомствах мужа скупо и нерешительно — не из осторожности, но такая она была от природы, к тому же об этой стороне их совместной жизни у нее сохранилось не бог весть сколько воспоминаний. Вначале у него бывали друзья, они все называли друг друга просто по имени. Скоро эти посещения, которые ее нисколько не интересовали, прекратились; Гейслер проводил вечера вне дома. На вопрос, где она познакомилась с Георгом, молодая женщина ответила:

— На улице.

А о Франце она даже не вспомнила.

Элли объявили, что она может идти домой, но в случае вторичного ареста она рискует никогда больше не увидеть ни своего ребенка, ни родителей, если она будет настолько глупа, что предпримет в отношении беглеца Гейслера какие-нибудь шаги без ведома полиции или не сообщит о том, что ей станет известно.

Элли слушала, полуоткрыв рот; она поднесла руки к ушам. Когда она вслед за этим очутилась на залитой солнцем улице, ей показалось, что она долгие годы не была здесь.

Хозяйка, фрау Мерклер, встретила ее молча. В комнате Элли царил невообразимый беспорядок. По полу были разбросаны мотки шерсти, детское платье, подушки, и тут еще этот крепкий аромат гвоздик, принесенных ей Генрихом! Они стояли совершенно свежие в стакане. Элли села на кровать. Вошла хозяйка. Раздраженно, без всякого предисловия, объявила она Элли, чтобы та первого ноября потрудилась освободить компату. Элли ничего не ответила. Она только в упор посмотрела на эту женщину, которая была к ней всегда так добра. Впрочем, отказ хозяйки был плодом запугиваний и угроз, горьких самоугрызений, мучительных тревог за судьбу единственного сына, которого фрау Мерклер содержала, и, наконец, выработавшейся привычки лавировать.

Нерешительно стояла фрау Мерклер в комнате Элли, словно ожидая, что ей сами собой придут на ум нужные слова, успокаивающие и добрые, которые она скажет молодой женщине, всегда вызывавшей в ней симпатию,— однако и не слишком уж добрые, иначе они обяжут ее следовать заповедям добра.

— Милая фрау Элли,— сказала она наконец.— Уж вы не сердитесь на меня! Что поделаешь — такова жизнь. Кабы вы знали, каково у меня у самой на душе...— Элли и тут ничего не ответила. Раздался звонок. Обе женщины так перепугались, что бессмысленно уставились друг на друга. Обе они ожидали, что вот-вот раздадутся крики, шум, взломают дверь. Однако вместо этого вторично прозвенел звонок, жиденький и скромный. Фрау Мерклер взяла себя в руки и пошла отпирать. И сейчас же облегченно крикнула из передней: — Это ваш папаша, фрау Элли.

Меттенгеймер ни разу не был у Элли на этой квартире, потому что — хотя его собственная отнюдь не была ни роскошной, ни поместительной — он считал эту все же неподходящим местом для дочери. До него дошли смутные слухи об аресте Элли, и он даже побледнел от радости, увидев ее перед собой целой и невредимой. Он держал ее руки в своих, пожимая их и поглаживая, чего раньше с ним никогда не бывало.

— Что же нам теперь делать? — спросил он.— Что же делать?

— Да ничего,— сказала дочь,— ничего мы не можем сделать.

— Ну, а если он придет?

— Кто?

— Да этот... твой прежний муж?

— Он к нам, наверно, не придет,— сказала Элли печально и спокойно,— он и не вспомнит про нас.

Радость, охватившая ее при виде отца — значит, она все-таки не совсем одна на свете,— исчезла; оказывается, отец растерялся еще больше, чем она.

— Как сказать,— возразил Меттенгеймер,— в беде человеку все может взбрести на ум.— Элли покачала головой.— Ну, а если он все-таки придет, Элли? Если он заявится ко мне, в мою квартиру, ведь ты жила у меня! За моей квартирой следят, за твоей — тоже. Представь, я стою, скажем, у окна нашей столовой и вдруг вижу — он идет... Элли, что тогда? Впустить его — прямо в западню? Или подать ему знак?

Элли посмотрела на отца, он казался ей окончательно не в себе.

— Нет уж, поверь мне,— сказала она печально,— он больше никогда не придет.

Обойщик молчал; на его лице отчетливо и неприкрыто отражались все терзания совести. Элли смотрела на него с удивлением и нежностью.

— Господи боже мой,— обойщик произнес эти три слова, как горячую молитву,— сделай, чтобы он не пришел! Если он придет, мы пропали и так и этак.

— Почему пропали и так и этак?

— Ну как ты не понимаешь? Представь, он придет, я подам ему знак, предупрежу. Что тогда будет со мной, с нами? Представь себе другое: он придет, я вижу, что он идет, но не подаю никакого знака. Ведь он же мне не сын, а чужой, хуже чужого. Ну, я не подам ему знака. Его схватят. Разве так можно?

Элли сказала:

— Да успокойся ты, дорогой мой папочка, не придет он никогда.

— Ну, а если он к тебе сюда явится, Элли? Если он как-нибудь узнает твой теперешний адрес?

Элли хотела сказать то, что ей стало ясно лишь сейчас, при вопросе: да, она поможет Георгу, будь что будет. Но, не желая огорчать отца, она только повторила:

— Не придет он.

Меттенгеймер сидел, задумавшись. Пусть беда, пусть этот человек пройдет мимо его двери, пусть беглецу с первых же шагов сопутствует успех или же пусть его поймают раньше — до прихода сюда... Нет, этого Меттенгеймер даже злейшему врагу не пожелает. Но почему именно он поставлен перед такими вопросами, на которые у него нет ответа? И все из-за влюбленности глупой девчонки. Он встал и спросил совсем другим тоном:

— Скажи, пожалуйста, этот парень, который был у тебя вчера вечером, это еще что за птица?

В передней он еще раз обернулся:

— Тут вот тебе письмо...

Письмо было незадолго перед тем, как он отправился к дочери, засунуто в щель его кухонной двери. Элли взглянула на конверт: «Для Элли». Когда отец ушел, она вскрыла его. Только билет в кино, завернутый в белый лист бумаги. Верно, от Берты. Подруга иногда доставала билеты на дешевые места. Зеленый билетик словно с неба слетел. Без него она, может быть, так и просидела бы всю ночь на краю кровати, сложив руки на коленях. «А это ничего? — размышляла она.— Когда человек попал в такую ужасную беду, можно все-таки ходить в кино? Глупости, для того кино и существует на свете. А теперь — тем более...»

— Вот вам ваши вчерашние шницели,— сказала хозяйка.

А теперь тем более, решила Элли. Шницели жестки, как подошва, но они же не отравлены. Фрау Мерклер недоуменно смотрела, как эта хрупкая и печальная молодая женщина, сидя у кухонного стола, уписывает за обе щеки холодные шницели. А теперь тем более, еще раз сказала себе Элли. Она прошла в свою комнату, сбросила с себя все, что на ней было, тщательно вымылась с головы до ног, надела самое лучшее белье и платье и так долго расчесывала волосы, что они стали блестящими и пушистыми. И тогда этой хорошенькой кудрявой Элли, посмотревшей на нее из зеркала печальными карими глазами, жизнь стала казаться чуть-чуть легче. Если они в самом деле за мной шпионят, как уверяет отец, решила она, ладно же, ничего они по мне не увидят.

— Все это просто сплетни,— сказал Меттенгеймер дома расстроенной жене.— Элли сидит у себя в комнате, ничего с ней не случилось.

— Отчего же ты не привел ее?

Немногие члены семьи Меттенгеймер, еще жившие в родительском доме, садились ужинать. Отец и мать; младшая сестра Элли — та самая тупоносенькая Лизбет, которую Меттенгеймер не счел пригодной для роли борца за веру, такая же кроткая и красивая, как все сестры, в свежем платьице, только что надетом к ужину; сын Элли, внук Меттенгеймера, в клеенчатом фартучке; он был подавлен царившим за столом молчанием и усиленно разгонял большой ложкой пар, поднимавшийся над его мисочкой.

Меттенгеймер ел медленно, опустив глаза в тарелку, чтобы жена не приставала к нему с расспросами. Он благодарил бога за то, что она по крайней своей ограниченности не способна понять всю тяжесть нависшего над ними несчастья.

Георг действительно находился лишь в получасе пути от них. Время было далеко за полдень. Добравшись до Гехста, он подождал конца смены, когда улицы и переулки будут полны людей. Стиснутый толпой, ехал он в одном из первых, битком набитых трамваев, которые шли из Гехста. Затем он вышел из трамвая и пересел на другой, который шел в Нидеррад. Чем ближе был он к цели, тем сильнее в нем росло ощущение, что его ждут, что вот сейчас ему стелют постель, собирают ужин; вот его девушка насторожилась, она прислушивается к шагам на лестнице. Когда он вышел затем из трамвая, его ожидание стало таким напряженным, что минутами граничило с отчаянием: точно его сердце противилось и страшилось наяву той дороги, по которой он столько раз ходил во сне.

Тихие улицы с палисадниками, овеянные воспоминаниями. Сознание действительности исчезло, а вместе с ним и сознание опасности. «Разве и тогда вдоль тротуаров не шуршали листья?» — спрашивал он себя, не чувствуя, что сам ворошит ногами листву. Как бунтовало его сердце, как оно не хотело, чтобы он вошел в дом. Оно уже не билось, нет, оно яростно колотилось в груди; он высунулся из окна на лестнице: здесь сходились сады и дворы многих домов; карнизы, мостовая, балконы были густо усыпаны листьями, неустанно падавшими с мощного каштана. В некоторых окнах уже был свет. Все это настолько успокоило его сердце, что он уже оказался в силах подняться выше. На двери еще висела прежняя дощечка с фамилией сестры Лени, а под ней — новая, маленькая, с незнакомой фамилией. Позвонить или постучать? Разве это не ребячество? Позвонить или постучать? Он тихонько постучал.

— Да-да,— отозвалась молодая женщина в полосатом фартуке с рукавами, чуть приоткрыв дверь.

— Что, фрейлейн Лени дома? — спросил Георг не так тихо, как хотел,— его голос срывался.

Женщина уставилась на него, в ее здоровом лице, в ее круглых голубых глазах, похожих на стекляшки, появилось выражение растерянности. Она потянула к себе дверь, но он всунул ногу в щель.

— Фрейлейн Лени дома?

— Нет здесь такой,— сказала женщина хрипло,— катитесь отсюда сию же минуту.

— Лени,— сказал он спокойно и твердо, словно заклиная ее, словно настаивая на том, чтобы его былая Лени ради него сбросила с себя личину этой домовитой толстой мещанки в полосатом фартуке, в которую она превращена каким-то колдовством. Одна-

ко заклинание не подействовало. Женщина пялилась на него с тем бесстыдным страхом, с каким заколдованные существа, быть может, пялятся на тех, кто остался верен себе. Он быстро распахнул дверь, втолкнул женщину в прихожую, захлопнул за собой дверь. Женщина, пятясь, отступила в кухню. В руке она держала сапожную щетку.

— Да послушай же, Лени. Ведь это я. Разве ты меня не узнаешь?

— Нет,— сказала женщина.

— Отчего же ты так испугалась?

— Если вы сейчас же не уберетесь отсюда,— вдруг заявила женщина нагло и бесцеремонно,— имейте в виду, что вам не поздоровится. Мой муж должен прийти с минуты на минуту.

— Это его? — спросил Георг.

На скамеечке стояла пара начищенных до блеска сапог. Рядом — женские полуботинки. Открытая баночка мази, тряпки.

Лени сказала:

— Ну да.— Она загородилась кухонным столом. Она крикнула: — Я считаю до трех. Если вы не уберетесь, то...

Он засмеялся.

— То что?..

Он стащил с забинтованной руки носок, черный изношенный носок, который подобрал где-то по дороге и надел, как перчатку, чтобы скрыть повязку. Она смотрела на него, разинув рот. Георг обошел стол. Она заслонила лицо локтем. Одной рукой он схватил ее за волосы, другой рванул вниз ее локоть. Он сказал с таким выражением, словно обращался к жабе, о которой известно, что когда-то она все-таки была человеком:

— Брось, Лени, посмотри на меня. Я Георг.

Ее глаза широко раскрылись. Но он не выпускал ее, стараясь вырвать у нее из рук сапожную щетку, несмотря на боль в собственной руке. Она сказала умоляюще:

— Я же не знаю тебя.

Он выпустил ее. Отступил на шаг. Он сказал:

— Хорошо, тогда выдай мне мои деньги и платье.

Она помолчала, потом заявила еще наглее в бесцеремоннее:

— Незнакомым мы не подаем. Только на зимнюю помощь.

Он уставился на нее, но уже по-иному, чем прежде. Боль в руке исчезла, а вместе с ней и сознание, что все это происходит именно с ним. Он только смутно чувствовал, как из руки опять пошла кровь. На кухонном столе, покрытом скатертью в синюю клетку, стояло два прибора. На деревянных кольцах для салфеток словно детской рукой были неумело вырезаны маленькие свастики. Ломтики колбасы, редиска и сыр были кокетливо украшены

зеленью петрушки. А рядом несколько открытых коробок, какие продаются в диетических магазинах,— заварной хлеб и миндальное печенье. Здоровой рукой он стал шарить по столу, рассовывая по карманам что попало. Глаза-стекляшки неотступно следили за его движениями.

Уже держась за дверную ручку, он еще раз обернулся:

— Ты не наложишь мне чистую повязку?

Она дважды очень решительно покачала головой.

Спускаясь по лестнице, он остановился у того же окна. Опершись локтем о подоконник и опять натянул на руку носок. Мужу она ничего не скажет, побоится, ей и знать-то таких людей, как я, не полагается. Уже почти все окна были освещены. Сколько листьев, и все с одного каштана, подумал он. Словно сама осень воплотилась в этом дереве, достаточно мощном, чтобы целый город засыпать листвой.

Медленно волоча ноги, брел он по улице. Он пытался представить себе, что другая Лени с противоположного конца улицы идет ему навстречу большими крылатыми шагами. Тут только ему стало ясно, что никогда уже не сможет он пойти к Лени, ни в действительности, ни — что гораздо хуже — в мечтах. Эти мечты были выжжены раз и навсегда. Он сел на скамью и рассеянно принялся жевать кусок печенья. Но так как было свежо и наступали сумерки и сидеть здесь было слишком неосторожно, он сейчас же встал и поспешил дальше, вдоль линии. Денег на трамвай у него больше не было. Куда же теперь идти, на ночь глядя?

IV

Оверкамп заперся, чтобы перед допросом Валлау собраться с мыслями. Он привел в порядок свои заметки, просмотрел данные, сгруппировал и связал их между собой целой системой значков и черточек. Он славился своими допросами. Оверкамп даже из трупа выжмет показания, говорил про него Фишер. Его схемы допросов можно было сравнить только с музыкальными партитурами.

Оверкамп услышал за дверью отрывистое щелканье каблуков — часовые кому-то отдавали честь. Фишер вошел, запер за собой дверь. По его лицу было видно, что его что-то и смешит и сердит. Он сел рядом с Оверкампом. Движением бровей Оверкамп напомнил ему о часовых за дверью и о приоткрытом окне.

— Опять что-нибудь?

Фишер начал рассказывать шепотом:

— Видимо, эта история с побегом Фаренбергу в голову бросилась. Он обязательно на ней спятит. Уже спятил. Вылетит он

отсюда наверняка. Нужно будет в этом смысле кое-где поднажать. Вы послушайте, что опять произошло. Мы же не можем тут выстроить стальную камеру специально для этих трех пойманных беглецов, верно? И мы с ним условились, что он к этой тройке не прикоснется, пока мы всех не переловим. Тогда пусть из них хоть колбасу делает. А он все-таки еще раз велел их всех привести. У него там, перед бараком, эти деревья. Скорее обрубки, они уже теперь не деревья. Он потребовал сегодня утром, чтобы спилили верхушки. И вот он приказал поставить этих троих к деревьям, вот так...— Фишер раскинул руки,— а стволы утыкать гвоздями, острием вперед, чтобы люди не могли прислониться, вывел всех заключенных и произнес речь. Вы бы слышали, Оверкамп! Он-де клянется, что все семь деревьев будут заняты к концу недели. А знаете, что он мне сказал: видите, я свое слово держу — ни одного удара.

— И сколько же он заставил их так простоять?

— В этом-то все и дело. Разве они будут годны для допроса через час-полтора? И он решил каждый день показывать их лагерю в таком виде. Но эта выдумка окажется для него в Вестгофене последней. Он, видимо, воображает, что если вернет всех семерых, то сможет здесь остаться.

— Фаренберг — такой тип, если его даже и потопят, так тотчас он вынырнет в другом месте.

— Я этого Валлау,— сказал Фишер,— сорвал себе с третьего дерева.— Он вдруг встал и распахнул окно.— Вон его ведут. Извините меня, Оверкамп, если я вам дам один совет.

— А именно?

— Прикажите принести себе из столовой бифштекс.

— Зачем?

— Потому что вы скорее выжмете показания из бифштекса, чем из человека, которого вам сейчас доставят.

Фишер был прав. Оверкамп это понял сейчас же, взглянув на стоявшего перед ним заключенного. Следователь мог бы спокойно порвать все приготовленные на столе записи. Эта крепость была неприступна. А увидел он низенького измученного человечка, некрасивое маленькое лицо, растущие на лбу треугольником темные волосы, густые брови, между ними — рассекающая лоб резкая морщина. Воспаленные и от этого суженные глаза, нос широкий, картошкой, нижняя губа вся искусана...

Оверкамп всматривается в это лицо — арену предстоящих военных действий. В эту вот крепость ему предстоит проникнуть. Если она, как утверждают, недоступна ни для страха, ни для угроз, то ведь есть же другие способы овладеть крепостью, ослабленной голодом, подрытой изнеможением. Оверкампу известны

все эти способы, и он умеет пользоваться ими. Валлау, со своей стороны, тоже знает, что человеку, сидящему перед ним, все эти способы известны. Сначала он будет нащупывать слабые места крепости. Он начнет задавать вопросы, он начнет с простейших вопросов. Он спросит у тебя год твоего рождения, и вот ты уже выдал те звезды, под которыми родился...

Оверкамп рассматривает лицо этого человека, как рассматривает офицер будущее поле боя. Он уже забыл о своем первом чувстве при входе Валлау. Он вернулся к своему основному положению: нет такого упорства, которое нельзя было бы сломить. Оверкамп переводит глаза с Валлау на одну из своих записей. Ставит карандашом точечку после какого-то слова, снова смотрит на Валлау. Он вежливо спрашивает:

— Вас зовут Эрнст Валлау?

Валлау отвечает:

— С этой минуты я больше не буду отвечать ни на один вопрос.

А Оверкамп опять:

— Значит, ваша фамилия Валлау? Обращаю ваше внимание на то, что я буду принимать ваше молчание за подтверждение. Вы родились в Мангейме восьмого октября тысяча восемьсот девяносто четвертого года.

Валлау молчит. Он произнес свои последние слова. Если поднести зеркало к его мертвым устам — их дыхание не замутит стекла.

Оверкамп не спускает с него глаз. Следователь почти так же недвижим, как и заключенный. Чуть бледнее стала бледность этого лица, чуть глубже морщина, рассекающая лоб. Прямо вперед устремлен взгляд этого человека, прямо сквозь предметы мира, ставшего вдруг стеклянным и прозрачным, прямо сквозь Оверкампа, сквозь дощатую стену и прислонившихся к ней часовых снаружи, сквозь все — прямо на сердцевину, которая непрозрачна и выдерживает взгляд умирающих. Фишер, который присутствует при допросе и так же недвижим, поворачивает голову вслед за взглядом Валлау. Но он не видит ничего, кроме пестрого и плотного повседневного мира, который непрозрачен и лишен сердцевины.

— Вашего отца звали Франц Валлау. Вашу мать — Элизабет Валлау, урожденная Эндерс.

Прокусанные губы хранят молчание.

Когда-то жил на свете человек, его звали Эрнст Валлау. Этот человек умер. Вы только что были свидетелями его последних слов. У него были родители, их звали именно так. Сейчас можно было бы рядом с могильным камнем отца поставить могильный

камень сына. Если это верно, что такие, как Оверкамп, даже из трупов могут выжать показания, то я мертвее всех мертвецов.

— Ваша мать проживает в Мангейме, Мариенгэсснен, восемь, у вашей сестры, Маргареты Вольф, урожденной Валлау. Нет, стойте, проживала... Сегодня утром она доставлена в богадельню. После ареста ее дочери и зятя по подозрению в содействии вашему побегу квартира на Мариенгэсснен опечатана.

Когда я еще был жив, у меня были мать и сестра. Потом у меня был друг, женившийся на сестре. Пока человек жив, у него есть всякие отношения, всякие привязанности. Но этот человек мертв. И какие бы странные вещи ни происходили со всеми этими людьми в этом странном мире после моей смерти, меня это уже не должно заботить.

— У вас есть жена. Гильда Валлау, урожденная Бергер. От этого брака родилось двое детей, Карл и Ганс. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что принимаю ваше молчание за безусловное «да»,— Фишер протягивает руку и отодвигает экран от яркой лампы, чтобы ее свет бил прямо в лицо Валлау. Это лицо остается таким же, каким оно было в тусклых вечерних сумерках. Ведь и самой яркой лампе не удалось бы обнаружить следов страдания, страха или надежды в лице умершего с его бесстрастной окончательностью. Фишер снова задвигает лампу экраном.

Когда я еще был жив, у меня была жена. У нас были и дети. Мы воспитывали их в нашей общей вере. Какая радость для мужа и жены, что их убеждения дали ростки! Как быстро шагали маленькие ножки в первой демонстрации! А на детских личиках — какая гордость и страх, что ручонки не удержат тяжелого знамени! Когда я еще был жив, в первые годы прихода Гитлера к власти, когда я еще делал все то, для чего я родился, я мог совершенно спокойно посвящать моих мальчиков в мои сокровеннейшие дела, и это в такое время, когда другие сыновья доносили на своих родителей. Теперь я мертв. Пусть уж мать как-нибудь одна пробивается с сиротами.

— Ваша жена арестована вчера одновременно с вашей сестрой за содействие побегу; ваши сыновья помещены в Оберндорфскую закрытую школу, где их воспитают в духе национал-социалистского государства.

Когда еще был жив человек, о сыновьях которого идет речь, он, по своему разумению, заботился о семье. Скоро выяснится, какая цена этой заботе. Взрослые не выдерживали, не то что два несмышленыша. Ведь ложь так соблазнительна, а правда так жестока. Сильные мужчины отрекались от того, что было для них жизнью. Бахман предал меня. А два мальчика — ведь и это бывает — ни на волос не отступят от того, что для них правда.

Во всяком случае, мое отцовство кончено, к чему бы все это ни привело.

— Вы участвовали в мировой войне строевым.

Когда я был еще жив, я участвовал в мировой войне. Я был трижды ранен: на Сомме, в Румынии и в Карпатах. Раны зажили, и я в конце концов вернулся домой здоровым. Если я сейчас мертв, то я погиб не от пули неприятеля.

— Вы вступили в Союз спартаковцев с первого же месяца его основания.

Этот человек, когда он еще был жив, в октябре 1918 года вступил в Союз спартаковцев. Но какое это теперь имеет значение? Они могли бы с таким же успехом вызвать на допрос Карла Либкнехта. Он отвечал бы им не больше и не громче, чем я.

— Скажите, Валлау, вы и сейчас придерживаетесь тех же взглядов?

Об этом нужно было меня вчера спрашивать. Сегодня я уже не могу отвечать. Вчера я должен был крикнуть «да», сегодня я буду молчать. Сегодня другие ответят за меня: песни моего народа, суд будущих поколений...

Воздух вокруг него холодеет. Фишера знобит. Ему хочется сказать Оверкампу, чтобы тот прекратил бесцельный допрос.

— Значит, вы, Валлау, обдумывали план побега с тех пор, как вас перевели в особую штрафную команду?

При жизни мне не раз приходилось бежать от моих врагов. Иной раз побег удавался, иной раз нет. Один раз, например, дело кончилось плохо. Я тогда бежал из Вестгофена. Но сейчас побег мне удался. Я ускользнул от них. Тщетно псы вынюхивают мой след. Он затерялся в бесконечности.

— И об этом плане вы сообщили в первую очередь своему другу Георгу Гейслеру?

Когда я был еще живым человеком в той жизни, в которой я жил, я встретился под конец с одним юношей, его звали Георг. Я привязался к нему. Мы делили с ним горе и радость. Он был гораздо моложе меня. Все в нем было мне дорого. И все, что мне в жизни было дорого, я нашел в этом юноше. Сейчас он имеет ко мне не больше отношения, чем живой имеет к трупу. Пусть иногда вспоминает обо мне, когда найдет время. Я знаю, в жизни тесно от людей и дел.

— Вы познакомились с Гейслером только в лагере?

Ни слова, из уст этого человека струится ледяной поток молчания. Даже часовые, подслушивающие за дверью, растерянно пожимают плечами. Разве это допрос? Разве там, внутри, их все еще трое?

Лицо Валлау уже не бледное, оно светлое. Оверкамп внезапно отворачивается. Он ставит карандашом точку, и кончик обламывается.

— За последствия вините себя, Валлау.

Какие могут быть последствия для мертвеца, которого из одной могилы перебрасывают в другую? Даже высокий, как дом, надгробный памятник на окончательной могиле и тот ничего не может прибавить к окончательности смерти.

Валлау уводят. В комнате остается его молчание — и не хочет отступить. Фишер недвижно сидит на стуле, словно заключенный все еще тут; он продолжает смотреть на то место, где стоял Валлау. Оверкамп чинит свой карандаш.

Тем временем Георг дошел до Конного рынка. Он спешил вперед и вперед, хотя ступни у него горели. Он боялся отделяться от людей, не позволял себе где-нибудь присесть отдохнуть. И он проклинал город.

Не успел он хорошенько додумать все «за» и «против», как очутился в одном из переулков Шиллерштрассе. Здесь он никогда не бывал. Он вдруг решил воспользоваться предложением Беллони. Маленький циркач и его серьезное личико уже не казались ему непроницаемыми. Непроницаемы люди, проходящие сейчас мимо, вот кто! Ад и тот менее чужой, чем этот город!

Когда он уже был в квартире, указанной Беллони, к нему вернулась обычная подозрительность — что за странный запах! Никогда в жизни не слышал он такого запаха! Старая, пергаментного цвета женщина, с волосами, черными как смоль, молча и внимательно разглядывала его. Может быть, это бабушка Беллони, раздумывал Георг. Но сходство зависело не от их возможного родства, а от общности профессии.

— Меня прислал Беллони,— сказал Георг.

Фрау Марелли кивнула. Она, видимо, не находила в этом ничего особенного.

— Подождите здесь минутку,— сказала она.

Всюду была разбросана одежда всех цветов и покроев; от запаха, еще более сильного, чем в передней, у Георга чуть не закружилась голова. Фрау Марелли освободила для него стул. Она вышла. Георг окинул взглядом все эти странные предметы: юбку, блиставшую черным стеклярусом, венок из искусственных цветов, белый плащ с капюшоном и заячьими ушами, лиловое шелковое платьице, но он был слишком измучен, чтобы на основании всего этого прийти к каким-либо выводам. Он опустил глаза на свою обтянутую носком руку. Рядом зашептались. Георг вздрогнул.

Сейчас его схватят, сейчас звякнут наручники. Он вскочил. Фрау Марелли вернулась, через обе руки было перекинуто платье и белье. Она сказала.

— Ну, переодевайтесь.

Смущенный, он признался:

— У меня нет сорочки.

— Вот сорочка,— отвечала женщина.— Что это у вас с рукой? — вдруг спросила она.— Ах, поэтому-то вы и не выступаете?

— Кровоточит,— сказал Георг,— но я не хочу ее развязывать. Дайте мне какую-нибудь тряпку.

Фрау Марелли принесла носовой платок. Она оглядела Георга с головы до ног.

— Да, Беллони дал правильно ваш размер. У него прямо глаз портного. Он вам настоящий друг. Хороший человек.

— Да.

— Вы были вместе ангажированы?

— Да.

— Только бы Беллони не сорвался. Он последний раз произвел на меня неважное впечатление. А вы, что же это с вами приключилось?

Покачивая головой, смотрела она на его изможденное тело, но ее любопытство было просто любопытством матери, народившей кучу сыновей и поэтому имевшей почти на все случаи жизни (касайся они тела или души) какое-нибудь объяснение. Такие женщины способны утихомирить самого дьявола. Она помогла Георгу переодеться. Что бы ни таилось в ее непроницаемых глазах, похожих на черный стеклярус, недоверие Георга исчезло.

— Бог не дал мне детей,— сказала фрау Марелли,— тем больше я думаю обо всех вас, когда вожусь с вашей одеждой. Я и вам скажу: осторожнее, иначе вы сорветесь. Ведь вы такие друзья. Хотите взглянуть на себя в зеркало?

Она повела его в соседнюю комнату, где стояли ее кровать и швейная машинка. Здесь также повсюду были навалены странные наряды. Она раскрыла створки большого тройного, почти роскошного зеркала. Георг увидел себя сбоку, спереди и сзади. Он был в котелке и в желтовато-коричневом пальто. Его сердце, которое столько часов вело себя вполне благоразумно, вдруг бешено забилось.

— Теперь вы можете показаться на людях. Когда человек плохо одет, ничего ему не добиться. По одежке встречают, говорит пословица. А давайте-ка я соберу вам ваше старое тряпье.— Он последовал за ней в первую комнату.— Я вот тут счет написала,— продолжала фрау Марелли,— хотя Беллони считал это лишним. Не люблю я эти счета. Вот посмотрите на капюшон, ведь почти три часа работы. Но посудите сами, могу я у человека, которому

костюм зайца и нужен-то всего на один вечер, отобрать чуть не четверть его жалованья? От Беллони я получила за вас двадцать марок. Я совсем не хотела брать этой работы. Мужские костюмы я чиню только в исключительных случаях. По-моему, двенадцать марок — не дорого. Вот, значит, восемь. И кланяйтесь Беллони, когда с ним встретитесь.

— Спасибо,— сказал Георг. На лестнице у него еще раз мелькнуло подозрение: а вдруг за входной дверью следят? Он был уже почти внизу, когда старуха крикнула ему вдогонку, что он забыл свой сверток с одеждой.

— Сударь! Сударь! — звала она. Но он не обернулся на ее зов и выскочил на улицу, которая была тиха и пуста.

— Видно, Франц нынче совсем не придет,— говорили у Марнетов,— поделите его оладью между детьми.

— Франц не тот, каким он был раньше,— сказала Августа.— С тех пор как в Гехсте стал работать, он для нас пальцем не шевельнет.

— Устает он,— сказала фрау Марнет. Она хорошо относилась к Францу.

— Устает,— насмешливо повторил ее сухонький сморщенный муж,— я тоже устаю. Подумаешь! Если бы у меня было определенное рабочее время, а то не хочешь ли — восемнадцать часов в сутки.

— А помнишь,— возразила ему фрау Марнет,— как ты перед войной на кирпичном заводе работал? Вечером прямо с ног валился.

— Нет, Франц не потому не приходит,— сказала Августа,— что он замотался, наоборот: у него наверняка во Франкфурте или в Гехсте какая-нибудь краля есть.

Все посмотрели на Августу, она посыпала сахаром последние оладьи и ноздри ее раздувались от жажды посудачить.

Ее мать спросила:

— Он, что же, намекал?

— Мне — нет.

— Я всегда думал,— сказал брат,— что Софи к Францу неравнодушна, тут ему действительно только руку было протянуть.

— Софи к Францу? — сказала Августа.— Ну, значит, ей свой огонь девать некуда.

— Огонь? — Все Марнеты очень удивились. Всего двадцать два года назад в саду у соседей сохли пеленки Софи Мангольд, а теперь у нее, как утверждает ее подруга Августа, вдруг какой-то огонь оказался.

— Коли у нее огонь,— сказал Марнет, блестя глазками,— так ей топливо надобно, щепочки.

Вот именно, такую щепочку, как ты, подумала фрау Марнет, которая мужа терпеть не могла, но за все годы брака ни минуты не чувствовала себя из-за этого несчастной. Несчастной, поучала она дочь перед свадьбой, можно стать, только если ты к кому-нибудь неравнодушна.

В то время как его оладья со всей возможной точностью была поделена на две равные части, Франц входил в кино «Олимпия». Свет уже погас, и сидевшие кругом заворчали, так как он, неловко пробираясь на свое место, заслонил часть экрана.

Франц еще издали заметил, что место рядом с его местом занято. И вот он уже видит лицо Элли, бледное и застывшее, с широко раскрытыми глазами. И когда он сам начинает смотреть на экран, ему приходится прижать локти к телу, потому что рука, лежащая на общей ручке кресла,— это рука Элли.

Отчего нельзя вычеркнуть протекшие годы и сжать своей рукой ее руку? Он скользнул взглядом вдоль ее руки, вдоль плеча, вдоль шеи. Отчего нельзя погладить ее густые каштановые волосы? У них был такой вид, словно они нуждались в ласке. В ее ухе рдела алая точка. Разве ей за это время никто не подарил других сережек? Он нахмурился. Нет, ни одного лишнего слова, ни одной лишней мысли. Если он заговорит в антракте с хорошенькой соседкой, случайно очутившейся с ним рядом, тут не будет ничего подозрительного, пусть даже за Элли следят и в кино. Он вдруг устыдился своих встревоженных мыслей и чувств. Этого куска еженедельной хроники, которая приоткрывала перед зрителями картины жизни всего мира, точно на мгновение распахнувшаяся дверь, было бы в другое время достаточно, чтобы занять все его внимание. Но даже солнце можно заслонить собственной рукой, и так же побег Георга заслонил от Франца все остальное, пусть даже остальное и было миром, раздираемым войной, раздиравшей и душу Франца. А может быть, эти двое убитых, лежащих на деревенской улице, тоже были при жизни такими, как Франц и Георг?

Пойду куплю жареного миндаля, решил он, когда вспыхнул свет. Выбираясь из своего ряда, он прошел мимо Элли. Она взглянула на него — он был так близко от нее — и не узнала. Значит, Берта все-таки не пришла, размышляла Элли; интересно: от нее билет или не от нее. Может быть, эта старушка рядом — ее мать? Во всяком случае, какое счастье сидеть здесь, в кино. Скорее бы кончился антракт и свет бы опять погас.

Она посмотрела на Франца, когда он возвращался. В ее лице мелькнуло что-то. Вспыхнули смутные обрывки воспоминаний — она сама не знала, радостны они или печальны.

— Элли,— сказал Франц. Она изумленно взглянула на него. Еще не вполне узнав его, она уже почувствовала себя утешенной.— Как ты поживаешь? — спросил Франц.

Ее лицо омрачилось, она даже забыла ответить ему. Он сказал:

— Да, я знаю, все знаю. Не смотри на меня, Элли, слушай внимательно, что я скажу. Бери миндаль и ешь. Я был вчера возле твоего дома, теперь посмотри на меня и засмейся.

Она очень быстро и умело вошла в свою роль.

— Ешь, ешь,— повторил Франц. Он заговорил торопливо, вполголоса. Ей оставалось только отвечать «да» и «нет».— Постарайся вспомнить его друзей. Ты, может быть, знаешь кого-нибудь, кого я не знаю. Вспомни, с кем он был тут знаком. Может быть, он все-таки окажется здесь, в городе. Смотри на меня и смейся. Нас не должны видеть вместе. Приходи завтра рано утром на большой крытый рынок, я там помогаю тетке. Закажи яблоки. Я доставлю их, мы сможем тогда поговорить. Ты все поняла?

— Да.

— Взгляни на меня.

В ее карих глазах было, пожалуй, даже слишком много доверчивого спокойствия. Я бы не возражал, будь там еще кое-что, подумал Франц. Она деланно засмеялась. Когда опять стало темно, она еще раз быстро взглянула на него, повернув к нему свое настоящее, серьезное лицо. Может быть, она сама теперь взяла бы его за руку, правда, только оттого, что ей было жутко.

Франц смял в руке пустой бумажный пакет. Ему вдруг стало ясно, что между ним и Элли все равно ничего не может быть, пока Георг так или иначе находится в пределах Германии; хорошо и то, что ему удалось повидать ее на минутку, не подвергая риску ни ее, ни себя.

Но сейчас она сидит рядом. Она — живая, и он тоже. И чувство счастья, пусть смутное и мимолетное, на миг пересилило все, что угнетало его. Неужели она действительно видит фильм, на который смотрит широко раскрытыми глазами? Он был бы горько разочарован, если бы узнал, что Элли, забыв себя и все на свете, целиком поглощена дикой скачкой по занесенной снегом степи. А Франц уже не смотрел на экран. Он смотрел на руку Элли, а временами бросал быстрый взгляд на ее лицо. Он вздрогнул, когда картина кончилась и вспыхнул свет. Перед тем как им обоим разойтись в разные стороны, их руки в толпе коснулись друг друга, точно руки детей, которым запрещено играть вместе.

V

Георг чувствовал себя менее связанным, меньше самим собой в этом желтом пальто. За многое прости меня, Беллони. Что же дальше? Скоро улицы опустеют, из всех кафе и кино люди уйдут домой. Ночь лежала перед ним, как бездна, в которой он напрасно ожидал найти приют. И он спешил все дальше, не чувствуя под собой ног от усталости, франтоватая кукла-автомат. Он предполагал послать Лени завтра к одному старому другу, к Боланду. Теперь придется идти самому. Другого выхода нет. Счастье еще, что у него есть хоть это платье. Он обдумывал, каким путем ему поближе пройти к Боланду. Представить себе все извилины, все повороты, когда хотелось только забыться и спать, было не менее трудно, чем действительно пройти по этим улицам. Когда он дотащился до своей цели, было около половины одиннадцатого. Парадное еще было отперто; две соседки на крыльце никак не могли проститься друг с другом. Освещенное окно на четвертом этаже и есть окно Боланда. Значит, пока все в порядке. Дверь еще не заперта, люди еще не спят. Он не сомневался, что именно к Боланду и надо было идти. Это лучшая из всех возможностей. Самая лучшая, так что нечего и раздумывать. Да, именно к нему, повторил Георг уже на лестнице. Его сердце билось спокойно, может быть, оттого, что уже не отзывалось на бесполезные предостережения, может быть, оттого, что на этот раз действительно нечего было остерегаться.

Он узнал жену Боланда. Не молодая и не старая, не красивая и не безобразная. Как-то во время стачки, вспомнилось Георгу, она, имея собственных детей, взяла еще чужого ребенка. Ребенка, у которого не было родителей — отец, вероятно, сидел в тюрьме,— вечером привели на собрание. И Боланд взял его за руку и отвел к себе, чтобы спросить жену, и возвратился уже без ребенка. Вечер продолжался — обсуждение какой-то демонстрации. Тем временем ребенок получил родителей, братьев и сестер, свой ужин.

— Мужа нет дома,— сказала жена Боланда,— зайдите в пивную на той стороне улицы.— Она была немного удивлена, но, видимо, ничего не заподозрила.

— Можно здесь подождать его?

— Это, к сожалению, невозможно,— сказала она, не раздражаясь, но решительно,— уже поздно, а у меня болен малыш.

Надо поймать его, решил Георг. Он спустился этажом ниже и сел было на ступеньку лестницы. Запрут дверь или не запрут, размышлял он, а до возвращения Боланда еще кто-нибудь может войти, меня увидят, начнутся расспросы. Да и Боланд может вернуться не один; не лучше ли перехватить его на улице или зайти

в пивную? Его жена не узнала меня, а сегодня утром учитель принял меня за старика. Георг проскользнул между все еще прощавшимися соседками и выскочил на улицу.

Может быть, это и есть та самая закусочная, в которую тогда привели ребенка? Выходила целая компания. Мужчины были на взводе и так хохотали, что на них зашикали из окон. Почти сплошь штурмовики, только двое в штатском, и один из них Боланд. Он тоже хохотал, однако, по своему обыкновению, беззвучно и добродушно. Внешне он не изменился. Он отделился от остальных и с двумя штурмовиками направился к дому. Эта тройка уже не хохотала, а только ухмылялась. Они жили в том же доме, один из них отпер дверь, ее действительно только что заперли, остальные последовали за ним.

Георг понимал: сам по себе факт, что он увидел Боланда в таком обществе, еще ничего не означает. Он понимал, что и рубашки его спутников ничего не означают. В лагере он много коечего слышал и понял. Он понял, что жизнь людей изменилась, их внешний облик, круг их знакомств, формы их борьбы. Он знал это, как знал и Боланд, если только остался прежним. Георг все это отлично знал, но не чувствовал.

Чувства Георга были те же, что в былые годы, те же, что у всех в Вестгофене. Ему некогда было заниматься рассуждениями о том, почему для спутников Боланда оказались необходимы эти рубашки, а для Боланда — эти спутники. Увидев их, он ощутил лишь то, что ощущал в Вестгофене. Ведь на лбу у Боланда не написано, что ему можно доверять. И Георг этого не чувствовал. Может быть, можно, а может быть, нельзя. «Что же мне делать?» — размышлял Георг. Но кое-что он все-таки сделал: он уже свернул с той улицы, где жил Боланд. Город еще раз ожил. Это была последняя вспышка городской суеты перед наступлением ночи.

— Жену Бахмана в Вормсе пришлось арестовать.

— Это почему? — раздраженно спросил Оверкамп.

Он был против ареста. Незачем возбуждать любопытство и беспокойство населения: если полиция открыто будет щадить членов семьи Бахмана, это наилучшим образом изолирует их.

— Когда его вынули из петли и снесли вниз с чердака, жена стала кричать, что это, мол, он вчера должен был сделать, перед допросом, он, мол, ее бельевой веревки не стоит. Она не успокоилась и тогда, когда тело увезли. Всех соседей перебулгачила, все орала, что она тут ни при чем, она не виновата, и тому подобное.

— А как реагировали соседи?

— По-всякому. Затребовать материалы?

— Нет, ради бога, не нужно,— сказал Оверкамп.— Это к нам никакого отношения не имеет. Это уж дело наших коллег из Вормса. У нас и без того работы по горло.

Однако не мог же Георг просто испариться в пространстве. С первой встречной, решил он.

Но когда она вышла из-за сарая, который стоял прямо посреди Форбахштрассе, за товарной станцией, то эта первая встречная оказалась все-таки хуже, чем он мог себе представить. К ней просто страшно было прикоснуться. Дрябло висела кожа на продолговатом лице. В скудном свете фонарей трудно было решить, растет ли рыжий куст волос у нее на голове или пришит к шляпке в виде украшения. Георг засмеялся.

— Это разве твои волосы?

— Ну, да. Мои волосы.— Она неуверенно посмотрела на него, от этого на ее костлявом, мертвенном лице появился отблеск чего-то человеческого.

— Впрочем, все едино,— заявил он вслух.

Она еще раз покосилась на него. Она остановилась на углу Торманштрассе, все еще почему-то в нерешительности, и попыталась привести в порядок лицо и блузку. Это не удалось ей, да и не могло удаться. Она даже вздохнула. Георг подумал: куда-нибудь она все-таки отведет меня. Четыре стены как-никак там будут и запертая дверь. Он ласково взял ее под руку. Они быстро зашагали по улице. Она первая заметила полицейского на углу Дальманштрассе и потянула Георга в подворотню.

— Теперь такие строгости,— сказала она.

Тщательно обходя постовых, они под руку прошли несколько улиц. Наконец они были у цели. Маленькая площадь, не квадратная и не круглая, а и то и другое, как дети рисуют круги. И площадь, и надвинутые друг на друга шиферные крыши показались Георгу подозрительно знакомыми: по-моему, я жил здесь когда-то вместе с Францем.

Поднимаясь по лестнице, они были вынуждены пройти мимо маленькой группы: два молодчика и две девушки. Одна повязывала галстук хромому парню, почти на две головы ниже ее. Она потянула кончики вверх. Хромой потянул их вниз, девушка — опять вверх. У второго было бритое лицо, он немного косил и был очень хорошо одет. Вторая девушка, в длинном черном платье, была удивительно хороша — бледное личико, окруженное облаком мерцающего бледного золота. Впрочем, возможно, что ее необыкновенная красота — просто плод его воображения. Он еще раз

обернулся. Все четверо пристально на него посмотрели. Оказалось, что девушка вовсе уж не так красива, слишком острый нос. Один из парней крикнул:

— Спокойной ночи, милашка!

Спутница Георга крикнула в ответ:

— Спокойной ночи, косой!

Когда она отпирала дверь, хромой крикнул:

— Приятного сна!

— Заткнись, Геббельсхен,— отозвалась она.

— Это называется кроватью? — сказал Георг.

Она начала браниться:

— Шел бы тогда в гостиницу на Кайзерштрассе.

— Молчи,— сказал Георг,— послушай-ка. Со мной случилась неприятность, что — тебя не касается. Горе у меня. Я с тех пор глаз не сомкнул. Если ты сделаешь так, чтобы я мог поспать спокойно, ты кое-что от меня получишь. Мне денег не жалко, деньги у меня есть.

Она удивленно на него посмотрела. Ее глаза загорелись, словно в череп вставили свечку. Затем она заявила очень решительно:

— Сговорились!

В дверь загрохотали кулаками. Хромой просунул голову. Он обвел глазами комнату, словно забыл здесь что-то. Женщина подбежала к двери, бранясь, но вдруг умолкла, так как хромой, мигнув, вызвал ее в коридор.

Георг слышал, как все пятеро зашептались; они старались говорить как можно тише и тем сильнее шипели. Все же он не разобрал ни слова: шипение вдруг оборвалось. Он схватился за горло. Словно комната стала теснее, словно стены, потолок и пол сдвинулись... Он решил: вон отсюда.

Но она уже вернулась. Она сказала:

— Не смотри на меня так сердито.

Она потрепала его по щеке. Он отшвырнул ее руку.

О, чудо, он действительно заснул. Сколько он проспал? Часы? Минуты? Почему Левенштейн в третий раз стал мыть руки? От мучительной нерешительности?

И вот сознание Георга постепенно возвращается. Вместе с сознанием сейчас вернется и нестерпимая боль в пяти-шести точках тела. Однако чувство свежести и бодрости не исчезало. Значит, он действительно спал. Отчего, собственно, он проснулся? Ведь свет выключен. Только бледный луч фонаря падал со двора в маленькое окошко над изголовьем кровати. Когда он сел, его гигантская тень на противоположной стене тоже села. Он был один. Он прислушался. Подождал. Георгу почудился на лестнице какой-то шорох, легкое поскрипывание ступенек под босыми ногами или под

лапами кошки. Ему было невыразимо жутко перед лицом его гигантской тени, тянувшейся до потолка. Вдруг тень дрогнула, словно собираясь ринуться на него. Воспоминание пронзило молнией его мозг: четыре пары пристальных глаз, уставившихся ему в спину, когда он поднимался наверх. Голова хромого в дверной щели. Шопот на лестнице. Он вскочил с кровати и выпрыгнул через окно во двор. Он упал на груду капустных кочанов. Побежал дальше, высадил какое-то стекло — такая глупость, проще было сорвать задвижку. Сбил с ног кого-то, кто преградил ему дорогу, и лишь через секунду понял, что это была женщина; столкнулся с кем-то лицо в лицо — два глаза, вперившиеся в его глаза, рот, заревевший ему в рот. Они покатились по мостовой, вцепившись друг в друга, словно от ужаса. Он побежал затем зигзагами через площадь, свернул в какой-то переулок, оказавшийся вдруг тем самым переулком, в котором он много лет назад жил так спокойно. Как во сне, узнал он и камни мостовой, и клетку с птицей над мастерской сапожника, и вон ту калитку во дворе, через которую можно пройти в другие дворы, а оттуда на Болдуингэссхен. Если калитка заперта, мелькнуло у него в голове, тогда конец. Калитка была заперта. Но что такое запертая калитка, если от этого только крепче напрягается тело, чуя за спиной погоню? Ведь все эти преграды рассчитаны на обыкновенную силу. Георг пронесся через какие-то дворы, забежал отдышаться в какой-то подъезд, прислушался. Здесь было еще тихо. Он отодвинул засов, вышел на Болдуингэссхен. Он слышал свистки, но они доносились с Антонплац. Снова побежал путаной сетью переулков, и опять было как во сне: кое-что осталось прежнее, кое-что стало иным. Вон висит божия матерь над воротами, но улица обрывается, в конце какая-то площадь, которой он совсем не знает. Он пробежал через незнакомую площадь, погрузился в рой улочек и очутился в другой части города. Запахло землей и садами. Георг перелез через невысокую ограду и забился в чащу росших вдоль нее кустов. Он сел, стараясь отдышаться. Затем прополз еще немного и остался лежать — силы ему вдруг изменили.

Никогда, кажется, его мысль не работала с такой ясностью. Лишь сейчас проснулся он окончательно. Не только с минуты своего бегства через окно, но и вообще с минуты бегства. Как страшно обнажено было теперь все, как очевидна невозможность спасения. До сих пор он действовал словно под внушением, точно лунатик. А сейчас он наконец очнулся и видел все с полной ясностью. Голова у него закружилась, он уцепился за ветки. До этой минуты он шел благополучно, ведомый теми силами, которые охраняют лунатика и при пробуждении покидают его. Может быть, он так и довел бы свой побег до благополучного конца. Но увы,

он проснулся, а одним напряжением воли прежнего состояния не вернуть. Он начал зябнуть от страха. Однако старался держать себя в руках, хотя помощи ждать было неоткуда. И сейчас и всегда я буду держать себя в руках, повторял он мысленно, до конца я буду вести себя достойно. Ветви выскользнули у него из рук, между пальцев осталось что-то клейкое; он взглянул: крупный цветок, таких он никогда не видел. Голова так закружилась, что он невольно опять ухватился за кусты.

Какое беспощадное пробуждение! Как тяжело, как мучительно чувствовать, что все добрые духи его покинули.

Путь, которым он бежал, был, наверно, точно установлен; объявление о побеге передано повсюду. Может быть, газеты и радио уже внедряли в память каждого приметы беглеца. Ни в одном городе ему не грозит такая опасность, как здесь; ежеминутно его подстерегает гибель, и по какой дурацкой, по какой банальнейшей причине: он понадеялся на девушку. Теперь он видел Лени такой, какой она была тогда в действительности, не крылатым гением и не мещанкой, а девушкой, готовой ради любимого и в огонь пойти, и носки штопать, и разбрасывать листовки. Будь он тогда турком, она в угоду ему объявила бы священную войну в Нидерраде.

На дорожке вдоль ограды послышались шаги, прошел какой-то человек с тростью. Майн, наверно, совсем близко, и Георг не в саду, а в сквере у пристани. Он разглядел между деревьями плавную линию белых домов на Верхнемайнской набережной. Он услышал грохот поездов и, хотя было еще совсем темно, первые звонки трамваев. Надо было уходить. За его матерью, наверно, следят. За его женой, за Элли, носившей его фамилию, наверно, тоже следят. За каждым могли следить, кто хотя бы в одной точке соприкоснулся с его жизнью. Следили за его двумя-тремя приятелями, могли следить за его учителями, братьями, возлюбленными. Весь этот город был как сеть, и он уже попал в нее. Нужно проскользнуть сквозь петли. Правда, сейчас он совсем ослабел. Едва хватит сил перелезть через ограду. А как он выберется из города на дорогу, по которой шел вчера? А как добраться до границы? Не лучше ли просто сидеть здесь, пока его не найдут? Он рассердился, словно кто-то другой осмелился предложить ему подобный выход. Пока у него хватит сил хотя бы на единственное, пусть самое слабое движение, приближающее его к свободе, он это движение сделает, каким бы бессмысленным и бесполезным оно ни было.

Совсем рядом, у ближайшего моста, начала работать землечерпалка. Моя мать ее тоже, наверно, слышит, подумал он. Младший братишка тоже.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Эта ночь, которую он провел без сна, еще не кончилась, а бургомистр Обербухенбаха Петер Вурц, ныне бургомистр двух слившихся деревень — Обер- и Унтербухенбаха, уже поднялся со своего бессонного ложа, прокрался через двор в хлев и сел там, в темном углу, на скамеечку. Он вытер потный лоб. С тех пор как радио вчера огласило фамилии беглецов, вся деревня — мужчины, женщины и дети — только и старалась поглядеть на него. Правда, что лицо у него совсем зеленое? Правда, что с ним сделалась трясучка? Правда, что он весь высох?

Деревня Бухенбах лежит на Майне, в нескольких часах ходьбы от Вертгейма. Расположенная в стороне от шоссе и в стороне от реки, она словно прячется от шумного движения. Раньше она состояла из двух деревень — Обербухенбаха и Унтербухенбаха, соединенных общей улицей, от которой в обе стороны отходил проселок, уводивший в поля. В прошлом году этот перекресток превратили в деревенскую площадь, на которой с речами и поздравлениями в присутствии чиновных лиц был посажен «Гитлеров дуб». Обербухенбах и Унтербухенбах слились воедино как результат административных реформ и в целях уничтожения межей.

Когда землетрясение разрушает благоденствующий город, неизбежно гибнет несколько гнилых построек, которые и без того рухнули бы. Когда тот же грубый кулак, который удушил закон и право, заодно прихватил несколько отживших обычаев, сыновья старого Вурца и их приятели — штурмовики начали задирать нос и выхваляться перед крестьянами, не желавшими слияния.

Вурц, сидя на своей скамеечке, ломал руки так, что суставы трещали. Доить было еще не время, и коровы стояли совершенно неподвижно. Вурц то и дело вздрагивал, силился овладеть собой и снова вздрагивал. Бургомистр думал: ведь он и сюда может прокрасться, ведь он и тут может меня подстеречь. Человек, которого он так страшился, был Альдингер, тот самый старик крестьянин, которого Георг и его товарищи по лагерю считали слегка рехнувшимся.

Старший сын Вурца был когда-то с младшей дочкой Альдингера все равно что помолвлен — решили просто несколько лет подождать. Поля обоих семейств лежали рядом, рядом находились и два маленьких виноградника на том берегу Майна, которые теперь, когда виноградарство оказалось делом нестоящим, могли быть пущены под другое. В те времена Альдингер состоял бургомистром Унтербухенбаха. Однако в тридцатом году его дочь влю-

билась в парня, занятого на прокладке Вертгеймского шоссе. Альдингер не препятствовал им, для него это было даже выгодно — парень регулярно получал жалованье. Молодая пара перебралась в город. В феврале тридцать третьего зять появился в деревне, но на это никто не обратил внимания. Тогда это было делом обычным; рабочие, чьи взгляды были слишком хорошо известны, уходили из маленьких городков в деревню к родным, чтобы там переждать первый период арестов и преследований. Когда же Вурц, по наущению сыновей, сообщил об этом госте в гестапо, молодой человек снова исчез. Тем временем Альдингер, ввиду предстоящего слияния деревень, сколотил вокруг себя группу крестьян, считавших, что если Альдингер не может остаться бургомистром, то не следует на этой должности оставаться и Вурцу — пусть новую, объединенную общину возглавляет кто-то третий. С этим был согласен и священник, который и сам был жителем Унтербухенбаха, поскольку здесь находились церковь и пасторский дом.

Тем временем зятя Альдингера действительно стали разыскивать, так как он в течение ряда лет собирал взносы в профсоюз и на местную рабочую газету. Несмотря на все свое предубеждение против чужаков, жители Бухенбаха ничего плохого не замечали за этим тихим парнем, который во время уборки помогал Альдингеру за хлеб и колбасу, чтобы подкормить свою семью, постепенно возросшую до пяти душ. А с сыновьями Вурца у него вышла ссора в трактире — они уже и тогда якшались с штурмовиками. Это-то и побудило их, когда пришло время, подучить отца.

Вурц даже испугался — так быстро подействовал донос. Альдингера тут же забрали. А ведь Вурцу одно было важно — отстранить старика на то время, пока его самого не утвердят бургомистром. Ему было бы даже приятно насладиться поражением Альдингера. Однако это не вышло. Альдингер по неизвестной причине больше не появлялся. Трудновато было Вурцу в первые месяцы. Односельчане избегали его, каждое служебное дело, каждый выход в церковь был для него чистым наказанием. Однако сыновья и друзья сыновей утешали его: новым людям, будь то сам фюрер или Вурц, приходится вначале все преодолевать — и препятствия и вражду.

Если взглянуть на Бухенбах с самолета, глаз радуется, до чего опрятная и уютная деревенька, с колокольней, с лужками и рощицами. Правда, если ехать на машине, она покажется несколько иной, но лишь для тех, у кого есть время и охота вглядеться попристальней. Ничего не скажешь, дороги здесь чище чистого, и школу недавно выкрасили. Но почему здесь заставляют стельную корову тащить телегу? Почему малыш с полным фартуком травы робко озирается по сторонам? Ни с самолета, ни из машины не увидишь, как сидит на своей скамеечке крестьянин

Вурц. Не увидишь, что нет в деревне сарая, где осталось бы больше четырех коров, что на две слившихся деревни осталось всего две лошади. Ни с самолета, ни из машины не увидишь, что одна из двух лошадей принадлежит сыну Вурца, а другая попала к своему хозяину лет пять назад, да и то не совсем обычным путем — когда ему после пожара выплатили страховую премию. (Совсем недавно дело взяли на новое рассмотрение.) В этой тихой, опрятной деревушке поселилась нужда, до того горькая нужда, что от нее нечем дышать. Сперва говорилось так: Гитлеру все равно не переделать наши земли. Придвинуть нас поближе к виноградникам он тоже не сможет. Алоиз Вурц никогда не одолжит нам свою лошадь. А молотилка в рассрочку, одна на всю деревню? Да это еще когда было задумано.

Возьмите праздник урожая. Разве не устраивались здесь каждую осень карусели и представления? Но молодежь, та, что по понедельникам наезжает из Вертгейма, говорит, будто здесь никогда не бывало ничего подобного. Видывал ли кто-нибудь на своем веку по три тысячи крестьян сразу? А такой фейерверк? А кто слышал такую музыку? И кто, наконец, вручил букет заместителю рейхсбаннфюрера? Вурцева Агата? Как бы не так! Маленькая Ганни Шульц-третья из Унтербухенбаха, у которой всегда чистые ногти.

Придвинуть деревню поближе к городу нельзя, значит, твердого рынка до сих пор нет. Но город сам еженедельно является в деревню в виде кинопередвижки. На экране, натянутом в школе, можно увидеть фюрера в Берлине, можно увидеть весь мир, Китай и Японию, Италию и Испанию.

И сейчас, сидя на своей скамеечке, Вурц думал: ведь все равно Альдингеру крышка, его песенка спета. Интересно, куда он запропастился? Все о нем уже и думать забыли.

Больше всего взбудоражила бухенбахцев история с государственной деревней. Эта деревня спокон веку была государственной, но сейчас ее решили превратить в образцовую. Туда переселили тридцать семейств из разных деревень, разбросанных по всей округе. Главным образом крестьян, овладевших каким-нибудь ремеслом и вдобавок многодетных. Из Берблингена переселили кузнеца, из Вейлербаха — сапожника, из многих деревень взяли по одной семье, и на другой год опять возьмут. Вот почему в каждой деревне жила надежда. Это было все равно как главный выигрыш в лотерее. У любого нашлись знакомые, которым привалило такое счастье, если не в своей, так, по крайней мере, в соседней деревне. Мало-помалу некоторые из тех, кто не ладил с Вурцем из-за Альдингера, поняли, что, когда Вурц разрешил своим сыновьям стать штурмовиками, он сделал неглупый ход. Кто питал надежду пере-

браться в государственную деревню, кто хотел еще целый год питать хотя бы самую слабую, хотя бы малюсенькую надежду, должен был по меньшей мере не проявлять слишком открыто своей вражды к Вурцу, через руки которого проходили все крестьянские дела и документы. И к Альдингерам не следовало заглядывать без особой надобности; вокруг семьи Альдингера постепенно начало смыкаться кольцо отчуждения. Об Альдингере уже и спрашивать перестали, может быть, он и в самом деле умер. Недаром Альдингерова жена ходит в черном, всех сторонится, часто бывает в церкви — впрочем, она и раньше была богомольная,— а его сыновья никогда и в трактир не заглянут.

И только вчера утром, когда радио сообщило о побеге, все снова изменилось. Теперь никому не хотелось быть в шкуре Вурца. Альдингер — человек решительный, уж он раздобудет себе ружье, если действительно придет в деревню. Вурц все-таки нехорошо поступил — оклеветал старика. И вот из-за него теперь вся деревня оцеплена. Штурмовики, во главе с сыновьями Вурца, охраняют ее. Только все это ни к чему: Альдингер знает местность, того и гляди, выпырнет откуда-нибудь и прострелит Вурцу его кочерыжку. Да и не удивительно. А никакая охрана тут не поможет. Ведь Вурцу все-таки приходится бывать на том берегу Майна и в лесу тоже.

Вурц вздрогнул. Кто-то идет. По бряканью подойника он догадался, что это его старшая сноха, жена Алоиза.

— Что ты тут делаешь? — спросила она.— Мать ищет тебя.

Стоя в дверях хлева, она смотрела, как старик крадется по двору, словно он и есть беглец. Ее рот презрительно скривился. Вурц всегда помыкал ею, с тех пор как она вошла к ним в дом; теперь она злорадствовала.

II

Если дело Беллони, поскольку оно касалось Вестгофена, было с его смертью завершено, то оставался еще ряд незавершенных дел, тоже касавшихся его, но проходивших по другим инстанциям. И эти дела отнюдь не были, как говорят про дела, пропыленными и истлевшими. Тлеть начинал сам Беллони, однако дела его оставались нетленными. Ведь кто-нибудь же ему помогал? С кем-нибудь же он говорил? Кто эти люди? Значит, такие еще есть в городе? Обнюхивая все рестораны и пивные, где собирались артисты, полиция уже в ночь на четверг напала на след фрау Марелли — ее знали в артистическом мире. И еще не прошла эта ночь, еще Вурц, бургомистр Бухенбаха, сидел на своей скамеечке в хлеву, а к фрау Марелли уже явились нежданные гости. Она не спала, а сидела

и нашивала стеклярус на юбочку, принадлежащую танцовщице, которая в среду вечером выступала в театре Шумана, а в четверг должна была выехать ранним поездом на гастроли. Услышав, что ей предстоит немедленно отправиться с агентами на допрос, старуха очень разволновалась, но только оттого, что обещала танцовщице к семи часам приготовить юбку. К самому допросу она отнеслась спокойно, ее уже не раз допрашивали. А мундир штурмовика или эсэсовца так же мало пугал ее, как и поблескивающий значок гестаповцев — потому ли, что она принадлежала к тем немногим, кто не чувствовал за собой никакой вины, или потому, что благодаря своей профессии слишком хорошо знала цену всякой бутафории, всякой мишуре и побрякушкам. Вместе с недоконченной юбкой она завернула мешочек со стеклярусом, принадлежности для шитья, написала записку и привязала сверток к ручке наружной двери. Затем спокойно последовала за обоими гестаповцами. Она ни о чем не спрашивала, так как ее мысли все еще были поглощены юбкой, висевшей на дверной ручке, и удивилась лишь тогда, когда они подъехали к больнице.

— Вы знаете этого человека? — спросил один из гестаповцев.

Он откинул простыню. Правильное, почти красивое лицо Беллони лишь слегка изменилось — скорее затуманилось. Гестаповцы ожидали обычного в таких случаях взрыва искреннего или напускного сокрушения, которое живые считают обязательным перед лицом умерших. Но у женщины вырвалось только легкое «О!», словно она хотела сказать: «Как жалко!»

— Значит, вы узнаете его? — сказал гестаповец.

— Ну конечно,— отозвалась женщина,— это же маленький Беллони.

— Когда вы в последний раз виделись с этим человеком?

— Вчера... нет, третьего дня рано утром. Я еще удивилась, что он явился так рано. Мне пришлось кое-что зашить ему на пиджаке, он был проездом...

Она невольно поискала глазами пиджак. Гестаповцы, внимательно наблюдавшие за ней, молча кивнули друг другу: женщина, видимо, говорит правду, хотя абсолютно положиться на это, конечно, нельзя. Гестаповцы спокойно ждали, пока ее слова вытекут капля по капле. Капли все еще капали.

— Это случилось во время репетиции? Разве они здесь репетировали? Или он решил еще раз выступить перед отъездом? Он ведь собирался с двенадцатичасовым в Кельн.

Гестаповцы молчали.

— Он мне рассказывал,— продолжала старуха,— что был ангажирован в Кельн. И я еще спросила его: «Слушай, малыш, а разве ты уже опять в форме?» Как же это произошло?

— Фрау Марелли! — рявкнул гестаповец. Она удивленно, но без всякого испуга подняла голову.— Фрау Марелли! — повторил он с той угрожающей напускной многозначительностью, с какой полицейские чиновники обычно возвещают о подобного рода событиях, так как им важно впечатление, а не самый факт.— Беллони погиб вовсе не во время выступления, он бежал.

— Бежал? Откуда же он бежал?

— Из лагеря Вестгофен, фрау Марелли.

— Как? Когда? Он еще два года назад был в лагере. Разве его не выпустили?

— Он все еще был в лагере. Он бежал. Вы хотите уверить нас, что не знали этого?

— Нет,— сказала она просто, но таким тоном, что оба гестаповца окончательно убедились в ее полном неведении.

— Да, бежал. Он вчера солгал вам...

— Ах, бедный,— пробормотала женщина.

— Бедный?

— А что ж он, по-вашему, богатый был?

— Хватит вранья,— сказал гестаповец. Женщина нахмурилась.— Впрочем, садитесь-ка, садитесь. Я сейчас прикажу подать вам кофе, вы ведь еще ничего не ели.

— О, это не важно,— отозвалась женщина спокойно и с достоинством.— Я могу подождать и до дому.

— Расскажите-ка нам со всеми подробностями о том, как вас посетил Беллони. Когда он пришел, что ему было нужно. Каждое слово, которое он сказал вам. Постойте минутку. Беллони мертв, но это не спасает вас от серьезных, от очень серьезных подозрений. Все зависит от вас самой.

— Молодой человек,— возразила женщина,— вы, вероятно, ошибаетесь относительно моего возраста. Волосы у меня крашены. Мне шестьдесят пять лет. Я всю жизнь работала не покладая рук — правда, многие, кто не знает нашего ремесла, имеют неверное представление о нашей работе. Мне и сейчас еще приходится работать, не разгибая спины. Чем же вы мне грозите?

— Каторжной тюрьмой,— сухо отвечал гестаповец.

Фрау Марелли вытаращила глаза, как сова.

— Видите ли, у вашего дружка, которому вы помогли бежать, было немало грехов на совести. Если бы он сам не сломал себе шею, его, может быть...— Он рассек воздух ладонью. Фрау Марелли вздрогнула. Однако тут же выяснилось, что она вздрогнула не от испуга, а от пришедшей ей в голову мысли. С таким выражением, словно из-за всего этого вздора позабыли главное, она вернулась к постели Беллони и накинула ему простыню на лицо. Она, видимо, не впервые оказывала умершим эту услугу.

Но затем у нее подогнулись колени. Она села и спокойно сказала:

— Все-таки велите дать мне кофе.

Гестаповцев охватило нетерпенье, ведь каждая минута была дорога. Они встали по обе стороны ее стула и начали перекрестный допрос, действуя с привычной согласованностью.

— Когда точно он явился? Как был одет? Зачем пришел? Чего хотел? Что говорил? Чем заплатил? У вас сохранился банковый билет, с которого вы сдали ему сдачу?

Да, он у нее тут, в сумочке. Они записали номер, сопоставили истраченное с суммой, найденной при покойном. Недоставало порядочно. Или Беллони перед своей увеселительной прогулкой по крышам покупал еще что-нибудь?

— Нет,— сказала женщина.— Он оставил эти деньги у меня. Он был одному человеку должен.

— А вы их уже отдали?

— Что же вы думаете, я деньги умершего прикарманю? — спросила фрау Марелли.

— За ними приходили?

— Приходили? — переспросила фрау Марелли уже не вполне уверенным тоном, вдруг поняв, что она сказала больше, чем хотела.

Но гестаповцы остановились.

— Спасибо, фрау Марелли. Мы вас сейчас отвезем на машине домой. Кстати воспользуемся случаем и ознакомимся с вашей квартирой.

Оверкамп не знал, свистеть ему или шипеть, когда в Вестгофен пришло донесение, что в квартире фрау Марелли найдена фуфайка, которую беглец Георг Гейслер выменял на куртку у лодочника. Гейслер мог бы уже быть водворен обратно в Вестгофен, если бы они не положились на показания этого болвана, ученика-садовода. Собственной куртки не узнать! Неужели это возможно? Или тут что-то есть? Значит, Гейслер все-таки вернулся в родной город. Оставался вопрос, продолжает ли он там скрываться, ожидая, когда представится возможность перебраться за границу, или же, запасшись новой одеждой, а может быть, и деньгами, уже смылся оттуда? Все дороги, которые вели из города, перекрестки, вокзалы, мосты, переправы охранялись так зорко, словно началась война. В объявлениях о побеге сумма за поимку каждого беглеца была повышена до пяти тысяч марок.

Как Георг ночью и предвидел, его родной город и все, кто был вплетен в его жизнь, та группа людей, которая окружает человека и проходит с ним через жизнь,— родные, учителя, девушки,

наставники и друзья,— стали петлями предательской сети, живыми капканами. И с каждым новым мероприятием полиции эта сеть стягивалась все туже.

Деревцо-то прямо для Гейслера выросло, радовался Фаренберг. А поперечную доску можно прибить и пониже, придется уж ему согнуться. Внутренний голос подсказывает Фаренбергу, что в конце недели Гейслер получит возможность отдохнуть здесь от перенесенных испытаний.

— Ну уж, ваш внутренний голос! — отозвался Оверкамп с легким презрением. Он взглянул на Фаренберга профессиональным взглядом следователя: «Да, этот почти готов».

Фаренберг женился во время войны, когда был еще очень молодым. Его пожилая жена и две почти взрослые дочери жили вместе с его родителями в Зелигенштадте, в том доме на Рыночной площади, в подвальном этаже которого и помещалась контора по прокладке труб. Старший брат, водопроводчик, погиб на войне. Фаренберг хотел стать юристом, но война и тревожное время помешали ему восполнить усердием то, на что не хватало способностей и ума. Вместо того чтобы заниматься вместе с отцом прокладкой труб, он предпочел обновлять Германию, брать с штурмовиками маленькие городки, в том числе и свой родной городок, в котором он раньше считался лодырем,— обстреливать рабочие кварталы, избивать евреев и, наконец, вопреки всем мрачным пророчествам отца и соседей, время от времени являться в отпуск в парадной форме, с деньгами в кармане, с охраной и прочими атрибутами власти.

Из всех призраков, посещавших Фаренберга за последние три ночи, самым жутким был его собственный двойник в синей блузе водопроводчика, продувающий засоренную канализационную трубу. Веки его горели после бессонных ночей. Последнее донесение, что фуфайка найдена, показалось ему ответом на его ночные молитвы о том, чтобы беглецы были пойманы, и обещанием, что он не будет подвергнут самой страшной из кар — лишению власти.

Прежде всего нужно наесться досыта, сказал себе Георг, иначе я упаду. В нескольких шагах отсюда должна быть закусочная, возле трамвайной остановки. Его мучила колющая боль под ложечкой, точно ему под ребро кинжал всадили и Георг вот-вот упадет ничком. Вдруг все поплыло перед глазами. С ним это бывало в лагере после особенно мучительных допросов. А потом, когда все кончалось, его охватывало даже какое-то недоумение, словно ничего и не было, словно кинжал незаметно вытащили. Но сейчас его охватил гнев. Нет, иначе представлял он себе свою гибель —

в борьбе, с громкими угрожающими выкриками, на которые сбегутся люди.

А так — какой смысл? Он уже снова был на ногах. Встряхнул пальто, отсыревшее и помятое, и двинулся дальше по Верхнемайнской набережной. Забавно было бы остаться здесь, лежать мертвым под забором, пусть рыщут по всему городу.

Каким молодым вдруг показался Георгу этот город, каким тихим и чистым! Он медленно выступал из тумана, точно плод из кожуры, в брызгах нежнейшего света, и не только деревья и газоны, даже мостовая была свежа, как утро. Георг рассудительно и трезво говорил себе, что побег из лагеря — это все равно очень важный факт, чем бы дело ни кончилось. Может быть, Валлау уже перемахнул границу, подумал он. Беллони-то наверное... Видимо, у него тут куча друзей. Какую же я совершил ошибку? Отчего я застрял здесь? Улицы на окраине еще пусты. Но за театром уже чувствуется жизнь, словно день занимается в центре города. Когда Георг вошел в закусочную, услышал запах кофе и супов, увидел под стеклом хлеб и тарелки с кушаньями, он от голода и жажды забыл и страх и надежду. Он разменял у кассирши марку из денег Беллони. Как мучительно медленно приближался бутерброд к отверстию автомата! И как трудно было ждать, пока чашка под тоненькой ниточкой кофе наконец наполнится!

В закусочной было довольно много народу. Два молодых парня в фуражках газового общества отнесли свои чашки и тарелки на один из столов, к которому были прислонены их сумки с инструментами. Они ели и болтали, но вдруг один умолк на полуслове. Он не заметил, что его спутник с удивлением смотрит на него и оборачивается, следуя за его взглядом.

Тем временем Георг насытился. Он вышел из закусочной, не глядя ни вправо, ни влево. При этом он слегка задел того самого парня, который при виде его вздрогнул.

— Ты что, знаешь его? — спросил товарищ.

— Фриц,— сказал первый,— ты тоже его знаешь. Знал раньше.

Товарищ посмотрел с сомнением.

— Так ведь это же Георг,— продолжал первый громко, не в силах сдержаться.— Да, Гейслер, беглец.

Тогда другой сказал с полуулыбкой, покосившись на приятеля:

— А ведь ты мог бы на этом заработать.

— Мог бы? А ты мог бы?

Вдруг они посмотрели друг другу в глаза тем странным взглядом, какой бывает у глухонемых или у очень умных животных, у всех созданий, чей разум на всю жизнь заперт в тюрьму и не может выражать себя посредством слов. Тогда в глазах второго что-то вспыхнуло, что-то развязало ему язык.

— Нет,— сказал он,— и я бы не мог.— Они собрали свои инструменты. Когда-то они были добрыми друзьями, затем наступили годы, когда ни о чем серьезном нельзя было говорить из страха выдать себя, если друг изменился. Теперь выяснилось, что оба они остались прежними. Из буфета они снова вышли друзьями.

III

Хотя Элли и была отпущена, полиция неусыпно следила за ней день и ночь, надеясь через нее напасть на след ее бывшего мужа, если он в городе и попытается связаться с прежней семьей. И вчера вечером, в кино, с нее ни на минуту не спускали глаз. Всю ночь подъезд ее дома был под наблюдением. Сетка, накинутая на ее хорошенькую головку, не могла быть плотнее. Но, как говорится, даже самая плотная сеть состоит из дырок. Было замечено, что Элли в антракте болтала с незнакомым парнем, сидевшим рядом с ней, а по пути домой, да и в самом кино, раскланивалась с десятком знакомых, причем один из них поджидал ее у выхода и проводил домой. Оказалось, вполне безобидный парень, сын трактирщика.

Марнеты очень удивились, когда Франц рано утром предложил перед работой доставить кузину, тетку и яблоки на рынок. За последнее время он не баловал их вниманием.

Когда они сошли вниз, Франц уже был занят укладкой.

— Успеется, напейся спокойно кофе,— сказала Августа. Когда наконец повозка загромыхала под гору, в небе еще сияли месяц и звезды.

Лежа в своей каморке, где крепко пахло яблоками, хотя яблоки были с вечера упакованы, Франц всю ночь ломал голову над вопросом: будь я на месте Георга, если он действительно здесь, к кому бы я обратился? И подобно тому как полиция на основе всех своих актов, картотек и протоколов и всех своих сведений о прежней жизни беглеца набрасывала на город все более частую сеть, точно так же и Франц плел свою сеть, становившуюся с часу на час все гуще, по мере того как в его памяти возникали один за другим все те, кто, насколько ему было известно, имел когда-либо связь с Георгом. Среди них были и такие, от которых не осталось следов ни в официальных документах, ни в формулярах. Ему нужны были другого рода знания, чтобы всех их поднять в своей памяти. Конечно, были среди них и такие, которые фигурировали в материалах полиции. Только бы он не пошел к Бранду, думал

Франц. Говорят, Бранд работал здесь четыре года назад. И не к Шумахеру. Шумахер даже донести может. Тогда к кому же? К толстой кассирше, с которой Георг сидел когда-то на скамеечке, после разрыва с Элли? К учителю Штегрейфу, у которого он иногда бывал? К маленькому Редеру? Георг был к нему так привязан, это был его товарищ по школе и по футболу. К одному из братьев Георга? Ненадежные парни, да и, кроме того, за ними, наверно, следят.

Марнеты торговали нерегулярно на одном из рынков Гехста; лишь весной, когда можно было найти только парниковые овощи, они вывозили свои первые овощи с грядок во Франкфурт на большой крытый рынок да осенью — лучшие сорта яблок. Они были настолько состоятельны, что могли не продавать по мелочам, и придерживались правила — сначала себе, потом людям. Если иной год не хватало наличных, один из сыновей всегда мог подработать на фабрике.

Здоровенная Августа помогла Францу разгрузить яблоки. Фрау Марнет аккуратно разложила товар. Держа в одной руке ножичек, а в другой разрезанное на пробу яблоко, она ждала своего главного покупателя.

Если Элли намеревается прийти, думал Франц, то ей пора уже быть здесь. Перед ним то и дело мелькали в толпе то плечо, то шляпка, то еще что-нибудь, что могло бы принадлежать Элли. Наконец он увидел ее лицо, худое и бледное от усталости, или ему почудилось, что увидел. Оно тотчас же исчезло за пирамидой из корзин. Неужели он ошибся? Но нет, оно приближалось в толпе, словно рывками, точно кто-то решил, хотя и с некоторым колебанием, все-таки исполнить желание его сердца.

Элли поздоровалась только легким движением бровей. Он удивился, как хорошо она усвоила его наставления, с каким искусством начала разыгрывать покупательницу. Словно не зная, что Франц принадлежит к семье Марнетов, она упорно повертывалась к нему спиной. Медленно разжевывала ломтик яблока. Усиленно торговалась, прицениваясь к корзинке, которая, по расчетам фрау Марнет, должна была остаться от оптовика. Подобно всем когда-либо удававшимся обманам, эта инсценировка удалась ей потому, что Элли была в ней действительно заинтересована. Яблоки ей понравились, тем более она не хотела переплачивать за них. Она не сумела бы искусней притворяться, даже если бы знала, как неотступно за ней следят.

Молодого человека с усиками, которого Элли могла уже заприметить, сменила толстая особа, с виду сиделка или учительница рукоделья. Однако усатый не ушел, он все еще участвовал в группе наблюдателей: его пост был в кондитерской. Идя сюда,

Элли то и дело оглядывалась, не следят ли за ней, как предполагали отец и Франц. Она решила, что сыщик должен идти за ней по пятам и что это непременно мужчина. Но она никого не заметила, кроме круглой, как шар, добродушной женщины, которая, впрочем, тоже скоро исчезла — на условленном месте ее сменил новый агент. Пока, однако, все шло гладко, на Франца никто не обращал внимания. Элли обсуждала покупку, и этот разговор явно не служил маскировкой для чего-то другого. С Францем она вообще не разговаривала. Единственные его слова были обращены к фрау Марнет: «Корзинки можно пока оставить у Берендсов, я после смены привезу их, мне все равно придется еще раз приехать в город». Августа, конечно, смекнула, откуда такая предупредительность, но что покупательница и есть та девушка, из-за которой Франц во второй раз намерен приехать в город, это ей и на ум не пришло. Правда, ее мнение об Элли уже было составлено: тоща, как спаржа, шляпа грибом, ну прямо спаржа в кудряшках. Если она по будням в этакой блузке разгуливает, какая же на ней блузка в воскресенье? Когда Элли ушла, она сказала Францу:

— Ну, этой на юбку много материала не потребуется, и то выгодно.

Франц сдержал свои чувства и ответил:

— Не у всякой такие бедра, как у Софи Мангольд.

Георг дожидался двадцать третьего номера на остановке у театра. Только бы вон из города. Город, казалось, душил его. Это пальто Беллони, в котором вчера он чувствовал себя так уверенно, сегодня жгло его. Снять? Засунуть под скамейку? Есть одна деревня, в двух часах от Эшерсгейма, нужно доехать до конечной остановки по Эшерсгеймскому шоссе. Но вот как название этой деревни? Там жили еще эти старики, в военные годы я ездил к ним на каникулы, я и потом навещал их. Как их фамилия? Господи, а как название деревни? Все я перезабыл. Вот куда я поеду. Там я отдышусь. Такие старики, они ничего не знают. Милые мои, как же вас зовут? Мне необходимо там передохнуть. Господи, все имена из головы вылетели...

Он сел на двадцать третий. При любых обстоятельствах необходимо выбраться из города. Но за конечной остановкой всегда следят. Он взял со скамьи забытую кем-то газету. Развернул ее, спрятал лицо. Его взгляд скользил по заголовкам, выхватывая тут фразу, там фото.

Ни заряженная электричеством колючая проволока, ни часовые, ни пулеметы не могли помешать вестям с воли просачиваться в Вестгофен. Таковы уж были люди, которых здесь держали вза-

перти,— если они знали о творившихся в далеком мире событиях не больше, то, во всяком случае, представляли их яснее и разбирались в них лучше, чем разбирались люди во многих деревнях, во многих городских квартирах. Точно по какому-то закону природы, какой-то общей системой кровообращения эта кучка закованных в кандалы, истерзанных людей была связана с живым пульсом мировых событий. Когда в трамвае Георг заглянул в газету, на четвертое утро после своего побега,— шла та неделя октября, когда Испания сражалась за Теруэль и японцы вторглись в Китай,— он не был особенно удивлен: значит, вот как обстоят дела. Эти заголовки говорили о давних историях, некогда потрясавших его душу. Но сейчас для него существовало только текущее мгновение. Он повернул страницу, его взгляд сразу упал на три фото. Они были мучительно знакомы, на миг он отвел глаза. Фюльграбе, Альдингер и он сам. Он поспешно сложил газету совсем маленьким квадратиком. Сунул в карман, торопливо взглянул направо, налево. Старик, стоявший с ним рядом, посмотрел на него очень пристально, так почудилось Георгу. Георг вдруг соскочил с трамвая.

Лучше я не поеду в трамвае, сказал он себе; в трамвае как в тюрьме. Я уйду из города пешком. Когда он проходил через центр, он схватился за сердце — оно куда-то метнулось, но затем снова стало биться спокойнее. Он спешил все дальше, без страха, без надежды. Что случилось с моей головой? Если я не вспомню деревню, я пропал, а если вспомню — может быть, тем вернее пропал. Может, им там уже все известно и они не захотят рисковать. Он пробежал мимо музея, миновал маленький рынок, затем Эшенгеймергассе, прошел мимо здания «Франкфуртер цейтунг». Добежал до Эшенгеймской башни, перешел на ту сторону улицы. Теперь он спешил еще больше, ощущение угрозы, охватившее его существо, все усиливалось. В его сознании жила одна мысль: за мной следят. Но страх прошел — больше того, его сменило спокойствие, уверенность именно от того, что враг тут; все чувства Георга обострились: он как бы ощущал затылком два глаза, которые с той стороны улицы, под башней, неотступно следят за ним. Вместо того чтобы идти вдоль рельсов, он свернул в какой-то сквер. Вдруг он остановился. Он принудил себя обернуться. От группы людей на остановке перед башней отделился кто-то и направился к Георгу. Они улыбнулись друг другу, пожали руки. Этот человек был Фюльграбе,— пятый из семи беглецов. Он был шикарен, как манекен из магазина готового платья. Что перед этим желтое пальто Беллони! Зачем он здесь? Фюльграбе ведь поклялся, что никогда не вернется в этот город. Черт его знает, почему он изменил своему решению. Этот человек всегда найдет себе лазейку. Они стояли друг

перед другом, расставив локти, точно все еще здороваясь. Наконец Георг сказал:

— Зайдем сюда вот.

Они сели на залитую солнцем скамью сквера. Фюльграбе сгребал песок носком башмака. И башмаки на нем были такие же элегантные, как и костюм. Быстро он себе все это раздобыл, подумал Георг.

Фюльграбе сказал:

— Знаешь, куда я как раз собирался?

— Нет. Куда?

— На Майнцерландштрассе.

— Зачем? — спросил Георг.

Он запахнул пальто, чтобы не прикасаться к пальто Фюльграбе. «А может, это вовсе не Фюльграбе?» — пронеслось в его сознании.

Фюльграбе тоже запахнул пальто.

— А ты забыл, что находится на Майнцерландштрассе?

— Верно, забыл,— сказал Георг устало.

— Гестапо,— сказал Фюльграбе.

Георг молчал. Он ждал, когда рассеется это странное видение.

Фюльграбе начал:

— Слушай, Георг, знаешь ты, что происходит в Вестгофене? Знаешь ты, что они уже всех переловили, кроме тебя, меня и Альдингера?

Перед ними на песке, в ярком солнце, их две тени сливались. Георг сказал:

— Откуда ты знаешь? — Он еще дальше отодвинулся от Фюльграбе, чтобы тени четко отделялись друг от друга.

— Ты что же, ни в одной газете не видел?

— Видел, там...

— Вот посмотри.

— Кого же они разыскивают?

— Тебя, меня и Дедушку. Его-то уж, наверно, удар хватил, и он валяется где-нибудь в канаве. Долго ему не выдержать.— Он вдруг потерся головой о плечо Георга. Георг закрыл глаза.— Если бы еще кто-нибудь уцелел, они бы и его приметы описали. Нет, нет, всех остальных они поймали. Они поймали Валлау, и Пельцера, и этого, как его, Беллони. А крики Бейтлера я сам слышал.

Георг хотел сказать: я тоже. Его рот открылся, но он не в силах был издать ни звука. То, что сказал Фюльграбе,— правда, безумие и правда. И он крикнул:

— Нет!

— Ш-ш...— сказал Фюльграбе.

— Это неправда,— сказал Георг.— Это невозможно, они не могли поймать Валлау. Он не из тех, кого можно поймать.

Фюльграбе засмеялся.

— А как же он очутился в Вестгофене? Милый, милый Георг! Мы все с ума посходили, а Валлау больше всех.— Он добавил: — Ну, а теперь с меня хватит.

— Чего хватит? — спросил Георг.

— Да этого сумасшествия. Что касается меня, то я отрезвел. Я явлюсь.

— Куда явишься?

— Я явлюсь,— повторил Фюльграбе упрямо.— На Майнцерландштрассе. Я сдамся, это самое разумное. Я хочу сохранить свою голову, я пяти минут больше не выдержу этой свистопляски, а в конце концов меня все равно сцапают. Это уж как пить дать.— Он говорил спокойно, все спокойнее. Он нанизывал слово за словом, рассудительно и однотонно: — Это единственный выход. Тебе ни за что не перейти через границу. Невозможно. Весь мир против тебя. Просто чудо, что мы оба еще на свободе. Вот мы добровольно с этим чудом и покончим, прежде чем нас поймают, а тогда уж всем чудесам конец. Тогда спокойной ночи. Ты представляешь себе, что Фаренберг сделает с теми, кого поймают? Вспомни Цилліха, вспомни Бунзена, вспомни «площадку для танцев».

От этих слов Георга охватил ужас — ужас, с которым невозможно бороться, от которого заранее каменеешь. Фюльграбе, видимо, только что побрился. Его жидкие волосы были прилизаны, от них пахло парикмахерской. Да верно ли, что это Фюльграбе?

— Значит, ты все-таки помнишь,— продолжал тот,— помнишь, что они сделали с Кербером, когда прошел слух, будто он задумал бежать? А он и не думал. А мы бежали.

Георг почувствовал, что дрожит. Фюльграбе посмотрел на него, затем продолжал:

— Я сейчас же туда отправлюсь. Поверь мне, Георг. Это самое лучшее. И ты пойдешь со мной. Я как раз собирался. Сам бог свел нас с тобой. Факт.

Его голос сорвался. Он дважды кивнул головой.

— Факт,— повторил он и снова кивнул.

Георг внезапно выпрямился.

— Ты с ума сошел,— сказал он.

— Увидим, кто из нас двоих с ума сошел,— отозвался Фюльграбе и с той особой спокойной рассудительностью, из-за которой он в лагере заслужил славу уравновешенного человека, никогда не повышавшего голос, продолжал: — Собери-ка остатки разума, мой милый. Взгляни-ка правде в лицо. Очень неприятные

вещи тебя ждут, если ты не пойдешь со мной, дружочек, уверяю тебя! Факт! Ну, идем!

— Нет, ты окончательно спятил,— сказал Георг.— Да они животы надорвут, если ты явишься! Ты что думаешь?

— Смеяться будут? Пускай смеются. Но пусть меня оставят жить. Оглянись кругом, дружочек. Ведь ничего другого тебе не остается. Если тебя сегодня не сцапают, так сцапают завтра, и ни одному псу до тебя дела нет. Эх, дружок, дружок! В этом мире много кой-чего изменилось. Это самое-самое-самое разумное. Это единственное, что нас спасет. Идем, Георг.

— Ты окончательно спятил...

До сих пор они сидели одни на скамейке. Теперь к ним подсела женщина в чепце медицинской сестры. Осторожным привычным движением покачивала она детскую коляску. Роскошная коляска, набитая подушками, кружевами, бледно-голубыми бантами, а в ней — крошечное спящее дитя, очевидно спящее еще недостаточно крепко. Она поставила колясочку так, чтобы на нее падало солнце, вынула шитье. Бросила быстрый взгляд на обоих мужчин. Она была на вид, что называется, женщина в соку, не молодая и не старая, не красивая и не безобразная. Фюльграбе ответил на ее взгляд не только взглядом, но и кривой улыбкой, какой-то жуткой судорогой всего лица. Георг видел это, ему стало гадко.

— Пойдем,— сказал Фюльграбе. Он встал. Георг схватил его за руку. Фюльграбе вырвался движением более резким, чем то, каким Георг схватил его, и задел Георга рукой по лицу. Он наклонился над Георгом и сказал: — Кто не хочет слушать советов, тот пеняй на себя. Прощай, Георг.

— Постой, подожди минутку,— сказал Георг. Фюльграбе действительно еще раз опустился на скамью. Георг сказал: — Не делай этого, не делай такого безумия. Самому в петлю лезть! Да ведь тебя сразу прикончат. Ведь они еще никогда никого не пожалели. Ведь на них ничего не действует. Одумайся, Фюльграбе! Фюльграбе!

Близко придвинувшись к Георгу, Фюльграбе сказал совсем другим, печальным голосом:

— Милый мой Георг! Пойдем. Ты же был хорошим товарищем. Ну пойдем со мной. Очень уж страшно идти туда одному!

Георг посмотрел на рот, откуда исходили эти слова, рот с редкими зубами, которые, вследствие слишком больших промежутков, казались чересчур крупными, зубы скелета. Его дни, конечно, сочтены. Вероятно, даже часы. Он уже помешанный, думал Георг. Он горячо желал, чтобы Фюльграбе поскорее ушел и оставил его одного и в здравом уме. Вероятно, Фюльграбе то же самое подумал о Георге. Ошеломленный, он взглянул на Георга, словно толь-

ко сейчас понял, с кем, собственно, имеет дело. Затем встал и зашагал прочь. Он исчез за кустами так быстро, что Георгу вдруг показалось, будто эта встреча ему только померещилась.

Его опять потряс приступ страха, такого же внезапного и бурного, как тогда, среди ивняка, в первые часы побега. Ледяной озноб трепал его тело и душу. Всего три минуты, но это был один из тех приступов, от которых человек седеет. В тот раз на нем была арестантская одежда и выли сирены, теперь было еще хуже. Смерть была так же близко, но не за спиной, а везде. Он не мог ускользнуть от смерти, он физически ощущал ее, как будто сама смерть — это что-то живое, как на старых картинах,— существо, притаившееся вон там, за клумбой с астрами или за детской коляской, сейчас оно выйдет оттуда и прикоснется к нему.

И так же быстро приступ прошел. Георг отер лоб, словно он боролся и победил. Да так оно и было, хотя ему самому казалось, что он только страдал. Что это со мной? Что это мне рассказывали? Неужели правда, Валлау, что ты в их руках? Что они делают теперь с тобой?

Спокойствие, Георг. А думаешь, где-нибудь тебя пожалеют? Ведь если бы ты мог, ты был бы сейчас в Испании! А ты думаешь — нас там щадят? Думаешь, повиснуть на колючей проволоке, думаешь, получить пулю в живот — лучше? А этот город, который сегодня боится принять тебя, этот город, когда на него с неба посыплются бомбы, он еще узнает, что такое страх. Но подумай, Валлау, я совсем один, в Испании люди не так одиноки и даже — в Вестгофене. Нигде нельзя быть таким одиноким, как я сейчас. Спокойствие, Георг! У тебя много друзей. Сейчас они разбросаны по свету, но это ничего. У тебя куча друзей — мертвых и живых.

Позади большой клумбы с астрами, за газонами, за зелеными и бронзовыми кустарниками, может быть, на площадке для игр или в чьем-то саду, взлетали качели. Вдруг Георг решил: нужно пересмотреть все сызнова, все опять продумать. Во-первых, следует ли мне действительно выбираться из города? Какой в этом толк? Та деревня,— ах да! — Боценбах она называется. Те люди — ах да! — Шмитгаммер их фамилия. А можно ли на них положиться? Положиться — ни в коем случае. А если даже и можно — что потом? Как я вообще двинусь дальше? Переходить границу без помощи — да меня тут же изловят. Деньги у меня скоро все выйдут, а пробиваться, как до сих пор, без денег, от случая к случаю, для этого я уже слишком слаб. Здесь в городе есть хоть люди, которых я знаю. Ну, хорошо, знакомая девушка не пустила меня к себе. Что это доказывает? Есть другие. Моя семья, мать, братья? Невозможно, за всеми следят. Элли? Ведь она приехала ко мне

в Вестгофен. Невозможно, наверняка следят. Вернер? Он был со мной в лагере. Тоже следят. Священник Зейц, который, как говорят, помог Вернеру, когда тот вышел? Невозможно, почти наверняка следят. Кто же еще из друзей может быть здесь?

До его ареста, когда он еще был жив, а не мертв, существовали же люди, на которых можно было положиться, как на каменную гору. Среди них был и Франц. Но Франц далеко, размышлял Георг. Все же он задержался мыслью на нем — пустая трата драгоценных минут, оставленных ему на размышление. Но то уже поддержка, что есть где-то человек, именно такой, какой тебе сейчас был бы нужен. Если такой существует, то одиночество только случайность. Да, Франц именно тот, к кому надо бы пойти. Ну, а остальные? Он перебрал и взвесил их одного за другим. Это взвешивание оказалось удивительно простым — мгновенный отбор, как будто опасность, грозившая ему сейчас, оказалась чем-то вроде химического реактива, безошибочно выявляющего все скрытые соединения и смеси, из которых состоит человек. Через его сознание прошло несколько десятков людей; вероятно, они занимались обычной работой или уплетали свой завтрак, даже не подозревая сейчас о том, на какие грозные весы они были в этот миг положены. Страшный суд без трубного гласа, в ясное осеннее утро. Наконец Георг отобрал четверых.

У каждого из этих четверых он наверняка мог бы найти пристанище. Но как к ним добраться? Ему представилось, что в эту минуту перед четырьмя дверями очутились часовые. Самому мне никак нельзя, сказал он себе. Другой должен пойти за меня. Другой, которого решительно никто не заподозрит, который никак со мной не связан и тем не менее все для меня сделает. Снова он принялся перебирать всех своих знакомых. Снова он почувствовал себя совершенно одиноким, точно не был рожден родителями, не вырос с братьями, никогда не играл с другими мальчиками, никогда не боролся плечом к плечу с товарищами. Целые сонмы лиц — молодых и старых — проносились в его сознании. Обессилев, всматривался он в эти вызванные им призраки — наполовину спутники, наполовину преследователи. Вдруг он различил лицо, все осыпанное веснушками, без возраста; действительно, Паульхен Редер на школьной скамье казался взрослым мужчиной, а в день своей свадьбы — подростком, идущим к первому причастию. Когда им обоим было по двенадцать лет, они отчасти выклянчили, отчасти заработали денег на свой первый футбольный мяч и стали неразлучны до тех пор, пока совсем другие мысли, совсем другие друзья не определили судьбу Георга. Весь тот год, что он прожил с Францем, он не мог отделаться от смутного чувства вины перед коротышкой Редером. Он так и не смог объяснить Францу, почему ему

стыдно, что он понимает такие мысли, которых Редер никогда не поймет. Бывали минуты, когда он, кажется, готов был вернуться назад и забыть все, что узнал, лишь бы снова сравняться со своим маленьким школьным товарищем. В запутанном клубке воспоминаний наконец наметилась определенная нить: я должен попасть к четырем часам в Бокенгейм. Я пойду к Редерам.

IV

Полдень. На новом пастбище за шоссейной дорогой Эрнсту пастуху легче пасти, овцы не так разбегаются, но зато оттуда нет таких прекрасных видов. Внизу примыкают к шоссе поля Мессеров. А за шоссе усадьбы Мангольдов и Марнетов заслоняют Эрнсту горизонт. Наверху поля упираются в длинную и узкую еловую рощицу, тоже принадлежащую Мессерам. Этот клин отделен от остального леса проволочной изгородью. А позади него опять идут поля Мессеров. Из кухни тянет тушеным мясом. А вот и Евгения несет ему в поле горшочек. Эрнст поднимает крышку, и оба заглядывают в него — Эрнст и Нелли.

— Странное дело,— говорит пастух своей собачке,— отчего это гороховый суп тушенкой пахнет? — Евгения еще раз оборачивается. Она нечто среднее между кузиной Мессеров и экономкой.

— У нас и остатки доедают, милый мой.

— Мы же с Нелли не помойные ведра,— говорит Эрнст.

Женщина бросает на него короткий взгляд и смеется.

— Пожалуйста, не ссорьтесь со мной, Эрнст,— говорит она.— У нас два блюда, когда съедите, подойдете с тарелкой к кухонному окну.

Евгения торопливо уходит, она довольно толстая и уже не молодая, но у нее красивая, плавная походка. И говорят, волосы прежде были как вороново крыло. Она из хорошей семьи: может быть, старик Мессер на ней и женился бы, да она сама все погубила, когда в двадцатом году генералу Манжену из Межсоюзнической комиссии вздумалось разместить здесь наверху два полка. И вот серо-голубое облако плывет вверх по дороге, растекается по деревням и долинам, мелькает то здесь, то там между холмами; откуда-то прорывается звонкая незнакомая музыка, незнакомая солдатская шинель на вешалке в передней, незнакомый запах на лестнице, незнакомое вино, налитое незнакомой рукой, незнакомые слова любви — и незнакомое становится родным, а от родного постепенно отвыкаешь. Потом, почти восемь лет спустя, серо-голубое облако сползло обратно, вниз по улице, и в последний раз

чужая зовущая музыка даже не гремела с улицы, нет, а только стояла в ушах. Евгения далеко высунулась наружу из чердачного окна Мессеров. Здесь она нашла себе пристанище после смерти хозяйки, скончавшейся от родов пятого ребенка. Родители Евгении, выгнавшие ее из дому, умерли, ее сын — «французик», дитя оккупации — учится в Кронберге. Отец малыша давным-давно пьет свой аперитив на Севастопольском бульваре в Париже. Никто обо всей этой истории и не вспоминает. К тому, что отца нет, все давно привыкли. И Евгения уже привыкла. Лицо ее поблекло, хотя она все еще красива. Но в ее глубоком голосе появилось что-то надтреснутое, с тех пор как она поняла, что серо-голубое облако, которому она так долго смотрела вслед, уже давно не оккупационная армия, а самый настоящий туман. Это было тоже много лет назад. Для этой туши Мессера, для старого хрыча, размышляет Эрнст, Евгения просто находка.

Интересно, она заранее решила сказать про два блюда или только потом надумала?

Франц так устал, что ему казалось, будто приводные ремни проносятся прямо через его мозг. Однако он не допустил ни одного промаха, может быть, оттого, что впервые не боялся этого. Он думал только об одном — удастся ли ему увидеться с Элли наедине, когда он будет сдавать яблоки.

Он рисовал себе, как через несколько часов снова встретится с ней, с той самой Элли, которую никогда не переставал любить; и ему вдруг почудилось, что все это не случайно. Не ради того, чтобы помочь Георгу, встречаются они, а ради друг друга. Он, Франц, не для того затеял эту историю с яблоками, чтобы проскользнуть сквозь сеть шпиков, ничто не угрожает им, никто не находится в опасности. Франц представил себе, что он просто купил две корзины яблок на первую зиму, которую они будут жить вместе, как делают сотни людей. Неужели для них закрыта всякая возможность участвовать в обыкновенной жизни? И всегда и всюду эта тень!

На миг, на один миг Франц усомнился и спросил себя — не стоит ли это простое счастье всего остального. Кусочек обыкновенного счастья сейчас вместо жестокой, беспощадной борьбы за конечное счастье всего человечества, к которому он вряд ли уже будет принадлежать. Так вот, теперь мы можем печь яблоки в нашей печке, скажет он Элли. Свадьбу они сыграют в ноябре, устроят пир горой. Они снимут две уютные комнатки в Гризгеймском поселке. Уходя утром на работу, он будет знать, что вечером застанет Элли дома. Неприятности? Вычеты? Вечная гонка? Вечером в их хоро-

шенькой квартирке он все это забудет. Даже стоя у станка, как сейчас, и штампуя пластинку за пластинкой, он будет повторять про себя: «А вечером — Элли!» Знамена? Свастики? Что ж, воздайте Гитлерово Гитлеру. Только не мешайте Францу и Элли находить радость во всем, что они будут переживать вместе: любовь и елку, воскресное жаркое и бутерброды из дому, маленькие привилегии для новобрачных, свой садик и экскурсия за город для рабочих. У них родится сын, и они будут рады. Конечно, придется немножко экономить, может быть, поездку на пароходе с обществом «Сила через радость» отложить до будущего года. На новую сдельную оплату в общем жить можно. Впрочем, постоянная гонка рано или поздно скажется на нервах. Да брось ты ворчать, остановит его Элли. Пожалуйста, без скандалов, Франц, теперь в особенности. Они ведь ждут второго ребенка. Но, к счастью, Франца сделали мастером; они даже смогут вернуть отцу Элли те небольшие деньги, которые у него заняли. Если бы только Элли опять не забеременела. Франц скажет: куда столько, ведь война на носу. Элли на этот раз будет все время плакать. Они будут прикидывать и так и этак, рассчитывать, насколько предстоящие расходы окупятся льготами для многосемейных. От этих подсчетов у Франца сжимается сердце, он и сам не знает почему: точно от смутного сознания предосудительности, неприличия таких подсчетов. В конце концов кто-то дает Элли хороший совет, и все улаживается. Они даже могут записаться на поездку по Рейну; мать присмотрит за старшим, а маленького возьмет сестра Элли. Эта сестра будет учить мальчика делать ручкой «хайль Гитлер». Элли — все еще хорошенькая, она нисколько не поблекла. Надеюсь, она накормит меня сегодня чем-нибудь вкусным, говорит себе Франц во время дневной работы, не какой-нибудь подогретой бурдой.

И вот однажды Франц, придя утром на фабрику, видит вместо Кочанчика незнакомого парнишку, заметающего отвал.

— А где же Кочанчик? — спрашивает Франц.

— Арестован,— отвечает ему кто-то.

— Кочанчик арестован? Да за что же?

— За распространение слухов,— говорит другой.

— Каких же слухов?

— Насчет Вестгофена. Там в понедельник несколько человек бежало.

— Как? Из Вестгофена? — изумляется Франц.— А я думал, там уже ни одного живого человека не осталось.

И тогда другой, спокойный тощий человек с сонным лицом — Франц на этого рабочего как-то никогда и внимания не обращал,— отвечает:

— Ты думал, они всех там приканчивают?

Вздрогнув, Франц бормочет:

— Нет, нет... Я просто думал — там всех уже повыпускали...

Штамповщик неопределенно улыбается и отворачивается. Как жаль, что мне сегодня вечером надо домой, думает Франц, вот бы поговорить опять по душам с таким, как этот. Франц вдруг вспоминает: да, он знавал раньше этого человека. Чем-то он в былом связан с ним, он давно-давно знал его, еще до Элли, до...

Франц невольно дернулся и все-таки испортил пластинку. Но зачем же вымещать досаду на Орешке, на этом пареньке, которого все хвалили, так как он уже через три дня выметал отвал из-под рук рабочих не хуже Кочанчика, который целый год был на этой работе.

Георг, стоя на площадке третьего номера, размышлял: а не разумнее ли было пойти пешком? Обойти окраинами? Может быть, так он скорее привлечет к себе внимание? Не расстраивайся из-за того, чего не сделал, советовал ему Валлау, это бесполезная трата сил. Незачем вдруг вскакивать, бросаться туда, сюда. Держись спокойно и уверенно.

Но какой смысл давать советы, которые тебе самому не помогли? Он перестал слышать голос Валлау. Кажется, не было минуты, когда он не мог бы воскресить его интонацию, а теперь вдруг все смолкло. И грохот целого города не мог заглушить этого молчания.

Тем временем городские улицы остались позади. Георгу вдруг показалось невероятным, что он очутился здесь, цел и невредим, среди бела дня. Это против всякой очевидности, всякой логики. Либо он был не он, либо... Ветер леденящей струей режет ему виски, словно третий номер вошел в другую зону. Наверняка за Георгом уже давным-давно следят. И как это его угораздило встретить именно Фюльграбе? А может быть, Фюльграбе действовал по их приказу? Этот взгляд Фюльграбе, его движения и то, что он намеревался сделать... нет, так ведет себя только сумасшедший или человек, действующий по приказу гестапо. А почему же меня сразу не схватили? Очень просто — ждут, куда я пойду, хотят увидеть, кто меня примет.

И Георг уже начал разглядывать публику, стараясь отгадать, кто же его преследователь. Вон тот, с бородкой и в очках, похожий на учителя? Парень в комбинезоне монтера? Старик, везущий тщательно завернутое деревцо,— вероятно, для своего садика?

Вдруг на фоне городского шума начала выделяться музыка марша. Она быстро приближалась, становилась громче, навязывая свой рубленый ритм всем звукам и движениям; распахивались

окна, из ворот выбегали дети, улица быстро наполнялась людьми. Вожатый затормозил.

Мостовая дрожала. С конца улицы доносились приветственные клики. Вот уже месяц, как в новых казармах был размещен Шестьдесят шестой пехотный полк. Каждый раз, когда он проходил маршем через какой-нибудь городской район, ему устраивали овацию. Вот они наконец: трубачи и барабанщики, тамбурмажор размахивает палочкой, лошадка под ним пляшет. Вот они! Наконец-то! Люди вскидывают руку, салютуя. Старик тоже салютует, зажав деревцо между коленями. Его брови вздрагивают в такт маршу. Его глаза блестят. Может быть, в полку служит его сын? Этот марш забирал за живое, у людей мурашки пробегали по телу, искрились глаза. Что это за магическая сила? Сила атавистических воспоминаний или полного забвения? Можно подумать, что последняя война, которую вел этот народ, была удачнейшим предприятием и принесла только радость и довольство! Женщины и девушки улыбаются, точно их сыновья и возлюбленные неуязвимы для вражеских пуль.

Как хорошо мальчики научились за две-три недели маршировать! А матери, которые высчитывают каждый пфенниг и всегда спрашивают: зачем тебе? Они, кажется, готовы, пока играет эта музыка, не задумываясь, отдать своих сыновей или куски своих сыновей. Зачем? Зачем? Этот вопрос они испуганно зададут себе, когда музыка умолкнет. Тогда вагоновожатый снова включит мотор, а старик заметит, что на деревце обломали веточку, и будет ворчать. А полицейский шпик, если он действительно здесь есть, вздрогнет.

Потому что Георг все-таки сошел с трамвая. Он идет в Бокенгейм пешком. Пауль живет на Брунненгассе, двенадцать. Ни побои, ни пинки не могли выбить из памяти Георга этот адрес, и даже имя жены Редера: Лизель, урожденная Эндерс.

Георг шагал теперь быстрее и увереннее, он ни разу не оглянулся. Наконец он остановился, чтобы перевести дух, перед витриной на улице, которая вела к Брунненгассе. Увидев свое отражение в витрине, он невольно вцепился в металлические перила перед ней. Какое восковое лицо у этого человека, держащегося одной рукой за медный стержень, и что это за чужое желтоватое пальто, которое словно тащит за собой и его, и его котелок.

«Имею я все-таки право пойти к Редерам? — спрашивал себя Георг.— Какие основания у меня надеяться, что я отделался от шпика, если за мной действительно слежка? И почему из всех людей именно Пауль Редер должен ради меня рисковать всем? И как это меня угораздило очутиться на скамейке рядом с Фюльграбе?»

V

На четвертом этаже слева, возле двери, был прибит кусок картона, где в веночке, похожем на герб, тонко и четко были вычерчены имя и фамилия Редера. Георг прислонился к стене и уставился на эту надпись, словно у самого имени были светло-голубые глазенки, веснушки, коротенькие ручки и ножки, доброе сердце и трезвый ум. Пока он пожирал глазами надпись, он понял, что оглушительный смешанный шум, который он слышал уже снизу, доносится именно из этой квартиры. Катается туда и сюда детская игрушка, детский голос выкрикивает станции, а другой отвечает: «По вагонам!», жужжит швейная машина, и все эти звуки покрывает голос женщины, поющей хабанеру из «Кармен» так звучно, даже мощно, что Георгу кажется, будто это по радио, но затем на верхней ноте певица вдруг срывается. Все эти звуки не только не заглушались, но как бы подчеркивались маршем, который Георг только что слышал на улице, и он было решил, что марш доносится снаружи, но потом оказалось, что это радио на том же этаже, включенное, чтобы перекрыть голос Лизель. Георг вспомнил, что Лизель Редер еще девушкой подрабатывала как хористка. И Пауль не раз прихватывал его с собой на галерку, чтобы полюбоваться на Лизель в рваной юбчонке цыганки или в штанишках пажа. Лизель Редер всегда была тем, что принято называть славной девчонкой. Существование той пропасти, которая вдруг легла между ним и Редером, когда он переехал к Францу, непредвиденной, зияющей пропасти, он осознал впервые при виде жены Редера, при виде его домашней обстановки. Переезд к Францу означал для Георга не только то, что он должен учиться, усвоить себе определенный строй мыслей, участвовать в борьбе; это означало также, что отныне нужно иначе вести себя, иначе одеваться, вешать другие картинки на стену, находить красивыми другие вещи. Неужели Пауль сможет прожить всю жизнь с этой уткой Лизель? И зачем только они нагородили в своей квартире всякие этажерочки? Зачем они копят два года, чтобы купить диван? Георг теперь скучал у Редеров, и он перестал бывать там. А потом ему стало скучно с Францем, их комната казалась ему нежилой. Под влиянием этой путаницы чувств и неясных мыслей Георг, тогда совсем еще мальчик, не раз внезапно порывал с прежними друзьями, и его в конце концов стали считать взбалмошным парнем. Он-то, правда, находил тогда, что можно одним поступком загладить другой, одним чувством вытеснить противоположное.

Продолжая прислушиваться, Георг уже приложил палец к кнопке звонка. Даже в Вестгофене не было у него такой тоски по родным, близким людям. Он снова опустил руку. Имеет ли он

право войти сюда, где его, быть может, примут, ни о чем не подозревая? Имеет ли он право, нажав сейчас звонок, быть может, разбросать по свету всю эту семью, поставить ее под угрозу тюрьмы и смерти, обречь детей на воспитание в нацистских приютах?

Теперь в его голове царила убийственная ясность. Это все усталость моя виновата, сказал он себе, она внушила мне мысль прийти сюда. Разве сам он всего полчаса тому назад не был совершенно убежден, что за ним следят? Или он думает, что таким, как он, легко отделаться от филера?

Он пожал плечами и спустился на несколько ступенек ниже. В это время он услышал, как кто-то поднимается с улицы. Георг отвернулся к стене и пропустил мимо себя Пауля Редера, а потом дотащился до следующего окна на лестнице, оперся о подоконник и стал слушать. Но Редер не вошел в квартиру; он тоже остановился, он, видимо, тоже прислушивался. Вдруг он повернул и стал спускаться. Георг сошел еще ниже. Редер перегнулся через перила и крикнул:

— Георг! — Георг не ответил и продолжал спускаться. Но Редер в несколько прыжков догнал его. Он крикнул еще раз: — Георг! — Он схватил его за руку.— Ты это или не ты?

Пауль засмеялся и покачал головой.

— Ты уже был у нас? Разве ты меня не узнал? А я подумал, да ведь это же Георг! Но как ты изменился...— Пауль вдруг добавил обиженно: — Три года тебе понадобилось, чтобы вспомнить о твоем Пауле! Нет, теперь уж я никуда тебя не отпущу.

Не ответив ни слова, Георг молча пошел за Редером. Оба они остановились у большого окна на лестнице. Редер оглядел Георга снизу доверху. Но если даже его что-то и беспокоило, лицо Пауля было слишком густо усеяно веснушками, чтобы отразить какие-либо мрачные чувства.

Он сказал:

— До чего же ты зеленый. Да ты в самом деле Георг? — Георг пошевелил пересохшими губами.— Да? Георг? Тот самый? — спрашивал Редер совершенно серьезно. Георг усмехнулся.— Идем, идем,— сказал Редер.— Я теперь просто удивляюсь, как я тебя узнал на лестнице.

— Я очень долго болел,— сказал Георг спокойно,— рука вот еще до сих пор не зажила...

— Как? Пальцы оторвало?

— Нет, пальцы, к счастью, уцелели.

— Где же это случилось? Ты все время был здесь?

— Я работал шофером в Касселе,— сказал Георг. И он в нескольких словах спокойно описал, где и как это было, вспомнив рассказ одного из товарищей по заключению.

— Ну,— сказал Редер,— увидишь, Лизель просто обалдеет.— Он нажал кнопку звонка. Еще не смолк пронзительный звон, как последовала настоящая буря — захлопали двери, закричали дети, и он услышал восклицание Лизель: «Вот уж не ожидала!» Перед Георгом завихрились облаком цветастые платьица, личики, усыпанные тысячью веснушек, испуганные глазки, пестрые обои — затем стало темно и тихо.

Первое, что Георг снова услышал, был голос Редера, сердито кричавшего:

— Кофе, слышишь, дай кофе, завари свежего, а не бурду.

Георг приподнялся на диване. С большим трудом пришел он в себя от обморока, в котором было так безопасно, и очутился в кухне Редеров.

— Это со мной еще бывает,— объяснил он,— пустяки. Пусть Лизель не беспокоится насчет кофе.

Георг опустил ноги под кухонный стол. Он уложил забинтованную руку между тарелками на клеенку. Лизель Редер успела стать толстухой, в штанишки пажа она бы уже не влезла. Теплый, слегка грустный взгляд ее карих глаз скользнул по лицу Георга.

— Ладно,— сказала она,— самое разумное, что ты можешь сделать, это поесть. А кофе мы будем пить потом! — Она собрала поужинать. Редер усадил трех старших детей за стол.

— Подожди, Георг, я нарежу тебе кусочками, или ты справишься с вилкой? Не взыщи, у нас каждый день «воскресный» обед — из одного блюда. Хочешь горчицы? А соли? Хорошо поесть и хорошо попить — это укрепляет и душу и тело.

— Какой день сегодня? — спросил Георг.

Редеры засмеялись:

— Четверг.

— А ты ведь отдала мне свои сосиски, Лизель,— сказал Георг, который старался освоиться с этим обычным вечером, как осваиваются с величайшей опасностью. Он принялся есть здоровой рукой, Редеры тоже ели. То Лизель, то Пауль время от времени посматривали на него, и он чувствовал, что они ему по-прежнему дороги и что он им тоже остался дорог.

Вдруг он услышал шаги на лестнице, все выше, выше — он насторожился.

— Что ты слушаешь? — спросил Пауль.

Шаги стали удаляться. На клеенке, рядом с его больной рукой, белел круг, должно быть от горячей чашки, Георг взял стакан и надавил им как печатью на побледневший кружок: будь что будет. Пауль, истолковавший это движение по-своему, откупорил бутылку с пивом и налил ему. Они медленно доканчивали ужин.

— Ты опять живешь у родителей? — спросил Пауль.

— Время от времени.
— А с женой вы совсем разошлись?
— С какой женой?
Редеры рассмеялись.
— Да с Элли.
Георг пожал плечами:
— Совсем разошлись.
Он огляпулся кругом. Сколько удивленных глазок! Он сказал:
— А вы за это время постарались.
— Разве ты не знаешь, что немецкий народ должен увеличиться вчетверо? — сказал Пауль, смеясь одними глазами.— Ты, видно, не слушаешь, что говорит фюрер.
— Нет, я слушаю. Но он же не сказал, что маленький Пауль Редер из Бокенгейма должен все это сработать один!
— Теперь, правда, уже не так трудно заводить детей,— сказала Лизель.
— А когда же это было трудно?
— Ах, Георг! — воскликнула Лизель.— Ты остришь, как прежде.
— Нет, ты прав, нас дома тоже было пятеро, а вас?
— Фриц, Эрнст, я и Гейни — четверо.
— И ни одной собаке до нас дела не было,— сказала Лизель.— Теперь все-таки видишь какое-то внимание.
Пауль сказал, смеясь одними глазами:
— Ну как же, Лизель получила через дирекцию пожелание счастья от государства.
— Вот и получила, я лично!
— Прикажешь и мне поздравить тебя с великими достижениями?
— Можешь шутить сколько хочешь, но всякие там льготы и прибавка — семь пфеннигов в час — это сразу чувствуется. Налоги нам отменили и вдобавок прислали вот такую стопку чудесных новых пеленок.
— Не иначе, нацистская благотворительность проведала, что трое старшеньких до дыр промочили старые,— сказал Пауль.
— Да не слушай ты его,— сказала Лизель,— знаешь, как у него глазки блестели и как он передо мной распинался, словно жених, когда мы ездили путешествовать этим летом.
— Путешествовать, а куда же?
— В Тюрингию. В Вартбурге побывали, и где Мартин Лютер был, видели, и состязание певцов, и Венерину гору. Это нам было тоже вроде подарка. Никогда в истории не было ничего подобного.
— Никогда,— сказал Георг. Он подумал: такого подлого обмана? Нет, никогда! Он сказал: — А ты, Пауль, как? Доволен?

— Пожаловаться не могу,— отозвался Пауль.— Двести десять в месяц — это на пятнадцать марок больше, чем в двадцать девятом, то есть в самый лучший послевоенный год — да и то я всего только два месяца так получал. А теперь уже не снизят.

— Это и по людям на улице видно, что есть работа,— проговорил Георг. Горло сжали спазмы, сердце ныло.

— Что ты хочешь... война! — заметил Пауль.

Георг сказал:

— Разве это не странное ощущение?

— Какое?

— Да что ты делаешь штуки, от которых люди потом умирать будут?

— Ах, каждому своя судьба! Один потерял, другой вдвое наверстал,— отмахнулся Пауль.— Если еще ломать голову над такими вещами... Молодчина, Лизель, вот это кофе так кофе! Пусть Георг почаще к нам приходит.

— Я за три года не пил кофе вкуснее.— Георг погладил руку Лизель. Он подумал: прочь отсюда, но куда?

— Ты всегда любил порассуждать, Жорж,— сказал Пауль,— ну, а теперь как будто стал потише. Раньше ты бы мне подробно начал объяснять, какие грехи у меня на совести.— Он засмеялся.— Помнишь, Жорж, ты раз пришел ко мне — щеки горят... Я был тогда безработный, но все равно, ты как с ножом к горлу пристал, чтобы я непременно купил у тебя... что-то про китайцев. Вот непременно я, и непременно купи, и непременно про китайцев!.. Только не вздумай мне сейчас про испанцев размазывать,— продолжал он сердито, хотя Георг молчал.— Только с этим не приставай ко мне, ради бога! Как-нибудь там и без Пауля Редера справятся. Видишь? Уж на что они защищались, а все-таки их побили! Дело вовсе не в моих несчастных капсюльках...— Георг молчал.— И вечно ты ко мне со всем этим приставал, а меня это совершенно не касается.

Георг спросил:

— Раз ты делаешь капсюли для гранат, то как же не касается?

Тем временем Лизель прибрала со стола, накормила детей и заявила:

— А теперь скажите папе спокойной ночи и дяде Жоржу тоже скажите спокойной ночи. Я пойду ребят укладывать, а вы можете спорить и без света.

Георг решил: придется пойти на это! Разве у меня есть выбор?

— Слушай, Пауль,— сказал он, словно мимоходом.— Ничего, если я у вас сегодня переночую?

Редер отозвался, слегка удивленный:

— Ничего, а что?

— Знаешь, у меня дома скандал вышел, пусть немножко остынут.

— Можешь хоть жениться у нас,— сказал Редер.

Георг подпер голову рукой и между пальцами взглянул на Редера. Может быть, у Редера и бывало бы порой серьезное лицо, если бы не эти веселые веснушки.

Пауль сказал:

— А ты все еще лезешь на стену из-за всякого пустяка? И всегда ты носился с какими-то идеями, планами. Я тебе уже тогда говорил: меня ты не трогай, Жорж! Терпеть не могу бесполезных мечтаний, лучше думать о похлебке. А эти испанцы — они такие же, как ты. Я хочу сказать — такие, какой ты был раньше, Жорж. Теперь ты как будто угомонился. В твоей России у них тоже не все гладко. Сперва, правда, все выглядело так, что порой, бывало, и подумаешь про себя: «Кто знает, а вдруг и в самом деле?» Зато теперь...

— Что теперь? — переспросил Георг. И быстро закрыл глаза рукой. Но единственный острый взгляд сквозь пальцы успел попасть в Пауля, и тот запнулся.

— Ну да, теперь, ты же сам знаешь...

— Что знаю?

— Как там все пошло наперекос...

— Что пошло?

— Господи, ну чего ты ко мне пристал, не могу же я запомнить все эти имена.

Лизель возвратилась:

— Ложись-ка, Пауль. Ты не сердись, Жорж.

— Георг хочет сегодня у нас переночевать, Лизель. Он дома поругался.

— Ну уж ты и задира,— сказала Лизель.— Из-за чего поругался-то?

— Да это длинная история,— ответил Георг,— я расскажу тебе завтра.

— Ладно, хватит болтать, это ведь сегодня Пауль разошелся. Обычно он после работы совсем раскисает.

— Ну, понятно,— сказал Георг,— с него на работе семь шкур дерут.

— Лучше поднажать да заработать несколько лишних марок,— сказал Пауль.— Лучше сверхурочные, чем эти учебные воздушные тревоги.

— А как насчет преждевременной старости?

— При новой войне особенно не заживешься на белом свете. И не такая уж, я тебе скажу, все это веселая штука, чтобы очень

за нее цепляться. Иду, Лизель.— Он огляделся и сказал: — Только вот что, Георг, чем я тебя накрою?

— Дай мне мое пальто, Пауль.

— Какое у тебя чудное пальто, Жорж. Да ты клади подушечку на ноги, только не запачкай Лизель ее розочки.— Вдруг он спросил: — Между нами, из-за чего же все-таки у вас скандал вышел? Из-за девушки?

— Ах, из-за... из-за малыша, из-за Гейни. Ты знаешь, как он был всегда ко мне привязан!

— А, из-за Гейни... Кстати, я его на днях встретил, вашего Гейни. Ему, наверно, теперь лет шестнадцать — семнадцать? Все вы, Гейслеры, парни хоть куда, но Гейни прямо красавец вышел. Говорят, ему совсем голову задурили: все мечтает в эсэсовцы поступить, в будущем, конечно.

— Как? Гейни?

— Тебе, наверно, все это лучше моего известно,— сказал Редер; он опять сел за кухонный стол. Теперь, когда он снова смотрел в лицо Георгу, у него мелькнула та же нелепая мысль, что и на лестнице: точно ли это Георг? Лицо Георга опять совершенно изменилось. Редер не мог бы сказать, в чем перемена, так как лицо было очень тихое. Но в этом и была перемена, как в часах, которые идут-идут — и вдруг остановятся.

— Раньше у вас были скандалы оттого, что Гейни за тебя стоял, а теперь...

— Это правда, насчет Гейни? — спросил Георг.

— Как же ты не знаешь? — сказал Редер.— Разве ты не из дому? — И вдруг у коротышки Редера сердце отчаянно заколотилось. Он вскипел: — Этого еще не хватало, морочить мне голову! Три года тебя нет, а потом ты приходишь и плетешь вздор. Каким был, таким остался. Морочишь голову своему Паулю!.. И тебе не стыдно! Что ты там еще натворил? А уж что натворил, это я вижу, нынче дураков нет. Дома ты и не был! Так где же тебя носило все это время? Видно, здорово влип? Удрал? Да что с тобой, по правде, стряслось?

— Не найдется ли у тебя несколько марок взаймы? — сказал Георг.— Я должен сию же минуту уйти отсюда. Постарайся, чтобы Лизель ничего не заметила.

— Что с тобой стряслось?

— У вас радио нет?

— Нет,— сказал Пауль.— При голосе моей Лизель и при этом шуме, который у нас постоянно...

— Обо мне сообщали по радио,— сказал Георг.— Я бежал.— Он посмотрел Редеру прямо в глаза. Редер вдруг побледнел, так побледнел, что веснушки на его лице точно запылали.

— Откуда... ты бежал, Жорж?

— Из Вестгофена. Я... я...

— Ты? Из Вестгофена? Ты все время сидел там? Ну и отчаянный! Да они же тебя убьют, если поймают!

— Да,— сказал Георг.

— И ты хочешь уйти от нас неведомо куда? Ты не в своем уме!

Георг все еще смотрел в лицо Редеру, и оно казалось ему небом, усеянным звездами. Он сказал спокойно:

— Милый, милый Пауль, не могу я... ты, со всей твоей семьей... вы жили так спокойно, и вдруг я... Ты понимаешь, что ты говоришь? А если они сейчас поднимутся наверх? Может быть, они шли за мной по пятам...

Редер сказал:

— А тогда все равно уже поздно. Если они явятся, придется сказать, что я знать ничего не знаю. Этого нашего последнего разговора не было. Понимаешь — твои последние слова вовсе не были сказаны. А старый приятель всегда может с неба свалиться. Откуда мне знать, где тебя все это время носило?

— Когда мы последний раз виделись? — спросил Георг.

— Ты был здесь последний раз в декабре тридцать второго года, на второй день рождества, ты еще тогда съел все наше печенье.

Георг сказал:

— Они тебя будут допрашивать, без конца допрашивать. Ты не знаешь, какие способы они изобрели.— В его глазах сверкали те колючие искорки, которых в юности так боялся Франц.

— Пуганая ворона и куста боится. А почему полиция обратит внимание непременно на мою квартиру? Никто не видел, как ты вошел, иначе они давно были бы тут. Подумай лучше о том, что дальше, как тебе выбраться отсюда. Ты на меня не сердись, Жорж, но, по-моему, лучше тебе здесь не засиживаться.

— Я должен выбраться из этого города, из этой страны,— сказал Георг.— Мне нужно разыскать моих друзей!

— Твоих друзей! — засмеялся Пауль.— А ты отыщи сначала те щели, в которые они забились!

Георг сказал:

— Потом, как-нибудь, я расскажу тебе, что это за щели. У нас в Вестгофене тоже есть несколько десятков людей, о которых все и думать забыли. О!.. Я многое мог бы порассказать. Если к тому времени мы оба не заползем в такие щели.

— Да нет, Жорж,— сказал Пауль,— я просто вспомнил об одном парне, о Карле Гане из Эшерсгейма, он-то ведь потом...

Георг прервал его:

— Брось! — Он тоже вспомнил об одном человеке. Неужели Валлау уже мертв? Неужели он недвижим в этом мире, который так бешено мчится вперед? И Георг опять услышал голос Валлау, тот окликнул его «Жорж!» — один-единственный слог, донесшийся издалека.

— Жорж! — окликнул его коротышка Редер.

Георг вздрогнул. Пауль испуганно смотрел на него. На миг лицо Георга снова стало чужим. Он отозвался чужим голосом:

— Да, Пауль?

Пауль сказал:

— Я мог бы завтра пойти к этим твоим друзьям и проводить тебя.

— Дай мне собраться с мыслями, вспомнить, кто живет здесь в городе,— сказал Георг.— Ведь прошло больше двух лет.

— Никогда бы ты не попал во всю эту кутерьму,— сказал Пауль,— если бы не связался тогда с Францем. Помнишь? Он-то тебя и втянул в это дело, ведь до него ты... Ну, на собрания-то мы все ходили, в демонстрациях все участвовали. И гнев у нас в сердце тоже иной раз кипел. И надежды тоже у нас были. Но уж твой Франц — в нем вся загвоздка... .

— Это не Франц,— сказал Георг.— Это то, что сильнее всего на свете.

— Как так «сильнее всего на свете»? — спросил Пауль, откидывая валик кухонного дивана, чтобы удобнее уложить Георга.

VI

В этот вечер племянники Элли то и дело высовывались из окна, чтобы не упустить, когда привезут яблоки. Это были дети того самого зятя-эсэсовца, которым старик Меттенгеймер хвастал на допросе. Элли знала, что Франц приедет, только когда вся семья разойдется по соответствующим местам — зять отправится в свой отряд, дети в клуб, сестра — впрочем, не наверное — на женский вечер.

Сестра была несколькими годами старше Элли — пышногрудая женщина, черты лица более резкие, чем у Элли, и в них не светилась грусть, а, наоборот, выражалась постоянная жизнерадостность. Ее муж, Отто Рейнерс, был днем банковским чиновником, вечером — эсэсовцем, а ночью — когда бывал дома — и тем и другим. В прихожей было темно, и Элли, войдя, не заметила, что лицо у фрау Рейнерс, такое похожее на лицо Элли, очень расстроенное и встревоженное.

Дети бросились от окна к Элли, они все ее очень любили. Фрау Рейнерс только рукой махнула, словно уже опоздав удержать их от какой-то опасности. Она пробормотала:

— Ах, Элли, ты зачем пришла?

Элли сообщила ей по телефону о яблоках, но Рейнерс приказал жене отправить яблоки обратно или пусть платит за них сама. А главное, Элли не следует больше пускать в дом. Жена спросила — не рехнулся ли он? Тогда он взял ее за руку и объяснил, почему ей не остается ничего другого, как выбирать между Элли и собственной семьей.

Старшая из сестер Меттенгеймер сделала хорошую партию, фрау Рейнерс всегда была и осталась благоразумной. К тому, что Рейперс, бывший член «Стального шлема», вдруг оказался пылким приверженцем Гитлера, юдофобом и антицерковником, она отнеслась спокойно, словно это такие особенности в характере мужа, с которыми приходится мириться. Она ходила на женские вечера и на занятия по противовоздушной обороне, хотя ей там и было скучно. Она считала, что это ее супружеский долг и что семейную жизнь, под которой она разумела жизнь с мужем и детьми, вполне можно регулировать с помощью такта и компромиссов. Она была настолько благоразумна, что лишь про себя посмеивалась над терпимостью мужа к хождению детей в церковь и выполнению обрядов. Правда, это было не совсем безопасно, но все-таки — тоже перестраховка, так, на всякий случай.

Когда она увидела Элли, окруженную детьми,— они стащили с нее шляпу, рассматривали сережки и чуть не вывернули ей руки, так они тянули ее к себе,— ей стал ясен смысл того, что произошло за последние дни и как ей будет тяжело выполнить приказание мужа. Выбирать между Элли и моими детьми — какой вздор! А почему я вообще должна выбирать? И разве возможен подобный выбор? Она вдруг прикрикнула на детей, чтобы они оставили Элли в покое и уходили прочь.

Когда дети вышли, она спросила Элли, сколько стоят яблоки. Она отсчитала деньги, положила их на стол и, когда Элли запротестовала, сунула ей деньги в руку; затем, продолжая держать ее руку в своих, начала осторожно ее уговаривать.

— Ты сама понимаешь,— сказала она в заключение.— Мы ведь можем встречаться у родителей. Сегодня о нем опять сообщали по радио. Милая Элли, и почему ты тогда не вышла за моего деверя! Он был влюблен в тебя по уши. Ты, конечно, ни в чем не виновата. Но ты же знаешь Рейнерса. И ты не представляешь, что еще тебя ждет!

В другое время у Элли просто сердце остановилось бы от неожиданных слов сестры, а теперь она подумала: только бы она

меня не вышвырнула до того, как Франц придет с яблоками. Она сказала спокойно:

— А что же еще меня может ждать?

— Рейнерс говорит, они могут арестовать тебя вторично, ты об этом думала?

— Да,— сказала Элли.

— И ты можешь быть так спокойна, разгуливать по улицам, покупать на зиму яблоки?

— А ты думаешь, они меня не арестуют, если я не буду покупать яблоки?

Элли всегда какая-то полусонная, размышляла сестра, опустит глаза и прячет свои мысли, а длинные ресницы — как занавески. Она сказала:

— Тебе незачем дожидаться яблок.

Поспешно и решительно Элли возразила:

— Ну уж нет, я эти яблоки заказала и не желаю, чтобы нас надули. Не позволяй своему Рейнерсу морочить тебе голову. За несколько минут я не заражу вашей квартиры. Да я ее все равно уже заразила.

— Знаешь что? — сказала сестра после короткого раздумья.— Вот тебе ключ от чулана. Поднимись наверх, сотри пыль с полок и переставь на шкаф банки с вареньем. Ключ потом сунешь под циновку.— Она повеселела, придумав способ удалить Элли из квартиры, не выгоняя ее. Она привлекла сестру к себе и хотела поцеловать, что делала обычно только в день ее рождения, но Элли отвернула лицо так, что поцелуй пришелся в волосы.

Когда дверь за Элли захлопнулась, сестра подошла к окну. Вот уже пятнадцать лет, как они живут на этой тихой улице. Но даже ее трезвому взору эти привычные, обыкновенные дома казались сегодня какими-то другими, точно она смотрела на них из проносящегося мимо поезда. В ее холодном сердце возникло сомнение, хотя оно и приняло форму привычных хозяйственных расчетов: все это гроша медного не стоит...

Тем временем Элли открыла окно в чулане, чтобы проветрить его, так как воздух был затхлый. На этикетках банок с вареньем сестра аккуратно вывела название сорта, число и год. Бедная сестра! Элли испытывала к ней странную, необъяснимую жалость, хотя старшей как будто повезло больше, чем ей. Молодая женщина села на сундук и принялась ждать, сложив руки на коленях, опустив ресницы, поникнув головой, так же как она сидела вчера на тюремной койке, так же как она завтра будет сидеть неизвестно где.

Франц поднимался по лестнице, спотыкаясь под тяжестью корзин. Это все-таки друг, сказала себе Элли, еще не все потеря-

но. Они принялись быстро разгружать корзины, и их руки встречались. Элли сбоку посмотрела на Франца. Он был молчалив, он прислушивался. Мало ли почему они могли подняться сюда. Вероятно, Герман будет не слишком доволен, узнав об их встрече, даже если все обойдется благополучно.

— Ты что-нибудь придумала? — спросил Франц.— Как ты считаешь, он в городе?

— Да,— сказала Элли,— мне кажется, да.

— Почему ты в этом уверена? Ведь в конце концов отсюда далеко до лагеря... И здесь многие его знают.

— Да, но и он знает многих. Может быть, у него здесь есть какая-нибудь девушка, на которую он надеется...— Она слегка нахмурилась.— Три года назад, почти перед самым арестом, я видела его издали в Нидерраде. Он меня не заметил. Он шел с девушкой, не просто под руку, а вот так — рука с рукой, ну, может быть, одна из таких девушек...

— Может быть; но отчего ты так уверена?

— Да, совершенно уверена, у него здесь, должно быть, есть кто-нибудь — приятельница или друг. Да и гестапо в этом уверено, они все еще за мной следят, а главное...

— Что главное?

— Я чувствую это,— сказала Элли.— Я чувствую это: вот тут — и тут.

Франц покачал головой.

— Милая Элли, даже для гестапо это не доказательство.

Они уселись на сундук. Только теперь Франц посмотрел на нее. Он охватил Элли жадным взглядом с головы до ног — это продолжалось одно мгновенье. Он урвал это мгновенье у тех немногих, которые были дарованы им, у того невероятно скудного времени, какое было отпущено им для жизни. Элли опустила глаза. И хотя она до сих пор никогда не вспоминала о Франце, хотя ей чудилось, что она идет по канату, натянутому над бездной, хотя то, что свело их здесь в чулане, было вопросом жизни и смерти,— ее сердце невольно забилось чуть быстрее, предчувствуя слова любви.

Франц взял ее за руку. Он сказал:

— Дорогая Элли, милее всего мне было бы уложить тебя в одну из этих корзин, снести по лесенке, поставить на тележку и увезти. Ей-богу, это было бы мне милее всего, но это невозможно. Поверь мне, Элли, я все эти годы хотел тебя снова увидеть, но пока нам больше нельзя встречаться.

Элли подумала: сколько людей говорят мне, что они меня очень любят, но им больше нельзя со мной встречаться.

Франц сказал:

— Ты подумала о том, что они тебя могут вторично арестовать, как они часто делают с женами беглецов?

— Да,— отвечала она.

— Ты боишься?

— Нет, какой смысл?

«Почему же именно она не боится?» — подумал Франц. В нем шевельнулось глухое подозрение, что ей все еще приятно быть хоть чем-то связанной с Георгом. Он неожиданно спросил:

— А кто, собственно, был тот человек, которого они тогда вечером у тебя арестовали?

— Ах, просто мой знакомый,— отвечала Элли. К стыду своему, она почти совсем забыла про Генриха. Нужно надеяться, что бедняга опять у своих родителей! Насколько она его знает, он тоже после столь печального приключения никогда к ней не вернется. Не такой он человек.

Все еще держась за руки, они смотрели перед собой. Печаль сжимала их сердца.

Затем Франц сказал совсем другим, сухим тоном:

— Так ты, Элли, припомнила, кто из прежних знакомых Георга здесь в городе мог бы принять его?

Она назвала несколько фамилий; кое-кого из этих людей Франц знавал раньше. Но нет, Георг, если его рассудок еще не помутился, не пойдет к ним. Затем два-три совсем незнакомых имени, заставившие Франца насторожиться, затем друг детства Георга, маленький Редер, о котором подумал и сам Франц, затем старик учитель, но он давно уже стал пенсионером и уехал отсюда.

Есть две возможности, размышлял Франц: или Георг потерял разум и не в состоянии соображать, тогда все наши планы бесцельны, тогда ничего нельзя предвидеть, ничем нельзя ему помочь; или он еще в силах думать, и тогда его мысли должны идти в одном направлении с моими; кроме того, Герман, наверно, знает, с кем Георг встречался перед самым арестом. Но прямо от Элли нельзя отправиться к Герману. А часы идут и проходят бесплодно. Он забыл о сидевшей рядом с ним женщине. Франц быстро вскочил — ее рука, лежавшая у него на коленях, соскользнула — и составил пустые корзины, в которых мечтал унести Элли. Элли заплатила за яблоки, он дал сдачу. Затем добавил:

— Если спросят, мы скажем, что ты дала мне пятьдесят пфеннигов на чай.— Он был готов к тому, что его при выходе из дома задержат.

И только когда тревога прошла, когда Франц выбрался из этого дома, когда его скрипучая тележка уехала с этой улицы,

только тогда ему вспомнилось, что они с Элли даже не простились и не обсудили возможность встретиться опять.

У Марнетов он рассчитался, не забыл и про чаевые.

— Это уж тебе,— сказала фрау Марнет, решившая быть великодушной.

Когда он, перекусив, ушел в свой чулан, Августа сказала:

— Сегодня он получил отставку, ясно.

Ее муж сказал:

— Вот увидишь, он еще вернется к Софи.

Когда Бунзен куда-нибудь входил, людям хотелось извиниться за то, что комната слишком тесна и потолок низок. А на его красивом мужественном лице появлялось снисходительное выражение, словно он хотел сказать, что зашел только на минутку.

— Я видел, что у вас свет,— сказал он.— Да, нелегкий денек выдался.

— Садитесь,— сказал Оверкамп. Он отнюдь не был в восторге от гостя. Фишер встал со стула, на который усаживался во время допросов, и перешел на скамейку у стены. Оба они отчаянно устали.

— Знаете что,— сказал Бунзен,— у меня есть в комнате водка.— Он вскочил, распахнул дверь и крикнул в темноту: — Эй, эй! — Донеслось щелканье каблуков.

Казалось, весь мир за порогом померк, и туман, точно пар, тяжелыми волнами катился через порог в компату. Бунзен сказал:

— Я обрадовался, что у вас еще свет. Откровенно говоря, я уже просто не в силах все это выдерживать.

Оверкамп подумал: господи, этого еще недоставало. А угрызения совести — это не меньше чем на полтора часа. Он сказал:

— Милый друг, в этом мире — уж так он устроен — выбор сравнительно невелик: или мы держим людей известного сорта за колючей проволокой и стараемся — гораздо усерднее, чем это было принято до нас,— чтобы они там и оставались, или за проволокой сидим мы, и они сторожат нас. Но ввиду того, что первое положение разумнее, приходится, чтобы сохранить его, предварительно принять целый ряд разнообразных и довольно неприятных мер.

— Вот-вот, я совершенно с вами согласен,— отозвался Бунзен.— Тем более мне претит дурацкая болтовня нашего старика Фаренберга.

— А это, милый Бунзен,— сказал Оверкамп,— уж ваше личное дело.

— Теперь, когда притащился Фюльграбе, старик твердо уверен, что всех переловит. А вы что думаете на этот счет, Оверкамп?

— Я — следователь Оверкамп, а не пророк Аввакум. И ни к великим, ни к малым прорицателям не принадлежу, я здесь выполняю тяжелую работу.

Он подумал: этот лоботряс все еще невесть что о себе воображает только оттого, что в понедельник утром он один отдал несколько вполне естественных распоряжений, вытекающих из правил служебного распорядка.

Появился поднос с водкой и рюмками. Бузен налил, осушил одну, затем вторую, третью. Оверкамп наблюдал за ним с профессиональным вниманием. На Бунзена водка оказывала своеобразное действие. По-настоящему пьяным он, может быть, никогда не бывал, но уже после третьей рюмки в его словах и движениях замечалась какая-то перемена. Даже кожа на лице слегка обвисла...

— И притом,— продолжал Бунзен,— я сильно сомневаюсь, чтобы эти четыре субъекта на своих крестах еще что-нибудь чувствовали, а уж пятый, Беллони,— тот наверняка ничего не чувствует, поскольку висят только его старый фрак и шляпа. Ну, остальные заключенные, когда их выстраивают на «площадке для танцев» — хочешь не хочешь, а смотри,— те, конечно, чувствуют. Эти же четверо — они ведь знают, что их ждет... Говорят, когда знаешь, все становится безразлично и совсем ничего не чувствуешь. Да и потом — им просто неудобно стоять, ведь даже не колет, это только Фюльграбе хныкал, что он обманулся в своих лучших надеждах. Интересно, возьмут его еще раз в оборот сегодня? Если да, пустите и меня посмотреть.

— Нет, дорогой мой.

— Отчего же нет?

— Служба, мой друг. У нас на этот счет строго.

— Знаем мы ваши строгости,— сказал Бунзен, его глаза заблестели.— Дайте мне хоть на пять минут этого Фюльграбе, и я вам скажу, случайно он встретился с Гейслером или нет.

— Он может наплести вам, будто с Гейслером даже условился, если вы дадите ему пинка в живот. Но я вам и после этого скажу, что встреча эта только случайность, а отчего? Да оттого, что Фюльграбе тряхнуть достаточно, и показания сыплются, как сливы с дерева; оттого, что у меня свое представление о Фюльграбе и свое представление о Гейслере. Мой Гейслер никогда не станет уславливаться с Фюльграбе о встрече в городе среди бела дня.

— Если он остался сидеть на скамейке, как говорит Фюльграбе, значит, он еще кого-то поджидал. А все управляющие домами и все дворники получили его фото?

— Милый Бунзен,— сказал Оверкамп,— будьте благодарны хотя бы за то, что другие люди берут на себя столько забот.

— Ваше здоровье!

Они чокнулись.

— Не можете ли вы хорошенько вывороτить мозги этому Валлау? Там должна быть фамилия того, кого дожидался Гейслер. Отчего бы вам не устроить очную ставку между Фюльграбе и Валлау?

— Милый Бунзен, ваша идея подобна шотландской королеве Марии Стюарт, она хороша, но не счастлива. Впрочем, если вы так интересуетесь этим — извольте, мы допрашивали Валлау очень подробно, вот протокол допроса.

Он достал из стола пустой листок. Бунзен изумленно уставился на листок. Затем улыбнулся. Его зубы, при смелых и крупных чертах лица, были, пожалуй, мелковаты. Мышиные зубки.

— Дайте мне вашего Валлау до завтрашнего утра.

— Можете захватить с собой этот клочок бумаги,— сказал Оверкамп,— и пусть он выплевывает на него кровь.— Он сам налил Бунзену еще. Полупьяный Бунзен обращался только к Оверкампу, сидевшему прямо перед ним. Фишера он как будто не замечал. Фишер, ссутулясь на своей скамейке, осторожно, чтобы не закапать брюки, держал в руке полную рюмку — он никогда не пил. Оверкамп сделал ему знак бровями. Фишер встал, спокойно обогнул Бунзена, подошел к столу, снял телефонную трубку.— Ах, извините,— сказал Оверкамп,— служба есть служба.

— А похож на архангела в латах, вроде святого Михаила,— сказал Фишер, как только Бунзен вышел.

Оверкамп поднял хлыстик, лежавший возле стула, осмотрел, как осматривал тысячи подобных вещей, держа осторожно, чтобы не стереть отпечатка пальцев. Затем сказал:

— Ваш святой Михаил позабыл свой меч.— Он крикнул часовому за дверью: — Прибрать здесь! Мы кончаем! Часовые остаются на своих местах.

В этот вечер Герман уже в третий раз спрашивал у своей жены Эльзы, не просил ли Франц что-нибудь передать ему. А Эльза в третий раз рассказывала, что Франц заходил позавчера и хотел его видеть, но больше не был. «В чем тут дело? — размышлял Герман.— Ведь сначала он точно помешался на этом побеге, только о нем и говорил, а теперь как сквозь землю провалился. Не затеял ли он чего-нибудь на свой страх и риск? Или, может быть, с ним тоже беда случилась?»

В кухне Эльза что-то мурлыкала себе под нос низким, чуть хриплым голосом: казалось, пчелка жужжит песенку о розочке. Это жужжание по вечерам успокаивало Германа, и он переставал корить себя за то, что женился на девочке, ничего не ведавшей ни

о нем и ни о чем вообще. А сегодня вечером Герман даже признался себе, что без этой девочки ему было бы трудно выносить такую жизнь, с ее угрюмым отшельничеством и постоянными тревогами. Герман уже знал, что Валлау пойман. С трудом оторвался он от виденья лежащего на земле окровавленного тела, которое стараются разрушить пинками и побоями, оттого что в нем обитает нечто нерушимое. Оторвался и от мыслей о себе, от непроизвольного лицезрения собственного тела, которое так же легко разрушить, но в котором, он надеялся, тоже обитает нечто нерушимое. Он обратился мыслями к непойманным беглецам. И прежде всего — к Георгу Гейслеру; ведь Гейслер родом из этих мест и, возможно, будет искать убежища здесь. То, что Франц рассказал ему о Георге, было, по мнению Германа, слишком переплетено с какими-то туманными чувствами. Но на основе всего, что ему было известно от других — он лично Гейслера никогда не видел,— Герман уже нарисовал себе определенный образ: человек, который не щадит себя и готов многим пожертвовать, чтобы выиграть. А то, чего ему недоставало, он мог восполнить в общении со своим товарищем по заключению — Валлау. Самого Валлау Герман знал мало, но что это за человек — сразу видно. Надо поскорее приготовить деньги и документы, размышлял Герман. Он опять с трудом оторвался — теперь уже от мыслей о человеке, которого преследуют и который может неожиданно появиться здесь. Вопрос в том, необходимо ли завтра же добраться до того единственного места, где все это на всякий случай заготовлено? Больше я в данном случае не могу сделать. И это я сделаю, сказал он себе и успокоился. В кухне пчелка жужжала «Мельницу». Без Эльзы, сказал себе Герман, я был бы еще менее спокоен. И что она здесь — это хорошо.

Франц бросился на свою постель. Он так устал, что заснул не раздеваясь. Ему приснилось, будто он опять в чулане с Элли и он решил с нею проститься как следует. Вдруг Элли потеряла одну из своих сережек; сережка упала в яблоки. Они принялись искать. Ему стало страшно, ведь время идет, а сережку найти необходимо, но яблок так много, их все больше и больше. «Вот она!» — крикнула Элли, однако сережка только мелькнула между яблоками, как божья коровка, и они с Элли продолжают искать. Теперь их оказывается уже не двое — все помогают им. Фрау Марнет роется в яблоках, и Августа, и дети, и этот веснушчатый Редер. И Эрнст-пастух со своим красным шарфом и своей Нелли, Антон Грейнер и его двоюродный брат — эсэсовец Мессер, даже Герман перебирает яблоки и секретарь районной организации, который

был здесь в двадцать девятом году. Интересно, куда он делся? Ищут Софи Мангольд и Кочанчик; толстая кассирша, с которой Франц когда-то видел Георга, когда тот порвал с Элли, тоже, пыхтя, роется в яблоках. И вдруг его осенило: да ведь и у нее можно переночевать. Она, конечно, толста, как бочка, но вполне приличная особа. И вот уже нет яблок, он сидит на своем велосипеде и катит вниз по дороге в Гехст. Как он и ожидал, в киоске с сельтерской торгует толстая кассирша, и на ней сережки Элли, но о Георге нет и речи, и вот Франц несется дальше на своем велосипеде. Его страх все растет, ему чудится, что уже не он ищет, а его ищут. Наконец ему приходит в голову, что Георг, конечно, дома. Где же еще? Он, конечно, сидит в их общей компате. Какая мука опять подниматься туда! Но Франц пересиливает себя, он поднимается и входит. Георг сидит верхом на стуле, закрыв лицо руками. Франц начинает укладывать свои вещи,— ведь после всего, что было, их совместная жизнь кончилась, от нее осталось только тягостное воспоминание. Глаза Георга преследуют его, каждое движение причиняет боль. В конце концов он оборачивается. Тогда Георг отнимает руки от лица. Оно совершенно бесформенное. Кровь течет из ноздрей, изо рта и даже из глаз. Франц хочет вскрикнуть и не может, а Георг спокойно говорит: «Из-за меня, Франц, тебе незачем съезжать».

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Закон, по которому человеческие чувства разгораются и гаснут, был неприложим к этой пятидесятичетырехлетней женщине, сидевшей у окна в доме на Шиммельгэсскен, протянув больные ноги на стул. Женщина была мать Георга.

После смерти мужа фрау Гейслер продолжала жить со вторым сыном и его семьей. Она не только не похудела, но стала еще полнее. В ее ввалившихся карих глазах было постоянное выражение страха и укора, как в глазах утопающего. Сыновья уже привыкли к этому выражению и к коротким вздохам, которые вырывались из ее полуоткрытых губ, точно это был пар, исходивший от ее мыслей; и теперь им казалось, что когда матери скажешь что-нибудь, она уже не понимает или, во всяком случае, до нее не доходит истинный смысл сказанного.

— Если он явится, так поверь, не станет подниматься по парадной лестнице,— сказал второй сын.— Он пройдет задворками. И влезет через балкон, как раньше. Ведь он не знает, что ты спишь

уже не в твоей прежней комнате. Отправляйся-ка лучше к себе. Ложись спать.

Женщина судорожно напрягла плечи и пошевелила ногами, но она была слишком грузна и не могла подняться сама. Младший сын торопливо сказал:

— Ты ведь ляжешь, мама, и примешь валерьянки, и засов на двери задвинешь?

Второй сказал:

— Это самое лучшее, что ты можешь сделать.

Он был грузный и коренастый и казался старше своих лет. Его крупная голова была коротко острижена, брови и ресницы были недавно опалены пламенем паяльной лампы, и это придавало его лицу что-то тупое. В свое время он был красивым парнишкой, как и все мальчишки Гейслеры. Теперь это был типичный штурмовик, весь он как-то огрубел и раздался. Гейни, младший, был именно таков, каким его описал Редер. Рост, форма головы, волосы, зубы — все как будто было создано его родителями в точном соответствии с рецептами расистов. Насильственно улыбаясь, второй сделал вид, будто намеревается отнести мать вместе с ее двумя стульями в постель. Но вдруг он остановился, словно прикованный к месту ее взглядом — взглядом, стоившим ей, вероятно, героических усилий. Он снял руку со спинки стула, опустил голову. Гейни сказал:

— Ты поняла, мама, да? Что ты говоришь?

Старуха ничего не сказала, она посмотрела на младшего сына, потом на второго, потом опять на младшего. Крепкая была, видно, броня у этого парня, если он мог вынести подобный взгляд! Второй подошел к окну. Он посмотрел вниз, на темную улицу. Гейни принудил себя быть спокойным — но не для того, чтобы выдержать взгляд матери, он просто не заметил его.

— Ну, ложись же наконец,— сказал он.— Чашку поставь возле кровати. Придет он или нет — не твоя забота. Тебе и вспоминать-то о нем не следует. Ведь нас еще трое у тебя, верно?

Брат слушал, продолжая смотреть на улицу. Ну и тон появился у этого Гейни, а ведь когда-то он был любимчиком Георга. Теперь сам участвует в этой охоте, и хоть бы что. Доказать хочет подросткам из гитлерюгенда, да и взрослым, что ему на Георга наплевать, хотя когда-то он цеплялся за него, как репей. До чего они исковеркали малыша, это просто чудовищно, а ведь, кажется, его самого так обработали, что дальше некуда. Полтора года назад он вступил в ряды штурмовиков, так как уже не мог без ужаса вспоминать о пяти истекших годах безработицы. Да, этот ужас был одной из немногих реакций его сонного и вялого мозга. Второй был самым неразвитым и глупым из мальчиков Гейслер.

Завтра ты опять потеряешь работу, сказали ему, если не вступишь сегодня. В его неповоротливом, тупом мозгу все еще жила тень какой-то мысли, что вся эта волынка не всерьез, что последнее слово еще не сказано. Все это просто наваждение и должно кончиться. Но как? Через кого? Когда? Этого он и сам не знал. И, слушая, каким наглым, ледяным тоном Гейни говорит с матерью, тот самый Гейни, которого Георг таскал на плечах на все демонстрации и который теперь только и бредил фюрерскими школами, эсэсовцами и моторизованными частями,— слушая его, второй брат чувствовал, что у него с души воротит. Он отошел от окна и уставился на юношу.

— Я пойду проведаю Брейтбахов, а ты ляжешь, мама,— сказал Гейни.— Ты все поняла?

И мать, к их великому изумлению, ответила:

— Да.

Старуха наконец додумала свои мысли. Она спокойно сказала:

— Принеси-ка мне валерьянки.— Приму, подумала она, чтобы сердце не подстроило мне какой-нибудь каверзы, и лягу, пусть они уйдут. А я тогда сяду у двери и, как услышу, что Георг идет двором, закричу изо всех сил: гестапо!

Вот уже три дня, как все они, особенно Гейни и жена второго сына, втолковывают ей, что у нее и без Георга большая семья — три сына и шестеро внучат — и все они могут от ее безрассудства погибнуть. А мать молчит. В былые дни Георг был для нее просто одним из ее четырех сыновей. Он доставлял ей немало забот. Вечные жалобы соседей, учителей. Он то и дело ссорился с отцом, с обоими старшими братьями. Со вторым — оттого, что тот был равнодушен ко всему, что волновало Георга, со старшим — оттого, что волновало их одно и то же, но брат смотрел на все иначе, чем Георг.

Старший брат жил теперь с семьей на другом конце города. О побеге Георга он услышал по радио и читал в газетах. И если после ареста Георга дня не проходило, чтобы этот брат не думал о нем, то теперь он почти только о нем одном и думал. Найди он какой-нибудь способ помочь ему, он не пожалел бы ни себя, ни своей семьи. Сотни раз спрашивали его на заводе: «Этот Гейслер не родня тебе?» И сотни раз отвечал он тем тоном, от которого вокруг воцарялось молчание: «Это мой брат».

Мать когда-то предпочитала старшего, а по временам — самого младшего. Она очень любила и второго, который, быть может, был предан ей больше всех и неуклюже, по-своему относился к ней внимательнее других.

Все это теперь изменилось. Ибо вопреки тому, как это обычно бывает в жизни, чем дольше Георг отсутствовал, чем меньше о нем

доходило слухов и чем реже люди о нем спрашивали, тем яснее вставало перед ней его лицо, тем отчетливее становились воспоминания. Ее сердце ничего не хотело знать о ближайших планах и осязаемых надеждах трех сыновей, живших подле нее своей жизнью. Она все больше обращалась к планам и надеждам отсутствующего сына, быть может потерянного навсегда. Ночами она сидела на кровати, воскрешая в своей памяти давно исчезнувшие подробности: рождение Георга, маленькие горести и беды его ранних детских лет, первую тяжелую болезнь, когда она едва не лишилась его, военные годы, когда она работала на заводе и кое-как перебивалась с сыновьями, какую-то кражу овощей в поле, из-за которой у Георга были неприятности, его маленькие успехи, как-никак утешавшие ее, и скудную награду за них — то учитель похвалит его, то мастер назовет способным, то он выйдет победителем в спортивном состязании. Она с гордостью и досадой вспоминала его первую девушку и всех его последующих девушек. Вспоминала Элли, которая так до конца и осталась ей чужой — даже ребенка не принесла показать,— а потом этот полный переворот в его жизни! Нельзя сказать, чтобы Георг внес в семью что-то чуждое, но то, что у отца и у братьев бывало только как эпизод — случайное слово, стачка, листовка, у него стало главным, самой основой его существа.

И словно кто-то хотел ей доказать, что да, у тебя только три сына, а этому четвертому и родиться-то не стоило, и жить-то на свете ему не следует,— она изыскивала сотни возражений. Часами Гейни втолковывал ей, что улица оцеплена, за домом слежка, все гестапо поставлено на ноги. Надо ей подумать и об остальных трех сыновьях.

И тогда она отреклась от этих трех сыновей. Пусть сами о себе заботятся. Только от Георга она не отреклась. Второй сын заметил, что мать непрерывно шевелит губами. А она думала: господи, ты должен помочь ему. Если ты существуешь, помоги ему. А если тебя нет... И она отворачивалась от ненадежного защитника. Она обращала свою молитву ко всем, ко всей жизни в целом: и к той части жизни, которая была ей известна, и в те смутные, таинственнейшие зоны, где все ей было неизвестно, но где, быть может, все-таки существуют люди, имеющие власть помочь ее сыну. Может быть, тут или там найдется кто-нибудь, до кого дойдет ее молитва.

Второй сын снова подошел к креслу матери. Он сказал:

— Я не хотел говорить при Гейни, на него нельзя положиться. Я сговорился с Цвейлейном, жестянщиком.— Она радостно посмотрела на сына. Быстро и легко опустила ноги на пол.— Цвейлейн живет в угловом доме, от него видны обе улицы. Георг на-

верняка придет со стороны Майна, если придет. Я, конечно, не очень распространялся перед Цвейлейном, а так, только подмигнул.— Он сделал какое-то движение, показывая матери, как говорил с жестянщиком.— И он мне тоже подмигнул. Он не ляжет и будет сторожить, чтобы Георг как-нибудь не угодил на нашу улицу.

От этих слов глаза старухи засияли. Минуту перед тем все ее лицо было вяло и дрябло, как сырое тесто; теперь оно вдруг налилось и окрепло, словно его воодушевляла новая жизнь. Старуха схватила сына за руку, чтобы подняться. Затем сказала:

— А если он все-таки придет со стороны города? — Сын пожал плечами. Мать продолжала, скорее обращаясь к самой себе: — Представь — вдруг он забежит к Лорхен, а она заодно с Альфредом, и они непременно донесут на него?

— Не ручаюсь, может быть, и не донесут. Но он, во всяком случае, придет со стороны Майна. Цвейлейн будет караулить.

Женщина сказала:

— Он погиб, если придет сюда.

Сын сказал:

— Даже и тогда он еще не погиб.

II

День уже наступал, но рассвет был незаметен из-за тумана, который окутывал деревни. В кухне одного из домов на краю Либаха все еще горела лампа, когда из него вышла девушка с двумя ведрами. Поеживаясь от утреннего холода, она направилась к воротам и поставила ведра наземь. Девушка ждала молодого садовода, который считался ее женихом, и лицо у нее было тихое и спокойное.

Она зябко повела плечами. Туман быстро проникал сквозь платье; все стало седым, даже головной платок. Ей почудились шаги, он должен вот-вот появиться — она уже протянула руки. Но в воротах по-прежнему никого нет. Не тревога, только легкое удивление отразилось на ее лице, и она продолжала ждать. Чтобы согреться, она похлопала себя по плечам, скрестив руки. Затем вышла за ворота и посмотрела вниз. Туман — хоть ножом режь! Поднимется он или спадет? Вот на дороге появились две тени, одна из них, должно быть, Фриц. Должно быть, но это не он. Тени скрываются в теневом доме. Девушка отворачивается. Впервые на ее лице — разочарование, оттого что она ждала напрасно, хотя прошло всего только несколько лишних минут. Значит, он придет в обед, вот и все. Она берется за ведра, относит их в хлев,

возвращается домой с пустыми ведрами. В кухне уже три раза пытались обойтись без света. И всякий раз приходилось снова зажигать его, а то бабушка ни в очках, ни без очков не может выбирать чечевицу. Старшая кузина провертывает морковь, младшая выметает сор за порог. Мать быстро наполняет оба ведра, которые ей пододвигает девушка. Изо всех четырех женщин ни одна не заметила, что Фриц не пришел. И девушка думает: ничего-то они не замечают.

— Смотри, осторожнее,— говорит мать, так как немного пойла пролилось на пол.

Когда девушка вторично проходит с ведрами через двор, далеко-далеко, у двери в лавку, звякает колокольчик. Он звякает оттого, что садовник Гюльтчер вошел купить себе табаку. Гельвиг ждет у двери лавки. Вчера он вторично получил вызов. Опять они хотят выяснить что-то насчет куртки.

— Да, но ведь это же не твоя куртка? — спросила мать. И он ответил ей с той же твердостью:

— Нет!

Всю ночь Фриц Гельвиг раздумывал, о чем еще его могут спросить. Утром он включил радио. Описывались приметы беглецов — теперь их осталось только двое,— и его в жар бросило от волнения. Может быть, они уже захватили и того, которого он называл своим. И может быть, его беглец сказал: «Да, это та самая куртка».

Отчего Гельвиг почувствовал себя вдруг таким одиноким? Он не мог посоветоваться ни с отцом, ни с матерью, ни с друзьями, с которыми был так близок. Даже с Альфредом, которому слепо верил, со своим шарфюрером, не мог он посоветоваться. Еще неделю назад ему казалось, что во всем порядок, на душе у него спокойно и безмятежно, а в мире все идет как надо. Прикажи ему Альфред еще неделю назад стрелять в беглеца, он бы выстрелил. И прикажи ему Альфред притаиться в сарае с кинжалом и сидеть там, пока беглец не проскользнет внутрь, чтобы выкрасть куртку, Фриц заколол бы его, не дав ему коснуться куртки.

И вот он увидел, что садовник Гюльтчер идет по дороге, и побежал за ним; Гюльтчер — старик, он Гельвигу в отцы годится, этот ворчун с неизменной трубкой в зубах. И Гельвиг прямо-таки побежал за ним. Этому многое можно сказать.

— Меня опять вызывают.

Гюльтчер быстро взглянул на мальчика и промолчал. Молча дошли они вместе до лавки. Фриц решил подождать. Гюльтчер вышел, набивая трубку, и они снова зашагали рядом. Фриц совсем забыл о своей девушке, словно ее никогда и не было. Он сказал:

— Зачем это они меня опять вызывают?

— Если это действительно не твоя куртка...

— Я же объяснил им, чем моя куртка отличается от той. Может быть, они и человека по куртке поймали... Ведь их только двое осталось.

Гюльтчер продолжал молчать. Тот, кто не спрашивает, получает самые обстоятельные ответы.

— И может быть, он сказал: да, это та самая куртка...

Наконец Гюльтчер ответил:

— Возможно... Они могли так нажать на него, что он сказал...— Из-под полуопущенных век старик испытующе посмотрел на Гельвига; он внимательно посматривал на него уже два дня.

Гельвиг нахмурился:

— Да? Ты думаешь? А как же я?

— Ах, Фриц, да ведь на свете сотни таких курток.

Они направились к зданию училища, уверенно шагая по знакомой дороге, несмотря на туман. Не одна мысль — буря мыслей проносилась в голове садовника. Он не мог бы определить, чем этот подросток, идущий с ним рядом, отличается от других учеников. Старик даже не был вполне уверен, что он отличается. И все же тут что-то не так. Не менее, чем сам Оверкамп, садовник был убежден, что в этой истории с курткой что-то не так. Гюльтчер вспомнил о собственных сыновьях. Они принадлежали частично ему, а частично гитлеровскому государству. Дома они принадлежали ему. Дома они соглашались с ним, что и при Гитлере богатые остались богатыми, а бедняки бедняками. Но вне дома они носили форменные рубашки и в нужный момент кричали «хайль». Сделал ли он все возможное, чтобы пробудить в них протест? Отнюдь нет! Это привело бы к распаду семьи, к тюрьме, пришлось бы принести в жертву собственных сыновей. Но как может человек решиться на такой выбор, перешагнуть через все это? Однако такие люди есть — и в его стране, и особенно за границей. Взять хотя бы тех, кто борется в Испании: ведь уверяют, что они побеждены, но, видимо, до сих пор еще нет. Они перешагнули через это! Сотни тысяч! И все они — бывшие Гюльтчеры. Если бы куртка была украдена у одного из его сыновей, что бы он посоветовал ему? Так вправе ли он советовать этому подростку, сыну других родителей? Какие вопросы! Какова эта жизнь!

Он сказал:

— Конечно, все эти готовые куртки совершенно одинаковы Гестапо достаточно позвонить и справиться. И застежки «молнии» все как одна. И карманы тоже. Но если ключ или карандаш прорвут у тебя в подкладке дырку, никакое гестапо тут ничего не докажет. Вот на такой разнице ты и должен настаивать.

III

За эту ночь в Вестгофене Фюльграбе пять раз поднимали на допрос именно в ту минуту, когда он был готов заснуть от изнеможения. Так как он своим добровольным возвращением в лагерь показал с достаточной ясностью, что единственным стимулом его поступков был страх, то он тем самым дал своим преследователям в руки и средство воздействия на него, если он обнаружит хотя бы малейшие признаки неповиновения. Наконец-то Оверкампу, после всех этих сомнительных улик и неопознанных курток, удалось заполучить кусок живого Гейслера. Правда, Фюльграбе даже во время пятого допроса все еще упорствовал, едва речь заходила о встрече с Георгом, хотя он сам проговорился о ней, когда весьма решительные угрозы вынудили его дать отчет о его побеге час за часом. Фюльграбе только дергался и ерзал на стуле; что-то в механизме допроса вдруг заело, хотя до того машина работала без перебоев. Какое-то постороннее вещество точно вдруг примешалось к страху, смазывавшему все частицы его мозга. Но Фишеру не пришлось даже взять телефонную трубку и вызвать Циллиха: уже одно это имя подействовало, как сепаратор. Чувство страха отделилось от вторичных чувств; видение мучительной смерти отделилось от ощущения жизни; теперешний Фюльграбе, седой и дрожащий, отделился от давно позабытого Фюльграбе, еще способного на вспышки мужества, надежды; пустые выдумки отделились от протокольной точности.

— В четверг, незадолго до полудня, я встретился с Георгом возле Эшенгеймской башни. Он повел меня в парк и усадил на скамью на первой дорожке влево от большой клумбы с астрами. Я пытался уговорить его вернуться вместе со мной. Но он об этом и слышать не хотел. На нем было желтое пальто, коричневый котелок, полуботинки — не совсем новые, но и не поношенные. Не знаю, зачем он был в этом парке. Не знаю, были ли у него какие-нибудь деньги. Не знаю, поджидал ли он кого-нибудь. Он остался сидеть на скамейке. Думаю, что поджидал, так как проводил меня именно на эту скамейку и остался сидеть на ней. Да, уходя, я еще раз обернулся и увидел, что он сидит.

Когда рано утром Пауль Редер вышел из своей квартиры, городские власти уже получили соответствующие этим указаниям инструкции, и некоторые начальники кварталов уже получили их, но еще не сообщили дворникам. Ведь события, покинув громкоговорители и телеграфные провода, опять попадают во власть человеческих существ.

Дворничиха очень удивилась, что Редер так рано отправился на работу. Она сообщила об этом своему мужу, когда тот вышел на парадное с ведерком жидкого мыла, чтобы подлить ей в таз. И она и муж ничего не имели против Редеров, иногда только жильцы жаловались на то, что фрау Редер поет в неуказанное время, но, в общем, это были приятные люди, и ладить с ними было легко.

Посвистывая, Редер спешил по окутанной туманом улице на остановку. Пятнадцать минут туда, пятнадцать минут обратно, остается еще полчаса на то, чтобы зайти в два места,— допуская, что в первом ничего не выйдет. Он сказал Лизель, что сегодня ему надо выйти пораньше, чтобы поймать своего друга Мельцера, бокенгеймского голкипера. «Позаботься о Георге, пока я вернусь»,— сказал он уходя. Всю ночь он пролежал рядом с Лизель, не смыкая глаз, но под утро все-таки забылся.

Редер перестал свистеть. Он ушел без кофе, губы его пересохли. И тусклый рассвет, и жажда, и самая мостовая, еще как бы насыщенная мраком, точно предостерегали его: берегись! Подумай о том, чем ты рискуешь!

Редер повторял про себя: Шенк, Мозельгассе, двенадцать; Зауэр, Таунусштрассе, двадцать четыре. Ему во что бы то ни стало надо поймать этих двух людей до работы. Георг считал обоих несгибаемыми, вне сомнения. Как тот, так и другой должны помочь и помогут ему, дадут совет и пристанище, документы и деньги. Шенк работал на цементном заводе,— по крайней мере, во времена Георга. Спокойный ясноглазый человек; ни в его внешнем, ни во внутреннем облике не было ничего особенно приметного. Он не казался ни безрассудным, ни чересчур благоразумным. Но мужество сквозило во всех его поступках, ум — во всех его суждениях. Для Георга Шенк являлся символом всего, что было связано с движением, самой сущностью его. Если бы даже движение это в силу какой-то ужасной катастрофы было обескровлено, если бы оно совершенно замерло, Шенк один имел в себе все, чтобы продолжать его. Если существовал хотя бы намек на движение, то Шенк там действовал, и если существовали хотя бы остатки руководства, Шенк должен был знать, где его найти. Так, по крайней мере, Георгу казалось этой ночью. Редер тут мало чего понял; может быть, потом, когда у Георга будет время, он все это объяснит. Но понял или не понял, время или не время — Редер взялся помочь. Да, они все трое были с этого утра в руках у Редера, не только Георг, но и Шенк и Зауэр.

Примерно за месяц до ареста Георга Зауэр после пяти лет безработицы получил наконец место в дорожном строительстве. Это был еще молодой человек, в своей области безусловно талантливый; тем более его приводило в отчаяние вынужденное безделье.

Через многие сотни книг, через множество митингов, лозунгов, речей и бесед разум привел Зауэра туда, где он встретился с Георгом. Георг считал его в своем роде настолько же надежным, как и Шенка. Зауэр всегда и во всем следовал голосу разума, а разум Зауэра никогда не отступался от обретенной им истины. Разум Зауэра был неподкупен и непоколебим, хотя сердце нередко призывало его быть поуступчивее, идти туда, где живется легче, чтобы, отдохнув, потом подыскать оправдание своему отступничеству.

Зауэр, Таунусштрассе, двадцать четыре; Шенк, Мозельгассе, двенадцать, твердил про себя Пауль.

За углом он столкнулся с тем самым Мельцером, относительно которого наврал Лизель.

— Эй, Мельцер! Тебя-то мне и нужно! Достанешь нам две контрамарки на воскресенье?

— Все это в наших руках...— сказал Мельцер.

А ты в самом деле думаешь, Пауль, прозвучал в душе у Пауля вкрадчивый и хитрый голосок, ты в самом деле думаешь, что в воскресенье тебе понадобятся контрамарки? Что ты сможешь воспользоваться ими?

— Да,— сказал Пауль вслух,— они мне понадобятся.

Мельцер принялся излагать свой взгляд на вероятный исход состязания Нидеррад — Вестенд. Вдруг он спохватился: домой, скорее домой, пока мать не проснулась, пояснил он. Он идет от невесты, работающей у Казеля, а мать, у которой свой маленький писчебумажный магазин, не выносит ее. Пауль знал магазинчик и его владелицу, знал также и девушку; и это вернуло ему чувство уверенности и покоя. Смеясь, смотрел он вслед Мельцеру. Затем он снова услышал вкрадчивый, хитрый голосок: ты, может быть, никогда больше не увидишь этого Мельцера. В бешенстве Редер сказал себе: вздор! Тысячу раз вздор! И даже на свадьбе у него пировать буду!

Четверть часа спустя он шел, посвистывая, по Мозельгассе. Возле двенадцатого номера он остановился. К счастью, парадная дверь была уже отперта. Он быстро взбежал на четвертый этаж. На дощечке незнакомая фамилия — лицо Пауля вытянулось. Старуха в ночной кофте открыла противоположную дверь и спросила, кого ему нужно.

— Разве Шенки тут больше не живут?

— Шенки? — переспросила старуха и, обернувшись к кому-то в квартире, сказала странным тоном: — Вот тут Шенков спрашивают.

Молодая женщина перегнулась через перила верхней площадки.

— Вот он Шенков спрашивает! — крикнула ей старуха.

Изможденное, одутловатое лицо молодой стало растерянным. На ней был цветастый капот, а под ним большие, отвислые груди. Как у Лизбет, подумал Пауль. И вообще эта лестница мало чем отличалась от их лестницы. Его сосед Штюмберт — такой же лысый пожилой штурмовик, как вот этот, в расстегнутом мундире и носках; он после ночного учебного сбора, вероятно, бросился на кровать в чем был.

— Кого вам нужно? — спросил он Редера, словно не веря своим ушам. Пауль пояснил:

— Шенки до сих пор должны моей сестре за материал для платья. Я по поручению сестры. Я пришел в такое время, когда людей скорее всего застанешь.

— Фрау Шенк уже три месяца не живет здесь,— сказала старуха.

Мужчина добавил:

— Ну, вам придется в Вестгофен проехаться, если вы хотите с них деньги получить! — Его сонливость как рукой сняло. Немало пришлось ему потрудиться, чтобы поймать Шенков, слушавших запрещенные радиопередачи. Но в конце концов с помощью всяких хитростей он достиг цели. А какими невинными тихонями прикидывались эти Шенки! Тут «хайль Гитлер», там «хайль Гитлер»... Но если люди живут со мной дверь в дверь, им меня не провести.

— Господи боже мой! — воскликнул Редер.— Ну, тогда хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер,— отозвался человек в носках, слегка приподняв руку и поблескивая глазами от приятных воспоминаний.

Уходя, Редер слышал его смех. Пауль вытер лоб и удивился, что он влажен. У него было такое чувство, словно ему, всю жизнь отличавшемуся завидным здоровьем, угрожает заразная болезнь. Очень неприятное чувство, и он всячески боролся с ним. Изо всех сил затопал он по лестнице, чтобы избавиться от противной слабости в коленях.

На нижней площадке стояла дворничиха.

— Вы кого спрашивали?

— Шенков,— сказал Редер.— Я по поручению сестры. Шенки должны ей за материал.

Женщина с верхней площадки спускалась по лестнице, неся помойное ведро. Она сказала дворничихе:

— Вот он Шенков спрашивал.

Дворничиха смерила Пауля взглядом с головы до ног. Выходя, он слышал, как она крикнула кому-то в своей квартире:

— Тут один Шенков спрашивал!

Пауль вышел на улицу. Отер лицо рукавом. Никогда в жизни люди не смотрели на него так странно, как в этом доме. Какой

дьявол внушил Георгу мысль послать его к Шенкам? Как мог Георг не знать, что Шенк в Вестгофене? Пошли ко всем чертям этого Георга, посоветовал ему тихий внутренний голосок. Тебе станет легче. Пошли его ко всем чертям, он тебя погубит. Но Георг же не знал, решил Редер, это не его вина. Посвистывая, он побежал дальше. Когда он дошел до Мецгергассе, его лицо прояснилось. Он вошел в открытые ворота. На большом дворе, окруженном высокими домами, находился гараж транспортной конторы, принадлежавшей его тетке Катарине. Тетка стояла среди двора и переругивалась с шоферами. В семье Редеров говорили, что когда-то тетя Катарина вышла за Грабера, владельца конторы, отчаянного пьяницу, тоже начала пить и сделалась грубой и угрюмой. В семье рассказывали и вторую историю — о ребенке, которого тетя Катарина вдруг родила во время войны, одиннадцать месяцев спустя после последнего приезда в отпуск владельца конторы. Вся семья сплетничала о том, какие глаза сделает Грабер, когда наконец получит свой следующий отпуск. Но он его не получил — он был убит. Ребенок, должно быть, умер в младенчестве, так как Пауль его никогда не видел.

Редера всегда влекло к тетке какое-то бессознательное любопытство. Он любил жизнь. Он с интересом смотрел на большое сердитое лицо тетки, на котором годы оставили глубокие, беспощадные следы. На несколько минут он даже забыл и о Георге, и о самом себе и слушал с улыбкой, как женщина, бранясь, сыпала такими словечками, которых даже он не знал. Вот с кем я не хотел бы иметь дело, подумал он. А между тем Пауль только на днях говорил с ней об одном из братьев Лизель, и она почти обещала взять его к себе — незадачливый парень, после автомобильной аварии лишился своих шоферских прав. Нужно бы с ней еще раз потолковать, но время терпит, можно подождать и до вечера, решил Пауль. Не в силах дольше выносить жажду, он вошел в пивную с черного хода, только помахав тетке рукой, не уверенный, заметила ли она его, увлеченная перебранкой. Маленький красноносый старичок, который все еще — или уже — тянул пиво в задней комнате пивной, принес свой стакан:

— Твое здоровье, Паульхен.

Сегодня вечером, подумал Пауль, я выпью, если покончу с тем делом.

Выпитая водка легла ему на пустой желудок точно горячий ком. Улицы оживали. Времени оставалось в обрез. А внутри мышиный голосок пищал хитро и тонко: да, если покончишь с тем делом! Эх ты, простофиля! А вчера ты в это время был счастлив.

Вчера он действительно в это время бежал в бакалею за двумя фунтами муки для жены. А лапшевник она так и не испекла, вспомнил Пауль. Наверно, испечет сегодня. Он уже стоял на Таунусштрассе, против дома двадцать четыре. Войдя, он с удивлением посмотрел вокруг. Лестница претендовала на роскошь: ступени были покрыты ковром, который придерживали медные прутья. В Редере шевельнулось недоверие; разве в таком доме помогут таким людям, как мы?

Он облегченно вздохнул, увидев еще с лестницы имя, выгравированное готическим шрифтом на медной дощечке, и осторожно коснулся ее, перед тем как позвонить: Зауэр, архитектор. Редер с досадой почувствовал, как сердце его замерло. Открыла ему хорошенькая особа в белом переднике, даже еще и не хозяйка, а всего лишь служанка. В эту минуту вышла и сама фрау Зауэр, тоже молодая и хорошенькая, но без передника и настолько же ярко выраженная шатенка, насколько первая была блондинка.

— Что? Сейчас? Моего мужа? В такую рань?

— По делу, на две минуты.— Его сердце успокоилось. Он подумал: этому Зауэру недурно живется.

— Входите,— сказала фрау Зауэр.

— Пройдите сюда! — крикнул откуда-то архитектор.

Редер посмотрел направо, налево. По природе он был любопытен. Даже сейчас его заинтересовала лампа в виде светящейся трубки на стене и никелированные кровати. Смутная уверенность, что все в жизни стоит того, чтобы пощупать, осмотреть и попробовать на язык, не давала ему задерживаться на какой-нибудь одной детали. Следуя за голосом хозяина, он отворил вторую дверь. Как ни тяжело у него было на сердце, он все-таки успел полюбоваться на низкую ванну, в которую надо было не влезать, а просто погружаться, и тройным со створками зеркалом над умывальником.

— Хайль Гитлер,— сказал архитектор, не оборачиваясь.

Редер увидел его в зеркале — с обмотанным вокруг шеи полотенцем. Точно маска, покрывал незнакомое лицо густой слой мыльной пены; только глаза в зеркале испытующе рассматривали Редера, и в их взгляде светился ум. Редер искал слов, чтобы заговорить.

— Я слушаю вас,— сказал архитектор.

Он тщательно стал править бритву. Сердце Редера громко стучало, и сердце Зауэра тоже. Ни разу в жизни не видел архитектор этого человека. Он явно не имел никакого отношения к дорожному строительству. Неизвестный посетитель в необычное время — это могло означать все что угодно... Главное — я ничего не знаю. Ни о ком не слышал. Главное — не дать захватить себя врасплох.

— Так что же? — начал он снова.

Его голос прозвучал резко, но Редер не знал его обычного голоса.

— Меня просил вам передать привет наш общий друг,— сказал Пауль,— не знаю, помните ли вы его. Однажды вы с ним совершили чудесную прогулку на лодке по Нидде.

Интересно, думал другой, порежусь я или нет? Это будет проверкой. Он начал бриться, стараясь не напрягать руку в кисти,— нет, он не порезался, и рука не дрогнула. Ну, выложил, кажется, ничего, подумал Пауль. Почему он не вытрет лицо и не поговорит со мной по-человечески? Я уверен, что он обычно так долго не скребет бритвой свои щеки. Держу пари, что обычно у него раздва — и готово.

— Никак не пойму,— сказал Зауэр,— чего вы, собственно, хотите от меня? От кого вы мне принесли привет?

— От вашего товарища по экскурсии,— повторил Редер,— вы ехали на байдарке «Анна Мария».— Он перехватил косой взгляд Зауэра, который тот метнул в него поверх зеркала.

Капля пены попала архитектору в глаз, и он снял ее уголком полотенца. Затем продолжал бриться. Он сказал сквозь зубы:

— Я все-таки ничего не понимаю, извините меня. Кроме того, я очень спешу. Уверен, что вы ошиблись адресом.

Редер сделал шаг вперед. Он был гораздо ниже Зауэра. Ему была видна в зеркале левая половина Зауэрова лица. Он пытался рассмотреть его сквозь пену, но видел только жилистую шею и торчавший вперед подбородок. Зауэр подумал: как он следит за мной! Ну и пусть следит. Я ему не покажу своего лица. Каким образом они нащупали меня? Значит, что-то подозревают, значит, я под надзором. А этот крысенок вынюхивает...

Вслух он сказал:

— Видимо, ваш друг вас неправильно информировал, вы не туда попали, вот и все. Я очень спешу. Не задерживайте меня, пожалуйста! Гейди! — Пауль вздрогнул. Он не заметил, что их в комнате трое. На пороге, покусывая тоненькую цепочку, стояла девочка, видимо все время наблюдавшая за ним.— Покажи ему, как выйти!

Идя за девочкой, Редер думал: сволочь трусливая! Отлично все понял. Просто рисковать не хочет,— может быть, из-за этой пигалицы. А у меня разве нет детей?

Как только дверь за Редером захлопнулась, Зауэр в один миг вытер лицо именно так, как и предполагал Редер. Задыхаясь, он бросился к окну спальни, торопливо поднял штору. Он увидел Редера, переходившего улицу. Правильно ли я вел себя? Что он сообщит обо мне? Спокойствие! Я, конечно, не единственный. Они, вероятно, стараются прощупать за один день как можно больше

людей, находящихся у них на подозрении. И что за дурацкий предлог! Использовать этот побег! Ну, предлог не так уж глуп. Почему-нибудь они же решили, что я имею какое-то отношение к Гейслеру. Или они всех подряд спрашивают одно и то же?

Вдруг по его спине пробежал озноб. А что, если все это правда, а не фокусы гестапо? Если Георг в самом деле прислал к нему этого человека? Если этот человек вовсе не агент гестапо? Ах, вздор! Будь Георг Гейслер действительно в городе, он нашел бы другой способ связаться с ним, Зауэром. Этот смешной коротыш просто хотел что-то вынюхать. К тому же — очень грубо и неумело. Он глубоко вздохнул и вернулся к зеркалу, чтобы причесаться. Его лицо побледнело, как бледнеют смуглые лица — кожа точно увядает. Из зеркала на него смотрели светло-серые глаза, их взгляд проникал в него глубже, чем мог проникнуть взгляд чужих глаз. Какая духота! И вечно это проклятое окно закрыто. Он опять торопливо намылил щеки. Во всяком случае, у них должны быть какие-то основания, чтобы прислать ко мне эту ищейку! Бежать? А как я могу бежать, не подводя других?

Он снова начал бриться. Теперь его руки дрожали, и он тут же порезался. Зауэр выругался.

Ах, еще успею зайти к парикмахеру. Приговор трибунала — тут тебе и крышка, сразу через два дня после ареста. Не пугайся так, дорогой. Представь себе, дорогой, что ты попал в воздушную катастрофу!

Он повязал галстук. Здоровый, худощавый, внушающий доверие мужчина лет сорока. Зауэр осклабился. Еще на той неделе я сказал Герману: эти господа раньше нас станут безработными. И я успею еще построить для вас при новой республике несколько хороших домов.

Он вернулся в спальню, опять подошел к окну и посмотрел вниз на пустую улицу, по которой только что ушел небольшой человечек. Зауэру стало холодно. Не похож он был на шпика. И ухватки у него не такие. Да и голос звучал вполне искренне. И каким еще путем мог бы Георг связаться со мной? Да, этого человека прислал Георг.

Теперь он был почти убежден. Но что ему делать? Ведь тот не дал никаких доказательств. Нет, он обязан был выставить его, даже при малейшем сомнении. Он твердил себе: нет, я не виноват.

Все, что в пределах человеческих возможностей, готов он сделать для Георга. В каких четырех стенах ждет Георг его ответа? Пойми меня, Георг. Я не имел права действовать вслепую.

Но затем приходили мысли: и все-таки это мог быть шпик. Название лодки? Они давным-давно могли установить его. Отсюда

еще не следует, что они знают мою фамилию. Георг, конечно, никого не выдал.

В дверь постучали:

— Господин Зауэр, кофе подан.

— Что?

— Кофе подан.

Архитектор пожал плечами, быстро надел пиджак с Железным крестом первой степени и свастикой. Он посмотрел вокруг, словно ища чего-то. Бывают минуты, когда самая знакомая комната и самая элегантная обстановка превращаются в склад всякой дряни, которая никому не нужна. С отвращением взял он свой портфель.

Дверь внизу хлопнула вторично. Фрау Зауэр, сидевшая с девочкой за завтраком, спросила:

— Кто это?

— Должно быть, господин Зауэр,— сказала горничная, наливая кофе.

— Не может быть,— сказала фрау Зауэр.

И все-таки это он! Нет, не может быть, решила жена Зауэра. Не выпив кофе, не сказав до свиданья? Она постаралась овладеть собой. Девочка молча посмотрела на нее и ничего не сказала. Она сразу почувствовала тот ледяной сквозняк, которым повеяло от веснушчатого гостя.

Редер вскочил в трамвай и вовремя прошел через контрольную будку. Ни на минуту не переставал он ругать Зауэра. И эти ругательства, произносимые и про себя и вполголоса, приняли другое направление только тогда, когда он в первый же час работы обжег себе руку. Этого с ним давно уж не случалось.

— Скорее иди к санитару,— посоветовал ему Фидлер.— Не пойдешь, так в случае ухудшения ты и компенсации никакой не получишь. Я пока поработаю за тебя.

— Замолчи,— сказал Редер. Фидлер удивленно посмотрел на него сквозь защитные очки.

Меллер круто обернулся:

— Эй, вы там!

Стиснув зубы, Пауль продолжал работать. Что эта сволочь имела в виду своим «эй»? И как это он успел пролезть в мастера? На десять лет моложе меня.

«Ну, он скорее растет, чем ты!» — наверно, сказал бы Георг. А он ждет меня теперь на квартире, ждет и ждет. Хоть бы Лизель не забыла про лапшевник. По крайней мере, лапшевника поест, размышлял Пауль, внимательно следя за индикатором, и, сжав губы, направил жидкий поток металла по трубе.

Когда Фидлер просигнализирует ему, что клапан встал на место, он откроет трубу и в то же время быстро поднимет левую ногу — движение совершенно излишнее, но с давних пор вошедшее у него в привычку. Среди всех этих полуголых рослых, мускулистых людей Пауль казался маленьким, ловким гномом без возраста. Все любили его, он вечно подшучивал над товарищами и сам не обижался на удачную шутку. Двадцать лет я был вам мил, размышлял Редер гневно. А теперь хватит. Ищите себе теперь другого шутника. С ума сойду, если не выпью чего-нибудь. Неужели только десять? Вдруг возле него очутился Бейтлер, на ходу смазал ему чем-то руку и забинтовал куском марли.

— Спасибо, спасибо, Бейтлер.

— Пустяки.

Это Фидлер прислал его, решил Пауль. Все они славные ребята. И мне не хотелось бы расставаться с ними. Я хочу завтра так же стоять на своем рабочем месте. Этот проклятый Меллер, если бы он знал насчет меня! А Бейтлер? Догадайся он только, кто сейчас сидит у меня дома! Бейтлер — малый порядочный... Хотя, впрочем, только до известной степени. Руку он мне перевязал, но если бы ему пришлось самому обжечь себе пальцы... Фидлер? Он покосился на Фидлера. Да, Фидлер все-таки другой, продолжал свои размышления Редер, словно вдруг, с одного взгляда, обнаружил что-то новое в человеке, работавшем с ним бок о бок вот уже целый год.

Еще час до перерыва! Если Георгу не придет в голову что-нибудь более удачное, ему придется снова переночевать в моей квартире. А еще головой ручался за этого Зауэра! Хорошо, что у него есть Пауль.

— Ты бы хоть одной рукой месил тесто, если уж ничего не можешь,— сказала Лизель Георгу.— Зажми миску между колепями.

— А что это будет? Я всегда хочу знать, прежде чем делать.

— Будет лапшевник. Лапшевник с ванильной подливкой.

— В таком случае я готов месить хоть до завтра.

Но едва он начал месить, как сейчас же покрылся испариной. Так слаб он был еще. Даже прошлую ночь, несмотря на полный покой, он провел в болезненной дремоте. Одного из них — Шенка или Зауэра — Пауль, наверно, поймает, думал Георг. Шенка или Зауэра, месил он, Шенка или Зауэра.

С улицы донесся грохот катящихся бочек и старинная песенка-считалочка, которую пели маленькие дети:

Майский жук, лети в окно.
На войне отец давно,
Мама в Померании,
Нету Померании.

Когда это он так желал, так мучительно желал быть долгожданным гостем где-нибудь в самом обыкновенном доме? Вот когда: он стоял в Оппенгейме в темной подворотне и ждал шофера, который потом согнал его с грузовика.

А в соседней комнате Лизель взбивала постели, бранила одного сына, учила считать до десяти другого, нет-нет да и садилась за швейную машину, пела; затем налила воды в кувшин, утихомирила чей-то рев, за десять минут десять раз теряла терпение и вновь обретала его, черпая силы из какого-то неиссякаемого источника.

Кто верит, тот терпелив. Но во что верит Лизель? Ну, смотря по обстоятельствам. Прежде всего в то, что все ее дела имеют свой определенный смысл.

— Иди сюда, Лизель, возьми чулок и штопай, сядь около меня.

— Сейчас штопать чулки? Да сначала этот хлев прибрать надо, а то ты задохнешься...

— Довольно месить?

— Продолжай, пока не пойдут пузыри.

Если бы она знала правду обо мне, интересно, выгнала бы она меня? Может быть, да, а может быть, нет. Такие вот замученные женщины, привыкшие ко всяким передрягам, обычно бывают мужественны.

Лизель сняла бак с плиты и поставила на табуретку. Она так энергично начала тереть какую-то тряпку о стиральную доску, что на ее полных руках выступили жилы.

— Что ты так спешишь, Лизель?

— По-твоему, это называется спешить? Ты думаешь, я после каждой выстиранной пеленки буду рассиживаться?

Я, по крайней мере, еще раз увидел все это изнутри, думал Георг. Значит, жизнь так и идет? Так и будет идти?

Лизель уже развешивала часть выстиранного белья на веревке.

— Есть! А теперь давай-ка мне сюда тесто. Видишь? Вот это называется — тесто пузырится.

На ее простодушном грубоватом лице появилось выражение детского удовольствия. Она поставила миску на плиту и накрыла ее полотенцем.

— А это зачем?

— Нельзя, чтоб на него попала хоть струйка холодного воздуха, разве ты не знаешь?

— Я забыл, Лизель. Я давно уже не видел, как замешивают тесто.

— Возьмите своего зверя на сворку! — закричал Эрнст-пастух.— Нелли! Нелли! — Нелли дрожит от ярости, когда она чует собаку Мессера. У Мессеров рыжий охотничий пес, он останавливается на опушке, машет хвостом и повертывает острую морду с длинными ушами в сторону своего хозяина, господина Мессера.

Но у Мессера нет сворки, да она и не нужна, пес Мессера глубоко равнодушен к Нелли, несмотря на все ее волнение. Он набегался и теперь рад возвращению домой. Осторожно переступает пузатый старик Мессер через проволоку, отделяющую его собственную рощу от шмидтгеймовского леса. Этот лес — буковый, с редкими елями вдоль опушки. А в роще Мессера одни ели. Они доходят отдельными редкими группами до самого дома, и из-за крыши торчат их верхушки.

— Хозяюшка, хозяюшка,— сипит господин Мессер. Ружье у него перекинуто через плечо. Он был в Боценбахе у брата покойной жены, который там лесничим.

Хозяюшка — это она, Евгения, думает Эрнст. Чудно. Нелли дрожит от ярости, пока запах Мессерова пса стоит над полем.

— Эрнст, пожалуйста,— кричит Евгения.— Я ставлю обед на подоконник!

Эрнст садится боком, чтобы видеть овец. Четыре сосиски, картофельный салат, огурцы и стакан выдохшегося гохгеймера.

— Может быть, хочешь горчицы к салату?

— Ну что ж, я люблю острое.

Евгения делает салат на подоконнике. Какие у нее белые руки — и ни одного кольца.

— Может, старик еще наденет вам перстепек?

Евгения спокойно отвечает:

— Милый Эрнст, тебе самому уже пора жениться. Тогда тебе не будут вечно лезть в голову чужие дела.

— Милая Евгения! На ком же мне жениться! Она должна быть добра, как Марихен, танцевать, как Эльза, носик у нее должен быть, как у Зельмы, бедра, как у Софи, а копилочка, как у Августы.

Евгения тихонько начинает смеяться. Что за смех! Эрнст слушает его с благоговением. Евгения все еще смеется, как смеялась в молодости — тихо, ласково, от души. Ему очень хочется придумать что-нибудь чудное, пусть еще посмеется. Но вдруг на него находит серьезность.

— А главное,— говорит он,— главное у нее должно быть, как у вас.

— Право, я уж вышла из этого возраста,— говорит Евгения.— Что же главное-то?

— Да вот этакое спокойствие... ну... ну... степенность, что

ли,— в общем, если кто и захочет нахально подойти, так побоится. Когда в женщине есть то, к чему никак не подступишься и даже не объяснишь, что это за штука, а подступиться не можешь, то вот это и есть главное.

— И все ты врешь! — Она зажимает непочатую бутылку гохгеймера между коленями, откупоривает, наливает Эрнсту.

— У вас прямо как на свадебном пиру в Кане Галилейской: сначала кислое, потом сладкое. А Мессер твой не будет ругаться?

— За такие вещи мой Мессер не ругается,— говорит Евгения.— Вот за это-то я и люблю его.

Сидя в столовой гризгеймских железнодорожных мастерских, Герман, перед которым уже стояла кружка пива, развернул бутерброды, данные ему Эльзой: сардельки и ливерная колбаса, всегда одно и то же. Что касается бутербродов, то у его первой жены было более богатое воображение. Если не считать ясных глаз — некрасивая была женщина, но умная и решительная. На собраниях она, бывало, встанет и толково выскажет свое мнение. Как она перенесла бы теперешние времена?

Герман думал и ел свои четыре аккуратных ломтика, обычно вызывавших у него все те же мысли. Одновременно он прислушивался к разговорам справа и слева.

— Теперь их осталось только двое; еще вчера говорилось насчет троих.

— Один из них на женщину напал.

— Как так?

— Он стянул белье с веревки, а она и поймала его.

— Кто это стянул белье с веревки? — спросил Герман, хотя уже все понял.

— Да один из беглецов.

— Каких беглецов? — спросил Герман.

— Да из Вестгофена. Каких же еще?

— Он пнул ее в живот.

— А где это произошло? — поинтересовался Герман.

— Не указано.

— А почем они знают, что это кто-нибудь из беглецов? Может быть, просто вор?

Герман посмотрел на говорившего. Пожилой сварщик, один из тех, кто за последний год стали так молчаливы, что можно было забыть об их существовании, хотя они были тут, под боком, каждый день.

— А если даже и один из них? — сказал молодой рабочий.— Ведь не может он пойти и купить себе рубашку у Пфюллера. Уж

раз его такая баба поймала, не может он ей сказать — дайте мне рубашку, да еще разгладьте, пожалуйста.

Герман посмотрел на рабочего. Поступил на завод сравнительно недавно и не далее как вчера сказал: мне что важно — хоть разок еще паяльник подержать в руках. А насчет остального — там видно будет.

— Ведь он как затравленное животное,— вмешался в разговор еще один рабочий,— он знает, что, если его сцапают, будет чик — и до свидания!

Герман посмотрел и на этого человека. При последних словах рабочий резко взмахнул ладонью, словно отрубая что-то. Все быстро взглянули на него. Наступило молчание, после которого обычно или следует самое важное, или не следует ничего. Но молодой ученик — он здесь работал недавно — все это как бы отстранил от себя. Он сказал:

— А в воскресенье будет здорово интересно.

— Говорят, с майнцской командой трудно тягаться.

— Мы доедем, по крайней мере, до Бингер-Лоха.

— На пароход предполагают захватить руководительницу из детского сада, дети представлять будут.

Но тут Герман задает вопрос, и он как бы пригвождает к месту что-то неуловимое, готовое ускользнуть:

— Кто же эти двое, которые остались?

— Какие двое?

— Беглецы.

— Один старик, другой молодой.

— Молодой, говорят, из этих мест.

— И всё люди треплются,— заявляет сварщик, снова откуда-то вынырнувший, словно он вернулся к своим после долгого путешествия.— Зачем ему бежать в родной город, где его всякая собака знает?

— Это тоже имеет свой плюс: на чужого скорее донесут. Ну вот, к примеру, кто донесет на меня?

Говоривший это был силен как бык. Герман встречал его в прежние времена — то в числе охраняющих какое-нибудь собрание, то на демонстрации. Он всегда выпячивал широкую грудь с таким видом, словно ему море по колено. За последние три года Герман не раз пытался прощупать, что это за человек, и выспросить его, но парень всегда прикидывался непонимающим. А сейчас Герману вдруг почудилось, что тот понимает гораздо больше, чем хочет показать.

— А почему бы и нет? Вот я преспокойно донес бы на тебя. Если ты по какой-либо причине перестаешь быть моим товарищем,

значит, ты, по сути дела, давно перестал им быть, еще до того, как я донес на тебя и тоже перестал быть твоим товарищем.

Это говорит Лерш, нацистский организатор на заводе; он выговаривает эти слова особенно веско и отчетливо. Так говорят люди, когда разъясняют что-то принципиальное. Маленький Отто, обратив к нему мальчишеское лицо, не сводит с него глаз. Лерш — его инструктор, он обучает его обращаться с паяльником и играть в шпионы. Герман быстро окидывает взором фигуру Отто — он здесь первый руководитель гитлерюгенда, но в нем нет нахальства, напротив, он тихий, редко улыбается, и все его движения отличаются какой-то напряженностью. Герман частенько думает об этом мальчике, который так слепо предан Лершу.

— Верно,— степенно отвечает сварщик.— Но прежде чем кто-нибудь пойдет доносить на меня, пусть сначала поразмыслит, сделал ли я что-нибудь, из-за чего он может не считать меня больше своим товарищем.

Вернувшись из столовой в цех, большинство рабочих тихонько разошлось по своим местам. Герман больше ничего не сказал. Он расправил смятую бумажку от бутербродов, сложил ее и сунул в карман — завтра она опять пригодится Эльзе. Он был почти уверен, что Лерш наблюдает за ним, выслеживая то неуловимое, что может иногда обнаружиться вдруг, от одного нечаянно оброненного слова. Все с облегчением вскочили, когда наконец прозвонил звонок; этот сигнал извне положил конец чему-то такому, с чем никак нельзя было покончить изнутри.

В этот день, после полудня, кучка мальчуганов, возвращавшихся домой по одной из маленьких улочек Вертгейма, затеяла ссору, скорее игру. Ребята разделились на две партии и вступили в бой. Большинство побросало наземь свои школьные ранцы.

Вдруг один из этих задорных петушков остановился, и драка затихла. На краю мостовой возле тротуара стоял оборванный старик и рылся в их ранцах. Он нашел недоеденную корку хлеба.

— Эй, вы...— крикнул один из мальчиков.

Старик поднялся и пошел дальше, шаркая и хихикая. Мальчики его не тронули. Обычно это были сущие дьяволята, когда представлялся случай напроказить, но теперь они ограничились тем, что подобрали свои ранцы. Хихикающий, всклокоченный старик очень им не понравился. Они о нем больше не упоминали, точно по уговору.

А он потащился в другой конец городка. Проходя мимо харчевни, он замедлил шаг, рассмеялся и вошел. Хозяйка, обслуживавшая группу шоферов, на минуту отошла от них и подала старику

рюмку водки, которую он заказал. Выпив водку, он тут же поднялся и вышел, не заплатив. Голова и плечи у него подергивались. Женщина крикнула:

— Куда же он делся, жулик?

Шоферы хотели было погнаться за ним, но хозяин остановил их. Ему не хотелось затевать историю, ведь сегодня была пятница, и он спешил к рыботорговцу.

— Ладно, пусть идет к черту.

Старик спокойно продолжал свой путь. Он шел местечком — не по главной улице, а через рынок. Убедившись, что ему ничто не грозит, он даже как-то выпрямился, лицо стало спокойнее; шагая между садами на окраине городка, он стал подыматься на холм.

Там, где еще стояли дома, улица была вымощена и местами, на самых крутых подъемах, были выбиты ступеньки, но, дойдя до холмов, она превращалась в обычный проселок, который вел прочь от Майна и от шоссе — в глубь страны. На окраине города от него отделялась другая дорога, выводившая на шоссе; собственно, это шоссе и было главной улицей местечка, с той разницей, что в городе по сторонам его тянулись магазины и фонари. Дорогой же со ступеньками, по которой прошел старик, пользовались не те крестьяне, которые шли по шоссе из примайнских деревень, а те, которые из дальних деревень направлялись на городской рынок.

Старик этот был Альдингер, один из двух беглецов, все еще остававшихся на свободе после добровольного возвращения Фюльграбе. Никто в Вестгофене не допускал и мысли, чтобы Альдингер мог добраться даже до Либаха. Если его не поймают тут же, то через час. Однако наступила пятница, а Альдингер добрался уже до Вертгейма. Он ночевал в поле, однажды какая-то повозка подобрала его, и он ехал четыре часа. Старик благополучно миновал все заставы, но не с помощью особой хитрости — на это его бедная старая голова уже не была способна. Ведь еще в лагере начали сомневаться в здравости его рассудка. Он целыми днями не произносил ни слова, затем при какой-нибудь команде вдруг начинал хихикать. Сотни случайностей могли в любую минуту повлечь за собой его арест. Блуза, которую он где-то стянул, едва прикрывала его арестантскую одежду. Однако ничего не случилось.

Альдингер не знал, что такое обдумыванье, расчет. Он знал только чувство направления. Так вот стояло солнце над его родной деревней утром, а так вот — в полдень. Если бы гестапо, вместо того чтобы пустить в ход весь сложный и громоздкий аппарат преследования, просто провело прямую линию от Вестгофена к Бухенбаху, то в одной из точек этой прямой старик был бы очень скоро настигнут.

На холме над местечком Альдингер остановился и посмотрел вокруг. Его лицо больше не подергивалось; взгляд стал тверже, а чувство направления — это почти нечеловеческое чувство — начало меркнуть, так как оно было ему уже не нужно. Тут Альдингер был уже дома. В этом месте он обычно раз в месяц останавливал свою повозку. Сыновья снимали корзины и тащили их вниз, на рынок. Ожидая возвращения сыновей, он наблюдал развертывающийся перед ним пейзаж. Теперь и до его деревни уже недалеко. И эти то поросшие лесом, то застроенные домами холмы, отражавшиеся в воде, и самая река, которая все ловила и все покидала, чтобы унестись дальше, и облака, плывущие в небе, и даже маленькие лодки, в которых уезжали люди,— зачем, куда? — все это былое казалось ему чем-то далеким, чужим. «Былое» — так называлась та жизнь, к которой он хотел вернуться, ради которой он бежал. «Былое» — так звалась страна, начинавшаяся за городом. «Былое» — так называлась его деревня.

В первые дни своего пребывания в Вестгофене, где брань и побои впервые посыпались на его престарелую голову, он узнал чувство ненависти и ярости, а также жажду мести. Но удары сыпались все чаще и больнее, а он был стар, и в нем постепенно было убито всякое желание отомстить за тот позор и обиды, которые он вытерпел; угасла даже память о них. Но то, что еще оставалось в нем живого, недоступное побоям и пинкам, было по-прежнему сильным и властным.

Альдингер повернулся к реке спиной и заковылял между колеями полевой дороги. Время от времени он озирался, но не потому, что терял направление, а чтобы идти от одной определенной точки к другой. Он уже не казался безумным. Он спустился с одного холма, поднялся на другой, прошел через еловую рощицу, миновал посадки молодых деревьев. Кругом — полное безлюдье. Альдингер пересек жнивье, затем поле, засаженное репой. Было все еще довольно тепло. Не только день, самое течение года, казалось, остановилось. И сейчас Альдингер всем своим существом чувствовал возвращение в былое.

В этот день Вурц, бухенбахский бургомистр, не вышел в поле, хотя собирался выйти или, по крайней мере, хвастал, что выйдет; вместо этого он отправился в кабинет, как торжественно именовал свою жилую горницу — тесную, захламленную комнатушку, служившую ему и конторой. Сыновья уверяли его, что он спокойно может выйти в поле, они хотели, чтобы папаша вел себя героем. Однако Вурц послушался жены, которая хныкала не переставая.

Бухенбах был все так же оцеплен, а дом Вурца охранялся еще особо. Люди смеялись: так тебе Альдингер и явится прямо в деревню! Нет, он поищет других способов, чтобы посчитаться с Вурцем, и, наверно, найдет их. И сколько же еще Вурц намерен держать при себе эту лейб-гвардию? Дорогое удовольствие! В конце концов ведь эти штурмовики, которых откомандировали для его личной охраны,— это все деревенские парни, и они нужны дома.

Шульциха, жена лавочника, увидев, что Вурц в конторе, сообщила об этом жениху своей племянницы, которая помогала ей в лавке, где продавалось все, что могло понадобиться крестьянам. Жених был родом из Цигельхаузена, он приехал в машине ветеринара на несколько часов раньше, чем его ждали, и привез с собой несколько ящиков товара. Он собирался вечером просить Вурца, чтобы тот огласил предстоящий брак. Когда тетка сказала:

— Он в конторе,— молодой человек нацепил воротничок, а Герда принялась наряжаться. Он был готов раньше, чем она, и вышел на улицу. У двери стоял на часах штурмовик, его знакомый.

— Хайль Гитлер!

Жених был членом того же штурмового отряда — не потому, что не мог жить без коричневой рубашки, но потому, что хотел спокойно работать, жениться, наследовать, а без нее это было бы, конечно, невозможно. Когда жених постучал в окно конторы, штурмовик, догадавшись, зачем тот пришел, рассмеялся. Но Вурц не откликнулся. Он сидел за своим столом под портретом Гитлера. Заметив, что в окне мелькнула какая-то тень, он согнулся вдвое, а услышав стук, соскользнул на пол, обогнул стол и выполз за дверь.

— Да вы войдите к нему вдвоем,— сказал стоявший на крыльце часовой, так как подоспела и Герда в новой юбке и блузке. Молодой человек постучал и, не слыша ответного «войдите», повернул ручку; но дверь была заперта. Подошел часовой, грохнул в дверь кулаком, заорал: — Тут насчет оглашения пришли!

Только тогда Вурц отодвинул засов и, пыхтя, уставился на молодого человека, доставшего из кармана свои бумаги. Бургомистр уже настолько овладел собой, что произнес даже маленькую речь о крестьянстве как основе национального целого, о значении семьи в национал-социалистском государстве, о святости расы. Герда слушала с серьезным видом, молодой человек кивал. Выйдя опять на улицу, он сказал часовому:

— Ну уж и дерьмо ты тут стережешь,— сорвал с куста веточку шиповника и воткнул в петлицу.

Затем, взявшись под руки, молодые люди прошли по деревенской улице на площадь, мимо гитлеровского дубка — он был еще недостаточно высок, чтобы прикрыть своей тенью детей и детей их

детей, самое большее — воробья или улитку,— и направились к пастору переговорить о венчании.

Альдингер поднялся на предпоследний холм. Холм назывался Буксберг. Старик шагал теперь очень медленно, как человек, который смертельно устал, но знает, что отдыхать нельзя. Он не смотрел по сторонам, ему был знаком здесь каждый кустик. Местами в поля Цигельхаузена уже вклинивались поля Бухенбаха. Хотя ужасно носились с этим размежеванием, но отсюда, сверху, поля по-прежнему напоминали заплатанные передники деревенских девочек. Альдингер взобрался на холмик с огромным трудом. Его взгляд стал далеким, но не мутным или отсутствующим: в нем как бы отразилась неведомая, далекая цель.

А внизу, в Бухенбахе, часовые сменялись, как обычно в этот час. Сменился и часовой перед домом Вурца. Он отправился в трактир, где к нему присоединились двое также сменившихся штурмовиков. Все надеялись, что жених на обратном пути от пастора зайдет и угостит их. Вурц устал от обеда и от пережитого страха. Он положил голову на стол, на бумаги молодой пары, на их родословные и медицинские справки о состоянии здоровья.

Альдингерова жена понесла детям в поле обед. Они обедали тут же, все вместе. Раньше у Альдингеров частенько бывали свары — как в любой семье. Но после ареста старика семья сплотилась и замкнулась. Не только с посторонними, но и друг с другом не решались они громко слова вымолвить, и даже насчет отсутствующего.

Один из часовых, следуя приказу, по пятам ходил за старухой и глаз с нее не спускал. И вот фрау Альдингер, одетая в черное крестьянка, тощая, как жердь, поравнялась с двумя часовыми, стоявшими на краю деревни. Она не смотрела ни вправо, ни влево, точно это ее не касалось. И часового перед собственным домом она, казалось, тоже не замечала: все равно как если бы было приказано следить за ней засохшему вишневому дереву в саду у соседа.

Альдингер наконец-то добрел до вершины холма. Для молодого человека это была бы не бог весть какая вершина. Правда, деревня казалась ему отсюда лежащей далеко внизу. Вдоль дороги шла небольшая заросль орешника, и Альдингер опустился на землю среди кустов. Он сидел некоторое время не двигаясь в скудной тени ветвей, между которыми просвечивали куски крыш и пашен. Он уже начал дремать, но вдруг слегка вздрогнул. Он встал или, вернее, попытался встать. Посмотрел вниз, в долину. Но долина перед ним не тонула, как обычно, в полуденном блеске, в милом и знакомом свете. В этот ветреный день она была залита каким-то холодным, резким сиянием, так что все контуры казались

особенно четкими и оттого — чужими. Затем на все легла глубокая тень.

После полудня двое ребят пришли собирать орехи. Они взвизгнули и побежали прямо к родителям, работавшим в поле. Отец пришел взглянуть на лежавшего человека. Он послал одного из детей на соседнее поле за соседом, Вольбертом. Вольберт сказал:

— Да ведь это же Альдингер.

Тогда и первый крестьянин узнал его. Дети и взрослые стояли в орешнике и смотрели на умершего. Затем крестьяне сделали импровизированные носилки из жердей.

Они понесли его в деревню мимо часовых.

— Кого это вы несете?

— Альдингера. Мы нашли его.— Они понесли его не куда-нибудь, а к нему домой. И часовому у его дома они тоже сказали: — Мы нашли его.— И часовой был слишком поражен, чтобы остановить их.

Когда тело вдруг внесли в комнату, у фрау Альдингер подкосились ноги. Но затем она поборола себя, как поборола бы себя, если бы его принесли мертвым с поля, где он работал. На крыльце уже собрались соседи; среди них были и часовой, стоявший у дома, и два только что сменившихся часовых с поста на краю деревни, и три штурмовика из трактира, и молодая пара, возвращавшаяся от пастора. Только на другом конце деревни все еще стояли часовые, там, где их поставили, чтобы в случае чего не пропустить Альдингера. И перед дверью Вурца все еще стоял часовой, чтобы защитить бургомистра от акта мести.

Жена Альдингера открыла застланную чистым бельем постель, которая всегда стояла наготове. Но когда его внесли и она увидела, какой он запущенный и заросший, она велела положить его на свою постель. Сейчас же поставила нагреть воды. Затем послала старшего внука в поле за родными.

Люди, толпившиеся в дверях, расступились, чтобы пропустить малыша, который шел, опустив глаза и сжав губы, как обычно делали те, у кого в доме покойник. Вскоре внук вернулся с родителями, дядьями и тетками. На лицах сыновей было презрение к этим толпившимся в сенях любопытным, но едва они очутились у себя, в своих четырех стенах, как оно сменилось угрюмой скорбью. Но вскоре, так как покойник вел себя совершенно так же, как все покойники, скорбь эта стала обыкновенной: скорбью любящих сыновей о любящем отце.

Да и вообще все пришло в порядок. Входившие в дом не кричали «хайль Гитлер» и не поднимали руки, а стаскивали шапку и здоровались по-человечески. Штурмовики-часовые, которые охотились за головой старика, на этот раз возвратились на свои поля с

незамаранными руками и чистой совестью. А проходя мимо Вурцева окна, люди кривили рот, и никто уже не скрывал своего презрения, не боялся лишить себя или своих близких каких-то возможных преимуществ. Напротив, люди спрашивали себя: как же это вышло, что именно Вурц забрал власть? И его представляли себе уже не в ореоле этой власти, а таким, каким он был послёдние четыре дня — дрожащим и в мокрых штанах. Даже на государственную деревню, пока в людях жила надежда переселиться туда, всякий, кто был способен задуматься, взглянул бы теперь другими глазами: лучше бы снизили налоги. А уж лебезить перед Вурцем из-за такой ерунды...

Обе невестки помогли фрау Альдингер обмыть мужа, расчесать ему волосы, одеть его в лучшее платье. Его арестантскую одежду сожгли в печке. Они также помогли вскипятить второй бак с водой, и теперь, когда покойник наконец был чист, они и сами вымылись, перед тем как переодеться в свои лучшие платья.

То былое, в которое так жаждал возвратиться Альдингер, широко распахнуло перед ним свои врата. Его положили на собственную кровать. Начали приходить соболезнующие, и каждого угощали печеньем. Тетка Герды поспешно вскрыла свертки, которые привез молодой человек в машине ветеринарного врача: ведь сейчас Альдингерам бесспорно понадобятся мыло, крем и свечи. Словом, все было в порядке, покойнику удалось перехитрить часовых, оцепивших деревню.

Фаренберг получил донесение: шестой беглец найден. Найден, но мертв. Каким образом? Это уже не касалось Вестгофена. Это дело господа бога, вертгеймских сельских властей и местного бургомистра.

После этого сообщения Фаренберг отправился на площадку, прозванную «площадкой для танцев». Штурмовики и эсэсовцы, назначенные участвовать в предстоявшей процедуре, уже построились. Раздалась команда. Колонна покрытых грязью, понурых заключенных, несмотря на смертельную усталость, прошла быстро и бесшумно, словно пронеслось дыханье холодеющих уст. Справа от входа в комендантский барак два еще не изуродованных платана сияли осенним багрянцем в лучах заходящего солнца. День уже кончался, и с болот к этому проклятому месту тянулся туман. Бунзен стоял впереди своих эсэсовцев, у него было лицо херувима, и казалось, он ожидает приказов от самого творца. Что же касается десяти — двенадцати платанов, стоявших слева от двери, то все, кроме семи, были вчера срублены. Циллих, командовавший штурмовиками, приказал привязать четырех оставшихся в живых бег-

лецов к этим деревьям. Каждый вечер, когда он отдавал этот приказ, по рядам заключенных проходило какое-то движение, неуловимое и сокровенное, подобное последнему движению, за которым следует неподвижность смерти, ибо эсэсовцы были начеку и они не позволили бы никому шевельнуть и пальцем.

Однако четверо людей, привязанных к деревьям, не дрожали. Даже Фюльграбе не дрожал. Он смотрел прямо перед собой, раскрыв рот, словно сама смерть, рассердившись, приказала ему в эти последние часы вести себя достойно. И на его лице лежал отблеск того света, в сравнении с которым ослепляющая лампа Оверкампа была только жалкой коптилкой. Пельцер закрыл глаза; его лицо утратило всю свою мягкость, всю робость и слабость, оно стало смелым, черты заострились. Его мысль была сосредоточена — не для сомнений, не для увертюк, но чтобы постичь неотвратимое. Он чувствовал, что рядом стоит Валлау. По другую сторону Валлау был привязан Альберт Бейтлер, тот самый, которого поймали сейчас же после побега. По распоряжению Оверкампа его кое-как заштопали. И он не дрожал. Он давно перестал дрожать. Восемь месяцев назад, на государственной границе, которую он переходил, набив карманы валютой, он своей дрожью выдал себя. Теперь он скорее висел, чем стоял, вправо от Валлау, на этом особо почетном месте, о котором он не мог и мечтать. По его влажному лицу скользили пятна света. И только глаза Валлау были живые. Всякий раз, когда Валлау вели к крестам, его почти оцепеневшее сердце вздрагивало. Неужели сегодня среди них будет и Георг? И сейчас он всматривался не в смерть, а в колонну заключенных. Да, он даже обнаружил среди них новое лицо. Это было лицо человека, лежавшего перед тем в госпитале, лицо того самого Шенка, к которому в это утро ходил Редер, чтобы просить об убежище для Георга.

Фаренберг выступил вперед. Он приказал Циллиху вытащить гвозди из двух платанов. Обнаженные и унылые стояли эти два дерева, настоящие могильные кресты. Теперь оставалось только одно утыканное гвоздями дерево, последнее слева, рядом с Фюльграбе.

— Шестой беглец найден! — возвестил Фаренберг.— Август Альдингер. Как видите, он мертв. В своей смерти ему приходится винить только себя. Что касается седьмого, то нам его не долго придется ждать. Его уже везут сюда. Так национал-социалистское государство беспощадно наказывает каждого, кто покушается на благо нации; оно защищает тех, кто заслуживает защиты, карает, где кара заслужена, и уничтожает то, что должно быть уничтожено. В нашей стране ни один беглый преступник не найдет убежища. Наш народ здоров. Он изгоняет больных и умерщвляет

безумных. Пяти дней не прошло, как они бежали, и вот — смотрите, шире раскройте глаза и хорошенько запомните то, что вы видите!

Сказав это, Фаренберг ушел в свой барак. Бунзен приказал заключенным сделать два шага вперед. Между деревьями и первым рядом оставалось только небольшое пространство. Пока Фаренберг говорил и отдавал приказания, день совсем померк. Справа и слева колонна была плотно оцеплена штурмовиками и эсэсовцами. Вверху и позади лежал туман. Это был час, когда всех охватило отчаяние. Те, кто верил в бога, решили, что он их покинул. Те, кто ни во что не верил, угасали в полной безнадежности, которая может наступить и тогда, когда тело еще живо. Те, кто не верил ни во что, кроме силы, живущей в самом человеке, думали, что только в них одних осталась эта сила, что их жертва была напрасной и что народ их забыл.

Фаренберг сел за свой стол. В окно ему были видны кресты, перед ними колонна заключенных, слева от них эсэсовцы и штурмовики. Он начал свой рапорт. Но даже и Фаренберг был слишком взволнован, чтобы заниматься такого рода делом. Он схватил телефонную трубку, нажал кнопку, бросил трубку.

Какой нынче день? Правда, уже ночь на дворе, но осталось все-таки еще три дня до срока, который он сам себе назначил. Если за четыре дня пойманы шестеро, то за три дня можно поймать одного. Кроме того, он окружен, он не будет знать ни минуты покоя; не будет его знать, к сожалению, и он, Фаренберг.

В бараке было почти темно, и Фаренберг включил свет. Свет упал из его окна на площадку, и тени деревьев дотянулись до первого ряда колонны. Сколько времени заключенные стоят здесь? Разве уже ночь? А приказа разойтись все не поступало, и у привязанных людей мышцы буквально горели. Вдруг кто-то в одном из последних рядов вскрикнул. От этого крика четверо распятых вздрогнули и гвозди вонзились в их тело. Крикнувший метнулся вперед, увлекая за собой соседа, и, крича, упал и начал кататься по земле под обрушившимися на него ударами и пинками. Штурмовики рассыпались между заключенными.

В эту минуту из канцелярии вышли в шляпах и дождевиках, с портфелями под мышкой, следователи Оверкамп и Фишер; их сопровождал ординарец с чемоданами. Деятельность Оверкампа в Вестгофене закончилась. Охота за Гейслером уже не требовала его присутствия.

Два коротких приказания — и порядок был водворен, а упавшего и того, кого он толкнул, утащили. Не глядя ни вправо, ни влево, следователи направились в комендантский барак. Они шест-

вовали между крестами и передним рядом заключенных, видимо не замечая, что вдоль этой улицы, по которой они идут, тянутся весьма своеобразные фасады. Зато нагруженный чемоданами ординарец, которого они оставили у дверей, разглядывал все с большим интересом. Вскоре оба следователя вышли и продолжали свой путь. Взгляд Оверкампа наконец скользнул по деревьям. Его глаза встретились с глазами Валлау. Оверкамп едва заметно смутился. В его лице появилось новое выражение — он узнал Валлау и как будто хотел сказать «сожалею» или «сам виноват». Может быть, в его взгляде мелькнул даже оттенок уважения.

Оверкамп знал, что, как только он уедет из лагеря, эти четверо умрут. Их могут оставить в живых разве только до поимки седьмого — если, разумеется, не случится чего-нибудь «по оплошности» или «под горячую руку».

На «площадку для танцев» донесся шум мотора. У всех точно сердце оборвалось. Из четверых привязанных людей разве только Валлау был в состоянии отчетливо осознать, что теперь им всем конец. Но что с Георгом? Его поймали? Везут сюда?

— Валлау первый на очереди,— сказал Фишер.

Оверкамп кивнул. Он знал Фишера с давних пор. Оба они были заядлыми шовинистами, их грудь украшало множество военных орденов. При новом режиме им тоже не раз приходилось работать вместе. Оверкамп, как профессионал, привык пользоваться обычными полицейскими методами, и допросы с пристрастием были для него такой же работой, как и всякая другая. Они не забавляли его. Людей, которых ему приходилось преследовать, он считал врагами порядка, в том смысле, в каком он сам понимал это слово. Так же и эти люди были для него врагами того порядка, который он считал порядком. Тут все было ясно. Неясность начиналась тогда, когда он задумывался, на кого, собственно, он работает.

Оверкамп оторвался от мыслей о Вестгофене. Остается поймать Гейслера. Он посмотрел на часы. Через час десять минут их ждут во Франкфурте. Из-за тумана машина делала всего-навсего сорок километров в час. Оверкамп протер окно. При свете фонаря он заметил что-то на окраине деревни.

— Эй! Стой! — закричал он вдруг.— Вылезайте-ка, Фишер! Вы уже пили молодое вино в этом году?

Когда они вылезли из машины в густой туман, на прохладную и пустынную дорогу, с их плеч тоже свалился груз работы и то напряжение, о котором теперь не хотелось вспоминать. Они вошли в ту харчевню, где Меттенгеймер в свое время поджидал Элли, вдруг получившую разрешение на свиданье, которого она вовсе не желала.

Когда Пауль вернулся домой с работы, Георг понял все и без слов. На лице Редера было написано совершенно ясно, к чему привели его поиски пристанища для друга.

Лизель ждала, что ее лапшевник похвалят. Но вместо ахов и охов мужчины равнодушно жевали его, словно это была капуста.

— Ты болен? — спросила она Пауля.

— Болен? Ах да, мне не повезло.

Он показал ей ожог на руке. Лизель почти обрадовалась, узнав причину этого пренебрежения к ее лапшевнику. Осмотрев руку — она с детства привыкла к тому, что мужчины получают увечья на производстве,— Лизель принесла баночку с какой-то мазью. Вдруг Георг сказал:

— Перевязка мне ни к чему. Раз уж ты за доктора, дай-ка мне кусочек пластыря.

Пауль смотрел молча, как его жена сейчас же принялась разматывать перевязку на руке Георга. Старшие дети, стоя позади него, следили за руками матери. Георг перехватил взгляд Пауля — ярко-голубые глаза друга были строги и холодны.

— Тебе еще повезло,— сказала Лизель,— ведь осколки могли в глаз попасть.

— Повезло! Повезло! — подтвердил Георг. Он осмотрел ладонь. Лизель довольно искусно наложила пластырь, и теперь перевязан был только большой палец. Когда Георг держал руку опущенной, казалось, что никакого повреждения нет. Лизель воскликнула:

— Стоп! Подожди! — и добавила: — Мы бы отстирали...— Но Георг, вскочив, сунул грязную повязку в плиту, где после лапшевника еще тлело несколько угольков. Редер сидел неподвижно, наблюдая за ним.— Фу! Черт! — сказала Лизель и распахнула окно. Тоненькая струйка вонючего дыма опять поплыла и растаяла в городском воздухе — воздух к воздуху, дым к дыму. Теперь доктор может спать спокойно, подумал Георг. А ведь какой был риск — пойти к нему на прием! Как искусно действовали его руки! Умные, добрые руки!

— Слушай, Пауль,— сказал Георг почти весело,— а ты помнишь Морица — «Старье покупаю»?

— Да,— отозвался Пауль.

— А помнишь, как мы изводили старика, и он в конце концов пожаловался твоему отцу, и отец тебя поколотил, а Мориц смотрел и орал: «Только не по голове, господин Редер, а то он дураком останется! По заду! По заду его!» Очень благородно с его стороны, верно?

— Да, очень благородно. А вот тебя отец не по тому месту лупил,— сказал Пауль,— иначе ты был бы умнее.

На несколько минут им стало легче, но потом действительность опять придавила их своей неотвратимой, нестерпимой тяжестью.

— Пауль! — с тревогой окликнула мужа Лизель. Отчего это он так страшно уставился в пространство? На Георга она уже не смотрела. Прибирая со стола, она то и дело поглядывала на мужа и, уходя укладывать детей, бросила в его сторону еще один быстрый взгляд.

— Жорж,— сказал Пауль, когда дверь за ней закрылась.— Ничего не попишешь. Придется изобрести что-нибудь поумнее. Сегодня тебе придется еще раз переночевать здесь.

— А ты понимаешь,— сказал Георг,— что сейчас во всех полицейских участках уже есть мое фото? Что его показывают всем начальникам кварталов и всем дворникам? Постепенно все узнают.

— Тебя вчера кто-нибудь видел, когда ты шел сюда?

— Трудно сказать. На лестнице как будто никого не было.

— Лизель,— сказал Пауль, увидев, что жена вернулась в комнату,— знаешь, ужасно пить хочется. Просто терпенья нет, понять не могу отчего. Сходи, пожалуйста, принеси пива.

Лизель собрала пустые бутылки. Она покорно пошла за пивом. Господи боже, и что грызет этого человека?

— А не сказать ли нам Лизель? — спросил Пауль.

— Лизель? Нет. Ты думаешь, она тогда позволит мне остаться?

Пауль промолчал. В душе его Лизель, которую он знал чуть ли не с детства, знал насквозь, вдруг оказалось что-то неведомое, непроницаемое и для него. Оба погрузились в размышления.

— Твоя Элли,— сказал наконец Пауль,— твоя первая жена...

— А что насчет нее?

— Ее семья живет хорошо, у таких людей много знакомых... Может быть, мне зайти к ним?

— Нет. За ней, безусловно, следят. А потом, ты же не знаешь, как она отнесется.

Они продолжали размышлять. За окном, над крышами, садилось солнце. На улицах уже горели фонари. Вечерний свет косым лучом еще озарял комнату, как будто перед угасанием стремился проникнуть в самые дальние углы. Оба одновременно почувствовали, как все, в чем они думали найти опору, рушится. Они стали прислушиваться к шагам на лестнице.

Лизель вернулась с пивом, очень взволнованная.

— Вот странно,— сказала она,— какой-то человек спрашивал про нас в пивной.

— Что? Про нас?

— Да, у фрау Менних... где, мол, мы живем. Но как же он знает нас, раз он не знает, где мы живем?

Георг встал.

— Мне пора, Лизель. Большое спасибо за все.

— Выпей с нами пива! Потом и пойдешь.

— Мне очень жаль, Лизель, но и так уж поздно. Значит...

Она зажгла свет.

— Ну, не пропадай опять надолго, Георг.

— Нет, Лизель...

— А ты куда же? — спросила Лизель Пауля.— То за пивом посылаешь, то...

— Я только до угла провожу Георга. Я сейчас вернусь.

— Нет, ты останешься дома! — воскликнул Георг.

Пауль сказал спокойно:

— Я провожу тебя до угла. Это мое дело.

Дойдя до двери, Пауль еще раз обернулся.

— Лизель,— сказал он,— послушай-ка. Никому не говори, что Георг был здесь.

Лизель покраснела от гнева:

— Значит, дело все-таки нечисто! Отчего же вы не сказали мне сразу?

— Вернусь и все тебе расскажу. Но главное — молчи, иначе худо будет и мне и детям.

Дверь с шумом захлопнулась, а Лизель стояла на месте, глубоко озадаченная. Худо детям? Худо Паулю? Ее бросало то в жар, то в холод. Она подошла к окну и внизу, на улице, увидела их обоих — один высокий, другой низенький,— они проходили между двумя фонарными столбами. Ей стало страшно. Совсем стемнело. Лизель села у стола, ожидая мужа.

— Если ты сию же минуту не вернешься,— сказал Георг вполголоса, и его лицо свела гневная судорога,— ты и себя погубишь, и мне не поможешь.

— Замолчи! Я знаю, что делаю. Ты пойдешь туда, куда я тебя отведу. Когда Лизель вернулась с пивом и нам так страшно стало, тут меня и осенило. Замечательный план. Если Лизель будет молчать,— а я уверен, что будет, она побоится погубить нас,— то ты в безопасности,— по крайней мере, на одну ночь.

Георг не ответил. Голова его была пуста, ни одной мысли. Он послушно следовал за Паулем в город. Зачем думать, если из этого ровно ничего не выходит? Только сердце неистово колотится в груди, словно прося, чтобы его выпустили из негостеприимного жилища, как два вечера назад, когда он решил пойти к Лени! И он попытался унять свое сердце: этого нельзя даже сравнивать. Ведь это же Пауль, не забывай. Это не любовная история, а дружба.

Ты никому не веришь. Да, чтобы поверить другу, тоже нужно мужество! Успокойся. Ты долго этого не выдержишь. Ты мне мешаешь.

— Мы не поедем на трамвае,— сказал Пауль.— Лишние десять минут — вот и все. Я тебе объясню, куда я тебя веду. Сегодня утром я уже там был, когда шел к твоему проклятому Зауэру. У меня есть тут тетка Катарина, у нее транспортная контора, не бог весть что, три-четыре грузовика. К ней на работу должен был поступить брат моей жены из Оффенбаха, он сидел в тюрьме, и у него отняли шоферские права, так как при анализе нашли в крови алкоголь. Так вот, от него пришло письмо, что он приедет попозднее, и я должен это уладить. Тетка не в курсе, она его и в глаза не видела. Я тебя там выдам за него. А ты на все говори «да» или помалкивай.

— А бумаги? А завтра?

— Приучись наконец считать раз, два, три, а не раз, три, два. Тебе надо уйти. Тебе нужно где-то переночевать. Ты что же, предпочитаешь сегодня ночью подохнуть, а завтра иметь надежные бумаги? Завтра я как-нибудь проскользну. Завтра Пауль еще что-нибудь придумает.

Георг коснулся его руки. Пауль поднял голову, сделал ему легкую гримаску, как делают детям, чтобы они перестали плакать. Лоб у него был светлее остального лица, его не так густо покрывали веснушки. Одно присутствие Пауля уже успокаивало Георга, только бы он вдруг не ушел.

Георг сказал:

— Нас обоих могут в любую минуту сцапать.

— Зачем об этом думать?

Город был ярко освещен, и улицы полны народу. Пауль встречал знакомых, раскланивался с ними. В таких случаях Георг отворачивался.

— Зачем ты все отворачиваешься? — сказал Пауль.— Тебя все равно никто не узнает.

— Ты же меня сразу узнал, верно, Пауль?

Они вышли на Мецгергассе, где находились две ремонтные мастерские, бензоколонка и несколько пивных. Пауль бывал здесь часто, и его то и дело окликали: «Хайль Гитлер» — тут, «Хайль Гитлер» — там, Паульхен — тут, Паульхен — там. У ворот стояла кучка людей, несколько штурмовиков, две женщины и тот самый старичок из пивной, нос которого уже алел, как морковь.

— Мы сидим в «Солнце». Заходи хоть на минутку, Паульхен.

— Дайте мне сначала поздороваться с тетей Катариной.

— У-и-и...— взвизгнул человек. От одного ее имени мороз подрал его по коже.

— Пойдем, Морковочка,— сказали женщины, взяли его под руки и увели. Затем со двора выехал грузовик и, разлучив их, прижал справа и слева к стенам подворотни.

Когда Георг и Пауль наконец вошли во двор, где помещалась транспортная контора, они сразу же очутились лицом к лицу с фрау Грабер, которая стояла у ворот,— она только что отправила грузовик. На большие дистанции машины уходили с вечера.

— Вот он,— сказал Пауль.

— Этот? — спросила женщина. Она бросила на Георга быстрый взгляд. Это была крупная и широкоплечая, скорее костлявая женщина. Несмотря на белые растрепанные волосы, вздымавшиеся над сердитым выпуклым лбом, и растрепанные белые брови над пристальными и сердитыми глазами, у нее был вид не старухи, но какого-то особого существа, белогривого от природы. Она еще раз взглянула на Георга.

— Ну? — Она подождала, затем вдруг, как будто непроизвольным движением, сшибла с него котелок.— Долой это! Разве у него нет фуражки?

— Его вещи у меня на квартире,— сказал Пауль.— Он должен был сегодня ночевать у нас, но у нашего малыша сыпь, и Лизель боится, что это корь.

— Поздравляю,— сказала фрау Грабер.— Что же вы торчите в воротах? Либо сюда, либо вон отсюда.

— Ну, всего, Отто, будь здоров,— сказал Пауль, который все еще держал в руках котелок Георга.— До свидания, тетя Катарина, хайль Гитлер!

Тем временем Георг внимательно изучал лицо женщины, от которой в ближайшие часы будет зависеть его судьба. Теперь и она осмотрела его в третий раз, на этот раз жестко и обстоятельно. Он выдержал ее взгляд — с обеих сторон не было никаких оснований для снисходительности.

— Сколько лет?

— Сорок три.

— Значит, Пауль наврал мне, у меня не богадельня.

— А вы сначала посмотрите, что я умею!

Ноздри фрау Грабер презрительно дрогнули.

— Знаю я, что вы все умеете. Ну, живо, переодевайся.

— Одолжите мне комбинезон, фрау Грабер! Мои вещи остались у Пауля.

— Гм!

— Откуда я знал, что у вас ночная работа?

Тогда она начала браниться на чем свет стоит и бранилась несколько минут. Георг не удивился бы, если бы она его прибила.

Он молча слушал ее с едва уловимой улыбкой, которую она, может быть, заметила, а может, и вовсе не заметила при неверном свете фонаря. Когда она наконец замолчала, он сказал:

— Если у вас не найдется комбинезона, мне придется работать в подштанниках. Откуда я знаю ваши порядки, если я сегодня первый день на работе?

— Слушай, забери-ка его сейчас же обратно! — закричала фрау Грабер Паулю, вновь появившемуся во дворе с котелком Георга в руках. Он уже успел выбежать на улицу, и ему уже крикнули «хайль» из пивной, и он уже помахал в ответ, как вдруг вспомнил о котелке. Пауль, удивленный, состроил гримасу.

— Дай ему хоть попробовать. А завтра я приду, и ты мне скажешь, что и как.— И он смылся со всей быстротой, на какую был способен.

— Без такого человека, как Пауль,— сказала фрау Грабер спокойно,— такой парень, как вы, пропал бы. У меня работа не для инвалидов. Ну, пойдемте!

Он последовал за ней через двор, где для него было слишком светло и людно. Народ то и дело входил и выходил из задних дверей пивной и из подъездов. Уже кое-кто поглядывал на него. Перед открытым гаражом, возле пустой машины, стоял полицейский. Вот принесла его нелегкая, подумал Георг, весь покрываясь испариной. Полицейский не обратил на него никакого внимания, он спрашивал у фрау Грабер какие-то бумаги.

— Вот поищите себе тут что-нибудь, в этом тряпье,— сказала хозяйка Георгу.

В гараже был чулан с окошком, служивший конторой. Полицейский безучастно следил за Георгом, пока тот примерял один из валявшихся на полу засаленных комбинезонов. Затем поднял глаза на открытое освещенное окошко, в котором виднелась крупная белая голова хозяйки.

— Ну и баба! — пробормотал он.

Когда он ушел, женщина высунулась из окна и оперлась локтями на подоконник; очевидно, она считала это окно своим главным командным пунктом. Она опять начала браниться и кричать:

— Пошел отсюда во двор, паршивый лодырь! Приготовь машину, через полтора часа она идет в Ашаффенбург. Живо!

Георг подошел к окну. Подняв голову, он сказал:

— Будьте так добры и объясните мне точно и спокойно, что именно я должен делать.

Она сощурилась. Ее взгляд сверлил лицо этого субъекта, о котором ей говорили, что это довольно распущенный парень, разоривший семью. Но как она ни сверлила его, она ничего не могла

прочесть на этом лице, видимо изувеченном во время автомобильной аварии. Обычно от ее взгляда леденело все, чего он касался, здесь же впервые она сама почувствовала, как на нее повеяло чем-то леденящим. Тогда она спокойно принялась объяснять Георгу, что надо делать. Она пристально следила за ним. Спустя некоторое время она вышла и встала рядом, показывая и торопя. Его рана, еще только начавшая заживать, снова раскрылась. Когда он стал завязывать ее какой-то грязной тряпкой, действуя зубами и левой рукой, хозяйка сказала:

— Если ты здоров, тогда живей, если нет — катись отсюда!

Он не ответил и даже не взглянул на нее. Какая есть, такая есть, размышлял он. Ничего не поделаешь, да и потом, всему ведь бывает конец. Он работал быстро и усердно и вскоре так устал, что уже был не в силах ни пугаться, ни думать.

Тем временем Лизель сидела в темной кухне и ждала. Десять минут истекло, а Пауль не вернулся, значит, он пошел с Георгом дальше угла. Что же случилось? Что они затеяли? Отчего Пауль не сказал ей ни словечка?

Вечер был неподвижен и тих. Стук на четвертом, брань на втором, марши по радио и смех из окна в окно через улицу не могли заглушить этой тишины, а главное — легких шагов на лестнице.

Только один раз в жизни Лизель пришлось иметь дело с полицией. Ей было тогда лет десять — одиннадцать, один из ее братьев что-то натворил, может быть, именно тот, который потом погиб на войне,— в семье никогда об этой истории не вспоминали, она была похоронена вместе с ним во Фландрии. Но страх, который тогда душил всю семью, до сих пор остался у нее в крови; страх, не имеющий ничего общего с нечистой совестью, страх бедняка, страх неимущего перед преследующим его государством. Древний страх, который лучше всяких конституций и исторических книг говорит о том, чьи интересы защищает государство. И вместе с тем Лизель решила бороться, отстаивать себя и свое племя когтями и зубами, хитростью и коварством.

Когда шаги миновали последнюю площадку и стало совершенно ясно, что кто-то идет сюда, она вскочила, зажгла свет и запела срывающимся, сдавленным голосом. Свет и пение, решила она,— самые убедительные доказательства, что у людей совесть чиста. И действительно, человек, стоявший за дверью, некоторое время, видимо, колебался, перед тем как позвонить.

Он был не в мундире. Свет, зажженный Лизель, упал на его лицо. Маловыразительное и топорное, оно показалось ей незнакомым и не внушающим доверия. Наверно, шпик, решила про себя Лизель. В своих мыслях она выражалась именно так; она, навер-

но, подхватила где-нибудь это слово, так как Пауль едва ли говорил с ней о подобных вещах. Наверняка прячет свой сволочной значок под пиджаком.

— Вы фрау Редер? — спросил незнакомец.

— Как видите.

— Ваш муж дома?

— Нет,— сказала Лизель,— нет его.

— А когда он примерно вернется?

— Право, не могу сказать.

— Но когда-нибудь он же вернется?

— Понятия не имею.

— Разве он уехал из города?

— Да, да, уехал. У него дядя умер.— Полускрытая дверью и падавшей на нее тенью, она следила за незнакомцем и увидела, как его лицо передернулось; очевидно, он был разочарован. «Ну, что еще надо?» — мысленно торопила она его.

Он уже собрался уходить, но вдруг снова обернулся к ней:

— А давно он уехал?

— Порядочно.

— В таком случае хайль Гитлер! — Он пожал плечами, даже спина его выражала разочарование.

Лизель опять испугалась: а что, если он начнет расспрашивать дворничиху? Сняв башмаки, она на цыпочках вышла на лестницу, прислушиваясь, но неизвестный ничего не спросил. Когда она вернулась к кухонному окну, она увидела, что он уже уходит по тихой улице.

Какая-то надежда, какой-то верный инстинкт заставили Франца зайти в этот вечер к Редерам. И вот он шагал обратно к трамвайной остановке по безлюдным улицам, унылый и огорченный. Он поехал на другой конец города, где была пивная, в которой он оставил свой велосипед. И уже после этого направился к Герману.

Герман был настолько уверен в приходе Франца, что, не видя его, все больше тревожился. Франц редко пропускал столько вечеров подряд. В этот вечер Герман вдруг понял, что нуждается в обществе Франца, приходившего к нему за советами, и в самом Франце больше, чем мог думать. Эти советы, которых Франц, спокойно глядя на Германа, обычно от него требовал, чтобы потом неукоснительно им следовать, казалось, без Франца не могли бы и появиться на свет, не могли бы быть Германом осознаны. Когда они услышали наконец под окном звонок велосипеда, Эльза торопливо вытерла передником клеенку на столе, а Герман, скрывая

свою радость, вытащил из ящика кухонного стола шахматную доску.

Но радость Германа в этот вечер была непродолжительна, она исчезла, как только Франц занял свое место за столом. Франц был совсем другой, чем обычно. И он долго молчал.

Герман не торопил его. В конце концов Франц заговорил: он выложил Герману все, что его угнетало. Сначала Герман слушал просто со вниманием, затем удивленно, затем с тревогой. Франц рассказал все, что было. Как он трижды виделся с Элли — в кино, на рынке и в мансарде у ее родных. Как они вместе перебрали всю жизнь Георга и, роясь в воспоминаниях, старались угадать, к кому Георг мог обратиться за помощью; как Франц шел по этим следам, одержимый мыслью отыскать Георга. Как это кончилось неудачей — и потом вообще...

— Что вообще?

Но Франц опять погрузился в молчание, и Герману пришлось ждать. То, что Франц все это предпринял на свой страх и риск, не посоветовавшись с ним, Герман считал ошибкой; вот ничего у Пауля и не получилось. Герман с удивлением вглядывался в маловыразительное, как будто сонное лицо своего друга, который за внешним безразличием так умел скрывать свою настойчивость.

Наконец Франц заговорил снова, но не о том, о чем рассчитывал услышать Герман:

— Видишь ли, Герман, я самый обыкновенный человек. И мне хочется от жизни самого обыкновенного. Например, остаться навсегда в этих местах, просто потому, что мне здесь нравится. Этого желания, как у многих — уехать как можно дальше,— у меня нет. Будь моя воля, я бы прожил тут всю свою жизнь. Небо здесь и не очень яркое, и не очень серое. И люди — не деревенщина и не горожане. Все тут есть — и дым и виноград. Если бы мне только заполучить Элли, я был бы очень счастлив. Других тянет к разным женщинам, ко всяким там приключениям, а у меня этого совершенно нет. Никуда бы я от Элли не ушел, хотя я отлично знаю, что в ней нет ничего особенного. Она просто миленькая, вот и все, но я бы хотел прожить с ней до седых волос. А все сложилось так, что я даже не могу еще раз повидать ее...

— Ни в коем случае,— сказал Герман.— Тебе и ходить-то к ней не следовало.

— Тут, конечно, ничего нет дурного, пойти куда-нибудь с Элли в воскресенье,— продолжал Франц,— но я не могу себе этого позволить, нет. Не смотри на меня с таким удивлением, Герман. Значит, об Элли мне нечего и мечтать. И еще не известно, долго ли я смогу здесь остаться. Может быть, уже завтра придется бе-

жать отсюда. Всю мою жизнь мне всегда хотелось только самого простого: чтоб была лужайка, лодка, книга хорошая, чтоб были друзья, девушка, спокойствие. А потом в жизнь вошло другое — я был тогда еще совсем мальчишкой,— вот эта жажда справедливости. Вся моя жизнь постепенно изменилась, и теперь она спокойна только по видимости. Многие наши друзья, рисуя себе будущую Германию, чего только не насочиняли. У меня это не так. И в будущей Германии я хотел бы жить здесь, но только по-другому. Работать на том же производстве, но иначе. Работать для нас. И вечером уходить с работы еще свежим, чтобы потом читать, учиться. Когда трава еще теплая. Но пусть это будет та же самая трава, под забором у Марнетов. И вообще пусть все это будет здесь. Я хочу непременно жить здесь, в поселке, или там наверху, у Марнетов и Мангольдов...

— Ну, конечно, неплохо все это уяснить себе заранее,— сказал Герман.— Но все-таки скажи мне, этот Редер, друг Георга,— как он выглядит?

— Маленький такой,— сказал Франц,— издали совсем мальчик. А что?

— Если Редеры прячут у себя кого-нибудь, они должны вести себя именно так, как ты рассказываешь. Но, вероятно, они никого не прячут.

— Когда я пришел, фрау Редер была одна с детьми. Я слушал у двери и сначала и потом.

Герман подумал: Франца нужно теперь совсем отстранить от этого дела. Будь у меня в запасе хоть немного времени! Бакер приедет в Майнц в самом начале той недели. Но время не терпит. Вполне можно было бы выцарапать беднягу, но время... время не терпит...

— А что, этот Редер работает?

— У Покорни... Ты почему опять вспомнил?

— Да так.

Однако Франц почуял или вообразил, что почуял, будто Герман от него что-то скрывает.

В эту ночь Пауль и Лизель сидели рядом на кухонном диване, и он гладил ее голову и круглое плечо так же смущенно, как в те времена, когда ухаживал за ней; он даже целовал ее мокрое от слез лицо. При этом он открыл ей только часть правды: гестапо ищет Георга за какие-то старые дела. По теперешним законам ему грозит ужасная кара. Что ж ему было делать — выгнать Георга?

— Почему он не сказал мне правды? А еще ел и пил за моим столом!

Сначала Лизель бранилась, шумела и топала ногами, вся побагровев от ярости, затем начала скулить, затем разрыдалась, но и это кончилось. Было уже за полночь. Лизель выплакалась, и теперь она только каждые десять минут повторяла: «Нет, почему вы не сказали мне правду?» — как будто все сводилось именно к этому.

Наконец Пауль ответил — совсем другим, сухим тоном:

— Оттого что я не знал, выдержишь ли ты правду.— Лизель вырвала у него свою руку, она молчала. А Пауль продолжал: — Ну, а если бы мы тебе все сказали, если бы мы спросили тебя — можно ли ему остаться, ты что ответила бы — да или нет?

— Конечно, я бы сказала «нет»! — запальчиво отрезала Лизель.— А как же? Он один, а нас тут четверо, нет, пятеро — вернее, шестеро, считая того, которого мы ждем; мы даже не сказали Георгу про шестого, он и так дразнил нас из-за этих. Ты должен был сказать ему: «Дорогой мой Георг, ты один, а нас шестеро».

— Лизель, вопрос шел о его жизни!

— Да, но ведь и о нашей!

Пауль молчал. Он был глубоко опечален. Впервые он чувствовал себя совершенно одиноким. Нет, никогда уже не будет жизнь такой, как была. Эти четыре стены — зачем они? Эти дети, которых они наплодили,— зачем? Вслух он сказал:

— И ты еще требуешь, чтобы тебе все рассказывали! Тебе — правду! Да ты захлопнула бы дверь у него перед носом, а я через два дня принес бы тебе газету, и ты прочла бы в отделе «Трибунал» под рубрикой «Приговоры, приведенные в исполнение» имя — Георг Гейслер. Разве совесть не замучила бы тебя? И разве ты захлопнула бы дверь, если бы знала об этом заранее?

Пауль отодвинулся от жены. Она снова принялась плакать, закрыв лицо руками. Затем, судорожно всхлипывая, сказала:

— А теперь ты считаешь, что я скверная женщина. Да, скверная, скверная! Так дурно ты никогда обо мне не думал. И теперь ты был бы рад отделаться от этой скверной женщины, от твоей Лизель. И тебе кажется, что ты уже совсем одинок, а на нас тебе наплевать. Только Георг у тебя на уме. Да, конечно, знай я заранее, что все так обернется, что я прочту про него в газете... ну, вот это... приговор приведен в исполнение, я бы впустила его... А может, я и вообще бы впустила. Почем я знаю... Такие вещи всегда решаешь сразу. Да, теперь я думаю, что впустила бы.

Пауль пояснил, уже спокойнее:

— Видишь, Лизель, вот поэтому-то я и не сказал тебе; ты могла бы сгоряча его выгнать, а потом, когда я бы все объяснил тебе, ты бы стала мучиться.

— Но ведь и сейчас еще может случиться какой-нибудь ужас и тебя притянут?

— Да,— сказал Пауль,— притянут меня. И решать поэтому должен был я, а не ты. Я здесь хозяин и глава семьи. И я имею право сказать: да, это правильно, даже если ты и скажешь сначала «нет». Потом ты, может быть, все-таки скажешь «да», но будет слишком поздно. А я решаю сразу.

— А как ты объяснишь завтра тете Катарине?

— Это мы еще обсудим. А теперь свари-ка мне такой кофе, как вчера, когда Георгу дурно стало.

— Этот парень у нас все вверх ногами перевернул. Кофе в полночь?

— Если дворничиха спросит тебя, кто у нас был сегодня, скажи: Альфред из Заксенхаузена.

— С какой стати она меня спросит?

— С такой, что их допрашивает полиция; и нас тоже могут допросить.

Тут Лизель опять заволновалась.

— Нас? Полиция? Ты отлично знаешь, дорогой, что я не умею врать. По мне сразу видно. Я даже ребенком не умела врать. Другие врали — и хоть бы что, а у меня всегда по лицу было видно.

— То есть как это не умеешь? А разве ты только что не соврала? Если ты не можешь соврать полиции, от нашей жизни тут камня на камне не останется. И ты меня больше никогда не увидишь. А если ты скажешь, как я тебя научу, обещаю, что в следующее воскресенье мы с тобой бесплатно пойдем на матч Нидеррад — Вестенд.

— Как, ты достал контрамарки?

— Да, достал.

Около полуночи Георг наконец прилег в гараже, но его почти сейчас же позвали, так как шофер, который пришел за машиной, был чем-то недоволен. Фрау Грабер выбранила Георга, хотя и вполголоса, но весьма красноречиво. Едва он снова лег, как пришлось приготовлять вторую машину, уходившую в Ашаффенбург. Теперь фрау Грабер не отходила от него. Она внимательно следила за его работой, отчитывала за каждое неловкое движение, а также за все его прошлые грехи. Видно, Отто, место которого он занял, вел жизнь довольно беспорядочную и распущенную. Не удивительно, что он разыгрывал больного, предпочитая уклоняться от ожидавшего его здесь сурового режима. Георг хотел было лечь в третий раз, но оказалось, что надо прибрать инструменты и подмести гараж.

До утра было уже недалеко. Георг впервые поднял глаза. Женщина изумленно разглядывала его. Неужели этому парню все равно, под какое колесо попасть? Или это колесо кажется ему даже лучше, чем те, под которые он попадал раньше? Она наконец ушла к себе и затем еще раз высунулась в окошко. Георг лежал, свернувшись клубочком на скамье. Она размышляла: может быть, мы с ним все-таки поладим?

Георг, смертельно усталый, накрылся пальто Беллони, хотя о сне не могло быть и речи. Мысли текли бесконечным слитным потоком, как в сновидении: а что, если никто так и не зайдет за мной? И Пауль меня просто оставил здесь? Вместо Отто?

Он постарался представить себе свою жизнь, если бы ему пришлось остаться тут, если бы он не мог уйти. Быть навсегда прикованным к этому двору, всеми зыбытым... Нет, уж лучше сделать попытку выбраться отсюда собственными силами — и как можно скорее. А вдруг помощь все-таки придет? А он убежит и через несколько часов его схватят?

Если они поймают меня и отправят обратно, говорил он себе, пусть это случится, пока Валлау жив. Если это неизбежно, так скорее, я хочу умереть вместе с Валлау. Может быть, он еще жив! В этот миг гибель казалась ему неизбежной. Все, что обычно распределяется на целую жизнь, на несколько лет,— сосредоточение всех сил человека, подъем, и опять упадок, и слабость, и новое мучительное напряжение — все это прошло через его сознание за какой-нибудь час. Наконец и это отгорело. Он равнодушно смотрел, как наступает рассвет.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Фаренберг лежал на спине одетый, ноги в сапогах свисали с кровати. Его глаза были открыты.

Он прислушивался к ночной тишине.

Он сунул голову под одеяло. Наконец хоть какие-то звуки — хоть бурление собственной крови, отдающее шумом в ушах. Только бы больше не прислушиваться! Он жаждал звуков извне, сигнала тревоги, о котором не знаешь, откуда он, но который оправдал бы это мучительное прислушивание. Стрекотание мотора вдали на шоссе, телефонный звонок в канцелярии, наконец, шаги от канцелярии к комендантскому бараку могли бы положить конец его ожиданию. Но в лагере царила тишина, даже мертвая тишина, так

как штурмовики по-своему уже отпраздновали отъезд следователей. До половины двенадцатого они пьянствовали, между половиной двенадцатого и половиной первого производили «обход» бараков по случаю вечернего инцидента. А к часу ночи, когда штурмовики устали не меньше, чем заключенные, «танцы» кончились.

Несколько раз за эту ночь Фаренберг вздрагивал. Вот машина прошла в сторону Майнца, затем две — в сторону Вормса; на «площадке для танцев» раздались шаги, но они миновали его дверь и остановились у двери Бунзена; в начале третьего в канцелярии затрещал телефон, и Фаренберг решил, что это и есть то самое донесение, но оказалось, что это не то донесение, которое ему передали бы в любую минуту дня и ночи: не донесение о поимке седьмого.

Фаренберг задыхался, он сбросил с головы одеяло. Как нестерпимо тиха была эта ночь! Она не была наполнена воем сирен, револьверными выстрелами, жужжаньем моторов — этим шумом грандиозной охоты, в которой все участвуют,— нет, это была тишайшая из ночей, обыкновенная ночь между двумя рабочими днями. Не шарили по небу прожекторы; стоявшие над деревнями осенние звезды терялись в тумане, и только мягкий, но всепроникающий свет ущербной луны мог найти того, кто не хотел быть найденным. После утомительного рабочего дня все спокойно спали. Можно было бы сказать, что мир царит на земле, если бы не пронзительные вопли, то и дело доносившиеся из лагеря Вестгофен; кое-кого они будили, и люди, сев на кровати, прислушивались. И как будто военная орда покидала окрестность, шум и гам еще раз поднялся, как волна, и наконец стих совсем. Если уж кто теперь не спал, то винить в этом надо было не голоса извне.

Я буду спать, сказал себе Фаренберг. Оверкамп уже давно на месте. И зачем только я назначил определенный срок, зачем объявил о нем? Это же не моя вина, если они не поймают Гейслера. Нужно во что бы то ни стало поспать.

Он опять завернулся с головой в одеяло. А что, если тот уже перебрался через границу? И его потому не находят, что его нельзя найти? Если он именно в эту минуту переходит границу? Но ведь граница охраняется, как во время войны.

Вдруг он вскочил. Было пять часов. Снаружи слышался неясный шум. Да, вот оно, наконец-то! С шоссе, от ворот лагеря доносилось стрекотанье моторов и отрывистые приказания, которыми обычно сопровождалось прибытие заключенных. Затем последовал глухой, неравномерно нарастающий шум, но еще без того особого, характерного оттенка, без приторно горького вкуса: кровь еще не пролилась.

Фаренберг включил две из своих многочисленных лампочек. Но свет чем-то мешал ему слушать, и он опять выключил их. Готовый уже пойти туда, он задержался на миг, стараясь разобрать, что происходит у ворот лагеря, томимый мучительными надеждами, которые, кажется, вот-вот должны осуществиться.

За последние несколько секунд шум, которым обычно сопровождалась доставка заключенных, усилился. Казалось, он исходил уже не от отдельных людей, даже не от орды, следующей приказу над ней поставленной, хотя и сомнительной власти, нет, чудилось, будто сорвалась с цепи обезумевшая свора. Донеслись уже и те особые звуки, и вот уже нет их, и этот миг позади. Кровь уже пролилась, и ее вкус разочаровал испробовавших ее. Лай своры становился хриплым.

Фаренберг сделал совсем человеческий жест. Он приложил руку к сердцу. Его нижняя челюсть отвалилась. Кожа на лице обвисла от злобной досады. Для его слуха весь этот шум был вполне последовательной и понятной сменой звуков.

Во дворе опять раздалась команда. Фаренберг заставил себя опомниться. Включил несколько лампочек. Начал возиться со штепселями.

Когда Бунзен несколько минут спустя проходил через «площадку для танцев», он слышал, как за дверью, точно одержимый, бушует Фаренберг; Циллих только что доложил ему: восемь новых заключенных. Все с завода Опеля, они против чего-то протестовали. Им предписан краткий курс лечения, после чего они, вероятно, станут покладистее насчет норм и расценок.

Циллих принял и выдержал этот новый шквал брани с замкнутым, суровым лицом. Буря, в которой обычно искал для себя выхода его начальник, не сбила его с ног. Но на этот раз Фаренберг не обмолвился ни словечком, ни намеком на былые дни, на их взаимную преданность. Напрасно ждал Циллих в отчаянии, свесив на грудь грузную голову; Циллих, чутко следивший за всеми движениями своего начальника — перед ним только и стояла эта задача: следить за всеми движениями начальника,— отлично понимал, что отношение к нему Фаренберга за истекшую неделю резко изменилось. В понедельник, после побега, их еще связывало общее несчастье. В последующие же дни Фаренберг, видимо, решил совсем порвать с ним. Неужели он про Циллиха окончательно забудет? Навсегда? Если Фаренберга переведут — а говорят, так и будет,— какая же судьба постигнет его, Циллиха? Может быть, Фаренберг вызовет его туда, куда его самого назначат? Или ему придется остаться одному в Вестгофене?

Близко поставленные глаза Фаренберга, отнюдь не внушающие страха, отнюдь не предназначенные природой к тому, чтобы

заглядывать в бездны, а только в засорившиеся канализационные трубы, смотрели на Циллиха холодно, даже с ненавистью. Фаренберг наконец решил, что этот чурбан один во всем виноват. Не раз за истекшую неделю мелькала подобная мысль в его голове; теперь он был в этом убежден.

А Циллих воспользовался паузой, чтобы закинуть удочку, нащупать, в какой мере начальник еще доверяет ему:

— Господин комендант, я прошу вашего разрешения на следующие изменения в составе отряда, на который возложена охрана штрафной команды...

Бунзен слышал, как Фаренберг вторично начал бушевать. Теперь этой потехе скоро конец. Правда, комиссия по расследованию событий, имевших место во время и после побега, еще не огласила своих выводов. Однако среди эсэсовцев ходили упорные слухи, что старик не продержится и недели.

Снова пауза. Вошел Бунзен, улыбаясь одними глазами. Циллих был отпущен. Он напоминал быка, которому спилили рога. Тоном начальника, власть которого беспредельна и нерушима, Фаренберг сказал:

— На вновь прибывших распространяются карательные меры, наложенные после побега на всех заключенных.— И тем же тоном принялся перечислять эти меры: одна была суровее другой.

Ну, теперь многие из тех, в ком душа еле держится, сыграют в ящик, подумал Бунзен, этот тип на прощанье покажет себя.

Циллих направился в столовую. Там уже подавали кофе. Рассеянно уселся он на свое обычное место у стола. С той минуты, как Фаренберг пролаял, что ответственность за штрафную команду лежит отныне не на нем, а на Уленгауте, какой-то туман застлал ему глаза. В столовой сидели здоровенные проголодавшиеся молодые люди, которые с аппетитом уплетали грубую здоровую пищу: крестьянский хлеб, намазанный повидлом из слив. Все это поставлялось в изобилии из соседних деревень. Кроме того, на этой неделе запасы особенно пополнились, так как паек заключенных был, в карательных целях, сокращен. С одного конца стола на другой сидящие передают большие жестяные кувшины с кофе и молоком. Члены охраны, сопровождавшие транспорт заключенных, сегодня в гостях у вестгофенских штурмовиков. Они смеются и чавкают.

— Был там такой фрукт,— рассказывает один,— никак ему глотку не заткнешь, тут его сейчас же в подвал оттащили да открыли дверь. А он и говорит: «Рабочее место — просто красота».

Циллих смотрел прямо перед собой и набивал рот хлебом.

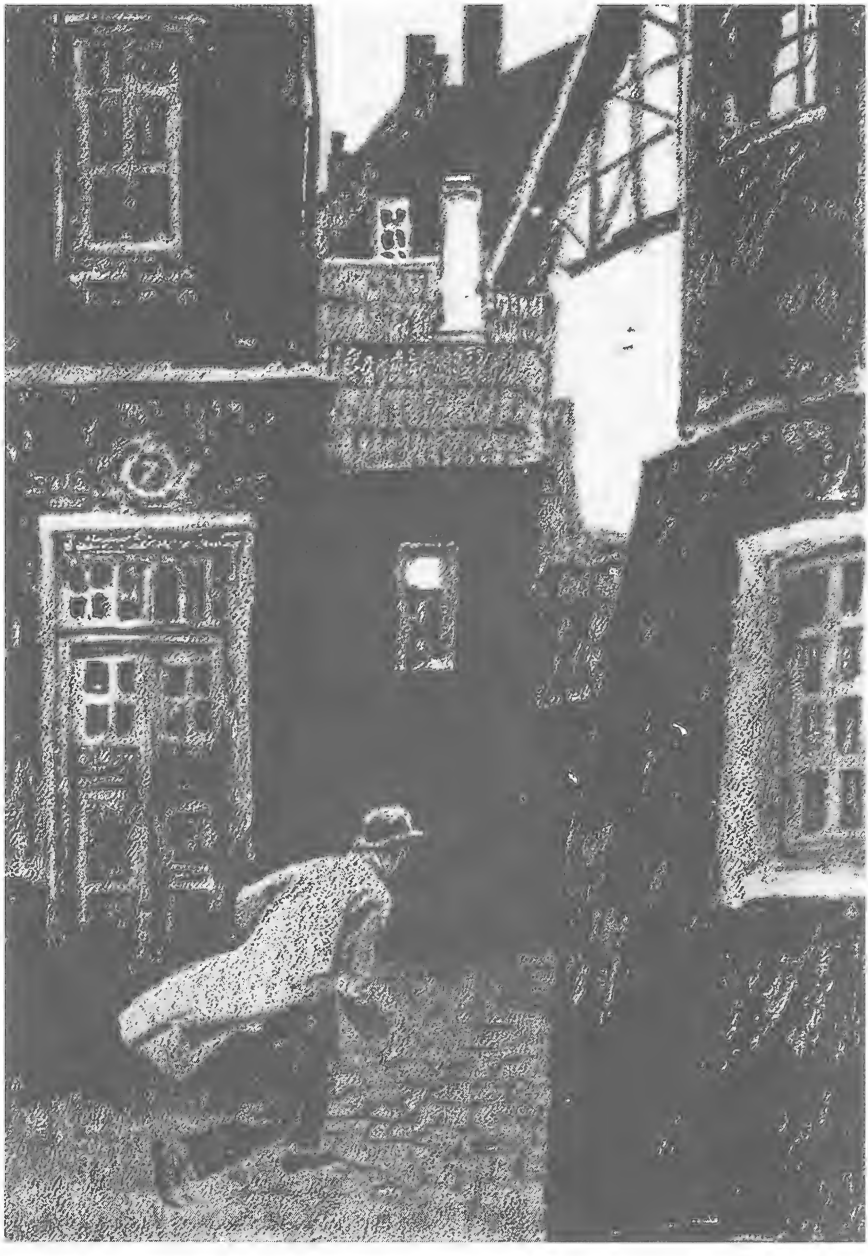
II

Туман почти рассеялся, только отдельные лохмотья еще висели между яблонями Марнетов и Мангольдов. Велосипед Франца опять подскочил на двух ухабах, но сегодня эти подскакивания не доставляли ему удовольствия и только мучительно отдались в тяжелой, болевшей от бессонной ночи голове. Франц въехал в полосу тумана, и его волны обдали разгоряченное лицо влажной прохладой.

Когда Франц огибал усадьбу Мангольдов, солнце на мгновенье проглянуло сквозь мглу. Но теперь на опустевших яблонях уже не вспыхивали отблески. За усадьбой поля уходили вниз, словно бесконечная безлюдная пустыня. Забываешь, что там в тумане заводы Гехста, что неподалеку крупнейшие города страны, что скоро на дороге появятся целые стаи велосипедистов. Здесь пустыня, прикрытая пашнями. Здесь вековая тишина — в трехстах метрах от городских ворот. А там, где пройдут Эрнст и его овцы, земля будет еще пустыннее. Эта пустыня осталась до сих пор непокоренной. Каждый только проходит через нее. Каждый хочет пройти скорее. Хорошо, если бы сегодня вечером дома уже затопили печку! Франц никогда не чувствовал особой симпатии к Эрнсту, но сегодня утром ему недоставало Эрнста, точно сама жизнь ушла отсюда вместе с ним куда-то в другое место.

Если вы минуете усадьбу Мангольдов, то раскинувшаяся перед вами земля, уходящая волнами в золотисто-серые пыльные дали, так тиха, словно она еще необитаема. Можно подумать, что люди никогда еще не поднимались сюда. Никогда здесь не стояли лагерем легионы с их знаменами и богами. Никогда здесь не сталкивались народы. Никогда не поднимался сюда монах верхом на своем ослике, чтобы разведать эту дичь и глушь, совсем один, грудь закована в панцирь веры. Никогда не проезжали здесь сильные мира во главе своей свиты — на выборы и пиры, на войну и в крестовые походы. Неужели эти золотисто-серые дали могли быть тем местом, где люди дерзали на все, все проигрывали и опять дерзали? Уже, наверно, целая вечность прошла с тех пор, как здесь происходило что-то,— а может быть, еще ничего и не начиналось?

Франц думает: если бы так ехать и ехать, если бы эта дорога никогда не приводила в Гехст! Но воздух вокруг него полон звона, а у ларька с сельтерской стоит Антон Грейнер. Дождусь ли я того дня, когда этот парень проедет здесь, ничего не купив, думает Франц. В его лице, в котором за минуту перед тем отражались только тишина и пустынность осени, появилось выражение мелочной досады. Затем это выражение исчезает. Лицо его становится



грустным. Мысль о невесте Антона Грейпера наводит его на мысль об Элли.

Из окошечка ларька с сельтерской потянуло струей теплого воздуха. Продавщица затопила печурку. У нее еще одно повшество: плитка, чтобы подогревать кофе для рабочих из дальних деревень.

— Как это ты можешь опять пить кофе? — спросил Франц.— Ведь ты же прямо из дому?

— А тебе моих денег жалко? — спросил Антон. Они катили под гору, оба были в дурном пастроении. Они догнали остальных велосипедистов. Вдруг загудел клаксон — раз, два. Велосипедисты рассыпались. Мимо пролетели, как молния, эсэсовцы на мотоциклах, с ними — двоюродный брат Антопа Грейнера.

— Оп вчера какие-то глупости пес,— сказал Антон,— и про тебя спрашивал.— Франц вздрогнул.— Спрашивал, как твое самочувствие, ты, мол, наверно, посмеиваешься себе в кулак...

— Почему это я должеп посмеиваться себе в кулак?

— И я спросил почему. Оп уже порядком заложил, а с полупьяным, знаешь, хуже, чем с пьяным в лоск. Ведь мотоцикл-то теперь ему принадлежит, оп все выплатил. Каждый, у кого есть мотоцикл, сказал он, обязап обыскивать город. Целые улицы оцеплены.

— Почему?

— Все еще из-за беглецов.

— При таком контроле,— сказал Франц,— как не найти одного человека...

— Я и сказал ему. А он говорит: у такого контроля тоже своя загвоздка. Какая же? — спрашиваю я. А он и говорит: такой контроль и контролировать трудно. Кстати, он скоро женится, и угадай — па ком?

— Ну, что ты пристаешь, Антон? Откуда мне знать, на ком собирается жениться твой двоюродный брат? — Франц старался скрыть свое волнение. Неужели этот эсэсовец действительно спрашивал о нем?

— Он собирается жениться, знаешь, на этой Марихен из Боценбаха.

— Как? Это же невеста Эрнста!

— Какого Эрнста?

— Да пастуха.

Антон Грейнер рассмеялся.

— Ну, что ты, Франц, такой парень не в счет. К Эрнсту никто даже ревновать не будет.

Опять что-то, чего Франц не понял, но он и спросить не успел. На окраине Гехста опи размипулись. Францу надо было ехать по улице, на которой застряли две цистерны с бензином. Велосипе-

дисты послезали со своих машин и повели их, следуя гуськом друг за другом. Как и воздух — лица были серы, только на металлических частях — на велосипедных рулях, на фляжке, торчавшей у кого-то из кармана, на выпуклостях цистерн — лежали блики света. Впереди Франца шли девушки в серых и синих передниках, построившись шеренгой, взявшись под руки, плечом к плечу. Франц заставил их расступиться, и они заворчали. Что это? Кто-то сказал «Франц»? Он обернулся. Чей-то темный глаз пристально посмотрел на него. Эту девушку с презрительно опущенными уголками губ и прядью волос над изувеченным глазом он как будто знает. Он как-то встретился с ней в начале этой недели. Она насмешливо кивнула ему.

В полупустой раздевалке рабочие шептали:

— Кочанчик... Кочанчик...

— А что случилось с Кочанчиком?

— Вернулся.

— Что? Как? Сюда?

— Нет, нет! Может быть, в понедельник приедет.

— Ты-то откуда все это знаешь?

— Сидел я вчера вечером в «Якоре», входит его дочь, та, хромая. Вернулся, говорит. Ну, я с ней тут же пошел к ним. Сидит Кочанчик на постели, жена ему компрессы прикладывает. Один уже на голове. Господи Иисусе, Кочанчик, говорю, хайль Гитлер! Да, хайль Гитлер! — говорит. Это очень хорошо, что ты сразу пришел меня проведать. Что же тут хорошего? — спрашиваю. Лучше ты расскажи, что они делали с тобой! А он и говорит: Карльхен, говорит, ты молчать умеешь? Еще бы, говорю. Ну и я тоже, говорит. Вот и все, больше ничего не сказал.

III

Элли не сводила карих глаз с Оверкампа, который после допроса, длившегося почти целую ночь, уже не был для нее незнакомцем.

— Будьте добры, постарайтесь вспомнить, фрау Гейслер. Вы понимаете, о чем я говорю? Может быть, в уединении ваша память заработает лучше, чем когда вы разгуливаете на свободе? Это ведь легко можно проверить.

Все ее мысли были точно высушены нестерпимо ярким светом. Она могла думать только о том, что видела перед собой. Она подумала: три верхних зуба у него, конечно, вставные.

Оверкамп наклонился над ней, режущий свет лампы ударил ему в бритый затылок, и ее лицо вдруг оказалось в тени.

— Вы понимаете, фрау Гейслер?

Элли тихо ответила:

— Нет.

— Если вы не в состоянии ничего припомнить, находясь на свободе — причем вы обязаны этой свободой исключительно тому факту, что не в ладах с Гейслером и разошлись с ним,— тюрьма, а если понадобится, и карцер, может быть, окажут на вас более благотворное действие. Теперь вы понимаете меня, фрау Гейслер?

Элли сказала:

— Да.

Когда ее лоб был в тени, она могла думать. А что я потеряю, если он посадит меня? Службу? Печатать каждый день на машинке двадцать писем чулочным фабрикантам? Темная камера? Все лучше, чем этот свет, он словно режет мозг на куски.

Ее мысли, обычно полуосознанные и смутные, вдруг с необычайной ясностью и отчетливостью охватили все, что могло предстоять ей, в том числе и возможность смерти. Вечный мир — после временных горестей и ударов судьбы, как учили ее когда-то в школе, причем ни учитель, ни маленькая школьница с темной косой никак не ожидали, что это туманное поучение может когда-нибудь сослужить ей службу в повседневной жизни.

Оверкамп отошел в сторону, Элли быстро закрыла глаза, снова ослепленная потоком белого света, от которого она задыхалась. Он наблюдал за ней с неутомимым вниманием — как самый пылкий любовник. За истекшую ночь он вызвал к себе, прервав их первый сон, около десятка людей, в том числе и Элли Гейслер. На все его вопросы эта молодая особа отвечала мягким голосом только «да» или «нет». В смертоносном свете ее маленькое личико как будто таяло. Оверкамп пододвинул себе стул и начал сызнова:

— Ну, что же, дорогая фрау Гейслер, начнем опять с самого начала. В первое время вашего брака — вспомните, как этот субъект еще был влюблен в вас,— впрочем, это и не удивительно,— как потом любовь начала убывать, конечно, по капле — после ссор вы быстро мирились и все казалось вдвое слаще — так ведь, верно, фрау Гейслер? Потом огонек любви медленно, очень медленно начал меркнуть, и ваш муж стал отдаляться от вас, а ваше чувство еще отнюдь не умерло, и ваше сердце все еще сжималось от боли при мысли, что ваша великая любовь пропадает зря,— помните?

— Да,— ответила Элли тихо.

— Да, вы помните. И как то одна, то другая ваша подруга делала вам намеки. И как он провел первый вечер вне дома, а затем еще три-четыре вечера подряд — с этой женщиной. Вы помните? Да?

Элли ответила:

— Нет...

— Что — нет?

Элли попыталась отвернуть голову, но режущий свет держал ее в своей власти. Она тихо сказала:

— Он проводил вечера вне дома, вот и все!

— И вы даже не помните с кем?

— Нет.

Когда допрос дошел до этого пункта, непрошеные воспоминания, как Оверкамп и предвидел, пронеслись в голове у Элли. Точно призрачные ночные бабочки, реяли они перед ослепляющей полицейской лампой: толстая кассирша, две-три хорошенькие девушки, на голубых кофточках которых был вышит красный значок «Фихте», нескладная девчонка в Нидерраде и еще одна — Элли упорно ревновала его тогда именно к этой, может быть, потому, что для ревности не было никаких оснований,— Лизель Редер. Лизель еще не была тогда толстухой, а просто маленькой кругленькой золотисто-рыжей хохотушкой. Когда Элли доходила в своих воспоминаниях до Лизель, ей сразу вспоминалась и вся семья Редер, и Франц, и все, что с этим было связано.

План допроса Оверкампа был, как всегда, построен правильно. Вопросы следователя вскрыли в памяти Элли именно то, что им надлежало вскрыть. Но трудность заключалась в том, что эта сидевшая перед ним молодая женщина, такая мягкая и тихая, замкнулась в себе с неслыханным упорством. Оверкамп почувствовал, что допрос, как выражались между собою следователи, завяз. Об это дьявольское препятствие разбивался нередко самый искусно построенный план, об него спотыкались самые опытные полицейские; человеческое «я», вместо того чтобы под настойчивым молотом сотен вопросов ослабеть и распасться, вдруг, в последнюю секунду, как бы выпрямляется и крепнет, и удары молота не только не могут разбить это «я», а, напротив, оно под ними как бы отвердевает. И потом, если силы молодой женщины и могли быть в конце концов сломлены, нужно было сначала дать ей вновь собрать их. Оверкамп повернул рефлектор в другую сторону. Почти пустую комнату наполнил мягкий свет, отраженный с потолка. Элли облегченно вздохнула. На полу под окном — ставни были закрыты — легла странная золотистая полоса: рассвет.

— Теперь идите. Но вы можете нам понадобиться в любую минуту. Сегодня или завтра. Хайль Гитлер!

Элли шла по улицам, шатаясь от усталости. В первой же булочной она купила горячую булку. Недоумевая, куда же ей идти, она машинально направилась, как обычно, в контору. Она надеялась, что никого там не застанет, кроме уборщицы, и что ей до девяти удастся тихонько посидеть в уголке. Однако надежда

эта не сбылась. Директор конторы, обычно приходивший чуть свет, уже был здесь.

— Да, утренние часы — золотые часы, я всегда говорю, а золото — это вы. Знаете, фрау Элли, будь это не вы, а другая, я бы поклялся, что вы были на свидании. Ах, да не краснейте же так, фрау Элли. Если бы вы знали, как вам это идет. Что-то такое хрупкое, нежное в кончике вашего носика, в этой синеве под глазами!

Будь у меня хоть кто-нибудь, кто бы по-настоящему любил меня, подумала Элли. Георг, если даже он жив, наверно, меня совсем разлюбил. О Генрихе я и думать не хочу. О Франце не может быть и речи. Сегодня поеду к отцу после работы. Уж он-то всегда рад видеть меня. Он всегда, всегда будет добр ко мне.

IV

Они забыли меня на этом дворе, размышлял Георг. Сколько времени я уже здесь — часы, дни? Эта ведьма меня никогда не выпустит отсюда. Пауль никогда больше не придет.

Люди выходили из своих подъездов и спешили в город. А, Марихен, как ты? Что это ты чуть свет? Хайль Гитлер! Куда вы торопитесь, господин Майер, работа не волк, в лес не убежит. До свиданья, моя радость! Значит, до вечера, Альма.

Отчего они все такие веселые? Чему они радуются? Тому, что опять наступил день, что опять светит солнце? Неужели они всегда так веселы, несмотря ни на что?

— Ну? — спросила фрау Грабер, когда он на миг задумался между двумя ударами молотка. Вот уже несколько минут, как она стояла за его спиной.

Георг подумал: вдруг Пауль забыл обо мне и мне придется остаться здесь навсегда вместо его шурина? Ночью на скамейке в гараже, а днем на этом дворе?

— Послушайте-ка, Отто,— сказала фрау Грабер,— я говорила с вашим зятем Паулем насчет жалованья, если я вообще решу оставить вас у себя, а это еще большой вопрос. Так вот: сто двадцать марок. Ну? — спросила она, заметив, что он как будто колеблется.— Продолжайте свое дело. Я потолкую с Редером, ведь он за вас поручился.

Георг промолчал. Стук сердца в его груди был так настойчив и громок, что ему казалось — вся улица слышит этот стук. Он думал: придет Пауль до воскресенья или нет? Что, если он и тогда не придет? Сколько же мне ждать его? Может быть, нужно выбираться отсюда на свой страх и риск? Я не хочу думать все о том

же. Ведь я Паулю доверяю? Да. Тогда нужно ждать, пока он придет.

Фрау Грабер все еще стояла у него за спиной. Георг совершенно забыл о ней. Вдруг она спросила:

— Кстати, как это вы ухитрились потерять свои шоферские права?

— Это длинная история, фрау Грабер. Я все расскажу вам сегодня вечером, то есть, конечно, если мы с вами поладим и я еще буду здесь сегодня вечером.

V

А Пауль стоял, то раздвинув ноги, когда затворы возвращались на место, то на одной ноге, как аист, когда приходилось опускать рычаг, и ломал голову над тем, к кому бы сегодня обратиться за помощью.

В цеху было шестнадцать рабочих, не считая старшего мастера, но о нем не могло быть и речи. От потных нагих спин этих шестнадцати рабочих — тощих и толстых, молодых и старых — валил пар, и на них были следы всех увечий, какие только может выдержать человеческое существо; иные получены были ими при рождении, иные — в уличных драках, иные во Фландрии, в Карпатах, иные в Вестгофене или Дахау, иные на работе. Тысячу раз видел Пауль этот шрам пониже плеча у Гейдриха. Просто чудо, что, пробитый пулей навылет, он все-таки выжил и стал сварщиком у Покорни.

Пауль отлично помнил, как Гейдрих в ноябре восемнадцатого только что вышел из эшерсгеймского полевого лазарета. Исхудавший, на костылях, он жаждал изменить все порядки в стране. Пауль был в то время учеником. Больше всего поразил его в Гейдрихе именно этот огромный шрам от сквозной раны. Гейдрих очень скоро начал ходить без костылей. Он стремился то в Рурскую область, то в Среднюю Германию. Он хотел быть всюду, где шла борьба. Но все эти носке, и ваттеры, и леттовфорбеки раньше покончили с восстаниями, в которых он жаждал участвовать, чем он успел выбраться из Эшерсгейма. Однако никакие раны так не обескровили Гейдриха, как последовавшие за войной годы мира: безработица, голод, семья, постепенная утрата всех прав, раскол рабочего класса, потеря драгоценного времени в спорах о том, за кем же правда, вместо немедленной борьбы за правое дело и, наконец, в январе тридцать третьего года — удар, самый страшный из всех. Священное пламя веры — веры в самого себя — погасло! Пауль удивился, как это он до сих пор не замечал происшедшей в Гейдрихе перемены. Когда он посмотрел на него сегодня утром,

ему стало ясно, что Гейдрих и волоском со своей головы сейчас не рискнет, у него только одно желание — чтобы ему дали возможность иметь работу до конца своей жизни. А от кого она и для кого — не важно.

Может быть, Эммрих, раздумывал Пауль. Эммрих, самый старый рабочий в цеху — белые кустистые брови, строгие глаза и белый хохолок на макушке. Он был некогда стойким членом организации и считал делом чести вывешивать красный первомайский флаг еще накануне, с вечера тридцатого апреля, чтобы на другой день флаг уже развевался в первом утреннем ветерке. Паулю почему-то вдруг вспомнилось именно это. Раньше он не придавал значения таким характерным черточкам и особенностям. Вероятно, Эммрих избежал концентрационного лагеря потому, что принадлежал к кадрам незаменимых, высококвалифицированных рабочих и был уже очень стар. Да, годы уже не те, и, вероятно, уже нет той хватки. Но тут Пауль вспомнил, что дважды видел Эммриха в Эрбенбеке, в тамошней пивной, с молодым Кнауэром и его друзьями, хотя в цеху они никогда друг с другом не разговаривали, и что Кнауэр частенько выходил от Эммриха по вечерам. И вдруг Пауль понял смысл людских перешептываний, подобно человеку в волшебной сказке, который, отведав какого-то блюда, вдруг начал понимать язык птиц. Да, эти трое связаны друг с другом; и Бергер с ними, а возможно, и Абст. Может быть, Эммрих и свернул свое знамя, но взгляд его строгих глаз все еще бдителен. Он и его товарищи, наверно, нашли бы убежище для моего Георга, подумал Пауль. Но я ни за что не решусь спросить их. Они держатся особняком, они никого к себе не подпускают, они меня знать не захотят и не поверят мне. Что же, разве они не правы? И почему бы им доверять мне? Что я в конце концов для них? Просто — Паульхен.

Когда раньше кто-нибудь спрашивал Пауля о чем-нибудь таком, он говорил: меня, пожалуйста, оставьте. Для меня главное, чтобы моя Лизель накормила меня вечером супом, даже если он и не очень наваристый.

А теперь? А завтра? Он снова слышит отрывистый хриплый голос Георга, словно этот голос более реален и живуч, чем сам гость с его серым лицом и забинтованной рукой, ночевавший на его диване. А как ты думаешь, Пауль, говорит этот голос, почему они тебе все-таки оставили хоть этот суп, и хлеб, и пеленки, и восьмичасовой день вместо двенадцатичасового, и отпуска, и билеты на пароход? От доброты сердечной? Из человеколюбия? Нет, они всего этого не отнимают из страха. У тебя и этого бы не было, если бы мы не боролись, мы тебе это сохранили, не они. Долгие годы борьбы таких, как я и ты, кровь, заточенье.

И Пауль отвечал: ты опять про то же?

Тогда Георг внимательно на него поглядел, почти так же, как вчера вечером, когда Пауль уходил со двора фрау Грабер. Волосы на висках у Георга были седые, искусанная нижняя губа распухла.

Он погиб, если я за сегодняшний день никого не найду. Нужно думать только об этом. Но как, как найти? Дурные люди обманут меня, а хорошие прячутся. Их днем с огнем не сыщешь.

Вот на своих огромных сильных ногах высится башней Фриц Вольтерман, он словно отлит из металла. Татуировка в виде голубой змеи с женской головкой обвивает его крупный выпуклый торс; его руки тоже покрыты татуировкой, изображающей маленьких змей. Раньше он был сварщиком на военном судне. Отважный парень, он гордится своей отвагой, и знается он с отважными людьми. Он смерти не боится, ему наплевать, напротив, опасность увлекает его.

Пауль решил: да, Вольтерман! Ему стало легче. Но только на несколько минут. Затем его сердце снова запыло. Ему вдруг показалось совершенно невозможным отдать самое драгоценное на свете во власть этих озорных, обвитых змеями рук. Может быть, Вольтерману и наплевать на то, попадется он или нет, но Паулю отнюдь не наплевать. Нет, Вольтерман не годится.

Скоро полдень. Обычно, когда солнце показывалось над крышей, у Пауля вырывался вздох облегчения. Это был его час. Он знал, что если в медной головке индикатора вспыхивает отблеск, значит, недолго и до полудня. Он подумал: в обеденный перерыв я должен переговорить с ним — с тем, кого еще вовсе и нет.

Может быть, Вернер? Он самый добродушный из всех. Если двое рабочих поссорятся, он бросается мирить их. Если у кого-нибудь беда — он всегда поможет из нее выкарабкаться. Вчера он заботливо, как мать, перевязал Паулю руку. Может быть, он и есть тот самый, кто мне нужен? Прямо блаженный какой-то! И всегда спокоен. Да, он... тут же решил Пауль.

Тронутая лучами полуденного солнца медная головка вспыхнула. Фидлер мягко окликнул его:

— Эй, Пауль! — потому что Пауль прозевал опустить рычаг в нужную секунду.

Нет, решил Пауль. Его предостерегал какой-то голос, хотя обычно Пауль не был ни прозорлив, ни подвержен предчувствиям. Вернер увильнет. Он выдумает какое-нибудь этакое святое извинение. Уж лучше он наложит еще сотню пластырей, уладит сотню споров, утрет сотню слезинок.

Во второй раз за его спиной раздался тихий предостерегающий голос Фидлера:

— Пауль!

Ах, и Фидлер тоже. Ведь еще на прошлой неделе, когда Бранд, вызывая его на объяснение, напомнил ему, что ты-де, Фидлер, принимал участие в каждой стачке и в каждой демонстрации, Фидлер напрямик заявил: времена меняются, и мы тоже.

Не повертывая головы, Пауль покосился на Фидлера. Пауль и вчера как-то странно посмотрел на меня, подумал Фидлер. Или его что-то тревожит? Фидлеру около сорока, сильный, крепкий человек. Любит грести и плавать. Лицо широкое, спокойное, и глаза тоже спокойные.

Нет, то, что он так ответил нацисту Бранду, это ничего не значит, размышлял Пауль, это ровно ничего не доказывает. Так, пустой звук. Хочешь поймать — и нет ничего. Все последние годы Фидлер с неизменным спокойствием и неизменной вежливостью на все молчал и отмалчивался. Да, конечно, он всегда был человеком порядочным. Был, думал о нем Пауль, словно вся прежняя жизнь Фидлера кончилась и он стоит, ожидая приема, на пороге другой жизни и словно он, Пауль,— страж этого порога. Да, Фидлер был человеком порядочным. Взять хотя бы этот случай с подъемником. Дело даже передали в конфликтную комиссию, скверная вышла история. Двое пострадавших были как раз из их цеха, подъемник еще только пустили, и они поднялись в нем в числе первых, а трос лопнул, говорят, по вине Швертфегера, и все четверо, кто сидел в подъемнике, здорово покалечились, да и Фидлер сломал ключицу. Они могли бы потребовать в комиссии возмещения по высшей ставке, могли и Швертфегера притянуть к ответу, тем более что он действительно был виноват. А Фидлер уговорил всех троих наплевать на это дело — и на его собственную ключицу заодно — и не топить Швертфегера. Словом, Фидлер совершил чудо, особенно если учесть, что за спиной у каждого пострадавшего причитала жена с детьми и из-за вынужденного прогула, и из-за неполученной компенсации.

Достаточно ли этого, чтобы доверять Фидлеру, спросил себя Пауль. Возможно, и Бранд сделал бы то же самое из чувства общности — или как там оно зовется у нацистов. А может, Бранд сказал бы: нельзя уклоняться от ответственности, халатность наносит ущерб чувству общности, за это Швертфегер должен понести наказание.

На всех собраниях Фидлер задавал короткие, спокойные вопросы. Ему всегда надо было точно знать, все ли они получили, что им причитается. Но ведь и Бранд вел себя точно так же.

Медная головка индикатора все еще блестела. Полдень. Сейчас будет гудок.

И вдруг Паулю вспомнился один эпизод — не поступок и не какое-нибудь заявление Фидлера, просто пустячная черточка,

о которой при других обстоятельствах он никогда бы и не вспомнил. Этой весной, когда после работы всем предложили собраться в главном зале, чтобы прослушать речь фюрера, кто-то сказал:

— Ах, черт, а мне как раз на вокзал нужно.

— Поезжай, никто и не заметит,— посоветовал ему другой.

А третий добавил:

— Это же не обязательно.

Тут и сам Пауль сказал:

— Если не обязательно, так я пойду к Лизель! Все равно заранее известно все, что он скажет.

И вдруг оказалось, что смылись очень многие,— вернее, они только хотели смыться, так как все трое ворот оказались запертыми. Тогда кто-то вспомнил, что возле будки сторожа есть крошечная калитка. Калитка была и вправду крошечная, а на заводе работало тысяча двести человек. И вот вышло так, что все устремились к ней сразу, в том числе и Пауль.

— Да вы спятили, ребята,— удивился сторож. Тогда кто-то в толпе сказал:

— Это, знаешь, вроде как игольное ушко, скорее верблюд пройдет через него, чем...

Тут Пауль обернулся и увидел какой-то торжествующий блеск в спокойных глазах Фидлера на серьезном, замкнутом лице.

Солнечный луч больше не горел на головке индикатора. Теперь его лучи озаряли кусок стены между окнами. Раздался гудок на обед.

— Можно тебя на минутку? — Пауль ждал Фидлера во дворе. Фидлер подумал: значит, все-таки что-то тревожит его. Интересно, чем мог расстроиться такой парень, как Пауль?

Пауль колебался. Фидлер был удивлен: при ближайшем рассмотрении Пауль оказался совсем другим, чем он представлял себе, особенно глаза были другие. Ничего ребячливого, задорного, наоборот, они были холодны и суровы.

— Мне нужен твой совет,— начал Пауль.

— Что ж, выкладывай,— сказал Фидлер.

Пауль снова нерешительно помедлил, затем сказал вполне связно и совершенно спокойно и отчетливо:

— Это насчет заключенных в Вестгофене, ты же знаешь, Фидлер, что я имею в виду, насчет беглецов,— вернее, одного...

Сказав это, он побледнел так же сильно, как побледнел, когда Георг открылся ему. И Фидлер, при первых же словах Пауля, весь побелел. Он даже закрыл глаза. Какой шум стоит во дворе! Что за вихрь подхватил их обоих?

Фидлер спросил:

— Почему ты обратился именно ко мне?

— Я не могу тебе объяснить почему. Просто доверяю.

Фидлер овладел своим волнением. Сквозь зубы начал он задавать вопросы, кратко и сурово, и Редер отвечал так же кратко и сурово — со стороны можно было подумать, что они ссорятся. И лбы у них были нахмурены, и лица бледны. Наконец Фидлер слегка сжал плечо Пауля и бросил на ходу:

— Будь в пивной Финкенгофа через сорок пять минут после конца работы. Дождись меня. Все это нужно обмозговать. Сейчас я еще ничего тебе не обещаю.

Это были самые странные часы в их жизни — эта вторая половина смены. Паулю удалось раз или два обернуться к Фидлеру. Действительно ли он тот, кто ему нужен? Во всяком случае, ему придется им стать.

Почему он обратился именно ко мне? — спрашивал себя Фидлер.— Разве по мне что-нибудь заметно? Эх, Фидлер, Фидлер! Ты слишком долго и усердно старался, как бы кто чего-нибудь не заметил. А сейчас ничего по тебе не заметно, потому что и замечать-то нечего. Оно погасло. И исчезла опасность, что кто-нибудь заметит. Но ведь все-таки,— продолжал он, обращаясь к самому себе,— несмотря на все предосторожности, помимо твоего желания, что-то, видно, в тебе осталось? Осталось, и Редер почувствовал это.

Может быть, следовало сказать: Редер, я ничем не могу тебе помочь, напрасно ты думаешь. Я уже давно отрезан от партийного руководства и товарищей. Все связи между мной и ими давно порваны, хотя я, может быть, и мог бы их возобновить. Но я ничего для этого не делал. А теперь я один и ничем не могу помочь тебе. Но как сказать ему все это, если он с таким доверием обратился ко мне?

Как это могло случиться, что я вдруг оказался один и от всех отрезан? Но ведь нельзя было поддерживать общение после бесчисленных арестов, когда все связи рвались одна за другой. Или я не так уж добивался этих связей, как добиваются люди, когда дело идет о самом для них важном, без чего ни жить, ни умереть нельзя?

Ну нет, не так уж я опустился, быть этого не может! Я вовсе не настолько отупел и очерствел, в душе я все тот же, иначе разве Пауль обратился бы ко мне? И я опять разыщу товарищей. Я возобновлю связь с ними. Да и без них я должен помочь ему в этом деле. Нельзя всегда только ждать, всегда только сомневаться!

Дело в том, что я тогда ужасно пал духом, когда всех арестовали. Каждый говорил себе: попасться — это значит в лучшем случае шесть-семь лет концентрационного лагеря, а то и смерть.

От всех только и слышишь: ради того, чего ты от меня требуешь, Фидлер, я не могу рисковать жизнью. И вдруг сам отвечаешь то же. Когда весь наш комитет забрали, это было для меня ударом. Да, я тогда и отошел, после провала нашего комитета; тогда был арестован и Георг.

VI

— Это у нас с вами будет прощальный обед,— сказал Эрнст,— если бы ваш господин Мессер весной не продал участок за рощицей, мне бы теперь не пришлось ходить с его овцами по чужой земле.

— Ну, это же не так далеко,— сказала Евгения,— я могу из окна спальни с тобой поздороваться.

— Разлука есть разлука,— сказал Эрнст.— Да вы хоть посидите со мной по случаю наших с вами последних картофельных оладий.

— Разве у меня есть время? — сказала Евгения. Но она все же села боком на подоконник.— Мне еще печь и стряпать, завтра приедут наши три парня: Макс — он в Шестьдесят шестом полку и в первый раз получил отпуск, у Ганзеля в школе каникулы, и Иозеф— этот тип тоже явится. Наверно, деньги понадобились.

— Скажите, Евгения, а ваш паренек тоже иной раз приезжает?

— Какой паренек? — холодно отозвалась Евгения.— Нет, нет, он никогда не бывает свободен по воскресеньям. Мой Роберт учится в Висбадене на официанта.

— Я бы на это не польстился,— замечает Эрнст.

— Он хочет в люди выбиться,— с нежностью пояснила Евгения.— Он умеет обращаться с чистой публикой. Это у него в крови.

— А сюда-то он приезжает?

— Роберт? Зачем? Сам Мессер, быть может, и ничего бы не сказал. Ганзеля никогда дома нет, а Макс хороший, но вот Иозеф... Если он в это дело сунется, я ему по роже надаю — будет скандал, а я не хочу скандалов.

— Зачем же он будет соваться? — опять начал Эрнст, так как ему хотелось удержать Евгению, а она уже составила вместе его прибор и стакан.— Ведь у парня отец же не еврей был?

— Нет, к счастью, только француз,— сказала Евгения. Она все-таки встала: — Значит, до свидания, Эрнст, свистни Нелли, чтобы я и с ней простилась. Ну, до свидания, Нелли. Какая же ты хорошая собачка! Прощай, Эрнст!

Однако она все-таки еще раз присела на подоконник, чтобы посмотреть, как уходит стадо. Эрнст теперь стоит спиной к дому.

Его шарф развевается по ветру, одна нога выставлена вперед, одной рукой он подбоченился. Бросая зоркие взгляды из-под полуопущенных ресниц, он, точно полководец, производящий перегруппировку своих войск, отдает вполголоса краткие приказы, и, слыша их, его собачка бежит то туда, то сюда, пока все стадо не сжимается наконец в продолговатое плотное облачко и постепенно словно втягивается в еловую рощицу.

Как пуста теперь луговина! У Евгении сжимается сердце. Правда, дело тут не в Эрнсте. Те три дня, что он пас у них, он только задал ей лишнюю работу да утомил своей болтовней. Но вот их уже поглотила рощица, стадо уже, может быть, выходит на ту сторону, и луговина будет пустовать до будущего года. Это напоминает о многом, что мимо тебя проходило, а когда прошло, оно что-то с собой унесло, и тихо и пусто до слез.

Когда Герман после обеденного перерыва проходил через двор, он встретил Лерша, который отдавал какие-то отрывистые приказания, и выражение его лица Герману почему-то не понравилось. Маленький Отто висел на веревках между колесами железнодорожного вагона и неловко поворачивал тяжелый поршень. Двор был ниже уровня улицы. Вагон можно было поднять или передвинуть с помощью подъемного крана так, чтобы он нависал над двором. Отто слегка покачивался, крепко вцепившись в веревки. Он смотрел то под ноги, во двор, который казался ему лежащим далеко внизу, то поднимал глаза к вагону, который точно готов был свалиться ему на голову. Молодой рабочий, управлявший кранами, что-то крикнул ему — не повелительно и насмешливо, а весело и ободряюще. Отто был, видимо, во власти одного из тех приступов страха и скованности, которые не редкость у учеников.

Лерш, когда был в цеху, за работой, ничем не отличался от обычного квалифицированного рабочего. Но сейчас самый звук его голоса, презрительная усмешка, блеск глаз мало соответствовали его задаче — обучению новичков. Герман прошел мимо, сказав себе, что это его не касается. Но, пройдя несколько шагов, он остановился и сказал себе, что все это его касается.

Герман ждал у железной лестницы, пока Лерш разносил паренька. Тот стоял навытяжку, подняв бледное лицо, не мигая, полуоткрыв детский рот. Когда Отто подымался вместе с ним, Герман сказал:

— Это с каждым бывает вначале. Не нужно так напрягаться, наоборот, держись свободнее. И вообще не думай о том, что висишь в воздухе. Я здесь уже десять лет, и ни разу еще никто

не упал. Вот что ты должен помнить, если станет страшно. Решительно каждому вначале бывает страшно, и мне было страшно.— Он положил руку на плечо паренька, но тот незаметно повел плечами, и рука Германа соскользнула. Отто холодно посмотрел на старшего. Вероятно, он подумал: это касается только меня и Лерша, ты тут ни при чем.

Идя дальше, Герман услышал, как молодой рабочий громко рассмеялся. Лерш орал на Отто таким тоном, который был бы уместнее в казарме, чем на заводском дворе. Герман круто обернулся. Лицо юноши было бледно, он боялся сплоховать перед старшими, и Герман подумал, как неуместны тут и окрики мастера, и чрезмерное самолюбие ученика. Что же выйдет из этого подростка, который считает доброту только болтовней, а солидарность — нелепым пережитком? Второй Лерш или еще хуже — ведь его так воспитывают.

Герман прошел оба двора, находившихся на уровне улицы. Он вошел в цех, с его оглушающим шумом, с белыми и желтыми вспышками огня. То тут, то там рабочие встречали его улыбками, скорее напоминавшими гримасу, беглыми взглядами глаз, белки которых сверкали, как у негров, и восклицаниями, тонувшими в громоподобном грохоте. Я не одинок, сказал себе Герман. То, что я сейчас думал насчет Отто,— вздор, он самый обыкновенный мальчик. Я займусь этим мальчиком. Я этого парнишку перехвачу у Лерша. И добьюсь своего. Посмотрим, кто сильнее. Да, но на это нужно время. А времени у него может и не оказаться. От этой требующей времени задачи, за которую он внезапно решил взяться, так внезапно, словно она была кем-то перед ним поставлена, его мысли вернулись к той неотложной задаче, из-за которой все могло пойти прахом. Вчера Зауэр, архитектор, подкараулил Германа в одном месте, где они встречались только в самых крайних случаях. Зауэра мучили сомнения, правильно ли он поступил, выставив незнакомца, и его описание — низенький, голубоглазый, веснушчатый — в точности совпадало с тем, как Франц Марнет описывал Пауля Редера.

Если этот Редер все еще работает у Покорни, то там есть один надежный человек, который может поговорить с ним — пожилой, твердый; он избежал преследований только потому, что еще за два года до Гитлера почти отошел от работы, и многие предполагали, что он не в ладах со своими единомышленниками. В понедельник этот человек должен заняться Редером. Герман знал его не первый день, ему вполне можно доверить деньги и документы для Гейслера, если Гейслер еще жив. Среди рева и пламени обычного рабочего дня Герман обдумывал, допустимо ли столь многим рисковать ради одного человека. Рабочий, которому пред-

стоило связаться с Редером, был единственным надежным лицом на заводе Покорни. Можно ли подвергать опасности одного ради другого? А если да, то при каких условиях? Герман еще раз тщательно взвесил все «за» и «против». Да, можно. И не только можно – должно.

VII

Циллих сменился в четыре часа пополудни. Даже в обычное время он не знал, чем занять свободный день. Его не привлекали загородные прогулки сослуживцев, не интересовали их развлечения. В этом он остался крестьянином.

При выходе из лагеря стоял старый грузовик, полный штурмовиков, собиравшихся прокатиться по Рейну. Хотя они и звали с собой Циллиха, но были бы, без сомнения, удивлены и даже недовольны, если бы он согласился. По тем взглядам, которыми они провожали его, и по внезапно оборвавшемуся громкому смеху было очевидно, что даже между этими людьми и им существует известное расстояние.

Циллих шел тропинкой в Либах, тяжело топая по высохшей земле, которой никак не удавалось затуманить глянец его громадных сверкающих сапог. Он перешел через дорогу, отходившую от шоссе к Рейну. Перед уксусным заводом и сегодня стоял часовой, это был один из самых дальних постов Вестгофена. Часовой откозырял, Циллих ответил. Некоторое время Циллих шел вдоль задней стены завода. Он остановился у стока, по которому, вероятно, прополз Гейслер, осмотрел место, где того стошнило, как показал Грибок. Гестапо довольно точно восстановило весь путь Гейслера до сельскохозяйственного училища. Циллих не раз проходил тут. Из здания вышло несколько десятков людей: все здешние крестьяне-сезонники. У них на допросах вытянули всю душу. Они остановились позади Циллиха и в сотый раз принялись заглядывать в сточную канаву. Поверить трудно! Тоже ловкость нужна! Поймать они его до сих пор не поймали! А ведь кроме него — всех! Подросток с еще детским лицом и в болтающемся, как на вешалке, отцовском комбинезоне прямо спросил Циллиха:

— Поймали его наконец?

Циллих поднял голову и оглянулся вокруг. Тогда все быстро начали расходиться — безмолвные, бледные. Если у кого и было на лице злорадство, так он поспешил припрятать его, как запретное знамя. А подростку они сказали:

— Ты разве не знаешь, кто это? Циллих.

Циллих шагал по тропинке, озаренной светом едва греющего вечернего солнца. Река была отсюда не видна, и местность в точно-

сти напоминала его родину. Циллих был близким соседом Альдингера. Он вырос в одной из отдаленных деревень за Вертгеймом.

Там и сям виднелись синие и белые платки женщин, работавших в поле. Какой сейчас месяц? Что они сейчас роют? Картошку? Репу? В последнем письме жена звала его домой, надо же наконец разделаться с арендатором. Деньги, накопленные за все эти годы, можно будет пустить в дело. Он старый нацистский ветеран, многосемейный и поэтому пользуется целым рядом привилегий. Усадьбу они кое-как приведут в порядок; оба старших сына теперь уже работники, они не уступят и отцу, но, конечно, заменить его они не могут; как только он приедет, участок, сдававшийся ими в аренду, можно будет вспахать, а часть оставить под клевер для коров, которых придется купить.

Циллих ступил ногой в высоком сапоге на то место, где Георг нашел ленту. Вскоре он достиг разветвления дорог, где бабушка Корзиночка свернула в сторону. Он не дошел до сельскохозяйственного училища, а начал прямо спускаться к Бухенау. Он испытывал настойчивое желание выпить. Циллих пил не регулярно, а время от времени, запоем.

Циллих шел тихими полями, плавно изгибавшимися под бледным небом; там и сям поблескивала лопата; когда он приближался, крестьянки, работавшие возле дороги, поднимали голову, протирали кулаком залитые потом глаза и смотрели ему вслед. Все в нем возмущалось при мысли о возвращении домой; ну, а если Фаренберг окончательно выставит его или же если самого Фаренберга выставят с таким треском, что тому уже будет не до хлопот за других, как быть тогда? Особенно мучило его одно воспоминание: когда он в ноябре 1918 года вернулся с войны домой в свой запущенный двор, он был совершенно подавлен тем, что увидел. Плесень, мухи, ребята — по одному после каждого отпуска в добавление к уже имевшимся двум, жена, которая стала сухой и жесткой, как зачерствевший хлеб. Робко и кротко глядя на него, попросила она его утеплить рамы, особенно в хлеву, так как там очень дует. Притащила ему ржавые инструменты. И тогда он понял, что это уж не отпуск, после которого, забив несколько гвоздей и повозившись с хозяйством, можно вернуться туда, где ничего не надо ни заделывать, ни прибивать, но что ему предстоит жизнь дома, беспросветная, беспощадная. В этот же вечер он ушел в трактир, похожий на тот, который поблескивает окнами у въезда в Бухенау, кирпичный домик, весь заросший плющом. Ну, эта сволочь хозяин и нагрубил ему; сначала Циллих был угрюм, затем начал буянить:

— Да, вот я и дома, в этом поганом хлеву, да, вот я опять тут. Испакостили они, изгадили нам всю нашу войну. И я теперь

коровий навоз убирай! Да, это им на руку. Теперь пусть Циллих навоз разгребает! А вы поглядите лучше на мои руки, на мой больной палец! Вот было нежное горлышко, прямо соловьиное! Циллих, говорит мне лейтенант Кутвиц, без тебя я был бы уже ангелом на том свете. Они у лейтенанта Кутвица с груди Железный крест сорвать хотели, эта банда на вокзале в Ахене. Моего лейтенанта Фаренберга в лазарет отправили, его пулей задело, и командование принял лейтенант Кутвиц, а тот мне все с носилок руку пожимал.

Один из сидевших в трактире — он был еще в серой военной форме, только без погон — сказал:

— Удивительно, как это мы войну проиграли, раз ты, Циллих, в ней участвовал.

Циллих бросился на говорившего и чуть насмерть не задушил его. Наверняка бы послали за полицией, если бы не жена Циллиха. И в последующие годы его терпели в деревне только ради жены — жалели ее очень. Видя, что она работает как вол, соседи в первое время приходили к нему, предлагая то одно, то другое — кто молотилку в бесплатное пользование, кто сельскохозяйственный инструмент. Но Циллих заявил:

— Лучше я на помойке подохну, чем возьму что-нибудь у этих сволочей!

Жена спросила:

— Почему сволочей?

И Циллих ответил:

— Им на все наплевать, все они тут же домой помчались, картошку копать...

Невзирая на страдания и обиды, фрау Циллих испытывала перед мужем не только страх, но и некоторое восхищение. И все же хозяйство пошло прахом; кризис в стране ударил по виновным и по невиновным. Циллих проклинал его наравне с теми, чьей помощью он не хотел воспользоваться. Пришлось покинуть свой двор и перекочевать в другой, крошечный, принадлежавший родителям жены. Этот год, когда они жили в тесноте, был самым ужасным. Как трепетали дети, когда он по вечерам приходил домой! Однажды он был на вертгеймском рынке, вдруг кто-то окликнул его: «Циллих!» Оказалось, солдат-однополчанин. Солдат заявил:

— Послушай, Циллих, пойдем с нами. Вот это по тебе! Ты человек компанейский, ты за нацию, ты против всей этой шайки, против правительства и против евреев.

— Да, да, да,— отвечал Циллих.— Я против.

С этого дня Циллиху на все стало наплевать. Пришел конец этой слюнявой мирной жизни,— по крайней мере, для Циллиха. Под изумленными взглядами всей деревни Циллиха каждый

вечер увозил мотоцикл, иногда даже автомобиль. И случилось же так, что голодранцы с кирпичного завода в один из таких вечеров зашли в пивную, где вечно торчали штурмовики! Косой взгляд, затем резкие слова, затем — удар ножом.

Правда, в тюрьме жилось ненамного хуже, чем в удушливой крысиной норе, которая называлась его домом,— и опрятнее и интереснее. Его жена ужасно стыдилась этого бесчестия и хныкала, но ей пришлось вытереть слезы и подивиться, когда отряд штурмовиков, маршируя, вошел в деревню, чтобы отпраздновать возвращение Циллиха. И тут пошли речи, приветствия, пьяные оргии. Трактирщик и соседи только рот разевали.

Два месяца спустя, во время большого парада, Циллих увидел на трибуне Фарепберга, своего прежнего начальника. Вечером Циллих заявился к нему:

— Господин лейтенант, не забыли меня?

— Господи, Циллих! И оба мы носим ту же форму!

И вот теперь я, я, Циллих, должен буду опять коровий навоз убирать, бесился Циллих. Один вид этой деревенской улицы, напоминавшей его деревню, наполнял его душу унынием и страхом. Даже дверная ручка так же расшатана, как у них в трактире.

— Хайль Гитлер! — оглушительно заорал трактирщик в припадке усердия. И потом обычным деловитым тоном добавил: — В саду местечко хорошее есть, на солнышке; может быть, господин камрад захотят там расположиться?

Циллих через открытую дверь заглянул в сад. Свет осеннего солнца золотистыми пятнами падал между листьями каштанов на пустые столы, уже покрытые свежими скатертями в красную клетку — завтра воскресенье. Циллих отвернулся. Даже это напоминало ему обычные воскресенья, его былую жизнь, гнусное мирное время. Он остался у стойки. Попросил еще стакан. Немногие посетители, решившие, как и Циллих, отведать молодого вина, отошли от стойки. Они смотрели на Циллиха исподлобья. Циллих не замечал наступившей вокруг него тишины. Он пил третий стакан. Кровь уже шумела у него в ушах. Но на этот раз от вина не стало легче. Напротив, глухой страх, наполнявший все его существо, еще возрос. Ему рычать хотелось. Уже с детства был ему знаком этот страх. Он не раз толкал его на самые ужасные, самые отчаянные поступки. Это был обыкновенный человеческий страх, хотя и выражался он по-звериному. Врожденная сметливость Циллиха, его гигантская сила так и остались с юных лет придавленными, неприкаянными, ненаправленными, неиспользованными.

Будучи на войне, Циллих открыл средство, которое успокаивало его. Вид крови действовал на него не так, как он действует обычно на убийц, давая какое-то опьянение, которое можно за-

мешить и другим видом опьянения; Циллих при виде крови успокаивался, успокаивался так, словно это его собственная кровь текла из смертельной раны; точно он делал себе кровопускание. Он смотрел, успокаивался, потом уходил. После этого и сон его бывал особенно безмятежен.

За столом в трактире сидело несколько членов гитлерюгенда, среди них Фриц Гельвиг и его руководитель Альфред, тот самый Альфред, который еще на прошлой неделе был для Фрица неоспоримым авторитетом. Трактирщик приходился Гельвигу дядей. Молодые люди пили сладкий сидр; перед ними стояла тарелка с орехами, и они щелкали их, а ядрышки бросали в сидр, чтобы те пропитались напитком. Компания строила планы насчет воскресной экскурсии. Альфред, загорелый, живой малый с вызывающим взглядом, уже научился сохранять какое-то неуловимое расстояние между собой и своими сверстниками. С той минуты, как Циллих появился в трактире, Фриц перестал принимать участие в разговорах и в щелканье орехов. Взор Фрица был прикован к его спине; он тоже знал Циллиха в лицо. Он тоже кое-что слышал об этом человеке. Но раньше Фриц никогда над этим не задумывался.

Сегодня утром Гельвига вызвали в Вестгофен, и после бессонной ночи он, с отчаянно бьющимся сердцем, явился на вызов. Там его ждала большая неожиданность. Ему сказали, чтобы он отправлялся домой, следователи уехали, все вызовы свидетелей отменены. С чувством безмерного облегчения Фриц направился в школу. Все было в полном порядке, исключая его куртки, но теперь она меньше всего его беспокоила. С каким рвением он отдался сегодня работе, тренировке, общению с другими! Садовника Гюльтчера он избегал. Зачем Фриц так разоткровенничался с этим старикашкой, с этим дурацким курилкой! Весь день Фриц был прежним Фрицем, таким же, как и на прошлой неделе. И с чего он так растревожился? Что он совершил? Пробормотал несколько слов? Едва уловимое «нет»? Никаких последствий все это не имело. А ведь если что-нибудь не имело последствий, этого все равно что и не было. Еще пять минут назад Фриц был веселее всех мальчиков за столом.

— На что ты так уставился, Фриц?

Он вздрогнул.

Кто этот Циллих? Какое мне до него дело? Что у меня может быть общего с таким Циллихом? Какое нам дело до него? Правда ли то, что говорят про него люди?

А может быть, это и в самом деле была вовсе не та куртка? Есть ведь люди, похожие друг на друга как две капли воды, отчего же не быть похожими и двум курткам? Может быть, все бег-

лецы уже пойманы, и мой тоже? Может быть, он уже заявил, что куртка не его? Неужели этот Циллих — такой же, как мы, как Альфред? Правда ли все, что о нем говорят? Какое дело до него нам? Отчего и моего должны поймать? Отчего он бежал? За что его посадили в лагерь?

Фриц не сводил недоумевающих глаз с мощной коричневой спины Циллиха. А Циллих приступил к пятому стакану.

Вдруг перед трактиром остановился мотоцикл. Эсэсовец, не вставая с сиденья, крикнул в дверь:

— Эй, Циллих!

Циллих медленно обернулся. У него было лицо человека, который еще и сам не решил, трезв он или пьян. Фриц внимательно следил за ним. Он и сам не знал, почему так следит. Его друзья просто взглянули и вернулись к своему разговору.

— Садись, поедем! — крикнул эсэсовец.— Они там прямо обыскались тебя. А я сказал — держу пари, что ты здесь.

Циллих вышел из трактира несколько отяжелевшей походкой, но держась прямо и твердо. Его страх рассеялся. Значит, он все-таки нужен, его ищут. Он сел позади эсэсовца, и оба укатили.

Вся эта сцена продолжалась не больше трех минут. Фриц повернулся боком, чтобы видеть их отъезд. Его испугало лицо Циллиха, а также взгляд, которым он обменялся с приехавшим. Фрицу стало холодно. Какая-то тревога сжала его юное сердце, какое-то предчувствие — что-то, что, по мнению одних, присуще человеку от природы, по мнению других — приобретается опытом, по мнению третьих — вовсе не существует. Тем не менее что-то продолжало волновать и тревожить Гельвига, пока шум мотоцикла не замер вдали.

— Зачем я вам понадобился?

— Из-за Валлау. Бунзен его еще раз допрашивал.

Они направились к бараку, где в начале недели жили Оверкамп и Фишер. Перед дверью толпилась беспорядочная кучка эсэсовцев и штурмовиков. Бунзен, видимо занявший место Оверкампа, время от времени вызывал кого-нибудь. Всякий раз, как он открывал дверь, люди с нетерпением ждали, кого он теперь потребует.

Когда Валлау повели в барак, в нем ожила слабая надежда, что Оверкамп еще здесь и что предстоит только повторение бесполезного допроса. Но он увидел лишь Бунзена и этого Улепгаута, о котором говорили, что он будет преемником Циллиха и возглавит охрану штрафной команды. И по лицу Бунзена он понял, что это конец.

Все ощущения Валлау слились в одно-единственное ощущение жажды. Какая терзающая жажда! Никогда уж не утолить ее! Вся влага в его теле высохла до последней капли. Он иссыхает! Какой огонь! Ему чудится, что все его суставы дымятся и все вокруг словно превратилось в пар, гибнет весь мир, а не только он, Валлау.

— Оверкампу ты ничего не пожелал сказать. Ну, а мы с тобой столкуемся. Гейслер был твоим дружком. Он тебе все говорил. Живо — как имя его невесты?

Значит, они пока все-таки не поймали его, подумал Валлау, еще раз забыв о себе, о собственной неминуемой гибели. Бунзен видел, как глаза Валлау вспыхнули. Кулак Бунзена отбросил его к стене.

Бунзен заговорил, и его голос звучал то глухо, то громко:

— Уленгаут! Внимание! Ну, так как же ее зовут? Имя забыл? Ну, я сейчас напомню!

Когда Циллиха везли полями в Вестгофен, Валлау уже лежал на полу барака. И ему казалось, что лопается не его голова, а весь этот хрупкий, зыбкий мир.

— Имя! Как ее имя? Вот тебе! Эльза? Вот тебе! Эрна? Вот тебе! Марта? Фрида? Получай! Амалия? Получай! Лени?..

Лени — Лени — в Нидерраде! И зачем Жорж мне тогда назвал это имя? Зачем я вспомнил его? Отчего они не продолжают свое «вот тебе»? Неужели я что-нибудь сказал? Неужели выскочило?

— Вот тебе! Катарина? Вот тебе! Альма? Вот тебе! Подождите, пусть сядет!

Бунзен выглянул за дверь, и от искр, горевших в его глазах, вспыхнули такие же искры во всех обращенных к нему глазах. Увидев Циллиха, он поманил его рукой.

Залитый кровью, Валлау сидел, привалившись к стене. Циллих, войдя, спокойно посмотрел на него. Слабый свет за плечом Циллиха, крошечный голубой уголок осени, в последний раз напомнил Валлау о том, что законы вселенной нерушимы и будут жить, несмотря ни на какие потрясения. Циллих приостановился. Еще никто не встречал его таким спокойным, таким независимым взглядом.

Это смерть, подумал Валлау. Циллих медленно притворил за собой дверь.

Было шесть часов пополудни. Больше никто не присутствовал при этом. Но в следующий понедельник на заводе Опеля, где Валлау был некогда членом заводского комитета, из рук в руки переходила записка:

«Бывший председатель нашего заводского комитета, депутат Эрнст Валлау зверски убит в Вестгофене в субботу, в шесть часов

вечера. Когда придет день расплаты, беспощадная месть постигнет палачей».

В субботу вечером заключенные увидели, что дерево Валлау пусто, и трепет прошел по их рядам. Свинцовый гнет, нависший над лагерем, внезапное возвращение Циллиха, сдавленный шум, скопление штурмовиков — все это подсказало им правду. Заключенные уже были не в силах подчиняться своим тюремщикам, хотя они рисковали жизнью. Одним делалось дурно, другие не могли стоять спокойно — все какие-то ничтожные заминки, но в целом они нарушали суровый порядок. Постоянные угрозы, все более тяжелые наказания, эксцессы штурмовиков, которые теперь каждую ночь неистовствовали в бараках, уже никого не могли устрашить, все и без того считали себя обреченными.

Смерть Валлау точно сняла последнюю узду с эсэсовцев и штурмовиков, еще несколько дней назад не решавшихся переходить известную черту; она словно стерла эту черту, и теперь последовало то немыслимое, невообразимое, что начиналось за ее пределами. Пельцер, Бейтлер и Фюльграбе не были убиты так быстро, как Валлау, а лишь постепенно. Уленгаут, теперь стоявший во главе штрафной команды, хотел доказать, что он второй Циллих. Циллих хотел доказать, что он остался Циллихом. А Фаренберг — что он по-прежнему командует лагерем.

Но среди вестгофенских властей начали раздаваться и другие голоса. Они заявляли, что в Вестгофене создались недопустимые условия. Фаренберга нужно как можно скорее снять, а с ним и его клику, которую он отчасти привел с собой, отчасти подобрал здесь. Те, кому эти голоса принадлежали, отнюдь не стремились к тому, чтобы этот ад кончился и воцарилась справедливость, они просто хотели, чтобы даже в аду был определенный порядок.

Однако Фаренберг, несмотря на всю свою необузданность, скорее допустил, чем стимулировал убийство Валлау и все, что за этим последовало. Его помыслы давно были прикованы к одному-единственному человеку и не могли от него оторваться, пока этот человек был жив. Фаренберг не ел и не спал, словно это его преследовали. Чему он подвергнет Гейслера, если беглеца доставят живым,— это было единственное, что он обдумывал во всех деталях.

VIII

— Ну, пора закрывать лавочку, господин Меттенгеймер! — крикнул непринужденно и весело помощник старшего мастера Фриц Шульц. Но он целых полчаса готовился к этому восклицанию. И Меттенгеймер ответил именно так, как его помощник и ожидал:

— Уж это предоставьте мне, Шульц.

— Дорогой Меттенгеймер,— сказал Шульц, скрывая улыбку, так как был очень привязан к этому старику, сидевшему раскорякой на стремянке, с таким суровым лицом и уныло обвисшими усами,— господин штандартенфюрер Бранд вас, пожалуй, орденом наградит. Сходите-ка! Все действительно закончено.

— Все закончено? — повторил Меттенгеймер.— Ничего подобного. Скажите лучше, настолько закончено, что Бранд не заметит, чего еще не хватает!

— Ну вот!

— Моя работа должна быть безукоризненной, на кого бы я ни работал — на Бранда или на Шмидта.

Смеющимися глазами Шульц посмотрел на Меттенгеймера, сидевшего на стремянке, точно белка на ветке. Старик, видимо, был преисполнен горделивого сознания, что он добросовестно работает на какого-то требовательного, хотя и незримого заказчика.

Когда Шульц прошел по пустым, уже заигравшим яркими красками комнатам, он услышал, как возле лестницы ворчали рабочие, а Штимберт, нацист, твердил что-то насчет самоуправства Меттенгеймера.

Шульц спросил спокойно, смеясь одними глазами:

— Разве вы не хотите поработать еще полчасика ради вашего штандартенфюрера?

Другие тоже ухмылялись. Лицо Штимберта мгновенно изменилось. А лица у рабочих были довольные и смущенные. В дверях первой комнаты, выходившей на лестницу, стояла Элли, она неслышно поднялась наверх. Позади Элли стоял, улыбаясь, маленький ученик, заметавший мусор.

Она спросила:

— Мой отец еще здесь?

Шульц крикнул:

— Господин Меттенгеймер, к вам дочка!

— Которая? — крикнул Меттенгеймер со стремянки.

— Элли! — отозвался Шульц.

Откуда он знает, как меня зовут, удивилась Элли.

Точно юноша, Меттенгеймер быстро спустился со стремянки. Уже много лет Элли не заходила к нему на работу; гордость и радость словно омолодили его, когда он увидел свою любимицу в этом пустом, готовом для въезда хозяев доме, одном из тех многочисленных домов, которые он в своих мечтах отделывал для нее. Он тут же заметил в глазах Элли горе и усталость, от которой ее лицо казалось еще нежнее. Меттенгеймер повел ее по комнатам, показывая все.

Маленький ученик первым оправился от смущения и прищелкнул языком. Шульц дал ему подзатыльник. Другие сказали:

— Вот так персик! Как этот старый хрен ухитрился произвести на свет такую девочку?

Шульц быстро переоделся. Он последовал на некотором расстоянии за отцом и дочерью, которые шли под руку по Микельштрассе.

— Вот что случилось этой почью,— рассказывала Элли.— И они опять придут за мной, может, даже нынче. Как я услышу шаги, так вздрагиваю. Я так устала.

— Успокойся, доченька,— утешал ее Меттенгеймер.— Ты ничего не знаешь, вот и все. Думай обо мне. Я тебя никогда не покину. Ну, а сейчас хоть на полчасика забудь про все это. Давайка зайдем сюда. Какого мороженого ты хочешь?

Элли охотнее выпила бы чашку горячего кофе, но зачем портить отцу удовольствие? Он всегда водил ее есть мороженое, когда она еще была девочкой. Он спросил:

— С вафлями?

В эту минуту в кафе вошел Шульц, первый помощник Меттенгеймера, и подошел к их столику.

— Вы ведь завтра утром будете на работе, Меттенгеймер? — спросил он.

С удивлением Меттенгеймер ответил:

— Ну да, конечно.

— Значит, увидимся,— сказал Шульц. Он помедлил, ожидая, не пригласит ли его Меттенгеймер за свой столик. Затем пожал руку Элли, прямо глядя ей в глаза. Элли ничего не имела бы против общества этого ловкого и красивого малого, с таким приятным, открытым лицом. Сиденье с глазу на глаз с отцом начинало тяготить ее. Но Меттенгеймер только досадливо взглянул на Шульца, и тот простился.

IX

— Вы что, или с женой поссорились, господин Редер, что предпочитаете сидеть тут с нами? — спросил Финк, хозяин пивной.

— Мы с моей Лизель не можем поссориться. И все-таки она меня сегодня вечером домой не пустит, если я не принесу ей контрамарки. Ведь завтра финальный матч Нидеррад — Вестенд! Вот почему я даю вам заработать спозаранку, господин Финк.— Пауль ждал Фидлера уже больше часу. Он выглянул на улицу. Уже горят фонари. Фидлер хотел быть в шесть, но просил Пауля, в случае опоздания, непременно дождаться его.

В окне пивной стояли две кружки в виде гномов с колпачками на голове. Кружки уже стояли тут, когда он мальчиком заходил с отцом в эту пивную. Какими глупостями занимаются люди, подумал Пауль, глядя на эти кружки, как будто сам он уже принадлежал к тому миру, где люди не занимаются такими глупостями; вот мой отец — это был человек. Отец Пауля, такой же коротышка, умер сорока шести лет от последствий малярии, подхваченной на фронте. Одного мне еще хочется, говорил отец, это поехать в Голландию, в Амеронген, и наложить кучу перед дверью Вильгельма.

А я бы сейчас охотнее всего съел свиную отбивную с кислой капустой, подумал Пауль. Но не могу же я доставить Лизель еще и это огорчение и проесть ее воскресные деньги. Он заказал второй стакан светлого. Вон идет Фидлер, пронеслось в сознании Пауля, он никого не нашел. Лицо Фидлера было строго и замкнуто. Сначала он как будто не заметил Пауля. Но, стоя с равнодушным видом у стойки, Фидлер почувствовал на себе его упорный взгляд. Уже собираясь уходить, он наконец подошел к Редеру, хлопнул его по плечу и, точно случайно, присел на краешек ближайшего стула.

— В восемь пятнадцать около «Олимпии», где стоянка машин, маленький голубой «опель». Вот номер. Пусть прямо садится. Его будут ждать. А теперь слушай внимательно, я хочу знать, все ли удалось как следует. Если к тебе на квартиру придет моя жена, какую выдумать для Лизель причину, почему она зашла?

Пауль только теперь отвел свой взгляд от Фидлера. Он посмотрел перед собой, затем сказал:

— Рецепт сладкого теста для лапшевника.

— Объясни жене, что ты дал мне попробовать ее лапшевника. Если моя жена придет за рецептом и с Гейслером все будет благополучно, скажи ей: ты надеешься, что лапшевник нам понравится; если дело сорвется, скажи: есть — ешьте, но не расстройте себе желудок.

— Я сейчас прямо пойду и повидаю Георга,— сказал Пауль.— Не посылай жену раньше, чем через два часа.

Фидлер тут же встал и вышел. Он снова слегка сжал плечо Пауля. А Пауль просидел еще несколько мгновений, словно оцепенев. Он все еще чувствовал, как рука Фидлера сжимает ему плечо — едва уловимый знак безмолвного уважения, братского доверия, прикосновение, проникающее в человека глубже, чем изъявление самой сильной нежности. Он только теперь понял всю важность сообщенной ему Фидлером вести. За соседним столом кто-то свертывал цигарку.

— Дай-ка и мне табачку, камрад,— сказал Пауль.

Во время безработицы он курил какую-то дрянь, чтобы заглушить голод, а затем по просьбе Лизель перестал курить, нагоняя экономию. Небрежно свернутая козья ножка раскрошилась у него между пальцами.

Он вскочил. У него не хватило терпения дожидаться на остановке, он предпочел пойти в город пешком. Когда мимо него плыли улицы и люди, у него было чувство, что и он участвует в событиях этой жизни. Редер постоял в темной подворотне, ожидая, чтобы успокоилось сердце. Он прижался к стене, пропуская кучку людей, входивших в пивную. С улицы доносился шум субботнего вечера. Пауль тоже по субботам норовил сбежать от своей Лизель на несколько часов в пивную, ведь предстоит длинное воскресенье, которое они проведут вместе. Во дворе было еще многолюднее, чем вчера. Пауль издали увидел Георга, он сидел на земле и орудовал молотком при свете ручного фонаря. Приблизительно в это же время Пауль вчера привел его сюда. Окошко в гараже было освещено — значит, хозяйка у себя.

Услышав за собой шаги, Георг наклонил голову еще ниже, как делал обычно теперь. Он бил молотком по куску жести, который давно был выровнен, а потом от ударов опять погнулся, и снова выравнивал его. Георг почувствовал, что кто-то остановился сзади.

— Эй, Георг! — Он быстро поднял голову. Затем быстро опустил ее и дважды легко ударил молотком. В лице Пауля он подметил что-то, от чего можно было обезуметь. Прошли две мучительно долгие секунды. Он не мог понять выражения на лице Пауля: сочетание торжественнейшей серьезности с веселым задором. Пауль опустился рядом с ним на колени и пощупал жесть.— Все в порядке, Георг,— сказал Пауль.— Будь возле бокового входа в «Олимпию» в восемь пятнадцать. Маленький голубой «опель». Вот номер. Сразу же садись.

Георг снова погнул молотком выпрямленный край жестяного листа.

— Кто такой?

— Не знаю.

— Сомневаюсь, идти ли.

— Ты должен. Не беспокойся. Я знаю человека, который это устроил.

— Как его зовут?

Пауль ответил нерешительно:

— Фидлер.

Георг судорожно стал рыться в памяти — перед ним развернулась вереница фамилий и лиц. Но этой там не было. Пауль настаивал:

— Абсолютно надежный человек.

— Я пойду,— сказал Георг.

— А я забегу к тетке и договорюсь, что мы отправимся ко мне за вещами.

Пауль почувствовал большое облегчение, когда выяснилось, что тетка не возражает. Она сидела у огромного стола, занимавшего почти всю комнату. Лампа, свисавшая с потолка, была низко опущена и озаряла ее густую, похожую на белое пламя гриву. На столе лежала приходо-расходная книга, проспекты, календарь и несколько писем под тяжелым малахитовым пресс-папье. Почетное место занимала малахитовая глыба, в нее были вделаны часы, чернильница в виде горного источника, ущелье для ручек и карандашей. Когда хозяйке было шестнадцать лет, прибор ей, верно, очень нравился. Это был обыкновеннейший в мире письменный стол, обыкновеннейшая контора. Необычной была только сидевшая здесь женщина. Из этой конторы, куда ее забросила судьба, из этого предприятия она сделала все, что могла. Весь двор был свидетелем того, как немилосердно ее колотил муж. И весь двор стал свидетелем того, как она начала давать ему сдачи. На войне были убиты и муж и возлюбленный. И ребенок, задохшийся от коклюша, вот уже двадцать лет как лежит на кладбище урсулинок в Кенигсштейне. Когда она возвратилась в контору, по тому, как на нее глазел и пялился весь двор, она поняла, что ее секреты всем известны. А шоферы подумали: даже ее скрутило! Тогда она затопала на них и прорычала:

— Вас что — глазеть нанимали? Живо! Живо! — И с этой минуты все имевшие с ней дело не знали покоя. А она — меньше всех.

Быть может, вот только сейчас, быть может, вечером? Нельзя же запретить этому человеку идти к Редерам за своим тряпьем! И почему Пауль сразу не прихватил вещи? Нет, уж пусть отправляется с богом и притащит свое добро. Что касается платы, ну, мы поговорим об этом опять, когда он здесь окончательно обоснуется. Он мне нравится. Я уж заставлю его разговориться. Он славный. Мы с ним из тех стран, где дует ледяной ветер, и поэтому какой-то сквознячок нам нипочем. Одним словом — земляки. Сейчас главное — чтобы он сюда окончательно перебрался. Будет спать в чулане при гараже. Возьмет складную кровать покойного Грабера — все равно стоит без пользы.

Пауль возвратился к Георгу.

— Ну, Георг...

Георг ответил:

— Да, Пауль?

Пауль все не решался оставить его, но когда Георг сказал: «Иди, иди»,— он ушел, не оглядываясь, не прощаясь, и втихомол-

ку выбрался на улицу. Обоих сразу охватила томительная и жгучая тоска, какую испытывают люди, предчувствуя, что никогда больше не встретятся.

Георг встал так, чтобы видеть часы в комнате за пивной. Несколько минут спустя из конторы вышла фрау Грабер.

— Ну, кончай,— сказала она,— иди за своим барахлом.

— Лучше я сначала здесь все доделаю,— сказал Георг,— а тогда и переночую у Редеров.

— У них корь.

— У меня была корь, обо мне не беспокойтесь.

Она продолжала стоять позади Георга, но торопить его у нее не было оснований.

— Пойдем,— вдруг сказала она,— спрыснем твое новое место.

Он вздрогнул. Только в этой части двора перед гаражом, за работой, он чувствовал себя сравнительно в безопасности. Он боялся, что в последнюю минуту его задержит какая-нибудь случайность.

— После этого несчастного случая я дал зарок не пить,— сказал он.

Фрау Грабер рассмеялась:

— И долго ты будешь держать зарок?

Он как будто задумался, затем сказал:

— Еще три минуты.

Их шумно встретили в переполненной пивной. Тетка Катарина была здесь завсегдатаем. После короткого взрыва приветственных возгласов на них перестали обращать внимание. Они подошли к стойке.

Вдруг Георг заметил пожилую пару: муж и жена. Они сидели, зажатые другими посетителями, перед стаканами пива, оба дородные, оба довольные. Господи, да это же Клапроды, те самые Клапроды. Он мусорщиком работал, чего это они тогда не поделили, когда у них вышел такой скандал? Они чуть в волосы друг другу не вцепились, а потом оба обозлились на нас, оттого что мы не могли удержаться от смеха. Но только чур, ко мне не поворачиваться! Милые Клапроды, вот я еще раз и увидел вас. Но только не вздумайте повернуться ко мне.

— Твое здоровье,— сказала фрау Грабер. Они чокнулись. Теперь он уже не отвертится, решила она, теперь уже все решено.

— Так. Ну, я пошел к Редерам. Спасибо, фрау Грабер! Хайль Гитлер! До скорого!

Он вернулся в гараж и переоделся. Аккуратно сложил чужой комбинезон. Он подумал: скоро я верну тебе твое пальто и все твои вещи. Я разыщу тебя, где бы ты ни был. Я пойду вечером в цирк. Я посмотрю на твои фокусы, на твое знаменитое сальто. А потом

я подожду тебя, и мы расскажем друг другу, как мы спаслись. Я хочу все знать о тебе, мы станем друзьями. Ах да, Фюльграбе говорит, что ты умер. Но мало ли что болтает Фюльграбе.

Перед тем как выйти на улицу, Георг нерешительно помедлил в воротах. У него было такое чувство, словно он оставил во дворе что-то важное, что-то необходимое. Он думал: ничего я там не оставил. Я на улице. Я прошел уже три улицы. Я все-таки выбрался с этого двора. Теперь ничего менять нельзя, поздно.

Он увидел перед собой залепленную пестрыми рекламами глухую стену на углу Шефергассе, уже огни падали перед ним на мостовую — изломанные буквы, красные и голубые, без всякого смысла. Когда-то в его жизни уже была такая ночь, испещренная красными и голубыми огнями. Ледяной холод был в соборе, и он так робел, так был полон детского страха. Георг прошел по Шефергассе, миновал автомобильную стоянку. Он увидел голубой «опель». Сравнил номер. Он совпадал. Если бы все так же сошлось! Только бы Пауля не обманули! Я бы, конечно, не стал винить тебя, Пауль, и похитрее тебя попадали впросак,— просто жаль, если все сорвется в последнюю минуту.

Когда Георг приблизился к «опелю», дверца открылась изнутри, впуская его. Машина тут же тронулась. Странный запах в кабине — сладкий и душный. «Опель» миновал несколько улиц и свернул на Шейльштрассе. Георг взглянул на человека, правившего машиной. Тот не обращал на Георга ни малейшего внимания, словно в машине никого не было; он сидел на своем месте, прямой и безмолвный. Эти очки на длинноватом носу, эти челюсти, которые судорожно движутся от затаенного волнения. Кого, черт возьми, все это напоминает мне? Они ехали в сторону Восточного вокзала. Георг наконец понял, откуда исходил душный запах, почему-то встревоживший его: в перебегающем свете он заметил белую гвоздику — одну-единственную, в стеклянной трубке у бокового окна. Они уже миновали Восточный вокзал. Теперь они шли со скоростью шестидесяти километров, а человек у руля все еще был нем, словно в машине и не было никакого седока. «Нет, кого он мне напоминает? — думал Георг.— Господи, ну конечно же, Пельцера! Ну, Пельцер, нам с тобой и не спилась такая прогулка. Только Пельцеру в деревне Бухенау разбили очки, а у этого целые. Отчего же ты ничего не скажешь? Куда мы едем?»

Но Георг, словно уступая желанию незнакомца, не задал этого вопроса вслух. Сидевший за рулем ни разу не взглянул на своего пассажира, точно Георга и не было в машине. Человек в очках боком примостился на сиденье, как будто Георг мог стать реальностью только в том случае, если они коснутся друг друга.

Восточный вокзал остался позади. Георг подумал: сейчас

западня может в любую минуту захлопнуться. А потом: нет, человек, расставивший западню, держался бы иначе, такой — любезен, он вкрадчив, он старается опутать тебя. Пельцер в подобном случае, вероятно, вел бы себя так же, как этот. А если все-таки западня — тогда... Они въехали в Ридервальдский поселок. Остановились на тихой улочке перед кремовым домиком. Спутник Георга вышел. Даже и тут он не взглянул на Георга; он только движением плеча пригласил его выйти из машины, войти в прихожую и затем — в комнату.

Первое, что Георг почувствовал, был резкий запах гвоздики. На столе стоял огромный белый букет, в сумерках он чуть светился. Комната была низенькая, но довольно просторная, так что лампа, стоявшая в углу, освещала ее только наполовину. Из этого угла вышел кто-то в голубой блузе — не то мальчик, не то девочка, не то взрослая женщина, хозяйка этого домика. Она встретила их не очень приветливо. Словно ей помешали читать книгу, которую она оставила на стуле.

— Это мой школьный товарищ, он здесь проездом, я прихватил его. Ведь он может сегодня переночевать у нас?

Совершенно равнодушно женщина ответила:

— Отчего же?

Георг поздоровался с ней. Они бегло посмотрели друг на друга. Незнакомец стоял неподвижно, глядя на них, словно пассажир только теперь начал превращаться из призрака в реальное существо.

— Хотите сначала пройти к себе в комнату? — спросила она.

Георг взглянул на своего спутника, тот едва уловимо кивнул. Может быть, он только теперь впервые посмотрел сквозь очки на Георга. Женщина пошла вперед.

Как только Георг почувствовал себя хоть в относительной безопасности — нет, это еще не безопасность, а только надежда на нее,— ему сразу же очень понравились и яркий ковер на лестнице, и блестящая белая окраска стен, и стройность хозяйки, и ее коротко остриженные гладкие волосы.

Какое чудо, что он может остаться один в комнате и думать!

Когда хозяйка вышла, Георг запер дверь. Он отвернул краны, понюхал мыло, выпил глоток воды. Затем посмотрел на себя в зеркало, но показался себе настолько чужим, что посмотреть вторично уже не решился.

Примерно в это время Фидлер входил в квартиру своего тестя, где они с женой занимали комнату. Живи он самостоятельно, он, вероятно, взял бы Георга к себе. Но он вспомнил о докто-

ре Крессе, Кресс раньше работал у Покорни, затем у Казеля. Фидлер сталкивался с ним на вечерних курсах для рабочих, где Кресс преподавал химию. Они часто встречались, и потом уже Кресс учился у своего ученика. Кресс, робкий по природе, в тридцать третьем году все же храбро отстаивал то, что считал правильным. Но затем он как-то заявил Фидлеру: «Знаешь что, дорогой Фидлер, не ходи-ка ты больше ко мне за взносами и не приставай с запрещенными газетами. Я не хочу рисковать жизнью из-за брошюрки. Но если у тебя будет что-нибудь стоящее — приходи». И вот, три часа назад, Фидлер поймал его на слове.

Наконец-то, подумала фрау Фидлер, услышав шаги мужа на лестнице; хотя она ужасно томилась ожиданием, гордость не позволила ей пойти в кухню к остальным. В прежние годы они ужинали всей семьей, затем начались недоразумения, и было решено предоставить молодых самим себе. Теперь Фидлеров, конечно, уже не назовешь молодыми. Они женаты больше шести лет. Но эту пару постигло то, что постигло многие пары в Третьем рейхе: не только их жизненные обстоятельства и отношения стали какими-то неопределенными и неполноценными — у них как бы притупилось и чувство времени. Им казалось, что не сегодня-завтра все это переменится, и они очень удивлялись, замечая, что год проходит за годом.

Первое время Фидлеры не хотели иметь детей, они были безработными и, кроме того, считали, что их ждут задачи, более высокие, чем воспитание детей. Сейчас — так думалось им в ту пору — они должны быть свободны и ничем не связаны, чтобы по первому зову выходить на демонстрации бороться за свободу. Сейчас — так думалось им в ту пору — они вдобавок слишком молоды и еще долго будут молоды; им казалось, что все это как утро и вечер одного многообещающего дня. А потом, при Третьем рейхе, они не хотели иметь детей — ведь на детей напялят коричневые рубашки и сделают из них солдат.

Постепенно фрау Фидлер перенесла все свое внимание на мужа. Она берегла его и ухаживала за ним, почти как за ребенком, которого надо вырастить любой ценой, тогда как взрослые должны уметь сами постоять за себя. Последний год они просто души друг в друге не чаяли, а это было и хорошо и плохо. В первые месяцы захвата Гитлером власти молодые Фидлеры жили под угрозой одних и тех же опасностей, на том же неприятном холодном ветру. В их отношениях тогда еще не было этого болезненного желания всячески оберегать друг друга. Позднее, когда все их прежние друзья были постепенно арестованы или просто замкнулись в себе, фрау Фидлер не раз спрашивала себя, что с ее мужем: обдумывает ли он какие-то новые возможности борьбы

или решил просто выжидать? Когда она обращалась к нему, он отвечал ей так же неопределенно, как отвечал себе. Эти нерешительные ответы она истолковывала по-своему. И вот теперь, в этот вечер, когда он все не шел и не шел, в ней все больше росла уверенность, что его задержало какое-то особое обстоятельство, имеющее отношение к их прежней жизни. А эта прежняя совместная жизнь была такова, что одного дуновения ее, кажется, было достаточно, чтобы к человеку вернулась его молодость.

Не успел Фидлер войти в прихожую, как она уже увидела, что лицо его оживлено и глаза сияют.

— Слушай внимательно, Грета,— сказал он.— Сейчас тебе придется сходить к Редерам, ты ведь знаешь фрау Редер? Толстуха, с большой грудью. Ты спросишь у нее рецепт сладкого теста для лапшевника. Она тебе его напишет и потом скажет еще несколько слов, на которые ты должна обратить особое внимание; или она скажет: «Кушайте на здоровье», или: «Не ешьте слишком много». Тебе нужно только передать мне точно, что она сказала. На всякий случай иди туда и оттуда не прямой дорогой, а в обход. Отправляйся сейчас же.

Фрау Фидлер кивнула и вышла. Значит, жизнь их снова обрела смысл, старые связи опять восстановлены, а может быть, никогда и не порывались. Как только она вышла, чтобы в обход, окольными путями направиться к Редерам, ей стало казаться, что и другие после долгого перерыва тронулись в путь, и теперь уже — без страха и колебаний.

Фрау Редер не сразу узнала жену Фидлера: веки Лизель распухли от слез. С отчаяньем уставилась она на незнакомую посетительницу, словно надеясь, что эта женщина может превратиться в ее Пауля.

Фрау Фидлер сразу поняла, что тут стряслась какая-то беда. Но она не вернется домой, не выяснив, в чем дело. Она сказала:

— Хайль Гитлер! Простите, фрау Редер, что я так поздно вломилась к вам. И кажется, попала не вовремя. Но мне только хотелось попросить у вас рецепт сладкого теста для лапшевника. Ваш муж дал моему попробовать. Они ведь, знаете, друзья. Я — фрау Фидлер. Вы не узнаете меня? Разве ваш муж не сказал вам, что я зайду за рецептом? Успокойтесь же, фрау Редер, сядьте, и раз я уже здесь, а наши мужья дружны, я, может быть, смогу вам быть полезной. Не стесняйтесь, фрау Редер, между нами это лишнее. Тем более в такие времена. Перестаньте плакать, слышите? Пойдемте, сядем вот сюда. Скажите мне, что случилось?

Они вошли в кухню и сели на диван. Но Лизель не только не успокоилась,— ее слезы потекли еще неудержимее.

— Ну, фрау Редер! Фрау Редер! — сказала фрау Фидлер.— Напрасно вы так убиваетесь. А если и совсем будет худо, неужели мы ничего не придумаем? Так, значит, муж ничего не сказал нам? Разве он не был дома?

Всхлипывая, Лизель ответила:

— Только на минутку забегал.

— За ним пришли? — спросила фрау Фидлер.

— Нет, ему самому пришлось пойти.

— Самому?

— Ну да,— продолжала Лизель упавшим голосом. Она отерла лицо руками, обнаженными до локтей.— Вызов уже лежал здесь, когда он пришел, он и так опоздал!

— Значит, он еще не мог вернуться,— сказала фрау Фидлер.— Возьмите себя в руки, дорогая.

Лизель пожала плечами. Она сказала совсем упавшим, унылым голосом:

— Нет, мог. Раз он не вернулся — значит, гестапо оставило его там, они оставили его.

— Ну как можно говорить так уверенно, фрау Редер? Ему просто пришлось ждать; туда ведь многих вызывают и днем и ночью.

Лизель сидела, уставившись перед собой, погруженная в свои мысли; все же на несколько минут ее слезы высохли. Вдруг она повернулась к фрау Фидлер.

— Так вы пришли насчет лапшевника? Нет, Пауль ничего не говорил. Этот вызов его так испугал, он сейчас же побежал туда.— Она встала и принялась шарить в ящике кухонного стола, ничего не видя распухшими глазами. Фрау Фидлер очень хотелось расспросить ее еще, она чувствовала, что может сейчас все выведать у Лизель. Но ей не хотелось спрашивать о делах, которые муж скрыл от нее.

А Лизель тем временем разыскала огрызок карандаша и вырвала листок из своей приходо-расходной книжки.

— Я вся дрожу. Вы не могли бы сами записать? — сказала она.

— Что записать? — спросила фрау Фидлер.

— На пять пфеннигов дрожжей,— всхлипывая, начала Лизель,— два фунта муки и молока столько, чтобы было крутое тесто, немножко соли. Промесить как следует...

Идя домой по окутанным ночным мраком улицам, фрау Фидлер могла бы сказать себе, что все эти бесчисленные неожиданности, все полуреальные, полувоображаемые угрозы приобретали теперь конкретные и осязаемые очертания. Но у нее уже не было времени все это обдумать. Она размышляла прежде всего о том,

как ей лучше пройти в обход, и то и дело оглядывалась, чтобы избежать возможной слежки. Она глубоко вздохнула. Опять тот же самый знакомый воздух, насыщенный холодом опасности, касающейся лба своим морозным дыханием. И тот самый ночной мрак, под покровом которого они расклеивали плакаты, писали на заборах лозунги, подсовывали под двери листовки. Если бы ее еще сегодня днем спросили о подпольной работе или о перспективах борьбы, она пожала бы плечами совершенно так же, как ее муж. И хотя все, что она сейчас испытала, сводилось к бесполезному посещению плачущей женщины, она чувствовала, что снова заняла свое место в жизни, что вдруг все снова стало возможным и события могут развернуться очень быстро, так как кое-что тут зависит и от нее. Как хорошо, что они с мужем еще достаточно молоды и вместе испытают счастье после стольких горьких страданий. Правда, возможно и то, что Фидлера постигнет гибель, более внезапная и ужасная, чем та, которой они боялись, когда еще вели борьбу. Бывают времена, когда ничто не возможно и жизнь проходит, словно тень. И бывают времена, когда возможно все, они до краев полны и жизнью и гибелью.

— Ты уверена, что за тобой никто не следил?

— Вполне.

— Послушай, Грета, я сейчас уложу самое необходимое. Если кто-нибудь спросит, где я, скажи — уехал на Таунус. Что касается тебя, то ты сделаешь вот что: ты отправишься в Ридервальдский поселок, Гетеблик, восемнадцать. Там живет доктор Кресс; у него красивый кремовый домик.

— Это кто — Кресс с вечерних курсов? Тот, в очках? Который вечно спорил с Бальцером насчет христианства и классовой борьбы?

— Да. Но если тебя кто-нибудь спросит, ты Кресса в глаза не видела. Передай ему от меня вот что: «Пауль в руках гестапо». Дай ему время переварить эту новость. Затем попроси сказать тебе, где теперь можно будет повидать его. Грета, дорогая, будь осторожна, никогда в жизни ты не участвовала в таком опасном деле. Не расспрашивай меня ни о чем. Ну, я двинусь. Но покамест еще не на Таунус. Завтра утром выезжай в нашу сторожку. Если этой ночью у нас была полиция, надень спортивную жакетку. В противном случае будь в новом костюме. Если же ты не появишься совсем, я буду знать, что ты арестована. А будешь в новом костюме — значит, в сторожке не опасно и я могу зайти и, значит, беда миновала. Есть у тебя еще деньги?

Грета сунула мужу несколько марок. Она безмолвно уложила его немногочисленные вещи. Прощаясь, они не поцеловались, а только крепко пожали друг другу руки. Когда Фидлер ушел, Гре-

та надела спортивную жакетку. Ее практический ум подсказал ей, что, в случае если дело обернется неблагоприятно, ей некогда будет переодеться. Если же ночь пройдет спокойно, она успеет и утром надеть новый костюм.

Кресс все еще стоял на том же месте в неосвещенной половине комнаты; жена, не глядя на него, снова села на свое место; она открыла книгу, которую читала до приезда обоих мужчин. Ее гладкие белокурые волосы, немного тусклые днем, при вечернем освещении отливали золотом. Она была похожа на тоненького мальчика, который шутки ради надел блестящий шлем. Не поднимая глаз от книги, она сказала:

— Я не могу читать, если ты так будешь смотреть на меня.

— У тебя был весь день для чтения. Поговори со мной.

Глядя в книгу, она спросила:

— Зачем?

— Твой голос успокаивает меня.

— А зачем тебе нужно успокоение? Здесь у нас покоя хоть отбавляй.

Он продолжал неотступно смотреть на нее. Она перевернула две-три страницы. Вдруг он раздраженно окликнул ее:

— Герда!

Она нахмурилась. Однако сделала над собой усилие, отчасти по привычке, отчасти потому, что ведь Кресс — ее муж, он устал после работы, и вечер вдвоем как-никак начался. Она положила на колени раскрытую книгу обложкой вверх и закурила папиросу. Затем сказала:

— Кого это ты подобрал? Странный тип.

Муж промолчал. Она невольно сдвинула брови и пристально посмотрела на него. В сумерках она не могла разглядеть его лица. Что за странное выражение радости? И почему он так бледен?

Наконец он сказал:

— Фрида ведь вернется только завтра?

— Послезавтра утром.

— Слушай, Герда; никто на свете не должен знать, что у нас гость. Но если тебя кто спросит, скажи — мой школьный товарищ.

Ничуть не удивившись, она ответила:

— Хорошо.

Он подошел к ней совсем близко. Теперь она ясно видела его лицо.

— Ты слышала по радио насчет побега из Вестгофена?

— Я? По радио? Нет.

— Несколько человек убежало,— сказал Кресс.

— Так.
— Всех поймали...
— Очень жаль.
— Кроме одного.

В ее глазах вспыхнул какой-то блеск. Она подняла лицо. Только раз было оно таким светлым — в начале их совместной жизни. Но и сейчас, как тогда, свет этот быстро погас. Она оглядела мужа с головы до ног.

— Вон что! — заметила она. Он молчал.— Я от тебя этого не ожидала. Вон что!..

Кресс отступил:

— Чего? Чего не ожидала?
— Этого! И вообще! Значит, все-таки... Прости меня.
— О чем ты говоришь? — спросил Кресс.
— О нас с тобой.

А Георг, сидя в отведенной ему комнате, думал: я хочу вниз. Чего я сижу здесь наверху? Зачем мне быть одному? Зачем мучить себя в этой голубой с желтым тюрьме, с плетеными матами ручной работы, с водой, бегущей из никелированных кранов, и зеркалом, которое безжалостно подсовывает мне то же, что и темнота: меня самого!

От низкой белой постели веяло свежим запахом чистого белья. А он, готовый свалиться с ног от усталости, продолжал бегать взад и вперед, от двери к окну, словно был лишен права лечь на эту постель. Может быть, это мое последнее убежище? Последнее — перед чем? Нужно пойти вниз, побыть с людьми. Он отпер дверь.

Уже на лестнице Георг услышал голоса Кресса и его жены — не громкие, но выразительные. Он удивился. Оба они показались ему какими-то немыми,— во всяком случае, очень мало разговорчивыми. Нерешительно остановился он перед дверью.

Голос Кресса сказал:

— За что ты мучаешь меня?

И низкий голос женщины ответил:

— Разве это тебя мучит?

Кресс спокойнее продолжал:

— А я вот что тебе скажу, Герда. Тебе безразлично, отчего человеку грозит опасность и кто он — все тебе безразлично. Главное для тебя — опасность. Побег или автомобильные гонки — тебе все равно, ты оживаешь. Какой ты была, такой и осталась.

— Ты прав и не прав. Может быть, я раньше была такой, а теперь опять стала. А хочешь знать почему? — Она помолчала.

Но хотел ли Кресс знать все или предпочитал не знать ничего, она решительно заговорила:

— Ты только и твердил: тут ничего не поделаешь, мы бессильны против этого, приходится ждать. Ждать, думала я. Он хочет ждать до тех пор, пока все, что ему дорого, будет растоптано. Постарайся понять меня. Когда я ушла из дому к тебе, мне не было и двадцати лет. Я ушла оттого, что все там было мне отвратительно: отец, братья и эта невыносимая тишина по вечерам в нашей столовой! Но последнее время здесь у нас такая же тишина.

Кресс слушал; может быть, он был еще более удивлен, чем стоявший за дверью Георг. А ведь сколько вечеров ему приходилось буквально вырывать у нее каждое слово!

— И потом еще одно: дома нельзя было никогда ничего с места сдвинуть. У нас гордились тем, что все от века стоит там, где стояло. А тут появился ты! И ты сказал мне, что даже в камне ни одна частица не окаменела, не говоря уж о человеческих существах. Но, очевидно, за исключением меня! Почему? Да ведь ты только что сказал обо мне: какой была, такой и осталась.

Кресс подождал секунду, не зная, все ли она высказала. Он положил ей руку на голову. Ее лицо снова стало равнодушным, почти упрямым. Он запустил пальцы ей в волосы, вместо того чтобы погладить их. Она была нежна и вместе с тем неподатлива — на любовь, на поученья, может быть, кто знает, и на перемены. Он осторожно сжал ее плечи.

Георг вошел. Кресс и его жена отскочили друг от друга. Какого черта Кressу понадобилось все открыть жене? Равнодушие на ее лице сменилось холодным любопытством. Георг пояснил:

— Я не могу заснуть. Можно мне побыть с вами?

Кресс, стоявший у стены, пристально на него уставился. Да, гость здесь, приглашение принято, это неотвратимо. И тогда, тоном гостеприимного хозяина, он спросил:

— Чего вы хотите? Чаю? Водки? Может быть, фруктового сока или пива?

Жена сказала:

— Он, наверно, голоден.

— Водки и чаю,— сказал Георг,— и поесть, что найдется.

Муж и жена засуетились. Они накрывали на стол, ставили на него большие и маленькие блюда, откупоривали бутылки. Ах, поесть с семи тарелочек, попить из семи стаканчиков! Всем троим неловко. Крессы только делают вид, что едят. Георг сунул в карман белую салфетку — хорошая перевязка для больной руки. Затем снова вытащил и расправил. Он насытился и чуть не падал от изнеможения. Только бы не остаться наедине с собой. Он отодвинул от себя вилки, ножи и тарелки и положил голову на стол.

Прошло немало времени, пока он снова поднял ее. Со стола давно уже было убрано, комната тонула в табачном дыму. Георг

не сразу опомнился. Его знобило. Снова Кресс стоял у стены. Бог весть почему, Георг счел нужным ему улыбнуться; ответная улыбка хозяина была такая же кривая и натянутая.

Кресс предложил:

— А теперь давайте еще выпьем.— Он снова принес бутылки. Налил себе и Георгу. Его руки слегка дрожали, и несколько капель пролилось на стол. Именно эта дрожь окончательно успокоила Георга. Порядочный человек. Ему было, видимо, очень нелегко приютить меня, но он все-таки приютил.

Фрау Кресс снова вошла в комнату, села у стола и безмолвно закурила. Мужчины тоже молчали.

Гравий на дорожке захрустел под чьими-то легкими шагами. Шаги остановились у парадной двери. Было слышно, как кто-то возится у подъезда, видимо отыскивая звонок. И когда звонок прозвенел, мужчины вздрогнули, хотя и ждали его.

— Вы меня встретили случайно, выходя из кино,— твердо сказал Георг вполголоса.— Вы знали меня по вечерним курсам.— Кресс кивнул. Как и многие робкие люди, перед лицом реальной опасности он был спокоен.

Жена встала и подошла к окну. В ее лице была надменность и легкая насмешка, как всегда в минуты азарта. Она подняла жалюзи, выглянула в окно и сказала:

— Женщина.

— Откройте ей,— сказал Георг,— но не впускайте.

— Она хочет лично переговорить с моим мужем. Вид у нее вполне мирный.

— Откуда она знает, что я дома?

— Знает. Ты говорил с ее мужем в шесть часов.

Кресс вышел. Фрау Кресс снова села за стол. Она продолжала курить и время от времени бросала на Георга короткий взгляд, словно они столкнулись на крутом повороте дороги или на обледенелом горном склоне.

Кресс вернулся, и по его лицу Георг понял, что случилось что-то самое страшное.

— Мне поручено сообщить вам, Георг, что ваш Пауль в гестапо. Ввиду опасности муж этой женщины уже уехал из дому. Чтобы не терять связи с вами, они хотят знать, куда мы теперь отправимся — или вы один...— Он налил себе вина.

Ни капли не пролил, отметил про себя Георг. Он чувствовал, что его голова совершенно пуста, словно из нее вымели все дочиста.

— Мы могли бы отвезти вас куда-нибудь на машине, или нам всем уехать втроем на машине?.. Куда? Прямо на Восточный

вокзал? Или, может быть, в глубь страны, в деревню? В Кассель? Или, может быть, лучше нам теперь же расстаться?

— Ах, помолчите минутку, пожалуйста...

В опустевшей голове Георга мысли закишели. Значит, Пауль провалился! Как так провалился? Забрали его? Или он получил вызов? На этот счет не было сказано ни слова. Во всяком случае, он попал к ним в руки. Что же теперь будет с Паулем? Если им известно, что он приютил меня, если им действительно известно... Все равно, Пауль никогда не выдаст новое убежище Георга. Да и знает ли он его? Само убежище — нет. Если посредник — надежный человек, если это действительно один из наших товарищей, то он фамилии Кресса не назвал... Но ведь Пауль знает номер машины, а этого достаточно. Георг вспомнил людей, более сильных, чем Пауль, искушенных в борьбе, опытных и изобретательных. И все-таки их удалось сломить, выжать из них все, что они знали. Но нет, Пауль не выдаст его. Смелое решение, возникшее в голове Георга, потребовало от него всего его мужества и твердости. Да, он доверяет Паулю. Пауль стиснет зубы так, как это делали до него другие, и его упорное молчание со временем станет для него нетрудным и окончательным.

А может быть, это обычный вызов, и Пауль стоит перед ними этаким глупым коротышкой, дает безобидные осторожные ответы.

— Мы остаемся! — заявил Георг.

— А не лучше ли на всякий случай уехать?

— Нет. Все другое только осложнит положение. Сюда мне пришлют дальнейшие указания. Деньги и документы. Если я сейчас уеду, все пропало.

Кресс молчал. Георг угадывал его мысли.

— Если вы хотите отделаться от меня, если вы боитесь...

— Дело не в том, боюсь я или не боюсь,— сказал Кресс,— вы один знаете этого Пауля. Решайте сами.

— Да, хорошо,— сказал Георг.— Скажите этой женщине, что мы остаемся здесь.

Кресс тут же вышел. Он с каждой минутой все больше нравился Георгу. Ему нравилась в Крессе та готовность, с какой более слабая часть его души после короткой борьбы подчинялась более сильной, нравилась его честность, ведь он ни на минуту не старался прикрыть свой страх хвастовством или громкими словами. Он нравился Георгу больше, чем жена. Она докуривала последнюю папиросу, пуская в воздух кольца дыма. У этой женщины, вероятно, никогда еще не было ничего такого, что она боялась бы потерять.

Кресс вернулся и опять встал, прислонившись к стене. Они слышали, как шаги удаляются в сторону поселка. Когда все снова стихло, фрау Кресс сказала:

— Пойдемте наверх, для разнообразия.

— Хорошо,— сказал Кресс.— Все равно мы не заснем.

Кресс устроил себе под крышей рабочий уголок, сплошь заставленный книгами. Из окна было видно, что дом находится в конце новой улицы, несколько в стороне от Ридервальдского поселка. Небо было безоблачно. Давным-давно уже не видел Георг безоблачного звездного неба; над Рейном оно было затянуто туманом. И он взглянул на небо, как смотрят те, кому грозит гибель, точно небосвод воздвигнут для их защиты. Фрау Кресс опустила ставни и включила отопление, что Кресс обычно делал сам, когда рано возвращался домой. Она освободила от книг несколько стульев и угол стола. Теперь Пауля пытают, подумал Георг, а Лизель сидит дома и ждет. Его сердце сжалось от страха и сомнений. Правильно ли он поступил, понадеявшись на Пауля? Хватит ли у Пауля сил? Теперь, правда, уже поздно, сделанного не воротишь. Крессы молчали, они, вероятно, думали, что он засыпает. Он же, закрыв лицо руками, мысленно обратился за советом к Валлау. Успокойся! То, что сейчас поставлено на карту, только случайно, только на этой неделе носит имя Георг!

И вдруг Георг бодро обратился к хозяину и осведомился о его возрасте и профессии. Тридцать четыре года, отвечал Кресс. Специальность — физическая химия. Георг спросил, что это такое; Кресс попытался, как будто даже обрадовавшись, объяснить ему. Сначала Георг слушал внимательно, затем он снова начал думать о Пауле, залитом кровью, и о Лизель, которая ждет. Кресс по-своему объяснил молчание Георга.

— Еще есть время,— сказал он мягко.

— Время? Для чего?

— Чтобы выбраться отсюда.

— Разве мы не решили остаться? Не думайте больше об этом.

Но и сам Георг не мог думать ни о чем другом. Он встал и начал рыться в книгах. Две или три были ему знакомы — еще с тех времен, когда он дружил с Францем. Это время было самым радостным в его жизни. Но те простые, тихие дни заслонялись более отчетливыми воспоминаниями последующих бурных лет. «Отчего забываешь самое заветное? — думал Георг.— Оттого, что оно срастается с душой, беззвучно живет в ней». Георг обернулся к фрау Кресс и стал подробно расспрашивать о ее семье и ее детстве. Она слегка вздрогнула, чего Кресс за ней никогда не замечал. Затем начала рассказывать:

— Мой отец поступил в армию еще совсем молодым человеком. Он не обнаружил особых способностей и уже сорока четырех лет вышел в отставку в чине майора. Нас было пятеро детей — четверо братьев и я; отец командовал нами, пока мы не выросли.

— А ваша мать?

Однако Георгу так и не пришлось ничего узнать о ее матери — где-то рядом остановился автомобиль, и все трое затаили дыхание; автомобиль тут же отъехал, но желание продолжать беседу исчезло. Георг снова подумал о Редере; мысленно он просил у Пауля прощения за только что пережитый страх, как будто и он, подобно Кессу, был готов ко всему. И все-таки, когда проехал следующий автомобиль, он опять вздрогнул. Все трое молчали. Казалось, в этой накуренной комнате ночь тянется бесконечно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Было еще почти темно, однако становилось ясно, что поля и крыши белы от инея, а не только от света луны. Со стороны Кронеберга к шоссе шла крошечная старушка с мешком за плечами. Она шла, что-то бормоча и поглядывая по сторонам, и в этой старушонке, семенившей до свету по полям с мешком и суковатой палкой, было что-то ведьмовское. Правда, вблизи это впечатление исчезало, так как мешок оказался обыкновенным рюкзаком, а на ней была обыкновенная грубошерстная пелерина с заячьим воротником и праздничная шляпка, которую она нацепила поверх обычного головного платка.

Перед усадьбой Мангольдов старушка перескочила через придорожную канаву, склонилась над пашней, точно разглядывая что-то, сердито забормотала, перескочила обратно и направилась по дороге к дому Мессеров. В окне кухни — оно находилось на одном уровне с землей — уже горел свет, первый огонек в это утро. Достойным сыновьям предназначался воскресный кофе с ватрушками. А недостойным? Им тем паче, решила Евгения, чтобы сладкие, нежные ватрушки их смягчили.

Старушонка опять перескочила канаву, но не против Мессеров, а подальше, против поля. Она наклонилась, затем выпрямилась и уверенно засеменила к той рощице и по той же дороге, по которой вчера ушло стадо. Ибо это была мать Эрнста-пастуха, которого она по воскресеньям часами заменяла при стаде, а свежий навоз на Мессеровом поле отмечал то место, где оно вчера паслось. Она знала их маршрут, сегодня они будут уже у Прокаски, в общине Мамольсберг.

Когда она вышла из рощицы на участок, который Мессер продал весной, для того чтобы обойти новый закон о наследственных дворах, она увидела вправо от дороги, посреди кучки старых заин-

девелых елей, желтое здание гостиницы. Мягко и плавно опускаются там поля, чтобы по ту сторону дороги опять так же мягко и плавно подняться; здесь взгляд не теряется в далях, его останавливает буковый лес, покрывающий цепь холмов, до которых самое большее два часа. Когда взойдет солнце, широкая круглая долина засверкает всеми красками осени. Луна так бледна, что ее искать нужно в небе. Мать Эрнста, энергично семенящая по серо-белому склону, не отбрасывает никакой тени.

Вдруг она останавливается. Шагах в двухстах от нее через прогалину между группой елей и рощицей спешит девушка. Мать Эрнста на минуту забывает о том, что ее воскресное посещение предназначается не отцу, а сыну; вот такая убегающая девушка ей искони служила куда лучшим указателем, чем овечий навоз. И она пищит среди тусклых сумерек тоненьким голоском:

— Эй, барышня!

Девушка останавливается, до смерти испуганная. Озирается по сторонам: вокруг все серо и тихо. Мать Эрнста спускается с пригорка у нее за спиной.

— Эй, барышня!

Девушка опять пугается.

— Барышня, вы забыли кое-что.

— Где? Что?

— Такой коротенький белокурый волосок.

Но девушка уже опомнилась, она кругленькая, крепкая и не из пугливых.

— Ну так положите его к себе в молитвенник!

Старуха не то смеется, не то кашляет. А девушка высовывает ей большой красный язык и убегает.

В небе луна словно еще раз оживает, она становится ярче, так как небо голубеет. Девушка догадывается, кто эта старуха, и в ней закипает досада. В деревнях звонят колокола. Как она могла связаться с таким парнем! Пока он был возле их дома со своим стадом, она держала себя в руках. А как ушел в Мамольсберг, пате, пожалуйста, она вдруг бежит к нему! Боже, боже! Эта карга, его мать, теперь везде сплетни распустит, но ведь она, старая ведьма, про каждую хорошую девушку сплетничает. Разве она не трепалась даже насчет Марихен из Боценбаха? Марихен ведь ребенок, ей всего пятнадцать, она сговорена со шмидтгеймовским Мессером, а тот никогда не возьмет деревенскую красотку с изъяном! И когда кругленькая девушка выходит из рощицы и приближается к кухонному окну Евгении, она уже полна гордости и обиды, как та, про которую пустили незаслуженную сплетню.

— Хайль Гитлер! Раз ты уже печешь, Евгения, отломи мне, если можешь, кусочек ванильной палочки.

— Целую палочку возьми, а не кусочек.— У Евгении в чистом стеклянном стаканчике хранятся всевозможные пряности.— Ты моя первая гостья, Софи,— говорит она, протягивая ей ваниль и на доске для теста ломтик еще теплой ватрушки.

У Софи Мангольд липкие губы — ведь ватрушка так густо посыпана сахаром,— и уже весело бежит она к своей собственной кухне, где мать смалывает кофе.

Наконец эта ночь прошла. Каждый раз, когда со стороны поселка подходила машина или доносились шаги ночного патруля, хозяин и его гость вздрагивали, и, по мере того как ночь нарастала, лихорадка страха становилась все сильнее и неотвязнее, точно тела их с каждым часом теряли способность сопротивляться.

Когда фрау Кресс наконец открыла ставни и снова обернулась к ярко освещенной комнате, ей показалось, что мужчины постарели и осунулись за эту ночь,— не только гость, но и хозяин. По ее спине пробежал легкий озноб. Взглянув на плоскую пикелевую подставку настольной лампы, она увидела и свое отражение — лицо все такое же, только губы побледнели.

— Ночь прошла! — возвестила она.— Что касается меня, то я сейчас приму ванну и надену воскресное платье.

— А я сварю кофе,— сказал Кресс.— А вы, Георг?

Ответа не последовало. Когда окно было открыто и в комнату ворвался свежий утренний воздух, Георга совсем сморило, он не то заснул, не то окончательно обессилел. Кресс подошел к стулу, на котором сидел его гость, уронив голову на край стола. Заметив, что Георгу неудобно, Кресс приподнял голову спящего и слегка повернул ее. Где-то в уголке сознания закопошился вопрос, долго ли еще придется прятать у себя этого человека. Устыдившись такого вопроса, он резко приказал этому голосу замолчать. Ошибаешься, сказал он себе, я прятал бы у себя даже труп этого человека.

Георг вскоре очнулся — может быть, где-то стукнула дверь. Еще охваченный дремотой, он, следуя уже выработанной привычке, постарался определить характер разнообразных звуков, доносившихся до него: вот скрежет кофейной мельницы, вот течет в ванной вода. Он решил встать и пойти в кухню, к Кressу. Он хотел побороть эту дремоту, которая снова одолевала его,— мучительную дремоту. Но нет, сон опять навалился, и последней мыслью Георга было, что это только сонное наваждение, он не поддастся. Однако наваждение победило...

Итак, он все же пойман. Они втолкнули его в барак номер восемь. Его тело было покрыто кровавыми ранами, но от страха

перед тем, что еще ждет его, он не чувствовал боли. Он сказал себе: мужайся, Георг! Но он знал, что в этом бараке ему предстоит самое страшное. И вот оно началось.

За столом, покрытым электрическими проводами и заставленным телефонными аппаратами, однако напоминавшим стол в пивной — там даже лежало несколько картонных кружков, на какие обычно ставятся пивные кружки,— сидел сам Фаренберг, впившись в Георга пронизывающим взглядом сощуренных глаз, с застывшим смехом на губах. Справа и слева сидели Бунзен и Циллих, обернув к нему головы. Бунзен засмеялся. Но Циллих был угрюм, как всегда. Он тасовал карты. В комнате было темно, только над столом несколько светлее, хотя Георг нигде не видел лампы. Один из проводов трижды обвивал мощное тело Циллиха, и от этого зрелища по спине Георга пробегала ледяная дрожь. Однако он успел еще вполне отчетливо подумать: они и впрямь играют с Циллихом в карты. В отдельных случаях, стало быть, классовые противоречия уже сняты.

— Подойди ближе,— сказал Фаренберг.

Но Георг не двинулся — из упорства и оттого, что у него дрожали колени. Он ждал, когда Фаренберг зарычит на него, но тот, неизвестно почему, подмигнул ему, точно они единомышленники. Тут Георг догадался, что эти трое задумали какую-то особую коварную подлость, и она через секунду окончательно сокрушит его тело и душу. Но секунды бежали, а его враги только переглядывались. Берегись, сказал себе Георг, собери последний остаток сил. Внезапно раздался странный тихий звук, как будто трещали кости или очень сухое дерево. Георг в недоумении переводил глаза с одного на другого. Вдруг он заметил, что мясо на обращенной к нему щеке Циллиха гниет и отваливается, одно ухо на красивой голове Бунзена крошится, а также часть лба. Тут Георг догадался, что они все трое мертвы и что он, сам он, тоже умер.

Он крикнул изо всех сил:

— Мама!

Он схватил подставку от лампы. Лампа перевернулась и грохнулась на пол. Вбежали Кроссы. Георг вытирал потное лицо и озирался среди ярко освещенной неприбранной комнаты. Он смущенно извинился.

Фрау Кресс, у которой худые руки были обнажены до плеч, а волосы мокры и взлохмачены, казалась особенно молодой и чистой. Хозяева отвели его к столу, посадили между собой, налили кофе, наложили ему полную тарелку всякой еды.

— О чем вы задумались, Георг?

— О том гипнозе страха, который они умеют внушить. Будь я свободен, я бы наверняка был сейчас в Испании, в каком-ни-

будь угрожаемом пункте. Я ждал бы, когда меня сменят, но эта смена могла бы ведь и не прийти. И сам я мог бы получить пулю в живот, а это едва ли приятней, чем пинки вестгофенских бандитов. И все-таки у меня на душе было бы совсем иначе. Отчего это зависит? Оттого, как это делается? Или от всей системы? Или от меня самого? Как вы считаете, сколько я могу пробыть у вас, на самый худой конец?

— Пока придет наша «смена»,— твердо сказал Кресс, как будто перед тем и сам десятки раз не спрашивал себя, долго ли он в силах выдержать это ожидание.

II

А в это время Фидлер сидел уже в летней сторожке, которую нанимал вместе с шурином. Перед отъездом он удостоверился, что жена одета так, как было условлено, если ночь пройдет благополучно.

Значит, Редер до сих пор еще никого не выдал. Он не подвел товарища, иначе вся эта свора уже бежала бы по его следу. До сих пор. До сих пор — это говорит только об известной степени стойкости, но ни о чем окончательном.

Фрау Фидлер растопила печурку, служившую для обогревания и готовки. Фанерная хибарка была снаружи аккуратно выкрашена, а внутри все было так обставлено, точно Фидлеры не предполагали уже переезжать с места на место. Особенно за последний, более спокойный год Фидлер вложил немало труда в свою сторожку. Фрау Фидлер подала кофе на складной стол, который он сам придумал и сделал. Стол складывался в разных направлениях, по желанию. Простой сосновый стол, но особая полировка выделяла волокнистое строение дерева.

Сквозь небольшое чистое оконце, которое он сам вставил, и сквозь редкую живую изгородь, на которой горели бесчисленные ягоды шиповника, за коричневой и золотой листвой смутно вырисовывались далекие городские шпили. Если Редер ночью ничего не сказал, что возможно, так он заговорит завтра, может быть, уже говорит сию минуту. Фидлер вспомнил историю с Мельцером, которого все считали порядочным малым. Три дня он рта не раскрывал, а на четвертый мучители привели его на производство — это была большая типография,— и он им указал всех тех, о причастности которых знал или догадывался. Какими способами палачи этого добились? Каким ядом вытравили, какими пытками они вырвали его душу из живого тела? Что, если Редер придет завтра в цех, и за ним будут следовать две тени, и он укажет им на Фидлера?

— Нет,— сказал Фидлер вслух. Даже этот Редер, созданный его воображением, упирался и не давал втянуть себя в такое предательство.

— Что нет? — спросила жена.

Но Фидлер только со странной усмешкой покачал головой. Ни в коем случае не должен Гейслер оставаться слишком долго там, где он сейчас. Нужны совет и помощь. Разве Фидлер не повторял себе весь год, что он совершенно один и что нет никого, к кому он мог бы обратиться? Может быть, и был один такой человек, но только верно ли это? Хотя этот единственный работал там же, где и Фидлер, последний давно уже избегал его. Отчего? На это существовало множество причин, среди которых — как всегда, когда ссылаются на множество причин,— недоставало главной. То Фидлер считал себя обязанным держаться в стороне, чтобы еще не осложнять положения человека, которому могли предстоять важные и ответственные задачи на заводе Покорни, то он опасался, что старый приятель как-нибудь неосторожно выдаст его, Фидлера. Итак, причины были противоречивые — и недоверие, и высшая степень доверия. Но теперь, когда дело касалось Гейслера, колебаться уже было нельзя. Ни одной минуты не смел он терять, копаясь в этих причинах. Теперь Фидлер понял и единственную истинную причину: он знал, что рано или поздно, очутившись лицом к лицу с этим человеком, он уже не сможет уклониться и придется ему решать раз и навсегда, намерен ли он жить по-прежнему, замкнувшись в своей скорлупе, или хочет вернуться в ряды тех, кто борется. А этому человеку, видимо, дана была сила проникать в самую глубь человеческой души.

А тот, о ком Фидлер был столь высокого мнения — его звали Рейнгардт,— лежал в полутемной комнате на своей постели; наслаждаясь воскресным отдыхом, он прислушивался сквозь дремоту к звукам, раздававшимся в квартире.

На кухне жена кормила внука, так как дочь уехала с экскурсией, организованной обществом «Сила через радость», на какой-то загородный праздник. Рейнгардт женился очень молодым. Его волосы были теперь пепельно-серого цвета, точно они только начали седеть или уже когда-то были белыми и потом потускнели от металлической пыли.

В его худом лице не было ничего примечательного, кроме глаз, и то лишь когда что-нибудь привлекало его внимание. Тогда в них светились и доброта, и недоверие, и насмешка, и надежда на то, что найден новый друг.

Рейнгардт давно проснулся, он лежал, не открывая глаз. Еще минутка — и надо будет вставать. В это воскресенье отдыхать не

придется. Он должен сделать все, чтобы найти человека, о котором думает вот уже целый час. Если и тот не отправился куда-нибудь за город! Рейнгардт знал в лицо маленького Редера, о котором ему рассказывал Герман, но обратиться к нему вот так, прямо, теперь, когда все основано только на слухах и догадках, когда столько поставлено на карту, просто невозможно. А тот, о ком он думал, как раз подходящий человек, чтобы прощупать Редера.

Может быть, все это только выдумки. Правда, назывались имена и местности. В городе шли обыски и облавы. Но, может быть, гестапо только воспользовалось этими слухами о побеге для новых арестов, для обысков и допросов. Со вчерашнего дня радио почему-то молчит о побеге. Может быть, Гейслер уже пойман. Только в людских толках он на свободе и мечется по городу, прячется в несуществующих убежищах, спасается от полиции с помощью бесчисленных уловок, может быть, это просто общая мечта. Ему, Рейнгардту, это предположение кажется очень вероятным. Но в таком случае желтый конверт, переданный ему Германом, предназначен для призрачного Георга, чужой паспорт — для тени? Теперь, когда жизнь людей стеснена до удушья, они живут мечтой.

Последняя минута его воскресного отдыха истекла. Со вздохом опустил он ноги на пол. Нужно немедленно идти к этому человеку из цеха Редера; тогда можно будет определить, что в этой истории правда. Сам Рейнгардт должен быть готов к тому, что басня о побеге рассеется как дым, и тем не менее должен отнестись к ней с величайшей серьезностью и не терять ни минуты. И Герман, его лучший друг, сразу же начал действовать так, как будто никаких сомнений не могло быть. С первой же минуты он занялся вопросом о деньгах и документах. При мысли о Германе глаза Рейнгардта засветились: с таким человеком всегда найдешь в себе силы делать не только то, что чрезвычайно трудно, но даже и то, что, может быть, окажется совершенно бесполезным. Серые глаза Рейнгардта помрачнели, когда он подумал о рабочем из редеровского цеха, к которому собирался пойти; Рейнгардт нахмурился. Правда, этот человек сможет подробно рассказать ему о Редере, он с ним проработал несколько лет в одном цеху. И он будет молчать о состоявшемся разговоре. Но насчет остального — возможно, что он будет колебаться, как колебался долгое время. Рейнгардт хорошо изучил его. Удастся ли ему сегодня заставить этого запуганного, оробевшего человека вылезти из своей скорлупы?

Рейнгардт сел на постели и принялся надевать носки. У входной двери звякнул звонок. Только бы его не задержали, в понедельник может оказаться уже поздно, ему необходимо идти сегодня, и притом сейчас! Жена постучала в дверь:

— К тебе пришли.

— Это я,— сказал Фидлер, входя в комнату. Рейнгардт открыл ставни, чтобы лучше видеть гостя, и Фидлер почувствовал на себе взгляд тех самых глаз, которых целый год избегал. И все же Рейнгардт первый опустил их и сказал испуганно и смущенно:

— Ты, Фидлер? А я как раз к тебе собирался.

— А я,— сказал Фидлер уже совсем спокойно и непринужденно,— я решил обратиться к тебе. Я попал в такое положение — в сложное положение, и мне необходимо с кем-нибудь посоветоваться. Только я не знаю, поймешь ли ты, почему я так долго держался в стороне...

Рейнгардт поспешил заверить его, что он все понимает, и, словно пришла его очередь извиняться, рассказал об одном эпизоде, имевшем место в двадцать третьем году: он работал в районе Билефельда, когда округ захватил генерал Ваттер, и он так тогда перетрусил, что в течение долгого времени скрывался. А когда страх уже прошел, продолжал скрываться от стыда и гнева на себя за свое малодушие.

Так как Рейнгардт этим признанием избавил его от необходимости объяснять свое поведение, Фидлер сразу же приступил к рассказу и подробно сообщил о причинах, которые привели его сюда. Рейнгардт безмолвно слушал. Отрывистому, резкому тону, каким он задал несколько вопросов, противоречило выражение его лица. Это было выражение человека, который наконец опять видит перед собой то, что является для него в жизни главным, ради чего он всем готов пожертвовать, о чем знает, что оно нерушимо, хотя часто бывает так скрыто, что истощаются силы и иссякают надежды; и вот оно опять тут, оно само пришло к нему.

Когда Рейнгардт обо всем узнал, он на несколько минут вышел из комнаты, дав, таким образом, Фидлеру время осознать всю важность совершенного им шага, шага, оказавшегося одновременно и таким легким, и таким трудным. Затем Рейнгардт вернулся, он положил перед Фидлером плотный желтый конверт. В конверте лежали документы на имя племянника одного капитана с голландского буксирного судна, который обычно сопровождал дядю в его поездках до Майнца и обратно. Его еще успели застать в Бингене. Племянник согласился расстаться со своими документами и паспортом потому, что у него в кармане лежало еще постоянное разрешение на право перехода границы. Фото на паспорте осторожно подретушировали под Георга.

В паспорт было вложено несколько банковых билетов. Рейнгардт аккуратно разгладил рукой конверт — с особой бережностью и нежностью. В этом конверте лежал итог опасной и кропотливой работы — бесчисленные разъезды, справки, списки, деятельность

былых лет, старые связи, друзья, Союз водников и докеров — целая сеть, охватывающая моря и реки. А между тем жизнь человека, чьи пальцы касались сейчас этой сети, была удушливой и тяжелой; эти несколько банковых билетов представляли, по теперешним временам, огромную сумму — фонд особого назначения, выделенный окружным руководством партии.

Фидлер опустил конверт в карман.

— Ты сам отнесешь ему?

— Нет, моя жена.

— Ты в ней уверен?

— Как в самом себе.

После бессонной ночи Лизель Редер, глаза которой уже ничего не видели от слез, одела и накормила детей.

— Ведь сегодня воскресенье,— сказал старший мальчик, увидав на столе хлеб вместо булок. По воскресеньям Пауль обычно сам приносил горячие булки из пекарни напротив. От этого воспоминания Лизель снова расплакалась, а дети жевали хлеб, затаив испуг и обиду.

Итак, Пауль не вернулся, кончилась их совместная жизнь. Судя по рыданиям, сотрясавшим тело Лизель, эта жизнь с ныне исчезнувшим Паулем была, видимо, несравненной. Лизель вкладывала в нее все свои силы — не в их общее будущее, и даже не в будущее детей, но именно в эту их теперешнюю жизнь вместе. Глядя незрячими от слез глазами на улицу, она переживала горячую ненависть ко всем, кто хотел разрушить эту жизнь преследованиями и угрозами или даже обещаниями чего-то лучшего впереди.

Дети доели свой завтрак, но продолжали сидеть вокруг стола непривычно тихо.

«Неужели его будут бить?» — спрашивала себя Лизель. Свою разрушенную жизнь она видела до мелочей, видела во всех подробностях, но представить себе разрушенной жизнь другого человека было труднее, даже если этот другой и был Пауль! А что, если его будут бить, пока он не сознается, где Георг? А если сознается — отпустят его домой или нет? Позволят ему вернуться? Будет тогда все по-прежнему?

Здесь мысли Лизель остановились. Остановились и слезы, сердце подсказало, что дальше думать нельзя. Прежнее уже не вернется. Обычно Лизель понимала только то, что входило в круг ее жизни. Она ничего не знала о туманном мире, начинавшемся по ту сторону привычной действительности, и еще меньше о странных явлениях, происходивших где-то в пограничной зоне, когда

все привычное ускользает без возврата или когда тени пытаются вернуться, чтобы их еще раз приняли за реальность.

Но в эту минуту даже Лизель поняла, что такое иллюзорный мир, и что такое Пауль, вернувшийся домой лишь в ее воображении — ибо это уже не Пауль, и что такое семья, которую уже нельзя назвать семьей, и жизнь вместе многие годы, которая из-за короткого признания, прозвучавшего в одну октябрьскую ночь в подвалах гестапо, уже давно перестала быть жизнью.

Лизель покачала головой и отвернулась от окна. Она подсела к детям на кухонный диван. Старшему мальчику она велела снять грязные чулки и надеть чистые, сушившиеся над плитой. Она посадила девочку на колени и пришила ей пуговицу.

III

Хотя Меттенгеймер и твердил себе, что за ним продолжают следить, эта мысль уже не вызывала в нем прежнего страха. Пусть шпионят, говорил он себе даже с некоторой гордостью, они наконец узнают, что такое честный человек. Все же он продолжал молиться о том, чтобы Георг исчез из их жизни, не причинив Элли никакого вреда, но и не заставив их взять грех на душу.

Может быть, этот потертый человечек, усевшийся рядом с ним на скамейке, сменил субъекта в фетровой шляпе, который так изводил его на прошлой неделе. Однако Меттенгеймер спокойно ждал возвращения сторожа с семьей из церкви, чтобы они ему отперли дом. Чудесный дом, размышлял Меттенгеймер, люди, строившие его когда-то, не были извергами.

Двухэтажный белый дом с низкой, слегка изогнутой крышей и прекрасным порталом с такой же изогнутой аркой, окруженный садом, расположенным на склоне холма, казался больше, чем был на самом деле. Раньше он стоял за городской чертой, но разраставшийся город настиг его. Ради этого дома улица слегка изогнулась — он был слишком красив, чтобы его сносить. Дом для влюбленных, которые уверены в устойчивости своих чувств не меньше, чем в устойчивости своего материального благосостояния, и уже на свадьбе думают о внуках.

— Хорошенький домик,— сказал потертый человечек. Меттенгеймер взглянул на него.— А ведь неплохо, что прежних хозяев оттуда попросили,— продолжал человечек,— пусть теперь другие поживут.

— А вы что, новый съемщик? — спросил Меттенгеймер.

— Боже милостивый! Я? — Человечком овладел приступ смеха.

— Я обойщик и работаю здесь,— сухо сказал Меттенгеймер. Человечек почтительно покосился на него. Но так как Меттенгеймер был отнюдь не разговорчив, то человечек встал, сделал ручкой «хайль Гитлер» и засеменил прочь. На этот раз это даже не полицейский шпик, решил Меттенгеймер. Он только что собирался пойти проверить, не прозевал ли он возвращение сторожа, как увидел Шульца, своего помощника, тот шел к нему от остановки. Меттенгеймер удивился этому усердию Шульца в воскресный день.

Однако Шульц, видимо, не спешил войти в дом. Он уселся около Меттенгеймера на ярком солнышке.

— Осень-то какая, господин Меттенгеймер!

— Да!

— Но долго хорошая погода не продержится. Вчера вечером такой закат был...

— Да?

— Господин Меттенгеймер,— начал Шульц,— ваша дочь Элли, которая заходила к вам вчера...

Меттенгеймер круто обернулся. Шульц смутился.

— Что с ней? — спросил Меттенгеймер почему-то с раздражением.

— Да ничего, решительно ничего,— сказал Шульц, окончательно растерявшись.— Она такая красивая. Удивительно, как это она до сих пор не вышла второй раз замуж.

Глаза Меттенгеймера засверкали гневом.

— Это, по-моему, ее дело.

— Отчасти,— сказал Шульц.— Она разведена с Гейслером?

Меттенгеймер окончательно рассердился.

— А почему вы сами не пойдете и не спросите ее?

У старика, видно, уши заложило, подумал Шульц.

— Конечно, я мог бы спросить ее,— сказал он спокойно,— но я полагал, что лучше мы сначала с вами перетолкуем.

— О чем перетолкуем? — спросил Меттенгеймер.

Шульц вздохнул.

— Господин Меттенгеймер,— начал он другим тоном.— Я знаю вашу семью десять лет, почти столько же, как и вас, и мы с вами работаем на одну фирму. В прежние годы ваша Элли частенько заглядывала к нам на работу. Когда я вчера опять увидел ее, она мне так и пронзила сердце.

Меттенгеймер закусил ус и пожевал его. «Наконец-то!» — решил Шульц. Он продолжал:

— Я человек без предрассудков. Тут насчет этого Георга Гейслера много идет разговоров. Ну, я его никогда не видел. Между нами, господин Меттенгеймер, я — я от всей души желаю ему спастись. Я просто говорю вслух то, что другие думают про себя.

Тогда ваша Элли могла бы сейчас же подать заявление о том, что он оставил ее и скрылся. И потом этот гейслеровский сынишка... Да, я знаю. Ну, если он хороший малыш, так вот у нас уже и малыш есть.

Меттенгеймер сказал вполголоса:

— Он хороший малыш.

— Так вот. Будь я на месте Гейслера, я бы сказал: пусть лучше Шульц позаботится о моем сыне — в конце концов он такой же человек, как и я,— чем если мальчик попадет в лапы к этим бандитам и они из него сделают бандита. А к тому времени, пока сын Гейслера подрастет и с нами пойдет работать, царство бандитов ведь кончится же.

Меттенгеймер испугался, он огляделся кругом. Но они были, видимо, совершенно одни в этом залитом солнцем уголке.

— Если же Гейслера поймают,— невольно понизив голос, продолжал Шульц,— или уже поймали — ни вчера, ни сегодня о нем ничего не передавали по радио,— тогда бедняга все равно погиб, ему крышка, и Элли даже не придется подавать заявление.

Оба смотрели перед собой. Тихая, освещенная солнцем улица была усыпана листьями, слетевшими с деревьев сада. Меттенгеймер сказал себе: Шульц — хороший работник; у него и голова на плечах, и сердце доброе, и внешность приятная. Такого мужа я всегда желал для Элли. Почему, собственно, он уже давно не вошел в мою семью? Ничего бы тогда не было. А Шульц продолжал:

— Прежде, господин Меттенгеймер, вы были так добры, что приглашали меня заходить. Я тогда не воспользовался вашим приглашением. Разрешите мне, господин Меттенгеймер, теперь исправить мою оплошность. Но только обещайте мне, господин Меттенгеймер, ничего не говорить Элли о нашем разговоре. Если я приду и ваша дочь Элли окажется тут, пусть это выйдет как будто случайно. Такие женщины, как она, не любят, когда за них заранее все устраивают. Они хотят, чтобы их добивался человек, готовый сам штурмовать крепость.

Когда люди обречены ждать и когда вопрос идет о жизни и смерти и они не знают ни чем кончится ожидание, ни сколько оно продлится, часы или дни,— они начинают изобретать самые странные способы не замечать времени. Они будут считать минуты, тут же забывая о них. Они попытаются остановить время, и возведут плотину, и будут вновь и вновь затыкать скважины, хотя время давно уже хлынуло поверх плотины.

Георг, все еще сидевший за столом Крессов, вначале участвовал в этих попытках. Потом, однако, замкнулся в себе; он твердо решил больше не ждать. Кресс рассказывал ему, как и где он по-

знакомился с Фидлером. Вначале Георг заставлял себя слушать, затем слушал с подлинным интересом. Кресс описывал Фидлера как человека, который не меняется и не доступен ни сомнениям, ни страху. Тут Кресса прервал гомон голосов за окном, оказалось — обычная воскресная экскурсия. Тогда Кресс встал и включил радио. Конец утреннего концерта заполнил еще несколько минут. Георг попросил Кресса принести карту и помочь ему разобраться в вопросах, которые он непременно решил себе уяснить. Около двух недель назад заключенный, прибывший в Вестгофен, из щепок выложил на сырой земле карту Испании и отметил пальцем те места, которые являлись ареной военных действий. Георг вспомнил, как этот человек при появлении часового немедленно все затоптал своим деревянным башмаком. Это был рабочий-печатник из Ганнау. Георг смолк, и время, как ветер, ворвалось в комнату. Вдруг, словно ей приказали заговорить, жена Кресса сообщила, что один из ее братьев уехал в Испанию, чтобы сражаться в армии Франко, и что Бенно, друг ее детства и товарищ брата, тоже собирался поехать с ним. Она продолжала говорить, точно желая оттянуть время, как человек, хватающий первый попавшийся предмет, чтобы заткнуть брешь в плотине.

— Я долго колебалась, кого выбрать — тебя или Бенно.

— Меня или Бенно?

— Да. В общем, как человек он был мне ближе. Но мне хотелось чего-то нового.— Однако ее признания не достигли цели — несколько сказанных слов, в сущности, не заняли никакого времени.

— Идите и работайте, Кресс, и вообще делайте то, что вам нужно,— сказал Георг.— Или возьмите жену под руку и совершите хорошую воскресную прогулку, забудьте на несколько часов, что я тут. Я пойду наверх.

К большому удивлению супругов, он встал.

— Наш гость прав,— сказал Кресс.— Или, вернее, был бы прав, если бы мы были в состоянии это сделать.

— Конечно, в состоянии,— отозвалась жена.— Что касается меня, то я пойду в сад пересаживать тюльпаны.

Редер, правда, не предаст меня, думал Георг, оставшись один, но он может совершить какую-нибудь оплошность. Он не знает, как надо отвечать, он не знает, как надо держаться. Его нельзя винить. Когда человек ослабел от побоев и отсутствия сна, он перестает соображать. Даже самый изобретательный тупеет и теряется, а Пауля, наверно, видели с этим Фидлером каждый день. Гестапо тут сразу разберется. Но Пауля, конечно, винить нельзя. Георг еще раз спросил себя, не следует ли ему уйти отсюда. Даже в лучшем случае, даже если Пауль будет молчать. Что, если и Фидлер, под влиянием страха, ни к кому не обратится и ничего не предпри-

мет? То, чего так боялся Георг во дворе у фрау Грабер, может скорее случиться здесь. Его просто бросят. Не будут разыскивать. Кресс, конечно, не из тех, кто в силах помочь ему и дальше. Разве не лучше, чем ждать долгие дни, уйти сегодня же?

Всякое огороженное место действовало на него угнетающе, и он подошел к окну. Он увидел белую дорогу, которая вела через поселок. За поселком, казавшимся чистенькой деревней, темнел парк или роща. Георга охватило чувство полной бесприютности, почти сейчас же уступившее место чувству гордости. Был ли на свете еще человек, который мог смотреть такими же глазами в широкое сизое небо и на дорогу, только его одного уводившую в неизвестную дичь и глушь? Он разглядывал мелькавших внизу людей — людей, одетых по-праздничному, с детьми, колясками и непонятными свертками; вот мотоциклист с девушкой, сидящей в коляске; два подростка из гитлерюгенда; человек со складной байдаркой за спиной; штурмовик, ведущий за руку ребенка; молодая женщина с букетом астр.

И тут раздался звонок. Ничего, сказал себе Георг. Здесь, наверно, частенько раздаются звонки. И на улице и в доме все было спокойно. Кресс постучался в дверь:

— Выйдите на лестницу.

Нахмурившись, рассматривал Георг молодую женщину с астрами, вдруг очутившуюся у Крессов в подъезде.

— Мне нужно тебе кое-что передать,— сказала она,— и, кроме того, сообщить вот что: завтра утром, в половине шестого, ты должен быть на пристани возле кастельского моста в Майнце. Название парохода «Вильгельмина». Тебя будут ждать.

— Хорошо! — сказал Георг, но не сдвинулся с места.

Не выпуская из рук цветы, женщина расстегнула карман своей жакетки. Она протянула Георгу толстый конверт и добавила:

— Значит, конверт я тебе передала.— Она, видимо, считала Георга за товарища, которому надо скрыться, но не знала, кто он.

— Все в порядке,— сказал Георг.

Лизель молола кофе для ребят и не слышала, как отперли дверь. Пауль держал в руках обычный бумажный пакет с булками, которые он купил по пути домой.

— Ну-ка, Лизель,— сказал он,— умойся водой с уксусом, переоденься, и мы как раз попадем вовремя на стадион. О чем же теперь-то хныкать, Лизель?

Он погладил ее волосы, так как она уронила голову на стол.

— Ну, перестань. Хватит. Я же обещал тебе, что вернусь.

— О господи! — всхлипывала Лизель.

— Господь не имеет к этой истории никакого отношения или, во всяком случае, не больше, чем ко всему вообще. А уж с гестапо он вряд ли знается. Все оказалось так, как я и предполагал. Грандиозная петрушка. Часами они меня нудили. Но одного я даже представить себе не мог: что они специально посадят кого-то записывать все, что я им плел. Под конец меня даже подписаться заставили, мол, все это действительно я наплел: когда я был знаком с Георгом, где, сколько времени, как звали его друзей, как моих. Они спросили меня, кто был у меня позавчера в гостях. И они грозили мне всем, чем, кажется, можно грозить. Разве что адским огнем не пугали. А вообще они, видимо, хотели произвести на меня впечатление, будто они-то и есть Страшный суд. Но только ничего они не знают — знают то, что им говорят, не больше.

Позднее, когда Лизель успокоилась, оделась по-праздничному, переодела ребят и умыла лицо, Пауль снова начал:

— Одно меня удивляет, зачем это люди им столько рассказывают. А отчего? Оттого, что они убеждены, будто тем известно все. А я сказал себе: никто не может доказать, что Георг действительно был у меня. Даже если кто-нибудь и видел его, я всегда могу это отрицать. Никто не может доказать, что это был именно он, кроме самого Георга. Конечно, если они его сцапали, ну, тогда ведь все равно все погибло. Но если бы они его поймали, они бы не задавали мне такую кучу вопросов.

Двадцать минут спустя Редеры вышли из дому. Они сделали крюк, чтобы завести детей к родным на вторую половину дня. Младшего оставили у дворничихи, как уговорились уже несколько дней назад. Пауль сильно подозревал, что эта женщина донесла на него, но она была услужлива и любила детей.

Вдруг Пауль попросил Лизель подождать с детьми. У него есть дело. Он наконец решился и вошел в какие-то ворота. Окошко гаража светилось, как обычно, хотя двор был залит ярким дневным светом. Он торопливо подбежал к окошечку, не желая задерживать своих и чтобы скорее покончить с неприятным разговором.

— Тетя Катарина! — крикнул он.

Когда в окошке появилась голова фрау Грабер, он выпалил сразу и не останавливаясь:

— Мой шурин просил извинить его. Офенбахская полиция опять прислала ему вызов. Пришлось отправиться домой, и неизвестно, удастся ли ему вернуться. Тетя Катарина, я тут ни при чем.

Помолчав с минуту, фрау Грабер вдруг зарычала:

— По мне, может хоть совсем не являться! Я все равно собиралась его вышвырнуть! Не смей больше никогда приводить ко мне такую шваль!

— Ладно, ладно,— сказал Пауль,— ты же ничего на этом не потеряла. Он тебе даром чистил машины. Хайль Гитлер!

Фрау Грабер села за конторку. Красная цифра на календаре напомнила ей, что сегодня воскресенье. По воскресеньям ее машины обычно оставались на месте своего прибытия. Близких у нее не было, а если бы и были, она бы не пошла к ним. Ее досада на то, что шурин Пауля не будет работать у нее, была явно ни с чем не сообразна. Вызов, наверно, просто предлог: не понравилось ему здесь, вот и все. Но тогда не следовало ему вчера вечером пить с ней. Не должен он был этого делать, твердила она в бешенстве, это низость, что он пил со мной.

Она окинула взором бесконечную пустоту воскресенья — море пустоты, в котором плыли несколько предметов — малахитовая горка, лампа, приходо-расходная книга, календарь.

Фрау Грабер бросилась к окну и крикнула во двор:

— Пауль! — Но Пауль уже был далеко, он спешил с Лизель на Нидеррадский стадион.

И виновато и радостно прислушивался Герман, как жена поет, наряжаясь,— в это воскресенье они были приглашены к Марнетам. Еще влажные, гладко причесанные волосы, невинные глаза, цепочка с медальоном и отглаженное, туго накрахмаленное платье придавали ей вид рослой девочки, идущей к первому причастию. Хотя к Марнетам надо было подниматься всего каких-нибудь десять минут, она надела шляпку: пусть Марнеты завидуют. Что Эльза, глупая, маленькая Эльза, подцепила себе в мужья пожилого железнодорожного рабочего с хорошим окладом, этого кузина Августа Марнет до сих пор не могла переварить.

Герман с ласковой усмешкой следил за лицом Эльзы, когда они приближались к усадьбе Марнетов. Он уже знал наизусть весь круг ее переживаний, так же как знаешь все переживания маленькой птички. Как гордилась она этим браком, который считала нерушимым! «Отчего ты смотришь на меня так чудно?» Хорошо это или плохо, что она начала спрашивать?

Поднимаясь на шмидтгеймский холм, вы невольно дивитесь, что это за яркий голубой огонек горит в саду у Марнетов, и, только подойдя поближе, догадываетесь, что это большой стеклянный шар на клумбе с астрами.

В кухне у Марнетов было душно и жарко, вокруг стола сидело все семейство и гости. Раз в год, после сбора яблок, Марнеты пекли яблочные пироги на противнях величиной с целый стол. Губы у всех лоснились от яблочного сока и сахара — губы взрослых мужчин не меньше, чем губы детей, и даже тонкие сухие губы Августы

казались масленными. Огромный кофейник, молочник и узорчатые чашки тоже казались семейством. Целый род собрался за этим столом: фрау Марнет и ее невзрачный мужичишка; внуки — маленькие Эрнст и Густав; дочь Августа; зять и старший сын — оба в форме штурмовиков; сын, только что призванный, весь новенький и блестящий; второй сын Мессера, рекрут; младший сын Мессера в форме эсэсовца,— но пирог есть пирог; Евгения, такая красивая и гордая; Софи Мангольд, почему-то томная; Эрнст-пастух, без шарфа, но в галстуке — сегодня его мать за него пасет овец; Франц, который вскочил, увидев входящих Германа и Эльзу. На верхнем конце стола, на почетном месте, сидела сестра Анастасия из Кенигштейнского монастыря урсулинок, и крылья ее белого головного убора развевались.

Эльза гордо уселась среди женщин своей семьи. Ее детская ручка с золотым обручальным кольцом нетерпеливо потянулась к пирогу. Герман сел подле Франца.

— На той неделе ко мне приходила прощаться Дора Каценштейн,— рассказывала сестра Анастасия.— Раньше я покупала материал для моих сирот у нее в магазине. Только никому не говорите, сказала Дора, но мы скоро все уедем. И она расплакалась. А вчера ставни у Каценштейнов были весь день закрыты и ключ лежал под дверью. И когда открыли дверь, в магазинчике хоть шаром покати, все распродали. Только сантиметр валяется на конторке.

— Это они ждали, когда продадут последний отрез ситца,— сказала Августа.

Ее мать сказала:

— И мы, кабы пришлось уезжать, сначала последнюю картофелину выкопали бы.

— Ты же не можешь равнять нашу картошку с каценштейновским ситцем?

— Сравнивать все можно!

Сын Мессера, эсэсовец, сказал:

— Что ж, одной Сарой меньше будет! — и плюнул на пол.

Фрау Марнет предпочла бы, чтобы не плевали на ее чистый кухонный пол. Вообще у себя в кухне Марнеты не терпели беспорядка, и даже если бы четыре всадника из апокалипсиса заглянули сюда как-нибудь в воскресенье, им пришлось бы привязать коней к забору и войти прилично, как подобает благоразумным гостям.

— Скоро же тебе отпуск дали, Фрицхен,— сказал Герман Марнету, двоюродному брату своей жены.

— А вы разве не читали в газете? Каждой матери должна быть дарована радость видеть в воскресенье своего рекрута во всем новеньком.

Евгения сказала:

— Сын — все равно радость для матери, что в новом, что в старом.— Всем стало неловко, но она спокойно продолжала: — Конечно, новая куртка лучше грязной, да еще если грязь крепко пристала...

Все обрадовались, когда сестра Анастасия, прервав неловкое молчание, вернулась к прежней теме:

— Дора была вполне порядочная женщина.

— Она всегда фальшивила на уроках пения,— сказала Августа,— когда мы еще вместе в школе учились.

— Вполне порядочная,— подхватила фрау Марнет.— Сколько тюков она перетаскала на собственной спине!

Дора Каценштейн сидит уже на эмигрантском судне, когда семья Марнетов поднимает в ее честь трепетное знамя доброй славы.

— А вы двое скоро поженитесь? — спрашивает сестра Анастасия.

— Мы? — отзываются Софи и Эрнст. Они решительно отодвинулись друг от друга. Но монахине с ее почетного места, оказывается, видно не только то, что происходит за столом, но и под столом.

— Когда же ты призываешься, Эрнст? — спрашивает фрау Марнет.— Тебе это было бы очень полезно, там за тебя возьмутся.

— Он уже несколько месяцев не был на военном обучении,— сказал штурмовик Марнет.

— Я освобожден от всякого обучения,— заявляет Эрнст,— я в противовоздушной обороне.

Все смеются, кроме эсэсовца Мессера, он смотрит на Эрнста с негодованием.

— Ты, верно, испытываешь на овцах свои противогазы?

Эрнст вдруг круто оборачивается к Мессеру, он почувствовал на себе его взгляд.

— Ну, а ты, Мессер? Тебе небось не очень-то приятно будет поменять твой шикарный черный мундир на простую солдатскую форму?

— А мне и не придется менять,— говорит Мессер.

Но тут, предупреждая неловкую паузу или кое-что еще похуже, разговором опять завладевает сестра Анастасия:

— Это ты у нас научилась, Августа, посыпать яблочный пирог тертыми орехами?

— Я выйду подышу свежим воздухом,— говорит Герман. Франц выходит вместе с ним в сад. Небесный свод над равниной уже окрашивается в розовый цвет, и птицы летают все ниже.

— Завтра конец хорошей погоде,— говорит Франц.— Ах, Герман!

— Насчет чего ты ахаешь?

— И вчера и сегодня по радио ничего не передавали ни насчет побега, ни насчет поисков. Ничего насчет Георга.

— Знаешь что, перестань-ка ты изводиться, Франц. Так лучше будет и для тебя, и для всех. Ты слишком много об этом деле думаешь; все, что только можно было сделать для твоего Георга, уже сделано.

На миг лицо Франца оживилось, и сразу стало ясно, что вовсе он не увалень и не соня, что он способен все чувствовать и на все пойти.

— Так Георг уже в безопасности? — спросил Франц.

— Пока еще нет...

IV

Герман скоро ушел, он работал сегодня в ночной смене. Эльзу он оставил у Марнетов — доедать яблочный пирог. Франц немного проводил его. На воскресенье у Франца не было никаких деловых свиданий, и он сначала решил было вернуться домой. Но ему были неприятны все эти разговоры в кухне, не хотелось и сидеть одному в своей каморке. Франц вдруг ощутил такое одиночество, какое люди ощущают только по воскресеньям. Он чувствовал, что несчастен, вял, раздражителен. Что же ему — в одиночку бродить по лесам? Спугивать парочки на просеках с теплой, сухой осенней листвы? Если уж он в воскресенье один, то пусть это будет в городе. И он пошел дальше, в Гехст.

Он испытывал странную усталость, хотя хорошо выспался. Сказывалось нервное напряжение всей этой недели. Герман, правда, опять внушал Францу, чтобы тот больше не тревожился о Георге — все, что только можно было сделать, сделано. Но ведь иногда человек не властен над своими мыслями.

Франц вошел в садик первой попавшейся пивной. Там было пустовато, хозяйка смахнула со скатерти опавшие листья и спросила, не хочет ли он сидру. Сидр оказался недостаточно сладким, он уже начинал прокисать. Лучше бы он заказал настоящее вино. В сад вбежала маленькая девочка, она ворошила ногами кучу опавших листьев, заметенных к забору, но вот она подошла к Францу и принялась теребить уголок скатерти на его столе. Она была в капоре, глаза казались совсем черными.

Из дома вышла ее мать, одернула на ней платье, побранила. Хриплый, словно надтреснутый голос женщины показался Францу знакомым; фигурка у нее была молодая и тоненькая, лицо каза-

лось насмешливым благодаря надетой набок шапочке и начесанной на один глаз пряди волос, закрывавшей чуть не половину щеки.

Франц сказал про девочку:

— Она не мешает мне.— Мать взглянула на него одним глазом, очень пристально. Франц заметил: — Мы с вами где-то уже встречались.— Когда она быстро повернула голову, открылся уголок другого глаза, вероятно поврежденного во время какого-нибудь несчастного случая на производстве.

Она насмешливо ответила:

— О да, мы с вами уже встречались, наверняка.

Встречались, и не раз, подумал Франц. Но где же я слышал ее голос?

— Я на днях толкнул вас велосипедом.

— И это было,— сухо ответила она; девочка, которую она крепко держала за локоть, вырывалась у нее из рук.

— Но мы встречались еще где-то, гораздо раньше,— продолжал Франц.

Она все так же пристально рассматривала его и вдруг выпалила:

— Франц!

Он удивленно поднял брови, его сердце стукнуло два раза чуть-чуть громче — привычное предостережение.

Она помолчала.

— Ну да, помнишь прогулку на байдарках, и островки на Нидде, где был лагерь Фихте, и ты еще...

— Орех! — воскликнула девочка, шарившая ногами под стулом.

— Ну, раздави его каблуком,— сказала мать, не сводя глаз с Франца. Он же, задумчиво рассматривая стоявшую перед ним женщину, внезапно почувствовал странный холод и тоску. Вдруг она наклонилась и с отчаянием бросила ему прямо в лицо: — Да ведь я Лотта! — У него чуть не вырвалось: «Не может быть!», но он вовремя удержался.

Однако она, видимо, угадывала, что в нем происходит, и продолжала прямо смотреть ему в глаза, словно ожидая, что он все-таки узнает ее, что в его памяти вспыхнет хотя бы бледный отблеск той, кем она была когда-то: девушкой, которая искрилась радостью, с тонким, стройным, смуглым телом, с такими блестящими и густыми волосами, что они напоминали гриву прекрасного и сильного коня.

Когда женщина заметила, что он все же начинает узнавать ее, на ее лице мелькнула чуть заметная улыбка, и по этой-то чуть заметной улыбке он и признал ее окончательно. Он вспомнил, как она в лагере раздавала бутерброды, причем доска, лежавшая на

двух пнях, служила ей столом. Как она пришла после гребли, и на ней была голубая кофточка. Как она сидела на траве, обхватив колени. Как она несла знамя, усталая и улыбающаяся, и ее густые волосы были чуть запорошены снегом. Девушка настолько смелая и прекрасная, что образ ее мог служить эмблемой юности. Он вспомнил, что она скоро вышла замуж за рослого белокурого парня, железнодорожника, приехавшего из Северной Германии; кажется, его звали Герберт. Франц как-то никогда больше о нем не вспоминал, как не вспоминаешь о том, что исчезает без следа.

— А где же Герберт? — спросил он и сейчас же пожалел.

— Где же ему быть? — отозвалась женщина.— Вот здесь! — И показала пальцем на коричневую землю в саду, под землю, на которой лежали листья орешника и валялись шершавые скорлупки. Ее жест был так точен, так спокоен, что Францу почудилось, будто Герберт и в самом деле лежит у него под ногами, под этим садом, в который он зашел случайно, под опавшими листьями, под высокими сапогами эсэсовцев и штурмовиков и туфельками их спутниц, ибо народу набралось теперь полным-полно. Всюду виднелись мундиры, спутницы мундиров были молодые и хорошенькие, но Францу все они казались омерзительными.

— Садись же, Лотта,— предложил он. Он заказал сидру для матери и лимонаду для девочки.

— И мне еще повезло,— продолжала Лотта совсем другим, сухим тоном.— Герберт уехал в Кельн, и там его потом выдали; меня тоже хотели забрать. А тут у нас в цеху как раз произошла катастрофа, лопнула труба, я лежала в какой-то больнице и подыхала, мою девочку — она была тогда еще совсем маленькая — кто-то из родных увез в деревню. Когда я наконец оправилась и могла хоть на ногах держаться, дочка моя уже бегала, а Герберт — Герберта не было больше на свете... А потом меня так и не тронули, я проскочила... Ты не дуй в соломинку, а втягивай в себя,— сказала она дочери и пояснила, обращаясь к Францу: — Она первый раз пьет лимонад.

Лотта поправила на девочке капор и заметила:

— Иногда я рада бы умереть, да вот ребенок! Разве я могу оставить им моего ребенка! Ты меня, Франц, пожалуйста, не уговаривай и не утешай. Просто я иногда чувствую, что совсем одна на свете. И тогда думается: а вот вы все забыли.

— Кто — вы?

— Да вы! Вы! Ты тоже, Франц. Может быть, ты скажешь, что не забыл Герберта? Ты думаешь, я по твоему лицу не видела? Если ты мог даже Герберта забыть, так сколько же народу ты еще позабыл? А если даже ты забываешь — ведь они на это и рассчитывают...— И Лотта повела плечом в сторону соседнего столика,

занятого штурмовиками и их компанией.— Не отказывайся, ты много кой-чего позабыл. И то уж плохо, когда все в тебе притупляется и забываешь хоть часть того зла, которое они причинили нам. Но когда среди всего этого ужаса забываешь даже самое лучшее, это уж никуда не годится. Ты помнишь, как все мы жили одним? А вот я, я ничего не забыла.

Франц невольно протянул руку. Он тихонько откинул нелепый локон со щеки, он провел рукой по ее изувеченному глазу, по всему лицу, которое под его пальцами стало еще бледнее и немного холоднее. Она опустила взгляд. И тогда она стала гораздо более похожей на ту, какой была раньше. Да, Францу даже почудилось, что если он несколько раз ее погладит, то и шрам исчезнет, и этому лицу будет возвращено прежнее сияние, прежняя красота. Но он тут же опустил руку. Она пристально посмотрела на него своим здоровым глазом, теперь он был совсем черным, так что зрачка не было видно, и глаз казался неестественно большим. Она вынула зеркальце, прислонила его к стакану и поправила волосы.

— Пойдем, Лотта,— сказал Франц,— ведь еще совсем рано, пойдем со мной за город, к моим родным.

— Ты женат, Франц, или у тебя там родители?

— Ни того, ни другого, просто родственники. Я все равно что один.

Они молча зашагали вверх по дороге и шли почти час. Девочка не мешала им. Она бежала впереди, охваченная желанием подниматься все выше и выше. Ей редко приходилось выходить за пределы Гехста. Каждые несколько минут она приостанавливалась, чтобы посмотреть, далеко ли развернулась земля внизу, а вместе с землей и небо. Если подняться очень высоко, думала девочка, тогда вместо все новых деревень и пашен увидишь что-то совсем другое, конец всего, то место, откуда встают облака и откуда поднимается ветер вместе с желтым предвечерним светом, увидишь что-то последнее, окончательное.

Наконец показался дом Мангольдов. За все время, что они шли, Франц и Лотта не обменялись ни словом, но слова были не нужны, они только помешали бы. В киоске с сельтерской он купил девочке вафлю, а Лотте — плитку шоколада. Когда они вошли в Марнетову кухню, Августа даже рот разинула. Все уставились на Франца, на Лотту, на девочку. Лотта спокойно поздоровалась. Она сейчас же приняла участие в мытье посуды. От яблочного пирога величиной с целый стол остался, увы, только краешек. Этот кусок дали девочке и позволили пойти посмотреть голубой стеклянный шар на клумбе с астрами. В кухне гости еще сидели вокруг опустевшего, чисто выскобленного стола. Эрнст не сводил глаз с Лотты, и хотя она ему скорей не нравилась, чем нравилась, он злился,

что Франц, этот соня Франц, оказывается, все-таки обзавелся симпатией. Затем фрау Марнет принесла бутылку сливянки. Все мужчины выпили по стаканчику, а из женщин — Лотта и Евгения.

Тем временем девочка открыла калитку в сад и прошла на лужайку. Под первой же яблоней она остановилась — дочь Лотты и Герберта, замученного в гестапо.

Сначала девочка видит перед собой только ствол, она обводит пальчиком борозды на коре. Затем она откидывает голову. Как ветви перекручены, какие у них извилины, какими мощными узлами они врезаются в голубую высь,— и все-таки они неподвижны. И девочка тоже стоит неподвижно. Листья, которые снизу кажутся черными, все до одного тихонько шевелятся, а между ними просвечивает вечернее небо. Один-единственный косой солнечный луч прокалывает листву и попадает во что-то золотое, круглое.

— Вон одно еще висит! — кричит девочка.

В кухне все вскакивают, они думают, случилось невесть что. Они выбегают в сад и смотрят вверх. Затем приносят снималку. Так как у девочки еще не хватает сил, взрослые водят ее рукой, держащей огромный шест, точно гигантский грифель. Яблоко подцепили, оно делает «бум»: добрый вечер, яблоко.

— Можешь с собой взять,— заявляет фрау Марнет, которая кажется себе ужасно щедрой.

V

Фаренберг встал перед колонной заключенных, которую выстраивали в шесть часов вечера не только по будням, но и по воскресеньям. Перед штурмовиками стоял не Циллих, его место занял Уленгаут, его преемник; эсэсовцами командовал не Бунзен — он был в отпуску,— а некий Гаттендорф, человек с длинным лошадиным лицом. Но заключенные, обычно сразу же замечавшие малейшую перемену, теперь, после пыток, перенесенных на этой неделе, находились в состоянии полнейшей апатии и упрямого равнодушия.

Никто из них не мог бы сказать — мертвы ли уже оставшиеся три беглеца, которых волокли к платанам, или они еще живы. Да и вообще «площадка для танцев» представляла собой как бы пересыльный пункт; не могло такое место существовать на земле, не принадлежало оно и миру иному. Сам Фаренберг, стоявший перед колонной, казался таким же изможденным и больным, как и все они.

Но его голос сверлит и сверлит затуманенное сознание заключенных, до них доносятся какие-то отдельные слова о правосудии и о руке правосудия, о теле нации и о злокачественной

опухоли, о побеге, о роковом дне побега — завтра как раз неделя. А заключенные прислушиваются к смутным голосам пьяных крестьян далеко в полях. Вдруг через каждого и через всю колонну словно прошел толчок. Что сказал сейчас Фаренберг? Если и Гейслер пойман — тогда конец.

— Конец,— сказал кто-то, когда они шли назад. Это было единственное произнесенное ими слово.

Однако час спустя, в бараке, один сказал другому, не раздвигая губ — говорить было запрещено:

— Ты думаешь, они действительно поймали его?

И другой отвечал:

— Нет, не верю.

И первый был Шенк, тот самый, к которому напрасно ходил Редер, а второй — новичок, рабочий из Рюссельсгейма, который сразу же по прибытии угодил в карцер. Шенк продолжал:

— Ты видел, какие у них были растерянные лица? Ты видел, как они переглядывались? А как Фаренберг надрывался? Нет, лгут они. Нет, они не поймали его.

Только те, кто был рядом, уловили их разговор. Но в течение вечера смысл этих слов дошел до каждого, ибо сосед шептал об этом соседу.

Бунзен, уезжая в отпуск, прихватил с собой двух молодых друзей, статных остроумных молодцов, хотя и не таких видных, как он сам, тем более подходили они для свиты.

В то время как Фаренберг произносил свою речь, Бунзен и его два спутника подъехали к гостинице Рейнишенгоф в Висбадене. Сопровождаемый обоими, Бунзен спустился вниз. Зал для танцев был еще пустоват. Оркестр играл вальс — и не больше десятка пар кружилось на блестящем полу. Так как большинство мужчин было в мундирах, то все в целом производило впечатление какого-то праздника победы, как при заключении мира.

Бунзен заметил за одним из столиков своего будущего тестя и кивнул ему. Отец его невесты был разъездным агентом у Генкеля, «шампанским консулом», как он называл себя, всегда при этом прибавляя, что он коллега Риббентропа, когда-то подвизавшегося в той же области. Бунзен увидел среди танцующих и свою невесту и не замедлил приревновать к ее кавалеру, но затем узнал ее двоюродного брата, худого юношу, только что произведенного в лейтенанты. Когда танец кончился, она подошла к Бунзену. Ей было девятнадцать лет. Она была смуглая, томная, с вызывающим взглядом. Оба они чувствовали, что все ими любуются, они сдвинули столики, маленький официант тут же стал колоть для них лед своим коротеньким молоточком. Ганни, невеста, заявила,

что это ее прощальный выезд, завтра у нее начинаются шестинедельные курсы для невест эсэсовцев.

— Похвально,— сказал Бунзен.

Отец Ганни, вдовец, большой остряк и проныра, внимательно присматривается к Бунзену и так же внимательно — к его двум друзьям. Ему не слишком нравится этот красивый молодец, в которого влюбилась его дочь, да и кроме того — что это за странная должность, которую его будущий зять занимает в Вестгофене? Но он навел справки о родителях Бунзена: оказалось — самые обыкновенные, вполне приличные люди. Старик служил чиновником в Пфальце. Когда отец Ганни во время официального визита сидел в тесной гостиной Бунзенов, он решил, что эти люди могли произвести на свет столь необычного потомка только по прихоти «гения расы».

Зал наполнился. Вальсы сменялись старинными рейнлендерами и даже польками. Отец Ганни и другие старики невольно улыбались, когда оркестр играл старинные мотивы, всем им знакомые и вызывающие забытые воспоминания из довоенных лет. Редко теперь приходилось видеть такую праздничность, такое безоблачное веселье, словно это празднуют те, кто избежал большой опасности — или воображает, что избежал. Сегодня праздник не будет омрачен ни заговорщиками, ни нытиками, об этом позаботились. По Рейну плывет целая флотилия судов «Сила через радость». Фирма отца Ганни снабдила каждое достаточным запасом сухого шампанского. У входа в зал нет ни одного недовольного зрителя. Разве только маленький официант, который с непроницаемым видом колет лед коротким молоточком.

В том же городе Кроссы поставили свой «опель» перед кургаузом; Георга они высадили в Костгейме. Так как он со своими документами не очень-то подходил к голубому «опелю», ему предстояло переночевать у кого-нибудь из лодочников. В течение этой получасовой поездки в Костгейм Кресс был так же молчалив, как и тогда, когда он вез Георга в Ридервальдский поселок, точно его гость, который так медленно воплощался, вот-вот опять растает и было бы бесцельно к нему обращаться. Никакого прощания не было. Даже потом Кресс с женой не обменялись ни словом. Не сговариваясь, приехали они сюда, им хотелось людей и яркого света. Они заняли столик в уголке, чтобы не бросались в глаза их пропыленные дорожные костюмы. Внимательно следили они за всем, что происходило перед ними. Наконец фрау Кресс нарушила молчание:

— Он сказал что-нибудь в конце концов?

— Нет. Только спасибо.

— Странно,— заметила жена,— у меня такое ощущение, точно это я должна благодарить его — каковы бы ни были для нас последствия — за то, что он побыл у нас, за то, что посетил нас.

— Да, у меня тоже,— живо отозвался муж. Они удивленно посмотрели друг на друга, с новым, до сих пор им не ведомым чувством взаимного понимания.

VI

После того как Крессы высадили Георга перед трактиром, он постоял, раздумывая, а затем, вместо того чтобы войти, направился к Майну. Он брел по берегу среди воскресной толпы, наслаждавшейся солнечной погодой, о которой говорили, что она как сидр и долго не продержится. Георг прошел мимо моста, на котором стоял часовой. Берег стал шире. Георг дошел до устья Майна гораздо скорее, чем ожидал. Рейн лежал перед ним, а там и город, из которого он бежал несколько дней назад. Улицы и площади, где он страдал до кровавого пота, сливались в единую серую твердыню, отражавшуюся в реке. Стая птиц, летевшая черным острым треугольником между самыми высокими шпилями, была как бы врезана в бледно-красное вечернее небо, и это напоминало какой-то городской герб. Пройдя несколько шагов, Георг обнаружил на крыше собора между двумя из этих шпилей статую святого Мартина, склонившегося с коня, чтобы укрыть своей мантией нищего, который явится ему во сне: я тот, кого ты преследуешь.

Георг мог бы перейти соседний мост и снять себе комнату у кого-нибудь из лодочников. Если бы даже началась облава, паспорт у него был в полном порядке. Но, опасаясь всяких вопросов, он предпочитал провести ночь на правом берегу реки и прямо сесть рано утром на пароход.

Георг решил внимательно продумать все еще раз, пока было светло. Свернув в луга, тянувшиеся вдоль Майна, он принялся бродить по ним. Костгейм, маленькая деревенька, заросшая орешником и каштанами, гляделся в речные воды. Ближайший трактир назывался «Ангел»; висевший над вывеской венок из желтых листьев говорил о том, что здесь есть молодое вино.

Георг вошел и сел за столик в крошечном садике — наилучшее место, чтобы отдыхать и смотреть на воду, предоставляя событиям идти своим чередом. Надо было на что-то решиться.

Он занял место у самой стены, спиной к саду. Когда официантка поставила перед ним стакан молодого вина, он сказал:

— Я же еще ничего не заказывал.

Она снова взяла стакан и спросила:

— Господи, а что же вы хотите заказать?

Георг подумал и сказал:

— Молодого вина.

Оба рассмеялись. Она дала стакан ему прямо в руку, не ставя на стол. Первый глоток вызвал в нем такую жажду, что он залпом осушил весь стакан.

— Еще, пожалуйста!

— Нет, теперь подождите минутку.— Она подошла к соседнему столику.

Прошло полчаса. Молодая женщина несколько раз смотрела в его сторону. А он продолжал все так же спокойно и неотступно созерцать луга. Последние посетители перешли из сада в зал. Небо стало багряным, и не сильный, но пронизывающий ветер зашелестел в виноградных листьях, даже защищенных стеной.

Надеюсь, он оставил деньги на столе, подумала официантка. Она вышла посмотреть. Он сидел все на том же месте.

— Не подать ли вам вино в зал? — спросила она.

Георг впервые посмотрел на нее: молодая женщина в темном платье. На ее лице, хотя и оживленном, было утомление. У нее была упругая грудь, нежная шея. Что-то чудилось в ней знакомое, почти близкое. Какую женщину из его прошлого напомнила она ему? Или это было только воспоминание о той, кого он желал встретить? Едва ли оно было особенно горячим, это желание.

— Нет, лучше принесите мне вина сюда,— ответил он.

Он сел так, чтобы ему был виден опустевший сад. Он ждал, пока молодая женщина не вернулась с вином. Нет, он не ошибся, она нравилась ему, насколько ему в эти минуты могло что-либо нравиться.

— Отдохните.

— Да куда там, у меня целый зал народу.— Однако она оперлась коленом на стул, а локтями — на его спинку. Ее ворот был сколот дешевым гранатовым крестиком.— Вы работаете где-нибудь тут? — спросила она.

— Я работаю на барже.

Она метнула в него беглый, но пристальный взгляд.

— Вы не здешний?

— Нет, но у меня тут родственники.

— Вы говорите почти так, как говорят у нас.

— Мужчины в нашей семье всегда берут себе жен отсюда.

Она улыбнулась, но лицо продолжало оставаться чуть печальным. Георг смотрел на нее, а она предоставляла ему смотреть.

На улице остановился автомобиль. Целая толпа эсэсовцев прошла через сад в зал. Молодая женщина едва взглянула на них; ее опущенный взор упал на руку Георга, сжимавшую спинку стула.

— Что это у вас с рукой?

— Несчастный случай, и не залечил как следует.

Она взяла его руку так быстро, что он не успел выдернуть ее, и внимательно осмотрела.

— Вы, наверно, порезались о стекло, рана легко может опять открыться.— Она выпустила его руку.— А теперь мне пора в зал.

— Таких знатных гостей не заставляют ждать!

Она пожала плечами:

— Видали мы таких! Нашли чем удивить.

— Вы насчет чего?

— Да насчет мундиров.

Она отошла от стола, и Георг крикнул ей вслед:

— Еще стакан, пожалуйста!

Стало сумеречно и холодно. Она должна вернуться, подумал Георг.

А официантка, принимая заказы, думала: что это за человек сидит в саду? Что он натворил? А ведь что-то натворил. Она держалась с посетителями независимо и обслуживала их с веселой ловкостью. На барже он, конечно, недавно. Он не лгун, но он лжет. Он боится, но он не трус. Где он так поранил себе руку? Он вздрогнул, когда я взяла ее, и все-таки посмотрел на меня. Я видела, как он сжал кулак, когда проходили эсэсовцы. Верно, недаром.

Наконец-то она принесла Георгу еще стакан вина. Все в нем было странно, но глаза не были странными. Она ушла не спеша, чтобы его взгляд охватил ее всю целиком, и вскоре вернулась.

А Георг продолжал сидеть в холодных сумерках, он и ко второму стакану еще не прикоснулся.

— Зачем же вам третий стакан?

— Это не важно,— сказал Георг и сдвинул стаканы. Он взял ее руку. На ней было только одно узенькое колечко со скарабеем на счастье, такое колечко можно выиграть в ярмарочной лотерее. Он спросил: — Мужа нет? Жениха? Друга?

Она трижды покачала головой.

— Не было счастья? Плохо кончилось?

Она удивленно посмотрела на него.

— Отчего вы думаете?

— Ну, оттого, что вы одна.

Она слегка дотронулась до груди возле сердца.

— Вот где все похоронено,— и вдруг поспешно убежала.

Когда она была уже у двери, Георг позвал ее обратно. Он дал ей разменять деньги. Она подумала: значит, и не в деньгах дело. И когда она, скрипя гравием, вернулась в темный сад в четвертый раз и принесла ему на подносе сдачу, он набрался храбрости:

— Есть у вас тут комната для посетителей, где бы можно было переночевать? Тогда я бы не потащился в Майнц.

— Здесь, в доме? С чего вы взяли? Только хозяева живут здесь.

— А там, где вы живете?

Она выдернула руку и взглянула на него почти сурово. Он ждал резкого ответа. Но, помолчав, она сказала просто:

— Хорошо,— и добавила: — Подождите меня здесь. У меня еще есть работа. Когда я выйду, идите за мной.

Он стал ждать. Надежда на то, что его побег, может быть, все-таки удастся, сливалась с радостным волнением. Наконец она вышла в темном пальто. Она ни разу не обернулась. Он шел за ней по длинной улице. Начался дождь. Почти оглушенный, он думал: у нее намокнут волосы.

Спустя несколько часов Георг внезапно проснулся. Он не понимал, где он.

— Я разбудила тебя,— сказала она.— Пришлось. Я просто не в силах была больше слушать, да и тетя может проснуться.

— Разве я кричал?

— Ты стонал и кричал. Засыпай опять и спи спокойно.

— Который час?

Она еще не сомкнула глаз. Она слышала после полуночи, как часы вызванивали каждый час, и она сказала:

— Около четырех. Спи спокойно. Ты можешь спать совершенно спокойно. Я тебя разбужу.

Она не знала, заснул он снова или просто лежит тихо. Она боялась, что вернется дрожь, которая охватила его, когда он только что заснул. Но нет, он дышал спокойно.

Начальник лагеря Фаренберг в эту ночь, как и во все предыдущие, отдал строжайший приказ разбудить его, едва только поступит донесение о беглеце. Приказ был излишним, ибо Фаренберг и в эту ночь не сомкнул глаз. Снова прислушивался он к каждому звуку, могущему иметь какую-нибудь связь с известием, которого он ждал. Но если предыдущие ночи терзали его своей тишиной, то эта ночь, с воскресенья на понедельник, терзала своими звуками — отрывисто гудели клаксоны, лаяли собаки, орали пьяные крестьяне.

Но под конец все смолкло. Окрестность погрузилась в тот глубокий сон, который наступает обычно между полуночью и рассветом. Не переставая прислушиваться, он старался представить себе всю местность — все эти деревни, шоссейные дороги и проселки, соединенные между собой и с тремя ближайшими больши-

ми городами, всю эту треугольную сеть, в которую беглец должен был наконец попасться, если только он не сам дьявол. Ведь не мог же он действительно растаять в воздухе. Ведь должны были оставить какие-то следы на сырой осенней земле его башмаки; кто-то должен был раздобыть ему эти башмаки. Чья-то рука должна была отрезать ему хлеб и налить стакан. В чьем-то доме он должен был найти пристанище. Впервые Фаренберг представил себе совершенно отчетливо возможность того, что Гейслер ускользнул. Но такая возможность была невозможна. Разве не доходили до него слухи, что друзья отреклись от Гейслера, что его собственная жена уже давно завела себе кавалера и что его брат участвует в охоте на него? Фаренберг облегченно вздохнул: вероятное решение этого вопроса в том, что беглеца уже нет в живых. Наверно, бросился в Рейн или в Майн, и завтра его тело будет найдено. Вдруг он увидел перед собой Гейслера, каким он был по окончании последнего допроса: разорванный рот, дерзкий взгляд. Фаренберг вдруг понял, что надеется напрасно. Ни Рейн, ни Майн не вернут этого тела оттого, что Гейслер жив и будет жить. Впервые после побега Фаренберг понял, что гоняется не за отдельным человеком, лицо которого он знает, силы которого имеют предел, а за безликой и неиссякаемой силой. Но эту мысль он был в состоянии вынести в течение всего лишь нескольких минут.

— Ну, пора.— Молодая женщина помогла Георгу одеться, передавая ему отдельно каждую часть одежды, как это делают солдатские жены, когда отпуск кончен.

С ней я все мог бы делить, думал Георг. Всю мою жизнь. Но у меня уже нет той жизни, которую я мог бы делить.

— Выпей горячего перед уходом.

В свете раннего утра он едва различал ту, с которой ему приходилось расставаться. Она ежилась от холода. В окно стучал дождь. За ночь погода переменилась. Из гардероба донесся слабый запах камфоры, когда она вытащила какую-то некрасивую кофту из темной шерсти. Сколько бы я накупил тебе красивых кофт — красных, синих, белых!

Стоя, она смотрела, как он торопливо глотает кофе. Она была совершенно спокойна. Проводила его вниз, отперла входную дверь и снова поднялась наверх. В кухне и на лестнице она спрашивала себя, не сказать ли ему, что она догадывается о его тайне. Но зачем? Это только встревожит его.

Когда она ополоснула его чашку, дверь в кухню открылась и на пороге показалась закутанная в одеяло старуха с седой косицей. Старуха тут же начала бранить девушку:

— Вот дура! Ведь ты никогда больше не увидишь его, уж поверь! Подобрала молодца, нечего сказать! Ты что же это, Мария, совсем рехнулась? Ведь ты даже не знала его, когда уходила вчера из дому, или знала? Что? Язык проглотила?

Молодая женщина медленно отвернулась от раковины. Ее сияющие глаза остановились на старухе, которая вдруг присмирела. Погруженная в свои мысли, Мария отвела взгляд, улыбаясь гордой, спокойной улыбкой. Это была ее минута! Но единственной свидетельницей оказалась тетка, которая, дрожа от холода и злости, спешила укрыться в свою теплую постель.

Что бы я делал без пальто Беллони, думал Георг, торопливо шагавший вдоль рельсов, опустив голову. Сильный дождь хлестал его по лицу. Дома наконец отступили. Город по ту сторону реки был затянут косыми полосами дождя. На фоне беспредельного серого неба этот город казался совершенно нереальным. Один из тех городов, которые предстают нам во сне на срок одного сновидения и исчезают даже раньше. И все-таки город выстоял под напором двух тысячелетий.

Георг дошел до кастельского моста. Часовой окликнул его. Георг предъявил свой паспорт. Когда он уже был на мосту, он понял, что его сердце так и не забилось чаще. Он мог бы спокойно пройти еще десяток мостов с часовыми. Значит, привыкаешь даже к этому. Он чувствовал, что теперь его сердце неуязвимо для страха и опасности — может быть, и для счастья. Он замедлил шаг, чтобы не прийти и за минуту до срока. Опустив взор, Георг увидел внизу буксир «Вильгельмина». Его зеленая ватерлиния отражалась в воде. «Вильгельмина» стояла очень близко от моста, но, к несчастью, не прямо у набережной, а у другого судна. Георга меньше заботил часовой на мосту, чем то, как он пройдет через это чужое судно. Но он тревожился напрасно. Ему оставалось еще шагов двадцать до пристани, когда на борту «Вильгельмины» появился человек с круглой головой, почти без шеи, видимо поджидавший его, и хотя широкие ноздри на пухлом лице и глубоко сидящие глаза отнюдь не располагали в его пользу, это было именно такое лицо, какое должно быть у человека решительного, готового на любой риск.

Итак, в понедельник вечером семь платанов в Вестгофене были срублены. Все произошло очень быстро. Новый начальник приступил к исполнению своих обязанностей еще до того, как перемена стала известной; вероятно, он был именно тем, кто мог

навести порядок в лагере, где происходят подобные вещи. Он не рычал, а говорил обыкновенным голосом, но он недвусмысленно дал нам понять, что при малейшем поводе нас всех просто перестреляют. Кресты он приказал сейчас же снести, это был не его стиль. Ходили слухи, что Фаренберг в тот же понедельник уехал в Майнц. Говорят, он снял номер в «Фюрстенбергергофе» и всадил себе пулю в лоб. Но это только слух. Да это и мало на него похоже. Может быть, в гостинице «Фюрстенбергергоф» кто-нибудь и всадил себе пулю в лоб — из-за долгов или несчастной любви. А Фаренберг, может быть, вынырнул уже в другом месте и теперь достиг еще большей власти.

Всего этого мы тогда еще не знали. А потом произошло столько событий, что трудно было узнать что-либо наверняка. Правда, мы считали, что невозможно пережить больше того, что было пережито. Но выйдя, мы поняли, как много нам еще предстоит испытать.

В тот вечер, когда в бараке впервые запылала печь и мы следили за пламенем, пожиравшим дрова — как мы думали, те самые платаны,— мы чувствовали себя ближе к жизни, чем когда-либо потом, гораздо ближе, чем все, кто почитают себя живыми.

Часовой-штурмовик перестал гадать, долго ли будет идти дождь. Он вдруг обернулся, чтобы застать нас врасплох, сразу же зарычал и назначил кое-кому наказание. Десять минут спустя мы уже лежали на койках. Последняя искорка в печке погасла. Так вот они, эти ночи, которые нас теперь ожидают. Сырой осенний холод проникал сквозь одеяла, рубашки, сквозь кожу. Все мы знали, как беспощадно и страшно внешние силы могут терзать человека до самых глубин его существа, но мы знали и то, что в самой глубине человеческой души есть что-то неприкосновенное и неприступное навеки.

РАССКАЗЫ

ШОФЕРСКИЕ ПРАВА

В толпе штатских, вызвавших подозрение японцев, согнанных и запертых ими в одном из домов Шанхая, неподвижно стоял маленький человек, одетый лучше, чем большинство окружающих. Его лицо почти ничем не отличалось от других лиц в подвале: предстоящая им участь сделала их всех похожими.

Вошел офицер с солдатами. Глаза всех заключенных уставились на него, его же взгляд быстро скользнул по толпе и задержался на маленьком человеке. Офицер отдал приказ, человека вытолкнули вперед, несколько рук стали обыскивать его. Ни грубые прикосновения, ни вопросы, которые ему задавали, не вывели человека из состояния спокойствия. Тут произошла некоторая заминка; в кармане его пиджака нашли документы. Однако в них значилось только то, что он уже и сам сказал: он — Ву Пай-ли, шофер купца Цанг Ло-фая.

Потом Ву Пай-ли повели во двор и через квартал, в другой двор побольше, к гаражам. Там он какое-то время должен был ждать, сжатый прикладами винтовок.

Двое в штатском приказали ему вывести из гаража автомобиль. Один занял место рядом с шофером, другой — за спиной Ву Пай-ли. Своими пистолетами они, в подкрепление приказов, тыкали в висок и в затылок Ву Пай-ли. Они проехали несколько улиц, остановились у одного из зданий японской комендатуры. К ним подсели два генштабиста со своими донесениями. Развернули крупномасштабную карту, обозначили маршрут. Мысли шофера Ву Пай-ли отвлеклись от смерти, которая только что казалась ему неминуемой, сейчас он думал о конечном пункте, помеченном красным, за дорогой, ведущей к верфи. Приказ был: «Жми, сколько выдержит эта колымага». Он гудел, это было сумасшедшее гудение японского военного автомобиля, не один день

и не одну неделю оно доводило его до безумия. Они промчались сквозь Чапай, сквозь разрушенные, разодранные снарядами улицы, кишащие растерянными людьми. Они ехали вдоль канала, он чувствовал прикосновения пистолетных дул, твердых, уже успевших нагреться; они диктовали ему каждое его движение. Но его мыслями они управлять не могли. Он исполнитель, ему и решать.

Делая поворот на предмостном укреплении, шофер Ву Пай-ли понял, что́ теперь от него требуется. Он повернул руль и направил автомобиль вместе с двумя генштабистами и их донесениями, и теми двумя в штатском, и с самим собой по отважной, оставившей огненный след в народной памяти кривой в реку.

УСТАНОВКА ПУЛЕМЕТА В КВАРТИРЕ ФРАУ КАМПЧИК

Когда одна из батарей правительственных войск двинулась на Зандлейтен, в квартиру, занимаемую семьей Кампчик, вошли три шуцбундовца, оттолкнули ошеломленную фрау Кампчик и, не обращая внимания на ее гневные вопросы, решительными шагами прошли кухню, жилую комнату и спальню. Они распахнули все окна, в каждое высунулись и, дойдя таким образом до кухонного, сказали: «Здесь». Затем вернулись на лестницу, по которой их товарищи тем временем тащили пулемет.

Когда после объявления всеобщей забастовки закрыли мастерскую, в которой Кампчик — редкое счастье — беспрерывно работал с самой войны в качестве автослесаря, он отправился не домой, а к своим родителям. Он давно еще наказал жене в подобном случае немедленно брать ребенка и тоже идти туда. До родителей мужа она могла добраться пешком с детской коляской в какие-нибудь полчаса. Но фрау Кампчик — потому ли, что терпеть не могла свекра и свекровь, потому ли, что уж очень любила свою квартиру,— пропустила время, когда еще можно было выбраться с ребенком из дому. И теперь этот здоровый полуторагодовалый, слишком толстый младенец сидел на своем высоком лакированном креслице, держа в одной руке раскрошенную булку, в другой — резиновую собачку.

Когда внезапно появились шуцбундовцы, ребенок сморщил лицо, собираясь заплакать, но мать быстро его успокоила, показав ему, как нужно кормить собачку булкой. Добродушный толстый малыш стал сейчас же в это играть и попутно с любопытством глядел, как шуцбундовцы снимали двери с петель и втаскивали с лестницы на кухню ящики со снарядами, бидоны, винтовки и, наконец, пулемет.

С тех пор как фрау Кампчик въехала в эту квартиру, почти не проходило дня, чтобы она не вносила какого-нибудь улучшения в свою кухню и две маленьких комнатки. Кафельные полы были начищены, вышитое полотенце аккуратно расправлено, даже в кухне белые занавески были туго накрахмалены. Последнее, что она сделала для своей квартиры,— она отлакировала две доски: одну для комнаты, другую для кухни, чтобы ставить на них цветочные горшки, которые летом стояли перед окном. Когда Кампчики приехали в новый дом, где большинство квартир было отдано старым социал-демократам, многие, знавшие слесаря Кампчика, ругались. Кампчик редко показывался на партийных собраниях, зато исправно платил членские взносы и часто подписывался на разные дополнительные сборы. Его товарищи говорили, что это для Кампчиков самая выгодная форма членства, доставившая им хорошенькую дешевую квартирку.

Соседки нередко осуждали фрау Кампчик за то, что она чересчур любезна и нарядна. Мужчины же очень охотно встречали ее на лестнице и радовались, когда им удавалось рассмешить ее удачной шуткой, потому что тогда ее свеженькое, правильное личико становилось еще милее.

Один из шуцбундовцев оттолкнул фрау Кампчик локтем к стене. Она громко заохала, но шуцбундовец так стремительно повернулся к ней, словно хотел ударить.

Она задыхалась. С отчаянием уставилась она в пол, на кафели, которые обыкновенно чистила после каждой еды, стоя на коленях. «Пол в кухне должен быть таким, чтобы с него можно было есть»,— сказала ей два года назад свекровь во время первого ее посещения. При этом она критически разглядывала довольно неряшливо одетую будущую невестку. Она уже давно выпытала у сына, что Тереза с четырнадцати лет служила по ресторанам судомойкой, а когда везло, то и кельнершей, приветливо поворачивая свое, увы, красивое лицо к каждому гостю. Те первые полгода после брака, которые молодым пришлось прожить у родителей мужа, значительно поохладили радость Терезы по поводу того, что ей, единственной из четырех сестер, удалось найти хорошего человека, женившегося на ней. Там она узнала, что значит выйти замуж в солидную семью.

Ее радость оттого, что она замужем, воскресла в полной мере, лишь когда родители мужа побывали у нее в первый раз в гостях здесь, на Зандлейтене. В тот вечер она словно вновь собрала все свое добро — детскую мебель, кухонную мебель, тюлевые занавески, покрывала, ковры, посуду, диванные подушки, видя все это отраженным в круглых, блестевших от изумления глазах свекрови. В течение многих лет она перемывала в жирной воде с содой сот-

ни тысяч чашек с золотой и синей каемкой. Теперь двенадцать чашек мейсенского фарфора были ее собственностью.

Шуцбундовец, стиснув зубы, втащил в кухню ящик и задел углом белый лакированный кухонный шкаф.

Женщина уставилась на бороздку в лаке. Затем ее взгляд снова упал на кафели: они были не только грязны, но и потрескались. Кто-то стремительно вбежал из прихожей, крикнул: «Они идут! Скорей!» Шуцбундовец, вошедший в комнату, сказал своим товарищам что-то, чего женщина не разобрала. Они два раза ходили из комнаты в кухню, из кухни в комнату и наконец выбрали: пулемет поставить в комнате. Фрау Кампчик выхватила ребенка из креслица. Она вдруг решила бежать и искать мужа. Тут она взгляпула через открытую дверь в комнату. Плюш на диване был разодран, словно его полосовали ножом. Бешеный, прожорливый зверь, которого эти люди пригнали в ее квартиру, откусил край буфета. Стул опрокинулся. Один из мужчин комкал в руках большую зеленую вышитую подушку. Жестяной бидон стоял на полу посреди огромной лужи. Один из шуцбундовцев собирался как раз перетащить из кухни еще новый ящик. Фрау Кампчик не могла бросить квартиру на произвол судьбы. Она посадила ребенка обратно в кресло. Она остановилась на пороге комнаты и крикнула:

— А теперь хватит!

Один из шуцбундовцев обернулся и сказал:

— Убирайтесь отсюда, фрау Кампчик!

Фрау Кампчик крикнула:

— Сами убирайтесь!

Она увидела дыру в ковре. Топнув ногой, как в былые дни, она закричала:

— Нет! Нет! Нет!

Один из шуцбундовцев вошел с лестницы на кухню, он отодвинул мешавшее ему детское креслице, резиновая собачка упала на пол. Ребенок заревел. Фрау Кампчик бросилась к ребенку. Кухня была полна ящиков и непонятных предметов.

Все это — с минуты, когда вошел первый шуцбундовец, и до того, как из-за упавшей собачки заревел ребенок,— заняло очень мало времени, всего каких-нибудь пять минут. И опять тот же голос отчаянно прокричал: «Идут! Идут!!»

Спокойный низкий голос из комнаты крикнул поверх фрау Кампчик, наклонившейся над собачкой: «Готово!» Фрау Кампчик снова топнула ногой. Она завопила:

— Вон! Вон! Вон!

Она уже не могла следить за событиями, так как все было перевернуто вверх дном, точно во сне. Фрау Кампчик побежала в комнату. Она крикнула: «Вон! Вон!» Вдруг ей вспомнились сло-

ва мужа: «С соседями нужно держать ухо востро»,— и как он говорил о том или другом из них: «От него всего можно ожидать». Она вдруг испугалась, что была недостаточно сдержанна с теми самыми людьми, от которых всего можно ожидать.

Шуцбундовец, стоявший на коленях на ковре перед ящиком с патронами, презрительно повернул к ней молодое лицо, с такой неторопливостью, словно времени у него сколько угодно; и он сказал так ясно, словно на его стороне ясность всего мира:

— Уберите ее.

Шуцбундовец, как раз перетаскивавший через порог второй ящик,— прошло ведь всего несколько секунд,— сказал:

— Она такая же, как ее муж.

Фрау Кампчик поставила резиновую собачку на детское кресличе. Она наградила ребенка шлепком. Ребенок заревел. Мать зажала ему рот. Она отступила на порог комнаты, ибо это был порог между кухней и ее комнатой; шуцбундовец поставил второй ящик на ковер, он уже повернулся, чтобы идти за третьим. Он отстранил женщину. Он сказал:

— А теперь уходите-ка, фрау Кампчик. Теперь будут стрелять.

Фрау Кампчик не поняла его. Она думала так напряженно, что у нее горела голова. Она вдруг снова вспомнила о своем муже, велевшем ей прийти с ребенком. Фрау Кампчик ломала себе голову над тем, что сказали шуцбундовцы, страшно торопясь понять, словно от этого понимания зависела ее жизнь. Она уже опять стояла на пороге. Полы и ковер были выпачканы чем-то жирным. Скатерть сдернута, кадка с комнатной липой — на боку. Человек, возившийся с пулеметом, вытирал масляные руки о занавеску.

Фрау Кампчик протянула ему свой фартук. Муж сказал, чтобы она сейчас же брала ребенка и шла к его родителям. Он совсем не заходил домой, но муж был муж, а она — она. Шуцбундовец сказал, что она как ее муж. Но она была сама по себе, муж — сам по себе. Шуцбундовец скомкал фартук и отбросил прочь, он присел на пол. Он крикнул:

— Так не годится! Дайте что-нибудь подсунуть, скорей, скорей!

Они скатали ногами ковер и запихали его между буфетом и пулеметом. Они запихали еще подушку. Они оглянулись, ища чего-нибудь еще. Фрау Кампчик перебросила им кожаную подушку со скамьи. Шуцбундовец крикнул: «Еще!»

С лестницы раздался тот же голос: «Идут!» Послышались шаги, подымавшиеся по лестнице. Все лица обернулись к выходной двери, лицо женщины — тоже. Шуцбундовец доложил, что

парламентер вернулся, что ответили отказом, что предстоит бомбардировка. Шуцбундовец, втащивший тем временем третий ящик, открыл кухонное окно, завернув голову в занавеску. Фрау Кампчик тоже взглянула вниз. Она увидела мощь государства. До сих пор она думала, что ее существование будет разрушено изнутри, но ему угрожали извне. В комнате шуцбундовец кричал: «Еще!» Мужчины хватали что попало. Фрау Кампчик бросала им нелепые предметы, стопки связанного белья. Она притащила матрацы. Это как раз годилось. Тюлевое покрывало обмоталось вокруг ее ног. Она бросилась в кухню, выхватила ребенка из креслица. Шуцбундовец сказал через дверь:

— Женщины и дети все ушли, идите в погреб, фрау Кампчик.

Фрау Кампчик сказала:

— Разве наверху больше не осталось женщин?

Шуцбундовец крикнул из двери:

— Нет, вот...

Фрейлейн Кемпа, учительница городской школы, шаг за шагом сводила с лестницы свою старушку мать и с пылающим лицом в чем-то ее убеждала. Фрау Кампчик вытянула руки, в которых держала ребенка. Он был одет в белую шерсть, она все сама связала, много десятков тысяч петель. Она никогда еще не расставалась с ребенком. Он всегда был возле нее: или в своем высоком креслице, или впизу, на площадке, в колясочке. Если у нее среди дня находилось немного времени, она вязала или шила для него. Множество маленьких белых и голубых вещиц для его маленького, толстенького тельца. Тогда, в квартире родителей мужа, она и забеременела. Еще за неделю до этого она хотела бежать,— и квартира действовала на нее угнетающе, и вечная ругань свекрови, и муж, добродушно пожимавший плечами. Она заявила ему прямо, что с такими руками, как у нее, она всегда найдет себе место, а с ее грудью и лицом она всегда найдет себе мужчину. Затем она стала спокойнее, так же пожимала плечами, начала вязать вот эти вещицы. Она протянула ребенка фрейлейн Кемпа. Ребенок ревел, но это на нее не подействовало.

Теперь шуцбундовцы затихли, у каждого было свое место, каждый замер в том движении, которого от него потребует следующий миг. Уже ссадины на буфете и на кухонном шкафу приобрели давность, разорванное место на ковре стало частью ковра, кадке с цветами надлежало валяться на боку, пулемет составлял часть обстановки.

Все говорило против того, что это сон, и все за то, что это действительность. Ясной и бодрствующей мыслью фрау Кампчик думала о том, что муж ее всегда говорил: «Партия ей и ребенку

еще пригодится». Он также убеждал ее запретить ее трем сестрам бывать здесь. Младшая стала погуливать, вторая помогала дома по хозяйству, старшая, модистка, была в связи с шофером; все три — неряхи, шумливые, вздорные. Но это не причина, чтобы отстранить всех ее родных. Отец ее служил раньше грузчиком у «Крамера и Венцеля». Под старость он весь съежился, он мало говорил. Зато ее мать была по-прежнему толстой и болтливой. Муж не устроил настоящей свадьбы,— а что за брак без свадьбы,— он не желал показывать ее родителей своим. Но что ей теперь эта свадьба, что ей горе, которого ей это стоило. Может быть, лучше, если бы этого брака не было. Может быть, лучше, если бы этот ребенок вовсе не родился. Что ей собственная квартира даже в две комнаты с кухней и кафельным полом: овчинка не стоила выделки. Пусть ковер рвется, пусть пропадут взносы за мебель, пусть муж сидит у родителей и ждет. Пусть он сам вытаскивает свое добро из-под развалин.

Шуцбундовец у окна, завернувший голову в занавеску, сделал свободной рукой простое торжественное движение, словно начальник станции, отправляющий поезд. Для шуцбундовцев в комнате это движение было словно командой тем пушкам, которые в следующее мгновение сотрясли Зандлейтен. Но фрау Кампчик испугал гораздо больше сухой непрерывный треск в ее комнате,— точно взбешенный ответ самих каменных стен, от которого посыпалась штукатурка, а стаканы и цветочные горшки заплясали от страха.

Сначала она, потрясенная, скрючилась в углу комнаты. Но в течение следующего получаса она уже привыкла, слезы перестали неудержимо бежать по щекам, а застревали в горле. Она прислушивалась к тому, что говорили шуцбундовцы, постепенно поняла их жесты и сама кое в чем стала им помогать. И когда уже не только Зандлейтен, а весь Оттакринг гудел и содрогался, она давно скормила шуцбундовцам все, что у нее нашлось, она сварила кофе и разнесла его по всем квартирам, где засели шуцбундовцы.

ПРОГУЛКА МЕРТВЫХ ДЕВУШЕК

— Нет, куда дальше отсюда. Из Европы.

Человек оглядел меня с усмешкой, как будто я ответила ему: «С луны». Это был хозяин пулькерии, расположенной у выхода из деревни. Он отошел от стола и, привалясь к стене дома, застыл, рассматривая меня, словно искал признаки моего сверхъестественного происхождения. Мне так же, как и ему, вдруг показалось сверхъестественным, что меня занесло из Европы в Мексику.

Деревня, как крепостной стеной, была обнесена изгородью из трубчатых кактусов. Сквозь проход я могла разглядеть коричнево-серые склоны гор, голые и дикие, как поверхность луны. Одним своим видом они отметали всякую мысль о том, что когда-нибудь имели что-то общее с жизнью. Два перечных дерева пламенели на краю пустынного ущелья. Казалось, и эти деревья не цвели, а пылали. Хозяин уселся на корточки под огромной тенью своей шляпы. Он перестал рассматривать меня. Ни деревня, ни горы не привлекали его. Неподвижно он вглядывался в то единственное, что задавало ему непомерную, неразрешимую загадку,— в абсолютное Ничто.

Я прислонилась к стене, бросавшей узкую тень. Мое убежище в этой стране было слишком сомнительным и ненадежным, чтобы называться спасительной пристанью. Я только что оправилась после нескольких месяцев болезни, настигшей меня здесь, когда всевозможные опасности войны, казалось, меня миновали. Глаза мои жгло от жары и усталости, но все-таки мне удалось проследить часть пути, ведущего из деревни куда-то в глушь. Дорога была такая белая, что стоило мне закрыть глаза — и она казалась отпечатанной у меня внутри на веках. На краю ущелья виднелся и угол белой стены, которую я заметила еще раньше — с чердака

гостиницы в большом, расположенном выше селе, откуда я спустилась сюда. Я тогда сразу спросила про эту стену — ранчо ли это или что-то еще, что могло там светиться одиноким, словно упавшим с ночного неба огнем? Но никто не мог дать мне ответа. И вот я отправилась в путь. Несмотря на усталость и слабость, уже здесь вынуждавшие меня сделать передышку, я решила сама разузнать, что такое там находилось. Праздное любопытство было остатком моей давней любви к путешествиям, импульсом, перешедшим в привычку. Удовлетворив его, я тотчас же вернусь в предназначенное мне убежище. Скамья, на которой я отдыхала, была пока что конечным пунктом моего путешествия. Можно даже сказать — самым западным пунктом, которого я достигла на земном шаре. Страсть к необычным, волнующим приключениям, которая некогда не давала мне покоя, давно была утолена до пресыщения. Одно, только одно могло еще меня вдохновить — возвращение на родину.

Ранчо, как и сами горы, лежало в мерцающей дымке. Не знаю, возникла ли она из пронизанных солнцем пылинок или это моя усталость все затуманила так, что предметы вблизи исчезали, а даль вырисовывалась ясно, как будто мираж. Мне стала противна моя слабость, поэтому я встала, и туман перед глазами немного рассеялся.

Я вышла через проход в палисаде из кактусов и направилась дальше, обойдя по дороге пса. Неподвижный как труп, весь в пыли, он спал, вытянув лапы. Это было незадолго до периода дождей. Голые корни безлистных переплетенных деревьев цеплялись за обрыв, стремясь превратиться в камень. Белая стена придвинулась ближе. Облако пыли, а быть может — усталости снова сгустилось в расселинах гор, но не темное, как обычные тучи, а блестящее и мерцающее. Я приписала бы все это моей лихорадке, если бы легкий горячий порыв ветра не развеял облака, как клочья тумана, и не погнал их к другим склонам.

За длинной белой стеной сверкнула зелень. Возможно, там был источник или отведенный ручей, который давал на ранчо больше влаги, чем в деревне. Нежилой вид был у этого ранчо с его низким домом, обращенным к дороге слепой стеной. Одинокий огонь вчера вечером, если я только не обманывалась, горел, вероятно, у привратника. Решетка в воротах, давно бесполезная и ветхая, была проломлена, но над сводом еще виднелся остаток смытого бесчисленными дождями герба. Этот герб мне показался знакомым, как и половинки каменных раковин, в которых он был укреплен. Я вступила в открытые ворота. Теперь, к моему удивлению, мне послышался легкий размеренный скрип. Еще шаг вперед. Теперь я могла ощутить запах зелени в саду, которая

становилась все свежей и пышнее, по мере того как я вглядывалась в нее. Поскрипывание вдруг стало явственней, и в кустах, которые у меня на глазах разрастались все гуще, я уловила равномерные взмахи качелей или раскачивающейся доски. Теперь любопытство меня охватило настолько, что я бросилась сквозь ворота к качелям. В тот же миг кто-то крикнул: «Нетти!»

Со школьных дней меня больше никто не звал этим именем. За многие годы я привыкла ко всяческим именам, какими меня называли друзья и враги, какими меня окликали на улицах, наделяли на празднествах и собраниях, ночью наедине, на полицейских допросах, на книжных обложках, в газетных статьях, в протоколах и паспортах. Когда я лежала больная, в беспамятстве, как часто я суеверно ждала, что услышу свое прежнее имя. Но оно было утеряно, это имя, которое, как я, обманывая себя, думала, могло сделать меня здоровой, счастливой и юной, могло вернуть мне спутников прежних дней и прежнюю невозвратимо утраченную жизнь. При звуке моего старого имени я от неожиданности, хотя в классе меня постоянно высмеивали за эту привычку, схватилась обеими руками за свои косы. Как удивительно, что я могла вот так ухватить две толстые косы: значит, их не обрезали в больнице!

Пень на котором была укреплена качающаяся доска, был словно окружен плотным облаком, но облако тотчас же поредело, распустилось в сплошных кустах боярышника. Уже засияли отдельные звездочки куреслепа в тонком тумане, пробивавшемся от земли сквозь густую и высокую траву. Туман прояснился настолько, что отчетливо вырисовывались одуванчики и полевая герань, а среди них и розовато-коричневые пучки трясунки, трепетавшей от одного только взгляда.

На концах доски, сидя верхом, качались две девушки, две мои лучшие школьные подружки. Лени сильно отталкивалась большими ногами, обутыми в тупоносые ботинки на пуговках. Мне вспомнилось, что она постоянно донашивала ботинки старшего брата. Потом, осенью 1914 года, в самом начале первой мировой войны, брат ее погиб. Я поразилась, как это на ее лице нет даже следа тех грозных событий, которые сгубили ее жизнь. Лицо ее было свежим и гладким, как спелое яблоко, на нем не было ни малейшего шрама, ни намека на побои, которым ее подвергли в гестапо, когда она отказалась дать показания о своем муже. Ее толстая, «моцартовская» коса взлетала над затылком при каждом взмахе качелей. Круглое лицо со сведенными вместе густыми бровями хранило решительное, энергичное выражение, которое с малых лет появлялось у Лени, когда она была занята каким-нибудь трудным делом. И эту морщинку на лбу я

знала. Я всегда замечала ее па сияюще-гладком, как яблоко, круглом лице в тех случаях, когда мы азартно играли в мяч, состязались в плавании, писали классные сочинения, а позже на бурных собраниях и когда раздавали листовки. В последний раз я видела у нее эту складочку между бровями уже в гитлеровское время, когда в родном городе, незадолго до моего окончательного бегства, я напоследок встретилась с друзьями. И еще прежде прорезала лоб ей морщинка, когда ее муж не явился к условленному часу в условленное место, из чего стало ясно, что он схвачен нацистами в подпольной типографии. И конечно, нахмурились брови, сжался рот, когда и сама она вскоре была арестована. Эта резкая линия на лбу, которая раньше появлялась у нее только в особые минуты, отпечаталась навсегда, когда в женском концлагере, во вторую зиму этой войны, ее медленно, но верно убивали голодом. Удивительно, как мог временами исчезать у меня из памяти ее образ — голова, осененная концами широкого банта в «моцартовской» косе,— как могли забыться ее черты, если я твердо знала, что даже смерть не в силах изменить это похожее на яблоко лицо с врезанной в лоб морщинкой.

На другом конце доски, поджав длинные стройные ноги, примостилась Марианна, самая красивая девушка в классе. Она подколола пепельные косы так, что они плоскими кольцами закрывали уши. На ее лице, очерченном благородно и правильно, как лица средневековых женских статуй в Марбургском соборе, нельзя было прочесть ничего, кроме ясности и очарования. В нем не было никаких признаков бессердечности, злой вины или душевной черствости, как не бывает их у цветка. Я сама сразу забыла все, что знала о ней, и радовалась, глядя на нее. Ее стройное худощавое тело с крепкой маленькой грудью под застиранной блузкой зеленого цвета каждый раз вздрагивало, когда она старалась сильнее раскачать доску. Казалось, она сама вот-вот улетит со своей гвоздикой в зубах.

Я узнала голос пожилой учительницы, фрейлейн Меес,— она искала нас за низкой стеной, отделявшей дворик с качелями от террасы, где пили кофе: «Лени! Марианна! Нетти!» Я больше не хваталась от удивления за косы — ведь учительница не могла окликать меня наряду с другими девочками никаким иным именем. Марианна сбросила ноги с доски и, как только доска накренилась, уперлась покрепче, чтобы Лени было удобно сойти. Потом одной рукой она обняла Лени за шею и заботливо вытащила у нее соломинки из волос. Теперь мне представилось совершенно невозможным все то, что мне рассказывали и писали о них обеих. Раз Марианна так бережно придержала качели для Лени, так дружески и заботливо убрала соломинки из ее волос и даже обвила

рукой ее шею, то невозможно, чтобы позднее она так резко, так холодно отказала Лени в товарищеской услуге. Разве бы у нее повернулся язык сказать, что ей нет дела до девушки, когда-то случайно ходившей с ней вместе в один класс? Что каждый пфенниг, потраченный на Лени и ее семью, брошен на ветер, преступно отобран у государства? Гестаповцы, арестовавшие сначала отца, а затем мать, объявили соседям, что оставшийся без призора ребенок Лени должен быть немедленно отдан в национал-социалистский приют. Соседки перехватили девочку на детской площадке и спрятали ее, чтобы потом переправить в Берлин к родственникам отца. Они прибежали занять денег на дорогу у Марианны, которую прежде не раз видели рука об руку с Лени. Но Марианна отказала и еще прибавила, что ее муж — член нацистской партии и занимает высокий пост, а Лени с мужем арестованы поделом, так как совершили преступление против Гитлера. Женщины испугались, как бы на них самих не донесли в гестапо.

Мне вдруг подумалось, что и на детском лице могла появиться морщинка, точь-в-точь как у матери, когда девочку все же забрали в воспитательный дом.

Теперь обе они, Марианна и Лени, из которых одна по вине другой лишилась ребенка, шли из сада с качелями, тесно обнявшись, сблизив головы, так что виски их соприкасались. Мне стало немного грустно. Я почувствовала себя, как это часто случалось в школьные годы, чужой среди общих игр и дружеской близости остальных. Но тут девушки еще раз остановились и взяли меня в середину.

Мы двигались к террасе позади фрейлейн Меес, как три утенка за уткой. Учительница немного хромала; у нее был широкий зад, и все это делало ее еще больше похожей на утку. На груди у нее, в вырезе блузы, висел большой черный крест. Я прятала улыбку, так же как Лени и Марианна. Но веселость, вызванная ее комическим видом, умерилась чувством почтения, несовместным с насмешкой: даже когда Исповеднической церкви запретили богослужение, она по-прежнему, ничего не боясь, ходила повсюду с этим массивным черным крестом на груди, вместо того чтобы заменить его свастикой.

Терраса на берегу Рейна была обсажена кустами роз. По сравнению с девушками они выглядели такими правильными, прямыми, заботливо ухоженными, словно садовые цветы рядом с полевыми. Сквозь запах воды и растений пробивался манящий запах кофе. Над столиками, накрытыми скатертями в белую и красную клетку, перед длинным и низким зданием ресторана звенели юные голоса, будто жужжал пчелиный рой. Меня потянуло

поближе к воде. Захотелось вдохнуть необъятный простор этого солнечного края. Я потащила за собой Лени и Марианну к садовой ограде, и здесь мы стали смотреть на реку, которая текла мимо дома, голубовато-серая, сверкающая. Холмы и деревни на том берегу с лесами и пашнями отражались в воде, покрытой сетью солнечных бликов. Чем дольше оглядывала я все вокруг, тем свободнее становилось дышать, тем сильней наполнялось радостью сердце. Почти неприметно исчезал остаток уныния, отягчавшего каждый мой вздох. При одном только взгляде на милый холмистый край грусть отступала, и вместо нее в самой крови рождались жизнерадостность и веселье. Так всходит зерно в родной почве, под родным небом.

Голландский пароход, за которым цепью тянулись восемь барж, скользил по холмам, отраженным в воде. Они везли лес. Жена шкипера подметала палубу, а ее собачонка приплясывала вокруг хозяйки. Мы, девушки, подождали, пока не пропал белый след, тянувшийся за караваном барж, и на воде уже ничего больше не было видно, кроме отражения противоположного берега, сливавшегося с отражением сада на нашей стороне. Мы возвратились к кофейным столикам; впереди нас шла, покачиваясь, фрейлейн Меес со своим крестом, тоже качавшимся у нее на груди, но она теперь не казалась мне потешной. Крест вдруг стал полным значения символом, непоколебимым и торжественным.

Может быть, среди школьниц и были угрюмые неряхи, но теперь в своих пестрых летних платьях, с прыгающими косами или веселыми «крендельками», подколотыми на висках, все они выглядели цветущими, нарядными. Большинство мест было занято, поэтому Марианна и Лени уселись на одном стуле и поделились чашкою кофе. Маленькая Нора, со вздернутым носиком, тоненьким голоском, двумя косами, обвитыми вокруг головы, одетая в клетчатое платьице, с такой важностью разливала кофе и раздавала сахар, будто она была здесь хозяйкой. Марианна, которая после и думать забыла о прежних своих одноклассницах, отчетливо вспомнила эту прогулку, когда Нора, возглавившая нацистский Союз женщин, приветствовала в нем как нового члена свою школьную товарку Марианну.

Было ли то голубое туманное облако, прихлынувшее с Рейна, или глаза мне все еще застилала дымка усталости, только все столики вдруг заволокло, и я больше не различала в отдельности лиц Норы, Марианны и других, кто был с ними, как не различают отдельных венчиков в охапке диких цветов. Я слышала спор о том, куда лучше усадить молодую учительницу, фрейлейн Зихель, которая в это время выходила из гостиницы. Туман перед моими глазами немного рассеялся, так что я ясно увидела

фрейлейн Зихель: она была одета, как и ее ученицы, во все светлое, нарядное. Фрейлейн Зихель села совсем рядом со мной. Быстрая Нора налила любимой учительнице кофе. В своей готовности угодить фрейлейн Зихель она даже успела украсить ее место несколькими веточками жасмина.

Конечно, в этом бы Нора наверняка раскаялась, когда она сделалась руководительницей Союза женщин в нашем городе, не будь ее память столь же хрупкой, как и ее голосок. Сейчас она с гордостью, почти что с влюбленностью глядела, как фрейлейн Зихель продела одну из этих жасминных веточек в петлицу своего жакета. В первую мировую войну Нора была бы рада, если б ей выпало дежурство в одну смену с фрейлейн Зихель в отряде «Женская служба», раздававшем еду и питье проезжающим в эшелонах солдатам. Зато потом эту же учительницу, к тому времени уже одряхлевшую, она прогнала грубой бранью со скамейки у Рейна — ведь не могла же она сесть на одну скамью с еврейкой! Внезапно, когда я так близко сидела от фрейлейн Зихель, я обнаружила непростительный пробел в моей памяти — как будто моим высшим долгом было навсегда запомнить все до малейшей подробности: я заметила, что волосы фрейлейн Зихель вовсе не были искони белоснежными, как это осталось у меня в памяти. Нет, в день нашей школьной прогулки ее пышные волосы были каштановыми, разве что несколько белых нитей пробивалось на висках. Теперь этих нитей было еще так мало, что их можно было пересчитать, но они поразили меня, словно впервые, сегодня и здесь, я наткнулась на след старости. Все остальные девушки за нашим столом вместе с Норой радовались близости любимой учительницы, не подозревая, что после они будут плевать на нее и кричать ей: «Еврейская свинья!»

Самая старшая из нас, Лора,— она носила юбку с блузой, завивала рыжеватые волосы и давно крутила настоящие романы,— ходила тем временем между столиками, раздавая изготовленное ею печенье. В этой домовитой девушке соединились самые разные дарования. Отчасти они проявлялись в поваренном, отчасти в любовном искусстве. Лора всегда была очень веселой и общительной, склонной к озорным шуткам и выходкам. Легкомысленный образ жизни, который она начала вести необычайно рано — учительницы строго осуждали ее за это,— не привел к браку, ни даже к серьезной любовной связи. Так что в то время, как многие давно уже были примерными матерями, она все еще выглядела школьницей, в коротенькой юбке, с большим, ярким и жадным ртом. Как же мог постигнуть ее такой мрачный конец — самоубийство при помощи целого тюбика снотворного? У нее был любовник-нацист. Вне себя от ее неверности, он угрожал ей концла-

герем, поскольку грех ее именовался «осквернением расы». Долго он тщетно выслеживал, чтобы застигнуть ее с человеком, связь с которым преследовалась законом. Но, несмотря на ревность и мстительность, ему удалось уличить ее лишь незадолго до этой войны, когда по учебной воздушной тревоге всех жителей подняли из постелей и погнали в убежище, в том числе и Лору с ее преступным возлюбленным.

Украдкой, что, впрочем, не ускользнуло от нас, она дала оставшуюся у нее звездочку, обсыпанную корицей, плутовке Иде, тоже заметной своей миловидностью — шапка естественных кудряшек украшала ее. Ида оставалась ее единственным другом в классе, когда на Лору стали коситься из-за ее похождений. Мы неодобрительно перешептывались, видя, как Ида с Лорой о чем-то весело договариваются, и немало судачили о том, что обе девочки вместе ходят в бассейн, подыскивая себе подходящих партнеров по плаванию. Не знаю только, почему Иду, которая сейчас тайком грызла коричную звездочку, никогда не преследовали блюстительницы женской нравственности — должно быть, потому, что она была дочкой учителя, а Лора — парикмахера. В свое время Ида покончила с беспутной жизнью, но и у нее дело не дошло до свадьбы — жених ее пал под Верденом. Сердечное горе побудило ее ухаживать за больными и ранеными, чтобы быть, по крайней мере, полезной. После заключения мира в 1918 году она не захотела оставить своего призвания и поступила в сестры милосердия. Ее прелесть уже немного увяла, локоны слегка поседели, словно присыпанные пеплом, когда она, вступив в нацистскую партию, стала вести работу среди сестер. И хотя в нынешнюю войну у нее не было жениха, ее жажда мести, ее ожесточение были все еще живы. Она вдалбливала в головы молодым сиделкам государственные инструкции, предостерегавшие от разговоров с военнопленными на дежурствах и от оказания им каких-либо услуг «из ложного сострадания». Однако ее последнее наставление — использовать полученную марлю только для соотечественников — осталось невыполненным: в госпиталь, расположенный далеко за линией фронта, попала бомба и разнесла в куски друзей и врагов, не пощадив и ее кудрявой головы, которую сейчас Лора гладила пятью наманикюренными пальчиками, не знавшими себе равных в целом классе.

Тут фрейлейн Меес постучала ложечкой о кофейную чашку и велела нам собрать деньги за кофе в сине-белую мейсенскую тарелочку. С этой тарелочкой она приказала обойти все столы своей любимой ученице. Точно так же проворно и смело собирала потом фрейлейн Меес пожертвования на запрещенную нацистами Исповедническую церковь и настолько привыкла к подобным поручени-

ям, что под конец стала казначейшей. Поручение не из безопасных, однако она собирала эту лепту так же свободно и просто. Герда, любимица фрейлейн Меес, сегодня весело гремела тарелкой, а потом понесла ее хозяйке. Не будучи красивой, Герда обладала живостью и привлекательностью. У нее было лошадиное лицо, грубые взлохмаченные волосы, крупные зубы и красивые карие, чуть навыкате, тоже схожие с конскими, преданные глаза. Она стрелой принеслась обратно — ее сходство с лошадкой увеличивалось благодаря тому, что она вечно бежала галопом,— испросить разрешение отстать от класса и вернуться следующим пароходом. В доме она узнала, что хозяйский ребенок тяжело заболел, и, так как за ним больше некому было ухаживать, Герда хотела присмотреть за больным. Фрейлейн Меес отвела все возражения фрейлейн Зихель, и Герда помчалась к постельке больного, как на праздник. Она была рождена для ухода за больными, для любви к людям, для призвания учительницы в подлинном, ныне почти исчезнувшем значении этого слова. Казалось, она была предназначена всюду искать детей, которые в ней нуждались, и она всегда и повсюду их находила. И хотя ее жизнь под конец оборвалась незамеченно и нелепо, ничто из того, что составляло эту жизнь, ни одна частица оказанной ею помощи не пропала даром. Самую жизнь ее было легче уничтожить, чем истребить следы этой жизни в памяти многих, кому Герда мимоходом помогла. Но кто помог ей, когда ее собственный муж, несмотря на все ее возражения и угрозы, по распоряжению нового правительства вывесил на Первое мая флаг со свастикой, так как иначе его бы уволили со службы? Никого не было с ней, чтобы вовремя успокоить ее, когда, прибежав с рынка домой, она увидела свое жилье, осквернённое страшным флагом. Содрогаясь от стыда и отчаяния, она открыла газовый кран. Никто не помог ей. В этот час она была безнадежно одна, хотя стольким людям помогла в свое время.

Приближавшийся пароход прогудел над Рейном. Мы вытянули головы. На его белом корпусе блестела золотом надпись: «Ремаген». И хотя пароход был еще далеко, я смогла разглядеть это имя моими больными глазами. Я видела клубы дыма из труб и иллюминаторы каюты, видела, как следы парохода на воде то исчезали, то появлялись вновь. Мое зрение привыкло за это время к родному, знакомому миру. Я видела все еще острей, чем когда проходил голландский буксир. Пароходик «Ремаген», скользящий по широкой глади реки, мимо деревень, холмов и гряды облаков,— в этой картине была такая нерушимая гармония и ясность, которой нельзя было отнять, которую ничто в целом свете не могло замутить. Я уже сама различала на палубе и в круглых окнах зна-

комые лица и слышала, как девушки называли имена: «Учитель Шенк!.. Учитель Райс!.. Отто Хельмхольц!.. Ойген Лютгенс!.. Фриц Мюллер!..»

Все девушки кричали хором:

— Это мужская гимназия! Седьмой класс!..

Сойдут ли мальчики, выехавшие, как и мы, на прогулку, здесь, на ближайшей пристани? Фрейлейн Зихель и фрейлейн Меес после краткого совещания приказали нам, девочкам, построиться по четыре в ряд, так как явно желали избегнуть встречи двух классов. Марианна, у которой косы расплелись еще на качелях, принялась заново укладывать их крендельками, потому что ее более зоркая подружка Лени, с которой она вместе качалась, а потом вместе сидела на стуле, разглядела на борту Отто Фрезениуса, поклонника Марианны, неразлучного с ней на танцах. Лени шептала ей:

— Они сойдут здесь. Он показал мне рукой.

Фрезениус, русый угловатый семнадцатилетний юноша, давно упорно махал нам с парохода. Он готов был броситься вплавь, чтоб соединиться с любимой девушкой. Марианна крепко обхватила Лени. Подружка, которую она позже, когда к ней обратились за помощью, вообще не хотела знать, была для нее как родная сестра, добрая поверенная в горестях и радостях любви, она честно передавала письма, устраивала тайные свидания. Марианна всегда была красивой, цветущей девушкой. Теперь же одна только близость друга придала ей нежность и очарование, и Марианна выделялась среди подруг как дитя из волшебной сказки. Дома Отто Фрезениус уже открылся в своем чувстве матери, которой он поверял все тайны. Мать его сама радовалась удачному выбору и думала, что когда-нибудь позже, если подождать, как положено, ничто не будет препятствовать их браку. Помолвка действительно состоялась, но свадьба — никогда, потому что жених вступил в студенческий батальон и уже в 1914 году погиб в Аргоннах.

Пароход «Ремаген» уже разворачивался, направляясь к пристани. Две наши учительницы, которые вынуждены были дожидаться встречного парохода, чтобы отвезти нас домой, сразу принялись нас пересчитывать. Лени и Марианна с нетерпением глядели на приближающийся пароход. Лени с таким любопытством тянула шею, как будто предчувствовала, что ее собственная судьба и ее будущее зависят от того, соединятся или разлучатся влюбленные. Если бы это зависело только от Лени, а не от кайзера Вильгельма, который объявил мобилизацию, а потом от французского снайпера, Отто и Марианна и вправду составили бы пару. Лени чувствовала, как эти два молодых существа были под стать друг другу душой и телом. Марианна, если бы это произошло, впо-

следствии не отказалась бы позаботиться о ее ребенке. Отто Фрезениус, может быть, уже заранее нашел бы средство помочь Лени спастись бегством. Возможно, что постепенно ему удалось бы сообщить красивому, нежному лицу своей жены Марианны такие черты справедливости и человеческого достоинства, которые не позволили бы ей предать подругу.

Отто Фрезениус, которому в первую мировую войну суждено было получить пулю в живот, теперь, окрыленный любовью, первым сбежал по сходням к нашему садику. Марианна, по-прежнему обнимая одной рукой Лени, подала ему другую и не отнимала ее. Не только мне и Лени, но всем нам, девушкам, было ясно, что эти двое были влюбленной парой. Они явили нам впервые не вымышленное, не вычитанное из стихов или сказок или из классических драм, но подлинное и живое понятие влюбленной пары, как сама природа его задумала и создала.

Пальчик Марианны задержался в руке Фрезениуса, и лицо ее при этом выражало совершенную преданность, обещавшую теперь и вечную верность этому высокому, худощавому русому юноше. Это в память о нем она по-вдовьи оденется в траур, когда ее письмо, отправленное на полевую почту, вернется с отметкой: «Погиб». В эти тяжкие дни Марианна, обожавшая прежде жизнь со всеми ее большими и маленькими радостями, касалось ли дело ее любви или только качелей, совсем потеряла вкус к жизни. Подружке же ее Лени, которую Марианна теперь обнимала за плечи, в эти дни предстояло встретиться с отпускником Фрицем из семьи железнодорожника, жившего в нашем городе. В то время как Марианна на долгое время окуталась черным облаком, в прелести отчаяния, в очаровании глубокой печали, Лени сияла, как румяное, спелое яблоко. Вот почему обе девушки какое-то время чуждались друг друга — просто по-человечески, как чуждаются друг друга горе и радость. По окончании срока траура, после множества встреч, происходивших в кафе на берегу Рейна, Марианна с тем же выражением вечной преданности на нежном лице, рука в руке друга, как и теперь, заключила новый союз с неким Густавом Либихом, который остался невредимым в первую мировую войну, а впоследствии вступил в эсэсовский отряд нашего города и был произведен в чин штурмбанфюрера. Нет, Отто Фрезениус, если бы он вернулся невредимым с войны, не сделался бы ни штурмбанфюрером, ни доверенным лицом гаулейтера. Печать честности и справедливости, которая уже теперь лежала на его мальчишеском лице, делала его непригодным для такой карьеры и такого рода деятельности. Лени была только довольна, узнав, что отныне судьба обещала новые радости ее школьной подруге, к которой она все еще была привязана, как к сестре. Лени, как и сейчас, была слишком

наивна, чтобы предвидеть, что судьбы мальчиков и девочек все вместе составляют судьбу родины, судьбу народа и что поэтому когда-нибудь горе или радость ее школьной подруги может бросить тень или луч света и на нее.

От меня, так же как и от Лени, не ускользнуло выражение лица Марианны, которая легко и как будто случайно оперлась о руку юноши. Здесь давалось безмолвное, но нерушимое обещание навсегда принадлежать друг другу. Лени глубоко вздохнула, словно для нее было особенным счастьем стать свидетельницей подобной любви. Прежде чем Лени и ее мужа арестовало гестапо, Марианне пришлось выслушать от своего мужа Либиха, которому она тоже поклялась в вечной верности, так много нелестных слов по адресу мужа ее школьной подруги, что у нее самой пропало всякое дружеское чувство к девушке, столь мало заслуживающей уважения. Муж Лени ни за что не хотел вступать ни в штурмовые, ни в эсэсовские отряды. Либих, гордый чином и званием, оказался бы там его начальником. Когда он заметил, что муж Лени пренебрегает такой, с его точки зрения, честью, он обратил внимание городских властей на нерадивого соотечественника.

Весь класс реальной гимназии и с ним два учителя высадились наконец на берег. Господин Нееб, молодой учитель со светлыми усиками, раскланявшись с обеими учительницами, устремил пристальный взгляд на нас, девушек, и сразу заметил отсутствие Герды, которую он невольно искал. Герда все еще мыла и нянчила больного ребенка, не подозревая ни о нашествии юношей в сад, ни о том, что ее не хватает учителю Неебу, которому уже раньше запомнились ее карие глаза и запала в душу ее отзывчивость. Лишь после 1918 года, по окончании первой мировой войны, когда Герда сама стала учительницей и когда оба они ратовали за улучшение школьной системы Веймарской республики, должна была произойти их решающая встреча в только что основанном Союзе сторонников школьной реформы. Но Герда оказалась более верной, чем он, старым стремлениям и целям. Женившись наконец на девушке, которую он избрал за ее взгляды, Нееб вскоре начал ценить покой и благосостояние в их совместной жизни больше, чем общие убеждения. Поэтому он и вывесил из окна флаг со свастикой — в противном случае закон грозил ему потерей места, а тем самым и куска хлеба для семьи.

Не только мне бросилось в глаза разочарование Нееба, когда он не нашел в нашей стайке Герды; он сумел разыскать ее лишь впоследствии, чтобы больше не отпускать от себя, но тем самым стал одним из виновников ее смерти. Эльза, кажется, была самой юной среди нас — эта кругленькая девочка с толстой косой и красным, как вишня, круглым ртом. С деланным равнодушием она

проронила, что еще одна из наших, Герда, осталась в гостинице, чтобы присмотреть за больным ребенком. Эльза, такая маленькая и незаметная, что мы все ее скоро забыли, как не помнят какой-нибудь круглый бутон в букете цветов, еще не имела собственных любовных историй. Однако она любила обнаруживать их у других, и, напав на след, запускать туда свои лапки. Угадав по блеску в глазах господина Нееба, что она попала в точку, она, как бы случайно, добавила:

— А больной в комнатке, сразу за кухней.

Эльза испытывала таким образом свою хитрость, и ее сверкавшие детские глазки лучше разгадали мысли Нееба, чем это удалось бы потускневшим от опыта взрослым глазам, а меж тем ее собственная любовь долго заставила себя ждать. Ведь ее будущий муж, столяр Эби, еще должен был пойти на войну. Он тогда уже носил острую бородку, у него уже было брюшко, он был много старше Эльзы. Когда после заключения мира он произвел кругленькую курносую Эльзу в супруги мастера столярного ремесла, ему пришлось кстати, что она успела изучить в торговой школе бухгалтерию. Оба они чрезвычайно серьезно относились к столярному делу и к воспитанию своих троих детей. Столяр впоследствии любил говорить, что для его профессии все едино, сидят ли в Дармштадте, главном городе их провинции, герцогские или социал-демократические чиновники. На то, что пришел к власти Гитлер и началась новая война, он смотрел как на своего рода стихийное бедствие — грозу или снежный буран. К тому времени он уже порядком состарился. И у Эльзы в густых косах появилось немало седых волос. У него уже не осталось времени изменить свое мнение, ибо при налете английских бомбардировщиков на Майнц его жена, он сам, их дети и подмастерья за какие-нибудь пять минут расстались с жизнью, разлетелись в клочки вместе со всем домом и мастерской.

Эльза, крепкая и кругленькая, как орешек, который, как видно, могла расколоть только бомба, забралась в середку своего ряда. Марианна заняла место в последнем ряду, с краю, где Отто все еще мог стоять с ней, держа ее руку в своей. Они смотрели через ограду на воду, где их тени сливались с зеркальным отражением гор, облаков и белой стены кафе. Они не говорили друг с другом. Они были уверены, что ничто на свете не сможет их разлучить — ни строй по четыре в ряд, ни отплытие парохода, ни, когда-нибудь позже, их смерть в мирной старости, среди милых детей.

Старший учитель мужского класса — он шаркал ногами, откашливался, ребята называли его «Старик»,— окруженный своими мальчиками, спустился по сходням в сад. Они поспешно и нетерпеливо расселись за столом, который только что оставили девоч-

ки, и хозяйка, довольная, что Герда все еще возилась с ребенком, принесла свои чистые сине-белые мейсенские чашки. Классный наставник Райс принялся прихлебывать кофе так громко, как будто пил бородатый великан.

В отличие от того, как это бывает обычно, учитель Райс пережил своих юных учеников, погибших в первую и во вторую мировую войну под бело-красно-черными знаменами и под знаменами со свастикой. Он все пережил и остался невредим. Ибо он постепенно становился слишком стар не только для сражений, но и для смелых высказываний, которые могли бы его привести в тюрьму или концентрационный лагерь.

Если мальчики — одни благонравные, другие бесшабашные — скакали вокруг «Старика», подобно кобольдам из саги, то стайка щебечущих девушек в саду походила на эльфов. При подсчете обнаружилось, что нескольких из нас не хватает. Лора сидела в кругу мальчиков. Она всегда по возможности держалась мужского общества, сегодня и всю остальную жизнь, так плохо кончившуюся из-за ревности нациста. Рядом с ней хихикала некая Элли, внезапно встретившая своего партнера по урокам танцев, толстощекого Вальтера. Короткие штанишки, которые, к его досаде, ему все еще приходилось носить, были теперь слишком тесны для его крепких ляжек. Потом наступило время, когда он, уже пожилой, но все еще представительный эсэсовец, распоряжавшийся транспортировкой, навсегда увез арестованного мужа Лени. Лени заботливо заслонила Марианну, чтобы та могла обменяться прощальными словами с любимым, не подозревая, сколько будущих врагов окружало ее здесь, в саду. Ида, будущая сестра милосердия, сбега́ла к нам вниз, насвистывая и дурачась, выделывая танцевальные па. Круглые мальчишеские глаза и довольные раскосые глаза пожилого учителя, лакомившегося кофе, восхищенно уставились на ее кудрявую головку, повязанную бархатной ленточкой. Однажды, в русскую зиму 1943 года, когда на ее госпиталь внезапно обрушатся бомбы, ей разом припомнится все — и эта ленточка в волосах, и залитый солнцем белый дом, и сад над Рейном, и прибывшие мальчики, и отъезжающие девочки.

Марианна выпустила руку Отто Фрезениуса и больше не обнимала Лени. Она сиротливо стояла в своем ряду, вся уйдя в любовные думы. Чувства, охватившие ее, были самыми земными из всех, но она в эту минуту отличалась от других девушек почти неземной красотой. Плечо к плечу с молодым учителем Неебом, Отто вернулся к столу, за которым сидели юноши. Нееб держался как добрый товарищ, без насмешек или вопросов, потому что и сам искал в этом же классе понравившуюся ему девушку и потому что он уважал любовные чувства даже у самых юных. Смерть разлу-

чила Отто с его любимой намного раньше, чем это случилось с учителем, старшим годами. Зато этому мальчику в его короткой жизни была дарована верность, и все злое миновало его — все искушения, вся низость и позор, жертвой которых стал старший, когда захотел сохранить для себя и Герды место и государственный оклад.

Фрейлейн Меес, с ее массивным, несокрушимым крестом на груди, зорко охраняла нас, чтобы ни одна девушка до прибытия парохода не сбежала к своему партнеру по урокам танцев. Фрейлейн Зихель отправилась искать некую Софи Майер и нашла ее наконец на качелях с Гербертом Беккером. Оба они были тощие, в очках, так что скорее походили на брата с сестрой, чем на влюбленных. При виде учительницы Герберт Беккер обратился в бегство. Я потом часто видела, как он пробегал по улицам нашего города, скаля зубы и строя гримасы. Когда я несколько лет назад снова встретила его во Франции, у него было все то же очкастое хитрое мальчишеское лицо. Он тогда только что возвратился с гражданской войны в Испании. Фрейлейн Зихель так разбранила Софи за ее непоседливость, что бедняжке пришлось вытирать мокрые от слез очки. Не только волосы учительницы, в которых я опять с удивлением заметила седину, но и волосы школьницы Софи, теперь еще черные, как вороново крыло, как волосы Белоснежки, совсем поседели, когда в битком набитом запломбированном вагоне нацисты отправили их обеих в Польшу. Совсем сморщенная, состарившаяся, Софи внезапно скончалась на руках у фрейлейн Зихель. Она казалась тогда ее однолеткой, сестрой.

Мы утешали Софи и вытирали ее очки, когда фрейлейн Меес захлопала в ладоши, подавая сигнал к отправке. Нам было стыдно, потому что мужской класс наблюдал, как нас заставили вышагивать в строю, и еще потому, что все потешались над хромающей, утиной походкой нашей учительницы. Только во мне насмешливость умерялась чувством почтения к ее неизменной стойкости, которую не могли сломить даже вызов в инсценированный Гитлером «народный суд» и угроза тюрьмы. Мы ждали ее вместе на пристани, пока наш пароход не пришвартовался. Я следила, как боцман перехватил на лету трос, как трос этот наматывали на кнехт, как сбросили трап — все происходило с удивительной быстротой, словно то было приветствие какого-то нового мира, порука в том, что мы действительно отправляемся в плавание, и в сравнении с ним все мои путешествия по бесконечным морям, с одного континента на другой, поблекли и стали бесплотными, как детские грезы. Нет, они не были и вполовину такими живыми, не волновали так сильно запахом дерева и воды, легким покачиванием

трапа, скрипением каната, как начало этого длившегося двадцать минут плавания по Рейну до моего родного города.

Я взбежала на палубу, чтобы сесть поближе к штурвалу. Пробили склянки, трос забрали, пароход отвалил от пристани. Сверкающий белый серп пены врезался в воду. Я представила себе всевозможные корабли, бороздящие моря под всеми широтами, все полосы белой пены. Нет, никогда потом стремительность и необратимость пути, бездонная и опасная близость воды не запечатлелись сильнее. Передо мной вдруг возникла фрейлейн Зихель. На солнце она казалась совсем молодой в своем платье горошком, с маленькой крепкой грудью. Глядя на меня блестящими серыми глазами, она сказала, что, раз я люблю путешествия и люблю писать сочинения, я должна приготовить к следующему уроку немецкого языка описание этой прогулки.

Все девочки, которые предпочли палубу каюте, расселись вокруг меня на скамейках. Из сада махали нам и свистели мальчики. Лора пронзительно засвистела в ответ, за что фрейлейн Меес ее отчитала. А свистки все неслись нам вслед в том же ритме. Марианна перегнулась через перила и не спускала глаз с Отто, как будто они расставались навеки, как потом, в 1914 году. Когда она больше уже не могла разглядеть своего друга, она обняла одной рукой меня, а другой — Лени. Вместе с нежностью ее худой обнаженной руки я ощущала и тепло солнечного луча, ласкавшего мою шею. Я тоже оглядывалась на Отто Фрезениуса. Стараясь удержать возлюбленную навсегда в своей памяти, он все смотрел и смотрел ей вслед, будто хотел ей, склонившей голову к Лени, напомнить о нерушимой любви.

Мы втроем, тесно обнявшись, смотрели на бегущую воду. Косые лучи заходящего солнца там и сям освещали на холмах и виноградниках фруктовые деревья, покрытые белым и розовым цветом. Несколько окон блестели в поздних лучах, словно охваченные пожаром. Деревни, казалось, росли, по мере того как мы к ним приближались, и становились крошечными, как только мы проплывали мимо. Никогда нельзя утолить прирожденную страсть к путешествиям, потому что все проносится перед тобой лишь в мимолетном касании. Мы проезжали под мостом, перекинутым через Рейн,— под тем самым мостом, по которому вскоре предстояло ехать воинским эшелонам со всеми мальчиками, пившими сейчас в саду свой кофе, и с питомцами всех других школ. Когда эта война кончилась, по тому же мосту двинулись солдаты союзных войск, а потом — Гитлер со своей новенькой, с иголочки, армией, которая снова заняла Рейнскую область, пока эшелоны новой войны не покатили всех мальчиков страны навстречу смерти. Наш пароход проходил мимо Петерсау, где был укреплен один

из устоев моста. Мы помахали трем маленьким домикам, которые с детства нам были близки, как будто вышли из книжки волшебных сказок с картинками. Домики и одинокий рыболов отражались в воде, а с ними и деревня на том берегу. С полями пшеницы и рапса и скопищем островерхих крыш, теснившихся друг за другом в розовой кайме цветущих яблонь, она поднималась готическим треугольником по склону горы, увенчанная шпилем церковной башни.

Поздний луч сиял то в просвете долины — на полотне железной дороги, то в окнах далекой часовни. И все это еще раз мгновенно показывалось из воды, прежде чем исчезнуть в сумерках.

В этом тихом вечернем свете и мы все притихли, так что можно было расслышать птичий гомон и голос фабричного гудка из Аменебурга. Даже Лора замолчала. Марианна, Лени и я, мы трое крепко держались за руки в том единении, которое было просто частицей великого братства всего земного под солнцем. Марианна все еще клонила голову к Лени. Как могла потом войти в эту голову бредовая идея, что только она, Марианна, и ее муж взяли на откуп любовь к этой стране, а потому с полным правом могут презирать и предавать ту, к которой она сейчас льнула? Никогда нам никто не напомнил об этой прогулке, пока для этого еще было время. Сколько бы сочинений ни писалось потом о родине, об истории родины, о любви к родине, никогда в них не упоминалось о главном — что наша стайка тесно прильнувших друг к другу девушек, плывущая по реке в косых лучах вечернего солнца,— это тоже родина.

Рукав реки ответвлялся к запани, откуда сплавлялся в Голландию свежесрубленный и разделанный лес. Город, казалось мне, еще так далеко, что ему никогда не заставить меня сойти на берег и остаться, хотя его запань, ряды платанов, склады на берегу мне были роднее и ближе, чем все гавани чужих городов, принуждавших меня оставаться в них. Мало-помалу я узнавала очертания знакомых улиц, коньки на крышах, церковные башни, целые и невредимые и близкие мне, как давно исчезнувшие места из сказок и песен. В этот день школьной прогулки все казалось мне в одно и то же время далеким и вновь обретенным.

Когда пароход описал дугу, приставая к берегу, а дети и бродяги праздной толпой двинулись нам навстречу, казалось, что мы возвращаемся не с прогулки, а из многолетнего путешествия. Ни одна пробоина или след пожара не обезобразили родного города, уютного и людного, так что мое беспокойство улеглось и я почувствовала себя дома.

Лотта распрощалась с нами первой, как только были сброшены тросы. Она хотела поспеть к вечерне в собор, откуда колоколь-

ный звон доносился до самой пристани. Позже Лотта кончила тем, что поступила в монастырь на Рейне, на острове Нонненверт, откуда вместе с другими сестрами ее переправили через голландскую границу, но судьба настигла их и там.

Класс попрощался с учительницами. Фрейлейн Зихель еще раз напомнила мне о сочинении. Ее серые глаза сверкали, как гладко отполированные кремни. И вот наш класс разделился на отдельные стайки и все заспешили в разные стороны по домам.

Марианна и Лени шли рука об руку по Рейнштрассе. Марианна все еще держала в зубах красную гвоздику. Такую же гвоздику она воткнула в бант «моцартовской» косы Лени. Мне всегда отчетливо видится Марианна — и с красной гвоздикой в зубах, и когда она зло отвечала соседкам Лени, и когда ее наполовину обугленное туловище, в дымящихся лохмотьях, лежало в пепле родительского дома. Ведь пожарная команда прибыла слишком поздно, чтобы спасти Марианну,— огонь, вызванный бомбардировкой, с места попадания перебросился на Рейнштрассе, где она была в гостях у родителей. Ее смерть была не легче, чем смерть отвергнутой ею Лени, умершей в лагере от болезней и голода. Но ее предательство сослужило ту службу, что дочка Лени не погибла во время бомбежки — гестапо упрятало ее в отдаленный нацистский приют.

Я шла с несколькими школьницами по направлению к Кристофштрассе. Вначале мне было страшно. Когда мы свернули от Рейна в глубь города, сердце сжалось, точно меня ожидало что-то неладное, что-то злое — какое-то ужасное известие или беда, о которой я легкомысленно забыла из-за веселой прогулки. Но потом мне стало совершенно ясно, что церковь святого Христофора никак не могла быть разрушена во время ночного налета бомбардировщиков. Ведь мы только что слышали ее колокольный звон. И вообще я напрасно боялась идти домой этой дорогой из-за того только, что мне врезалось в память, будто бы вся центральная часть города полностью разбомблена. Ведь тот газетный снимок, на котором все площади и улицы выглядели начисто разрушенными, мог быть и ошибкой! А сперва я решила другое: могло быть и так, что по приказу Геббельса, чтобы скрыть размеры разрушений от бомбежки, здесь в лихорадочной спешке построили мнимый город, выглядевший прочным и настоящим, хотя ни один камень не стоял здесь на своем месте. Ведь мы давно привыкли к такого рода маскировке и лжи — не только при воздушных налетах, но и в других обстоятельствах, где трудно было до чего-нибудь дознаться.

Но дома, лестницы, фонтан — все стояло на месте. И магазин обоев Брауна, сгоревший в эту войну вместе со всем семейством

владельца фирмы, тогда как в первую войну у него только разбило зенитным снарядом все стекла. Уже показались цветастые и полосатые обои в витринах магазина, так что Мари Браун, которая остаток пути шла рядом со мной, заспешила к дому. Последняя из возвращавшихся девушек, Катарина, подбежала к своей маленькой сестричке Тони, игравшей под платанами на каменной ступеньке фонтана. Фонтан и все платаны были, разумеется, давным-давно уничтожены, но детям ничто не мешало играть. Ведь и их смертный час уже пробил в подвалах ближайших домов. При этом и маленькая Тони, прыскавшая на всех водой из фонтана, погибла в доме, унаследованном ею от отца, погибла вместе со своей дочкой, крохотной, как сегодня она сама. И Катарина, старшая сестра, которая сейчас схватила ее за вихор, и мать, и тетка, стоявшие в распахнутых дверях и встретившие девочек поцелуями. Всем им было суждено погибнуть в подвале отчего дома. Муж Катарины, обойщик, преемник своего отца, помогал в это время оккупировать Францию. Этот человек с маленькими усиками и короткими пальцами обойщика считал себя представителем нации, которая сильней, чем другие нации,— до тех пор пока до него не дошли вести, что его дом и его семья уничтожены. Маленькая Тони повернулась еще раз на одной ножке и прыснула на меня остатком воды, которую она еще держала во рту. Конец пути я прошла одна. На Флаксмарктштрассе мне встретилась бледная Лиза Мебиус, тоже девочка из моего класса. Она болела воспалением легких и из-за этого два месяца не могла выезжать с нами на прогулки. Вечерний звон церкви святого Христофора выманил ее из дома. Мелькнули две ее длинные каштановые косы и пенсне на маленьком лице. Она пробежала мимо меня проворно, будто неслась на детскую площадку, а не к вечерне. Позднее она просилась у родителей поступить вместе с Лоттой в ноненвертскую обитель, но когда согласие получила только Лотта, Лиза стала учительницей в одной из народных школ нашего города. Я часто видела ее бледное острое личико, когда она бежала к мессе с нацепленным, как сегодня, пенсне. Нацистские власти третировали ее за приверженность к религии, но даже перевод на работу в школу для умственно отсталых, что считалось при Гитлере опалой, ничуть не задел Лизу, так как она уже привыкла ко всяким преследованиям. Даже свирепые нацистки, самые злобные и насмешливые, становились на редкость милыми и кроткими, когда во время воздушного налета они сидели в подвале вокруг Лизы. Те, кто был постарше, вспоминали при этом, что однажды они уже прятались с этой соседкой в том же подвале, когда в первую мировую войну рвались первые снаряды. Теперь они жались к маленькой презренной учительнице, как будто это ее вера и спокой-

ствие отвели уже некогда от них смерть. Самые наглые и злорадные не прочь были даже позаимствовать толику веры у маленькой учительницы Лизы, которая всегда казалась им боязливой и робкой, а теперь так уверенно держала себя среди всех этих лиц, меловых в скудном свете убежища, во время воздушного налета, который на этот раз почти совершенно разрушил город вместе с ней и всеми ее цеплявшимися за веру неверующими соседками.

Магазины только что закрылись. Я прошла по Флаксмарктштрассе, сквозь толчею возвращавшихся домой людей. Они радовались, что кончился день и предстоит спокойная ночь. Так же как их дома еще не были повреждены снарядами первой большой пробы 1914—1918 годов, ни фугасами недавнего времени, так и их довольные, хорошо мне знакомые лица — худые и полные, бородатые и усатые, гладкие и с бородавками — еще не были тронуты преступлением, сознанием того, что им пришлось быть свидетелями преступления и молчать из страха перед властью государства. А ведь им вскоре должна была надоесть эта чванливая власть и ее трескучие наставления. Но может быть, они вошли во вкус всего этого? Вот этот булочник с подкрученными усами и круглым животиком, у которого мы всегда покупали сдобные штрицели, или кондуктор трамвая, со звоном проносящегося мимо нас? А может быть, этот мирный вечер, с торопливыми шагами прохожих, перезвоном колоколов, последним гудком далеких фабрик, и этот скромный уют трудовых будней, которым в эту минуту я наслаждалась с такою отрадой, заключали в себе что-то отталкивающее для тогдашних детей? Настолько отталкивающее, что вскоре они уже жадно впивали вести с войны от отцов и так страстно рвались сменить запыленную или обсыпанную мукой рабочую блузу на военную форму?

Меня вновь охватил приступ страха. Я боялась свернуть на свою улицу. Я как будто предчувствовала, что она разбомблена. Это чувство скоро прошло, потому что уже на последнем отрезке Баухофштрассе я свободно могла идти к дому моим обычным, любимым путем, под двумя большими ясенями, которые вздымались, как колонны триумфальной арки, по обеим сторонам улицы, касаясь друг друга листвой, неповрежденные, несокрушимые. И я уже видела белые, красные и голубые круги клумб из гераней и бегоний на газоне, пересекавшем мою улицу. Когда я приблизилась, вечерний ветер с небывалой силой прошумел над моей головой и выбросил из кустов боярышника целое облако листьев. Сперва мне показалось, что они горят на солнце, но на самом деле они были окрашены в солнечно-красный цвет. На душе у меня было так, как всегда после целого дня прогулки,— словно я уже давным-давно не слышала посвиста рейнского ветра, заблу-

дившегося на моей улице. Но я очень и очень устала. Я была рада тому, что стояла уже перед домом. Только надо было еще подняться по лестнице, а это было невыносимо трудно. Я взглянула вверх, на третий этаж, где помещалась наша квартира. Моя мать уже стояла на балкончике над улицей, украшенном ящиками с геранью. Она поджидала меня. Как, однако, она молодо выглядела, моя мать,— гораздо моложе меня! Какими темными были ее гладкие волосы по сравнению с моими! Мои уже вскоре совсем побелеют, а у нее еще не заметно седых прядей. Она стояла довольная, прямая,— судьба явно предназначила ее для хлопотливой семейной жизни, полной повседневных радостей и тягот, но не для мучительного, жестокого конца в глухой деревне, куда она была выслана Гитлером. Теперь она узнала меня и кивала мне, как будто я вернулась из путешествия. Так улыбалась она и кивала мне всегда, когда я возвращалась с прогулки. Быстро, как только могла, я вбежала в дом.

Перед тем как взбежать по лестнице, я остановилась — почувствовала себя внезапно слишком усталой. Голубовато-серый туман усталости окутал все. Но вокруг меня было светло и жарко, а не сумрачно, как бывает на лестницах. Я заставляла себя подняться к матери, но лестница, неразличимая в тумане, казалась недосягаемо высокой, невозможно крутой, будто вела на отвесную гору. Может быть, мать уже вышла в переднюю и ждет меня у входной двери. Ноги отказывались мне служить. Только совсем маленькой девочкой я испытывала уже подобный страх. Мне казалось, что нечто неотвратимое не даст нам увидеться. Я представила себе, как тщетно ждет меня мать, отделенная от меня лишь несколькими ступенями. Правда, одна мысль утешала меня: если я свалюсь здесь от усталости, отец сможет сразу найти меня. Ведь он вовсе не умер. Он скоро вернется домой — рабочий день уже кончился. Он только любит болтать на углу с соседями дольше, чем это нравится матери.

Уже гремели тарелками к ужину. Мне слышно было, как за всеми дверями кто-то ритмично шлепал руками по тесту. Странно, однако, что таким образом готовят оладьи. Видно, вместо того чтобы раскатывать вязкое тесто, его просто расплющивают ладонями. И еще со двора доносился горластый крик индюка. Я удивилась,— с чего это у нас во дворе вдруг развели индюков. Хотела оглянуться, но удивительно яркий свет из окон, выходивших во двор, ослепил меня. Ступеньки застлались туманом, вся лестница раздвинулась в бесконечную глубину, точно в пропасть. Тучи заклубились в оконных нишах, быстро заполняя пространство. Я еще смутно подумала: «Как жаль! Мне так бы хотелось, чтобы мать обняла меня! Если я слишком слаба, чтобы подняться,— откуда

мне взять силы вернуться в далекое село, где меня ждут к ночи?» Солнце все еще жгло. Его лучи палят всего жарче, когда падают косо. Мне все еще было дико, что здесь совсем нет сумерек, только мгновенный переход от дня к ночи. Я собрала все свои силы и стала тверже ступать, хотя подъем терялся в бездонной пропасти. Перила лестницы перевернулись и образовали мощный частокол из трубчатых кактусов. Я больше не могла различить, что было зубцами гор, а что — тучами. Я нашла дорогу к кабачку, где отдыхала, спустившись из расположенного выше далекого села. Пес уже убежал. Два индюка, которых не было прежде, разгуливали по дороге. Мой хозяин все еще сидел на корточках перед домом, а рядом с ним сидел его сосед или родич, так же оцепеневший от размышлений или ни от чего. У ног их дружно прилегли тени их шляп. Мой хозяин не шевельнулся, когда я подошла,— я не заслуживала этого. Он просто включил меня в привычный круг своих ощущений. Сейчас я слишком устала, чтобы сделать еще хотя бы шаг. Я села за тот же стол, что и прежде. Я собиралась вернуться в горы, как только немного переведу дух. Я спрашивала себя: «Как мне теперь проводить свое время — сегодня и завтра, здесь и где-то еще?» — ибо я ощущала теперь бесконечный поток времени, необоримый, как воздух. Ведь нас приучили с детства, вместо того чтобы смиренно отдаваться на волю времени, покорять его тем или иным способом. Внезапно мне вспомнилось задание моей учительницы тщательно описать нашу школьную прогулку. Завтра же или еще сегодня вечером, когда моя усталость пройдет, я выполню это задание.

1943

КОНЕЦ

Инженер Вольперт пошел от железнодорожной насыпи в деревню, чтобы купить или одолжить два мотка крепкой веревки; детали машин для ремонта путей, которые он сопровождал, от вагонной тряски так разболтались, что, если их как следует не закрепить, он привезет лишь груду металлолома.

Дойдя до первого двора, он увидел, что его бригадир Эрнст Хениш машет ему из ворот — видно, он уже нашел то, что нужно.

— Приветствую всех,— сказал Вольперт.

Хениш стоял рядом с коренастым, невысокого роста крестьянином лет тридцати — сорока.

— Господин Циллих нас выручит — он одолжит нам вот эти веревки. Я обещал их переправить назад с обратным поездом. Денег он за это не берет.

— А еще я могу вам продать четыре совершенно новые веревки,— предложил крестьянин.— Но они у меня в поле, в телеге.

Он говорил раздумчиво, неторопливо, на здешний манер, как будто слова тоже стоили денег и с ними неохотно расставались. Глаза у него были маленькие, темные, недоверчивые, а ноздри — такие круглые и подвижные, что они казались еще одной парой глаз. Нос — короткий, вздернутый, рот маленький, вообще все черты его лица были мелкими, а само лицо занимало непропорционально мало места на крупной крестьянской голове. Уши тоже были крошечные, с подтянутыми вверх мочками и странным образом повернутые, не прижатые, как обычно, а оттопыренные,— словно нарочно приспособленные для улавливания всех звуков.

— Хорошо,— сказал инженер.— Я возьму и новую веревку.

Его взгляд задержался на ушах крестьянина, который повернул голову и позвал:

— Ганс!

В дверях дома показался мальчик лет двенадцати. Он был так худ, что рубашка не скрывала торчащих ключиц. Лицо у него было замкнутое, большие, плотно сжатые губы выдавались вперед,

ноздри вздрагивали. Он не поднимал глаз, словно вид незнакомых людей мешал ему, как яркий свет.

— Беги-ка в поле,— приказал ему отец,— и принеси те четыре пеньковые веревки, которые мы свили на прошлой неделе. Они лежат на телеге, в корзине. Слышь, живо! — добавил он, видя, что мальчик стоит в нерешительности.— Ну, пошевеливайся!..— И в подкрепление он дал пинка мальчишке, который нехотя побежал со двора.

Инженер нахмурился, он пристально поглядел крестьянину в лицо. Тот рассмеялся:

— Нерасторопный малый!

Но глаза его не смеялись. Он несколько раз искоса взглянул на Вольперта.

Эрнст Хениш спросил:

— А далеко до поля?

— О, пустяки, минут десять.— И он прищелкнул пальцами — видно, ему пришла в голову блестящая мысль. Вольперт вздрогнул. Тогда Циллих быстро засунул руку в карман брюк, словно щелкать пальцами было запрещено.

— Если вы спешите, мне, пожалуй, лучше самому пойти. Этого паршивого мальчишку только за смертью посылать,— сказал он и затрусил по деревенскому проселку.

Вольперт мрачно глядел ему вслед. Затем он прислонился к стене дома и закрыл глаза. Теперь он видел Циллиха таким, каким тот будет стоять перед его мысленным взором до смертного часа. Тот Циллих, которого он видел с закрытыми глазами, носил форму СА, а когда поворачивался спиной к колонне заключенных, направляющихся на работу, зад его распирал брюки. «Свиное ухо» — прозвали Циллиха в концентрационном лагере из-за подтянутых мочек. На толстом лице глаза его гляделись бусинками, словно птичьи, но взгляд их был цепким и острым. Равнодушно-внимательно, будто птица с ветки, следил он за выполнением своих приказаний: то это была маршировка с поднятыми руками, назначавшаяся в наказание, во время которой как-то почти одновременно упали от разрыва сердца двое стариков; то приседания под палящим солнцем — обычное испытание для вновь прибывших; то вылизывание языком грязной лестницы — при этом он дал еврею, которого терзал таким образом, хорошего пинка в зад. Вообще, когда он кому-либо приказывал сделать то или это, он каждую свою команду подкреплял пинком. Даже когда Буххольца ночью вытащили из барака, чтобы вести на расстрел, он таким вот ударом ноги отправил его, так сказать, в могилу. А когда Гебхарта забили насмерть на глазах у всей колонны, Циллих, скрестив руки, равнодушно наблюдал за этой сценой. Но вдруг в самую послед-

нюю минуту он кинулся к распростертому на земле, словно стервятник, который долго кружит над жертвой и принимается ее когтить, только когда она издыхает.

Вольперт часто думал о том, какова дальнейшая судьба этого палача. О встрече с ним он мечтал и во сне и наяву. Он и выжил-то в лагере, возможно, только из жажды мести. После окончания войны он, волнуясь, проглядывал все списки арестованных в надежде найти там имя этого человека. Он потерял его из вида, когда в лагере услышали канонаду советских орудий. Комендант отдал свой последний приказ: согнать всех заключенных между бараками и расстрелять. В этой сумятице Вольперту удалось избежать гибели благодаря той смелости и находчивости, которые проявляются только в момент смертельной опасности. Быть может, и Циллих тогда удрал. В охватившем его паническом ужасе перед русскими была заключена последняя искра человеческого, последняя крупица представления о справедливости этого мерзавца.

Когда Вольперт вновь открыл глаза, между ним и Хенишем стояла женщина. Одета она была в темно-синее хлопчатобумажное платье, голова покрыта платком, а лицо, изрезанное морщинами, выглядело таким старым, что ее легко можно было принять за мать Циллиха. Однако она сказала:

— Мой муж так скоро не вернется. Вам лучше пойти обождать его в трактире, напротив. Пива там, правда, еще нет, но есть домашнее вино из крыжовника.

Вольперт думал: «И это в самом деле его жена? Это в самом деле его двор? Его в самом деле так звали?»

Деревенская улица была такой чистой, словно ее собрали из детского строительного набора. Единственный след, который напоминал об обстреле, о жестоком штурме ратуши, был балкон, сложенный из новеньких кирпичей, так отличающихся от выщербленных, потемневших от времени кирпичей самого здания. О том, что трактир тоже получил свою долю снарядов, свидетельствовала его боковая стена, местами свежеоштукатуренная и покрашенная.

Хениш и Вольперт уселись в садике перед трактиром, наискосок от дома Циллиха. Голова фрау Циллих то и дело мелькала среди подсолнухов. Она что-то рвала в своем огородике, где ровными рядами были посажены салат, петрушка и редиска. Кусты помидоров росли вдоль забора. На шесте, возвышавшемся над подсолнухами, отливал синевой стеклянный шар.

Вольперт думал: «Это в самом деле его дом?.. Он в самом деле здесь живет?.. У него в самом деле такой же стеклянный шар, как у соседа?..»

К ним подошла хозяйка и смахнула передником со стола опавшие листья каштана. Она с довольным видом расстелила клетчатую скатерть, явно радуясь тому, что жизнь снова входит в старую колею. Потом принесла кувшин и два стакана. Хениш попробовал, выругался: «Ну и кислятина!» — и снова налил себе.

Вольперт неотрывно глядел на проселочную дорогу, которая, петляя между пологими холмами, исчезала в буковой рощице.

— Когда Циллих вернется,— сказал он,— гляди, пожалуйста, в оба, чтобы он снова не ускользнул от нас.

Хениш поднял на Вольперта свои веселые глаза, куда более молодые, чем его лицо и седые поредевшие волосы, и с удивлением уставился на его нахмуренные брови.

— Что ты намерен делать?

— Сперва я крикну: «Циллих!», чтобы он зашел сюда за забор, тогда мы встанем, и он окажется между нами. Я задам ему несколько пустячных вопросов. Но учти, может случиться, что он от них озвереет.

Хениш был невысок ростом и очень подвижен. Можно было предположить, что он поседел, как и многие другие, от страданий этих лет, но на самом деле это был старый человек, которого делала молодым его манера держаться. За последние десять лет он пережил за собственных и чужих сыновей больше, чем обычно выпадает на долю целого поколения. Он насмешливо взглянул на Вольперта и сказал:

— Если этот человек действительно тот самый Циллих, о котором ты нам столько рассказывал, то я не понимаю, почему ты решил выпить эту кислятину прежде, чем схватить этого типа.

— Мне сразу показалось, что я его знаю,— объяснил Вольперт,— но пока я думал, как он похож на того, кто он, видимо, и есть, он успел удрать.

Вольперт еще больше нахмурился, не сводя глаз с буковой рощицы, за которой раскинулись поля этой деревни. Хениш положил руку на плечо Вольперта, теперь и он увидел фигурку, которая двигалась между кустов к деревне. Но это был мальчик. Он отворил калитку в свой двор, перебросился несколькими словами с матерью, затем, таща за собой веревку, подошел к садику трактира.

— Деньги отдайте матери! — крикнул он через забор.— Отец сейчас домой не вернется.

— Тогда мне придется пойти в поле,— сказал Вольперт.— У меня есть к нему еще одно дело.

— Зря пойдете. Его уже там нет. За ним пришли... Насчет работы... На какую-то новостройку... Там хорошо платят, сказал отец. Если бы он тут же не пошел с ними, ему бы эта работа не досталась...

Хениш расхохотался. Мальчик с удивлением поднял глаза: потом его взгляд остановился на лице Вольперта, который побледнел, как полотно. Он заметил, что Вольперт и Хениш переглянулись. Вольперт сказал хрипло:

— Подойди-ка сюда.

Вскинув голову, мальчик поглядел на мужчину, который сверху вниз глядел на него. Его глаза были карие, а глаза мужчины серые. Вместо ясности и покоя Вольперт увидел в глазах ребенка множество тревожных вопросов.

Мальчик осторожно отвел свой взгляд от глаз незнакомца, так как не нашел в них ответа на свои вопросы. Он стоял и теребил веревки. Он был куда более неспокоен и нервен, чем большинство крестьянских мальчишек.

Хениш почти вырвал у него из рук веревки.

— Ступай домой, малыш,— приказал он и, повернувшись к Вольперту, добавил: — Пойду отдам деньги его матери, а ты иди к поезду, я тебя догоню.— Понизив голос, потому что мальчик все еще тревожно глядел на них, словно чувствовал, что эти незнакомые люди несут в себе какую-то угрозу, он добавил: — Нам придется все это отложить до Цейсена. Что ты можешь тут сделать? Здесь нет ни почты, ни полиции. К кому ты обратишься в этой гнусной дыре? А бургомистр, может, ему сват или брат.

Хениш зашел в дом Циллиха и отдал деньги его жене, которая была этим очень удивлена и обрадована. Потом он так быстро взбежал по насыпи, что догнал Вольперта. Они укрепили веревками детали машин. Поезд тронулся в Цейсен...

Чуть холмистая местность краснела кое-где островками невырубленных буков. Она была разделена на такое множество четырехугольников картофельных и пшеничных полей, что выглядела как аккуратно заплатанный крестьянский фартук. Война казалась здесь столь же далекой, как и все те войны, о которых рассказывал деревенский школьный учитель. Земля залечила раны от артиллерийского огня, и лишь мирные дымы от тлеющей сухой картофельной ботвы поднимались к серо-голубому предвечернему небу.

Фрау Циллих тем временем спрятала полученные деньги в ящик. Этот неожиданный заработок пришелся ей как нельзя кстати. Если Циллих действительно отправился в город на работу, было еще далеко не ясно, вернется ли он назад, когда и с какими деньгами. Хотя теперь все дела по хозяйству свалились на нее и на старшего мальчика — остальные трое были еще так малы, что от них не жди никакой помощи,— от ухода мужа она испытывала скорее облегчение, чем досаду. И это несмотря на то, что с тех пор, как Циллих пришел домой, он работал не покладая рук. Нежданно-негаданно, когда все уже окончательно рухнуло, когда запах гари

от пылающего Цейсена долетал до деревни, когда кругом кишмя кишело чужеземными солдатами, он как-то вечером появился во дворе, словно из-под земли вырос. День и ночь, не зная устали, бежал он с востока на запад, чтобы поскорее добраться до дома. Его потянуло в деревню, лежащую среди давно оставленных им холмов, на берегу давно оставленной им речушки, как ребенка тянет на колени матери. Стиснув зубы, он тут же отправился в путь, словно его неудержимо манил жалкий крестьянский труд, которого он прежде терпеть не мог. Как только, повинуясь воле отцов, они сыграли свадьбу, он стал уклоняться от работы. Он не выходил из трактира, участвовал во всех попойках и драках. Но еще больше, чем от побоев и пинков, она страдала от его постоянного глумления. Он все твердил, что она вызывает отвращение, что она грязная, уродливая и тупая баба. Но не была же она так тупа, чтобы не понимать оскорбительности его слов. Когда он надел коричневую рубашку, хромовые сапоги и кожаный ремень, лучше стало в том отношении, что драки в деревне сами по себе прекратились, потому что все люди вдруг как-то притихли. К тому же он тогда часто ездил на грузовике в Цейсен на всевозможные собрания, с которых он возвращался всегда усталый и сытый.

Она надорвалась на работе, когда он в один прекрасный день, не долго думая, вдруг уехал, бросив на нее все хозяйство. По приказу фюрера, сказал он, это его долг, так же как и ее. С тех пор его почти никогда больше дома не было — он приезжал только на короткие отпуска. В мирное время было уже совсем как в войну. Иногда он посылал деньги, что помогало ей как-то сводить концы с концами. Потом, с фронта, он посылал ей посылки с вещами, с едой и с башмаками для детей. Она уже почти с ним примирилась, особенно когда он так неожиданно появился во дворе. Его словно подменили, он стал набожен, работящ, тих. Только иногда у него пробуждалось желание ущипнуть кого-нибудь из малышей или скорчить им зверскую рожу, или он, словно полоумный, часами что-то шептал про себя. Особенно ей было невмоготу проводить вечера на кухне вдвоем с мужем, который сидел, уставившись в одну точку.

Но в деревне говорили: «Циллиху пообшибали рога», или: «Теперь Циллих знает, почем фунт лиха!», или: «Радуйся, хоть без мужа не осталась»...

Как только мальчик, получив от отца веревки, скрылся в буковой роще, Циллих спрятал инструменты, которые он было вытащил, в заранее выкопанную яму и быстро зашагал по дороге, идущей вдоль холмов. Он пересек шоссе, а когда до него донесся паровозный гудок, нырнул в кусты, окаймлявшие луг. Впрочем, незнакомец все равно его не узнал бы издалека, с поезда, даже если бы смотрел в полевой бинокль — он был всего маленькой то-

чечкой на широкой равнине. Циллих четко не вспомнил этого человека, но он показался ему подозрительным, когда почему-то вздрогнул и стал вдруг с чрезмерной пристальностью следить за всеми его движениями. С тех пор как осенью 1937 года Циллиха назначили охранником в концентрационный лагерь Вестгофен, под его надзором перебывало столько заключенных, в стольких лагерях, что из этих тысяч он не мог упомнить каждого в отдельности. Большинство из них погибло, но, без сомнения, по стране еще были рассеяны некоторые — те, которым удалось пережить даже войну. Были среди них, наверно, и такие, кому мысль о мести не давала покоя. Они не признавали мира, о котором так истосковались люди и поля. Они думали только о ненависти и мести, и это после того, как человечество чуть не захлебнулось в крови и стремилось к тишине и покою под ясным небом, мечтало лишь о том, чтобы сеять и собирать урожай. Впрочем, Циллих был согласен и на любую другую работу, которую мог бы спокойно выполнять, не опасаясь, что его вдруг опознают, что кто-то за ним будет недоверчиво следить, что вечером его призовут к ответу. Куда ему теперь деться? Он был счастлив, когда ему удалось наконец добраться до дома, оставив за спиной тысячи километров и три враждебные армии. Дома он обрел покой. Никто в деревне толком не знал, где он прослужил все эти годы. Никто уже в точности не помнил, кому и когда он ломал кости. До этой сегодняшней встречи. Скорее всего, этот тип сидел у него в лагере Пяски в Польше. Так ему мерещилось.

Поезд уже давно миновал следующую станцию, когда Циллих решился выбраться из кустов. Он изменил направление своего пути: он быстро шагал теперь в стороне от шоссе по проселочной дороге, которая вела в Вейнгейм. Из осторожности, вошедшей ему в плоть и кровь, он избежал встречи не только с несколькими иностранными военными патрулями, но даже с крестьянами, сторожившими поля. Издали уцелевшие на краю города дома с остроконечными крышами и фронтонами казались задником, на фоне которого громоздились развалины и копошились люди.

Городские ворота, в которые вошел Циллих, тоже хорошо сохранились, но вели они на пепелище. Груды обломков и битого кирпича в основном удалось мало-помалу разобрать, так что город представал теперь в виде черного облака над строительной площадкой, отчасти уже перекопанной и местами перерезанной аккуратными канавами, наполненными грунтовой водой. Было здесь и некое подобие улиц из зыбких времянок, сложенных на скорую руку, чтобы столь же быстро быть снесенными. Времянки эти стояли на месте тысячелетней крепости, от которой не осталось и следа. К ним тянулся поток людей, окончивших смену. Циллих при-

соединился к толпе. Кто-то обратил внимание на растерянное выражение его лица и из чувства товарищества пригласил Циллиха переночевать в бараке.

Большинство из лежащих на соломенных тюфяках застряли в этих бараках, ими самими сооруженных из остаточного чувства порядка, потому что либо вовсе не имели своего дома, либо задержались по пути домой, привлеченные временной работой. Циллих, пробираясь к себе в деревню, уже перебывал во многих подобных пристанищах, битком набитых людьми, и всегда тосковал в них по родным стенам, но теперь он впервые почувствовал покой от ненавистного ему прежде спертого людского духа. Он был измучен до крайности. Он уткнулся лицом в руку соседа и заснул. Но сон не принес ему отдыха, а только тревогу и смятение. Ему ничего не снилось или что-то бесформенное, неуловимое, но всеми клетками своего существа он ощущал надвигающуюся угрозу. Он предчувствовал смерть, как нечто неотвратимое, всемогущее и безошибочно разящее. Ему казалось, что смерть идет за ним следом, что она нагоняет его. Она словно дергала его за волосы, жгла ему сердце, щипала за пятки, мурашками пробегала по спине. Циллих готов был реветь от бешенства, любой ценой избавиться от этого наваждения, он кричал во сне: «Прекратить!» Он приказывал: «Вон! Живо! Кругом марш!» Сосед тряс его за плечо, будил, добродушно уговаривал: «Успокойся, теперь ведь мир...» Видимо, и его, и других соседей не раз мучили кошмары. Циллих думал: «Мир-то мир, да не для всех! Не так это все просто».

Он, как зверь, который притворяется мертвым в минуту опасности, старался вжаться в свой тюфяк. Проснувшись, он приподнялся и провел рукой по лицу, волосы его были мокры от пота. За спиной раздавался гул голосов, хотя люди явно старались говорить шепотом. Он разозлился, что ему не повиновались, хотя он ведь только во сне приказывал соблюдать полнейшую тишину. Он стал вслушиваться в обрывки фраз, словно поймал нить заговора, который могут плести только в темноте. Шпиль церкви святого Иоганна обрушился... Крышу снесло... Крестовую галерею кое-как покрыли и устроили там контору по найму рабочих. Говорят, скоро придет приказ от оккупационных властей, что каждый должен зарегистрироваться и указать, откуда он едет и куда направляется... Уж конечно, все начнется с канцелярии... И даже когда людям некуда податься, они чувствуют себя вроде бы устроенными, если их имя значится на какой-нибудь бумаге. А номер в списке — это уже как крыша над головой...

Циллих внимательно слушал. Он был взбудоражен всеми этими разговорами. Вдруг какой-то человек, который как раз в это время раздевался, воскликнул:

— Эй, Циллих, да никак это ты?

Циллих решил бежать, но было уже поздно: человек этот пробирался к нему. Даже в темноте было видно, до чего у него растрепанная, спутанная бороденка — ни дать ни взять редька, выдернутая из земли.

— Ты все еще меня не узнаешь? Да я же Антон!

Циллих сразу же его узнал, но лишь глядел на него в упор, словно мог взглядом заставить его исчезнуть. Антон был племянником мельника, которого тот усыновил.

— Чего же ты не дома? — удивился Антон Редька.— Со мной другое дело. Мельница наша сгорела. Тетку хватил удар, где дядя, не знаю. А у тебя дома дел невпроворот...

Циллих коротко ответил:

— Нужны деньги.

— И то правда,— поддакнул Антон.— Нет ни пфеннига, чтобы купить шпагату или гвоздей... Как чудно́, что ты меня сразу не узнал... Я бы тебя узнал из миллиона... Помнишь, когда мы были на побывке дома и многим требовался трактор, ты дал мне попользоваться им без очереди, потому что мой отпуск подходил к концу. Вот это значит поступить по совести, век тебе буду благодарен...

Так как Циллих молчал, Антон с довольным видом сказал: «До завтра»,— и пошел на свое место.

Но Циллиху стало ясно, что больше он здесь оставаться не может. Он еще не ушел достаточно далеко от своей деревни.

Он прокрался, используя все те хитрости, которые помогли ему в свое время избежать ареста на пути домой, мимо патрульных постов, окружавших соседний город. В предрассветной мгле брел он по дороге, направляясь в Браунсфельд, о котором знал только, что город этот находится там, где закатится солнце.

Вот оно взошло и начало, только куда более решительно, чем он, свой путь в том же направлении, бесстрастно светя и добру, и злу, творимому на земле. Звезды гасли одна за другой. Кое-где еще светился бакенный фонарь на реке, да уже зажигали электричество в тех крестьянских домах, где люди надеялись, встав ни свет ни заря, справиться с работой, на которую не хватало дня. Он прошел через деревню, где выжившая из ума древняя старуха, поднявшаяся затемно и вышедшая в еще пустой двор, бодро прокричала ему из ворот: «Хайль Гитлер!», потому что не знала, что Гитлера давным-давно нет. Он шагал по незасеянным полям, которые в бурном бесполезном цветении источали душный аромат, он миновал крестьянскую семью, которая окучивала картошку на своем участке с таким ожесточением, словно нынче занялся первый день творенья и именно этому полю предназначено стать твердью. Он издали увидел, как из долины по проселку к шоссе

поднимался какой-то человечек, да так медленно, что они встретились с Циллихом на перекрестке дорог. Человечек этот был до того грязный, что казалось, со дня капитуляции он нигде не нашел воды, чтобы умыться. На нем была длинная женская вязаная кофта, которая обтягивала его гибкий, вихляющий торс. В верхнюю петлю была воткнута желтая астра. Он обернулся к Циллиху, словно ждал этой встречи, и сказал, хитро поблескивая глазами:

— Куда ты так торопишься, товарищ?

— В Браунсфельд,— ответил Циллих.

— До чего же люди любят доставлять себе лишние хлопоты. Чего ты там потерял, в Браунсфельде?

— Хочу устроиться на работу. На стройку.

— Тут до песчаного карьера рукой подать. Там нас обоих возьмут. На том берегу, в Мамольсгейме, цементный завод. Он снова работает. Там нужен песок.

— Думаешь, меня возьмут на карьер?

— Точно, они каждому рады.

Маленький человечек шел будто гулял, и Циллих тоже перестал торопиться. Может быть, именно на этом песчаном карьере, в стороне от населенных пунктов, ему будет всего спокойнее.

— Ну вот, видишь,— сказал человечек, будто угадав его мысли.— Стоит ли топать до Браунсфельда? Чего зря тормошиться?

Он принялся насвистывать одну за другой старые веселые песенки, которые были модны во время войны, и до войны, и, казалось, испокон веку. Но потом он перешел к другим песенкам и маршам, таким недавним, так хорошо знакомым, что у Циллиха мурашки побежали по спине. Человечек не перестал свистать и тогда, когда из ближайшей деревни вышел батальон американских солдат в форме цвета хаки и промаршировал мимо них,— он даже не сбился с такта. Его явно забавляло, что они не знали, что за мелодии он насвистывает, и глаза его так и сверкали. Закончив «Еврейскую кровь», он принялся за «Куколок».

Циллих свободно вздохнул, когда они благополучно миновали батальон. Ему меньше всего хотелось попасть сейчас в переделку. У него не было никакого желания страдать за то, что рухнуло. Он томился только по миру и покою. «Интересно, что это за тип? — думал человечек.— Сейчас проверим, на какой мотивчик он клюнет». И он засвистел: «Братья, к солнцу, к свободе». Циллих шел, как ни в чем не бывало, и тоже думал: «Что это за тип?» Человечек теперь соловьем разливался, высвистывая «Хорст Вессель». Мимо прошли два мальчика с охапками хвороста, они обернулись и засмеялись. Циллих со своим спутником поравнялись с паровым катком, у которого возилось несколько дорожных рабочих. Человечек свистел теперь «Интернационал». Один из рабочих крикнул:

«Рот фронт!» «Вот один из них»,— подумал Циллих, и ему стало не по себе.

— Как тебя зовут? — спросил он попутчика.

— Меня? Петер Неизвестный.

Циллих озадаченно посмотрел на маленького человечка: шутит он или говорит всерьез? Может быть, и есть такая фамилия «Неизвестный»? Тем временем стало совсем светло. Деревня, через которую они сейчас шагали, уже давно проснулась. «Надеюсь, Ганс нашел мою мотыгу в яме»,— подумал вдруг Циллих. Больше он о доме не вспоминал, не вспоминал о нем и прежде, подобно тому как солдат не вспоминает казарму, где была временно расквартирована его часть.

— Гляди, как заросла травой церковная площадь! Странно, что не приказывают навести тут порядок!— сказал вдруг человечек.

— Мы бы сразу приказали,— ответил Циллих.

«Вот, наконец-то я тебя поймал»,— подумал человечек и сказал:

— Ну, конечно, если бы мы победили... тогда... на Украине, в одном селе, во время наших побед...

Циллих молчал. Он думал: «Не человек, а сатана какой-то... Да еще с желтой астрой!»

— Ты идешь с Востока? Да? — спросил человечек.

Циллих испугался.

— Я? Да нет, нет!.. Я иду с Мааса.

— Странно,— заметил человечек.— Что же ты таким кружным путем идешь в Браунсфельд? А как тебя зовут?

— Шульце,— соврал Циллих.

— Гляди-ка! — воскликнул человечек.— Вот удивительно!..

— Что же удивительного в том, что кого-то зовут Шульце? В Германии ведь тысяча Шульцев!

— То-то и удивительно, что и тебя так зовут. Я вот, например, знал одного, у которого фамилия была Карфуннельштейн.

— Наверняка еврей. Их уж больше нету.

— Нет, нет, кое-какие появляются,— сказал человечек.— Ты что, против?

Циллих вспомнил, скольких он вешал, вынимал из петли и тут же снова вешал. В лагере Пяски он этим особенно увлекался.

— Все же странно, что еще есть евреи,— сказал он.

— Почему? — спросил человечек.— Когда во время всемирного потопа открыли ковчег, из него тоже еврей выскочил.

— Какой еврей?

— Да Ной.

Они шли мимо лиловых полей, на солнце поблескивали тысячи кочанов красной капусты.

— Здесь они уже здорово преуспели,— сказал Циллих.

— Да, здесь и войны-то не было.

Они подымались по пологому склону. Человечек, которого, быть может, звали Неизвестный, свернул на боковую дорогу, и она привела их по гребню холма в буковую рощицу. Потом пошли молодые низкорослые сосенки. Это был заповедник; война его не тронула, он только зарос за эти годы больше обычного. Пахло лесом и травами, и человечек раздувал ноздри. Вдруг он остановился и так резко повернулся, что Циллих испугался.

— Что случилось?

— Ничего. Погляди на реку.

Река была все та же, что и дома. Сверху она выглядела узкой сверкающей полоской. От нее никуда не уйти.

— На том берегу цементный завод,— сказал человечек.— А под нами песчаный карьер.

Тем временем инженер Вольперт обратился в особую комиссию, где сидели союзные офицеры и чиновники, ведающие подобными делами. Его показания внимательно выслушали и тщательно записали все данные, необходимые для розыска.

Когда в лагере Вольперт, смертельно усталый, лежал на нарах и терзавшие его страдания не давали ему сомкнуть глаз, мог ли он тогда себе представить, что пережитые им муки выльются всего лишь в стенограмму и протокол? Ему сказали, что пришлют повестку, как только удастся задержать разыскиваемого человека. Вольперт представил себе Циллиха таким, каким он его увидел утром в деревне, потом таким, каким он был год назад: как он в коричневой рубашке, с широко расставленными ногами внимательно и равнодушно обводит взглядом своих глаз-бусинок изможденные лица заключенных и как он сейчас шагает по шоссе, или сидит в трактире, или работает в облаке пыли на стройке — один из множества, неуловимый, неприметный, без каиновой печати на челе. Молодой офицер, давно уже занявшийся другим документом, вдруг поднял голову, быть может, потому что не услышал, как закрылась дверь за посетителем. Что-то в выражении лица Вольперта остановило его внимание.

— Не беспокойтесь, пожалуйста,— сказал он,— мы всех нашли — и Геринга, и Лея, и Гиммлера, ни один не скрылся.

Вольперт встал и вышел из кабинета. Печаль окутала его сердце, холодная и колючая, как иней. Прежде Вольперт думал, что, очутись он на свободе, он сразу станет веселым, веселым и беззаботным, как ребенок. Теперь же он понял, что веселье ушло так же невозвратно, как и детство, навсегда. Не только его сердце заиндевело, но и каждая мысль, каждая дружба, каждая привязан-

ность. И земля, по которой он шагал, тоже покрылась инеем, теплая осенняя земля. Инструменты, которыми он будет работать, хлеб, который будет есть, каждая крошечка, каждая былинка — все здесь покрылось инеем. Кровь высохнет, но иней, губящий молодые побеги, как мороз, добрался до живой сердцевины всего. Американцы за конторкой принимают его, Вольперта, за человека с бешеной жаждой мести, которую они своими действиями стремятся умерить, как и любую жажду. Даже если они завтра схватят Циллиха, то не выкорчуют древа зла, на котором Циллих лишь малый листочек. Иней, покрывший все, от этого не растает, не зацветут побеги, прихваченные морозом. Печаль его сердца ничем нельзя было унять, и от того, что поймают Циллиха, ему не станет веселее.

— Нет, станет веселей, куда веселей! — воскликнул Хениш, с которым Вольперт иногда коротал теперь ночи в вагоне.— Ты не можешь не обрадоваться, если повесят этого мерзавца. И лучше всего ногами вверх. Кто не радуется, когда удается убить чумную крысу? Конечно, зло таким образом не одолеешь, ты же не можешь уничтожить самого сатану. Для этого надо было бы сперва покончить со всем старым уродливым миром, но что до меня, то я-то уж был бы вот как рад, если б им удалось, на первый случай, разделаться с Циллихом...

Песчаный карьер находился в часе ходьбы от реки. Давно уже проложили к берегу рельсы, по которым бегали вагонетки от экскаваторов к понтонам. Каменные ступени, ведущие к эстакаде несуществующего моста, взорванного во время войны, нелепо торчали в стороне на берегу, словно приглашая людей, умеющих ходить по воде как посуху.

Циллиха определили в бригаду из двенадцати человек. Он работал ожесточенно и молча. По окончании смены рабочие либо шатались по деревне, либо болтали, сидя на каменных ступенях бывшего моста. Циллих в одиночку съедал полагающуюся ему еду, потом шел в барак и заваливался спать. Каждый вечер он чувствовал себя смертельно усталым, словно только что завершилось его бегство с Востока на Запад. Товарищи по работе вскоре оставили его в покое. Его считали чудаком, но в такие-то времена чудаков повсюду было хоть отбавляй. Бригадир был им очень доволен — такие рабочие, как Циллих, на улице не валялись.

Только одно привлекало к Циллиху внимание — его постоянное желание спать. Старший в бараке шутил: вот, мол, у кого должна быть чистая совесть, ведь это, как известно, лучшее снотворное. Первое время Циллих боялся, что выдаст себя во сне. Но с той ночи в Цейсене сны ему больше не докучали, а если что

и снилось, то только самое повседневное — грохот для просеивания песка, который опять забился, или вагонетка, которую не удавалось достаточно быстро нагрузить. Больше всего он любил предвечерние часы, когда он один приходил в барак. Там было тихо и пусто, ничто его не раздражало, разве только недостаточно аккуратно застеленные нары. Как-то ему даже пришло в голову, что нерях надо бы в наказание гонять по плацу, пока они не упадут в изнеможении, а потом заставить десять — двенадцать раз перестилать нары, спать же они должны прямо на полу, лучше всего в специально налитой луже, и при этом можно еще сказать, что в их же интересах не делать снова беспорядка. Но после этой краткой вспышки бешенства он сообразил, что зря себя мучает, не его дело, как заправлены нары в этом бараке, волноваться по этому поводу ему нечего.

Как-то вечером он сидел у себя на нарах, настолько низких, что с них даже в окно нельзя было смотреть. Так он больше всего любил проводить время: находиться одному в этом большом помещении. Он медленно мыл ноги, тер каждый палец в отдельности. И вдруг кто-то крикнул у него за спиной:

— Добрый вечер, Шульце!

В сумерках Циллих не сразу узнал стоящего в дверях — это был тот самый человечек, которого он встретил на шоссе прямо за Вейнгеймом. В петлице у него на этот раз была не астра, а лютик. Циллих разозлился, что не сможет теперь так же тщательно протереть оставшиеся два пальца на ногах, как остальные восемь. А человечек тем временем подошел к нему поближе.

— Я тебя совсем потерял из виду на этом чертовом карьере,— сказал он.— Меня поселили в последнем бараке, вон там, внизу, у реки. А мне хотелось узнать, нравится ли тебе здесь. Ведь это я, можно сказать, тебя сюда привел.

Циллих ответил, не вынимая ног из чуть теплой воды:

— Спасибо, здесь неплохо.

— Я тебя везде искал, и в столовой, и в деревне, и в лесу. Пока мне кто-то не сказал: «У нас в бригаде есть один тип, который сразу же после работы заваливается дрыхнуть. Спит как сурок».

От этого сообщения Циллиху стало как-то не по себе, быть может, только потому, что чем-то он все же привлек к себе внимание товарищей. Ему хотелось, чтобы гость поскорее ушел. Он молчал.

— Легче всего найти человека, если он ночи проводит дома. Кто шатается, тот может оказаться где угодно. А тот, кто торчит дома, оказывается всегда в одном и том же месте — в постели.

Циллих вытер ноги. У него лежала приготовленная пара носков, он их быстро выстирал в той же воде. Потом выплеснул грязную жижу в окно.

— У тебя даже носки есть! — воскликнул человечек.

— У меня? Ага... Ношу по воскресеньям.

— А что ты делаешь в воскресенье?

— Какое тебе дело?

— Мне? Да никакого. Я вовсе не хочу тебе портить воскресные удовольствия. Я вообще могу уйти.

«Этого нельзя допускать,— подумал Циллих.— Он не должен уйти с обидой».

— Да что ты, я не к тому. Пожалуйста, не уходи так быстро, Неизвестный.

Человечек рассмеялся.

— У тебя хорошая память,— сказал он.— Но здесь я числюсь, разумеется, под своей настоящей фамилией: Пятница.

— Почему же ты мне сказал, что твоя фамилия Неизвестный?

— Не так-то приятно быть Пятницей. Это ведь несчастливый день. Петер Пятница. К тому же мы и встретились в пятницу. Если бы ты все это знал, ты бы скорее всего и не пошел со мной.

— Правда? Это была пятница? — испуганно переспросил Циллих.

— Пятница,— весело подтвердил Петер Пятница, уселся поудобнее, положив ноги в сапогах прямо на одеяло, и продолжал болтать.— Скажи-ка, а из твоей бригады еще никто не удрал? Из нашей сразу двое. Из города приехал какой-то чиновник, он со старшим по бараку стал проглядывать все списки, отмечая целый ряд фамилий. А те двое, не долго думая, тут же дали деру.— Он явно наслаждался испугом Циллиха.— Один из них мне сразу показался подозрительным: больно вид у него был дурацкий при погрузке. Я сразу решил, что это какой-нибудь важный господин. Не забавы же ради он здесь надрывается! Представляешь, чиновник притопал к нам в барак, а этот тип так побледнел, что я подумал: «Попался, голубчик».

Циллих был рад темноте, которая не позволяла разглядеть выражение его лица.

— Кто же это был? — спросил он.

— Говорят, некто Рецлов, комендант лагеря смерти, так, кажется, это теперь называют. Этих господ, видно, всех перевешают.

Он как-то странно, веселыми глазами, посмотрел на Циллиха. «Комендантом нашего лагеря был Зоммерфельд. Он, наверное, тоже имел бы дурацкий вид, если бы ему пришлось грузить мешки,— думал Циллих.— Вот крестьянин, как я,— это дело другое. В деревне с малолетства привыкаешь таскать тяжести».

— А кто был другой? — спросил он.

— Представь себе,— ответил Пятница,— твой однофамилец!

Циллиха так и обдало холодом. К тому же ему показалось, что

Неизвестный, который вдруг почему-то оказался Пятницей, наблюдал за ним в темноте.

— Мне ведь сразу показалось странным,— сказал Пятница,— что именно тебя тоже зовут Шульце.

— Что же я могу поделать?

— Ты? Да ничего.— И он добавил, словно всерьез хотел его утешить: — По-моему, никто вообще ничего не может поделать в таких случаях. Все зависит от судьбы. Ты не считаешь?

— Да, конечно,— горячо подтвердил Циллих.

В эту ночь он заснул не так быстро, как обычно. Он только притворился спящим. Он решил, что беглецы оказали ему большую услугу — отвлекли на себя все подозрения. Особенно второй, фамилия которого тоже Шульце.

Вскоре стало ясно, насколько верную тактику он выбрал, когда вел себя тише воды, ниже травы. При первом же переформировании бригад прораб назначил его бригадиром. Теперь Циллих отвечал за одиннадцать парней, некоторые из них прежде были его товарищами по работе. Они должны были добывать песок из котлована, просеивать его и нагружать в вагонетки.

Та бригада, в которой он прежде работал, не отставала от других бригад, наверное, только потому, что Циллих своим упорством и неутомимостью задавал темп работы. Он успевал иногда кинуть в вагонетку три лопаты песку, пока его сосед управлялся с одной. Но он никогда ничего не говорил по этому поводу, чтобы не привлекать к себе внимание. Теперь он больше не сможет подгонять их своим примером, бригада его, конечно, резко снизит выработку, и прораб призовет его к ответу. Когда он начал покрикивать, члены его бригады сперва смеялись.

— Что это с тобой стряслось, Шульце? Тебе что, платят за каждую песчинку?

Но они перестали смеяться, видя, что бригадир прижимает их все больше и больше. Особенно он преследовал некоего Хагедорна, своего прежнего напарника, которого он теперь с утра до вечера гонял за всяческие провинности. Циллих даже доложил прорабу, что Хагедорн тянет назад всю бригаду. Он, мол, с самого начала обратил внимание на его нерадивость, да и вся бригада в целом работает из рук вон и скоро, наверное, станет худшей на карьере, но дело все-таки можно еще поправить, если удалить из бригады лентяя Хагедорна. «Погоди, Хагедорн, я тебя прищучу!» — думал Циллих, смакуя давно уже забытый вкус власти, правда, небольшой, не над жизнью и смертью, не над телом и душой, но все же хоть какой-то власти.

Прораб был спокойный, добродушный человек, он слушал обвинения Циллиха, внутренне забавляясь, но никаких выводов не делал. Однако рабочие бригады все больше наседали на прораба, чтобы он убрал Циллиха. Жалобы его тоже сперва только забавляли, но постепенно он стал их выслушивать все с большим недоумением, качая головой. Когда Циллих в очередной раз потребовал, чтобы убрали Хагедорна, он принял наконец решение: как только снова переформировали бригады, он послал Циллиха работать на новый участок и перевел его в другой барак, в противоположном конце карьера.

Подавленный, в полном недоумении перебрался Циллих на новое место. А следом пополз слушок, что с этим типом каши не сваришь. Сперва он молча сносил все насмешки, хотя понимал, откуда они взялись. Некоторое время он работал, как вначале, с ожесточением, не зная устали, молча. Но вот однажды разозлился на своего напарника за то, что тот закурил, когда, по мнению Циллиха, надо было вовсю вкалывать, и не смог промолчать. Однако его ворчанием возмутился не только напарник, но и вся бригада, и язвительным замечаниям не было конца.

Циллих понял, что спокойно работать на карьере он больше не сможет. Он сложил свои вещички и завязал узелок: здесь от него уже не отвяжутся. Вместо того чтобы затеряться среди других, он обратил на себя внимание. Все зависит от судьбы, как сказал Петер Неизвестный, который вдруг оказался Пятницей. Так и не повидавшись с ним еще раз, он с пустой головой, подавленный, двинулся в направлении Браунсфельда.

Поскольку розыски не продвигались, Вольперт обратился в соответствующую инстанцию в Браунсфельд. Чиновник, к которому он попал, оказался не таким бюрократом, не таким равнодушным человеком, как те мелкие служащие, с которыми он до сих пор имел дело.

Офицер в Браунсфельде внимательно глядел на Вольперта и внимательно его слушал. Он стал расспрашивать такие подробности, словно Циллих, которого надо было найти, был самым главным преступником. Своими вопросами он вызвал в памяти Вольперта то, что, казалось, было уже забыто, и так обнаружились еще новые приметы, и все эти сведения он передал повсеместно в подведомственный ему район.

А в это время Циллих находился совсем неподалеку от них, на улице в предместье Браунсфельда. Свободно раскинувшееся пестрое кольцо новых строений обступало когда-то плотно сбитое ядро древнего города.

В конце войны старинный центр его был полностью разрушен, а разноцветные домишки, окруженные садами, стояли как ни в чем не бывало. Глядя на эти улицы, можно было подумать, что Браунсфельд полностью уцелел. Многие жители уже вернулись в свои дома, на окнах висели чистые занавески, а в палисадниках хозяйки подрезали декоративные кусты. Но Циллих нырнул в облако пыли, которое висело над сердцем города. Он оказался на большой площади, где отряды рабочих разбирали завалы и разгребали щебень от разбитых зданий тысячелетней давности. Пробираясь между развалинами, жители города шли к церкви со снесенными шпилями. Отсвет от горящих свечей, будто вечный огонь, дрожал на лишенных кровли сводах и поблескивал в зеленых и красных осколках выбитых витражей. На лицах тех, кто направлялся в церковь, было выражение покорности и растерянности, словно они надеялись собрать в обломках своей старой церкви обломки своей старой веры. Рухнувшие наземь колокола сами вырыли себе могилы возле портала, а два высоких шпиля, которые некогда были приметой этого города, превратились в груду камней. Огромная воронка от артиллерийского снаряда, зияющая посреди всех этих развалин, была обнесена дощатой оградой, видимо для того, чтобы теперь, когда воцарился мир, оставшиеся в живых туда не свалились. Осколки снаряда были удалены, но воронку еще не засыпали. Перегнувшись через ограду, Циллих с ужасом туда заглянул. На дне ее, устрашающе изогнутые, торчали железные скрепы фундамента церкви.

— Так прыгай же, сын мой,— раздался голос за его спиной.

Циллих испуганно обернулся. Он увидел землистое, как у мертвеца, лицо древнего старика; глубоко запавшие глаза горели, как уголья сквозь отверстия полой тыквы, а весь он мелко дрожал, словно его бил озноб. Циллих с отвращением глядел на старика.

— Зачем прыгать? — спросил он в смятении.

— Говорят, разверзнувшаяся бездна снова закроется, если кинуть туда жертву.

От старости он выкладывал все, что приходило ему в голову, первому встречному. Эти вспыхивающие уголья в глубине его глазниц слепили Циллиха, который в хмуром недоумении уставился на старика. Опираясь на костыли, тот медленно побрел прочь, навстречу сумеркам, одиноким и сырым, как могила, которая, он чувствовал, была близка теперь, после того как он пережил вместе с некоторыми стенами этого города страшную войну. Старик скрылся в дверях церкви. Циллих злобно глядел ему вслед.

Ему было не по себе. Почему он не остался на песчаном карьере? Почему он поддался дурацким насмешкам каких-то подонков? Там ему было спокойно и надежно. Карьер — это кротовая

нора, верное убежище. Человека либо находят, либо не находят. Несмотря на насмешки, он жил бы себе и жил на карьере, вне всяких подозрений. А Браунсфельд — большой город. Там есть и трущобы, и всякие развалины, где можно спрятаться, но там есть также и сеть тайного надзора, и каждое укромное местечко может быть захлестнуто этой сетью. По улицам ходили патрули, а плакаты на стенах призывали население охотиться за себе подобными.

Циллих лучше любого другого знал, что в большом городе скрыться невозможно, если умно вести розыски. Они всегда в конце концов вылавливали даже самых умных евреев и самых бывалых коммунистов. Они добывали нужные сведения, подкупая людей золотом. Когда золото не помогало, они действовали страхом. Никто на свете не идет на смерть охотно, особенно ради совершенно чужого человека, своего любимого ближнего. Где ему, Циллиху, найти сегодня крышу над головой?

Он двинулся вслед за стариком. Из полуразрушенной церкви уже доносилось пенье хора. Молитва плыла над землей, усеянной битым кирпичом, и звучала отчужденно и сладостно, словно ангельский хорал. Двери в церковь были распахнуты. Вечерний ветер, проникая сквозь разбитые окна, колыхал пламя свечей. Люди пели, опустив головы, удивляясь, что звук так долго не гаснет. Стоявшие в последних рядах подвинулись, давая Циллиху место. Ему хотелось, чтобы молитва никогда не кончалась, потому что, пока люди пели, никому до него не было дела. Он был рад, что все взгляды прикованы к священнику. Быть может, они и не верили каждому слову, которое произносил этот маленький, сморщенный человечек со своей кафедры. В их душах не было покоя, который дается твердой верой. Просто они чувствовали себя менее тревожно возле этого старого священника, который, возможно, сам во что-то верил. Своим резким, тонким голосом он говорил, что пришло время справедливости. Люди никогда не устанут слушать про то, что первые станут последними, а последние — первыми. Когда Циллих огляделся по сторонам, он увидел старика на костылях, который дрожал теперь как осиновый лист. «Не зря, видно, дрожит,— подумал Циллих.— Ты там на кафедре валяй говори, да только так, чтобы все на тебя глядели». Он с удовлетворением оглядел свои сжатые в кулаки руки, покрытые коротким рыжим волосом, напоминающим слой войлока. Сидевшая рядом с ним старая женщина с небрежным, словно заржавевшим пучком — так седеют рыжеволосые — нервно глядела по сторонам, теребя свой платок.

— Всемогущий бог, читающий в людских сердцах,— звучал пропзительный голос с кафедры,— точно знает, где скрывается преступник, как бы ни было надежно его укрытие; он точно знает,

кто однажды или даже неоднократно, присутствуя при преступлениях, а может быть, даже и убийствах, молчал. Молчал от страха, из трусости, вместо того чтобы поступать по совести, как велит вера. Все те, кто теперь из кожи вон лезут, чтобы обнаружить виновных и указать на них, хотя они молчали бы, если бы их за это не ждала награда, особенно же все те, кто, пережив заключение и всяческие страдания, не могут совладать со своей ненавистью и не найдут себе покоя, пока каждый виновный не будет выловлен,— все эти люди не должны забывать: замолить грехи можно только одним путем — чистосердечным раскаянием.

Уставший от напряжения, ломкий, но по-прежнему резкий голос заглох. Вечерний свет, падавший полосами на склоненных прихожан, был ярко-розовым, и это казалось еще невероятней, чем зеленые и красные отблески от осколков витражей. Молодой человек рядом с Циллихом сидел, словно в оцепенении, закрыв лицо руками. Он встал только под напором выходящей толпы. Циллих вместе с множеством других людей, не знавших, как и он, где приклонить голову, направился в боковой придел. Сквозь его разбитую крышу светилось розовое небо, а пол был покрыт соломой. Молодой человек сел, поджав ноги, на мешок, набитый соломой, рядом с Циллихом и снова, как в церкви, уткнулся лицом в ладони. Он стонал.

— Что с тобой? — спросил Циллих.

Молодой человек, раздвинув пальцы, беспомощно посмотрел на него. Его лицо, мокрое от слез, было худым и каким-то прозрачным. Он был светловолос, очень бледен и, пожалуй, красив.

— Ты же сам слышал проповедь,— ответил он.— Что теперь со мной будет?

— Я не вникал в слова. Что, старик с кафедры тебя в чем-нибудь обвинял?

— Как же мне дальше жить? — тихо произнес молодой человек, обращаясь скорее к самому себе.— Что со мной теперь будет? Ведь мои родители верующие христиане. Мать была такой доброй... Как это со мной произошло?

— В чем дело? Ну?

Розовое небо, видневшееся сквозь пробоины в крыше, давно поблекло. Все мешки на полу уже были заняты людьми. Загорелись звезды.

— Враг преследовал нас по пятам,— продолжал молодой человек.— Мы эвакуировали село Сакойе, гнали крестьян перед собой. Я думал: в какой-нибудь лагерь. А может быть, вообще ничего не думал. Потом пришел приказ: «Стрелять». Мы перестреляли всех до одного — женщин, детей, стариков.

— Это бывало,— сказал Циллих.

— В том-то и все дело... Это было только начало... Потом не раз... Почему я стрелял? В детей... Понимаешь? Почему я это делал?

— Яснее ясного. Получен приказ, и все.

— Вот именно. Почему я подчинялся? Почему я исполнял такие приказы?

— Я что-то не понимаю! А что тебе оставалось делать?

— Почему я перестал думать?.. Прицелившись, я стрелял. Почему я не прислушивался к приказу свыше? Его не было или я был глух?

— Это какой такой приказ свыше? — спросил Циллих.— В то время не могло быть противоречивых приказов. Твой лейтенант получал приказ свыше. А он вами командовал.

— Ты что, не понимаешь, о чем я говорю?.. Истинный, внутренний приказ... Голос совести, который никогда не заглохнет ни в тебе, ни во мне... Сам знаешь.

— Знаю, знаю... Когда я был ранен, довольно тяжело, заметь, осколком гранаты, я все это пережил... Внутренний голос. Он появляется вместе с жаром. А как только выздоравливаешь, тут же исчезает... Я думаю, ты просто вымотался... Ты был ранен?.. Тебе лучше всего сейчас поспать.

Молодой человек посмотрел на Циллиха, и взгляд его был полон удивления и сочувствия. Однако он послушно лег. Циллиху этот взгляд не понравился — он его не понял.

На следующее утро, как Циллих и предполагал, молодой человек успокоился. Но, к великой досаде Циллиха, двери церкви оказались запертыми. Открытой была лишь боковая дверца, но вела она в запущенный садик, где буйно разросшиеся плющ, шиповник и вьюнки густо опутали осколки артиллерийских снарядов, ржавые трубы и какую-то утварь из разбомбленного домика пономаря. Циллих в ужасе отпрянул — снаружи у косяка двери стоял солдат. Он стоял, широко расставив ноги, и показался Циллиху гигантом, хотя на самом деле был не выше его самого. Циллих от страха ~~съежился в комок, лицо его исказилось~~: одна бровь поползла вверх, углы рта опустились, огромные ноздри сжались, а своими глазами-бусинками он испуганно впился в широкое, бесстрастное лицо солдата. Солдат внимательно оглядывал одного за другим всех выходящих из церкви, сверяясь с бумагой, которую держал в руке. Напротив него, у другого косяка, стоял другой солдат, худощавый, с длинным тонким носом, и проверял документы. Так как у Циллиха ничего при себе не было, он протянул солдату удостоверение рабочего с песчаного карьера. Деревня Эрб, округ Вейнгейм. Взгляд широколицего солдата остановился на лице Циллиха, тот скользнул по нему быстрым взглядом птичьих глаз. Странные

поросячьи уши этого типа, несомненно, могли быть особой приметой, но в перечислении особых примет военных преступников такой не значилось. Мокрый как мышь от холодного пота, Циллих вышел на площадь. Никогда еще он не переживал такого страха.

Стоит ли вообще оставшаяся жизнь такого страха? Подобные минуты ему, вероятно, еще сто раз предстоит пережить. Как мал мир! Прежде ему казалось, его родине нет границ, она разрасталась от одного дыхания, пядь за пядью поглощала она весь земной шар. И вдруг она невероятно съежилась — как он сам только что: большая, пыльная, заваленная обломками площадь, а над ней колоколом небо, будто стеклянный колпак над сыром — кружишься здесь, как комар. Его взгляд упал на крест, намалеванный на противоположной стене, широкий крест. Он направился к нему. Это был американский пункт первой помощи или аптека, пережившая войну. Он жалобно попросил кусок пластыря. Девушка приветливо спросила его, где ему надо сделать перевязку. Он отказался от ее услуг, выбежал на улицу и нырнул в первую подворотню. Подняв голову, он увидел, что лестница никуда не вела — самого дома не было. Утреннее солнце, круглое и желтое, висело над ним как привязной аэростат без экипажа. В небе никто за ним не следил. Он оторвал от пластыря два куска и приленил отвернутые мочки ушей к голове. Так тридцать лет назад сделала однажды его мать, когда он с ревом прибежал из школы, потому что его дразнили мальчишки. Потом он растрепал волосы и прикрыл ими уши.

Понемногу он взял себя в руки; быстро шагая, он выбрался из города и очутился в предместье деревенского вида, обступающем городское кольцо, будто зубцы пирога, испеченного в форме, где посередке пустота. Он был растерян. Быть может, город Эрбенфельд находится всего в нескольких часах ходу, быть может, до него надо идти день. Он сам точно не знал, почему Эрбенфельд его больше привлекает, чем Браунсфельд. Он знал только, что у него не хватит духа искать в Браунсфельде работу.

До чего же ненадежен оказался народ, который так воспевали! В его среде он ведь должен был бы себя чувствовать в такой же безопасности, как дитя на коленях родной матери. Вместо единения нации одно дерьмо. Схватят человека на глазах у всех, и никто себе и в ус не дует. Годами трудились они, себя не жалея, чтобы выловить всех негодяев, руки себе о них поотбили, день и ночь караулили, чтобы ни один не сбежал. А где благодарность? Иностранцы хозяйничают в стране, как будто так и надо. Как говорят, чей хлеб жру, тех и песни пою.

Взгляд его упал на старуху, которая тащила мешок. Ему показалось, что он уже видел этот жалкий пучок волос, ржавый, как у всех рыжих, когда они седеют.

Он подошел к ней поближе. В нем снова пробудился дух жизни. А вместе с ним и разум, которым природа наделила это тяжеловесное тело. А разум у него был,— бессмысленно хитрый, бесцельно находчивый разум. Благодаря ему он и был таким, каким был. Жил без цели, без смысла, разумом кошки.

— Доброе утро, мамаша,— обратился он к старухе.— Вчерашняя проповедь прямо сердце перевернула. Ваш священник берет за живое, тут ничего не скажешь.

Старуха окинула его беспокойным взглядом, какой бывает у людей, тронувшихся в уме. Циллих остановился и пристально посмотрел на нее. Она тоже остановилась, словно пригвожденная его колючими глазами-бусинками.

— Господин Зейц... — начала она.

— Он здесь новый?

Она медленно повернула голову влево и сказала:

— Нет, это наш старый священник. Он сидел в концентрационном лагере за то, что отслужил заупокойную службу по мальчикам из нашего города, убитым нацистами.

Циллих отвел глаза. Старуха как-то странно мотала головой.

— Мамаша, давай я помогу тебе донести мешок.

Люди смотрели им вслед. «Авось прибьюсь к их дому»,— думал Циллих. А старуха бубнила свое:

— Мой младший тоже был в лагере. Жду его со дня на день. Теперь ведь все возвращаются домой. Даже те, про которых думали, что они уже давно погибли.

— Дорогая мамаша,— сказал Циллих,— я на свете один как перст. Разреши мне хоть эту ночку провести под твоей крышей.

— У меня еще двое старших. Они теперь никого не пускают,— ответила старуха и опять растерянно замотала головой.

— А ты представь себе, дорогая мамаша, что твой младший бредет сейчас домой и никто не разрешает ему переночевать.

Он внес мешок во двор. Она принялась уговаривать сыновей.

— Вот если ваш брат на пути домой... с ним обойдутся точно так же, как мы с этим человеком...

Ответ сыновей — долговязых, ободранных парней — не понравился Циллиху.

— Нам надо быть осторожными. Теперь время такое, что незнакомец может оказаться бог весть какой сволочью. Наш брат, если бы он вернулся, первый велел бы нам быть начеку. Но, дорогая мама, он не вернется. И выбрось, пожалуйста, эти мысли из головы.

— Нет, нет, вернется. Сами увидите. И плохо будет, если дорогой ему никто не окажет помощь. А этого человека я видела вчера в церкви.

— Мать, брат не вернется,— жестко сказал старший сын.— Он умер. Нам тогда об этом сообщили. Ведь даже твой священник отслужил по нему панихиду и попал за это в лагерь.

Старуха заплакала.

— Дорогие мои... Я прошу вас, дорогие дети.

Старший вздохнул, а второй обернулся к Циллиху и сказал:

— Ладно, можете переночевать у нас во дворе. Куда вы направляетесь?

— В Эрбенфельд, на стройку.

— Ваши документы?

Он во второй раз нахально сунул справку с карьера, но сам в это время весь облился холодным потом. Внимательно оглядевшись по сторонам, он сказал:

— Я могу вам помочь лудить.

— Вы жестянщик?

— Да нет, просто на все руки мастер — все же шесть лет был солдатом.

Старший брат, который все еще не спускал с него глаз, сказал:

— Не надо. Если хотите что-нибудь делать, то вот что: станьте на колени перед кадкой с водой. Эта цинковая бутыль уже как будто готова, теперь надо в нее дуть, если вода будет булькать,— значит, где-то еще не пропаялось.

— Хорошо, буду дуть,— сказал Циллих и опустился на колени прямо на булыжник. Сыновья старухи возились с паяльной лампой и передавали ему вещь за вещью: металлические фляжки, ведра, лейки. Трудно себе представить, сколько всего нужно людям для жизни — словно они собираются прожить ее дважды.

«Не так уж это приятно,— думал Циллих,— дуть в запаянные предметы, проверяя, не текут ли они. Впрочем, махать лопатой на карьере было не лучше. Да и в поле копаться — тоже. В поте лица своего будешь ты добывать хлеб свой насущный. Опять попался в лапы дьяволу».

Старуха обтирала передником запаянные предметы и разносила их по домам. Однажды она пришла ужасно взволнованная:

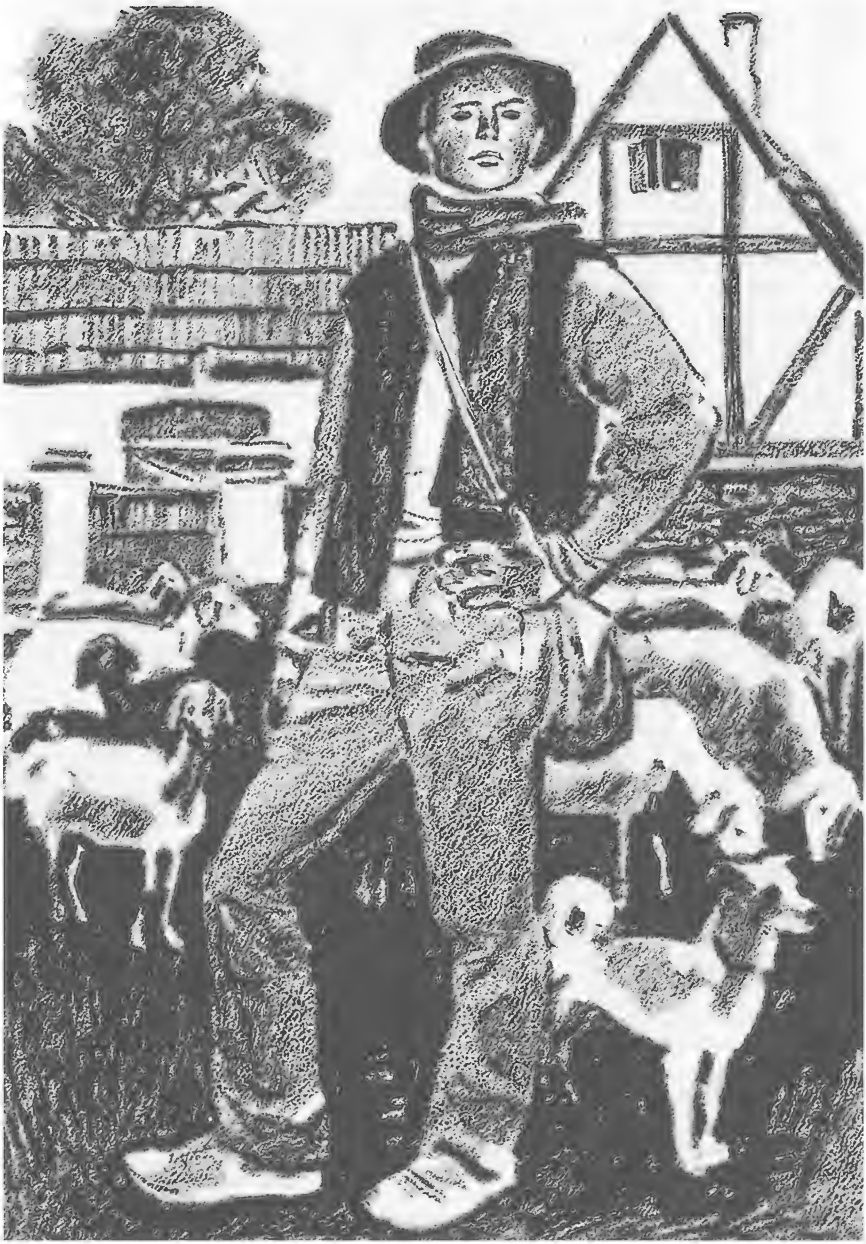
— Там сбежалась вся улица. Видно, опять кто-то вернулся домой.

— Не уходи больше со двора,— жестко сказал тот, что моложе.— Нечего относить каждую вещь в отдельности. Брат умер.

Когда настало время обеда, они втроем пошли на кухню.

— Нельзя его оставить во дворе, словно скотину,— сказала старуха.

— Мы не желаем сажать его за стол. Он нам не нравится,— сказали сыновья.— Надо бы заявить о нем в комендатуру. Там живо разберутся, что он за птица.



«Седьмой крест»

— Да что вы, ребята, там как раз вчера говорили, что устали от доносов.

— Сказали бы они это в свое время нацистам. Тогда наш брат был бы жив.

— Лучше быть чересчур подозрительным, чем чересчур доверчивым.

Старуха чуть ли не тайком вынесла Циллиху тарелку супа. Пока он жадно ел, она выбежала на улицу. Вернувшись, она сказала сыновьям, которые уже снова возились с паяльной лампой:

— Вернулся сын Мюллеров. Видите, он тоже вернулся.

— Наш малыш никогда не придет,— жестко сказали сыновья.— Мертвые не возвращаются.

«Нелегко ребятам приходится со старухой,— думал Циллих.— Вот повели бы ее американцы, которые любят такие спектакли, к тем рвам в Пяски, где мы проводили массовые расстрелы. Тогда она перестала бы ждать привидение!»

Он снова стоял на коленях перед кадкой, проверяя на течь новые предметы. «Был бы я на месте одного из этих парней,— думал он.— А он стоял бы здесь на коленях перед кадкой, и его задница, как моя, была бы задрана вверх...»

Он съежился, когда услышал за собой скрип сапог. Старший сын стоял у него за спиной. Потом он нагнулся и вдруг вцепился в его волосы.

— Почему вы заклеили уши?

Циллих с быстротой молнии вскочил на ноги. Тот, что моложе, засмеялся. Циллих, обезумев от страха, с маху ударил его в грудь. Старший кинулся было к воротам двора, но Циллих успел подставить ему подножку и выбежал на улицу. Он мчался во весь опор, словно бык на арене, а когда деревня уже давно осталась позади, свернул на шоссе. Он слышал за спиной голоса, или ему казалось, что он их слышит. Топот ног, крики. Шум мчавшегося автомобиля. Он прыгнул на обочину, примяв кусты.

Машина оказалась грузовиком строительной фирмы «Редель» из Эрбенфельда, груженным кирпичом. Десятник сидел с шофером, а двое рабочих — на кирпичах, в кузове. Циллих отчаянно замахал.

— Подвезите меня, товарищи. Мне необходимо до ночи попасть в Эрбенфельд.

— Запрещено,— крикнул шофер, не поворачивая головы, но притормозил машину.

Парни, сидевшие в кузове, мигом втащили Циллиха наверх.

— Обнаружат тебя, когда доедем до места. Тогда пусть и запрещает.

— Большое спасибо, товарищи.

Циллих никак не мог отдышаться, потом вытер лицо и волосы. Когда он немного успокоился, он на всякий случай придумал какое-то объяснение:

— Надо же мне было нарваться на таких дураков! Я попал к лудильщикам. Работа подходящая. И вдруг один из них будто взбесился. И как вы думаете, из-за чего? Пластырь у меня на ушах! Мне его в госпитале налепили, после воспаления среднего уха. А парню точно вожжа под хвост попала. Мы разругались, и он меня вышвырнул.

Рабочий, сидевший слева от него, сказал:

— Так, так.

А тот, что сидел справа, пробормотал:

— Понятно.

Это были вполне симпатичные, бодрые пареньки. Одного звали Ганс, а другого — Франц.

— Верно, от духа товарищества ни черта не осталось,— сказал Ганс.

— А оккупантам весьма кстати, что мы друг с другом собачимся,— сказал Франц.

— Так у них есть повод вмешаться в наши дела, чтобы утихомирить страсти.

— И совать свой нос в каждую дырку.

Циллих ничего не сказал. Несколько минут длилось молчание. Его трясло от отчаяния как в лихорадке. «Куда мне деться, бедняге? Где мне приткнуться? Весь проклятый мир против меня». Его рубашка была мокрой от пота, и он мерз на ветру. «А этих господ и след простыл,— думал Циллих.— А я тут подыхай. Годами они меня задабривали: Циллих то, Циллих это. Когда какой-нибудь красный туз молчал, то говорили: надо сходить за Циллихом. Когда какая-нибудь скотина-коммунист оказывался настолько выносливым, что никак не желал помирать, то говорили: «Пусть Циллих им займется». И вот вдруг, ни с того ни с сего выяснилось, что всем теперь на Циллиха наплевать».

— А ты куда направляешься? — спросил Франц.

— На работу,— ответил Циллих, не задумываясь.

— На какую? — поинтересовался Ганс.

— На стройку в Эрбенфельде.

— У тебя есть удостоверение?

— Из Эрба, округ Вейнгейм. Это мое последнее место работы.

Парни за спиной Циллиха переглянулись.

— У нас на стройке, прежде чем берут на работу, заполняют анкету,— сказал Ганс.

— И запрашивают справку с места рождения,— добавил Франц.

Циллих молчал. Мысли, как мухи, жужжали в его круглой, узколобой башке. А парни искоса па него поглядывали.

— Ответа на запрос обычно приходится долго ждать,— сказал Ганс.

— Особенно если человек родом издалека,— подхватил Франц.— Ты ведь не из этих краев?

— Да что ты! Я из Саксонии.

Его рубашка задубела, зато она была уже сухой. И снова перед ним забрезжила надежда.

— Но тебя, товарищ, мы определим на стройку. Послушай...

— Мы знаем одного типа, который тебе может помочь,— подхватил другой.

Циллих кивнул и сказал:

— Вижу, еще жив дух товарищества.

Он чуть было не вывалился из кузова, когда грузовик резко затормозил при выезде из деревни. Парни схватили его слева и справа и удержали.

— Ты только не вздумай бежать. Это самое глупое, что можно сейчас сделать...— прошептали они.

И в самом деле, патруль проверил документы у одного водителя.

«Почему я заточен в свое тело, как в тюрьму? — думал Циллих.— Мне там плохо. Как бы мне вырваться из него!»

Ему стало также сильно не по себе, когда он увидел речку, засверкавшую сквозь ольшаник. Он надеялся, что уже бог весть как далеко ушел от своего дома. А оказалось, что коварно петляющая река его незаметно обогнала, лукаво поблескивая. Оставшийся от города жалкий лоскут с немногими домами, перемежающимися свежими зелеными заплатками огородов, спускался к реке. Казалось, солнце приклеило его к пригорку.

На стройке была обычная деловая сутолока, успокаивающая Циллиха и пылью и шумом, потому что все это никак не напоминало о смерти. Но потом он вдруг снова увидел смерть — невысокую, неровную земляную пирамидку, дразнящую его красным флажком на вершине. Но это оказалось всего лишь предупредительным знаком для автомобилей... Циллих поднял голову, и — ой! — смерть трепетала высоко над ним. Образ переменился: на самом верху строительных лесов бился на ветру звездно-полосатый флаг. Циллих с отчаянием вглядывался в него, словно не знал, что вся страна оккупирована.

— Эй, Мюллер! Мюллер! — окликнули кого-то его спутники.

Циллих обернулся и увидел, что они беседуют с долговязым парнем с длинной шеей, длинными руками и продолговатым черепом.

— Все в порядке. Тебя берут. Иди с Мюллером,— крикнул Франц.

Все четверо молча оглядели друг друга: двое молодых парней, подтянутых и ловких, Мюллер — долговязый прораб и приземистый, плотный Циллих. Какая-то непередаваемая словами общность прошлого и настоящего связала невидимой нитью этих четверых на шумной строительной площадке.

Сразу же после обеденного перерыва Циллих приступил к работе. Он таскал наверх ведра с известкой. Тяжело дыша, шагал он по лесам, окружавшим корпус восстанавливаемой фабрики. Рубашка его, задубевшая от холодного пота, теперь снова взмокла от рабочего пота.

Он боялся головокружения, и первое время не решался глядеть вниз. В разговоры он ни с кем не вступал. Вскоре и к нему перестали обращаться, потому что он отвечал что-то невнятное. Когда же он наконец отважился поглядеть сверху вниз, оказалось, что высота его не пугает. Он был чуть ли не разочарован этим. И высота была не ахти какая, и головокружения она не вызвала. Одним словом, что на ровной земле, что на высоте. Он пристально вглядывался в сине-зеленую полоску реки, мерцающую среди полей, на горы, нависшие над городом, и думал, что в этом пейзаже так же невозможно укрыться, как между мазков и линий на картине. Он поглядел вслед летящим ласточкам, и сперва его охватило острое чувство зависти, но потом подумал, что даже умей он летать, его бы это не спасло — куда бы он мог улететь? Он молча жил день за днем. Он избегал какого бы то ни было общества. Вскоре страх смерти, владевший им, ослаб. Постепенно он стал думать о ней походя, между прочим, как думал во время войны. Она, конечно, нависла над ним как неизбежность, но надо, чтобы повезло. Стройка, конечно, не мышиная норка, но все же он стал чувствовать себя увереннее.

Как-то в столовой его вдруг сзади схватили за плечи. Сердце его остановилось. «Все! Накрылся!» Но оказалось, что по бокам стоят всего лишь Франц и Ганс и, смеясь, тянут его к своему столу.

— Ну как дела-делишки? Тебе нравится на стройке?

Он испуганно переводил свои бусинки-глаза с одного на другого. Только теперь он увидел, что у одного из парней было продолговатое лицо с резко выступающим подбородком. Лицо другого было плоское, широкое и, казалось, вовсе без подбородка.

— Нехорошо забывать товарищей! — сказал Франц, смеясь одними глазами.

— Где бы ты теперь был,— подхватил Ганс с ухмылкой, прищурившись, он сверлил Циллиха холодными глазами,— если бы мы тоже про тебя забыли?

И он засвистел, глядя в окно.

Циллих повернул к нему голову. «Где бы ты был?» Что значит этот вопрос? Почему эти двое заметили, что со мной что-то не в порядке? И почему этот парень сейчас глядит в окно? Что его там заинтересовало? Подъемный кран? Его длинная стрела так высоко поднята над землей, а трос с крюком слишком медленно ползет по двойным шкивам...»

— Между нами говоря, мы Мюллера еще раз подмазали. Пришлось!..— сказал Ганс, пихнув Циллиха в бок.— Приехал инспектор проверять списки. К счастью, мы вовремя об этом узнали...

— Мы ведь тебе уже объясняли, когда сюда ехали,— перебил его Франц,— что нужны справки со всех мест, где ты проживал.

— Со всех?

— Конечно, и на это уходит время... Откуда ты родом?

«Откуда я родом? — с отчаянием думал Циллих.— Что я им тогда сказал? Из Шлезвига? Из Рейнской области? Из Саксонии?»

— Не волнуйся,— сказал Ганс со смешинками в глазах.— Теперь все уже в порядке. Мюллер просто переложил твою карточку из ящика «Не проверенные» в ящик «Проверенные».

— Большое спасибо, товарищи! — вырвалось у Циллиха помимо его воли.

Он сидел беспомощный и неуклюжий между двумя ладными, увертливыми парнями. «Зачем я поблагодарил их? — думал Циллих.— Почему я не сказал: а мне наплевать! Или просто промолчал. Мы ведь не раз прежде вот так ловили людей на нелегальном положении. Вот, например, коммуниста, окружного секретаря Штрауба...»

Циллих нашел какой-то предлог и быстро ушел. Он заметил, что парни придвинулись друг к другу и о чем-то зашептались. Теперь он снова был начеку. В столовой он всегда старался стоять лицом к двери. Когда он издали видел на строительной площадке Франца или Ганса, он быстро сворачивал в другую сторону. Несколько раз ему передавали, что его приятели ждут его там-то и там-то. Назначенное место свидания он всегда обходил стороной. Если бы не эти двое, которые его сюда устроили, он чувствовал бы себя на стройке совершенно спокойно.

В день получки оказалось, что они ожидают его у дверей конторы. Как обычно, они взяли его под руки слева и справа. Так втроем они принялись разгуливать взад-вперед в теплых предвечерних сумерках.

— Мы слышали, ваш корпус будет сдаваться на этой неделе... На внутреннюю отделку много времени не уйдет... Говорят, в том месяце фабрику пустят... И знаешь, какая продукция? Ар-

мейское снаряжение... Американцы все делают на месте, они не возят из-за океана...

Они помолчали. Так как Циллих не выразил никакого удивления, Франц решил высказаться сам.

— Им теперь мало, что наш брат спину гнет во враждебных странах...

— Они хотят, чтобы мы теперь на своей земле на них вкалывали...— подхватил Ганс.

Циллих молча слушал. Он не понимал, куда они клонят. Он вздохнул.

— Вот ты вздыхаешь, а что толку вздыхать! — воскликнул Франц.— Им надо дать почувствовать, что они себе еще не все могут разрешить.

Вызов, прозвучавший в словах Франца, заразил Циллиха, и он ответил в том же тоне:

— Что надо делать?

Они плотнее притиснулись к нему, быстрее зашагали, еще энергичней стали размахивать руками.

— Завтра из четвертого окна на третьем этаже тебе подадут знак. Тогда ты немедленно поднимешься на четвертый этаж, подойдешь тоже к четвертому окну и там, где из стены выходит проводка, будет торчать конец шнура. Ты должен его вытянуть и уложить вдоль проводки. Ты с этим справишься за четверть минуты. После ужина к тебе подойдут в столовой и дадут задание на следующий день. Ясно?

— Так точно,— ответил Циллих.

Они расстались — все разошлись в разные стороны.

Циллих по старой привычке рано отправился спать. Он лежал на койке, положив руки под голову. Его сердце, о котором он прежде не смог бы сказать, где в точности оно находится, стучало резкими колючими ударами. «Что ты так бьешься?» — сказал он своему сердцу. «Сегодня ты мог бы спать спокойно. Сегодня вины еще на тебе нет».

Как ему охранить себя от тех глупостей, что замышляют эти юнцы? Они, видно, готовят эту безумную акцию на тот день, на который оккупанты назначили пуск фабрики. Подумать только, что такие вещи возможны и теперь! И за это они не получат ни ордена, ни денег, ни власти. Они не получили на это никаких указаний сверху, они вообще теперь не имеют никакого права кому-либо что-нибудь приказывать. И почему они выбрали именно его? Потому, что заметили, что он в бегах? Неужели мало, если человеку угрожает каторга за одну вину?

Да, прежде он и сам был готов на любое безумство. Он прошел с фюрером огонь, и воду, и медные трубы. Теперь фюрер умер.

Правда, находятся люди, которые в это не верят. Но, живой он или мертвый, приказывать он уже не может. И второй раз фюреру не удастся его обмануть. Он сулил ему славу и блеск, обещал разделить с ним свою власть. Он выманил его из дома, оторвал от плуга и поля. Обещано было с три короба, и что же из этого получилось? Преследования и страх. Его бросили на произвол судьбы.

Если он сделает то, что велят эти мальчишки, положение его будет еще хуже. И еще куда хуже, если откажется. Вот тогда они ему покажут, где раки зимуют.

Завтра ему нельзя выходить на работу. С этой стройкой — все, кончилось его времечко. Тогда уж лучше всего смотаться ночью. Он застонал. Он смертельно устал от сегодняшнего рабочего дня и от длившегося уже много недель побега.

Но, несмотря на это изнеможение, которое незадолго до конца в последний раз победила жажда жизни, Циллиху удалось с той же находчивостью, ловкостью и изобретательностью, которые он проявил во время бегства из Вейнгейма, благополучно миновать все охранные посты, опоясавшие строительство. На рассвете он со своим узелком в руках уже шагал по горам.

Ремонтный поезд, который перевозил все необходимое для восстановления железнодорожных путей, вернулся после окончания работ в свой отправной пункт Вальдау, в трех часах езды от Цейсена. Вольперт решил сразу же съездить в деревню, чтобы на месте выяснить, чем завершились поиски Циллиха. Хождения по различным административным инстанциям принесли ему одни разочарования: обнаружить беглеца не удавалось.

По сравнению с его первым посещением деревня стала еще нарядней и чище. Еще заметнее, чем тогда, о войне напоминали только кое-где новые кирпичи и отдельные свежевыкрашенные стены. Вольперт направился в ратушу. Бургомистр, старый, бывалый человек по фамилии Абст, крестьянин с достатком, у которого была одна лошадь и пять коров, прекрасно понимал нетерпение Вольперта. Он сам провел два года в концентрационном лагере, а оттуда был направлен в штрафной батальон.

— Но богу было угодно иначе,— рассказывал он о себе.— Я цел и невредим, вернулся домой, к жене и детям. Лошади, правда, нет. Клянусь вам, я ничего не делал против Гитлера. Разве что позволил себе когда-нибудь обмолвиться о нем недобрым словом или рассказать анекдот. Надлер, крестьянин из нашей деревни, донес на меня, потому что во всех делах я был куда удачливее его.

Он утешал Вольперта тем, что Циллих наверняка достал себе

фальшивые документы. Теперь, когда есть приказ проверять личность каждого, это неизбежно выяснится, и его задержат.

Они сидели на новой круглой скамье, которую Абст собственноручно сбил, опоясав ею большое каштановое дерево перед своим домом на деревенской площади. День был прохладный, но солнечный, быть может, это был последний солнечный день в этом сезоне, потому что стояла уже поздняя осень. Из маленького, зеленого домика на площади, где теперь снова открылась школа, вышел учитель, худой, болезненного вида человек с серыми внимательными глазами. Абст подозвал его, и он тоже присел на скамейку под каштаном.

— Это инженер Вольперт,— сказал Абст,— тот самый, который узнал Циллиха и теперь его разыскивает. Познакомьтесь, учитель Деграйф.

Из этих слов Вольперт понял, что в деревне уже все про Циллиха знали. Деграйф посмотрел на Вольперта. Нездоровый блеск его ясных глаз и покашливание выдавали легочного больного, что в прежние времена не позволило бы ему заниматься своей профессией. Абст добавил тем тоном, которым обычно сообщают звание или высокую должность:

— Господин учитель сидел в лагере Заксенхаузен.

— Вам, должно быть, трудно,— сказал Вольперт,— учить детей с презрением относиться к тем людям, которых они прежде должны были приветствовать возгласами «Хайль, хайль!».

— Почему? — спросил Деграйф.— Я к этому уже привык. За это и сидел в лагере.

Он засмеялся и закашлял.

— Господин Вольперт уже во второй раз обходит всех чиновников,— сказал Абст.— Циллиха так и не удается найти.

— Я делаю, что в моей власти, чтобы отправить этого мерзавца на каторгу,— сказал Вольперт и спросил, глядя в ясные глаза учителя и сам удивляясь своему вопросу: — А вы бы это стали делать?

Деграйф, которого тоже удивил этот вопрос, не вяжущийся с жесткими чертами лица инженера, в свою очередь удивил его своим ответом, не соответствующим его ясным глазам:

— Конечно, чтобы все они могли жить.— И он жестом указал на мальчишек, которые как раз выбегали из школы на площадь.— А особенно вот этот.

Невысокий мальчик с учительским портфелем в руках нерешительно подошел к каштану. Его волосы цвета спелой ржи, отдельными толстыми прядями расходясь от макушки, словно шапка, покрывали его круглую голову. Он мрачно глядел на незнакомца, сидевшего между бургомистром Абстом и учителем Деграйфом.

Он прекрасно помнил, как этот человек появился. Он уже тогда почувствовал, что от этого человека исходит что-то леденящее и давящее, какая-то смутная угроза, которая с тех пор как зловещая тень нависла над ним и его семьей. Хотя он был еще совсем юн, он уже прожил свою юность. Прежде все с ним приветливо здоровались, никто в деревне не смел его задирать, потому что он был сын человека на особом положении. А теперь ходили слухи, будто с исчезнувшим отцом не все в порядке. Словно государство нечто столь же необъяснимое и неведомое, как ветер, который дует то так, то этак; и вот теперь ветер вдруг задул против него. Он с тревогой отвернулся от незнакомца, который тоже мрачно его разглядывал, и остановил свой взгляд на лице молодого учителя, к которому уже чувствовал доверие.

— Говорят, у черта нет детей,— сказал Вольперт.

Учитель засмеялся и закашлял.

— А у меня другие сведения. Я читал сказку, в которой рассказывалось, что однажды черт изнасиловал девушку. И тогда господь бог сделал так, чтобы сын ее унаследовал от отца только хорошие качества.

— А разве у черта есть хорошие качества?

— По моей сказке выходит, что да. Сын был чрезвычайно умен.

Учитель положил портфель на колени. Он задумчиво поглядел на мальчика, который все еще чего-то ждал.

— Да, можешь идти домой.

Бессильное послеполуденное солнце золотило голые суковатые деревья. Только последний лист каштана пылал красным пламенем.

Циллих бродил теперь по пустынным дорогам уже окрашенного осенью высокогорья. Иногда ему попадались на пути глухие деревни. Война их пощадила, но они все равно вымирали от нищеты и заброшенности. Первое время он даже не голодал, потому что у него еще оставались деньги от последней получки. Крестьяне в этих высокогорных селениях никогда не удивлялись, встречая одиноких, заблудившихся путников. И Циллиху иногда казалось, что он может здесь вечно странствовать, не зная ни отдыха, ни срока, страдая от голода, но целый и невредимый, как Вечный жид. Его пускали ночевать, а он за это помогал убирать сено. Когда он сидел вечерами в крестьянских домах, где рано гасили огонь, чтобы поберечь керосин или свечи, он с озлоблением думал: «Зачем они вообще живут на свете?» Он томился без духовой музыки, чеканного шага и резких выкриков команд. Он ненавидел эти серые, однообразные дни, которые, подобно воде, тек-

ли между пальцев. Он тосковал по открытой схватке, когда можно топтать ногами противника, орущего, отбивающегося, истекающего кровью. Ему невмоготу было склоняться перед обстоятельствами, словно трава под граблями.

Однажды он неожиданно вышел к горному озеру и с удовольствием услышал, что с противоположного берега доносились гулкие удары топора и молотков и визг пилы. Наконец-то он снова услышал звуки работы, звуки продуктивной человеческой деятельности. Он направился к плотине, которую теперь восстанавливали. Он даже забыл на минуту, что должен затаиться, спрятаться, а не привлекать к себе внимание. Он думал: «Скоро я здесь стану бригадиром, как там, на карьере, в Вейнгейме».

Он смело обратился к начальнику стройки. Объяснил, что направляется в Фульду, и спросил, не найдется ли для него работы до конца недели. Он показал справки из Вейнгейма и Эрбенфельда. Ему дали работу и первое время внимательно следили за ним, но придраться было не к чему. Он не был ни лодырем, ни халтурщиком. Порученную работу он выполнял точно, усердно и молча.

Все рабочие ели и спали вместе в наскоро сколоченных бараках из неотесанных бревен, которые, как только плотина будет пущена, разберут и сплавят вместе с остальным лесом. Они подробно расспрашивали Циллиха, куда и откуда он шел, и Циллих отвечал каждому одно и то же.

Вечером его пригласили играть в карты. Он изо всех сил старался хорошо играть, словно любая его ошибка могла иметь бог весть какие роковые последствия. Он буравил своими глазами-бусинками одного игрока за другим, и по едва заметным знакам улавливал, у кого не было нужной карты. Но вдруг его внимание рассеялось, потому что он стал прислушиваться к разговору, который вели у него за спиной.

— Надо ходить от двора к двору, не миновать ни одной горной деревушки. Власти, вероятно, вскоре заявят, что заниматься проверкой — это их дело, а может, они и удовлетворятся принятыми нами мерами.

Эти слова, причем каждое звучало веско, произнес, судя по голосу, уже не молодой человек. За столом воцарилась тишина, хотя говорили как бы мимоходом, сдержанно.

— Прежде всего надо начать с нас самих. Лучше всего было бы, если бы каждый выступил перед всем коллективом и точно указал, где и как он провел прошедшие двенадцать лет. При этом он обязан будет ответить на любой заданный нами вопрос.

Кто-то сзади крикнул, и Циллих понял, что и там прислушиваются к этому разговору:

— А кто будет задавать вопросы?

— Конечно, мы. Такую проверку надо бы провести на каждом производстве, среди всех работающих людей, по всей стране.

— Да кто последует нашему примеру? Мы в такой глуши, за тридевять земель от всех!

— Не имеет значения,— сказал кто-то, заикающийся от волнения.— Главное — положить начало. За тридевять земель или еще где — неважно.

Тот, что постарше, сказал:

— Нечто подобное проводили в России двадцать пять лет назад, это называлось чистка.

Тут воцарилось почтительное молчание, словно тот, что постарше, был древним-предревним стариком, жившим на свете, когда никого еще не было, задолго до потопа, чуть ли не при сотворении мира. С той настойчивостью, с которой внуки пристают к дедушке, младший собеседник, заикающийся от волнения, попросил:

— Расскажи нам об этом поподробней.

Весь вечер Циллих ничем не был отягощен. А тут сразу сердце упало. До этого он как бы парил в воздухе, а теперь сердце, как гиря, тянуло его к земле.

— Семерка бубен, Шульце, черт возьми, чего ты зеваешь! — ругался кто-то за его столом.

Циллих ухмыльнулся, он все же не мог побороть желания быстро обернуться. Видно, все эти предложения делал, чтобы придать себе вес, вон тот бодрый старикашка с пушистыми, седыми усами и строгими голубыми глазами. Провод, на котором свисала с потолка единственная электрическая лампочка, зацепили за крюк на окне, так что свет теперь падал на сдвинутые столы. Лица сидевших за картами, измененные игрой света и тени, показались Циллиху страшными, как у привидений.

Он с отчаянием бросил карту на стол.

— Семерка бубен!

Они заржали:

— Наконец-то!

Он уставился глазками-бусинками в карты, он думал: «Не могу же я сейчас встать и уйти, это покажется подозрительным. Впрочем, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прежде чем они пошевелятся, я буду уже по ту сторону гор. Что лежит за горами? Французская зона оккупации? Вот туда я и подамся. Там другое начальство, другая администрация, другие учреждения. Но на этот раз я уйду с еще большими предосторожностями, совсем незаметно, не привлекая ничьего внимания».

На следующее утро он был бодрее обычного. О нем говорили: вот этот как будто оттаял. Во время обеденного перерыва ему удалось подойти к тому усатому старику, который ночью ораторство-

вал. Он рассказал ему о всех своих несчастьях: дети пропали без вести, дом разбомбили, жена умерла, а сам он провел долгие годы в заключении, в лагере Пяски, который он, пользуясь собственными наблюдениями, впечатляюще описал. Строгие глаза старика при дневном свете оказались добрее. «Тех, кто спрашивает совета, всегда любят»,— думал Циллих.

— Сколько времени здесь еще будет длиться работа? После всего пережитого не хочется вечно менять место.

— Из долины сюда, наверх, проводят электричество. После этого будут еще латать саму плотину.— Услышав это, Циллих с радостью подумал, что ему еще удастся здесь некоторое время продержаться. Да и вообще, чего ему бояться? Он дал себя запугать вчерашней болтовней. У страха глаза велики. Даже если здесь и устроят такое собрание, как предлагает этот усатый старый хрыч, он в два счета обведет их вокруг пальца. Этот недоверчивый старик сразу поверил ему на слово, болтуны всегда верят болтовне. Что ж, он повторит свой рассказ перед всеми.

В один из ближайших дней он услышал во время работы шум и увидел, что вдоль озера идет толпа новых рабочих. Проводка электричества была начата одновременно из долины и сверху, и вот теперь эти две бригады встретились и вместе поднимались на вершину. Повсюду царило оживление, люди братались, приветствовали друг друга, заводили знакомство. Никто не заметил, что Циллих снова весь съежился. Он испуганно ходил от одного к другому. Вскоре он оглядел уже почти всех вновь прибывших. А когда он вечером курил перед своим бараком, кто-то схватил его за руку. Худое, казавшееся почему-то голым лицо, жирные, зачесанные назад волосы — нет, он не знал этого человека.

— Ты меня не узнаешь? Помрешь со смеху! Под какой ты здесь фамилией? Я теперь Штегервальд.

— Я? Шульце,— пролепетал Циллих.

Штегервальд прежде был Нагелем. Волосы у него тогда были зачесаны точь-в-точь как у Гитлера на портретах — прядь свисала на лоб. Маленькие усики он теперь тоже сбрил, потому что в них не было уже никакого смысла.

— Лучше всего нам с тобой больше не разговаривать,— сказал он.— Дай-ка мне последний раз огоньку...

Он прикурил о сигарету Циллиха, их глаза встретились — острые, колючие глаза Циллиха-Шульце и мутные, заплывшие Штегервальда-Нагеля.

Циллих еще долго стоял в темноте, прислонившись к стене барака. Сквозь деревья поблескивало озеро. Дул резкий ветер, и

дождь сек его по лицу. Конечно, его старый знакомец прав — им никогда нельзя быть на людях вместе. Они одновременно были назначены надзирателями в лагерь Пяски. Он, Циллих, тут же стал бояться, что Нагеля раньше его переведут в старшие надзиратели. Так длилось до тех пор, пока он не смог доказать начальству, что Нагель недостаточно бдителен, так как старый еврей Грюнебаум из его барака чуть было не удрал. Побег не удался только потому, что старик недостаточно проворно пробирался сквозь колючую проволоку, и они успели включить электрический ток. Беглец, конечно, погиб.

Но когда Циллих докладывал о недосмотре Нагеля, тот прошептал: «Ты у меня еще запоешь!»

Вероятно, Нагель уже забыл о своей угрозе, потому что ему самому угрожала теперь опасность. Но он может об этом вспомнить в любую минуту. И дожидаться этого глупо.

Циллих не вернулся назад в барак. Он ушел в темноту. Он промок до нитки, прежде чем добрался до такой непроходимой чащи, что ему ничто уже не было страшно — ни человек, ни непогода. Он забился в кусты, словно издыхающий зверь. Хоть бы истлеть ему за эту ночь, тогда бы утром его никто не нашел. Он бы сгнил дотла, как палые листья, которые испокон веку неотвратимо удобряют собою землю, не оставляя следов. Из праха ты вышел, и в прах возвратишься. Так думал и Циллих. Он был слишком изможден, чтобы идти дальше, хотя проливной дождь и сотрясал лес. Он был слишком изможден, чтобы день и ночь тащиться от одного крестьянского двора к другому, всюду вызывая недоверие и подозрение. Он был слишком изможден, чтобы перебраться через границу во французскую зону оккупации, как он прежде собирался. Там он также мог встретить такого вот Нагеля, у которого возник, быть может, тот же план бегства, Гапса или Франца.

На него нашло отчаяние, вернее, оно накатывало волнами, как жар в лихорадке. То его тряс озноб, то убаюкивала надежда. Наверное, он все преувеличивает. Он спокойно может вернуться на озеро, Нагель будет молчать.

Нет, Нагель не будет молчать, снова знобило Циллиха, в жизни он не простит ему, что по его вине не стал в лагере Пяски старшим надзирателем. Не мог же он, Циллих, всю жизнь прятаться по крысиным норам.

Когда сквозь густую листву пробился первый блеклый дневной свет, он немного успокоился. По-настоящему его узнал только этот Нагель. Все остальные страхи были, возможно, лишь плодом больного воображения. Он не был убежден, что даже тот человек,

дома, в деревне, его действительно узнал. Как же его звали? Сейчас он вдруг вспомнил: Курт Вольперт, 18-й барак. Он зря тогда струхнул, ведь Вольперт ему и слова про старое не сказал, он просто поддался панике. Небось, никто им и не интересуется.

Правильнее всего будет повернуть домой. Уже в первый раз это оказалось лучшим выходом. Ни один человек в деревне его ни в чем не упрекнул. Его жена, это жалкое создание, приняла его, как положено. В деревне он сможет беспрепятственно жить. Крестьянин как крестьянин.

Ветер раздул тучи, дождь прекратился. Путь домой, который ему предстоял, был не короткий, однако он вступил на него с легким сердцем. Ведь на карьере под Вейнгеймом его не разыскивали, хотя при нем там и была устроена облава. Он должен вернуться в свою деревню. Инстинкт ведь подсказал ему во время первого побега: только домой, только домой. Он кружил по лесным зарослям, пока не набрел на просеку, а она привела его на поросшую травой лесную дорогу со следами проезжавшей телеги. Так он попал к угольщикам, которые жили здесь в горах табором и занимались своим примитивным промыслом, нимало не заботясь — идет ли война или воцарился мир.

Какая-то девчушка, совсем одичавшая от вольной жизни, взялась его проводить до ближайшего хутора. Все эти долгие недели он ни разу не думал о бабах — страх придушил все желания, его ничто не влекло. А эта тщедушная девочка была такой же ободранной и косматой, как те девчонки, которые доставались ему в войну. Но не успела в нем зародиться эта мысль, как маленькая дикарка, быть может, предупрежденная его взглядом, кинулась от него наутек, потом так же резко побежала назад, долго вилась вокруг него волчком, по прежде, чем он успел ее сцапать, молнией проскочила у него между ног, исчезла в чаще, тут же очутилась на дереве, перепрыгнула на другое, на третье. Он мог гнаться за ней с тем же успехом, с каким медведь может поймать птицу. Он совсем растерялся. И вдруг девочка, сидя верхом на ветке, указала ему на фронтон дома, неожиданно вынырнувшего из чащи. Крестьяне с полным безразличием разрешили ему переночевать в хлеву. Это были суровые, неприветливые люди. К тому же им надоели бездомные... С рассветом они погнали его в соседнюю деревню. Пусть, мол, убирается отсюда, да поживей. С невероятной быстротой шел он от ночлега к ночлегу. Он боялся, что его разыскивают с плотины. Ему казалось, что он будет спасен только тогда, когда вернется в свою родную деревню. Правда, он снова возвращался с пустым кошельком, зато у него сильные руки, жена и этим удовольствуется. Ведь она была рада, когда он в первый раз вернулся. А что до его соседей, глупых крестьян, они примут его за

того, кто он и есть: за солдата, вернувшегося наконец домой, за здешнего старожила.

Он обходил стороной все места, где побывал, когда бежал из дома. И как-то после обеда он вышел к холмам, окружавшим его деревню. Долины он не видел, потому что ее закрывала буковая роща. Но ему приятно было глядеть на речку, которая, казалось, говорила ему: «Я тебе всегда напоминала, что нельзя меня терять из виду». Он сел на травку под двухствольный бук. Въевшаяся ему в плоть и кровь осторожность поборола желание сразу спуститься в деревню.

Он вглядывался в земли, принадлежащие их общине. Увидел, что его старший сын в поле. Он свистнул — два долгих, два коротких свистка, свист этот сидел у мальчишки в печенках.

Мальчик и в самом деле вздрогнул. Он обернулся и узнал человека под деревом. Он двинулся к буку, может, недостаточно быстро, но в сторону не свернул.

Он остановился приблизительно в метре от Циллиха. Его маленькое личико так побледнело, что стало похоже на снежок, руки он сжал в кулаки.

— Эй, ты, позови мать, пусть бежит сюда,— приказал Циллих.

Мальчик не сказал ни слова до этого. И теперь он не вымолвил ни слова в ответ. Он повернул назад и помчался прочь, да так быстро, что Циллиху незачем было бы давать ему пинка.

Не прошло и десяти минут, как прибежала жена. Она не присела рядом с ним, а проговорила медленно и устало:

— Я принесла тебе поесть. И все наличные деньги, которые есть в доме, хотя мы не расплатились с долгами.

— Зачем? Я же вернулся домой. Разве ты против? — спросил Циллих.

— Не вздумай здесь оставаться! — проговорила она так же устало, на одной ноте и воздела руки.— Прошу тебя всем сердцем, уходи, Циллих. И никогда больше не появляйся здесь. Нам уже столько из-за тебя досталось, особенно мальчишкам. Ты себе и представить не можешь, как меня замучили допросами. К счастью, взорвали фабрику в Эрбенфельде, только после этого они успокоились: решили, что ты там погиб. Они, оказывается, смогли напасть на твой след. Плохо уже то, что мальчишка тебя еще раз увидел. Уходи, уходи поскорее!

— Проклятая сволочь,— выругался Циллих.

Она пригнулась к земле, как обычно, когда он поднимал на нее руку. Она терпеливо слушала все ругательства, которые он исторгал из себя.

Даже после того как она ушла, он еще некоторое время шевелил губами. Потом поднялся, обхватив руками оба ствола бука,

напоминающего вилку. Ощупью поискал в траве пакетик с едой, поднял его и привязал себе к поясу. Потом поплелся вниз по холму, туда, откуда пришел. Он шел куда глаза глядят, не имея ни намерений, ни цели. Он незаметно для себя оказался на берегу реки, которая, поблескивая в бледных лучах предзакатного солнца, с тихим журчанием текла и текла, привлекая к себе все живое вокруг. Пробираясь сквозь заросли ивняка, он шел бережком по течению — у него ведь не было другой путеводной нити. Очертания деревни на том берегу, ивняк, рыбак, сидевший на камне,— все это стало вдруг четким и ясным, как всегда под вечер, словно солнце перед закатом косыми лучами высвечивает самые отдаленные закоулки. Он задыхался. «Так оно начинается,— думал он.— Вытаскивают из-под ног доску, и тебе крышка». Приходилось тяжело ступать, чтобы ботинки не скользили по мокрой осенней земле. Берег был заболочен, и от этого он шел еще медленнее. «Нельзя же просто так, вдруг, убрать человека, хотя вас бы это устроило». Ему все время казалось, что за ним неусыпно следят исподтишка. Он то и дело резко поворачивал голову, но вместо бдительного глаза обнаруживал лишь поблескивающее в лучах вечернего солнца дупло или увядший лист.

Он видел все время перед собой топенькую, поблескивающую в вечернем освещении нить, идущую от одного берега к другому — это был трос парома. Отталкиваясь шестом, паромщик ускорял его движение. Пассажиры, ожидающие переправы, толпились в новом павильоне, крытом гофрированным железом. На другом берегу симметрично стоял точно такой же павильон.

Вечернее солнце скользило по желобкам крыши, отражавшимся в воде. Циллих дрожал от страха перед людьми, которые ожидали паром, и перед теми, кто сейчас причалит к берегу, и перед самим паромщиком. А вдруг он его опознает? Он дрожал от страха даже перед отражениями в воде всех плывущих на пароме и стоящих на берегу.

Циллих ждал парома, пристроившись к толпе, которая устремилась на мостки. Он глядел на этих людей с корзинами, граблями, косами, глядел и думал, что любой из них — вон тот, с собакой, или тот, с козой, или вон та, с деревянной клеткой, могут его узнать и сократить ему жизнь. И эта опасность сокращения жизни, такая удручающе близкая, такая омерзительно однозначная, занимала все его мысли. Он не думал о смерти — смерть ведь лежала уже за пределами его жизни. А его никогда не интересовало то, что было вне его жизни.

В последнюю минуту он, опустив голову, тоже прыгнул на паром. Тем временем уже стемнело; пасмурная ночь была беззвездная, в воздухе висел дождь. Паромщик зажег фонарь, Циллих ото-

двинулся. Он боялся обнаружить среди подвижных, колыхающихся в свете фонаря лиц и теней знакомое лицо. Когда паромщик оттолкнулся от берега, Циллих почувствовал себя на мгновение лучше. Знать бы еще, что его ожидает на том берегу! Может быть, наручники, может быть, кто-то уже занес кулак, чтобы ударить его по морде. Только на пароме, скользящем по темной реке, ему дарованы минуты покоя.

Нет, и здесь нельзя быть спокойным. Женщина, державшая на коленях клетку с курами, была чертовски похожа на тетку хозяина трактира у них в деревне. Как посмела эта баба пуститься ночью в путь со своими курами и цыплятами? Что ей нужно на том берегу? Сидела бы себе спокойно дома да радовалась, что не нужно никуда рыпаться. Она косилась сквозь прутья клетки в сторону Циллиха. Он так резко отвернулся, что люди, сидевшие рядом, заворчали. Паромщик, занесший шест для очередного толчка, тоже поглядел на Циллиха, который скрючился на скамейке и склонил голову к самой воде. Послышались смешки, кто-то сказал: «Этот готов — травит».

Циллих был рад такому объяснению. Он встал на колени, продвинулся к самому краю парома и склонился над водой так низко, что чуть не коснулся ее носом. Старуха, которой к тому же мешала клетка, не могла бы его теперь узнать. Он косился на темную воду — справа и слева от него дрожащий свет фонаря падал неровной полосой на колыхающиеся тени. При каждом толчке шестом паром скользил вперед, и всякий раз скрипел стальной трос, протянутый между берегами.

Еще два таких толчка, и они окажутся у того причала. Этого Циллих боялся, хотя ему и не терпелось разогнуть спину. Поедет ли паромщик назад? Горбун с длинными, как у обезьяны, руками снова занес шест — Циллих следил за его тенью на воде и за кривой тенью горба. Сколько раз он ездил за ночь взад-вперед? Назад-то он, видно, во всяком случае отправится, потому что на причале было полно народу. Мастеровые, крестьяне, кое-кто даже с овцами и козами. На этом берегу Циллиху грозила такая же опасность быть узнанным, как на том, ведь если людям надо на тот берег, значит, они связаны с деревнями на той стороне и в курсе всех событий.

Он осторожно обернулся. Старуха, которая могла оказаться теткой трактирщика, уже сошла с парома. «Что ей здесь надо?» — думал Циллих.

Надежда, что река ляжет границей между ним и его прошлым, была тщетной, это он теперь понимал. Он не решался поглядеть в лица людей, ринувшихся на паром, как только он причалил. Только теперь он заметил, что темно было не от наступившей ночи,

а от нависших дождевых туч — на черном беззвездном небе еще виднелись блеклые отсветы заката.

Со вздохом облегчения провожал он взглядом одну из опасностей, которую смог избежать: удаляющуюся тетку трактирщика, которая шла, наверное, в ту деревню, чьи скудные огоньки раскинулись вокруг смутно вырисовывавшегося силуэта кирпичного завода, испокон века кормившего этот край. Большинство людей с парома поспешили следом, чтобы до дождя добраться домой. Но они не успели — первые капли уже со звоном упали на гофрированное железо. Паром отчалил, и люди, ругаясь, сгрудились под крышей. Теперь в голове Циллиха стали путаться мысли — как бы отказал механизм, который на протяжении всей его жизни помогал ему пробиться и избежать опасности. По возмущению людей в павильоне он понял, что больше парома не будет. Паромщик ночевал на той стороне. Из-за дождя Циллих не решился идти в деревню при кирпичном заводе. Там было так же малонадежно, как и здесь, зато он хоть не вымокнет. Он примостился где-то в уголке, уткнувшись лицом в колени. Дождь барабанил по крыше, и это отдавалось в нем такой болью, будто гофрированное железо было его кожей или, вернее, его кожа была из гофрированного железа. Час он сидел недвижимо, не ожидая ничего, даже конца дождя. Правда, тогда он мог бы двинуться дальше, но куда? Лучше всего было бы, чтобы дождь пробил крышу и залил его и все, что под ней. Он растворился бы, и его не могли бы схватить. Таким путем он избавился бы от промежуточного этапа, от омерзительного перехода, который так хорошо избежать. Что будет потом, без него, было невообразимо, да и не стоило размышлений.

Стало тихо. Дождь кончился. Многие ушли из павильона, может быть, чтобы переночевать в деревне. Но были и такие, кому некуда было идти, кто привык ночевать где попало.

Циллих раздвинул колени и глядел на тот берег. Рядом с ним лежал человек, завернувшись в пальто и подперев голову локтем. Когда он увидел, что Циллих не спит, он заговорил с ним:

— Правда, нет одной стены, зато хоть крыша над головой.

— Да,— сказал Циллих.

— Мне любое место мило, только бы там не было колючей проволоки.

— Да.

— Всякий, кто сидел в лагере, это поймет. Где бы я ни проснулся — в подвале, в лодке, хоть в яме под открытым небом, моя первая мысль всегда одна и та же: «Я свободен!» — Он говорил в темноте с какой-то яростью, как человек, которому надо выговориться.— Пусть со мной случится что угодно, я не боюсь ника-

кой беды, никакого несчастья, если они меня постигнут на свободе. Ты это можешь понять?

— Да.

— Может, предстоит еще тяжелая борьба, что ж, пусть, я ведь свободен. Ты был когда-нибудь в лагере?

— Да.

— Ты тоже! Где же?

— В Пяски,— сказал Циллих.

— Вот удивительно! — воскликнул его собеседник и подпер голову руками, но лица его разглядеть было нельзя.— Когда же? В каком бараке? Ведь я там был целый год.

Циллих почувствовал, как сердце его упало, а руки стали как чужие. Он быстро сообразил, что надо назвать номер барака, находившегося как можно дальше от его барака — там заключенные вряд ли знали его в лицо.

— В сто двадцать первом а.

— Бог ты мой, да мы почти соседи. Я был в сто двадцать пятом. Эта жирная сволочь Боланд был и у вас?

— Нет,— сказал Циллих.

Он давно не вспоминал Боланда. Но теперь вспомнил. Вспомнил и ту зависть, которую пережил, когда Боланду была публично объявлена благодарность за службу в «Особой команде». К счастью для Циллиха, теперь уже стало по-настоящему темно. Он повернулся лицом к стене. За его спиной незнакомец сделал еще несколько попыток продолжить разговор, но в ответ раздавался только храп.

Около них лежало еще несколько человек. Они сонно ругали рано наступившую осень, новое городское управление в Эрбахе, оккупацию, паромщика. Ни в чем на свете они не сходились во мнениях, но, заснув, прижались друг к другу, как дети. Но один из них не лег, он сидел и курил. Циллих с недоверием следил за вспыхивающим огоньком. Потом и он погас. Но может быть, человек этот еще сидит. «Спит ли он? — думал Циллих.— Почему не лег вместе с другими? Что он будет делать, если я сейчас встану и уйду?» Ему ведь необходимо уйти прежде, чем рассветет и заключенный из лагеря Пяски проснется и узнает его.

Остаться опасно, думал Циллих, но уйти сейчас тоже опасно. Почему он не улетучился, не испарился, почему его уже не убили — ведь тогда его нельзя было бы схватить. Мышь могла бы юркнуть в щель стены, а тем более — жук. А он был плотного сложения, ширококостный, тяжелый. Он наблюдал за сидевшим человеком. Он в самом деле спит? Или притаился, ожидая, когда Циллих встанет? Быть может, он пришел сюда еще до дождя? Быть может, он сидит здесь, только чтобы караулить Циллиха?

Циллих перепрыгнул через спящих, обежал павильон, одним махом взлетел на какой-то крутой холмик, притаился в кустах, потом ползком пробрался в лощинку. Прислушался. Ничего не было слышно. Быть может, сидевший в углу человек и вправду спал? Быть может, все спали и никто не заметил его ухода?

Но что толку? Все равно податься некуда. Родная жена его не приняла, а чужой человек и подавно не примет. Его счастье, что на том берегу все его считали уже мертвым. А на этом его подстерегало несметное число новых опасностей. Циллиха потянуло назад к реке, которая текла, невидимая, в непроницаемой тьме. На нее он возлагал свою последнюю надежду в этом краю и вообще на земле. Сколько он себя помнил, это медленная неширокая речка вилась вокруг его жизни. И все реки, от Рейна до Волги, через которые ему пришлось потом переправляться, он сравнивал с этой речкой. Лучше всего ему было бы сейчас исчезнуть. Но как только ему пришла в голову эта мысль, каждая клеточка его тела стала жить еще интенсивнее. Его сердце заколотилось. Он вдохнул крепкий осенний аромат. У него зачесалось под мышкой. Он вдруг ощутил сильный голод и стал вертеть привязанный к поясу пакетик, о котором тут же вспомнил. Уж лучше идти вперед. Все же лучше сперва найти себе какое-то прибежище, пусть даже временное, пусть даже только для того, чтобы досыта нажраться. Это, конечно, не было спасением, но все же отсрочкой. Он сполз с обрыва и зашагал по топи. Сперва испугался, что увязнет в трясине, но болото оказалось неглубоким, только размытым осенними дождями. Он обогнул деревню, раскинувшуюся вокруг кирпичного завода. Раз туда пошла тетка трактирщика, там могут быть и другие родственники его деревенских соседей. Рассвет был похож на вчерашний закат, заря по цвету напоминала плохо смытое кровавое пятно. Хоть он и падал с ног от голода и усталости, он сделал еще крюк, чтобы обойти прямое шоссе на Эрбах, потому что там были контрольные посты и патрули.

Прошло немало времени, прежде чем он вышел к городу Эрбаху. Большинство домов были взорваны или разбомблены. Нетронутыми стояли только старинные, украшенные гербом ворота. Циллих выждал минуту, когда часовые повернулись спиной, и вошел в город. Он быстро шагал по улице, не оглядываясь по сторонам, словно его узнают только, если он сам первый узнает человека. Уже была прибита к стене табличка с названием улицы. Уже висело объявление «Здесь сдаются места для ночлега». Хозяйка провела его в пустое, чистое помещение и указала на мешок со свежим сеном. Остальные трое жильцов, объяснила она, еще не пришли с ночной смены. Он плюхнулся, как стоял, на мешок, но она сказала: «Снимите, пожалуйста, ботинки».

Он сел, по-турецки поджав ноги. Развязал свой пакетик, набил рот хлебом. Раздался стук в дверь. У него остановилось сердце, рот был набит хлебом. В комнату прошмыгнул проворный человечек с веточкой мушмулы в петлице.

Он поднял руку и крикнул:

— Хайль, Циллих, дорогой Шульце.

Циллих вскинул на него глаза и, тупо уставившись, дожевывал хлеб.

— Я глазам своим не поверил, когда увидел, как весело ты гуляешь по нашему доброму старому вольному городу Эрбаху.

— А тебе-то какое дело? — спросил Циллих.

— Мне? Да ровным счетом никакого. Когда ты смылся с карьера, я сказал себе: «Лети, пташка, лети!» Когда нас в тот раз свела судьба, помнишь, на шоссе, за Вейнгеймом, я сразу подумал: «Это что еще за висельник? Поглядим, может, я выведу его на чистую воду». Когда стало известно, кто ты есть, я ни капельки не удивился. Понимаешь, любопытство у меня врожденное. Уже моя мать была чрезвычайно любопытной женщиной. Я имею в виду старуху Еву. Не будь она любопытной, никогда бы не стала кусать яблоко.

— Убирайся к черту!

— Сию минуту. Желаю тебе приятного сна!

Циллих вдруг резко обернулся.

— Стой, Пятница! Ты остаешься здесь, в Эрбахе?

— Тебе это не по душе?

— Только не вздумай меня выдавать.— Его птичьи глаза впились в Пятницу как ядовитые булавки. Тот даже вскрикнул: «Ой!» — и, поставив ногу в дверную щель, сказал:

— Знаешь, а тебе пришла в голову неплохая мысль.

Циллих вскочил.

— Закрой-ка за собой дверь.

— И не подумаю. У меня вообще нет никакой охоты коротать время вместе. Кстати, хозяйка тоже дома, вот за стеной. Поэтому тебе лучше спокойненько сесть, где сидел.

Он с явным удовольствием смотрел на Циллиха, который стоял перед ним и стонал от желания его убить. Он что-то насвистывал.

И вдруг Циллих молитвенно сложил руки:

— Дорогой Пятница! Ты ведь так не поступишь со своим старым знакомым. Мы ведь товарищи.

— Товарищи? Ах, вот что! Ну, как бы то ни было, ложись-ка ты спать.— Глаза его так и сверкали.— А я, пока буду спускаться по лестнице, еще раз все хорошенько обдумаю. Как сказал Адольф Гитлер: «Дайте мне четыре минуты!» Еще раз желаю тебе спать спокойно.

Он повернулся на пороге, теребя между пальцами веточку мушмулы. Хлопнула дверь комнаты, потом дверь коридора, потом входная дверь. Своими глазами-бусинками Циллих как бы просверлил вслед за ним две дырочки в воздухе.

«Эта сволочь еще захочет меня помучить, чтобы я ждал, пока он решит меня выдать, и дрожал. Это доставило бы ему удовольствие. Да, такое и вправду доставляет удовольствие, но я — я не доставлю ему этого удовольствия. Нет уж!»

Через несколько часов вернувшиеся со смены рабочие в большом волнении постучали в дверь хозяйки.

— Ну и букетик вы нам повесили на оконный крюк! Болтающийся там тип — это что, новый жилец?

Учитель Деграйф вышел рано утром из дома деревенского бургомистра. Хотя уже было холодно, он сел, прежде чем войти в школу, на скамейку под облетевшим каштаном. Он выслушал новость спокойно, сдержав волнение, а теперь его душил кашель. Со мной дело плохо,— думал он.— Больше двух-трех лет не протяну в школе. Да ведь это ждет всех нас. Я, во всяком случае, счастлив, что мне довелось снова дожить до свободы на земле, даже если бы я был учителем всего один-единственный день.

Орава ребят пронеслась по деревенской улице. Потом появился маленький Циллих. Он шел следом один. Слухи, которые ходили по деревне эти месяцы, отделили его и внешне и внутренне от остальных ребят. Учитель подозвал его:

— Я должен тебе что-то сказать, мой мальчик. Что-то важное.— Тот внимательно посмотрел на учителя своими карими, недоверчивыми глазами и отдернул руку, когда учитель ее коснулся — он не выносил чьего-либо прикосновения.— Твой отец умер,— сказал Деграйф.— Его нашли мертвым в Эрбахе.

Мальчик так и просиял. Его глаза заблестели, все лицо озарилось радостью. Деграйф был в замешательстве, в нем шевельнулось даже что-то вроде отвращения. Но он подавил в себе эти чувства. Из всех ужасов, пережитых за эти годы, этот взрыв радости показался ему самым леденящим, самым невыносимым. Он хотел было что-то сказать, но смолчал и провел рукой по своим спутанным коротким волосам. Отец принес мальчику только позор и то отвращение, которое он к нему испытывал. Отец пустил его в мир и бросил. Теперь другой, чужой отец, он сам, Деграйф, должен о нем позаботиться.

КРИСАНТА

Вы спрашиваете, как живут люди в Мексике? О ком же вам рассказать?

Об Идальго? Он первый ударил в колокол деревенской церкви в Долорес, подав сигнал к восстанию против испанцев. И теперь, после освобождения, этот колокол каждый год в день национального праздника звонит с дворца президента в Мехико.

А может быть, вам рассказать о Морелосе? Происхождение его неясно. В нем смешалась негритянская и индейская кровь. В юности он хлебнул немало горя. Образование в школе получил скудное. Словом, это был жалкий деревенский священник. И вот его воодушевила идея, за которую Идальго отдал жизнь. Став вождем восстания, он не знал пощады. Под его предводительством горстка крестьян превратилась в настоящую армию. Глубоким пониманием связи событий и способностью предвидеть их он превосходил величайшие умы своей эпохи.

А может быть, рассказать о Хуаресе? Он изгнал новых чужеземных властителей — французов, которых посадили на шею его народу во времена Наполеона III. Он приказал расстрелять императора Максимилиана. Он понимал, что национальное освобождение само по себе еще мало что дает беднякам-крестьянам. Неподкупный, он неумолимо боролся с помещиками. Бедняки-крестьяне получили, благодаря его законам, землю.

Нет, ни об этих, ни о других великих людях, живших в Мексике после них, я рассказывать не буду, хотя они, пусть и неизвестные в Европе, принадлежат к великим из великих не только у себя на родине. Нет, я не буду рассказывать ни о Хуаресе, ни об Идальго, ни о Морелосе. Я расскажу вам о Крисанте.

Ей было около шестнадцати лет, когда она покинула Пачуку и отправилась в Мехико на работу. Точно года своего рождения она не знала. Она знала только день своего рождения. Она родилась в праздник всех святых, и назвали ее Сантао, потому что никто не мог предложить другое имя. Крисанта — это имя нравилось ей больше. Родителей она не помнила. Она знала только, что мать умерла при ее рождении. Об отце она ничего не знала.

Крисанте повезло по сравнению с другими девушками, которые остались без отца и без матери. У нее был кто-то близкий, кто поддерживал ее и придавал ей силу, как мощная ветвь придает силы молодым побегам. Это была женщина по имени Лупе Гонсалес. Ее муж работал рудокопом в Пачуке, в двух часах пути от Мехико. У Гонсалес было несколько детей. Старшие сыновья тоже работали на руднике. Крисанте госпожа Гонсалес приходилась крестной матерью. Крисанта часто говорила о Гонсалесах. При этом она внушала себе и другим, что она вовсе не одинока. Госпожа Гонсалес воспитывала ее вместе со своими детьми. Это была спокойная, молчаливая женщина. Почему Крисанта родилась в Пачуке, госпожа Гонсалес и сама не могла объяснить, иначе она бы уж когда-нибудь да рассказала об этом. Она не могла объяснить также, почему взяла ребенка к себе и воспитала в своей семье. Наверное, уже не раз волей случая к ней прибивались какие-то дети, у которых не было отца, потому что он либо умер, либо сбежал, и матери, которую отняла у них смерть или другое несчастье. Быть может, этот ребенок выглядел особенно голодным. И потому что она сама день и ночь не знала покоя со своими пятью ребятишками, смерть матери этого чужого ребенка показалась ей особенно тяжелой, а ребенок этот особенно беспомощным.

По большим праздникам госпожа Гонсалес ходила в церковь. Муж ее — никогда. О национальном празднике она узнавала по фейерверку и музыке. Она не могла бы точно сказать, какое отношение имеет этот праздник к ее народу. Но от этой женщины Крисанта узнала, что первого ноября у нее день рождения и именины. Когда, бывало, в конце октября она особенно дерзила, приемная мать говорила ей:

— Опять твои чертяки вырвались на волю. Черти — они всегда злятся на ангелов — хранителей ребенка. А твои-то чертяки очень уж буйствуют перед первым ноября. Ишь разошлись вовсю.

Крисанта хранила одно воспоминание, о котором она никогда никому не рассказывала. Воспоминание такое странное, что у нее и слов подходящих не находилось рассказать о нем. Однажды в раннем детстве она побывала в каком-то месте — другого такого на земле не найдешь. Там ей было так хорошо, как никогда уже потом. Ей казалось, что она совсем, совсем одна на белом свете

и над ней только синее небо. И если она спрашивала себя, что же такое особенное там было, ей всегда приходил в голову один и тот же ответ: синева. Нежная и густая синева, какой никогда и нигде она уже больше не видела. А весь мир словно катился мимо, но не проникал сквозь эту синеву.

Крисанта никогда не предавалась мечтам. Она была живым и веселым ребенком. Она думала, что со своей родной матерью жила, верно, где-то в других краях, прежде чем попала к Гонсалесам. Иногда она спрашивала:

— Откуда пришла моя мать?

На что госпожа Гонсалес отвечала:

— Да кто ее знает.

Окружающие всегда отделывались этими словами от всех вопросов. И Крисанта перестала спрашивать. Она дорожила своим воспоминанием. Она думала о нем, когда ей было страшно.

А теперь ей как раз было страшно. Госпожа Гонсалес неожиданно сказала, что Крисанта должна ехать в Мехико на работу. Старшая дочь выходит замуж, и Крисанте придется освободить циновку, на которой они обе спали. У соседки, госпожи Мендосы, в Мехико была тетка, управительница хлебной лавки, где выпекали тортильи. Когда человек читает «Отче наш» и произносит слова о «хлебе насущном», он представляет себе тортилью. Комок теста из маисовой муки сбивают ладонями в плоскую лепешку. На железной плите лепешка нагревается и затвердевает. В обеденные часы везде на улицах слышны хлопки, монотонные, радующие сердце. У этого хлеба нет запаха. Он не черствеет. Он печется не в печи, а у всех на глазах. И к тому же изрядным шумом сам сзывает голодных. Госпожа Гонсалес и ее дочери сбивали тортильи у себя дома. Крисанте не надо было этому учиться. Она сразу могла начать работать.

Когда Крисанта в последний раз села за стол в Пачуке, ей запекли в тортилью кое-что получше, чем обычно. Не только томаты с красным и зеленым перцем и бобы, но и остатки мяса, которое обычно доставалось мужчинам. Однажды, совсем маленькой девочкой, впервые надкусив круто наперченную тортилью, Крисанта громко расплакалась. Но потом перец стал ей необходим, как соль.

Госпожа Гонсалес всегда была начеку и следила, чтобы сыновья не пристрастились к вину. Папаша Гонсалес пил много. Но знал меру. Это был суровый, сдержанный человек. Ночью, уходя на рудник, он сказал Крисанте:

— Завтра мы не увидимся. Теперь только на свадьбе. Ты обязательно приезжай, доченька,— и обнял ее.

По двору гордо расхаживал индюк, которого откармливали для свадебного пира. Крисанта проводила папашу Гонсалеса. Он, как

и его жена, никогда не размышлял над тем, почему Крисанта попала именно в его семью. Почему он, именно он, заменил ей родного отца, который был бог знает кто.

Крисанта вместе с соседкой поехала в город на автобусе. И еще по пути забыла все свои страхи. Она радовалась тем вещицам, которые невеста подарила ей, а не младшей сестре: сандалиям, нестренькому ситцевому платью и шали — ребосо. Многие пассажиры были ей знакомы. Она знала, куда и зачем они едут. Кто на базар, кто в больницу, а у кого праздник в семье. Но вот дорога пошла в гору. Соседка показала на снежные вершины. Они были здесь как будто ближе, но еще более недоступны. Автобус въехал в лес. Стало немного темнее, и воздух посвежел. В остальном все было как дома. То и дело встречались перечные деревья, красневшие на голых холмах. Полоски обработанной земли. Кактусы, словно застывшие в клубах пыли. Кое-где, как и в ее родных местах, виллы американцев и богатых мексиканцев. С пальмами и цветущими садами и даже с теннисными площадками и бассейнами для плавания. Крисанта радовалась при виде ярких цветов. Жители здешних деревень, так же как и Гонсалесы, разводили цветы даже в консервных банках.

На одной из остановок в автобус сел парнишка с поклажей. Он вез на базар в Мехико глиняную посуду, которую обжигала его семья. Сам он, как он сказал, не хочет больше ездить на базар, а поступит на фабрику.

— Почему?

— Там мне будет лучше.

— Но почему? Дома, в семье, всегда лучше. Вместе работаешь, вместе торгуешь.

— Выручку между нами всегда делил дядя. Ничего, кроме неприятностей, из этого не получалось. Рассчитываться лучше с посторонними.

Пассажиры автобуса следили, чтобы его посуда не разбилась. А контролер набросился на него:

— В автобусе с таким грузом проезд воспрещен. Останови грузовик, он тебя и прихватит. Ты еще молод; если грузовик не остановится и если у тебя нет мула, так иди пешком.

Парнишка вежливо объяснил, почему они уложились только к ночи и почему он еще сегодня до обеда должен поспеть на базар Мерседес. Он подарил контролеру синюю птичку из глины — свистульку для его ребенка.

Крисанта приглядывалась к парню. Он нравился ей. И неожиданно поездка в город приобрела для нее особую прелесть.

Они проехали под огромным плакатом. На нем было написано: «Добро пожаловать в федеральный округ».

Прекрасное приветствие. Но Крисанта не могла прочесть его. Она никогда не ходила в школу.

Как же объяснить парнишке, где он может отыскать ее в городе? Паренек иногда бросал на нее быстрый взгляд. Тогда она так же быстро опускала глаза. Он видел, какие у нее густые ресницы. Он был ненамного старше ее. Но кое-что уже узнал в жизни. Это был спокойный, вежливый, гордый парень. Они еще не понимали своих чувств, но, быть может, уже знали, что предназначены друг для друга. Госпожа Мендоса спросила контролера, где им сойти, чтобы попасть на площадь Альваро Орегон. Она добавила, может быть, желая помочь обоим детям, что должна сдать девушку с рук на руки тете Долорес в хлебной лавке.

Новая жизнь была лучше, чем ожидала Крисанта. Как весело в лавке! Языки и руки пяти девушек работали без устали. Сбивать тортильи здесь было совсем не то что в Пачуке. Непрерывно входили посетители. Один требовал полдюжины тортилий, другой — дюжину, а следующий — сразу три дюжины. Крисанта прислушивалась к тому, о чем болтали покупатели, что ругали, над чем смеялись. Каждая тортилья словно сдабривалась духом семьи, для которой она пеклась, как красным и зеленым перцем. Крисанта страстно жаждала узнать жизнь — здесь перед ней открывалась жизнь. Она сердилась на госпожу Мендосу, слишком долго споривщую с тетей Долорес, которая-де хочет оттягать из обещанного жалованья десять песо. Ребенок в десять раз больше получит на фабрике и в два раза больше — упаковщицей в стеклодувной мастерской, где стеклодув ее деверь. Тетя Долорес в конце концов согласилась, чтобы девушка бесплатно ночевала и ужинала вместе с ее семьей. Госпожа Мендоса вступилась за эту глупую девчонку из преданности Гонсалесам.

А Крисанта тем временем уже катала комок теста между ладонями. Покупатели выстроились в очередь, наступил час обеда. Крисанта и не думала уходить отсюда. Жалованье казалось ей огромным. Стоимость проезда в автобусе до Пачуки и обратно составляла только малую часть его. Раз ей не нужно тратить денег на жилье и еду, она сможет купить себе передник, как у других девушек. И серьги, как у тети Долорес. Именно такие ей нужно надеть, когда к ней придет тот паренек, с которым они ехали в автобусе.

Вечером Крисанте особенно понравилось в семье тети Долорес. Дома ее место на циновке оказалось занято, потому что старшая дочь вышла замуж. Здесь же для нее освободилось место, потому что вышла замуж вторая дочь тети Долорес. Крисанта считала, что так и должно быть в жизни. Где густо, а где пусто.

В городе не было одиноких людей. Каждый жил точно дерево в лесу, а не кактус в пустыне.

Ее новое место для ночлега нельзя было и сравнить со старым. Здесь она спала в кровати. Раньше она никогда не спала в кровати, только на полу, на циновке. Вначале она даже боялась упасть. Третья дочь тети Долорес, спавшая вместе с ней, ложилась всегда у стены. Крисанте казалось, что ночью она плывет высоко-высоко надо всеми. В этот вечер и ужин был куда вкуснее, чем у Гонсалесов. И потом частенько подавали мясо. Густо начиненные рубленым мясом тортильи. И сладкого кофе кто сколько хочет.

Семья была большая. Не сразу разберешься, где дети, где зятья, где внуки. Последний ребенок тети Долорес был младше ее внука. Отца Крисанта сначала приняла за одного из зятьев. Он редко бывал дома. Тетя Долорес говорила о нем то с гордостью, то с презрением. Это был маленький подвижной человечек, беспокойный и хитрый, с небольшими усиками. Если он был дома, то успевал наговорить за столом больше, чем Крисанта за всю свою жизнь слышала от папаши Гонсалеса. Старший рабочий на обувной фабрике, он неплохо зарабатывал, но и тратил много, потому что любил погулять и выпить. Мало пользы было от такого мужа, и разве только руганью и хитростью тете Долорес удавалось выманить у него кое-что во время его коротких побывок. Зато дети появлялись на свет один за другим. Сыновья — те слушались мать беспрекословно. Мать, которая каждый день неутомимо работала в лавке и держала в руках всю семью, в какой-то мере даже своего скользкого, как угорь, мужа, следила за хозяйством и готовила, рожала и кормила грудью младенцев,— эта мать была надежной опорой, как могучее дерево с цепкими корнями, уходящими в самую гущу жизни.

Крисанте все здесь нравилось. Ее жизнь в Пачуке была беспросветной. А тут она каждый вечер болтала и смеялась больше, чем когда-либо прежде. Тетя Долорес часто рассказывала интересные истории. Как-то раз, когда Крисанта забыла подмести пол, она рассказала:

— Жила-была девушка, и она вышла замуж за очень хорошего человека. Муж исполнял все ее прихоти. Он только запрещал ей подметать пол в комнате. Он говорил: «Хочешь хорошо со мной жить, оставляй всю грязь на полу. Я терпеть не могу метлы и не выношу, когда подметают». Однажды к ним в гости зашла мать девушки. Она всплеснула руками, увидев, что пол просто зарос грязью. Дочь, извиняясь, отвечала, что муж не переносит даже вида метлы. Но стоило ей уйти на рынок, как мать взяла метлу и начала выметать всю грязь. Пришла дочь и горько заплакала: «Теперь муж рассердится на меня». Но мать спокойно продолжала

свое дело. И вдруг домик задрожал, раздался треск и грохот, стемнело и грянул гром. Когда все снова стихло и солнце заглянуло в чистую комнату, мать сказала дочери: «Вот видишь. Только одинединственный мужчина не любит, когда подметают пол. Ты была замужем за чертом, и просто счастье, что я пришла и ты вовремя от него избавилась».

Тетя Долорес раньше, верно, неплохо ладила со своим мужем. Они оба немало забавлялись бесчисленными историями, смачными сплетнями и острыми шутками.

Однажды в ночь с воскресенья на понедельник, когда тетя Долорес крепко спала, ее муж пробрался к постели Крисанты. Она вовремя проснулась. Начала кусаться и царапаться. Дочь тети Долорес, спавшая у стены, тоже проснулась, тетя тоже. Крисанта сказала:

— Ничего, ничего. Это кошка.

Но тетя Долорес заметила, что рядом с ней пусто.

Она бы, вероятно, вскоре выставила Крисанту. И не только из-за своего мужа. Не обрадовалась бы она и шашням ее сыновей с Крисантой. Они, правда, бедные люди, но все же не такие бедняки, как Крисанта, у которой ни отца, ни матери, ни семьи, чтобы сыграть свадьбу, и ничего, кроме платья и ребосо. Но тете Долорес незачем было оберегать свою семью от Крисанты, ибо исполнилось тайное желание девушки.

Однажды перед лавкой появился паренек, с которым она ехала в автобусе. Крисанта его тотчас увидела. С той минуты как паренька потянуло к этой незнакомой девушке — вначале еле заметно, потом все сильнее, а с тех пор, как они расстались, и вовсе неудержимо,— он осознавал свое чувство как невыполненное обещание. И пока он этого обещания не выполнил, он считал себя слабовольным человеком, на которого нельзя положиться. И он был прав, раз знал, что девушка, о которой он мечтал, совсем заждалась. Он стоял довольно далеко от лавки и от напряжения держался слишком прямо и немного неуклюже, устремив взгляд своих золотисто-зеленых глаз прямо на Крисанту. Он побаивался, не сменила ли она место. И вот она перед ним, совсем такая, какой сохранилась в его памяти. Очень маленькая среди девушек, сбивающих тортильи, не особенно-то хорошенькая и не очень-то изящная, какая-то диковатая и немного даже грубая. Увидев его, Крисанта задрожала от радости. Вначале он почувствовал некоторое разочарование, хотя в своих воспоминаниях и не награждал ее особой красотой. Но увидев, что она дрожит от радости, он гордо поднял голову. А на ее дерзкой мордочке, осененной тенью густых ресниц, появилось покорное выражение. Час, отделявший их друг от друга, показался ему бесконечным. Он купил себе три тортильи,

но не те, что лежали готовыми, а подождал, пока Крисанта сбила и сняла с раскаленной плиты несколько штук. Он жевал тортилью и ждал у дверей.

На веселые вопросы товарок Крисанта не отвечала и до конца рабочего дня не произнесла ни слова.

Он пришел даже прежде, чем она смогла купить на свою первую получку серьги, как у тети Долорес. Вечер был холодный. А на ней ни кофточки, ни чулок. Только ситцевое платье и ребосо, в которое она закутала голову и плечи. Парнишка подхватил ее обеими руками и втиснул в автобус, битком набитый рабочими. Сам же остался висеть на подножке.

Крисанта и не подозревала, как велик город. Одной ей было бы страшно. На остановке парнишка опять подхватил ее и поставил на землю. Они долго шли, прежде чем он спросил:

— Как тебя зовут?

— Крисанта.— И она рассказала, почему ее зовут именно так.— А тебя?

— Мигель.

Они миновали несколько длинных улиц. Пыль при свете луны поблескивала, как иней. Пройдя через ворота, они попали в узкий и глубокий, как колодец, двор — тупичок, окаймленный густонаселенными домами. С печным отоплением, с цветами в горшках и консервных банках, с колонкой во дворе, с метате — рифлеными досками для растирания маисовых зерен, с индюком, корчившим из себя важного барина.

Крисанта давно перестала оглядываться. Ничто между этим двором и звездным небом не интересовало ее больше. Парень подтолкнул ее к одной из дверей. Он снимал комнату вместе с друзьями. Сейчас здесь находился один из них, но он безмолвно встал при их появлении. Только уходя, еще раз быстро оглядел Крисанту.

Все время с той самой минуты, как они расстались — после поездки в автобусе,— они так страстно мечтали друг о друге, что сейчас время уже ничего не значило для них. Все, что они пережили до сих пор, лишь слабо маячило где-то за окнами, как двор за дверьми. Если потом что и случится... она не кончала своей мысли. Счастье не имеет ничего общего со временем. А раз так, то почему бы этому счастью кончиться.

Мигель сказал, что проводит ее до автобуса. У него ночная смена. Крисанта только уходя заметила, что в комнате на циновке между кроватями спал еще кто-то.

Мигель грубо дал ему пинка:

— Вставай, Пабло, пора!

Теперь Крисанта сбивала тортильи куда проворнее, чем раньше. И чисто, куда чище, чем раньше, подметала пол. Теперь ей

всегда хотелось смеяться. А тетя Долорес была довольна, что Крисанта гуляет с чужим и муж не заглядывается на нее.

Через неделю Мигель сказал, чтобы Крисанта с этого дня приезжала к нему сама, у него нет времени встречать ее у лавки, ему нужно торопиться в школу. А ее записали в школу?

Как раз в это время правительство проводило кампанию, стремясь вовлечь в вечерние школы как можно больше людей, не умеющих читать и писать. В каждом квартале были открыты школы. Чиновники ходили по домам и переписывали тех, кто раньше не учился. Зашли они и в квартиру тети Долорес. Записали Крисанту. На той же неделе к ним пришла монахиня со списком. Закон запрещал появляться в монашеском платье где-либо, кроме церкви. Но по выражению лица и по длинной юбке сразу было ясно: это монахиня.

Она долго уговаривала тетю Долорес посылать детей в монастырскую школу.

— Научившись читать,— сказала монахиня,— они скорее погубят свою душу, ведь они могут прочесть что-нибудь запрещенное.

Вечером Крисанта рассказала об этом посещении друзьям Мигеля, и все весело смеялись. Теперь они иногда оставались дома, когда она приходила, болтали, пили и пели.

— Монахиня права,— сказал Пабло.— Только у нее все наоборот получается. Взять, к примеру, меня — я умею читать и читаю газеты. И я так полагаю: если читаешь все, что здесь наврано, и не понимаешь, как тебя обманывают, то в конце концов погубишь свою душу.

Мигель задумчиво посмотрел на своего друга Пабло, которого он очень любил. Крисанта почувствовала укол ревности. Секунду ей казалось, будто стало холоднее. Но ведь Мигель посмотрел не на девушку, а всего-навсего на Пабло.

Мигель ходил в вечернюю школу в своем квартале, Крисанта — в своем. Сначала ей все показалось очень весело. И там было много новых лиц. Это волновало и пугало. Каждое лицо — словно частичка жизни. Все эти рабочие, чистильщики сапог, рыночные торговки, разносчики и служанки — все они собрались именно в этой школе, чтобы научиться читать и писать. Им, в свою очередь, было любопытно узнать, как Крисанта очутилась в их районе. Жизнь здесь бурлила вокруг нее.

Они сидели на скамьях, тесно прижавшись друг к другу. Молодой учитель был очень вежлив. Его стеснялись. Но он старался ободрить каждого, хотя и проявлял строгость. Совсем как священник. И бранился, если кто повторял ошибку. Интересно было смотреть, как, вылущивая из слов «а» и «о», он пишет их на доске. И эти буквы, важно шагая, каждая сама по себе, выглядели круг-

лыми или острыми, совсем такими, как их произносили. Но потом пошли другие буквы, они и назывались вовсе не так, как выглядели. И было трудно складывать их в слова. А ведь при этом слова-то выходили совсем простые, их тысячу раз в день произносишь, не задумываясь. Крисанта с удивлением смотрела на старого толстого каменщика, сидевшего рядом с ней. Скоро он знал уже все буквы. И быстро научился складывать их в слова.

Мигель нашел себе более выгодную работу. Сменил он и вечернюю школу. Он ходил туда в те же часы, когда и Крисанте нужно было отправляться на занятия. Вначале они смеялись над своими тетрадями, когда их «о» скакали, вместо того чтобы плавно катиться. Пабло им помогал, но хвалил только Мигеля. На Крисанту он кричал. Ей же совсем не было охоты, прижавшись к Мигелю, смотреть в тетради. К тому же ей было стыдно перед учителем и перед всем классом, что она до сих пор не научилась складывать отдельные буквы в слова. Ей было стыдно и перед Мигелем. Она заранее знала, что он будет учиться так же хорошо, как каменщик, ее сосед по скамье. Мигель уже мог прочитать на последней странице учебника рассказ про человека по фамилии Хуарес.

Крисанта злилась, потому что дочери тети Долорес получали от своей монахини в награду пестрые золоченые картинки с изображением святой девы из Гвадалупы. Но Крисанта была уверена, что они просто притворяются, будто сами могут прочесть ее историю. Как Мария из Гвадалупы явилась бедному индейцу. Впервые явилась человеку, кожа которого не была белой. Да еще на совершенно пустынной горе, где вообще-то росли одни кактусы, подарила ему розы. Наверняка дочерям тети Долорес так часто рассказывали эту историю, что они выучили ее наизусть.

По вечерам Крисанта спешила теперь не в школу, а на автобус, к Мигелю. Время между встречами для нее не существовало. Считать минуты Крисанта начинала только с наступлением вечера. А Мигель, заслышав шаги Крисанты, иногда уже хмурил брови, потому что Пабло сидел рядом с ним и читал ему газеты. Его золотисто-зеленые глаза начинали сверкать, когда Крисанта садилась к столу. Крисанта же думала, что между ними все как в первый раз, у лавки. Времени действительно прошло очень мало. Она получила жалованье только за один месяц.

Неожиданно к ним приехала госпожа Мендоса с известием, что свадьба состоится в следующее воскресенье. Крисанта чуть совсем не забыла семью Гонсалесов. Теперь же она заволновалась, ее мучило раскаяние. Свадебное торжество уже не подавляло ее воображения. Индюк, которого они зарежут... что ж, ей стало теперь ясно, что в городе она часто ест вкусные вещи. И Крисанта

«Седьмой крест»

вдруг день и ночь стала думать о семье Гонсалесов. Она накупила подарков на все свое месячное жалованье. Выбрала среди платьев, вывешенных утром уличным торговцем, свои любимые цвета. Точно такое же ребосо, какое ей подарила дочь госпожи Гонсалес, носовые платки с цветочным узором, серьги, всякие украшения. Ей хотелось одарить все семейство. Но потом она сообразила, что истратила даже деньги на проезд. Девушки в лавке объяснили ей, что она вполне может потребовать у тети Долорес аванс. Тетя Долорес расщедрилась. Но в душе она была рада привязать к себе Крисанту на возможно более долгий срок. Любовь сделала Крисанту ловкой и послушной. А друг мог посоветовать ей сменить место.

Мигель давно уже хотел навестить своих родных. И вот они опять вместе в автобусе. И Мигель обещал заехать за ней на следующий день к Гонсалесам.

Встретили ее, как Крисанта и мечтала. Радости от ее подарков не было конца. Сама Крисанта сияла от удовольствия. Свадебный стол был уже накрыт. Пахло жареной индейкой. Госпожа Гонсалес израсходовала масла больше, чем обычно за целый год. Они все уже сидели за праздничным обедом, а в открытую дверь потоком текли все новые и новые гости. И вот госпожа Гонсалес, в другое время экономившая каждое песо, послала за новыми порциями острых и сладких блюд и за водкой. Она даже разрешила трактирщику записать все это в долг. И не бранила мужчин, выпивших больше, чем следует. Сегодня уж такой день, когда надо забыть все заботы. Сегодня все должны чувствовать себя, как те души, которые Христос вывел из ада. Ночью кое-кому нужно было выходить на работу; с грехом пополам добрались они до грузовика, который направлялся к руднику. Большинство улеглось на циновках. Утром госпожа Гонсалес сварила на всех кофе. И тут всем еще больше, чем накануне, захотелось петь и играть на гитаре. Теперь они по-настоящему вошли во вкус праздника. Крисанта с головой окунулась в свадебное веселье. Но к вечеру, когда жара стала спадать и день словно замер, ее сердце учащенно забилось. Она пригладила волосы, одернула платье — и вот уже появился Мигель.

Он тотчас со всеми подружился. Крисанта не сводила с него глаз. Он даже не взглянул на Крисанту. Он разговаривал с мужчинами. Он рассказывал:

— Со старого места я ушел на кожевенную фабрику Рейес. Там больше платят. Правда, платят больше, зато и спрашивают больше. Хотя об этом никто не говорит, но очень скоро это чувствуешь на своей шкуре. Сперва кажется, все равно — что там, что здесь ты свои восемь часов отпотеть должен. Но нет, тут из тебя

кровавый пот выжмут. Мне рассказали, что незадолго до меня привезли новую машину, с зубчатыми колесами, смешную такую штуковину. С ней вместе приехал иностранец, который целое утро обучал одного из наших работать на этой машине. У него были желтые зубы, у этого иностранца, голубые глаза, рыжие волосы. Это был гринго, который умел говорить по-нашему. Платят нам больше, но, как бы это сказать, денежки эти достаются нам дороже. А если тебе захочется сбегать на улицу съесть мороженого или ты хоть разок опоздаешь, тебя оштрафуют. Или если испортишь кусок кожи, или не успеешь закончить работу, когда мастер подсчитывает,— тебя оштрафуют.

Госпожа Гонсалес спросила:

— А почему же ты не вернешься в семью, в вашу гончарню?

— Нет уж,— решительно ответил Мигель.

— Почему?

Мигель на мгновение задумался.

— Платят нам, как мы договорились. И удерживают, как договорились. Мы просто об этом не думали, когда уславливались. У них же на бумаге стоит черным по белому, и они могут прочесть, что так договорились. Настоящая бандитская шайка, понятно, но, главное, ты там не одинок. Знаете, госпожа Гонсалес, дома, в семье, ты хоть и среди людей, но, несмотря ни на что, каждый, вот я, например, там одинок. Надо мне там извернуться как-то — в одиночку. Сломаю что-нибудь — в одиночку. Сделаю что-нибудь удачно — в одиночку. Надо мне достать что-нибудь — тоже в одиночку.

Мужчины внимательно прислушивались к его словам. Они не все понимали из того, что он говорил. Может, потому, что у них все было иначе. Правда, на руднике было то же самое, но в семьях — иначе.

Мигель продолжал:

— Если в семье не заработать достаточно, так всем грозит голодная смерть. А когда недавно рис вдруг подорожал, так мы на фабрике все сообща потребовали увеличить нам жалованье. Мы все вместе бросили работу. А что сделали бы мы дома, если бы рис подорожал? Обожгли бы на несколько горшков больше, чтобы заработать на рис. Да? А на фабрике нам увеличили жалованье, истинная правда. И никого не выкинули, и никого не оштрафовали. Не потому, что они нас очень уж любят, а потому, что им заказы выполнять нужно, им нужна наша работа. В других случаях они выгоняют, штрафуют за всякую ерунду. Но на этот раз — шалишь, не решились.

— Не решились?

— Нет. Это была забастовка. И мы победили.

— И мы у себя хотели организовать забастовку,— сказал

зять.— И я тоже бы принял в ней участие. Но большинство испугалось, что их все-таки выкинут на улицу.

Мигель продолжал:

— Как только научусь читать и писать, сейчас же уеду отсюда. Хочу отправиться в Кампече, к дяде. Он говорит, что, если я в самом деле научусь читать и писать, он устроит меня там на работу. Я и не думаю застревать здесь навсегда. Страна наша велика, городов в ней много. Мне хочется их увидеть.

Тогда папаша Гонсалес сказал:

— Когда я был молодой, здесь было еще хуже. Света божьего не видели. Домой возвращались только к ночи и заваливались спать. Вот мы тогда тоже объединились. И двинулись в город. Мне было столько же, сколько теперь моему младшему. Нас, дружище, тоже не штрафовали, в нас стреляли. Президент, этот старый пес, испугался. Он очень долго и удобно сидел в своем кресле во дворце, а тут ему пришлось убраться.— При этом воспоминании глаза папаши Гонсалеса заблестели, как и глаза Мигеля при воспоминании о забастовке.

Крисанта не отрываясь смотрела на Мигеля. Он знал больше, чем другие. Перед ним открывалось большое будущее. К ночи мужчины Гонсалес ушли на рудник. Отец пошел с новым зятем. Они уже давно подружились. Парень был угрюмый, молчаливый, если на него что-либо не находило — любовь или злость. И сейчас им не хотелось растрачивать свои слова на гостей. Они размышляли над тем, что говорил Мигель. Папаша Гонсалес сказал, вздыхая:

— Он еще очень молод.

— Да,— ответил зять,— и совсем один. Может идти куда хочет.

О Крисанте они не обмолвились ни словом. Они только мимоходом подумали, что ожидает ее.

Крисанта ни над чем не задумывалась. Время бежало для нее незаметно. Она и сейчас не замечала его. Жизнь сама раскрывалась перед ней. Они с Мигелем побывали во всех концах города. Она воображала, что он каждый раз дарит ей какую-нибудь часть города. Она побывала с ним на рынке Мерседес. И ей показалось, что платьев, башмаков, всякой снеди и напитков, седел и ножей, соломенных шляп и ребосо, горшков и кувшинов, украшений и изображений святых, собранных здесь, хватило бы на всю жизнь всем-всем людям в Мексике. Сандалии и сапоги висели на шестах в павильонах рынка, как бананы. Ткани пестрели всеми цветами и оттенками, будто торговки обобрали все сады Мексики. В другом павильоне были развешаны мочалы. Сплетенные из мочал всадники и великаны упирались в потолок. Здесь же высились целые башни корзин, нагроможденных одна на другую. Известно: один в поле не

воин, а все вместе — уже сила. Крисанта никогда не обращала внимания на корзину тети Долорес, а здесь, в сумраке павильона, она была ошеломлена красно-синими башнями корзин. Все на рынке Мерседес ошеломляло ее. Горы фруктов, горшки, которые продавала семья Мигеля. Горшков была целая бездна на рынке, а семья Мигеля, хотя все, даже дети и внуки, день и ночь лепили их, крутили, расписывали, покрывали глазурью, заполнила здесь только один ларек в павильоне. Крисанта узнала их горшки, как узнают знакомые растения. По их ручкам и глазировке. Родные Мигеля смеялись за спиной какой-то иностранки, пожелавшей узнать секрет изготовления горшков; ведь эти горшки не лопались и на огне, точно их выковали из железа. Иностранка была бледная костлявая женщина с бесцветными волосами и глазами.

— За одно песо ей, видите ли, подай еще и наш секрет,— сказал Мигель.— Пусть покупает в магазине алюминиевые кастрюли.

Он говорил «наш секрет», хотя работал на фабрике.

Крисанта и Мигель пошли в кино. Фильм им так понравился, что они забыли друг о друге. Красивую, как ангел, девушку все глубже и глубже засасывает порок. Ее соблазняют и бросают. И вот она уже пошла по рукам. Ей не везет с мужчинами. У нее рождается ребенок, который попадает в приют. Мать в нищете, состарилась. И в конце концов угодила в тюрьму. Когда она как-то навестила сына в школе, он не узнал собственной матери. Он учится читать и писать. Становится студентом, а потом юристом. И вот он защищает на суде какую-то никому не известную старую нищенку.

Крисанта вышла на улицу, как пьяная. Она никогда не задумывалась над тем, что уже минуло. Теперь она все время думала о той девушке, такой юной и прекрасной, а потом такой несчастной и старой. Все смешалось, прошлое жило в настоящем.

Мигель все время думал о сыне той женщины. Хорошо, что он не остался с матерью. Хорошо, что он много учился.

Они поехали на Праздник святой девы за город в Гвадалупу. Кто верил в чудо, кто не верил, но весь город потянулся в Гвадалупу. Это чудо было национальным достоянием. Темнокожая святая дева явилась индейцу.

В утренних сумерках мужчины, одетые воинами — испанцами и мексиканцами, в шлемах и перьях, танцевали перед церковью. А на деле в ту пору пролилось так много крови, что удивительно, как это еще столько народу живет на земле. В глазах маленьких детей и женщин до сих пор сквозила тоска, стыла печаль. Словно какой-то осадок, сохранившийся еще со времен крепостничества, а на нем — другой, новый, из новых страданий.

Мигель не жалел денег. У Крисанты не было ни гроша, она все растратила на подарки. Он водил ее по ярмарочным балаганам, покупал ей разные сласти. Да, ее праздник в те дни был в разгаре. И звезды все еще сияли на ее небе.

В сентябре они тоже вместе отпраздновали национальный праздник, день Призыва из Долорес. Крисанта держалась за пояс Мигеля, чтобы не потеряться в толкотне. Толпа пенящимися волнами катилась по площади перед дворцом президента, и даже драчуны и пьяные следили, чтобы не наступить на ребятишек, которых матери уже не прятали в ребосо вместе с малышами. А потом в полном молчании все слушали звон маленького колокола из Долорес, возвещавшего теперь начало праздника, потому что он возвестил когда-то начало освободительной борьбы. С последним ударом началось неистовое веселье, все кричали, ликовали, пускали ракеты. Как будто в эту ночь водкой и ножами, фейерверком и пистолетами хотели заглушить боль от разочарования и неразберихи, которые наступили после освобождения. Как будто справлялись поминки по жертвам, чья кровь пролилась из-за измены, клеветы, честолюбия и корысти.

Крисанта была счастлива, куда бы Мигель ни повел ее. Она пошла бы с ним на фабрику, на полевые работы, в горшечную мастерскую, на свадьбы и на праздники. Она пошла бы за ним на войну и на демонстрацию. Главное, чтобы он шел впереди. Он уже не вел ее перед собой. Он шел теперь гордо, совершенно уверенный, что она следует за ним.

Однажды он отослал ее домой, сказав, что ему надо в школу, учитель обещал дать ему кое-что почитать. Крисанта ждала его на улице. Он выбранил ее, когда вернулся. Крисанта испугалась, когда Пабло спросил ее, выдержала ли она экзамен в вечерней школе. Она совсем перестала ходить туда. Пабло понял это и громко засмеялся.

Но вот как-то Мигель сказал, что должен уехать из Мехико. Знакомый извозчик обещал подвезти их на своей телеге до Оахака.

— А далеко это?

— Ночь пути. Он может заехать неожиданно, и тогда мы сию же минуту должны отправляться.

Мигель ждал куда больше вопросов. Пабло даже советовал ему не рассказывать Крисанте об их плане. Она будет плакать. Она помешает ему. А ведь он все равно не может ей помочь. Сначала Мигель возразил:

— Но послушай, ведь когда Альфонсо уехал искать работу в Калифорнию и не подавал семье никаких вестей, ты сам сказал, что так не годится.

Пабло ответил:

— То совсем другое дело. А такой парень, как ты, не может с молодых лет взвалить на себя обузу на всю жизнь. Ты должен уехать отсюда.

Вероятно, Пабло был прав. Мигель хотел уехать, ему хотелось посмотреть иную жизнь. Он не хотел тянуть лямку до конца своих дней, как муж тети Долорес и папаша Гонсалес. Он хотел многому научиться. Он хотел многое повидать. Ему нужна была совсем другая девушка. Только почему же Крисанта не испугалась? И вдруг у него мелькнула мысль — верно, Крисанта при его словах «мы едем» решила, что это она с Мигелем едет, и ей в голову не пришло, что едут Пабло с Мигелем. Это огорчило его, но Пабло сказал:

— Неужели ты думаешь, что долгие проводы легче?

Но долгих проводов и не получилось. На следующую же ночь зашел извозчик:

— Поехали, ребятки, если охота не прошла.

Когда вечером в обычный час Крисанта вошла во двор, какая-то женщина, сидевшая на земле и растиравшая маис, спросила:

— К кому же ты сегодня пришла?

И Крисанта узнала, что Мигель и Пабло уже уехали. Их приятели уставились на нее — кто насмешливо, кто сочувственно, а двое — мрачно. Крисанта поняла все, не сказала ни слова. Она стояла, словно окаменев. Комната завертелась у нее перед глазами. Крисанта подождала, пока комната не остановилась, потом весело сказала, что знала об этом и сама советовала ему ехать. Она-де зашла, чтобы взять кое-какие забытые вещи.

Один из парней крикнул ей:

— Если ты забыла их у меня на циновке...— и еще что-то, как все парни в подобных случаях.

Крисанта не осталась в долгу. Женщина, растиравшая на дворе маис, только головой качала, слыша ее смех. Внезапно Крисанта поклонилась и ушла.

Уже наступила ночь. Было холодно. Крисанта не хотела возвращаться к тете Долорес. Она совсем не хотела возвращаться к тете Долорес. Она не хотела идти ни к ней домой, ни в лавку. Она не хотела возвращаться и в Пачуку. Она никогда не хотела больше видеть Гонсалесов. Она не хотела, чтобы ее расспрашивали. Она никуда больше не хотела. Она бродила по улицам. Посидела у какой-то двери, пока ее не прогнали. Еще немного побродила. Присела на ступеньках какой-то виллы. Несколько музыкантов прошли по ночным улицам. Перед виллой они остановились,— наверное, их нанял возлюбленный одной из хозяйских дочерей. Они вынули из

футляров гитары, запели. В одном окне зажегся свет, из другого кто-то высунулся и разразился бранью. Крисанта встала, словно это на нее кричали так сердито, а не на музыкантов, которые не обратили на крик никакого внимания и спокойно продолжали играть. Крисанта шла по длинной улице. Потом присела на ступеньки большого здания. Она зябла. Было ветрено. На зубах скрипел песок. Она закрыла глаза. И вот, совершенно разбитая, в тоске по родному краю, стала искать в своей памяти, где же это она ребенком чувствовала себя в тепле и безопасности, как уже никогда и нигде не чувствовала себя потом. Она помнила только, что там было все синее. Мир катился мимо нее, не проникая в ее убежище. А теперь она не могла даже припомнить, какая это была синева. Она ощущала только пустоту внутри себя и вокруг себя. Все равно — закрывала она глаза или широко раскрывала их. И звезды в небе были так же одиноки, как прохожие, изредка появлявшиеся на пустынной площади. Она протащилась немного дальше. Опять села под чьей-то дверью. Ее опять прогнали. Наступило утро. Она проголодалась. У нее не было ни сил, ни желания говорить. А ведь милостыню молча не попросишь. Она украла что-то у уличной торговки.

Так миновало два-три дня. И ее снова потянуло к свету и теплу. Проходя мимо какого-то трактира, она услышала музыку. Мужчина, выскочивший оттуда, схватил ее за руку. Нет, он не был слеп, этот человек. Он сказал:

— Ну и вид у тебя! Прежде чем идти со мной, малютка, приведи-ка себя в порядок. Твое ребосо заросло грязью.

Она почистилась, заплела косы. Вот так и началось, так и пошло. Ее можно было видеть и в дрянных трактирчиках, и в кафе на лучших улицах города. То какой-нибудь приезжий вел ее в гостиницу, то уличный торговец — в свою лавчонку. Однажды она помогла переправить груз фруктов на мулах через всю страну. В другой раз ночевала в грузовике с шофером-иностранцем. А потом стало заметно, что она беременна. И ей пришлось искать пристанище. Она встретила девушку, работавшую с ней раньше в хлебной лавке. Девушка сказала:

— Можешь побыть у меня. Не то тебя занесут в списки. А если уж попадешься, так за тобой будут зорко следить.

И добавила:

— Думаешь, иностранки тоже так глупы, как мы? Знаешь, у меня восемь братьев и сестер. А вот иностранки, те не ждут, пока станет все заметно. Ведь потом за это наказать могут. А главное, они не ждут до тех пор, пока ребенка занесут в списки. Они хитрющие, они кончают все раньше, чем ребеночек на свет появится. Да он у них и не родится вовсе.

Крисанта была благодарна этой девушке. Она считала ее очень ловкой. К тому же девушка оказалась порядочной. Она приютила Крисанту.

Позже девушка сказала:

— Видишь, как хорошо, что ты меня встретила. В больнице ребенка занесли бы в списки. А так — его словно и не было. Теперь все кончено.

На это Крисанта ничего не ответила.

Иногда Крисанта была по-прежнему веселой. А иногда вела себя как безумная: ругалась, плакала и кричала. Она принесла своей подруге, как они и условились, первые же заработанные деньги. Но скоро ее новая работа опротивела ей. Без конца вышивать крестом, без конца одних и тех же птиц. В последний день на работе, чтобы насолить надсмотрщице, она вышила совсем не такую птицу, как ей велели,— красную, вместо синей на белом фоне, сама выдумав рисунок, а не по образцу. Правда, ее птица имела большой успех: последовал десяток новых заказов. Но Крисанта никогда ничего не узнала об этом, она перебралась в другой конец города.

Она опять выглядела по-прежнему. Опять охотно смеялась и болтала. Теперь Крисанта умнее обращалась с мужчинами. Ходила в парикмахерскую. Купила себе пальто в магазине. Она знала, что иностранцев иногда привлекают такие девушки, какими они представляют себе местных жительниц: робкие, сдержанно-холодные, с ребосо и косами. Она знала, что самым прекрасным на ее лице были ресницы, и, когда просила о чем-нибудь, опускала глаза. Иногда на нее находил приступ озлобления, тогда она замыкалась в себе и пряталась. Потом отчаяние проходило. И ее опять тянуло к свету и теплу.

Она встретила каменщика, который ходил с ней в вечернюю школу. Он всегда производил на нее впечатление сдержанного, рассудительного человека. Такое впечатление производил он и теперь. На нем был все тот же костюм, только уж порядком поизносившийся. Крисанта подумала: умеешь ты читать и писать или нет, а жизнь идет своим чередом. Что проку каменщику в этом мире оттого, что он умеет быстро складывать буквы в слова? Он познакомил ее с молодыми каменщиками. К одному из них она привязалась. Каменщики как раз строили на окраине города большой дом. Компания посылала своих рабочих на ту или другую стройку вместе с семьями. И каменщики, как цыгане, разбивали каждый раз на новом месте свой лагерь, до нового переселения. Молодой каменщик, который еще не обзавелся семьей, взял Крисанту в свою хибарку.

В семье Гонсалесов давно уже удивлялись, что Крисанта больше не появляется. Госпожа Мендоса узнала от тети Долорес, что Крисанта исчезла, оставив после себя долги. Но вот семья горшечника услышала от горшечников соседнего местечка, что Мигель уехал из Мехико, но без Крисанты. Об остальном Гонсалесы сами догадались.

Госпожа Мендоса чувствовала себя виноватой. Правда, никому и в голову не пришло упрекать именно ее. Но сознание вины мучило ее. Ведь это она привезла девушку на работу. А ей явно не повезло на том пути, которым она пошла по совету госпожи Мендосы. Она ничего не добилась. И вот госпожа Мендоса решила, что должна отправиться на розыски девушки.

К тому времени Крисанте стало трудно жить у каменщика. Жены соседей начали уже ворчать. Да к тому же лагерь опять снимался с места. Она целыми днями бродила по окрестностям города. Издалека наблюдала за крестьянами. На мулах или пешком, нагруженные фруктами и овощами или другими товарами, они спускались с гор в Мехико на рынок. Не доходя до города, они делали привал. Надевали сандалии, которые из бережливости несли всю дорогу. Однажды Крисанта увидела семью горшечника: женщины тащили детей, мужчины несли посуду. Посуда была хорошо глазурована, она так и блестела на солнце. Но ее вид не вызвал в Крисанте ни воспоминаний, ни печали. У нее только возникло смутное чувство, будто гончарное ремесло ей знакомо. Один из молодых горшечников, отойдя чуть подальше от своих, чтобы напиться, узнал Крисанту.

Вот как случилось, что госпожа Мендоса уже на следующий день спешила по одной из самых красивых улиц на окраине города, мимо новых белых, но успевших зарасти голубыми цветами домов, к лагерю строителей. У женщин она спросила о Крисанте. И, как ожидала, получила точный и злобный ответ.

Крисанта при виде посетительницы испугалась. А приказание госпожи Мендосы немедленно собираться и ехать в Пачуку потрясло ее и обрадовало.

За последний год Крисанте удалось избавиться от воспоминаний о Гонсалесах; пожалуй, можно было подумать, что она и вовсе забыла эту семью. Она всеми силами старалась не вспоминать о них, чтобы не просить у них приюта и не держать перед ними ответа. Когда же ей властно приказали сделать что-то, о чем она и помыслить не смела, она без всяких уверток, привычно послушалась того, кто был сильнее, чем она сама. Ибо она, Крисанта, была слабая, маленькая и беспомощная.

Госпожа Гонсалес не стала поднимать шум вокруг ее возвращения. А мужчины были на руднике.

Крисанта легла спать на свое старое место — на циновке, рядом со старшей дочерью. Только теперь там стало теснее, потому что старшая дочь была беременна. За это время она уже успела родить одного ребенка. Он спал в ящике, подвешенном на шнурах к потолку. Это было единственным новшеством в комнате да и в семье.

В доме было так тесно, что Крисанте и думать нечего было остаться. Она это сразу поняла.

— Ах, бедная моя,— сказала госпожа Гонсалес,— что ты будешь делать? Ведь ты снова попалась.

Крисанта еще и не подозревала этого, а приемная мать тут же заметила, что она ждет ребенка. Поэтому, когда госпожа Мендоса подала дельный совет, все очень обрадовались. Сестра ее золовки была замужем за человеком, которому в Мехико повезло. Они арендовали ларек и продавали лимонад у остановки на одной из окраин города. Им нужна была работница, чтобы заменить хозяйку в ларьке. Крисанта должна будет только выжимать апельсиновый сок и мыть стаканы. Накануне своего отъезда Крисанта вышла немного проводить папашу Гонсалеса, который приходил домой с рудника ночевать. Во дворе одиноко разгуливал, чванясь своим ярко-красным убором, индюк. Папаша Гонсалес сказал, что индюка откармливают к свадьбе второй дочери. И добавил:

— Мы ждем тебя.— И еще он добавил: — Ребенка ты принесешь с собой, я хочу его видеть.

Мгновение он пристально смотрел ей в глаза. От этого взгляда Крисанта почувствовала себя виноватой, ибо он напомнил ей Мигеля. Его глаза, такие же золотисто-зеленые, выражали ту же непреклонность.

Она не боялась больше вспоминать прошлое. Она опять вспомнила Мигеля. И горько жалела, что не приехала в Пачуку раньше. Может быть, она уже давно выжимала бы апельсиновый сок в этом ларьке. Ребенок, которого она ждала, был бы от Мигеля. Теперь же она и сама толком не знала, кто его отец.

Однажды Крисанта остановилась перед витриной кино, чтобы посмотреть фотографии актеров. Она узнала героев того фильма, который они видели вместе с Мигелем, и подумала: «И мой сын может стать таким же умным, как сын той девушки в фильме. И он научится читать и писать. И поступит в университет. И даже получит диплом. Он может стать решительно всем, кем захочет, если только вообще появится на свет, как того желает папаша Гонсалес».

Ее новая работа была ни очень плохой, ни очень хорошей. Люди, к которым она нанялась, обращались с ней ни грубо, ни дружелюбно. Они были немного сдержанны, немного педантичны.

И благодаря этим качествам могли кое-что экономить и откладывать деньги на аренду ларька.

В часы, когда в ларьке торговала сама хозяйка, Крисанта — отчасти по своей воле, отчасти по приказанию — продавала недалеко от ларька самостоятельно яблоки и лимоны. Родив ребенка, она продолжала вести свою маленькую торговлю. На остатки жалованья она покупала, тщательно выбирая, у оптового торговца несколько десятков некрупных, но блестящих желтых яблок, лимонов, помидоров и головок чеснока, а иногда и зелень. Все это она раскладывала рядом с рельсами, постелив газету прямо на землю, приветливыми ровными пирамидами. И садилась тут же на землю, закутав ребенка в ребосо.

Однажды порыв ветра поднял тучу пыли, засыпав улицу и прохожих. Крисанта быстро сунула голову под шаль к ребенку. Люди, едва различимые сквозь пыль, спешили мимо нее. И вдруг она вспомнила то место, где была когда-то ребенком. Вспомнила эту ни с чем не сравнимую, непостижимую синеву, такую густую и темную. Это было ребосо, шаль госпожи Гонсалес, а за ним, теперь она это знала, катились людские волны — ее народ.

АГАТА ШВЕЙГЕРТ

В небольшом городке Альгесгейме близ Рейна проживала в начале века женщина по имени Елена Денхофер. От покойного мужа она унаследовала мелочную лавку на окраине города и образцово с ней управлялась при помощи своей дочери Агаты. Уже девочкой Агата в свободное от уроков время обслуживала покупателей.

Жили они тут же в тесной квартирке, во дворе за лавкой. Двор был поделен на одинаковые участки. Полоть и поливать свой огородик входило в обязанность девочки. Если бы не эта каждодневная повинность, она выросла бы, пожалуй, еще более слабенькой и бледной.

Почти неуловимые колебания в выделке и качестве товара и мельчайшие капризы моды были для них предметом обстоятельных обсуждений и мучительных дум: ведь надо было своевременно сбыть товар, да еще с какой ни на есть грошовой прибылью.

Такое рвение способствовало расширению клиентуры, а следовательно, и росту оборота, разумеется, в скромных пределах — по товару. К тому же с годами за бывшей городской окраиной пролегли две-три новые улицы. Была построена консервная фабрика, ее спаржа и горошек пользовались большим спросом. Альгесгейм стал железнодорожным узлом; город получил новую сортировочную станцию. Выросли жилые корпуса, заселенные преимущественно железнодорожниками, служащими и рабочими,— в сущности, уже не задворки города, а новый район. Фрау Денхофер была со всеми любезна, пусть в душе она и предпочитала своих старых покупателей: ремесленников, скромных лавочников, как она сама, и мелких чиновников.

Агата радовалась окончанию школы: ничто уже не мешало ей помогать в лавке.

Без этой помощи матери и впрямь пришлось бы трудно: в то лето разразилась первая мировая война. Город наводнили солдаты, днем и ночью по Рейнской долине проходили воинские эшелоны в направлении на Францию. Вместе со знаменами и бравурными маршами в Альгесгейм вошло небывалое деловое оживление, захватившее даже фрау Денхофер. Незнакомые люди в мундирах и знакомые, которых до неузнаваемости изменили мундиры, предъявляли каждый свой спрос на пуговицы и петлицы, на золотой и серебряный галун, на всякого рода мелочной приклад, имеющий отношение к военному обмундированию, к патриотическим праздникам, а заодно уж и к траурной одежде. Фрау Денхофер, знавшая по роду своих занятий, как переменчив мир, не обольщалась новой конъюнктурой. Она отложила кое-что про черный день, припрятала и небольшой запасец товару — на случай, если ее сбережения растают. Агата безоговорочно слушалась мать. Она так же уверенно рассуждала с покупателями о победах и генералах, а после битвы на Марне, так же как и та, сбавила тон.

Когда военный разгром принес в страну голод, можно было предположить, что новые трудности им не страшны: мать и дочь привыкли во всем себя урезывать. Но как-то промозглой осенью, набегавшись под проливным дождем по окрестным деревням в поисках десятка яиц или полуфунта масла, фрау Денхофер серьезно занемогла. Жестокий кашель надрывал ее тщедушное, чахлое тело. Простуда перешла в воспаление легких, и вскоре ее не стало.

В жизни дочери мало что изменилось. Правда, вечерами, при подсчете кассы, ей очень недоставало скрипучего, но и до смертного часа настойчивого голоса матери. В своем черном, а потом неизменно сером платье хилая Агата напоминала мать, она была так же любезна и внимательна, покупатели не замечали разницы. Временами, забывая о смерти матери, они называли фрейлейн Денхофер «фрау».

Агату удручали те же трудности, что преследовали ее мать, а их все прибавлялось. В самое тяжелое время она открыла заветный сундучок, припасенный покойницей на крайний случай. Каждая тряпка была теперь в цене...

Частенько в лавку забредал на своих костылях ландштурмист Швейгерт. Жена его скончалась от гриппа. Она еще успела получить весточку о тяжелом ранении мужа, но самого его уже не дождалась. Швейгерт был мрачен. Ему осточертело ковылять на костылях. Он сам стряпал себе нехитрый обед в осиротелой кухне. Это был славный малый, в прошлом железнодорожник, надежный товарищ, остряк и говорун. В сердце его еще не угасла надежда на капельку счастья. Одиночество томило его. Как ни трудно было ему передвигаться, свои скромные покупки он делал в несколько

заходов: чем купить полдюжины пуговиц, покупал три раза по две. А к закрытию лавки являлся снова: у него сломалась иголка. Его, мол, учили составлять поезда, пуговицы пришивать не его специальность.

Агата без улыбки пришивала Швейгерту его две-три пуговицы. А он с удивлением глядел на ее тонкие, хрупкие, точно стеклянные пальчики. Жена его была добрая и жизнерадостная женщина, этакая шумливая толстуха.

Последние тяжелые поражения. Октябрьская революция в России, бегство кайзера в Голландию, учреждение Веймарской республики, оккупация французами Рура, бои в Берлине и Рурской области — все это заставляло думать, недоумевать, спорить. В Альгесгейме — как и во всей Германии. Никто и не заметил, что Агата Денхофер вышла замуж за Франца Швейгерта.

Никто не пожелал также узнать, счастливым или несчастливым оказался этот брак или ни то ни другое. Он и длился недолго, а в ту пору каждый был слишком занят своим почти непосильным горем, причиненным войной. Франц Швейгерт умер, как ни преданно ухаживала за ним Агата,— умер от последствий тяжелого ранения.

Молодая вдова по-прежнему занималась лавкой. Ничто, по-видимому, не изменилось в ее жизни, если не считать появления ребенка — тихого, опрятного мальчика. Стоило выглянуть солнцу, как Агата выставляла во двор манежик — сам Швейгерт еще смастерил его для малыша. Игрушками ребенку служили обрывки позумента, а также серебряные и золотые пуговицы, благо их никто не спрашивал. Многие покупатели по-прежнему путали Агату с матерью, покойной фрау Денхофер, а ребенка считали внуком. Но бывало и так, что какой-нибудь приезжий принимал щуплую Агату за школьницу, а мальчика — за ее младшего братишку.

Агата жила расчетливо, мать недаром учила ее бережливости. Трудовые их гроши поглотила инфляция, и Агата опять откладывала про черный день. Она брала на дом всевозможную работу: вязать, штопать — что придется. Понемногу, с натугой, кое-что скопила. Деньги ей были нужны для сына, он должен был стать чем-то особенным, она еще не знала чем.

То и дело приходили вести из Рура, из Саксонии, из Гамбурга или из Мюнхена. Агата не разбиралась ни в своем времени, ни даже в окружающей местности. Как-то рано утром, до открытия лавки, она вышла протереть витрину и увидела, что полицейские волокут какого-то растерзанного парня в наручниках, а тот безостановочно выкрикивает что-то. Они тащили его к вокзалу окраиной, чтобы не привлекать внимания. Агата Швейгерт не знала, что и думать, все это словно привиделось ей в дурном сне. Она не заик-

нулась об этом случае никому из покупателей, да и они предпочитали молчать.

В тот год ее сынок Эрнст впервые сел за парту: волосенки тщательно приглажены, умные глазки бегают по сторонам. Агата даже огорчилась — так понравилась ему эта перемена в жизни. Он больше не играл в своей части двора, предпочитая чужие дворы. Учился он без труда. Агате пришелся не по душе товарищ, к которому Эрнст привязался в школе.

Товарища звали Рейнгольд Шанц. Неотесанный, грубый мальчишка. Младший в многодетной семье. Отец его когда-то работал на сортировочной вместе с Швейгертом — для Эрнста это много значило. Агате же семейство Шанц так и осталось чужим, не лежало у нее к ним сердце. Тем более что фрау Шанц забирала галантерею в другой лавке — их теперь много развелось в городе.

Стоило Рейнгольду свистнуть, как Эрнста уже не удержишь. Он либо убегал стремглав, либо крался куда-то задворками в самые неподходящие часы. Домой друзья добирались уже затемно. Они доходили до самого Рейна. Вот куда их влекло, все по-настоящему интересное начиналось для них на берегах Рейна. Придя домой с запозданием, доставившим матери много тревожных часов, Эрнст принимался взахлеб рассказывать о своих приключениях. И тут с лица Агаты сходила смущавшая сына тень — отца его смутил когда-то брезжущий свет на этом лице. Слушая его, фрау Швейгерт забывала о пережитых страхах. Ей казалось, что мальчику выпало нечто, с лихвой окупающее все ее страхи и тревоги. За короткое время он повидал пароходы и людей, каких фрау Швейгерт сроду не видывала. Да и когда бы могла она — что пешком, что по железной дороге — совершить многочасовый путь до Рейна? И к чему, собственно? Да и с кем? Три школьные экскурсии, в которых она участвовала девочкой, давно уже развеяло вместе с пылью тех знойных дней. Муж у нее был инвалид, а мать выезжала только по делам, включая и ту, смертельную, поездку.

Эрнст, жадно набрасываясь на все, что ставила перед ним мать, продолжал рассказывать, пока в ее глазах не оставалось и следа печали.

Несмотря на эти приключения, учился Эрнст хорошо и проявил блестящие способности. Как-то к фрау Швейгерт зашел его классный наставник сказать, что мальчика следует учить дальше. От нее это не потребует особых расходов, разве что на книжки и тетради.

Итак, заветная цель была не за горами. Что значили по сравнению с этой радостью лишние заботы и труды!

Расходы, правда, оказались значительнее, чем предполагалось. Фрау Швейгерт принимала любые заказы, метала петли, бралась

и за художественную штопку. Эрнст приносил ей из новой школы все такие же отличные аттестации.

Огорчало ее, что он по-прежнему дружит с Рейнгольдом Шанцем, хотя Рейнгольду пришлось ограничиться восьмилеткой. Эрнст стал даже чаще захаживать к Шанцам — то ли потому, что там было много молодежи, то ли старик Шанц рассказывал ему немало занятного про времена его покойного отца.

С наступлением кризиса семейству Шанцев стало трудно посылать своего младшего в школу, и пришлось ему уехать из Альгесгейма в соседний город, к родственникам, державшим мастерскую. Так как спрос на ее товар катастрофически упал, фрау Швейгерт добывала деньги на одежду и обувь, не говоря уж о многочисленных учебниках, преимущественно ночным трудом. Эрнст играючи переходил из класса в класс. Он часто читал матери вслух, и то, что она узнавала, пусть даже понимая с пятого на десятое, окупало для нее ночную работу.

Прислушиваясь к разговорам в лавке, она теперь предпочитала помалкивать. Их не поймешь! Когда заговорили о поджоге рейхстага, одни с сомнением качали головой, другие отворачивались, явно не веря. Но вскоре в устах у многих зазвучала надежда на какую-то перемену, на постоянную работу и сытую жизнь.

Агате Швейгерт было столько же дела до Гитлера, сколько в свое время до кайзера Вильгельма или президента Эберта. Зато сын ее, Эрнст, нет-нет да и отпускал по адресу фюрера какое-нибудь колкое замечание, возможно подхваченное у папаши Шанца кружным путем через его сына Рейнгольда — лишнее доказательство того, что Эрнст все еще не прервал с ним дружбы. Хоть Агата и не жаловала Рейнгольда, она невольно прислушивалась к суждениям его отца. Ведь это же единственный человек, который был по-настоящему близок ее мужу. Однако заговорить с ним, спросить о чем-нибудь она не решалась, как не решилась бы еще маленькой девочкой.

В ее торговлишке с некоторого времени стало заметно оживление. И как же она испугалась, когда Эрнст неосторожно передал ей мнение Шанца, будто все это — псу под хвост, мы, мол, еще поглядим, чем это кончится! Она же, Агата, так жалела теперь, что не послушалась матери: как бы ей пригодился тот заветный сундучок с мишурой и галуном, с петличками, золотой канителью и нитками, со всем добром, которое она разбазарила неизвестно куда и на что. То и дело спрашивали у нее белый материал и даже белые ленты — учительницы в школах вырезали из флагов желтые полосы и заменяли белыми. В этом спросе на изделия предписанных раскрасок и образцов виделась ей возможность прикопить еще немного денег.

Эрнст тем временем сдал выпускные экзамены. Ему предстояло во Франкфурте-на-Майне изучать немецкую литературу и историю, чтобы со временем получить звание старшего учителя. Мать так же радовала эта перспектива, как огорчала близкая разлука.

Письма, приходившие сперва регулярно, были ее поддержкой, и, стоя за прилавком, она с гордостью говорила себе, что это ее заботе об их маленьком деле Эрнст обязан своей учебой. Вечерами она перечитывала старые письма, ей рисовались люди и места, которые он описывал.

Во время не то третьего, не то четвертого приезда Эрнста она заметила в нем перемену: куда девалась его былая жизнерадостность! А как он поморщился и даже побелел от гнева, когда разглядел, чем торгует мать,— всю эту дрянь, расшитую и размалеванную большими, маленькими и крошечными свастиками! Он крепко выругался сквозь зубы. Агата испугалась и стала оправдываться: «Если я брошу торговлю, что будет с твоей учебой?» Когда он прощался, прервав до срока свои тоскливые каникулы, мать не удержалась и ласково потрепала его по красивым густым волосам. Он глянул на нее с печальным удивлением. И снова стиснул губы в горькой гримасе.

Письма приходили все реже, становились все короче и холодней.

Как-то вечером, уже довольно поздно, она услышала, что кто-то, легко спрыгнув за ограду палисадника, нажал снаружи на дверную щеколду. Мать радостно вскочила, думая, что это может быть только Эрнст. Но то был Рейнгольд Шанц. Он показался ей еще угрюмее прежнего.

— Вам письмо от сына,— сказал он.— Пожалуйста, сделайте, что он просит.

Эрнст Швейгерт писал:

«Милая мама, передай моему другу Рейнгольду деньги за второй семестр. Надеюсь, они у тебя под рукой. Отдай ему также мое зимнее пальто и две рваные рубашки, неважно, если не успела починить. Спасибо за все, дорогая мама. Твой Эрнст».

Фрау Швейгерт спросила:

— С чего это он?

И Рейнгольд ответил:

— Эрнсту грозит опасность, ему надо срочно уезжать.

Фрау Швейгерт вспомнился парень в наручниках между двумя полицейскими, промелькнувший перед ней как-то рано утром. Деньги оказались под рукой, подходило время посылать их Эрнсту; она прибавила к ним дневную выручку, а в карманы пальто сунула носки и увязала привычными пальцами сверток с бельем.

Она еще спросила:

— Какая опасность?

И Рейнгольд ответил:

— Он и несколько студентов раздавали листовки против Гитлера.

Рейнгольд хотел надеть пальто, но оно было ему коротко и узко, пришлось перекинуть через руку; деньги он спрятал в карман, а сверток зажал под мышкой. Поблагодарив ее кивком, он бросил на ходу:

— Если кто спросит, вы меня не видели! — и убежал.

Фрау Швейгерт погасила свет. Долго сидела она в темноте и слушала, словно ночь могла разъяснить ей то, чего не досказал Рейнгольд Шанц.

На следующий день никто не удивился ее молчаливости и бледности, ее болезненному виду — покупатели привыкли видеть ее такой. Ничто не выдавало проведенную ею бессонную ночь, равно как и следующую, и третью. Она успокоилась, только найдя под дверью записку: «Все обошлось. Он уехал».

На той же неделе к ней пришли двое из гестапо — допытаться, где ее сын. Она печально вскинула на них усталые серые глаза и сказала:

— Во Франкфурте, где учится.

Допросив ее с пристрастием и вконец измучив, они ушли, решив, что она бестолковая дура.

Агата по-прежнему пеклась о лавке, но ее томило ожидание, время представлялось ей бесконечными ящиками — их то выдвигаешь, то задвигаешь. Она не боялась мундиров — ни коричневых, ни черных. Всю жизнь с малолетства приходилось ей возиться с мелочью, что служит для них прикладом. И если какой-нибудь мундир — что случалось все чаще — надменно переступал порог ее лавки, то уж, верно, затем, чтобы купить какую-нибудь мелочь.

Наконец-то Эрнст написал ей из Парижа. Он в восторге от города и уже болтает по-французски. У него много и старых и новых друзей. Она думала: «Придется ему изучить что-нибудь другое, ну да главное — он жив! Они его не поймали!» Сидя вечерами в своей комнатушке на заднем дворе, она перечитывала его письма и размышляла о том, что он говорил ей в последний приезд. Она видела его красивые волосы и горькую складку у губ. С каким презрением отзывался он о дряни, которую она вынуждена продавать. А тем более сейчас. С тех пор как войска подтянули к Рейну, в Альгесгейм опять нахлынули солдаты.

Но что крайне взволновало Агату — это ее же письмо, вернувшееся со штемпелем: «За отсутствием адресата». Ночи напролет металась она в постели, а когда и вовсе не ложилась. Но напрасно поджидала она гонца, который сунул бы ей под дверь желанную весточку. Снова и снова перечитывала она письма сына — их было не сказать чтоб много. В одном из них Эрнст упоминал, что, возможно, какое-то время она ничего о нем не услышит. Однако после этого пришло еще письмо. Ей ничего не оставалось, как тревожная пустота ожидания.

Как-то вечером, когда она, по обыкновению, перебирала письма Эрнста, ей бросился в глаза на марке тулузский штемпель. Она, собственно, и раньше его видела, ничто не ускользало от нее в письмах Эрнста, но сейчас она впервые над этим задумалась. На почтовом листке стояло: «Гранп д'Ор». Но раз Эрнст уехал из Парижа, он, возможно, живет в этом городе, в этой самой «Гранп д'Ор», и, уж во всяком случае, он туда заходил, сидел за одним из столиков и писал письмо в Альгесгейм, уж верно, его кто-нибудь там знает.

Лицо ее раскраснелось от этих мыслей, глаза заблестели, в душе пробудилось решение.

Никто и внимания не обратил, что с некоторых пор она стала общительнее и прислушивается к разговорам в лавке. Агате издавна полюбилась среди покупательниц одна старая фрейлейн: Эрнст учился у нее в первом классе, и, заходя в лавку, она всякий раз отзывалась о нем с похвалой. Иногда, перед закрытием лавки, она, задыхаясь, прибегала купить что-нибудь, и фрау Швейгерт, набравшись храбрости, заводила разговор о том, о сем, пряча покрасневшее лицо за штабелями картонок и коробок, которые убирала на ночь. Доверие ее вскоре было вознаграждено. Сделав над собой усилие, она как-то спросила, что это за Всемирная выставка в Париже, о которой столько болтают. Учительница и в этом разбиралась. У брата ее, тоже учителя, есть друг, он как раз собирается на Парижскую выставку. За проезд и пребывание в Париже установлен льготный тариф. Туристам всячески идут навстречу, и даже германские власти не возражают.

И так как поездка, предстоявшая другу ее брата, казалась старой фрейлейн в некотором роде событием, то она уже по собственному почину принесла фрау Швейгерт красочные проспекты и подробнейшим образом все пояснила, как оно и полагается учительнице. Фрау Швейгерт слушала с таким вниманием и так дотошно обо всем расспрашивала, что учительница заметила с улыбкой:

— Мне кажется, фрау Денхофер (она так и не научилась называть ее «фрау Швейгерт»), и вам загорелось ехать?

— Возможно,— отвечала Агата и тоже растянула в улыбке бледный рот.

Она еще наводила справки, а уже готовилась к отъезду. Купила небольшой чемодан и сняла все свои деньги со сберкнижки.

В Альгесгейме кончалась тихая летняя ночь, звезды померкли в небе; улицы все еще тонули в предутренней мгле, а в окнах на окраине уже заиграло солнце, вставшее над Рейнской равниной, когда фрау Швейгерт заперла свою мелочную лавку. Ключи она отнесла на хранение старой учительнице. К великому ее облегчению, пресловутый друг брата тоже ехал сперва во Франкфурт, и ей предстояло вместе с ним явиться к французскому консулу.

Втайне она боялась, как бы местные власти не отказали ей в паспорте. Но с отъезда Эрнста, более похожего на побег, прошло уже чуть ли не два года; новый начальник ничего про нее не слышал, он видел перед собой только аккуратно заполненный анкетный лист.

Как переезд через Рейнский мост, так и сложное путешествие с франкфуртского вокзала в консульство и обратно, а также ночная поездка во Францию с досмотром по обе стороны границы нисколько ее не испугали и даже особенно не встревожили. Она заранее, дома, перебрала все ожидающие ее в дороге случайности, голова ее устала от мыслей, а сердце от тревоги, она уже веровала в свою поездку. В переполненном купе она была крупинкой среди сильных, жизнерадостных людей. Едва занялся день во Франции, как хорошенькая черноглазая девочка на соседней скамье уже не могла усидеть на месте и вертелась юлой; к огорчению мамаши, она разорвала свое платьице. Фрау Швейгерт достала из чемодана иголку с ниткой и заштопала прореху — девочка даже притихла от удивления.

Объясниться с этими людьми фрау Швейгерт не могла, и все же на Восточном вокзале в Париже они пришли ей на помощь. Фрау Швейгерт намеревалась в первую очередь поехать по адресу, где раньше квартировал ее сын; чужая женщина усадила ее в автобус, подала чемодан и еще раз сказала «мерси».

Фрау Швейгерт разыскала маленькую гостиницу на левом берегу Сены. Хозяйка встретила ее неласково. Презрительно оглядела она тощую гостью: ни платья приличного, ни виду, ни разговору.

Но стоило Агате назвать свою фамилию, как хозяйке вспомнился сын.

— Ах, Эрнест! — воскликнула она, искренне удивившись, что такое жалкое создание произвело на свет такого обаятельного и веселого малого. Она и сама огорчилась, когда Эрнест уехал —

неизвестно куда и зачем. На помощь был призван жилец, говоривший по-немецки. Втроем они держали совет, Агата показала им конверт с тулузским штемпелем и попросила связать ее по телефону с «Грапп д'Ор».

В ожидании она подкрепилась кое-чем из своих дорожных припасов. Вскоре все о ней забыли. Она тихонько сидела в углу и почесывала хозяйскую кошку. Сердце у Агаты колотилось, словно ей предстояло невесть что. Когда позвонили, она вскочила так порывисто, что кошка слетела с ее колен и злобно ощетинилась.

По телефону говорил мужской голос — возможно, хозяин «Грапп д'Ор». Фрау Швейгерт, надсаживаясь, повторяла в трубку имя сына, поясняя в промежутках: «Sa mére, его мать!» Наконец до него, видимо, дошло, она услышала гомон голосов, словно он справлялся у кого-то в комнате и ему отвечали со всех сторон. Затем послышался другой голос, с грехом пополам говоривший по-немецки: «Его уже здесь нет. Ничего больше вам не скажу. Приедете? Когда? Уже завтра?»

Фрау Швейгерт вздохнула, она так и чувствовала, что надо ехать в Тулузу, а раз надо, значит, нечего откладывать в долгий ящик.

В Альгесгейме она все пыталась представить себе город, так полюбившийся ее сыну. Теперь, переезжая с вокзала на вокзал, она видела, словно в беспорядочной перетасовке, те самые картины, что он рисовал ей в письмах. Но ей больше не нужно было что-то себе представлять, ей ни к чему было что-то хранить в памяти. Даже на мысли не желала она терять время. Кое-как допросилась до билетной кассы, едва позволила себе выпить горячего кофе и так и не сомкнула глаз в вагоне.

Палящим зноем встретило ее тулузское утро. Изнемогая от усталости, она порой закрывала глаза и ощупью брела вдоль ослепительно белых стен. А иногда присаживалась на чемодан. По счастью, в улочке, где находилась «Грапп д'Ор», было почти темно и даже прохладно. Над дверью и оконными рамами, кое-где уже осыпавшиеся и слинявшие, стояли буквы, знакомые ей по письму. Хозяин удивленно и жалостливо, но не без легкой усмешки оглядел ее с головы до ног. Это был коренастый усач. Чужая женщина показалась ему жалкой, но она была матерью юноши, что недавно у него останавливался. И он послал за человеком, который вчера говорил с ней по-немецки.

Тот прибежал запыхавшись. Он был, пожалуй, в годах Эрнста, высокий, худощавый, с добрым взглядом. Он подсел к фрау Швейгерт поближе, будто для доверительного разговора, взял за руку и, чтобы успокоить, ласково поглаживал по плечу. И прежде всего спросил, как она доехала.

— Эрнст Швейгерт был здесь,— сказал он,— но уже уехал. Последнее его письмо, возможно, затерялось. Он в Испании.

Фрау Швейгерт удивленно на него воззрилась и по ее недоуменным: «Но почему же? Зачем?» — он понял, что это ей ничего не говорит. И как он ни старался объяснить, почему он сам и его друзья, в том числе и Эрнст Швейгерт, решили вступить в Интернациональную бригаду, чтобы отстоять Испанскую республику, какие ни подыскивал слова, он видел на ее бескровном лице только мучительные усилия что-то понять. Она не переставала спрашивать: «Но почему же? Зачем?» — теперь уже только губами, потому что голос у нее срывался и хрипел. Но вот она стиснула губы, ее серые с голубинкой глаза — он видел их перед собой близко-близко — посветлели и стали почти белыми, зрачки сузились, словно ей воссиял свет. Она высвободила плечо из-под его руки, поднялась и сказала:

— Ну что ж, поеду и я.

Он спросил, что она намерена делать в Испании.

И теперь уже она спокойно и терпеливо пояснила, что должна повидать сына, а когда он дал ей понять, что это невозможно, возразила, что ей прямой смысл ехать в Испанию, а куда же еще ей ехать? Она говорила так решительно, что он уже чуть жестче спросил, что она собирается там делать, чтобы не быть в тягость Испанской республике. Валандаться, да быть лишним ртом, и ждать, бесконечно ждать? Ну и попало же ему! Фрау Швейгерт ответила на это — и тоже чуть жестче,— что никому еще никогда не была обузой, она справится с любой работой. Войны она тоже нюхнула как следует, а уж на Рейне, известно, народ исправный, она и постирает, и пол вымоет, и сошьет что нужно, и больного обходит — все это ей приходилось делать. Пусть только поможет ей добраться.

Тем временем хозяин накрыл на стол, принес вина и хлеба. Хотя он ни слова не понял из их разговора — до него дошло звучавшее в нем волнение, и он решил, что его уха придется сейчас как нельзя более кстати. Втроем они поели и выпили, мужчины ухаживали за фрау Швейгерт, как никто еще не ухаживал. Великая тревога и великое утешение сошлись в этом доме.

Следующее утро уже не показалось ей таким слепящим и знойным. К тому же высокий худощавый, что рассказал ей про Эрнста, не заставил себя ждать. Он повел ее через весь город и по широкой, залитой солнцем площади в такую же тесную, темную улочку, на какой стояла «Грапп д'Ор». Вот, сказал он, дом, где обмозгуют ее дело. Эти душные комнаты были чем-то вроде канцелярии, повсюду полки и конторки, мужчины и женщины что-то строчат или снуют взад-вперед, кругом звучит разноязычная речь.

Какая-то женщина долго и тихо беседовала с провожатым фрау Швейгерт по-немецки. У нее был строгий вид и очки на носу. Глядя на нее, фрау Швейгерт вспомнила альгесгеймскую учительницу, взявшуюся хранить ее ключи, но лишь как вспоминаешь образ из сновидения: связка ключей была такая же большая и важная, как это лицо за стеклами очков.

Но вот очкастая повернулась к фрау Швейгерт и спросила, чего ей нужно и что она умеет делать. Фрау Швейгерт отвечала ясно и веско, даже с известной гордостью. Очкастая не без участия, но так же деловито и дотошно предложила ей заполнить анкетный лист, как это полагается во всякой канцелярии.

В последующие дни фрау Швейгерт посиживала в кафе в тени аркады, наблюдая за тем, что творится на большой площади. Хозяин «Гранп д'Ор» был немало удивлен, когда она перед отъездом, не поморщившись, заплатила ему все, что причиталось. И он чокнулся с ней, глядя на нее все так же удивленно и жалостливо, но уже без всякой усмешки. Она же, проникшись доверием, оставила ему на хранение остаток своих денег.

У самой испанской границы узнала она трех-четырех пассажиров, запомнившихся ей еще в поезде. В бесконечном туннеле, ведущем в Испанию, какая-то тяжесть легла ей на сердце. Ее спутники, в большинстве сверстники Эрнста, а также высокий худой тулузский ее знакомец (но был среди них и седовласый старик, пожалуй что ровесник Агаты, была и молоденькая девушка) заботились о ней, словно сговорившись, по очереди несли ее чемодан, хотя у каждого была своя ноша. Фрау Швейгерт только диву давалась, как эти чужие друг другу люди оживленно переговариваются — кто словами, а кто и жестами. Да и сама она вскоре стала так же запросто ко всем обращаться, словно век жила с этими людьми, хотя никогда не жила она среди таких, как те, кто в этом затхлом туннеле перебирался с ней на испанскую сторону.

С удивлением, но без страха смотрела она снизу вверх на солдата, который, стоя под красно-золотисто-фиолетовым флагом, с суровым видом проверял их бумаги. Она увидела складку, залегшую меж его бровей, а он, взглянув мельком, увидел у нее меж бровей такую же складку. Не растерянно и наудачу, как раньше, а в твердом убеждении, что при должной настойчивости она добьется своего, фрау Швейгерт наконец через все заставы добралась до Барселоны.

В германском отделении интербригад ей сообщили, где стоит полк ее сына. Она написала ему: «Вот и я здесь!»

Вопрос, какую этой женщине поручить работу, еще решался, когда из полка пришло сообщение, что сын ее с легким ранением

попал в лазарет в Альбасете. Вместе с пропуском ей дали письмо с предложением использовать ее на месте.

В поезде и грузовике фрау Швейгерт и в голову не приходило, что она забирается все дальше, напротив, она верила, что вот-вот доберется до цели. Каждая задержка причиняла ей страдания. Но бывали ночи, когда она лежала под открытым небом и глядела на звезды. В эти часы она забывала о томительном ожидании здесь, внизу.

Никогда еще она не видела такого множества сверкающих звезд. Только однажды, в день отъезда, углядела она в Альгесгейме на исходе ночи две-три последние жалкие, потускневшие звезды. Здесь же, должно быть, что ни ночь — такое торжество. А проглядывающие вдали фиолетовые горы! А деревни, прячущиеся в живописных ущельях! А равнины, такие радостные, словно на земле знают одно лишь солнце! А округлые лесистые холмы и море! Чего только не увидишь, заперев за собой дверь лавки! Ей часто приходилось показывать свой пропуск, и она радовалась, когда его требовали, это наполняло ее гордостью и удовлетворением. В грузовике ли, в тесно ли набитом купе — для нее всегда находилось небольшое местечко, а большего ей и не требовалось. Повсюду в солдатах, крестьянах и даже в малых детях проглядывало воодушевление. Порой на ней задерживались удивленные взгляды, порой чья-то рука обнимала ее за плечи и кто-то кричал ей на ухо, словно она глухая, одно лишь слово: «Теруэль!» Да и в разговорах непрестанно слышалось: «Теруэль! Теруэль!» То ли это человек, то ли местность какая, она не знала. И только все снова горделиво и строго показывала свой пропуск.

Госпиталь помещался в бывшем замке, замковый сад был госпитальным парком. Фрау Швейгерт оглядывалась со стесненным сердцем. Несколько солдат упражнялись в ходьбе на костылях: одни — сцепив зубы, другие — оскалив их в улыбке. Какие-то фигуры в толстых повязках лежали в тени. О сыне она знала одно: легкое ранение. Он — «не тяжелый». Но как это понимать? У нее имелся опыт по части неизлечимых ран. Теперь, когда она была у цели, сердце глухими толчками вещало ей недоброе. Она поднялась по широкой белокаменной лестнице со своим чемоданом.

В приемной, едва выяснилось, кто она, ей передали письмо. Она узнала руку сына. Радость, которой она так долго была лишена, на какие-то секунды заслонила ожидавшее ее разочарование.

«Как же я обрадовался, мать! С каким нетерпением ждал тебя! Но наш брат собой не располагает. Я приеду к тебе при первой же возможности. Пожалуй, даже совсем скоро. Как хорошо, что ты здесь, рядом, а не где-то в несусветной дали,— из наших

я один такой счастливчик. Ты ведь останешься в Испании? Тут большая нужда в людях! А ты у нас, мать, на все руки!»

Несмотря на все свое разочарование, она обрадовалась белому халату, такие халаты носили сестры, а ведь ей была поручена скромная обязанность — содержать в порядке белье. На первых порах всего хватало. Но вскоре понадобилось чинить обветшавшие простыни и штуковать еще крепкие куски, чтобы всегда иметь про запас нужную смену.

Из немецкой бригады прибыло много раненых. Фрау Швейгерт находила себе работу в палате, ей хотелось понять из разговоров, что за матери ждут дома этих сыновей. Она отыскивала на карте ту местность, где в окопах лежал ее Эрнст.

Вскоре после ее прибытия медсестра Луиза, испанка, спросила, правда ли, что Эрнесто Швейгерт ее сын. Каждая страна, отметила про себя фрау Швейгерт, прибавляет к его имени лишний слог: во Франции его звали Эрнест, а здесь зовут Эрнесто. Это была прелестная девушка, такая беленькая, что белей не бывает, а волосы как вороново крыло. Фрау Швейгерт были показаны снимки, где сын ее стоит рядом с Луизой. Рука у него на перевязи, но лицо спокойное, веселое. Таким веселым и спокойным она его не видела дома.

Получив письмо, Луиза бежала с ним к фрау Швейгерт, а фрау Швейгерт бежала к Луизе, едва к ней самой приходило письмо.

Как-то ей показалось, что люди при ее появлении останавливаются в замешательстве и прячут глаза. Что-то заставило ее поискать Луизу. Девушка лежала на кровати и горько плакала. Фрау Швейгерт дотронулась до ее волос, и та вскочила, бросилась к ней на шею и громко зарыдала. Сжимая фрау Швейгерт в объятиях, она раскачивала ее из стороны в сторону, а та словно одеревенела — казалось, Луиза раскачивает доску. Агата Швейгерт уже поняла, что Эрнст погиб.

Теперь, проходя мимо с неподвижным лицом, она часто ощущала чьи-то ласковые прикосновения, кто-то ронял в ее сторону сочувственные слова. Но все у нее на лице и внутри будто застыло. Никто не мог сказать, плачет ли она по ночам.

Вслед за ее несчастьем тяжелые удары обрушились на борцов Испанской республики. В то время как Франция не пропускала оружия, итальянцы и немцы беспрепятственно помогали Франко. Республиканская армия была разорвана на две части.

В госпитале ранеными был усеян весь пол. Война придвинулась совсем близко, она уже слышалась за горным хребтом. Со дня на день ждали эвакуации. Все эти страхи и волнения словно обходили Агату Швейгерт стороной. Она не нуждалась в сне.

Руки ее не знали устали: они перевязывали раненых, отстирывали окровавленные бинты, чинили и латали постельное и носильное белье.

Однажды, когда она, как всегда, беззвучно суетилась, вся уйдя в работу, кто-то вдруг ее окликнул: «Фрау Швейгерт!»

При ее небольшом росте Агате даже не пришлось наклониться. В этом бледном высокомерном лице под белой повязкой она узнала Рейнгольда Шанца. Он почему-то не удивился, повстречав ее здесь. Быть может, он принял ее за одно из видений, навещавших его в горячечном бреду, а может быть, дело обстояло проще, и сам Эрнст еще сообщил товарищу о приезде матери. Рейнгольд привлек ее к своей койке и рассказал, не щадя, но самой этой ясностью принося ей облегчение, как Эрнст погиб у него на глазах.

— Он нисколько не страдал, фрау Швейгерт, ему повезло в смерти.

Она теребила его рубашку и одеяло.

Рейнгольд Шанц был транспортабелен, и его при первой же возможности вывезли вместе с другими. Наутро уже кто-то другой лежал в его постели.

Луиза уезжала с одним из следующих транспортов. Она бросилась к фрау Швейгерт на шею и зарыдала. И тут Агата вместо обычной тупой безысходной скорби почувствовала режущую боль в груди — ее нельзя было бы вынести, не продлись она всего лишь секунду. Никто этого особо не приказывал, но никто и не удивился, что фрау Швейгерт не покладая рук работала до последней минуты, помогла перевязать последнего раненого и погрузить его на машину.

В потоке беженцев, устремленных за Пиренеи, преследуемых солдатами Франко на земле и с воздуха до последнего рубежа родной земли, фрау Швейгерт одиноко брела со своим уже полегчавшим чемоданом. Но теперь она несла его не в руке, а на спине, точно ранец. На этом пути немало было одиноких странников: одни уже при выступлении разминулись со своими, другие потеряли их из виду при очередном налете. Матери искали детей, дети — родителей, невесты — женихов. Агата Швейгерт никого не искала, она никого не потеряла из виду. В дороге она занялась мальчонкой — бедняжка больно зашиб ногу, она перевязала ее; семья была многодетная, матери и дедушке трудно было удерживать своих птенцов при себе и приглядывать за ними во время этого исхода. Фрау Швейгерт смастерила носилки из своего головного платка, и двое старших поочередно несли младшего. Вскоре мать — ее звали Мария Гонсалес — и ее свекор, дедушка, мрачноватый, крепкий старик, уже не могли обойтись без фрау Швейгерт. Она присматривала за младшими детьми; Альфонсо, стар-

ший, помогал ей, он был в дедушку, такой же коренастый и мрачный. Отец, офицер республиканской армии, то ли погиб в бою, то ли попал в плен.

Когда эти испанские люди, не мыслившие жизни под пятою Франко, спустились с Пиренеев, все пришло в смятение на французской границе. По предписанию свыше власти разбросали по лагерям всех, на кого им удалось наложить руку. Семейство Гонсалес, состоявшее из старика, женщины и детей, а также Агаты Швейгерт, прошедшей с ними добрую часть пути и помогавшей им в дороге, очутилось в окрестностях Перпиньяна.

Из уважения и сочувствия к добровольному подвижничеству этих людей семья французских крестьян приютила семью Гонсалес. Им отвели сарай для жилья и кое-чем кормили. Вскоре обеим женщинам нашлось применение в хозяйстве. Так они и жили все вместе под опекой французских крестьян, в свою очередь помогая им до глубокой осени с уборкой урожая. Но тут началась мировая война. Французские войска неподвижной стеной стояли на линии Мажино против германского вермахта. Предчувствие говорило людям: то, что разыгралось ранней весной и как будто завершилось в Испании, может, лишь начало неслыханных ужасов и страданий во всей этой части света.

Семейство Гонсалес мерзло в сарае; обе женщины, неустанно трудясь, сумели приобрести одеяла и кое-какую детскую одежонку. Они радовались, когда их звали в теплую крестьянскую кухню чистить овощи, шить или штопать. Никто не обращал внимания на фрау Швейгерт. Она была нема, как ее тень, и только проворные пальцы без устали двигались.

Тем временем сеньора Гонсалес получила весточку от мужа. Он находился всего лишь в нескольких часах пути, в лагере на Атлантическом побережье. Жена отправилась навестить мужа. Фрау Швейгерт молча прислушивалась к ликованию всей семьи по поводу предстоящей встречи.

А как-то сеньора Гонсалес сообщила Агате:

— Глядите, тут и вам письмо!

Почерк был незнакомый. В том же лагере, где был интернирован Гонсалес, оказался и Рейнгольд Шанц. В один из томительных лагерных дней, когда каждая весточка с воли становилась для всех событием, Гонсалес рассказал Шанцу о чужой женщине, что живет с его семьей в окрестностях Перпиньяна. Наведя справки, Рейнгольд установил, что это может быть только мать его погибшего друга, и написал ей.

«Я так же одинок на свете, как и вы, фрау Швейгерт. Разумеется, не считая товарищей и друзей. Летом здесь была чертова

жара, а теперь мочи нет от холодных ветров. Моя малярия дает себя знать. Не могли бы вы раздобыть для меня немного хины? Простите, что утруждаю вас!»

До сих пор фрау Швейгерт не жила, а прозябала. А тут она словно ожила: несколько раз перечла письмо и задумалась. Если хозяин «Грапп д'Ор» — человек порядочный, он, конечно, сохранил ее деньги. Она написала ему. Сеньора Гонсалес с удивлением говорила себе, что чем-то старушка взволнована. Вскоре от хозяина пришел ответ. Он выслал деньги.

Ранним зимним утром фрау Швейгерт, вконец окоченев — она выехала ночным, чтобы загодя быть на месте,— остановилась у лагерных ворот. В чемодане у нее лежала хина и немного теплого белья для Рейнгольда. С удивлением и гневом уставилась она на бараки за колючей проволокой. Хорошо еще, она догадалась выехать ночным. Ведь у нее не было официального пропуска, а добиться разрешения от местных властей оказалось не так-то просто.

Часовой у ворот не пускал ее. Но так как она не понимала его и только повторяла одно и то же имя, он позвал старшего. Со старшим получилось то же самое, и он отвел ее к лейтенанту. Лейтенант все же рассудил, что от этого убожества никому вреда не будет. По его распоряжению фрау Швейгерт отвели в пустой барак для свиданий и вызвали Рейнгольда Шанца.

Рейнгольд еще больше одичал и огрубел. Лицо его выражало неизъяснимую гордость. У рта залегли насмешливые складки, казалось, он бросал вызов всему, что искалечило его молодую жизнь. Задумчиво глядел он на фрау Швейгерт. Поблагодарил за подарки, которые она один за другим доставала из чемодана. Он охотно погладил бы ее по голове, но не решался.

Они рассказали друг другу все, что пережили с тех пор, как встретились в госпитале. Но тут вошел солдат и крикнул: «Fini!» Фрау Швейгерт нерешительно поднялась, солдат ждал у двери. Рейнгольд немного проводил ее. Несмотря на яркое солнце, мел ледяной ветер. Они попрощались. Он еще раз обернулся. Наклонился к ней и сказал скороговоркой:

— Гонсалесы вот-вот уезжают, да и многие едут. Боятся угодить в лапы нацистам, когда война перебросится в эти края.

Солдат снова крикнул: «Fini!» Однако подождал еще. Видно, пожалел старую женщину, стоявшую на ледяном ветру; она была так мала и легка, что ветру ничего не стоило ее сдуть, и, разговаривая с парнем, высоко тянула голову, хоть он и наклонился к ней.

Рейнгольд Шанц продолжал:

— Несколько южноамериканских стран обещают нам убежище и разрешение работать, они вышлют нам билеты на пароход. Друзья Испанской республики нас поддерживают. Мы составляем

списки всех, кто хочет ехать с нами. А вы, фрау Швейгерт, вы мать Эрнста, да и сами вы много сделали. Вам надо ехать с нами. Да и куда вы денетесь? Не обратно же в Альгесгейм?

— Нет, нет,— воскликнула Агата Швейгерт,— только с вами!

Весной 1941 года я ночевала вместе с испанскими женщинами в бараке на одном из Антильских островов. Мы ждали пароходов, чтобы разъехаться по странам, обещавшим нам убежище.

Возбужденные горем и радостью, сознанием безопасности и неуверенностью, испанки без конца пели. С ними сидела маленькая худенькая женщина, седина обрамляла ее серое лицо, она была непохожа на испанку и все время молчала.

Но как-то, когда она пришивала ребенку оторвавшуюся пуговицу, у нее вырвалось по-немецки:

— Потише ты, пострел!

Я спросила, из каких она мест, и она ответила — из Альгесгейма Рейнской области.

Весь этот вечер мы просидели вместе. Вскоре я уехала. Не знаю, жива ли она еще. Здесь все, что я узнала о ее жизни.

ПРЕДАНИЯ О НЕЗЕМНЫХ ПРИШЕЛЬЦАХ

I

Самое трудное осталось для него позади, во всяком случае, он думал, будто самое трудное уже сделано. Вначале всегда так думаешь. На деле же преодолеваешь только первую трудность, предвестницу тех, которые тебе еще предстоят.

Он перевел дух. Он приземлился точно в заданном месте, внутри городских стен. Он свободно владел аппаратурой, вмонтированной в его костюм, как владел своими десятью пальцами. Одно движение — и он свяжется с друзьями, они ответят ему, а если понадобится, придут на помощь.

Убежденный, что все удается как нельзя лучше, он совсем не испытывал страха. На прощанье друзья сказали ему: «Если все удастся, ты станешь первым. А если не удастся, мы узнаем, что именно не сработало, и сделаем то, чего не сделал ты. Обещаем тебе...»

Друзья полагали, будто их слова вдохновят его. Так оно и было. Хотя в этом, втором, случае ему, разумеется, не пришлось бы дожить до следующей, до удавшейся попытки. Предвкушая триумф, он просто не принял в расчет, что можно никогда больше не жить, ничего больше не переживать.

Он шел открыто и бесстрашно, словно ему не требовалось больше ни мер предосторожности, ни связи с друзьями. Сперва он шел вдоль берега, потом — вверх по склону. Долина, окруженная невысокими горами, напоминала гнездо, в середине ее высился одинокий, довольно крутой холм. Вокруг холма раскинулся маленький город. Городские стены впускали извилистую речушку, затем снова выпускали, и она наконец убегала вдаль по равнине.

Страж со своей башни мог видеть далеко окрест, он мог окинуть взглядом и проселок, и большую дорогу, которая вела через

подъемный мост к городку. Страж имел право опускать и поднимать мост по собственному усмотрению. Он получил от феодала самые недвусмысленные полномочия. Времена были беспокойные.

Страж не заметил, что кто-то приземлился. Да и с какой стати он стал бы разглядывать обнаженный склон внутри городских стен? За последнюю неделю овечье стадо объело всю траву по склону до голой земли. Горожанам удалось после долгих просьб и за высокий налог получить от феодала разрешение пасти овец на лугах за пределами городских стен.

Пришелец поднялся по склону. Он услышал слабый шелест, почувствовал незнакомый освежающий запах и остановился. Какая густая зелень нежданно подступила к нему, какие зеленые волны катились ему навстречу!

Он отпрянул, светло-зеленые волны уже смыкались вокруг его колен. А те, что повыше, темно-зеленые, порой увенчанные белой пеной, готовились сомкнуться вокруг его плеч. Пригибать голову не имело смысла. Первая большая волна зелени сейчас захлестнет его. Он был так поражен, что даже не испугался. Волны колыхались вверх и вниз. Но над его головой они не перекатывались, зелень не уплывала прочь. Все приросло к земле. Это был иной лес, нежели те, к которым он привык. И все же это был лес. На родине у него деревья очень высокие, без ветвей, а на верхушке торчат кисти сочных плодов. Здесь ему были внове даже кусты, подлесок и тонкие трепещущие былинки, и цветы были ему внове, желтые, белые и голубые цветы, которые поодиночке кроткими и тревожными глазками выглядывали из травяных волн, и пеноподобных соцветий на кустах он раньше не встречал. А зайдя глубже в лес, издававший такой аромат и такой шелест, он увидел сквозь листву яркие блики света, и тогда он запрокинул голову, увидел клочки голубого неба и понял, что весь этот свет льется от их единственного солнца. Выйдя из лесу, он увидел над долиной само солнце, и удивление его сменилось бурной радостью.

Не вершина холма, как ему подумалось вначале, вонзилась в сизый воздух, а словно высеченное из вершины строение с зубчатыми стенами и множеством башен. Для наблюдения за небом и землей, решил он.

Вдруг из города в сторону леса, ему навстречу, вышла процессия жителей. Сейчас он узнает, какие они. Они шли группами и поодиночке. Он присел в кустарнике, разглядывая живые существа, которые медленно одолевали склон по каменной лестнице. У них были длинные и тяжелые одежды. Тела их показались ему тщедушными. Но, насколько он мог судить, они во многом походили на него. Только выглядели очень слабыми. Возможно, они больны и что-то затрудняет их восхождение — то ли одежда, то

ли телесная слабость. Ростом они не карлики, но и не великаны. В строении тела и в походке нет ничего чуждого глазу, разве только какая-то хилость, бледность. Во всяком случае, ему будет легче, раз они такие, какие есть.

Поблизости раздался гул, одновременно и глухой и звонкий, двойной звук, в котором одна составная часть подгоняла другую. Звук не умолкал, он приводил в трепет все живое — и его тоже. Тут он обнаружил между деревьями какую-то красноватую каменную массу. Дорога и лестница вскоре опустели. Стало так тихо, словно вся долина вдруг вымерла.

Он уже начал привыкать к новому месту. Встреч решил не искать, но и не уклоняться от них. Друзьям он сообщил, что приземление прошло благополучно. Всего лишь несколько минут назад первое сообщение представлялось ему чрезвычайно важным, как бы залогом связи, которая никогда не прервется. Теперь же для него, завороженного всем, что он здесь увидел и услышал, поддержание связи стало всего лишь обязанностью. Снова раздался двойной гул, гнетущий и возбуждающий в одно время.

Из красноватой постройки донеслись какие-то новые звуки, наполнившие его тревогой, как ранее шелест. Но звуки эти, не порожденные лесом, не испугали его. Они бодрили, вселяли чувство надежды, словно ему вторично удалось совершить приземление. И вдруг они смолкли, и опять вступил двойной гул, гнетущий и возбуждающий.

Теперь он осмелился высунуть голову из кустов и оглядел все здание целиком. Оно показалось громадным по сравнению с крохотными домишками. А когда из ворот снова потекли толпой жители города, тщедушные, слабые, в остроконечных шапках, он задал себе вопрос, зачем им может быть нужна такая постройка.

Кто-то спускался к нему мелкими прыжками, так быстро, что он уже не успел спрятаться. И он вышел из кустов.

Они чуть не столкнулись. Это была девушка. Голова у нее была туго повязана белым платком. Чтобы заглянуть ему в лицо, ей пришлось запрокинуть голову.

Ни разу еще он не видел таких глаз — таких прозрачных, таких бездонных. Ни разу еще ни на одном лице не видел он такого сияния. Девушка хотела ему что-то сказать, но сначала лишь беззвучно шевелила губами. Она притронулась пальцем к его рукаву, однако, коснувшись стекляшно-гладкой, твердой ткани, отдернула руку, будто обожглась. Он понял, что сияние на лице девушки — просто отблеск его собственной одежды. Губы у нее еще несколько раз вздрогнули, прежде чем она собралась с духом и заговорила:

«Прогулка мертвых девушек»

— Я знала, что ты придешь. Как быстро ты спустился! Я своими глазами видела, как ты сошел с неба!

Он спросил в безмерном удивлении:

— Ты видела?

— Да,— отвечала девушка,— даже отец и тот мне не поверил, хотя он ждет, ждет, ждет. Так же сильно, как я, еще сильней. Его жена, а моя мачеха, говорила, правда, будто я видела обычный звездный дождь.

— Это напоминало звездный дождь?

— Ах нет. Не для меня. Крылья — они и есть крылья.

Теперь он погладил ее по голове, голова под его рукой была теплая, как птица.

— Как тебя зовут, девушка?

— Мария.

— Кто я, по-твоему, такой?

— Один из тех семи, что стоят перед господом. Не ты ли Михаил?

— Зови меня как хочешь, зови меня Михаилом. А кто такие эти семь? И кто такой господь?

— Меня ты не проведешь,— сказала девушка с лукавой усмешкой. Она все еще была бледна, все еще дрожала.— Я знаю, ты пришел оттуда, сверху. Я знаю, ты пришел от Него.

Он сказал:

— Но ты никому в этом городе не должна рассказывать, что я пришел.

— Нет,— сказала девушка,— только моему отцу. Только ему. Ведь он так страстно ждал. Было бы жестоко скрыть от него, что ты воистину пришел. Ему так трудно далось ожидание. Над ним многие смеются. Пойдем, я покажу тебе такое место, где ты сможешь спокойно отдохнуть, пока я не приду за тобой и не отведу к отцу.

Она шла впереди него через лес, вверх по склону, вниз по склону.

— Вот смотри, наша овчарня,— сказала девушка.— Она пустует. Овцы на летовье. Я сейчас тебе принесу плащ моего отца. А потом я отведу тебя к нему в мастерскую. Отец работает и днем и ночью. Ты пойдешь?

Он ответил:

— Конечно.

.

Итак, удалось не только приземление, но и контакты с живыми существами. И все получилось само собой. Как хорошо все вышло. Девушка показалась ему такой близкой, будто их встреча вовсе не была первой. А сам он, что удивляло еще больше, отнюдь

не показался ей страшным, напротив, она приняла его как долгожданного гостя. Словно визит из другого мира — для нее привычное дело. И как хорошо они понимали друг друга. Значит, не зря он заучивал каждое слово, каждый звук их языка. Может, его примут за чужеземца, который прибыл после долгого пути из дальних стран.

Он передал сообщение: «Все в порядке, я остаюсь». Ответ пришел тотчас: «Будем ждать в условленном месте».

Он вышел из пустой овчарни. Без всякой тоски глядел он на звездное небо. Скорей даже с облегчением, ибо теперь он был здесь. Найдя точку, которую искал, он оторвал взгляд от неба и перевел его на равнину. Равнина простиралась за городской стеной до отдаленной цепи холмов. Нашел он и затерявшееся среди равнин овечье стадо, о котором толковала девушка.

Он уже узнавал ее шаги. При виде его она снова задрожала от радости. Она принесла плащ своего отца. Плащ доставал ему до бедер — как накидка. Девушка сновала вокруг, гибкая, как котенок, и оглядывала его с ног до головы.

— Теперь ты выглядишь почти как рыцарь, только еще прекраснее.

Они вышли. Лунная тень поглотила тень девушки. Если днем он дивился свету солнца, пробуждавшего все живое, теперь его заворожил свет их единственной луны. Все было в серебре. Он увидел вблизи все строение и башню, с которой несколько часов назад доносился двойной гул.

Он сказал:

— Мария! Там, вверху, моя родная звезда.

Губы у нее дрогнули, прежде чем вымолвить ответ:

— А я думала, ты сошел с семизвездия.

— Почему?

— Потому что вас семеро, и у каждого своя звезда.

— Семеро? Почему? На этот раз нас двадцать три.

Ошеломленная девушка сделала рукой какой-то непонятный ему знак. Она сказала:

— Так много! Представь себе, отец и на этот раз не хотел мне верить. Он холодно сказал: «Если твой пришелец желает говорить со мной, приведи его ко мне в мастерскую до рассвета».

Они обошли большое строение кругом. Кто мог жить там за дверьми, через которые совсем недавно прошло так много людей? Все они вместе со своим городом могли бы там уместиться. И что это мелькает в углублении над аркой? При зыбком свете луны он не мог разглядеть...

Девушка провела его вдоль стены, к боковой дверце низенького деревянного домика. Сквозь щели был виден свет. Слышался

визг рубанка и стук молотка. Ему пришлось нагнуться, чтобы следом за ней пройти в дверь. Звонким, прерывающимся от волнения голосом она сказала:

— Вот он.

Маленький человек поднял голову от верстака. Его фартук и борода были покрыты пылью. Он осмотрел пришельца темными, внимательными глазами, без удивления, без недоверия, лишь с напряженной пытливостью. И спокойно сказал:

— Я мастер Маттиас. Моя дочь рассказала мне о вас. Она говорит, вы прибыли издалека. И зовут вас Михаил.— С болезненной усмешкой он добавил: — Девочке показалось, будто вы сошли с неба.

Лицо у него было озабоченное и бледное, такими пришелец и представлял себе местных жителей. Ходил мастер с трудом, чуть прихрамывая. Он принес вина, разлил его по стаканам и сказал:

— Итак, Михаил, добро пожаловать.

Он выпил за здоровье своего гостя, а гость медленно, смакуя, совершил свой первый глоток со времени приземления. Мастеру он дал такой ответ:

— Твоя дочь права. Я пришел издалека. Ты тоже не встречал еще человека, который пришел бы из такой дали. Да. Она права. Я прибыл с другой звезды.

Бородатый человек внимал ему, опустив глаза, и задумчиво молчал. Он привык к удивительным гостям из чужих стран. Говорящим на необычном языке. Приходили учителя и ученики, привлеченные его славой. Больше всего — его последним творением, алтарем, представляющим Тайную Вечерю. Вокруг этого творения уже завязались горячие споры. Ибо этим алтарем он заявил о вере, которую исповедовал, более недвусмысленно, чем мог бы заявить целой проповедью.

Много исполненных решимости мужей готовы были сплотиться вокруг него. За свою общую веру и свое право. Они сознавали, что в этом творении воплотилась их вера. Он давно уже ожидал гостя. Быть может, именно этого гордого и высокого гостя, что стоит сейчас перед ним. Речь его звучит необычно. Он употребляет необычные слова. Он, без сомнения, очень учен. Язык ученых и схоластов часто изобилует выражениями и притчами, которые простой человек может понять, лишь хорошенько над ними поразмыслив или будучи заранее посвящен в их тайный смысл. Надо быть начеку, когда имеешь дело с их феодалом, владыкой долины, и со всеми его приверженцами в городе и окрестных замках. Стоит ему подать знак со своей башни — и весть побежит от деревни к деревне, в соседние замки. От одного из союзников феодала к другому. И они пришлют своих вооруженных людей.

Маттиас объяснил гостю, в чем состоит опасность. Гость напряженно слушал. Он понимал отдельные слова, но не постигал смысла. Тогда он сказал, с трудом подбирая слова, таким языком, который показался мастеру вычурным и темным:

— Более тысячи лет назад, если считать по вашему солнцу, здесь приземлилась наша первая группа. Она тут же была вовлечена в губительные войны. Когда позднее у вас приземлялись другие группы, по-прежнему множество городов стояло в огне. На основе донесений мы пришли к выводу, что речь идет о войнах между кочевыми и оседлыми племенами. Оседлые земледельцы, вероятно, одержали победу и заново отстроили свои города.

Маттиас подумал: «Должно быть, он говорит о нападении гуннов. Какая дикая мешанина из схоластических мудрствований и достоверных сведений!»

Гость же продолжал:

— Мы провели изыскания. Мы знаем, что у вас до сих пор не прекратились войны. Но знать и пережить самому — это не одно и то же.

Мастер поддержал его:

— Справедливо. Это совсем другое. Мы воображали, будто знаем точно, что произойдет, когда с амвонов и в домах станут читать Библию на нашем языке. Мы говорили себе: теперь конец феодалу, пришло царство божие. Мы говорили себе: божье слово неопровержимо. И что же мы видим? Что его опровергают.

Когда господин, которому принадлежит и замок, и сам город, и леса, и поля за городской стеной, начал сознавать, что божье слово может свидетельствовать и против него, он пришел в неслыханную ярость. Правда, наш священник — мужественный человек. Он хранит верность богу. Он не искажает слово божье. Но не заточат ли его в темницу? Если войско феодала войдет в наш город, нас всех могут убить. Если бог не поможет нам.

Гость скрывал, что ему не все понятно. Этот человек лучше понимал слова Михаила или, по меньшей мере, думал, будто понимает их, нежели Михаил понимал слова мастера Маттиаса.

Михаил спросил уклончиво:

— Почему ты боишься превосходящих сил врага? Раз ты уверен, что твой высший повелитель, который сильнее всех, никогда не оставит тебя?

Маттиас живо отвечал:

— Я хочу говорить с тобой открыто. Ты сам сказал: знать и пережить самому — не одно и то же. Я знаю, господь никогда меня не оставит. Но если мне доведется это пережить, все может оказаться совсем не таким, как я, жалкий сын человеческий, себе представлял. Сегодня, в преддверии испытаний — быть может,

против нас уже выступило войско,— я начинаю смутно понимать смысл слов: Он никогда меня не оставит. Если я истинно в Него верую, Он до последней минуты пребудет в моих мыслях. Под пыткой и на смертном одре. Он не оставит меня, значит, и я Его не оставлю. Тебе понятно?

Они забыли о девушке. На лице ее сияние надежды сменялось тенью разочарования. Поверит ли ей отец хоть теперь? Михаил — ангел господень. Он ведь сам сказал: я пришел со звезды.

И, однако, в голосе отца все еще звучало сомнение. Она не знала человека, более преданного богу, чем ее отец. Он всякий раз, нахмурив лоб, пресекал болтовню мачехи. Она была сестрой той женщины, которая умерла родами Марии. Отец почти все время жил либо у себя в мастерской, либо по соседству, в большом помещении, где хранил и шлифовал готовые работы. Там он также принимал студентов, школяров, посланцев из других мест, приходивших к нему за советом, с тех пор как Библию стали читать на немецком языке, гонцов от крестьянства и от горожан. Последнее время речь все больше шла об опасности, которая грозит им всем, если войско феодала подойдет раньше, чем крестьянское. Но Мария не понимала, чего теперь бояться отцу, когда перед ним стоит Михаил, ангел господень.

Отец сказал:

— Ступай к матери, Мария, пусть она приготовит нам трапезу. У нас гость.

Михаил последовал за мастером. Он замер на месте. Глаза его приковались к занавесу, отделявшему малую мастерскую от большой. Ничего не понимая, глядел он на мягкие краски ковра, затканного золотом: «Охота на единорога под престолом богородицы».

Мастер Маттиас объяснил:

— Тридцать девушек три года ткали этот ковер. Он означает то, о чем говорил апостол Павел: «Дабы они искали бога, не ощутят ли его».

Михаил спросил изумленно:

— Тридцать девушек? Три года? Зачем? Почему?

Он подумал: «Слова я понимаю. По звучанию. Смысл их от меня скрыт».

Он не мог оторвать глаз от занавеса. Мало-помалу он отыскал на нем белое лицо, развевающиеся одежды, цветы. Глазам его понадобилось много времени, чтобы выделить эту картину из переплетения синих, зеленых и красных нитей. И вот картина перед ним, но в ней нет жизни, а лишь только в ней мелькнет жизнь, сама она исчезает. На его звезде им и в голову не пришло бы

ткать подобные ковры. У них бы не хватило на это ни времени, ни сил.

Он последовал за мастером в большую мастерскую. Здесь сумрак мешался с красноватой древесной пылью, той самой, что покрывала фартук и бороду мастера. Мария торопливо зажгла две свечи перед алтарем букового дерева, ожидающим здесь окончательной шлифовки. Мастер с гордостью наблюдал потрясение на лице своего гостя. Глаза гостя засверкали счастливой растерянностью.

Тут мастер радостно вздохнул, и в эту минуту, когда его творение отразилось на лице гостя, забыл все свои горести и все страхи последних дней.

Михаил осторожно потрогал голову Иоанна, покоящуюся на груди Спасителя, складки одежды, лоб и рот, он коснулся также руки Иуды, протянутой к солонке. Он отступил. Он спросил:

— Что это?

Мастер Маттиас ответил:

— Тайная Вечеря — моя последняя работа. Я принесу ее в дар церкви Святого Иоанна.

— Но как ты сумел это сделать? — спросил гость в глубочайшем изумлении.

— Господь вложил в меня дарование,— спокойно ответствовал мастер,— а я с детства учился.

— Но зачем? Кому это нужно?

— Я не понимаю тебя. Во славу божию, на радость и поучение нашей общине. Иисус, Иоанн, Иуда — люди могут узнать здесь их лица. Многие вознегодуют. Ну и пусть, наконец, негодуют те, кто вечно вызывал негодование у нас: своими грязными делами, подлыми приказами, налогами, всяческими притеснениями, предательствами, доносами — они сразу смекнут, кто такой Иуда, предавший и предающий бога, нашего истинного повелителя...

Через едва заметную дверь в задней стене вошла худая женщина. Она поставила на стол несколько дымящихся мисок. Это была жена мастера. Казалось, она состоит из одних костей. За едой после каждого куска Михаил устремлял пристальный взгляд на резной алтарь.

— Я понимаю вас,— сказала женщина,— это лучшее из того, что он до сих пор создал. А у вас есть такой мастер?

— Нет, нет,— отвечал Михаил.— У нас нет мастера, который мог бы сделать такой алтарь. И таких работ у нас тоже нет.

— Что же тогда у вас есть?

— У нас вообще нет ничего подобного. Ни такого, что напоминало бы это резное дерево, ни такого, что напоминало бы этот тканый занавес. У нас,— я уже говорил мастеру,— разум и руки

используют, чтобы строить то, что полезно: машины, мосты, плотины. Благодаря этому мы сумели изыскать средства и возможности, чтобы попасть с нашей звезды на вашу.

Худая женщина пожала плечами:

— Ну, да, конечно, запруды, и плотины, и бороны, и плуги, и все такие вещи нужны и здесь. Но муж мой Маттиас в большом почете — злятся лишь его враги — за то, что создает произведения искусства, которые славят творца и дарят человеку счастье в его несчастьях. Да вы и сами не отводите глаз от алтаря. Скажите, кто вас к нам прислал?

— Как я уже говорил мастеру, мы не первые, кого наша звезда отправила на вашу, с тех пор как мы научным путем установили, что здесь обитают живые существа.

Жена Маттиаса начала снова:

— А я думала, вас прислали из какой-нибудь мастерской, ибо мы здесь хорошо знаем, что и в других местах есть мастерские, и великие мастера, и великие произведения искусства.

— Так ты называешь работу мастера Маттиаса искусством? Нет, на нашей звезде ничего подобного нет. А потому нет и таких мастерских. Наши знания и наши силы нужны нам для других свершений. Для того, например, чтобы прилететь к вам.

Девушка подумала: «Я права, он прилетел с неба, он прилетел».

Маттиас подумал: «До чего глупа моя дочь. Как может ангел прибыть со звезды столь убогой, что там даже не знают искусства?»

Он сказал:

— Лучше тебе уйти, пока не явились ученики. Я должен сперва подготовить их к твоему прибытию.

Мария увела гостя. Покуда можно было, он не отрывал взгляда от резного алтаря.

Небо побледнело, звезды исчезли. В первый раз он почувствовал пусть даже не тоску по родине, но отчужденность, словно что-то неведомое угрожало ему после того, как он повидал уже столько неведомого. Он передал сообщение: «Ни при каких обстоятельствах не покидайте места встречи».

Мария спросила:

— Ты расскажешь на небе о том, что умеет мой отец?

— Конечно,— ответил Михаил,— но ты должна сказать мне, как это у него получается. Скажи мне, почему он не бросает работу, хотя и знает, что ему грозит большая беда?

Мария воскликнула:

— Бросить работу? Он? Сейчас? Когда сам господь повелел ему завершить алтарь собственными руками?

— Я предвидел,— сказал Михаил,— что на вашей звезде творятся всякие ужасы. Что вы все еще не отвыкли от крови и убийств. Но я не знал, что, несмотря на это, вы способны создавать творения, подобные тому, которое создал твой отец.

— Послушай, Михаил, колокола звонят. Я должна вернуться. Мы живем в великом страхе. Сейчас начнется богослужение, и мы будем просить бога отвратить от нас опасность.

Как хорошо пахла мякина, на которой Мария приготовила ему ложе. Он спал бы долго и глубоко, не разбуди его срочное сообщение от товарищей: «Немедленно улетай. Войско выступило. Скоро загорится город».

Когда он собрался и пришел к мастеру Маттиасу, там было уже большое волнение. Собрались ученики, друзья, священник. Звонарь утверждал, будто с колокольни видно облако пыли, сгустившееся там, где равнина упирается в горную цепь. Какой-то молодой паренек высказал мнение:

— А может, это наши? Они всегда действовали быстрей.

Звонарь сказал:

— Мне надо идти. Я дам вам знать, как только разгляжу людей и пойму, чье это войско.

Мастер Маттиас молчал, лицо его было сумрачным, а пастор сказал:

— Будем надеяться на то, что это наши. Будем готовиться к тому, что это враги.

Когда Михаил вернулся в лес, чья-то рука вдруг легла ему на плечо, а другая схватила его за локоть: два друга из его экспедиции.

— Чего ты мешкаешь? Немедленно возвращайся с нами.

— Нет,— отвечал Михаил.— Я не могу. Я не хочу. Здесь живет мастер Маттиас. Здесь живет его дочь Мария. Сердце мое отдано им. Я не оставлю их без совета и помощи.

— Мы тебя не понимаем... Что значит «мое сердце отдано им»? Кто они такие, этот Маттиас? Мария? Какое тебе дело до их врагов? Перед отлетом мы давали клятву: Мы никого не бьем. Мы никого не убиваем. Мы ничего не сжигаем. Мы должны разведать, что происходит на этой звезде. Вот твоя задача — разведка.

Михаил тихо ответил:

— Дайте же мне разведать о том, что произойдет не далее как сегодня.

— Хорошо. Даем тебе еще несколько часов.

Перед отлетом на Землю Михаил считал невозможным унизиться до уровня тех существ, которые защищаются с помощью оружия.

Но как спасти мастера Маттиаса? Теперь мастеру не поможет его умение создавать из дерева людей. Умение, которым не наделен ни один обитатель планеты Михаила.

Из уст в уста пронесся слух, что за облаком пыли скрывалось не дружественное войско, а объединенное войско феодалов. И перед ним опустился подъемный мост. Часть горожан сразу устремилась в церковь, словно то было неприкосновенное убежище. Дома уже стояли в огне. Занялось все, что не из камня. Мастерская мастера Маттиаса и в ней его грандиозный последний труд.

Сперва держа Маттиаса за руки, потом надев на него цепи, солдаты принудили его наблюдать гибель мастерской и великих творений. Он смотрел и смотрел неотрывно, и даже не заметил, что подле него прикорнула Мария. С кошачьим проворством она проскользнула через кольцо вооруженных людей и прильнула к отцовским коленям. Она совсем не смотрела в огонь, она смотрела на его мертвенно застывшее лицо. Она осталась с ним рядом — как одинокий листок на ветви. Михаил и его спутники подняли обоих в воздух — вырвали из кольца врагов и перенесли к месту посадки.

Они все еще были в плену человеческих страданий, хотя уже далеко, очень далеко от бушевавшей на земле жажды убийства.

Лишь теперь Михаил догадался снять цепи с Маттиаса. Мария по-прежнему сидела, прильнув к ногам отца, как раньше, на базарной площади.

Время от времени кого-нибудь из двоих заставляли глотнуть воды. Маттиас совсем не воспринимал окружающее. Он сидел оцепенелый, хотя и живой, с закрытыми глазами. Мария дрожала всем телом. Она зябла, врач экспедиции не отходил от них ни на минуту. На воздушном островке они совершили временную посадку. Мария не испытывала ни удивления, ни страха. Она только закрыла глаза. Волнение оказалось для нее чрезмерным. Вскоре она перестала дрожать. Врач экспедиции, как это принято говорить на Земле, сделал все, что было в его силах. И, однако, Мария умерла. Тут возник вопрос, то ли набальзамировать маленький труп, чтобы показать дома, как выглядят земляне, то ли отправить ее в просторы Вселенной.

Михаил, с присущим ему упрямством, сумел доказать, что Мария принадлежит ему. И что ему непереносима мысль уступить ее жадным взглядам любопытных. Пусть уходит во Вселенную.

На деле Мария не была так окончательно мертва, как о том полагали живые. Ее сердце неожиданно совершило еще один могучий толчок. И она вдруг обрела способность летать, как летают ангелы — с ничем не ограниченной легкостью. Вселенная оказалась сплошным вихрем золотого воздуха. В этом воздухе, который она могла вдыхать полной грудью, рассветно-золотом, денно-белом, закатно-красном воздухе сосредоточились все ее желания. И не только сами желания, но даже исполнение желаний воплощалось для нее в этом полете, о котором она мечтала еще на земле. Она кругами уходила в небо, туда, откуда сошел к ней Михаил. Она слышала хоры, несравнимые с теми, которые слышала на Земле. Ее собственный голос, нежный, но сильный, звучал совсем по-другому, чем он когда-либо звучал на Земле. И ее счастью — жизнь и смерть воедино — не было конца.

Вернувшихся разведчиков встретили бурным ликованием и по поводу удачной высадки на звезду, именуемую Земля, и по поводу благополучного возвращения.

Врач не подпускал никого из безмерно любопытствующих к мастеру Маттиасу. Не подпускал он их и к Михаилу, ибо тот казался ему чересчур утомленным.

Мастер Маттиас едва дышал, но был жив и продолжал жить еще некоторое время, правда, безмолвно и неподвижно. Тщетно пытался Михаил, не покидавший мастера, извлечь из него хоть единое слово, пробудить его к жизни. Да и Михаила, к великому удивлению друзей, тоже нельзя было заставить хоть вкратце рассказать о своих впечатлениях. Впечатлениями поделились только два его спутника: кровь, огонь, война — эти впечатления почти не отличались от рассказов предыдущих экспедиций. О творении Маттиаса они ничего не могли сообщить, ибо когда они прибыли, алтарь уже горел. Да и церковь, охваченная огнем, рухнула у них на глазах, оставив по себе лишь обломки каменной стены. А беженцы считали ее неприкосновенным убежищем...

Молодой ученик, любимец Михаила, подготавливавший вместе с ним и многими другими экспедицию на Землю, часто приходил к своему бывшему учителю, хотя последний оставался замкнутым и безучастным. Если даже ученику порой удавалось вырвать у Михаила несколько слов, смысл их оставался темен.

Зато самому Михаилу удалось пробудить к речи мастера Маттиаса, и хотя он успел отвыкнуть от человеческого языка, он в конце концов понял, что мастер желал бы перед смертью еще не-

много заняться резьбой. Михаил достал для него дерево, какое здесь было.

Он отгонял всех, кто теснился вокруг, чтобы вблизи наблюдать за поведением землянина.

Вскоре Михаил догадался, что возникает из дерева: Мария, она, Мария. Он угадывал строение ее хрупкого тела, неповторимый наклон головы, девичье лицо, молящее и в то же время исполненное благодарности. Мастер Маттиас очнулся от своего оцепенения. Хотя и дерево и инструмент были для него непривычными, потребность облечь в зримую форму свои представления оказалась так сильна, что вскоре волосы его снова покрыла древесная пыль, словно в мастерской на Земле.

Другим его работа казалась утомительной и бессмысленной возней с деревом. Может быть, один только любимый ученик Михаила почувствовал, что жители Земли таким способом выражают себя, только таким способом, до последнего вздоха.

Маттиас и Михаил обменивались порой одинаковыми тяжелыми взглядами и кивали друг другу.

Мастер Маттиас просил:

— Похороните меня вместе с моей дочерью.

Фигура была еще очень далека от завершения, когда мастер Маттиас во время работы отошел.

Он решительно не желал быть сожженным после смерти. Он хотел навсегда остаться рядом с дорогой его сердцу, но еще недоступной для глаз непосвященных фигурой девушки.

Однажды, много лет спустя после того, как умер Михаил и его любимый ученик тоже, гроб Маттиаса вскрыли. Вскрыв, изучили его скелет и, к своему удивлению, обнаружили, что он почти такой, как скелеты живущих на их планете. Сохранился и кусок дерева с какими-то зарубками. Никто не мог понять, что из него собирались сделать.

Молодой, на редкость искусный пилот — он был назначен разведчиком для очередной экспедиции — долго ломал голову над этим куском. Он ощупывал его. Он пронзал его своими мыслями. Но ему не удалось доказать, ошибается ли он, как утверждали его друзья, или действительно из куска дерева должна была возникнуть фигура девушки.

Он собирался лететь по тому же маршруту, как некогда Михаил. Он хотел выяснить все, что ему поручено, и одновременно, уже для себя, узнать, имеются ли на звезде Земля подобные куски дерева, иными словами — в этом он не сомневался — будущие фигуры, и если имеются, то для чего они служат. Он сказал себе,

что смерть помешала резчику закончить работу. Резчик обладал разумом. Разумом другого склада, но и в его черепе гнездились побуждающие к действию мысли.

Много лет подряд все, в том числе и молодой пилот, работали над подготовкой новой экспедиции. Все было точно рассчитано, усовершенствовано, перепроверено.

II

Еще до приземления им удалось установить, что старые донесения были правдивы, да и теперь еще соответствовали действительности. Намеченный тогда для изучения город выгорел дотла. Подобно муравьям, копошились в развалинах живые существа, занятые, должно быть, его восстановлением. Разведчики пролетели над дымящейся нивой, над горящими или догорающими городами и деревнями, где точно так же, словно в разоренном муравейнике, копошились живые существа.

Увидели они несколько новых, широких, утрамбованных дорог, по которым в разных направлениях сновали до удивления схоже одетые и тяжело вооруженные земляне. Они забирали у нивы все, что еще годилось к употреблению. Часть их, верхами или в пешем строю, очень быстро подступала к большому, многобашенному городу. Молодой разведчик избрал этот город для приземления. Вооруженные жители дозором стояли на стенах. Мужественные земляне, подумалось ему. Они, верно, и не подозревают, как близко и как многочисленно войско, выступившее против них. Почему выступило войско, он не понимал. Не понимал он также, почему город защищается. У них все равно не хватит оружия. Это видно было уже сверху.

Молодой разведчик, как и положено, передал донесение. Он здоров, чувствует себя нормально. Сперва он бесцельно слонялся по узким, кривым улочкам, каких не было на его звезде. Кров он нашел скоро. На вывеске стояло: «У трех лебедей». Должно быть, это какая-нибудь гостиница. Многие жители города, бродившие в поисках приюта, показались ему встревоженными и бездомными.

Он сообщил друзьям, что устроился там-то и что у него все в порядке. Ибо чувствовал он себя отменно. Полным сил, замыслов, готовым ко всяким неожиданностям.

Хозяйка «Трех лебедей», решив, что гость прибыл издалека и поэтому должен немедля подкрепиться, послала к нему служанку с пивом и множеством всяких кушаний. Он глядел, как девушка — а может, это была замужняя женщина? — расставляет перед ним стаканы и миски. Ему понравились ее черные волосы и свет-

лые глаза. Хотя на лице девушки было написано недоверие, которое делало его почти мрачным, она порой начинала смеяться от слов гостя, и смех этот весело отдавался у него в ушах. Она не отшатнулась, когда он взял ее за руку и более чем учтиво поблагодарил. Едва она закрыла за собой дверь, в городском воздухе разлился звон, какого он еще никогда не слышал. То не был сигнал, то не было предостережение, и, однако, в звоне слышалось и то и другое. Но прежде всего слышался могучий, потрясающий сердце призыв, обращенный ко всем вместе и к каждому в отдельности.

Он припомнил скупые донесения первого разведчика, которого на Земле прозвали Михаилом. До Михаила тоже донесся с одинокой башни двойной звук, несущий в себе угрозу и одновременно вселяющий надежду. В этом городе звук доносился со многих башен. Люди бежали навстречу звону, забыв свою работу, а может быть, страдания и радости тоже.

Он спустился по узкой, делавшей два витка лестнице. Вдруг — он был уже на улице — перед ним возникла служанка. Она схватила его за рукав и старалась приладиться к его шагам. Ее объяснений он не понял. Понял только, что она умоляет взять ее с собой. Лицо у нее было робкое, хотя порой она казалась ему хитрой и даже наглой. И скорее уж он последовал за робко-наглой девушкой, чем она — за ним.

Они остановились перед величественным порталом. Туда все еще текли толпы народа. Вблизи звон вызвал дрожь даже у него. Он не понял, как возникает этот звон, звон шел с башни, вырастающей из здания. Девушка пробормотала какие-то непонятные слова. Она закрыла платком лицо. Она старалась не привлекать внимания ни к себе, ни к нему. Его это устраивало. В просторном помещении не оказалось комнат, оно было разделено высокими колоннами. Внимание его привлекла фигура женщины возле одной из колонн, в одеянии, ниспадающем складками, и с младенцем на руках. Женщина с улыбкой смотрела на младенца, младенец же смотрел только на него, пришельца. Воспоминание пронзило его мозг. Правда, такого он никогда в жизни не видел, но он видел нечто подобное или могущее стать подобным.

Его спутница скользнула прочь. Она сделала рукой и коленями непонятное ему движение. Потом она вернулась. И тут в глубине здания родилось многоступенчатое звучание, порой тяжеловесное, порой легкое и нежное. Снова дрожь пробежала у него по спине. Это звучание волновало больше, чем утренний звон. Должно быть, его рождали человеческие голоса. Он увидел на лестнице ряды мальчиков в черном и белом, мальчики запевали, округлив губы, порой громко, порой тихо, порой все вместе, порой

группами. Он подумал: «Чего только не умеют эти земляне». И еще подумал очень отчетливо, как вообще привык думать: «Все, чему нас учили о Земле, неправда. Да, с воздуха я видел, что их поля опустошены, что большинство городов выгорело, что на пороге новая война, которая скоро придет в этот город, и тогда он задохнется в огне и крови, нас точно оповестили обо всем прежние экспедиции. Но о многом они умолчали. О том, что на этой Земле созданы такие чудеса, каких у нас нет и в помине. Здесь есть все — и ужасное и чудесное, но как может сосуществовать и то и другое, я покамест не могу понять».

Девушка потянула его за рукав, чтобы незаметно увести. Он не понял, почему она порой выступает так гордо, порой так пугливо, почему она закрывает платком свое красивое лицо.

Вечером она принесла ужин ему в комнату. Она оставалась у него столько, сколько он захотел. Ее любовь показалась ему приятной. Она спросила: «Как тебя звать?» Он ответил первое, что пришло в голову: «Мельхиор». Он слышал, как хозяйка на лестнице выкрикнула кому-то это имя. «А тебя?» — «Катрин».

На следующий день он слонялся по городу один. Вдруг перед ним возникли двое из его спутников. Они посоветовали ему немедля вернуться с ними. На подходе большое войско, а жители ничего не подозревают. Мельхиор отвечал, что непременно хочет задержаться. Едва произойдет нападение, он тотчас присоединится к ним. Спутники называли его упрямцем, забиякой. Обещали высадить его по желанию в другом месте. Ведь и в городе, которому не угрожает враг, можно собрать не менее ценные сведения.

Он повел их по улицам, привел в церковь. Он показал им женщину из ожившего камня. Он спросил: «Есть у нас что-нибудь подобное?» — «Нет. Ни к чему. А кстати, и здесь все это скоро будет разрушено».

Он настоял на своем решении провести в осажденном городе по меньшей мере еще одну ночь.

Манили пестрые фонарики, пение, крики. Катрин привела его на базарную площадь. Всевозможные балаганы с утра до вечера навязчиво предлагали горшки и кружева, ложки и платки и всякую необходимую в хозяйстве утварь. Встречались балаганы, где предсказывали будущее. И такие, где плясали и пели и выделывали всякие фокусы. Это было место, созданное для шума и веселья... Люди вскоре столпились вокруг Мельхиора, ибо через стекло, внезапно извлеченное им из кармана, он отбрасывал на ближайшую стену пестрые картины. И еще у него был маленький ящичек. Стоило какому-нибудь человеку заглянуть сквозь отверстие внутрь ящика, Мельхиор нажимал кнопку, и из ящика выскакивало изображение этого человека. И другие диковинные фо-

кусы показал он людям. Сперва зрители были ошеломлены, потом они заволновались. Катрин шепнула:

— Ты настоящий чародей.

Кто-то спросил:

— А женщина, которая жмется к нему, это уж не Катрин ли?

И другой ответил:

— Да, это Катрин, беглая ведьма.

Тут Катрин шепнула:

— Бежим отсюда. И поскорей.

Люди не успели ахнуть, как Мельхиор схватил ее за бока, рывок — и они взмыли высоко над городом. Катрин громко вскрикнула от радости.

С воздуха они увидели, что приближается грозное войско. Они услышали предостерегающие сигналы, но сами уже были в безопасности. Им ничто не угрожало. Даже тогда, когда после бесплодных переговоров в городские стены полетели ядра и горящие факелы. Любопытства ради они еще раз описали круг над городом. Языки пламени уже лизали деревянные дома. Напуганная Катрин с облегчением цеплялась за Мельхиора. Она все время твердила: «Господи, какой ты искусный чародей».

Мельхиор спросил:

— А что они хотели сказать, когда называли тебя ведьмой?

— Ведьма я никудышная,— ответила Катрин.— Соседка однажды посоветовала, чтоб я села на помело, повторила заклинание, которому она меня научит, и тогда, мол, я полечу, я гожусь для этого дела. А я в ту пору была бы рада-радехонька избавиться от злого мужа, чтоб не лупцевал меня с утра до вечера. Я все сделала, как велено, с помелом и с заклинанием, но ничего не вышло, потому что меня застигли на месте преступления. А когда меня вели к судье, мне удалось бежать. Я прибежала в соседний город и устроилась служанкой в трактир... Зато ты — ты взаправду умеешь колдовать. Ты и летать умеешь. Ты тоже оттуда, сверху?

— Да,— сказал Мельхиор и затрясся от смеха.— Но теперь нам пора приземляться.

Они вместе опустились на равнину. Там, где скрещивались три дороги, войска разбили большой лагерь, в сто раз больше и многолюднее, чем базарная площадь. Среди скопища солдат, собравшихся со всех концов земли, солдат, орущих, играющих в карты, дерущихся, торгующих, пляшущих, скачущих, подхватывающих — кто кого перекричит — песни на языках гортанных и певучих, бряцающих всевозможным оружием, Мельхиор не привлекал внимания. Да здесь ничто и не могло бы привлечь внимания. Его летный костюм можно было принять за один из многих диковинных мундиров. Здесь один рядился в латы, другой — в бархат.

Один — в шляпу с перьями, другой — в сверкающий шлем. И никому здесь не было дела, ведьма Катрин или не ведьма и откуда взялся Мельхиор. В этом столпотворении ничто не играло роли. Лишь порой раздавалась отрывистая команда или пронзительный свист. И тогда сбивались в кучу люди, одинаково одетые. Мало-помалу установился относительный порядок. Солдаты перестали петь, пить, толпиться. Лагерь снимался с места. Офицеры с золотыми и серебряными цепями отдавали короткие приказы.

Вдруг кто-то схватил Мельхиора за руку. Опять спутник. Спутник сказал:

— Уходи как можно скорей. А женщину бери с собой, если уж тебе так хочется...

Катрин не поняла их разговора, но когда Мельхиор объяснил ей, чего требует друг, она не стала перечить, а, наоборот, обрадовалась. Может, это и будет тот адский полет, который давно уже возбуждает ее любопытство. Она ни вот столько не верила попам, когда те утверждали, будто ее удел — плач и скрежет зубовный. А любой полет с Мельхиором — это самое настоящее волшебство.

Но Мельхиор ответил спутнику, что об окончательном отлете пока нечего и думать. Он уж начал постигать действия и уловки землян. А как исследователь он дал слово постичь их до конца.

Спутник на него рассердился. Разговор кончился тем, что Мельхиор обещал через равные промежутки времени подавать о себе вести. А другой со своей стороны обещал всякий раз немедля отвечать ему.

Мельхиор вторично поднялся с Катрин в воздух. К этому времени лагерь почти опустел. Одичалые с виду солдаты расходились по разным направлениям, кто — в конном, кто — в пешем строю.

Если бы кто-нибудь случайно поднял голову к небу, он принял бы крохотную, быстро удаляющуюся точку за ястреба. Но кто сейчас стал бы глядеть в небо? Катрин радовалась, что у нее такой друг, она была добрая душа.

Много часов летели они над опустелой землей. Поля были уже начисто вытоптаны, леса вырублены, дотлевали остатки деревень, городские стены сровнялись с землей, а развалины давно перестали дымиться. Если и были там раньше люди, они либо сгорели в своих домах, либо спаслись бегством. Мельхиор подумал: обойди мы всю эту страну, мы и тогда бы не увидели больше.

Он спросил Катрин о причине такого опустошения. Один раз она ответила: «Потому что здесь все были евангелической веры». Второй — «Потому, что здесь все были католики». Мельхиор не понял ни первого, ни второго.

Наконец они приземлились в зеленой, холмистой местности. Здесь были луга и лес. И несколько хуторов. И нечто вроде замка, какими их знал Мельхиор по старым донесениям. Не было только владельцев замка. Ручей, который показался Мельхиору очень веселым после огромных пространств выжженной земли, вращал мельничное колесо. Но мельник с семьей бежал. Может, они разделяли веру своего господина. Катрин считала, что здешний феодал принадлежал к евангелической церкви. Мельхиор опять не понял смысла ее слов. Зато он смыслил в мельницах. Здесь они и осели.

С хуторов и из соседней деревни приходили крестьяне, привозили зерно для помола. Плату нежданный мельник получал свежим хлебом. Приносили им также овощи и яйца. Порой и курицу. Катрин здесь очень полюбили. Когда она понесла, крестьянские женщины принялись давать ей советы. Так они и жили — ни худо, ни хорошо. А Мельхиор начал более или менее понимать, какова земная жизнь на самом деле.

Каждое воскресенье он с Катрин проделывал неблизкий путь до деревни. Люди думали, они ходят в церковь ради своей веры. Всякий раз он с изумлением слушал церковные песни. И внимательно изучал все, что еще сохранилось здесь из картин и резьбы. Почему расписные некогда стены были закрашены белой краской — этого он не мог понять. Лишь молодая женщина с младенцем — здесь тоже была такая, только из дерева, а не из камня,— осталась невредимой. Пожалели, думалось ему, а потом, может быть, и ее уничтожат. Эти земляне глумятся над собственным мастерством, хотя умеют делать такое, чего никогда не умели на его звезде. Как часто в неразумии своем они уничтожают чудеса, сотворенные их же руками. Правда, Катрин утверждала, будто в этой чистой, белой церковке сподручнее молиться.

С помощью соседок она произвела дитя на свет. Младенец родился красивый и здоровый.

Однажды Мельхиора навестил товарищ по экспедиции. Хотя Мельхиор регулярно передавал сведения и получал ответ, он был не только удивлен визитом, но и обрадован. Гость не привлек ничьего внимания, ибо давно уже на мельницу со всех сторон стекались люди, отчасти потому, что им нужна была мука, отчасти потому, что по свету шла молва о золотых руках самого мельника. Он чинил им сломанный инструмент, он делал более совершенный. Мельница стала местом встречи для всех, желающих отвести душу. Мельхиор велел своему гостю держаться незаметно.

Гость сказал:

— Твои донесения я передаю. Мы регулярно сообщаем в ответ нужные сведения. Но теперь мой тебе совет, доставь свое донесение лично.

Мельхиор ответил неуверенно:

— В следующий раз.

Вечером в тихом воздухе разнесся звук рожка. Звук этот заставил вздыхать от счастья.

— Вслушайся,— сказал он,— это трубит мальчик-крестьянин. Как пастоящий артист.

Мельхиор успел уже понять, что означает это слово. Он продолжал:

— Не могу постичь, как они здесь до этого додумываются, хотя знают, что война у дверей. У нас никто бы так не сумел.

— У нас для этого нет ни времени, ни охоты,— ответил гость.— У нас совсем другие задачи. Были и есть. Разве иначе ты мог бы здесь высадиться? А я прилететь к тебе в гости? Наши мысли и паша сила нужны нам для других дел.

По ночам Мельхиор искал на небе ту звезду, которая была его родиной. Теперь он не мог бы сказать, что не испытывает более тоски по ней.

Не мог бы он и сказать, что не испытывает более скуки. Пастуший рожок перестал удовлетворять его. Он тосковал по человеческой сутолоке, по могучей музыке, которую слышал однажды в давно сгоревшем городе.

Он знал, что примерно в одном дне полета отсюда есть большой город, еще пощаженный войной.

— Хорошо, что тебе снова пришла охота полетать,— сказала Катрин.

Они оставили дельных молодых людей присматривать за мельницей, им же они доверили и ребенка. А сами улетели. Сказали, что отправляются искать родственников.

Сперва было счастье подъема и свободного парения в воздухе. Но через несколько часов полета над выжженной землей, где одни обугливщиеся деревни и пустота, ничего, кроме пустоты, Мельхиор подумал: «В этой пустыне даже самый быстрый полет бесцелен».

Наконец на горизонте показались башни. Скоро они опустились в дым, в людскую толчею. Город был самый большой из всех, какие Мельхиор видел раньше. Толпы беженцев смешались с коренными жителями.

Они устроились на постоялом дворе. Мельхиор тотчас сообщил о своем новом местопребывании. Но прежде чем с его звезды могли подтвердить прием, Катрин увлекла его в собор. Там как раз начиналась необычная игра, игра на серебристом инструменте, который Катрин назвала органом. Орган этот был известен далеко вокруг. В соборе шло евангелическое богослужение.

Музыка неистовствовала. Мельхиор слушал как завороженный. Пели не только мальчики-хористы — вся община поднялась с колен и запела. Даже Катрин, словно кто-то заколдовал маленькую ведьму, неожиданными звуками, то горестными, то радостными, тихонько вторила поющим.

Когда они вернулись на постоялый двор, Мельхиор принялся ждать ответа. Ответа не было. Он настойчиво взывал к своему другу и спутнику, который последним навестил его. Друг тоже не отозвался. Как будто передача Мельхиора не достигла цели.

На постоялом дворе он прислушивался к болтовне людей. Оказывается, город уцелел благодаря хитрости феодала, умевшего ладить со всеми — и ни с кем.

Мельхиор весь обратился в слух, когда при нем заговорили об одном старом ученом, который живет в этом городе и по велению феодала изучает движение звезд с помощью необычно сильной зрительной трубы.

Поскольку и на следующий день Мельхиор, несмотря на неоднократные передачи, не получил ответа, он решил посетить старого ученого. У старого ученого были зоркие, молодые глаза. Он привык к самым удивительным посетителям. Он позволил Мельхиору поглядеть в подзорную трубу, но она оказалась не сильней, чем труба Мельхиора.

После некоторых раздумий Мельхиор осмелился спросить у старика, не заметил ли тот каких-либо изменений в определенной части неба. Старик даже обрадовался вопросу. Значит, на сей раз к нему явился не праздный посетитель, а человек, который разбирается в таких вещах. Не придворный, которому хочется узнать будущее по расположению звезд, а внимательный наблюдатель. Ученый ответил:

— Да, немного времени тому назад на небе вспыхнул неожиданно сильный свет, словно зажглась сверхъяркая звезда. Этот свет я наблюдал и в следующую ночь. Теперь свет погас, но он мог повлечь за собой некоторые перемены в своем окружении, которые мне, однако, до сих пор не удалось обнаружить.

Мельхиор подумал: «Вероятно, этот свет вспыхнул именно в то время, когда я летел сюда и когда слушал орган. Быть может, он повлиял и на судьбы моей родной звезды,— вот почему я не могу ни передать донесение, ни получить ответ».

Наконец он спросил:

— А какова, по-вашему, причина?

Старый ученый отвечал:

— Сегодня я при всем желании не могу ответить на ваш вопрос. Мой повелитель наверняка решит, что то было знамение божье — для него. Я же говорю вам открыто: я этого покамест не

знаю. Мои предшественники были неразумны и суеверны, однако они добросовестно отмечали движение звезд. В их записях нет ни слова о подобных вспышках. Нам понятна лишь некая часть природы. Причины и последствия этого явления выяснятся позднее.

После долгого молчания Мельхиор сказал:

— Возможно, на той звезде обитают живые существа, которые знают больше, чем мы.

Старик рассмеялся.

— Возможно, возможно. Ты ведь евангелической веры, не так ли? Природа лишь здесь, на Земле, создала условия для жизни. Или ты веришь во второе грехопадение? И второе пришествие?

Мельхиор ответил:

— Говорить «лишь здесь» мы можем только сейчас. Насколько нам известно...

— Насколько нам известно,— спокойно повторил старик.

Выйдя от ученого, Мельхиор сказал себе, что теперь он навсегда остается на Земле без какой-либо связи, без какой-либо надежды на ответ, без какого-либо задания.

Теперь он лишился родины.

Катрин испугалась, увидев его лицо, и тогда он признался:

— У меня так болит сердце, словно оно раскололось надвое.

Они полетели обратно над опустошенной землей. Он думал: «Ну почему, почему земляне своими руками все уничтожили?»

Зеленая цепь холмов с лесами и лугами, с ручьем, который вращал мельничное колесо,— здесь их ждал покой после долгих часов полета над опустошенной землей.

Мельхиор подумал: «Все возможно. Земля зазеленеет снова. Что же, потом ее снова выжгут и она снова зазеленеет? А как у нас на родине? Впрочем, у меня нет больше родины. Связь прервана. Не навсегда ли?»

Молодой мельник с радостью принял предложение Мельхиора взять на себя заботы о мельнице. Мельхиор, чьи силы таяли день ото дня, лишь немного подсоблял ему. Чтобы зарабатывать на жизнь, он чинил крестьянам всякий инструмент или изобретал для них новый. Соорудил он и ткацкий станок для Катрин. Ибо выяснилось, что она превосходно умеет ткать. По совету Мельхиора, она вплетала в свои ткани многоцветные узоры, даже людей и животных. Скоро ее ткани прославились и полюбились во всей округе.

Мельхиор слабел на глазах. Как ни пытался он установить связь с друзьями на родной планете, ему ни разу не ответили. Звезда, правда, была видна на небе, но сама она не посылала сигналов и не отвечала на сигналы Мельхиора.

Они жили со своим ребенком неподалеку от мельницы, в нерушимом покое. Только стук мельничного колеса да щебетание ребенка — вот и все, что они слышали с раннего утра до позднего вечера.

Порой Катрин украдкой поглядывала на мужа, исхудалого и бледного, и тихо спрашивала:

— Почему ты больше не занимаешься колдовством? Не делаешь хотя бы те маленькие фокусы, которые показывал однажды на ярмарке? Пестрые картинки, умевшие плясать и кувыркаться?

Мельхиор отвечал:

— Нет у меня больше охоты колдовать.

— Ах, если бы мне хоть разок еще полетать,— причитала Катрин.— Или ты забыл заклинание, чтобы подняться в воздух?

— Забыл.

Мельхиор подумал: «Быть может, мой спутник видел вблизи, что произошло с нашей звездой. Быть может, он и сам был на ней с моими донесениями. А потом произошло нечто, нарушившее нашу связь. Иначе он уже давно дал бы мне какой-нибудь знак или побывал у меня».

Он снова и снова пытался передать им свои донесения и поймать их ответ с помощью маленького прибора, который постоянно носил на себе между рубашкой и телом. Катрин тайком поглядывала на этот прибор. Он напомнил бы Катрин морскую раковину, доведись ей хоть раз в жизни увидеть такую. С узкой щелью, из которой доносится глухой рокот. Порой Катрин думала, будто это свисток, Мельхиор дует в него, и ему отвечают изнутри таким же свистом.

Теперь он не выпускал прибора из рук. Говорил в него какие-то слова и тщетно ждал ответа.

Жизнерадостность и веселые проказы давно его покинули. Хотя Катрин нежно пеклась о нем, а мельник и кой-кто из соседей старались подбодрить, Мельхиора снедало одиночество. И он медленно угас, когда осознал, что его донесений никто не слышит и что ответа ему никогда не дождаться.

Катрин, как умела, зарабатывала себе на жизнь. Красота ее увядала. Но все женихи казались ей жалкими по сравнению с ее чародеем.

А вот дочь — та цвела. Всякий невольно улыбался, завидев ее. Даже угрюмые и сонные крестьяне радовались, когда она плясала и пела. Она была нежная, но сильная и поднимала, словно перышко, тяжелые корзины. А ткать и вязать она вскоре выучи-

лась лучше, чем Катрин. Если она пела в церкви, голос ее, подобный роднику, всегда выделялся из хора.

Она была еще очень молода, когда для нее сыскался муж, здоровый крестьянский парень. За работой он любил петь вместе с ней. Он распахал много целины. Она народила ему много детей. Три сына помогали отцу в работе, две дочери вышли замуж. Младший сын уродился беспокойный. Он прослышал, что далеко отсюда на равнине все выглядит совсем не так. Люди там живут рядом, дом к дому. Его влекло туда неудержимо. Он ушел и как в воду канул. Один из братьев решил разыскать его. Он тоже покинул дом.

Катрин чинила платьица внучат или сидела, праздно задумавшись. Или перебирала несколько вещичек, которые берегла с прежних времен. Шнурок, которым частенько подпоясывался Мельхиор, несколько бумажек, исписанных, как ей казалось, волшебными письменами, и тот прибор, который он всегда носил при себе и который она в шутку называла «свисток Мельхиора». После того вылета в город он с горестным лицом прислушивался день и ночь. Ответа не было. И не навещали его больше незнакомые гости. Мельхиор безответно ждал на своем ложе. Он словно не мог постичь, что прибор онемел. Это безответное ожидание, как думалось теперь Катрин, и свело его под конец в могилу.

III

Катрин была уже очень стара, дождалась уже правнуков, когда дочь однажды застала ее за разговором со старыми вещами. Катрин объяснила дочери, что эта шкатулка, или как ее иначе назвать, должно быть, священна. В ней, надо думать, украшение из какой-нибудь часовни или кусочек раки какого-нибудь святого. Пусть дочь хранит эту шкатулку и сыну своему накажет хранить. Хоть нынче и не заведено поклоняться мощам, эта шкатулка принесла счастье всему их роду, что видно и по здоровым детям, и по богатой усадьбе. Дочь слушала с удивлением. Она поверила матери.

Между тем люди все больше обстраивались. Одна деревня не отстояла теперь так далеко от другой. И всюду с похвалой говорили о потомстве Катрин. Считалось великой удачей заполучить в мужья или в жены парня или девушку из ее рода. Крестьяне или ткачи, каменщики или маляры, а то и учителя — все они безотказно выполняли свою работу.

Конечно, и в этой семье попадались исключения, как попадаются они всюду — с течением времени семья так распростра-

лась по всему краю, что далеко не каждый ее член знал толком о существовании других родственников. Вот почему не так уж бросалось в глаза, когда кого-нибудь из них вдруг охватывало непонятное, мучительное беспокойство. Так, к примеру, один спокойно и терпеливо прожил добрую половину жизни со своей семьей и своим ремеслом. И вдруг его словно осенило, что он забыл о чем-то очень важном и должен немедля отправиться на поиски. Он оставил своих близких и свое ремесло и пропал на чужбине. Жена плакала, а спорить у них было не заведено. Они всегда жили дружно. Она искала, без устали искала его след, но не нашла. Другой годами безмятежно жил в мире и согласии с домочадцами, с соседями. Его охотно приглашали на свадьбы, ибо в игре на скрипке, в пляске и пении он не знал себе равных. Но вдруг он сделался молчаливым, поначалу просто хмурым, потом злобным и ожесточенным и все смотрел в угол. Казалось, он тщетно ждет чего-то.

Но это случалось не часто. Да и страна была вновь густо заселена. Теперь уже потомки Мельхиора вообще ничего не знали друг о друге.

Однажды в амбар, несмотря на строгий запрет родителей, прокрался мальчик. Здесь стояла укладка, которую никому не разрешалось открывать, ибо в ней хранились искусно изготовленные приборы и прочее диковинное наследство. Вдвойне соблазнясь именно потому, что ослушание грозило суровой карой, мальчик рылся в укладке. Он извлек какой-то похожий на раковину предмет и поднес его к уху. И вдруг ему почудилось, будто он слышит последовательный ряд звуков, высоких и низких. Он удивился, прислушался внимательнее, но больше ничего не услышал.

Если эта штучка не сломалась давным-давно, еще придет, быть может, такой день, когда она снова зазвучит в руках у того, кто станет к тому времени ее хозяином.

ЯВКА

Раутенберг, инструментальщик из города Гота, держал свою семью в строгих рамках благопристойности и бережливости.

Он уже отложил деньги на обучение своего единственного сына Клауса, который должен был стать печатником. Эта профессия казалась Раутенбергу особенно почетной. Его зять был печатником, жил в полном достатке. Уже была выбрана и типография, где Клаусу предстояло пройти обучение, но тут классный наставник сам навестил отца и уговорил его не забирать способного мальчика из школы. Школьный курс заканчивался в 1928 году.

Старание Раутенберга не допускать ничего, что могло бы повредить репутации его семьи,— обе старшие сестры Клауса были обручены с железнодорожниками,— вытекало не только из самого его характера, не только из обязательств, которые, как ему казалось, накладывала на него будущая профессия сына, но объяснялось также затаенным страхом. В этом он признавался только почью жене. Среди их знакомых кое-кого уже уволили, некоторые старые предприятия закрылись. И хотя безработица еще не стала эпидемией, но в воздухе уже нависла ее опасность. Раутенберг успокаивал жену и еще больше самого себя тем, что пользующаяся во всем городе доброй славой слесарная мастерская, где он проработал не один десяток лет, выполняет частные и государственные заказы, например при реставрации музеев и замков, и не сможет обойтись без такого работника, как он. И еще он не без основания убеждал себя в том, что если и произойдет сокращение, то в первую очередь будут уволены те, кого считают не очень нужными, или те, кто дает какой-либо повод для увольнения.

Он жил со своей семьей замкнуто, тихо, с оглядкой в поступках и разговорах; никогда не ходил с товарищами по работе

в кафе; у него почти не бывало гостей, кроме зятя — старшая дочь уже вышла замуж. В свое время он стал социал-демократом. Но его принадлежность к партии выражалась разве что в не слишком аккуратной уплате членских взносов...

В предпоследнем классе Клаус крепко подружился с пареньком по имени Эрвин Вагнер. Его называли Эрви. Он слегка хромал, поэтому на уроках физкультуры и во время школьных экскурсий ему приходилось труднее, чем другим. Он был тихим мальчиком и до дружбы с Клаусом, охватившей обоих как-то сразу и без явного повода, мало с кем общался. Он любил читать, играл на гитаре. Клаусу это нравилось, потому что у них дома не занимались ничем, что не приносило прямой практической пользы, и он читал книги, которые ему давал Эрвин. Отцу эти книги казались детскими и безобидными, во всяком случае, они не мешали сыну в учебе, а совместные занятия юношей были и вовсе похвальны. Только гитара представлялась папаше Раутенбергу чем-то цыганским. И Эрвин, приходя к Клаусу — он был, пожалуй, единственным гостем в доме, кроме зятя,— свою гитару больше не приносил. Фрау Раутенберг охотно послушала бы, как он играет, но помалкивала, чтобы не раздражать мужа.

Однажды Эрвин Вагнер пригласил своего друга Клауса на воскресную загородную прогулку с ночевкой в палаточном лагере и самодеятельным театральным представлением. По воскресеньям там устраивались обычно всевозможные соревнования и такие представления с песнями под гитару. Молодежный союз, которому принадлежал этот палаточный лагерь, назывался «Туристской секцией имени Фихте». Эрвин сразу же объяснил Клаусу, дабы тот мог передать это своему недоверчивому отцу, что Фихте был деятелем эпохи императора Наполеона. Говорят, он выступал перед немецкой молодежью в университете.

Когда Клаус рассказал дома о полученном приглашении, отец, как мальчики и предполагали, был недоволен и потребовал более подробных сведений. Объяснения сына ему показались недостаточными. Прежде чем дать согласие, он посоветовался со знакомыми, разделявшими его взгляды на жизнь. И эти знакомые решили, что ему не следует запрещать сыну заниматься туризмом и спортом. Это полезно для здоровья и уберегает от всяких выходок, к которым, увы, так склонна нынешняя молодежь.

И вот Клаус отправился за город. Эрви жил в предместье и сел в поезд только через несколько остановок. И не один, а еще с несколькими мальчиками и девочками. Он сказал:

— Это Клаус, о котором я вам рассказывал.

Клаус Раутенберг удивился тому, как весело они его приветствовали — без тени отчужденности, а еще больше удивился тому,

как они говорили, перебивая друг друга, не переводя дыхания, и то ссорились, то мирились. Из-за чего — Клаус не понимал. Впрочем, он вообще мало что понимал в их разговоре. Его друг Эрвин неожиданно оказался общительным и оживленным. Родители Клауса, не позволявшие своим детям никаких расспросов, обычно обсуждали свои дела только между собой, да и то поздно вечером, уложив детей спать. Когда Клаус был маленьким, его кроватка стояла в спальне родителей за ширмой, лишь с недавних пор он спал на диване в парадной комнате, а в комнату сестры вместо ее кровати поставили большой стол, за которым мать шила, Клаус делал уроки или вместе с отцом что-нибудь мастерил. И весь семейный уклад — даже то, что ему отвели диван в парадной комнате, где спать разрешалось только ночью, правда, ложиться надо было рано,— весь этот порядок, эти бесконечные наставления, воспитывали у Клауса все большую осмотрительность...

А в этой компании мальчиков и девочек, которая увеличивалась с каждой остановкой поезда, казалось, не было и следа осмотрительности, ни внешней, ни внутренней. Он прислушивался к непривычным разговорам не робко, нет,— это было не в его характере,— но молча и удивленно. Порой ему хотелось вмешаться, задать вопрос, но он сдерживал себя. Новые знакомые казались ему искренними, раскованными, и, по-видимому, они знали много всякой всячины.

Ребята сошли на последней остановке и пошли по лесу. Эрвин перекинул гитару через плечо. Хотя он и прихрамывал, но был заводилой и воодушевлял других. Они пели, глаза их сверкали.

На берегу озера в палаточном лагере они стали уже отрядом из сорока — пятидесяти детей и подростков. Клаус удивился, что в его палатке, кроме трех ребят, оказались и две девочки, не старше его младшей сестры. Руди, парень постарше, следивший за порядком, обошел все палатки. Вскоре ребятня устроилась там удобно, как дома...

Был теплый летний день. Все побежали к озеру. Плавали, ныряли. Клаус плескался у берега, он еще не научился плавать. Ему было стыдно перед Эрвином, который, несмотря на свою хромоту, плавал наперегонки с другими. И никому не приходило в голову с обидной жалостью исключить его из соревнований или что-то крикнуть ему в насмешку. Здесь была осмотрительность совсем другого рода, чем у них дома,— осмотрительность одного человека по отношению к другому, сильного — к слабому, большого — к маленькому.

Ели у костра и подбрасывали туда все больше и больше дров, чтобы огонь разгорелся ярче: здесь, на открытом воздухе, вокруг

костра шло что-то вроде театрального представления. Клаус никогда не видел ничего подобного. Он не все понимал, но был очарован. Ночью он спал как убитый. Следующий день оказался, к его удивлению, еще интереснее предыдущего...

Мать была рада, когда он возвратился домой посвежевший, загорелый. А отца обеспокоил блеск его глаз и какой-то новый тон в его голосе...

Вскоре Клаус и Эрвин стали неразлучны. Клаус едва дождался следующей прогулки.

— Мы будем петь в закрытом помещении, мы будем там упражняться,— объяснял он, когда мать из-за дождя хотела оставить его дома.

— В чем упражняться? — спросил отец.

Клаус не мог ответить толком. Он лишь пробормотал что-то о гимнастике и пении. Он и сам был удивлен, когда уже знакомые ему ребята уселись в бараке на полу вокруг какого-то человека. «Учитель»,— подумал он. И это был действительно учитель, только такой, что, не дожидаясь вопросов, терпеливо и подробно объяснял все, чего Клаус не понимал, но о чем не решался спросить.

Он услышал новые имена, вставшие в его памяти рядом с уже известными ему именами людей, которые открыли или изобрели что-то важное. Клаус был умен, он жадно вбирал новое. Однако он был осторожен. Старый учитель,— его звали Детер,— похоже, не всегда был одного мнения с его отцом. Кстати, Детер жил недалеко от них.

Клаус часто встречался с Эрвином и со своими новыми друзьями...

Тут-то один знакомый сказал папаше Раутенбергу:

— Ты хоть и не отдал своего парня в «Красные Соколы», но позволяешь ему водиться с этой наглой компанией. Тебе, видно, нипочем, что твой сын постоянно шныряет к этому старику, тот ведь при каждом удобном случае вывешивает красный флаг.

Раутенберг испуганно ответил, что он и понятия не имел обо всем этом.

— Тогда гляди в оба,— ответил ему тот,— мальчишка научился водить тебя за нос.

Так в доме Раутенбергов впервые начались ссоры и тревоги. Отец взял сына в оборот, потребовал у него объяснений, и оттого, что сын медлил с ответом, накричал на него с необычным раздражением.

Клаус стоял на своем и сохранял при этом спокойствие. Это наконец охладило и отца, и он впервые заговорил с сыном как со взрослым. Он объяснил Клаусу, что по окончании школы он пой-

дет учеником в типографию Шёнбергера, это уже улажено. И даже если времена изменятся к худшему, а с ними и положение семьи, ибо теперь никто ничего не может знать наперед, у Клауса будет хорошая, солидная профессия. Так надо же не терять голову, чтобы в последнюю минуту не рассердить вдруг господина Шёнбергера какой-нибудь глупой мальчишеской выходкой. Он не должен больше водиться с Эрвином и его дружками. Да и нечего лазить на чердак к этому старому дураку Детеру.

Клаус призадумался, и это обнадежило отца. А Клаус думал: нет, от дружбы с Эрвином он никогда не отречется, своим друзьям он останется верен теперь и всегда. Однако печатником он, конечно, должен стать, это, бесспорно, нужная профессия. И учитель Детер, который был теперь для него как бы вторым отцом, избранным умом и сердцем, советовал ему то же самое.

Внешне Клаус подчинился укладу жизни своей семьи, жизни, которая текла все так же размеренно, спокойно, никого не задевая,— приглушены были даже слова и движения.

Поскольку сын возвращался из своих походов краснощекий, посвежевший от солнца и воздуха, мать добилась от отца согласия, чтобы мальчик по-прежнему проводил почти все воскресные дни за городом... Об Эрвине Вагнере в доме больше не вспоминали. Считалось, что Клаус перестал с ним встречаться.

В честь сына, окончившего школу с отличным выпускным свидетельством, семья устроила скромный ужин с двумя бутылками вина. На ужин пришли старшая дочь Раутенберга с мужем — железнодорожником Вольфгангом Берендтом, и даже его мать. Такое вообще случалось редко. Берендт-старший служил когда-то машинистом. Он погиб во время железнодорожной катастрофы. У Вольфганга были еще братья и сестры. Мать всех их подняла и вывела в люди. Конечно, ей было не до веселья, но она обладала ровным и спокойным характером и была, пожалуй, более живой и энергичной, чем фрау Раутенберг. Она оказалась приятной и чрезвычайно благодарной гостьей на этом небольшом семейном празднестве.

А Клауса, хотя он и был виновником торжества, тянуло к друзьям, в палаточный лагерь. Там молодые люди тоже сообща праздновали окончание школы, среди них был и Эрвин. В самой семье Вагнеров из этого события шума не делали. Зато учитель Детер отметил этот день запоминающейся речью, одновременно серьезной и веселой. Ребята обязались хранить верность идеалам своего юношеского содружества — правде, справедливости.

И Клаус в душной атмосфере своего дома до глубины души проникся обязательством, которое там, под нежаркими лучами весны, его друзья подтвердили словами и песнями.

Лишь в следующее воскресенье — поскольку занятия в школе уже окончились и там они больше не встречались — Эрвин срывающимся от волнения голосом рассказал ему об этом празднике. Это была последняя встреча друзей в родном городе. Эрвин уезжал в Эрфурт. Неожиданно и у него произошла перемена в жизни — ему, можно сказать, привалило счастье. Его отец, трубоукладчик, выбрал для Эрвина место ученика, которое показалось ему достаточно подходящим и выгодным. В этой семье тоже было решено отдать сына в обучение. Эрвин, хотя он и был ловким и смышленым парнем, из-за физического недостатка побаивался слишком тяжелой работы. И тут внезапно объявилась тетка Эльза, старшая сестра матери. Ее муж был правой рукой управляющего небольшой, но процветающей мастерской, которая выполняла переплетные и картонажные работы. Тетка с давних пор была привязана к Эрвину — по особой причине. Она была бездетна, но очень любила детей. И Эрвин — забавный, живой мальчуган — завладел ее сердцем, когда однажды проводил у нее каникулы: фрау Вагнер, у которой было больше детей, чем ей хотелось бы, как раз произвела на свет своего пятого ребенка. Именно тогда, в доме своей тетки Эльзы, Эрвин тяжело заболел. Последствия детского паралича остались на всю жизнь. Тетка чувствовала себя, хотя и совершенно напрасно, виноватой перед Эрвином, во всяком случае — обязанной заботиться о нем. Она часто приглашала его к себе и всегда с грустью смотрела на его хромающую походку.

И вот теперь ее муж нашел для Эрвина место ученика наборщика. Там к нему будут хорошо относиться, как он того заслуживает и по своим способностям и потому, что у него больная нога.

— Должен тебе признаться,— сказал Эрвин Клаусу,— у меня было такое чувство, будто это — судьба, хотя Детер и говорит, что никакой судьбы нет. Теперь мы оба учимся почти одному и тому же делу. Скажу по совести, я раньше чуточку завидовал тебе.

Сперва Эрвин собирался приезжать домой каждое второе воскресенье. Однако у него не хватало денег.

Клаус был счастлив, когда сестра Эрвина Ханни, перехватив его возле типографии Шёнбергера, известила о приезде брата. Вскоре Ханни стала ему мила вдвойне — как посланница его друга и как подружка. Она очень нравилась ему — сероглазая, черноволосая, с задорно вздернутым носиком.

Тем временем его вторая сестра вышла замуж, но ее муж был переведен очень далеко, в Кассель, хотя и на место с более высоким окладом.

Эрвин приезжал реже, чем хотелось бы друзьям, но оба при каждой встрече чувствовали, что расстояние не наносит их друж-

бе никакого ущерба. Они вместе навещали своего учителя Детера. Всегда с осторожностью. Ведь он жил недалеко от Раутенбергов, а отец Клауса стал, пожалуй, еще строже. Да, как старший Раутенберг и предвидел, жизнь становилась все мрачнее. Собственно, не жизнь Раутенбергов или Вагнеров, а жизнь всего народа. Как бы человек ни замыкался в себе, страхи и предчувствия оказывались запертыми вместе с ним в глубине его души.

Когда годы ученичества Клауса подошли к концу, безработица стала уже не просто угрозой и для квалифицированных и для неквалифицированных рабочих. У Клауса был мастер по имени Вильгельм Тетцнер, очень расположенный к юноше. Он даже както зазвал его отца на кружку пива и завел разговор о том, что Клаус наверняка хорошо выдержит экзамен на звание подмастерья. Он, Тетцнер, всегда надеялся, что парень когда-нибудь станет его подмастерьем в типографии Шёнбергера. Теперь, однако, до него дошел слух, что Шёнбергер также вынужден частично свернуть свое предприятие. Увы, он не может взять Клауса Раутенберга в подмастерья. Так вот, нужно заранее подумать, сказал Вильгельм Тетцнер, куда теперь пристроить Клауса. Он хотел бы, правда, для парня чего-нибудь получше, но в настоящее время типография Эльзхольца по крайней мере надежна. Там, правда, печатается в основном всякая мелочь: плакаты, извещения о смерти, извещения о бракосочетании, а также иногда воззвания той или иной партии, однако Эльзхольц сказал ему: кого ты мне, Тетцпер, порекомендуешь, того я и возьму, потому что на будущий год мне может понадобиться подмастерье. Мой теперешний, похоже, перейдет к нацистам, а у них своя типография. А я и не хочу печатать весь этот вздор. Я по горло сыт Гинденбургом и Гитлером.

Раутенберг выслушал Тетцнера. Он сказал, что хотя советы Тетцнера и не отвечают его надеждам, он благодарен за них.

Он был ужасно обескуражен, даже раздосадован, когда узнал, что Клаус, как и прежде, бывает у Детера, и притом нередко вместе с Эрвином. Значит, эта неприятпая для него дружба не прекратилась. К тому же подружкой Клауса стала Ханни, сестра Эрвина. Эрвин привозил иногда из Эрфурта свою приятельницу Лору, рослую, статную девушку. Странно было видеть ее рядом с невысоким прихрамывающим Эрвином. Друзья направлялись к «Фихте», если там разбивали палаточный лагерь или когда устраивалась очередная экскурсия.

В Эрфурте Эрвин активно работал в Союзе молодежи. Детер направил его к своему близкому другу Хеммерлингу, и тот начал давать юноше книги и заботливо, даже увлеченно наставлял его.

Клаус и Эрвин, близкие по возрасту и по складу характера, хотя они и жили далеко друг от друга, вступили в ту пору тревог и дерзких мечтаний о счастье, когда не боятся ни бога, ни черта, ни биржи труда, ни полиции.

Однако они ни разу не оставались без работы, как это случалось со многими их товарищами. Клаус, хотя и без особого восторга, устроился по рекомендации Тетцнера в небольшой типографии Эльзхольца. А мастеру Эрвина, Бартоку, удалось добиться, чтобы после сдачи экзамена на звание подмастерья Эрвин остался в их типографии. Этому счастливому стечению обстоятельств снова способствовала тетка Эрвина, расположенная к нему и очень красноречивая. Его отец, трубоукладчик, тем временем потерял работу. Отец Клауса снова пережил большое разочарование. Хозяин слесарно-инструментальной мастерской, где Раутенберг считал себя незаменимым, вызвал его к себе в контору и сказал, что искусная работа его мастерской предназначалась для зáмков и вилл, для людей с хорошим вкусом; а в теперешние времена, когда каждый удовлетворяется лишь самым необходимым, на такую работу нет больше спроса. Свое предприятие он объединяет поэтому с крупной слесарной мастерской их города. Раутенберг может считать, что ему повезло — его приняли в эту мастерскую. Однако Раутенберг чувствовал себя теперь обыкновенным слесарем, к тому же и жалованье его стало меньше.

Клаусу приходилось часто слышать:

— Видишь, как хорошо, что я тебя вовремя устроил в типографию.

Домашняя обстановка угнетала Клауса. Даже его мать, которая была раньше веселой и открытой, теперь поддакивала брюзжанию отца. Нора, любимая сестра Клауса, переехала со своим мужем в Кассель. Вот с ними бы Клаус охотно поговорил. Они бы не стали его отговаривать, когда он решил вступить в Коммунистический союз молодежи. В «Туристической секции имени Фихте» он был, как ему казалось, лишь учеником в партийной работе, теперь же он стал участвовать в ней по-настоящему.

Жизнь Эрвина в Эрфурте, и внешняя, и внутренняя, складывалась почти также, и это, хотя они и находились в разных городах, сделало их дружбу нерушимой. Глубокая симпатия связывала Эрвина с Хеммерлингом, другом Детера. Когда к власти пришел Гитлер, Хеммерлинг велел Эрвину ночью отпечатать в своей типографии листовки «Гитлер — это война!» и принести к нему всю пачку, а он поручит распространять их не только в Эрфурте, но и в других городах. Хеммерлинг к тому времени уже отвечал за весь район. Он радовался мужеству и ловкости Эрвина; очень кстати оказалось и то, что мастер Эрвина Барток был близок к

партии и, если даже кое о чем догадывался, смотрел сквозь пальцы на то, что Эрвин работал в типографии по ночам.

Поскольку было желательно, чтобы это предостережение везде пришло к людям одновременно, Клаус получил задание вручную отпечатать ту же листовку в Готе; мастер его небольшой типографии не разделял их идей. И Клаус отпечатал несколько сотен экземпляров листовки в квартире старого Детера.

В семье Эрвина возникло неожиданное осложнение. Ханни, которую Клаус втайне считал чуть ли не своей невестой, стала все реже и реже появляться с сообщениями о приезде брата. Однажды Эрвин встретился с Клаусом в кафе «Форстхауз Хюгель» под Готой. На этот раз встречу устроила не Ханни, а приятельница Эрвина — рослая, сильная Лора. Когда они сидели все вместе и пили кофе с пирожными, Лора заговорила вдруг серьезным тоном. Она должна предупредить Клауса относительно Ханни. Ханни полностью подпала под влияние некоего Рольфа, знакомого ей еще со времен палаточного лагеря «Фихте». Рольф уже давно отошел от них, стал ревностным членом гитлерюгенда. Теперь Клаус понял, почему Ханни, встречая его, смотрела холодно и насмешливо.

Тот самый Рольф вскоре уже горланил: «Германия, пробудись!» После поджога рейхстага он и вовсе не снимал коричневой рубашки. А Клаус по поручению Детера, который в свою очередь получил указание от Хеммерлинга, до изнеможения работал по ночам, чтобы простыми словами объяснить людям значение и ход процесса о поджоге рейхстага. Тот, кто услышит Димитрова, думали они, поймет, что происходит... Клаус не только печатал листовки. Вместе с тремя-четырьмя молодыми товарищами он распространял их по городу и в предместьях. Штурмовики устроили облаву в одном жилом квартале — Детер был арестован. Арестовали еще многих, в том числе и тех, кто случайно оказался на улице в этот момент. Среди них был Клаус. Его, правда, не поймали с поличным, как Детера,— свою часть листовок он уже успел раздать. Однако ни для кого не было секретом, что он связан с Детером. Его упрятали в тюрьму на полтора года, так сказать, в виде предупреждения. На папашу Раутенберга накричали — ему-де следовало лучше воспитывать своего сына.

Такой упрек — все равно, исходил ли он от Веймарского или от гитлеровского режима — не мог не задеть Раутенберга за живое.

Хуже всех укоров, отравлявших жизнь Клауса после возвращения из тюрьмы, была невозможность найти подходящую работу. На старое место его больше не брали, а на родственных предприятиях в других городах ему отказывали, как только узнавали

«Крисанта»

по его бумагам, что он отбыл наказание в тюрьме. Он довольствовался какой угодно подсобной работой и промучился больше года, то помогая в деревнях во время уборки урожая, то работая упаковщиком. Для него было большим горем, что Детера осудили на длительное тюремное заключение. Старые товарищи избегали его, а он избегал их, чтобы никому не повредить, так как знал, что за ним следят.

Не было никакой возможности навестить семейство Вагнеров,— Ханни вышла замуж за нациста Рольфа...

Но однажды на вокзале он столкнулся с Эрвином. Клаус снова хотел попытать счастья где-либо в другом городе, а Эрвин приезжал сюда ненадолго, чтобы повидаться с родителями. Хотя не только Ханни, но и младший брат Эрвина стал нацистом, старший брат, да и отец, были по-прежнему заодно с Эрвином. «Сейчас, правда, есть работа,— говорил отец,— но бог ее знает, для чего она». Отдельные детали сельскохозяйственных машин, которые они собирают, можно использовать также и для военных целей. Эрвин решил напечатать листовку об этом с наглядными рисунками. Его молодежная группа в Эрфурте была инициативной и ловкой.

Услышав об огорчениях Клауса, он обещал другу быстро устроить его в типографию, где работал сам. Мастер Барток еще держит бразды правления в своих руках, он покрывает Эрвина и, несомненно, поможет и Клаусу.

Вскоре Эрвин написал Клаусу, что его ждут в следующий понедельник — все улажено. Клаус уехал из дома, холодно попрощавшись со своими. Давнишняя мечта двух друзей сбылась — они оказались вместе в одном городе, в одной типографии. Барток лишь бегло просмотрел бумаги Клауса и сказал, что тот появился очень кстати, ему как раз требуется печатник, а рекомендация Эрвина для него лучшая характеристика. Он убедил в этом также владельца типографии. Молодым людям он предоставил полную свободу действий и не интересовался, почему они остаются часто работать по вечерам — из большого ли усердия или по другой причине...

В Испании началась гражданская война. Члены их группы распространяли листовку такого содержания: война в Испании — это пролог к большой войне, угрожающей всем странам...

Они не могли по-другому, они должны были все время будоражить людей. Они никогда не соразмеряли результатов своих действий с опасностью, которой себя подвергали. Их предостережения звучали как легкие удары молоточком в громовых раскатах речей Гитлера и Муссолини, в заводском шуме, наполнявшем всю Германию, в грохоте бомб над Герникой.

В типографии работал рассыльный по имени Паульхен, он не был в ученье, а просто на посылках и выполнял различные мелкие работы. Однажды на исходе ночи Пауль тихонько постучал в дверь мансарды, где жил Клаус. Типографию, сообщил он, оцепили, ее перетрясли сверху донизу, нашли несколько оттисков, мастера Бартока уже арестовали — у него дома.

Клаус сказал:

— Спасибо, Паульхен, немедленно иди к Эрвину. Скажи ему: в следующее воскресенье, в том месте, где мы однажды были с Лорой.

Узнав об угрожающей ему опасности, Клаус не поехал ни к каким родственникам, потому что там-то его и стали бы прежде всего искать. Остаток ночи и следующее утро он шел напрямик через поле и наконец добрался до большого крестьянского двора, где когда-то подрабатывал, будучи безработным. Шла уборка урожая, и хозяин охотно взял его — у него сохранилось о Клаусе доброе воспоминание.

Тем временем Эрвин предупредил Лору, а она, в свою очередь, всех, кого смогла. Эрвин нашел убежище в Лейпциге, у одной Лориной подруги, которую трудно было заподозрить в том, что она имела отношение к делу с листовками.

Клаус и Эрвин встретились в условленное воскресенье в ресторанчике «Форстхауз Хюгель».

Эрвин собирался поехать в Кельн, чтобы разыскать Хеммерлинга и получить у него указания на дальнейшее. Хеммерлинг ушел от облавы, и ему подыскали место бухгалтера в универсальном магазине.

Клаус в ближайшие дни ждал известий от мужа своей младшей сестры Норы, железнодорожника, тот был смекалистым парнем.

Крестьянское хозяйство, где Клаус работал не разгибая спины, находилось вблизи от шоссе. Возчики, а иногда и туристы останавливались здесь, чтобы утолить жажду. Общая комната в крестьянском доме, с большим столом без скатерти, буфетом и диваном, служила одновременно и местом отдыха для семьи, и кабачком.

Эрвин пришел, как было условлено, в два часа дня. В это время у Клауса бывал обычно короткий послеобеденный отдых, когда хозяин выкуривал свою трубку, прежде чем снова пойти в поле. Эрвин успел сунуть Клаусу записку, пока заказывал себе кружку молока,— хозяйка похвалила его за разумный выбор. Откуда бы Эрвин ни добирался сюда, он должен был прийти в точно установленное время. И он был точен. На него можно было положиться. Клаус еще раз налил ему полную кружку, Эрвин доплатил еще несколько пфеннигов. Потом они вместе вышли за ворота.

Эрвин должен был в субботу встретиться с Хеммерлингом в Кельне, получить от него текст для новой листовки, а через две недели, в воскресенье, передать его Клаусу в Наумбургском соборе во время богослужения. Если их свидание из-за чего-либо не состоится, они встретятся во второй вторник следующего месяца в Фульде.

— Ну, а если произойдет полный провал,— сказал Клаус, на самом деле не веря в такую возможность,— тогда один из нас будет поджидать другого в пять часов дня на почтамте в Гельхаузене пятого числа каждого месяца. Ты понял — это уговор навсегда! Пятого числа каждого месяца в пять часов на почтамте в Гельхаузене.

Эрвин повторил:

— На почтамте в Гельхаузене. Что бы ни случилось, тот, кто сможет туда отправиться, должен быть там пятого числа каждого месяца в пять часов дня...— Он, как и Клаус, подумал, что такой уговор на долгий срок вперед не нужен — их жизни, а потому и встрече ничего не угрожает. Они тщательно выбирали и запоминали место и время явки лишь потому, что их приучили принимать в расчет любую случайность.

Листовка, написанная Хеммерлингом, сказал Клаус, теперь, при растущей угрозе войны, нужна как никогда. Они условились еще о том, как подать знак на случай, если один из них заметит, что в Наумбурге за ним следят. Уговорившись обо всем, они расстались, твердо посмотрев в глаза друг другу...

Вскоре после этого зять в Касселе, которому ничего не надо было объяснять, пригласил Клауса на работу в депо, где он сам был занят неполную неделю. На всякий случай он подыскал там для Клауса место подсобного рабочего, чтобы тот чувствовал себя в безопасности, когда урожай будет убран и хозяин его рассчитает. Клаус, конечно, никогда не заходил к своей любимой сестре. Но изредка он посылал ей весточку...

Эрвин окольной дорогой поехал в Кельн. Хеммерлинга перебросили теперь для партийной работы в другой большой район. Его предшественник был арестован. Хеммерлинг был из тех людей, которые становятся тем спокойнее, чем труднее обстоятельства. В универсальном магазине, где он служил бухгалтером, ему было относительно просто встречаться с товарищами. Они даже могли несколько минут поговорить друг с другом в кафетерии или в буфете. Он несколько раз повторил Эрвину текст короткой листовки, который тот должен был передать Клаусу в Наумбурге во время богослужения. У Эрвина была хорошая память.

Эрвин приехал в Наумбург вечером. Было уже темно. Он подумал: дни теперь идут на убыль, и с каждым вечером темнеет все раньше. Он ехал скорым до Галле, от Галле ему пришлось, как этого требовала осторожность, сделать большой крюк, пересаживаясь с одного пригородного поезда на другой.

Крестьянка, оказавшаяся в его купе на последнем отрезке пути, вслух высказала то, о чем он подумал про себя: «Теперь темнеет все быстрей и быстрей». Попутчики с ней согласились.

Разговор вскоре перешел на практические вещи, такие, на которые человек может влиять, не то что на времена года. Крестьянка говорила скрипучим голосом, похожим на гогот гусей, которых она откармливала для рождественского стола. Она радовалась, что на этот раз заблаговременно получила множество заказов. Это уж точно, в этом году дела идут так хорошо, как давно не бывало. Один из попутчиков вмешался куда горячее, чем того требовал предмет разговора:

— Да, повсюду стало лучше. А почему? Потому что наш фюрер оказался на своем месте.— Его слова прозвучали как начало выступления с трибуны. Он сделал паузу, вероятно, в ожидании бурного одобрения. Однако крестьянка лишь сказала:

— Вы думаете, потому я и продам больше гусей?

— Конечно, также и поэтому,— продолжал горячий человек с наклонностями народного трибуна.— Это тоже проявление того подъема, который становится заметным повсюду. Я вот видел, что происходило на Рейне, когда они вступили туда с развевающимися знаменами,— у меня там живет сестра, и я приезжал к ней на серебряную свадьбу. Но эта свадьба совершенно неожиданно превратилась в огромное торжество. С барабанами и трубами, с флагами и приветствиями, с «Хох!» и «Хайль!», которые и сегодня гремят у меня в ушах. Это же просто наглость — заявить, что на нашей собственной земле мы не можем позволить маршировать нашим собственным солдатам. И вот фюрер просто, без всяких «добро пожаловать», вступил туда, и ни одна из этих так называемых великих держав даже не пикнула. Кто и сейчас не понимает, что происходит в Германии, тот или болван, или свинья. Конечно, все еще попадаются некоторые с красным душком, да, попадаются.

— Да, попадаются,— согласился один из попутчиков.— Я однажды видел, как они волокли такого вниз по лестнице.

— Так ему и надо,— сказала тощая, похожая на учительницу женщина, до этого тихо сидевшая в своем углу.— Кого слово не проймет, того палка прошибет. Вот я, например, уже по вопросам своих учениц («Она действительно учительница»,— подумал Эрвин) узнаю, чем дышат их родители.

Коренастый мужчина заметил:

— Я бы просто послал кого-нибудь домой к таким людям. Гестапо или штурмовиков. Там может выясниться всякое.

— А я уж так и сделала,— сказала учительница.

Крестьянка снова вернула разговор к его безобидному началу. Она стала разглагольствовать о корме для гусей.

— Так когда же их начинают откармливать? — спросила учительница.

Эрвин не запомнил ответа. Зато первая часть разговора врезалась в его память почти дословно. «Волокли вниз по лестнице». «Так ему и надо». «Кто теперь еще не понимает». «Все еще, вероятно, попадаются красные...»

Он пошел в гостиницу. Она была скромной и опрятной. Номера еще не отапливались, но от кафельной печи в общем зале на первом этаже исходило доброе тепло. Он ел ужин и постепенно оттаивал, а потом подсел за угловой столик, чтобы выпить кружку пива. Сама хозяйка гостиницы уже сидела там с несколькими гостями. Милая добродушная мамаша. Она уже разузнала, что под ее кровом остановились два коммивояжера, а также зубной врач со своей супругой, которые завтра отправятся дальше. Она без церемоний спросила Эрвина:

— Вы, наверно, приехали в школу имени Шиллера, чтобы заменить больного учителя?

Эрвин засмеялся.

— Я не учитель. Хотя впрочем, нечто в этом роде. Я тоже стараюсь кое-что объяснить людям. Сейчас я готовлю текст о скульптурах вашего знаменитого собора для нового справочника. Завтра доктор Гренхаузен из организации Немецких христиан прочтет там очень важную проповедь.

Эрвин уже давно привык придавать своей мнимой деятельности видимость достоверности. Путеводители и фотографии, брошюра с речами Гренхаузена, а также собственные заметки лежали в его комнате в раскрытом портфеле, чтобы хозяйка могла все это увидеть.

Хозяйка тем временем уже рассказывала о несчастье, случившемся с учителем математики. Он провалился в неплотно прикрытый строительный котлован.

— А что, разве на опасном месте не было предупредительного знака? — спросил коммивояжер.

Хозяйка ответила, что уж этого она так точно сказать не может. Ее руки в течение всего разговора ни на минуту не оставались без дела. Эрвин счел бы этот вечер пустым, если бы приятное тепло не обволакивало его так, а журчание слов не заглушало бы его тревоги. До сих пор он при каждом поручении оставался сме-

лым, самоотверженным, готовым ко всему, к аресту, к пыткам, ради свободы и счастья для всех и для себя самого, ради всего, что непременно наступит завтра, ну пусть послезавтра,— потому и надо выполнить задание. Однако в этом городе, где он должен был встретиться со своим верным другом Клаусом Раутенбергом, чтобы за какое-то мгновение передать ему текст листовки, его охватил страх, который он принял бы за предчувствие, если бы Хеммерлинг не говорил, что никаких предчувствий вообще не бывает. Собственно говоря, он начал тревожиться уже раньше, а не в гостинице, где его так приветливо приняли. Еще на последнем отрезке пути, когда та крестьянка в купе выражала восторг по поводу возросшего спроса на гусей, а ревностный оратор объяснял, кому они все обязаны этим всеобщим подъемом,— вот когда его впервые в жизни охватил страх.

Хозяйка спросила Эрвина, не произошел ли и с ним несчастный случай. «Она уже заметила, что я хромаю»,— подумал Эрвин. Он сказал:

— Ах нет, детский паралич.

Ему посочувствовали. Затем заговорили коммивояжеры. Из Наумбурга они поедут совсем в противоположные стороны. Им дано поручение предлагать в разных местах великолепное вино, которое производят лишь в этой местности, больше оно почти нигде не известно. Эрвин уловил слово «поручение». Хеммерлинг велел передать все Клаусу Раутенбергу устно, и лишь в крайнем случае на бумаге,— вот какое поручение дано ему, Эрвину.

Эрвин повторял про себя текст новой листовки всю дорогу, пока не пересел в то проклятое купе. Но и над этим общим залом гостиницы, казалось, тяготело проклятие.

До сих пор на него никогда не нападал страх — ведь все было предусмотрено, они должны были встретиться в соборе, который во время проповеди Гренхаузена обязательно будет битком набит. И он передаст Клаусу все необходимое, когда они, сидя рядом на церковной скамье, будут для видимости искать какое-то место в тексте проповеди. Брошюра с этим текстом лежала сверху в портфеле Эрвина.

Его разморило около теплой печи. Тревога и напряжение прошли. Он испытывал лишь сонливость, хотелось никогда не вставать с этого места. Но руки хозяйки уже стали вялыми, расслабились, она собрала свое вязанье, потом еще раз приветливо огляделась вокруг. Внезапно ее голова показалась Эрвину коварной головой кошки с вставшей дыбом шерстью, с вероломными глазами, которые могут светиться в темноте. Она смотрела на него чуть дольше, чем на других, чего доброго, она была уже предупреждена. Эрвин не мог бы поручиться, что кто-нибудь из сидящих за

этим дьявольским столом, агент по продаже вин или молчаливый зубной врач, не ехал с ним в одном поезде, может быть, даже в его купе. Он подумал: «Я не запомнил достаточно хорошо в лицо каждого из своих попутчиков».

Хозяйка сказала, ее утренний кофе всем понравится и придаст силы для нового дня. Это означало, что пора спать, во всяком случае, покинуть общий зал. Эрвин встал, бодрым голосом пожелал всем «спокойной ночи», но, когда он поднимался по лестнице, у него было такое ощущение, что если он обернется, то увидит уставившиеся ему в спину кошачьи глаза хозяйки.

В прохладной комнате он почувствовал себя спокойнее. Когда он умылся, вытерся и оказался наконец под стеганым одеялом, он уже проклинал внезапный приступ страха и подсмеивался над собой. Он думал: «Что бы со мной ни случилось, то, что мы делаем,— правильно».

Он погрузился в сон так быстро, как засыпал всегда, когда предстояло трудное и опасное дело. Потому ему до сих пор и везло, что у него всегда по утрам бывала ясная голова...

Ночью или скорее рано утром его разбудила неистовая барабанная дробь. Узкая, как щель, улочка, где стояла его гостиница, усиливала эхо. Он увидел в окно марширующие парадным шагом отряды гитлерюгенда. Ему сразу пришло в голову, что за проповедью последует экскурсия по собору, преимущественно для молодежи. Он оказался в общем зале раньше, чем сообразил, что делает. Неизвестная ему девушка, возможно, хозяйская дочка, веселая, привлекавшая к себе опрятностью еще до того, как замечали ее красоту, возилась возле дразнящей уютом зеленой кафельной печки, то ли заново растапливая ее, то ли подкладывая дрова. Было далеко не так тепло, как вчера. Хозяйская дочка то и дело поглядывала в окно на марширующих. Потом она вместе с матерью стала накрывать столы для кофе. Осеннее солнце пробилось сквозь дымку. Теперь в проворной хозяйке не было ничего кошачьего. Эрвин подумал: «Я пришел слишком рано. Как я убью время до встречи?» А потом он подумал еще: «Когда я выйду, меня многие увидят. Заметят, что я хромаю. Это чистая случайность, что до сих пор все сходило гладко. С самого начала было неправильно выбрать для такого поручения меня».

Лишь после того, как звуки марша затерялись в другой части города, стали слышны соборные колокола. Эрвин подумал: «Набожным я никогда не был, но с какой силой могут звонить колокола. Как-то я был в деревне, и звонарь ударил в колокола так громко, что и в далекой округе услышали этот звон. Может быть, и здесь есть звонарь — старый человек, который вовсе не предан сердцем Гренхаузену и его организации. Он просто старался заглу-

шить марш, но барабаны были громче колокола, и он стал слышен лишь сейчас...»

Запахло кофе. Пришла супружеская чета, уже готовая к отъезду утренним поездом. Хозяйка разливала кофе, она спросила Эрвина, будет ли он фотографировать собор. Отряды гитлерюгенда обязательно соберутся на соборной площади.

— Во всяком случае,— сказал Эрвин,— я должен все хорошенько рассмотреть, чтобы потом написать об этом.

Потом он расплатился и взял портфель, куда засунул и свою легкую ночную пижаму.

— Это же неудобно,— сказала хозяйка.— Вы можете спокойно оставить это здесь до отъезда на вокзал.— Ее губы насмешливо кривились.

«Она думает, отсюда ты не так-то легко выберешься»,— решил Эрвин.

Он поднялся. Вышел на улицу. Сначала было еще довольно тихо. На соседней улице, ведущей к соборной площади, люди, вероятно уже готовые выйти из домов, выглядывали в окна. Утро обещало быть теплым. В серо-зеленом сквере с еще не совсем оголенными деревьями стояло несколько скамеек. А за деревьями, которые медленно, как бы против воли, сбрасывали листья, поднималась каменная стена. В возносящихся над ней башнях ощущалась мощь и одновременно легкость. Какое-то мгновение Эрвину казалось, что вся его душа стремится к такой же легкости и силе. Потом его взгляд упал на человека, который присел на скамью напротив. Эрвин подумал: «Боже мой, не коммивояжер ли это из гостиницы, рекламирующий здешнее вино по всей Германии? Так он утверждал вчера вечером. Однако он приехал сюда не ради вина и не ради проповеди, он приехал ради меня. Он следит за мной».

Эрвин встал, как бы для того, чтобы немного согреться. Ведь настоящего тепла уже не было. Им овладел страх. В следующий миг его может кто-нибудь схватить. Он подумал: «Может быть, лишь в соборе, когда я войду. Я не хочу туда входить».

И вот он уже быстро шел по улице, по соседней, не по той, что шел сюда. Он осмелился оглянуться, лишь наклонившись и делая вид, что завязывает шнурок на ботинке. Улица была совершенно пуста. Коммивояжер, или кто бы ни был этот человек, либо не преследовал его, либо прятался.

«Да, он прячется,— подумал Эрвин.— Было бы безумием снова идти назад. Он, несомненно, хочет выследить, с кем я встречусь. Если Клаус пройдет в собор без «хвоста», он будет мне благодарен. Не наводить же мне шпика на его след».

Он обошел гостиницу стороной. Теперь он боялся только, чтобы кто-нибудь не окликнул его. Второй коммивояжер, возможно,

тоже шпик. А сама хозяйка? Пожалуй, и она в курсе и может спросить его, почему он не слушал проповеди доктора Гренхаузена, раз он собирался о ней написать.

«Тогда я что-нибудь совру,— подумал он,— ну, скажем, что мне показали конспект проповеди, уж что-нибудь придет мне на ум. То, что я должен был передать Клаусу, не такое ведь безотлагательное дело. Оно ничуть не утратит своего значения, если я все сообщу в Фульде. Во второй вторник следующего месяца. Мы так условились, если почему-либо не встретимся в Наумбурге. Тогда я все наверстаю. Во второй вторник следующего месяца. Не схватили ли его? Или же он в последний момент улизнул от них? Во всяком случае, и для него хорошо, что я вовремя ушел...»

Эрвин добрался до вокзала. Он покупал билет, не оглядываясь по сторонам, он прямо-таки заставлял себя двигаться медленно, непринужденно. «А что я скажу завтра Хеммерлингу? — думал он по дороге.— За нами следили. За мной, вероятно, уже на последнем отрезке пути до Наумбурга. Потом в гостинице. А за Клаусом до собора».

Увидев Эрвина Вагнера, Хеммерлинг быстро спросил:

— Ну как, все в порядке?

— Нет,— ответил Эрвин.— Церковь была набита гитлерюгендовцами. Гренхаузен читал свою обычную проповедь. Я не мог поговорить с Клаусом. Он подал мне знак, о котором мы договорились на случай, если одному из нас что-то покажется неладным.

Хеммерлинг помолчал минутку. Тон Эрвина показался ему несколько странным. Он знал Эрвина уже довольно давно, он знал его, как ему казалось, насквозь. А Эрвин между тем продолжал:

— Ведь мы, Клаус и я, на случай помехи условились о новой встрече на следующий вторник, в Фульде. Я поеду сначала в Гиссен.

— В Гиссен?

— Ну да. Ты же знаешь, я живу в Лейпциге у подруги моей Лоры. Она девчонка хитрая. Нашла мне место в Гиссене. А Лора уехала в Вормс. Нам повезло. Мы оба сразу установили контакты с хорошими товарищами. Во всяком случае было правильно сменить место жительства.

— Будьте осторожны,— сказал Хеммерлинг,— слишком уж быстро вы установили контакты.

На это Эрвин ничего не ответил. Он сказал:

— Текст, который я должен был передать Клаусу, в конце концов не привязан именно к этой неделе. Он останется в силе и впредь.

— Нет, нет,— возразил Хеммерлинг. Его тон тоже чуть изменился.— Дело не терпит, мы должны спешить, словно это последнее, что мы вообще можем сделать. Ты сам заметил, что за Клаусом был «хвост»? Мог ли он быть задержан незаметно, так, чтобы это не привлекло ничьего внимания?

Эрвин тихо ответил:

— Этого я с полной уверенностью сказать не могу.

Хеммерлинг распорядился:

— Через две недели приходи в винный павильон на Рейне. В Фульду ехать тебе не надо. Мы пошлем туда кого-нибудь другого, кто знает Клауса. У нас больше нет типографии. Раздобудьте стеклограф. Ты должен сделать это вместе с теми товарищами, которых недавно нашел. Ты ошибаешься, полагая, что текст этой листовки не устареет, он связан именно с нынешним моментом... А теперь, до того как возвратиться на работу, я хотел бы глотнуть еще немного свежего воздуха. Проводи меня до Ганзаринга. Потом сядешь в электричку. Повтори мне еще раз текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. Ладно?..

На улице Эрвин пробубнил:

— «Неужели вы действительно хотите стрелять в молодых людей, так радушно встретивших вас на Всемирной выставке в Париже? С которыми вы так весело состязались? Молодежь Германии и Италии хочет мира со всеми народами. Однако все, что в настоящее время предпринимает Гитлер,— это подготовка к войне...»

Внезапно Эрвин остановился.

— Возвращайся к себе в универмаг, а я пойду к своей остановке один. Я слишком бросаюсь в глаза.

Хеммерлинг удивленно спросил:

— Как это ты бросаешься в глаза?

— Я хромаю, это замечает каждый. Это же примета. Об этом мы никогда не думали.

Хеммерлинг возразил:

— Мне кажется, ты производишь совершенно безобидное впечатление. Такое, какое тебе и следует производить. Кроме того, в Гиссене тебе надо лишь отпечатать листовки. Распространять их будут другие. Ну, счастливо. До свидания...

Глубокое, даже не вполне осознаваемое им самим знание людей — результат большого жизненного опыта и умения быстро его применять — подсказывало Хеммерлингу, что в сообщении Эрвина что-то не так. Да и сам Эрвин показался ему не таким, как всегда.

Хеммерлинг поручил товарищу по имени Феликс, который еще никогда не бывал в Кельне, поехать вместо Эрвина в Фульду

к Клаусу и передать ему несколько фраз, так как Эрвин не смог сделать этого в Наумбурге.

Хеммерлинг сказал:

— Работа имеет смысл лишь в том случае, если она ведется шаг за шагом одновременно в разных городах и в разных слоях населения.

Феликс был рад возможности вновь увидеться с Клаусом Раутенбергом, которого он тоже знал по совместным занятиям спортом. На случай, если в условленный час Клауса не окажется на условленном месте, Хеммерлинг велел Феликсу узнать, что известно о Клаусе в том центре, куда поступают все важные сведения... Феликс сказал вслух то, о чем Хеммерлинг думал про себя:

— Я надеюсь, это была ложная тревога, и Эрвин просто поддался страху.

Однако при встрече в винном павильоне Феликсу пришлось сказать Хеммерлингу, что Клауса в Фульде не оказалось. Стало известно, что Клаус действительно появлялся в Наумбургском соборе, не знали только, получил ли он какое-то предупреждение и скрылся или же его арестовали. Во всяком случае, он прямотаки растворился в воздухе. И напасть на его след пока не удавалось.

Встретившись с Эрвином, Хеммерлинг мысленно извинился перед ним за свои подозрения. Они показались ему тем более несостоятельными, что акция с листовками прошла успешно.

На самом деле печатанье и распространение листовок прошло не так уж гладко. Эрвин вышел в Гиссене из поезда в радостном предвкушении встречи со своей подругой Лорой. Он, конечно, радовался не только потому, что в воскресенье утром умелая и проворная Лора обязательно сменит его на стеклографе, но и просто потому, что истосковался по ней. Лора нашла к этому времени легкую, правда, плохо оплачиваемую нештатную работу на одном предприятии в Вормсе. В субботу она выезжала оттуда, часто еще затемно, чтобы повидать своего друга. В Гиссене Эрвину посчастливилось найти жилье — каморку у сапожника, сын которого неожиданно уехал. Лора была здесь в гостях у Эрвина уже два раза. Хозяйка удивлялась, что невестой невзрачного, прихрамывающего человека была такая привлекательная девушка, высокая и стройная, с гордо поднятой головой. Однако Лора, которая никогда за словом в карман не лезла, сказала ей:

— У моего друга голова как у Геббельса, мал золотник, да дорог...

На этот раз они оба не смогли бы объяснить, почему обошлось без жарких объятий. Эрвин не все рассказал Лоре о том, что произошло в Наумбурге. Он говорил взволнованно. Ему самому

теперь казалось, что он действительно мельком видел Клауса издалека и тот подал ему предостерегающий знак.

Стеклограф, которым им предстояло воспользоваться, находился в лаборатории одного техника-ассистента. Профессор и все знакомые этого смелого молодого человека привыкли к тому, что он по воскресеньям, а то и в будни по вечерам, возился в помещениях лаборатории, привлекая для помощи еще кого-нибудь. Никто не обратил внимания на то, что Эрвин принес газеты и книги и что его сменила Лора. Вечером Эрвин должен был снова сменить Лору, однако он пришел слишком поздно, когда вся работа была уже почти закончена. В одном из помещений горел свет, так как ассистент испытывал новый прибор. Эрвин дал ему список друзей, которые должны были забрать пачки отпечатанных листовок. Он взял для виду две толстых книги и подумал при этом: «Моя хромота, пожалуй, не обращает на себя внимания, когда я иду с ношей». Лоре он сказал, что из осторожности не станет сегодня провожать ее до вокзала... Он еще не осознавал, что его любовь пошла на убыль. Да, как ни странно, сначала его любовь! Лора была влюблена в Эрвина, и ее чувство росло и крепло, потому что Эрвин не знал страха и потому что он умными словами и своей непреклонной уверенностью неизменно поддерживал колеблющихся, а упавших духом заставлял поверить вновь.

Для Лоры мужество и ум Эрвина заслоняли его небольшой недостаток. Теперь ей показалось, что поведение друга несколько изменилось.

При их следующем свидании Эрвин был холодноват. Он уже знал об исчезновении Клауса, которого могли швырнуть в один из подвалов гестапо. Ночами Эрвин терзался: «Клауса, наверно, пытают. Могу ли я поручиться за него головой? Он знает, где я теперь живу, где работает Хеммерлинг. Знает ли он, что Лора и я... что мы еще вместе? Мы так бросаемся в глаза, когда мы рядом... А сам я смог бы устоять перед их допросами?»

Они твердо условились с Клаусом, что если их первая встреча сорвется и по какой-либо причине не состоится и следующая, тогда тот из них, кто останется в живых и на свободе, должен будет на всякий случай пятого числа каждого месяца в пять часов дня являться на почтамт в маленьком городишке Гельхаузене. Он высчитал и подумал: тогда ведь я должен ехать уже в следующий вторник. Наумбург и Фульда — обе встречи сорвались. Завтра первое число. Однако безрассудно ставить все на карту... Клаус тоже не предполагал, что это случится так скоро.

Эрвин написал Лоре, что ему придется съездить в несколько городов по объявлениям о работе. Было бы хорошо найти постоян-

ное место. Он известит ее, как только найдет что-либо подходящее. То же самое он сообщил Хеммерлингу.

Лора согласилась со всем этим, и все же что-то в тоне письма показалось ей странным. Хеммерлинг и Лора больше ничего не знали друг о друге. Однако удивление Лоры и не совсем отпавшие сомнения Хеммерлинга имели между собой много общего.

Вскоре Хеммерлинг получил через Феликса указание под благовидным предлогом, не нарушая формальностей, оставить работу в универмаге и уйти в подполье.

Эрвину то казалось, что со дня его последнего разговора с Клаусом прошла целая вечность, то будто Клаус еще вчера ожидал его в Наумбурге. И Эрвину снова, почти так же, как тогда в сквере, хотелось умом и сердцем преодолеть внезапно охвативший его страх, пойти в собор, встретиться с Клаусом...

Он, как и писал Лоре, ездил в несколько городов по объявлениям о работе. Деньги кончились. Он был озабочен. Мучило постоянное одиночество.

События в Испании обеспокоили его, однако он не мог до конца осознать происходившее. У него было такое ощущение, словно он оступился с привычного твердого берега и его затягивают волны бездонного моря, а берег с каждым часом — все дальше и расплывчатей.

Однажды он попросил Лору приехать к нему в Марбург. Он нашел там работу на картонажной фабрике, которая была похожа на предприятие, где когда-то работал его дядя. Свое первое решение — расстаться с Лорой, ничего не говоря ей,— он все-таки не смог осуществить. Его любовь еще не угасла совсем, как он ни убеждал себя в этом. Он тосковал по сильной, спокойной, уверенной в себе девушке, и ему нужен был кто-то, кому бы он мог излить душу, измученную невыносимым одиночеством в этом запутанном, ставшем для него непонятным мире.

После многих боев, успехов и неудач в гражданской войне республиканцы Испании потерпели поражение. То, что Чемберлен, вернувшись в хорошем настроении из Мюнхена и выйдя из самолета с зонтиком в руке, назвал «миром», было несчастьем Чехословакии. Что могло все это означать? Что будет завтра? Гитлер захватил Австрию, его встретили там с ликованием. Ликование кипело вокруг Эрвина, а на нем тяжким камнем лежало задание Хеммерлинга, задание, которое он давно уже не выполнял — листовка: «Гитлер — это война».

«Здесь меня никто не знает, Лора может навестить меня»,— думал Эрвин. Он был счастлив, когда снова провел с ней ночь. Он

обнимал ее, изливал ей свою душу, задавал тысячу вопросов. Лишь об одном он молчал — о том, что у него наклевывается хорошо оплачиваемое место в Луккау. Ему не давало покоя желание уехать куда-нибудь подальше...

Лора рассказала ему, как относятся ко всему происходящему товарищи, с которыми она поддерживает связь. И Эрвин подумал: «Значит, это все-таки была не болтовня, как я часто считал. Хеммерлинг действительно многое знал заранее. Но каким образом? Почему я не верил ему во всем? — Одновременно он думал: — А правильно ли то, что говорит Лора? Я не могу все-таки до конца верить этому».

Лора сказала:

— Феликс арестован. Вместе с ним еще несколько человек. В их группе был предатель.

— А что тебе известно о Хеммерлинге?

— Возможно, он в Испании, в Интернациональной бригаде, а может быть, во Франции.

Изменившимся голосом Эрвин спросил — в темноте Лора не могла увидеть, что и лицо у него изменилось:

— Слышала ли ты что-нибудь о Клаусе?

— Ничего.

— Его, наверно, уже нет в живых.

Лора встрепенулась:

— Клауса? Он жив.

— Откуда ты можешь это знать?

— Я знаю, я чувствую это всеми фибрами. Такой человек, как он, выберется даже из лап гестапо.

— Ах, Лора. А разве Феликс не был таким же? Он ни в чем не уступал Клаусу.

На это Лора ничего не ответила. Она не могла правдоподобно объяснить, на чем основана ее уверенность.

Но она была так убеждена в том, что Клаус жив, как будто речь шла о ее собственной жизни. Было кое-что, о чем она не могла и не хотела говорить с Эрвином в это мрачное время. Однажды, при срочно назначенной встрече, она увиделась с Клаусом Раутенбергом. Направляясь на явку, Лора даже не подозревала, что связным окажется знакомый ей с юности Клаус. Они очень обрадовались друг другу. Но когда Клаус намекнул на то, что они весьма подходящая пара, Лора резко оборвала его. Нет, теперь было не время говорить о подобных вещах и еще больше волновать Эрвина, у которого и так достаточно тяжело на душе. Сначала Лора была ошеломлена, узнав об исчезновении Клауса. Однако полное отсутствие точных сведений порождало в ней не страх, а, наобо-

рот, уверенность, что Клаусу удалось каким-нибудь образом вывернуться.

Она едва слышно, по-видимому, без всякой задней мысли, задала вопрос, который, впрочем, задавала и раньше:

— Ты действительно собственными глазами видел его в этом соборе?

Эрвин, внутренне растерявшись, ответил с внешним возмущением:

— Конечно. Я тебе уже не раз говорил это! И то, что в последний момент я заметил знак, о котором мы договорились,— знак, поданный рукой или ногой.

— Разве он был уже в наручниках?

Эрвин ответил так, будто после этого события прошло лишь несколько часов:

— Ах, нет. Как ты это себе представляешь? В таких случаях они не арестовывают на глазах у всех...

Несколько минут они лежали молча. Недоверие, сомнение, опутавшее их, как паутина, отбило у них всякое желание разговаривать, не говоря уже о любви.

Эрвин думал: «Конечно, Лора сильная, конечно, она замечательная женщина. Она многое мне объяснила. Она облегчила мне душу, успокоила меня. Но права ли она? Как бы там ни было, сердце мое все еще словно налито свинцом. Зачем она так мучает меня прошлым?»

Точно так же, как бывают недосказанные слова, бывают и недодуманные мысли... Он только было подумал: «В Луккау никто меня не станет искать, даже Лора не знает, где это». Но вдруг, тут же, эту мысль будто ветром сдуло.

Он открыл ей дверь. Лора сама попросила не провожать ее. И потому это не выглядело последним прощаньем и осталось в его памяти как бы лишь одним из многих расставаний, словно им предстояло прожить несколько жизней.

О пакте между Гитлером и Сталиным Эрвин узнал в Луккау. Его как громом поразило. Вот когда ему ужасно нужна была Лора, ее разъяснения, ее сила, ее свежее здоровое лицо. А он совершенно один, сбитый с толку в этом глухом маленьком городишке! Он довольно хорошо устроился у господина Шульце, у которого была картонажная мастерская.

Его гневная растерянность из-за непонятного договора постепенно улеглась... Он даже порой испытывал своего рода удовлетворение: в такие времена все возможно.

Гитлер напал на Польшу. Франция и Англия объявили войну

Германии, и Эрвин снова подумал: как мог Хеммерлинг все это предвидеть заранее? Как могла Лора так твердо верить ему?

У Шульце был родственник, владевший небольшой, но единственной в их городишке типографией, где теперь в первую очередь печатали официальные призывы и воззвания. Так как этот родственник, ощутив воинственный зуд, отправился в Польшу, заботы о типографии взяло на себя государство и доверило Шульце управлять ею. Эрвин охотно и умело заменил там своего хозяина, а когда вскоре обнаружилось его знакомство с печатным делом, он объяснил, что в свое время обучался этому, но не закончил ученья, потому что его отец остался без работы и ему, Эрвину, пришлось помогать матери.

Хотел этого Эрвин или не хотел, но по стране разлетались сотни тысяч свастик, вышедших из их типографии.

У Шульце была уже немолодая, очень костлявая, но хитрая и проворная дочь. Ее звали Эльфрида. По вечерам, разговаривая с отцом, она убеждала его, что Эрвин — он был теперь по документам уже не Вагнер, а Шустер — мог бы стать подходящим компаньоном в деле. Отец и дочь не говорили напрямик того, о чем думали, но Эрвин расценивался ими прежде всего как будущий зять. До сих пор у Эльфриды не было женихов, но теперь она, казалось, приглянулась Эрвину. Практичный парень, думал Шульце. Впрочем, Эрвин умел и поухаживать.

Он давно привык во всех случаях жизни думать: Лора права, Лора неправа. И когда он женился на Эльфриде, то нашел себе странное оправдание: а что же мне, преследуемому, оставалось делать?.. Даже договор между гитлеровской Германией и Советским Союзом, казалось ему, косвенно оправдывал этот шаг.

Эльфрида Шульце благодаря своей хитрости и изворотливости стала полезным членом женской организации национал-социалистской партии. Новая форма скрывала ее худобу. Она умела приказывать, а когда надо — петь и посмеяться... Ее вызвали на несколько дней в Берлин. И Шульце, оставшись наедине с зятем, тут же принес с чердака несколько связок каких-то газет и велел Эрвину быстренько сжечь их. Бросив беглый взгляд, Эрвин понял, что они уничтожают социал-демократическую литературу.

Внезапно их собственная мастерская была превращена в экспедиционную контору для рассылки газеты «Луккауэр беобахтер», предназначавшейся для окрестных крестьян. На упаковке и рассылке газет Эрвин без всякого неудовольствия заменил тестя. Иногда на невозмутимо хитрое лицо старика набегала тень какой-то грусти. И Эрвин испытывал даже угрызения совести, когда обычно лукавые глаза Шульце смотрели на него, пусть всего несколько мгновений, без всякой хитрости, задумчиво-серьезно.

«Что же он может подозревать? — думал Эрвин.— Даже Лора не подозревает, где я». Он часто неподвижно смотрел перед собой невидящими глазами.

Шульце спрашивал: «Чем ты озабочен, Эрвин?» Тогда Эрвин стряхивал с себя оцепенение. Когда они сидели в душной комнате и тесть от скуки в десятый раз читал одно и то же место из «Луккауэр беобахтер», в голове Эрвина, как будто ничем не занятой и измученной всем, проносились белые и пестрые птицы воспоминаний. Не он мысленно шагал сейчас по некогда знакомым городам. Скорее наоборот, сами эти города как бы скользили мимо него. Его родной город, светлый и тихий. Лесистые холмы вокруг него. Озеро с палатками на берегу. Причудливый мост над мутной речушкой в Эрфурте. На крутом холме уходили ввысь стены собора. Башни по сей день господствовали над городом и над ним самим. Однако отдельных людей он изгнал из своей памяти, хотя ими и кишели улицы Лейпцига. Потом появился Кельн, и он отчетливо увидел остановку на Ганзаринге, а в Наумбурге сквер перед собором был все таким же серо-зеленым. Вот перед ним возникли скульптуры. Он знал их только по открыткам: ведь он так и не входил в собор. Коротко промелькнул Гиссен, в аудитории зажегся свет, проворные студенты вбегали и выбегали из здания. Так много знакомых городов, но и несколько таких, где он побывал лишь проездом. Может быть, сейчас где-то кому-то вот так же вспоминается Луккау. Здесь мысли людей были такие же чахлые, как всходы на окрестных полях...

Эльфрида вернулась из Берлина довольная, с чрезвычайно важным, как она пояснила, поручением. Ее снова и снова вызывали в столицу. Она требовалась там для бог весть каких дел. Оставшись вдвоем, мужчины молча сидели друг подле друга, и все же без Эльфриды им было лучше.

Даже Луккау встряхнуло от спячки, когда Гитлер напал на Советский Союз.

Эрвину сочувствовали из-за того, что он был непригоден к военной службе, но и подтрунивали над ним. Он опускал глаза, однако на самом деле был рад. Первой мыслью его было: теперь Гитлеру конец, и от этого его сердце билось учащенно. Но он также говорил себе: «Когда у Гитлера все сорвется,— ведь Лора и Хеммерлинг были, наверно, правы,— объявится кто-нибудь из старых товарищей. Мне придется посмотреть в глаза этому человеку. Как я смогу тогда объяснить свое исчезновение?»

Старый Шульце был вполне доволен зятем, которому не угрожал призыв в армию. А вот Эльфрида стыдилась своего мужа и не скрывала этого. В Берлине ее встречали с разными военными, даже в черных мундирах...

В Луккау часто вывешивали флаги. Все были в ожидании: с часу на час вермахт войдет в Москву.

— В такую зиму, как у них там,— говорил торговец углем — серьезно или с иронией,— ни один человек не спасется, уж там-то я давно распродал бы весь свой уголь.

Гитлер не взял Москвы, однако он все глубже вгрызался в Советскую страну. Душа Эрвина тоже была истерзана, изранена блицкригом. Эрвин стиснул зубы. То он впадал в отчаяние, то его охватывала растерянность. Годами он не чувствовал, что у него есть сердце в груди. Теперь оно иногда стучало в бешеной надежде. Но когда над городом снова развевались флаги, он все же думал с некоторым облегчением: «Теперь никто больше не сможет призвать меня к ответу». И при всем том он стыдился своих раздвоенных мыслей: под маской безразличия он прятал глубокое огорчение, узнав, что захвачены Харьков и Крым, а потом и часть Кавказа.

Франция была уже давно оккупирована. Эльфрида пришла однажды домой сияющая. Ее посылают с группой девушек в Париж. Там в различных учреждениях требуется их помощь. Она до блеска начистила свои пуговицы и ярко накрасила губы. Отец насмешливо посмотрел на нее и подтолкнул локтем Эрвина, тот пожал плечами...

Когда дивизии вермахта были остановлены у Сталинграда, даже в Луккау люди потеряли терпение. Флаги прямо-таки не могли дождаться, когда же они снова станут развеваться над улицами. И вот наконец их повесили, но — приспущенными в знак траура. Правда, и всенародный траур в этом городишке был жидковат, как, впрочем, позднее и новое ликование по поводу нескольких одержанных побед. Орали и веселились разве только в двух ресторанах, когда туда заходили отпускники или старые эсэсовцы. Эрвин давно уже не был в Луккау единственным, кто волочил ногу. Он поглядывал на своего тестя и старался во всем ему подражать. Его серая, преждевременно дряблая кожа скрывала теперь второго Эрвина, и когда наружный Эрвин кричал вместе со всеми «хайль», тот, что был спрятан внутри, не издавал ни звука, когда наружный, казалось, скорбел вместе со всеми, спрятанный — ликовал.

Когда в Берлине и в других городах разные люди выступали против Гитлера, скрытый внутри Эрвин торжествовал, а когда восставшие предстали перед судом и их казнили, наружный молчал.

Когда ночью он лежал без сна, его начинало грызть раскаяние, но раскаяние в чем? «Их бы не казнили, все пошло бы иначе, если бы я не перестал участвовать в работе. Когда я перестал?»

Вдруг он точно понял, когда: «В Наумбурге, побоявшись встретиться с Клаусом. Ах, это все ерунда. Я не мог тогда поступить иначе. И я не смог бы ничего изменить ни тогда, ни позднее».

Он каждый день вставал в положенное время и жил, ибо нужно было жить. Жил, казалось, бездумно.

Каким бы безумным ни становилось время, он оставался вялым, инертным. У старого Шульце было больше решимости, чем ее осталось у Эрвина. Словно осечка, случившаяся однажды с Эрвином, потребовав непомерного напряжения, отняла все его силы.

Когда воздушные налеты превращали в руины один город за другим, люди, живущие в Луккау, думали, что они в безопасности, их провинциальный город стоит в стороне, не имеет важного значения. Однако какой-то летчик все же сбросил бомбу на их крыши, может быть, только потому, что она осталась у него лишней.

Несколько улиц Луккау были сожжены. Сгорела картонажная мастерская Шульце и типография, переданная ему государством. Однако они с зятем уцелели, потому что сидели в это время в трактире. Старому Шульце казалось знамением божьим, что перекресток, где стоял их трактир, не пострадал.

Старик и его зять, у которых теперь не было крыши над головой, пустились в дорогу. В то время как Эрвин брел равнодушно и безучастно, в старом Шульце пробудилась необычайная предприимчивость. Он, правда, не мог еще принять нужного решения: в Луккау ему некуда было деться, несколько мест, где можно было бы найти пристанище, были уже набиты до отказа, у его знакомого, торговца углем, где Шульце хотел переночевать, не осталось ни одного свободного местечка, и он зло отбивался от наседавших на него просителей. Поэтому Шульце с Эрвином, который теперь казался лишь его придатком, отправились на вокзал. Они втиснулись в поезд. Вагон имел для неожиданно ставшего предприимчивым Шульце то преимущество, что он тронулся с места и катился в озаренную пожарами бескрайнюю ночь.

Они высадились на каком-то перроне, потому что какой-то незнакомый широкоплечий детина, захотевший выйти из вагона именно здесь, увлек за собой целую кучу людей.

Они очутились в предместье промышленного города. Здесь для них нашлось место в бараке и немного супу. Они легли и долго, долго спали.

Старик Шульце, усталый и голодный, заявил на следующий день, что надо как-то выходить из положения. Эрвин пожал плечами. При всех этих ужасах, когда ему приходилось то дрожать от холода, то изнывать от жары, он порой обретал опору в мысли: «Они были правы, они были правы! Пришла смерть и безумие. Как ужасно подтвердились их слова!..»

А поскольку такие мысли были для Эрвина неразрывно связаны с определенными людьми, он все чаще вспоминал Хеммерлинга, Лору и Клауса. Эрвин говорил себе: «Разве я сам не знал этого, разве я не говорил и не печатал в листовках, что так и будет, если Гитлер останется у власти?..»

Когда одна женщина громко запричитала, что сломалась тележка, на которую она погрузила свои пожитки, Шульце починил поломанное колесо. В благодарность женщина дала ему из своих запасов хлеба и колбасы. Она рассказала попутчикам, что здесь есть человек, который может помочь. Резко покрикивая на своего зятя, Шульце заставил Эрвина вместе с ним выполнять всевозможные работы для беженцев. Хотя за это их и не кормили досыта, но все же они были спасены от голода. Наконец они выяснили, где очутились: во дворе разбомбленной фабрики. Старый Шульце решил: нам надо двигаться дальше. В более крупном городе мы найдем место на каком-нибудь уцелевшем предприятии, или другую работу, какая бывает только в городах.

Они присоединились к потоку беженцев.

Большая часть Глогенау, ближайшего города, на который Шульце возлагал все свои надежды, была разбита бомбами. Весна пахла дымом, над разрушенными улицами стояла пелена серой пыли. Однако люди утверждали, что наступил мир. В этом городе были русские военные, был горячий суп, если вовремя протиснуться к котлу. Эрвин и его тесть выглядели слишком жалкими, чтобы к ним кто-нибудь обращался — все равно, с добрым или с худым. В развалинах домов и в кучах битого кирпича можно было найти пристанище. Они приютились в совершенно разрушенной части города.

Уже на следующий день Шульце нашел среди всякой рухляди сломанный велосипед. Он велел Эрвину искать среди развалин и обломков недостающие части. В городе, где люди уже снова начали работать, было нетрудно продать исправный велосипед и на вырученные деньги купить на черном рынке еду.

Какие бы обломки Эрвин ни находил, будь они из дерева, меди или другого металла, у старого Шульце тут же возникала идея, для чего это можно приспособить.

— Когда-то мне очень хотелось стать слесарем-инструментальщиком,— говорил он,— но не нашлось, кто захотел бы заработать, обучая меня.

При этих словах Эрвин вспомнил свои ученические годы. Как он обрадовался, когда тетка помогла ему. Тут он снова вспомнил Клауса Раутенберга. В его воспоминаниях о юности всплывало многое. Однако только хорошее: палаточный лагерь на озере, их

песни, старый учитель. Все, что не вызывало никаких угрызений совести.

Теперь они с Шульце ютились в развалинах. Как крестьян кормят их поля, так Эрвина и Шульце кормил квартал, где они жили. Вскоре по соседству появилось несколько беженцев, которые, к неудовольствию Шульце, тоже оказались предприимчивыми. Однако никто не мог сравниться с ним в изобретательности.

Так как приближалась осень, он даже оборудовал в их норе чугунную печурку. Эрвин тоже стал деятельнее, осознав, что одними мыслями, которые бродили в его голове, сыт не будешь.

Постепенно рядом начали возникать различные мастерские, и утоптанная дорога получила название «Починочной улицы». Они жили теперь на Починочной, 3.

Однажды у них появился клиент, который был в хороших отношениях с главой предприятия, для которого они изготовляли всякую всячину. Он сказал, что создает в городе Хальбгау свое предприятие из на три четверти разрушенной фабрики, и заказал им несколько дюжин петель и шпингалетов для дверей и окон. Скоро, мол, наступят лучшие времена, и ему хотелось бы уже сейчас сделать все добротно и аккуратно. Он, правда, каждый месяц навещает своего приятеля, директора здешнего завода, но не надо, чтобы тот знал об этой сделке. За образцы, которые он на следующий день взял с собой, он тут же хорошо заплатил и посоветовал, поскольку в этом городе почта еще работает плохо, послать заказ из Гельхаузена, расположенного на три остановки дальше. В знак доверия он дал им даже задаток. С этим человеком они сразу пришли к полному взаимопониманию.

В развалинах было нетрудно разыскать нужные металлические детали. Сгорело много доходных домов, и эти металлические предметы служили, возможно, когда-то украшением мебели или использовались раньше для дверей и окон.

— Рискнем,— сказал старый Шульце и послал Эрвина в Гельхаузен с выполненным заказом, упакованным в несколько посылок,— если что и затеряется, то не все сразу.

В поезде один из попутчиков спросил Эрвина, куда он едет, Эрвин ответил:

— В Гельхаузен.— И тут же у него в голове пронеслось: «Зачем я ему это сказал?» Потом он вспомнил, что гитлеровские времена миновали и конспирация больше не нужна. Одновременно, как порой под большим потоком бурлит холодный источник, его из подсознания ударила мысль: мы ведь, Клаус и я, условились встретиться в Гельхаузене, если все предыдущие встречи сорвутся.

Попутчик, уже успевший разглядеть его, сказал:

— Вы с вашими пакетами, конечно, собираетесь на почту? Но знаете ли вы, что добрая половина города разрушена бомбежкой? Здание почтамта тоже поминай как звали. Так вот, временное помещение почты, к счастью для вас, находится совсем близко от вокзала. Выйдя из него, свернете направо, и сразу же — на параллельную улицу.

Казалось, вся синева неба была израсходована на ясный короткий день. И теперь они ехали по пасмурной равнине. Во время второй остановки, продолжавшейся не десять минут по расписанию, а больше получаса, спустились сумерки. «Я приеду слишком поздно,— подумал Эрвин. Он вдруг вспомнил: — Мы условились на пять часов. И сегодня — пятое.— Потом он подумал еще: — Мир обращен в прах и пепел, нельзя быть уверенным, что Клаус остался в живых, а если и жив, то мог давно забыть о нашем уговоре». И все же Эрвин решил: нет, Клаус не мог забыть...

Когда они подъехали к городу, их встретил густой туман. Эрвин спешил, но хромая нога и пакеты мешали ему. К счастью, до временной почты было недалеко. Небольшая улочка была уже темной, вдалеке светилась только почта. В ней оказалось много народу, как будто там собрались все жители города. Эрвин, пока стоял в очереди, еще раз высчитал: да, сегодня пятое октября. В пять часов тот из нас, кто сможет, должен быть на почтамте в Гельхаузене. Эта дыра вовсе не настоящий почтамт.

Сдав посылки и выйдя на улицу, он подумал: «Здание почты разрушено. После нашего уговора о встрече прошли годы. Годы? А может, уже десятилетия? Должен ли я все же пойти на то место, где была почта? Та почта. Наша явка. Ведь Клаус может не знать, что здание разрушено».

В конце концов, с тяжелым сердцем, зато без тяжести в руках, потому что он был уже без пакетов, Эрвин направился на площадь, где раньше находилась почта. Осенний день уже погас.

Огромная куча щебня на площади, казалось, все время росла в тумане. Эрвин стал смотреть на нее, он подумал: «Раз уж я здесь, подожду еще несколько минут».

Сначала он был там один-одинешенек. Стоять ему было трудно. Вдруг среди развалин что-то зашевелилось. Можно было подумать, что это сгусток тумана, становящийся все плотнее. И все же казалось, будто кто-то поднялся на одну из куч и вертит головой по сторонам.

Хотя его почти не было видно в сумерках, пришелец в своей широкой негнущейся солдатской шинели казался огромным. Эрвин все еще стоял неподвижно. Однако тот, другой, уже увидел его. Когда Эрвин сделал шаг к нему, тот спрыгнул вниз. Его лицо было теперь так близко, что оно перестало быть чужим и стран-

ным, как раньше, пока Эрвин смотрел на него снизу вверх. И если бы пришелец даже и не вспомнил сразу, знал ли он прежде этого маленького, тщедушного человека, то увидев, как вдруг засветились глаза на скорбном лице Эрвина, он уже больше не сомневался бы. Губы Эрвина дрожали.

Они вместе пошли к вокзалу, не произнося ни слова от волнения.

Эрвин выглядел теперь крепче, не таким скрюченным, не таким удрученным.

Клаус сказал:

— Зайдем на несколько минут в вокзальный ресторанчик. Уж какое-нибудь питье там, верно, найдется. У меня лишь короткий отпуск. Я обрадовался, когда увидел, что нас расквартировали недалеко от Гельхаузена. Я был убежден, что раз сегодня назначенный день, ты сделаешь все, чтобы прийти на условленное место.

Эрвин ничего не ответил. Они уселись в холодном, убогом ресторанчике. Там подавали морковный чай. Правда, хозяин лукаво спросил Клауса, не хочет ли он настоящего чаю или шнапса, но Клаус ответил:

— Нет, пусть только морковный чай будет горячим.

Эрвину хотелось немедленно заговорить о том, что мучило его уже много лет, что жгло ему сердце. Если бы Эрвин признался во всем другу, старая вина перестала бы причинять ему такую боль.

Но Клаус не выслушал его, он стал сразу же оживленно расспрашивать:

— Что стало с Хеммерлингом?

— Насколько мне известно, он перебрался во Францию, а оттуда в Испанию.

— А Феликс?

— Его нет в живых.

— Что произошло с Лорой?

— Этого я не знаю.

— Ты? Как это может быть, что ты о ней ничего не знаешь?

— Связь была оборвана. Мы больше не видели друг друга. Клаус, я должен тебе кое в чем признаться.

Но прежде, чем Эрвин подыскал нужные слова, Клаус снова заговорил сам:

— В Наумбурге еще во время проповеди мне стало ясно, что за мной следят. Я даже узнал одного шпика и видел, как он говорил со своим напарником. Этот ехал со мной в одном автобусе до Наумбурга. У меня отлегло от сердца, когда ты вовремя исчез. Я тогда подошел к проповеднику и стал забрасывать его вопросами. Мы вместе вышли из собора. Оба шпика шли за нами по

пятам. Ни на минуту не прекращая разговаривать с проповедником, я вместе с ним вошел в его дом. В прихожей я повернулся и наудачу открыл одну из дверей, потом другую и улизнул через садовую ограду.

Эрвин снова начал:

— Я должен тебе кое в чем признаться, Клаус, я не входил в церковь.

— Какое счастье,— воскликнул Клаус,— что я сразу же обнаружил этих шпиков и подал тебе условный знак! Эти только и ждали, с кем я встречусь во время проповеди. Ты должен был тогда передать мне текст листовки, помнишь?

— Да,— прошептал Эрвин так тревожно, как будто он все еще не был уверен, что за ними нет слежки. Он сделал еще одну попытку сбросить груз со своей совести: — Потом, как было условлено, я поехал к Хеммерлингу.

— Ты поступил правильно,— сказал Клаус,— а я разными окольными дорогами добрался к товарищам, в Гамбург. Оттуда перебрался в Швецию. Мне достали документы, и я пароходом отправился в Ленинград. Там я работал. Язык я выучил легко и быстро. Я сжился с советскими людьми. Участвовал в войне в рядах Советской Армии. Все пережитое так глубоко сидит во мне, так всего много, что я смогу тебе по-настоящему рассказать это, лишь когда мы снова встретимся с тобой.

Одновременно Клаус подумал, каким маленьким, каким сморщенным выглядит друг его юности, как будто он высох за эти годы. Клаус спросил:

— Ты, наверно, много пережил? Они тогда схватили тебя? Или ты был арестован позже? Тебя, пожалуй, освободили только теперь?

Эрвин ответил нерешительно:

— Меня не арестовывали.— У него пронеслась мысль: «А освобожден ли я?!» И он сам себе ответил: «Это зависит от меня самого».

— Ну, даже если они тебя и не схватили и тебе удавалось каждый раз ускользать от них,— сказал Клаус и особенно внимательно посмотрел на Эрвина,— тогда тебе, верно, выпала очень трудная участь — тебе пришлось полагаться только на самого себя.

Эрвин еще раз сделал попытку освободиться от тяжести, которая лежала у него на сердце:

— Клаус, выслушай же меня...

У него было ощущение, что Клаус, как до этого в тумане, лишен четких очертаний, что он становится все больше и шире в дымке осени и прошлого.

Клаус сказал:

— Я запишу тебе адрес моих хороших знакомых, которым ты можешь написать на мое имя. А ты где живешь?

— Ах, знаешь, Клаус, недалеко от Глогенау. Это называют «Починочная улица». Там я живу. Дом номер три. Но я хочу поскорее переехать в другой город, где смогу найти настоящую работу.

— Это произойдет раньше, чем ты думаешь. Скоро потребуется много хороших наборщиков.

«Не разучился ли я давно всему?» — подумал Эрвин. Клаус задумчиво смотрел на него. Потому что друг его юности казался ему то чужим, то близким. Потом Клаус сказал:

— Нам надо обязательно вскоре снова встретиться.

Эрвин еще раз попытался заговорить, чтобы успокоить свою совесть. Однако Клаус стал настойчиво убеждать его, как всегда быстро и решительно:

— Ты и я, мы, возможно, сделали не так уж много, но все же и у нас обоих есть своя небольшая доля в том, что все переменилось.

— Ах, Клаус, выслушай же меня наконец. Я не могу тебе и выразить, как меня мучает то, что я тогда не пришел на нашу явку.

— Ты поступил правильно,— повторил Клаус. И снова начал возбужденно рассказывать о своих переживаниях. Так говорит человек, которому в считанные минуты нужно объяснить своему другу все, что с ним случилось за много лет. Вдруг он прервал себя:

— Мой поезд сейчас отходит.— Он вскочил, обнял Эрвина и исчез, прежде чем тот успел понять, что произошло.

И вот Эрвин сидит один. Сначала он ощутил в себе лишь отзвук большого волнения. Потом пришли уже оформленные мысли. «Почему я ему не рассказал всего? Теперь он думает, будто я увидел предупредительный знак. На самом деле я этого и в глаза не видел. Я был вовсе не уверен тогда, что Клаус в соборе. Ведь я испугался и повернул обратно, не дойдя до места встречи».

Не осознавая по-настоящему своей лжи, он тогда в Кельне дал Хеммерлингу довольно туманное объяснение. Теперь он опомнился: не хочу же я и теперь снова лгать, по крайней мере самому себе. Я струсил, и поэтому мое сообщение было неверным. Почему же я только что не признался во всем Клаусу? Я смог бы теперь наконец вздохнуть с облегчением. Как же я тогда обманул и Лору, когда спрятался в этом проклятом Луккау, пробрался в семью Шульце! Еще и теперь я держусь за старика, а он за меня.

Пока Эрвин, уйдя из ресторанчика, ждал поезда и ночью возвращался в свою нору, его ни на мгновение не покидало чувство,

что он упустил что-то очень важное. Только это случилось не сегодня, а много лет тому назад. Он ответил «да, конечно», когда старик Шульце спросил его, все ли улажено. Самому же себе он ответил: «Нет, Клаус должен узнать всю правду. Лишь тогда я смогу быть спокойным».

В печурке потрескивали дрова. Их нора не была такой уж неуютной.

Старик Шульце получил новый заказ для лампового завода. Руки у него были разодраны в кровь от поисков проволоки и болтов в грудах мусора. Он был слишком глубоко погружен в свое дело, чтобы заметить отрешенное состояние Эрвина.

«Я не могу больше выносить обмана»,— думал Эрвин. Едва оставшись наедине, без старика, он воспользовался этим, чтобы написать письмо по адресу, который Клаус оставил ему в вокзальном ресторанчике. Он писал: «Дорогой Клаус! Ты не дал мне высказаться. Но ты должен знать правду. Тогда в Наумбурге, когда я должен был встретиться с тобой, меня охватил страх. Я нарушил уговор. Я не видел никакого условного знака. Я вовсе и не входил в собор. Мое письмо уже ничего не исправит. Но я должен сказать тебе правду. Напиши сразу же, когда мы сможем снова встретиться с тобой».

Отправив письмо, он почувствовал облегчение.

С беспокойством ждал он ответа. Их последняя встреча в вечерних сумерках казалась ему почти нереальной, как сон... Он твердо решил покончить с этой жизнью в пустыне из мусора и щебня, уехать и найти настоящую работу, желательно такую, которая была бы близка к профессии, избранной им в молодости.

Пустой взгляд старого Шульце был ему до глубины души неприятен. Однажды старик с раздражением накинулся на него: «Это кто еще такой? Что это еще такое?»

Почтальон вернул письмо с пометкой: «Адресат выбыл... Адрес неизвестен».

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Седьмой крест» и рассказы Анны Зегерс, помещенные в настоящем томе,— это представительная, но небольшая по объему часть обширного творчества писательницы, которой принадлежит семь романов, множество рассказов, радиопьеса, очерки, эссе, литературно-критические и искусствоведческие работы. Литературная деятельность Анны Зегерс началась более полувека тому назад.

Анна Зегерс (настоящее имя— Нетти Радвани, урожденная Рейлинг) родилась 19 ноября 1900 года в городе Майнце, в состоятельной семье, принадлежавшей к кругам либеральной буржуазии. Ее отец, искусствовед и антиквар, был смотрителем художественных сокровищ Майнцского собора. По окончании гимназии она поступила сначала в Кельнский, затем в Гейдельбергский университет, где изучала всеобщую историю, историю искусств, филологию, синологию.

В университетские годы будущая писательница сблизилась с движением революционно настроенного студенчества, стала пристально интересоваться марксистским учением. В 1928 г. она вступила в Коммунистическую партию Германии. В середине 20-х годов в газете «Франкфуртер цейтунг» были напечатаны ее первые произведения — новелла «Грубеч» и фантастически-романтический рассказ, героиня которого, девушка-голландка, носила имя Анна Зегерс. Под этим псевдонимом писательница и стала печататься в дальнейшем.

В 1928 г. вышла первая книга Анны Зегерс — роман «Восстание рыбаков», а в 1930 г.— сборник рассказов «По дороге в американское посольство». В эти годы напряженного творческого труда Анна Зегерс продолжает заниматься общественной деятельностью. В 1930 г. она принимает участие в Международной конференции революционных писателей в Харькове. В 1933 г., после прихода Гитлера к власти, Анна Зегерс была арестована, выйдя из тюрьмы, она вскоре эмигрировала во Францию. Жизнь ее в эмиграции заполнена писательским трудом и активной антифашистской деятельностью. Она становится одним из организаторов Союза защиты немецких писателей, который был создан в октябре 1933 г. в Париже, участвует

в работе антифашистского журнала «Нойе дойче блеттер», выходившего в Праге. В 1934 г., после февральских боев в Австрии, она едет на место событий, чтобы собрать материал для романа.

В 1935 г. она выступает на I Международном конгрессе писателей в защиту культуры, собравшемся в Париже, она принимает также участие в работе II (1937) и III (1938) конгрессов. В 1939 г. она заканчивает роман «Седьмой крест».

После оккупации Парижа гитлеровскими войсками в 1940 г. Анна Зегерс вынуждена бежать, сначала в неоккупированную часть Франции, а затем в Мексику.

Сразу после освобождения Германии от фашизма произведения Анны Зегерс, созданные ею в эмиграции, начинают издаваться на ее родине. В 1946 г. выходит «Седьмой крест», а также сборник рассказов «Прогулка мертвых девушек» и роман «Освобождение» («Die Rettung»).

В 1947 г. писательница возвращается в Германию. В 1949 г. увидел свет написанный ею в эмиграции роман «Мертвые остаются молодыми», охватывающий события с 1919 по 1945 г. В 1950 г. ее избирают в Президиум Союза писателей ГДР, а на II конгрессе сторонников мира в Варшаве — в члены Всемирного Совета Мира.

В 1951 г. Анне Зегерс была присуждена международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».

Исторические судьбы Германии и ее народа продолжают оставаться основной темой творчества Анны Зегерс в послевоенные годы. Жанр романа представляется ей наиболее подходящим для воплощения этой темы. «Я чувствую потребность в условиях Германии писать романы. Этот жанр больше всего пригоден для разъяснения сложных вещей. А читатели моей страны сами признают, что им необходимы такие разъяснения» («Иностранная литература», 1960, с. 252).

В 1959 г. она публикует роман «Решение», за которым следует «Доверие» (1968). Однако, работая над большими романами, писательница не оставляет без внимания и малые эпические формы. В 1965 г. выходит книга ее новых рассказов «Сила слабых», в 1971 г. повесть «Через океан. История одной любви», в 1973 г. сборник из трех повестей «Странные встречи».

СЕДЬМОЙ КРЕСТ
DAS SIEBTE KREUZ

Роман «Седьмой крест» был впервые издан на языке оригинала в Мексике, а на английском языке в США (1942). В 1944 г. в США был снят фильм «Седьмой крест» со Спенсером Треси в главной роли. В Германии роман был издан лишь в 1946 г. В 1952 г. «Седьмой крест» был опубликован в русском переводе, выполненном В. Станевич. В настоящем томе текст романа воспроизводится по изданию 1970 г. (М., «Художественная литература»), исправленному и дополненному.

Стр. 48. *Даррэ* Рихард — министр продовольствия и сельского хозяйства фашистского рейха, издатель национал-социалистской газеты «Ландпост».

Стр. 61. *...он не видел стен этого храма...*— Майнцский собор — один из выдающихся памятников позднероманской архитектуры в Германии, строился с 1100 по 1239 г.

Стр. 72. *...в каждой руке по короне, которыми он непрерывно коронует двух карликов, двух антикоролей междуцарствия.*— Майнц в средние века служил резиденцией архиепископов и канцлеров «Священной римской империи германской нации». В XII—XIII веках германские императоры вели напряженную борьбу с папой римским за политическое и экономическое первенство. Папская власть достигла наибольшего могущества при Иннокентии III, который стал распоряжаться и самой императорской короной. После смерти Генриха VI императором был избран его брат Филипп Швабский (1198). Папа вначале санкционировал этот выбор, но поссорившись с Филиппом, провозгласил императором (1201) Оттона Вельфа, который также был коронован, под именем Оттона IV. Таким образом в Германии оказалось одновременно два императора.

Стр. 141. *...чудовищная судьба... однажды уже постигшая наш народ...*— Речь идет о тяжелых последствиях, которые имела для немецкого народа Тридцатилетняя война (1618—1648), разорившая и опустошившая страну и надолго задержавшая ее экономическое и политическое развитие.

Стр. 158. *Союз спартаковцев.*— В январе 1916 г. на конференции в Берлине была создана общегерманская организация левых социал-демократов, известная впоследствии под наименованием «Союза Спартака».

Стр. 195. *В Вартбурге побывали, и где Мартин Лютер был, видели, и состязание певцов, и Венерину гору.*— Вартбург — средневековый замок в Тюрингии, вблизи города Эйзенаха, где в начале XIII в. состоялось знаменитое состязание певцов, в котором участвовали прославленные поэты — миннезингеры. Это событие запечатлено на картине художника Морица фон Швинда (1804—1871), украшающей ныне парадный зал замка. В XVI в. в замке скрывался от преследований Мартин Лютер. Венерина гора — пещера, куда, по преданию, богиня любви Венера заманила певца Тангейзера и где он прожил семь лет.

РАССКАЗЫ

Шоферские права (Der Führerschein).— Рассказ написан в 1932 г. Изображенные в нем события относятся ко времени так называемой Шанхайской обороны — героической защиты Шанхая 19-й армией и населением города в январе — марте 1932 г. от нападения японских войск.

Установка пулемета в квартире фрау Кампчик (Aufstellung eines Maschinengewehrs im Wohnzimmer der Frau Kamptschik) — отрывок из романа «Путь через февраль» (1934), посвященного

вооруженному восстанию австрийских рабочих в феврале 1934 г. В трехтомном собрании рассказов Анны Зегерс, выпущенном в 1963 г. под общим заголовком «Улей» берлинским издательством «Ауфбау» (Anna Seghers. Der Bienenstock. Gesammelte Erzählungen in drei Bänden. Aufbau-Verlag, Berlin), этот отрывок помещен в качестве отдельного рассказа.

Стр. 333. *...в квартиру, занимаемую семьей Кампчик...*— В рассказе изображен эпизод обороны так называемого Дома Карла Маркса (Karl-Marx Hof) — большого жилого дома, построенного в 1927—1930 годах на одной из окраин Вены (Хейлигенштадт) по плану «социального жилищного строительства».

Шуцбундовцы — члены вооруженной организации австрийских социал-демократических рабочих «Шуцбунд», созданной в 1923 г. для охраны рабочих собраний и демонстраций от фашистских погромщиков. В 1933 г. правительство Дольфуса запретило «Шуцбунд». В 1934 г., во время вооруженного восстания, шуцбундовцы сражались в одних рядах с коммунистами.

Прогулка мертвых девушек (Ausflug der toten Mädchen).— Рассказ написан в 1943—1944 гг.

Стр. 343. *Исповеднической церкви... запретили богослужение...*— Священникам, принадлежавшим к организации «Исповедническая церковь» (Bekennende-или Bekenntniskirche), оппозиционной гитлеровскому режиму, было запрещено отправлять богослужение; многие из них подверглись гонениям и были заключены в тюрьмы и концлагеря.

Конец (Das Ende).— Рассказ, повествующий о судьбе одного из персонажей романа «Седьмой крест», нацистского палача Циллиха, написан в 1945 г.

Крисанта (Crisanta).— Рассказ написан в 1950 г.

Агата Швейгерт (Agathe Schweigert).— Рассказ из сборника «Сила слабых», 1965 г.

Предания о неземных пришельцах (Sagen von Unirdischen).— Из сборника «Странные встречи» (Sonderbare Begegnungen), 1973 г.

Явка (Der Treffpunkt).— Из сборника «Странные встречи».

Стр. 485. *...текст о скульптурах вашего знаменитого собора...*— Готический собор в г. Наумбурге, построенный в конце XII века, славится множеством прекрасных статуй и скульптурных групп. Созданные, по-видимому, одним и тем же неизвестным мастером в середине XIII века, они отличаются высоким совершенством пластической формы и удивительным мастерством в передаче человеческих характеров.

«Немецкие христиане» — организация евангелической церкви в Германии, сотрудничавшая с гитлеровским режимом.

Стр. 497. *Причудливый мост над мутной речушкой в Эрфурте.*— Одна из архитектурных достопримечательностей города Эрфурта — мост через реку Гера, застроенный с обеих сторон домами купцов с лавками в нижних этажах и называющийся поэтому «Купеческим мостом» («Krämerbrücke»).

Г. Егорова

СОДЕРЖАНИЕ

Т. Мотылева. Роман и рассказы Анны Зегерс 5

СЕДЬМОЙ КРЕСТ. *Перевод В. Станевич* 21

РАССКАЗЫ

Шоферские права. *Перевод П. Чеботарева* 331
Установка пулемета в квартире фрау Кампчик. *Перевод В. Станевич* 333
Прогулка мертвых девушек. *Перевод Р. Френкель* 339
Конец. *Перевод Л. Лунгиной* 361
Крисанта. *Перевод И. Каринцевой* 407
Агата Швейгерт. *Перевод Р. Гальпериной* 428
Предания о неземных пришельцах. *Перевод С. Фридлянд* . . . 446
Явка. *Перевод О. Бобровой* 472

Примечания *Г. Егоровой* 507

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 153

Анна Зегерс

СЕДЬМОЙ КРЕСТ. РАССКАЗЫ

*

Редактор С. Шлапоберская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Л. Коншина и М. Пастер

*

Сдано в набор 1/X 1974 г. Подписано к печати 20/II 1975 г. Бумага типографская № 1. Формат 60×84 1/16. 32 печ. л. 29,86 усл. печ. л. 32,92 +1 вкл. +7 накид.=33,87 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ № 1807. Цена 1 р. 80 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валовая, 28

324